

АНАТОМИЯ
ИСТОРИИ



ИСТОРИКИ и ИСТОРИЯ

ЖИЗНЬ
СУДЬБА
ТВОРЧЕСТВО



АНАТОМИЯ
ИСТОРИИ



ИСТОРИКИ *и* ИСТОРИЯ

Ж И З Н Ь
С У Д Ь Б А
Т В О Р Ч Е С Т В О

2

Впервые любителям истории предлагается сборник, содержащий биографические данные о жизни и судьбе историков, а также краткие характеристики их творчества. Приводятся отрывки из наиболее характерных трудов, а список литературы, помещенный в конце двухтомника, дает возможность желающим составить себе более широкое представление о людях, создавших историю как науку.

ISBN 5-86095-096-9

© Автор. Б. Тормасов. 1997
© Оформление С. Морозов. 1997
© Издательство «Остожье». 1997
© ГП ИПФ «Ставрополье». 1997

- АДОЛЬФ ТЬЕР **392**
- АЛЕКСИС *де* ТОКВИЛЬ **490**
- АЛЬФОНС ЛАМАРТИН **219**
- АНРИ ПИРЕНН **716**
- АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ ТОЙНБИ **824**
- БОЛИНГБРОК ГЕНРИ СЕНТ-ДЖОН **7**
- ВОЛЬТЕР (МАРИ ФРАНСУА АРУЭ) **46**
- ГАБРИЭЛЬ БОННО *де* МАБЛИ **76**
- ГЕНРИ ТОМАС БОКЛЬ **585**
- ГЕНРИ ЧАРЛЬЗ ЛИ **621**
- ГИББОН ЭДУАРД **119**
- ЖОЗЕФ *де* МЕСТР **148**
- ЖОЗЕФ ЭРНЕСТ РЕНАН **589**
- ЖЮЛЬ МИШЛЕ **438**
- ИППОЛИТ ТЭН **671**
- КОББЕТ УИЛЬЯМ **180**
- ЛЕОПОЛЬД фон РАНКЕ **287**
- ЛЮСЬЕН ФЕВР **755**
- МАРК БЛОК **794**
- ОГЮСТЕН ТЬЕРРИ **339**
- ТЕОДОР МОММЗЕН **527**

ТОМАС БАБИНГТОН МАКОЛЕЙ	454
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ	267
ФРАНСУА ОГЮСТ МИНЬЕ	359
ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ ГИЗО	214
ФРИДРИХ КРИСТОФ ШЛОССЕР	185
ФЮСТЕЛЬ де КУЛАНЖ	711
ЮМ ДАВИД	95
ЯКОБ КРИСТОФОР БУРКХАРДТ	568



БОЛИНГБРОК ГЕНРИ СЕНТ-ДЖОН

1678 — 1751

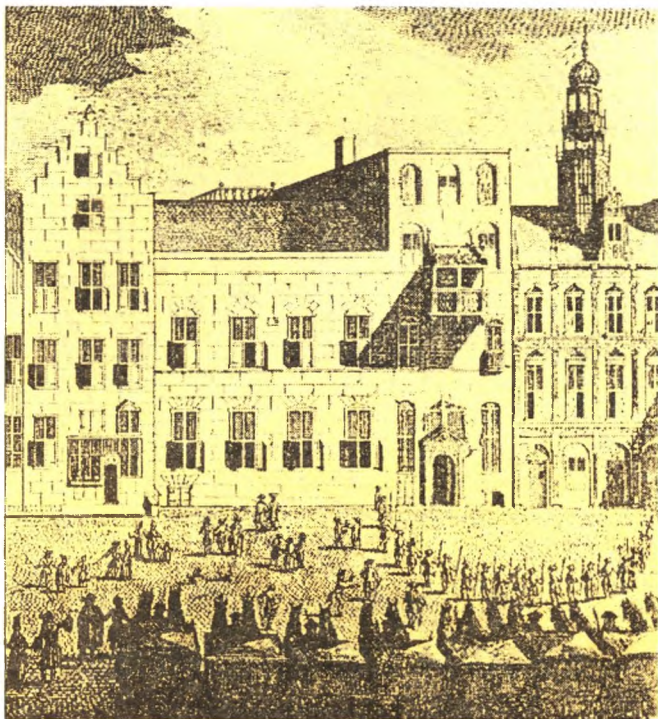
Жизнь

Генри Сент-Джон, будущий лорд Болингброк, потомок старинного дворянского рода, родился 1 октября 1678 г. в поместье Баттерси, недалеко от Лондона.

Основную роль в воспитании мальчика сыграли дедушка и бабушка, они привили ему трудолюбие и развили врожденную любознательность.

Генри Сент-Джон учился в аристократическом колледже Итона. В 1697 г., девятнадцати лет от роду, он, в соответствии с неписаным законом аристократического воспитания, отправился в путешествие на континент.

Большую часть двухлетнего «тура» Генри Сент-Джон про-



Утрехтское здание, в котором происходили переговоры

вел в Париже, где настолько преуспел во французском языке, что не только владел им свободно, но и без характерного для англичан акцента.

Затем он отправился в Италию и в 1699 г. поселился в Риме, где занимался итальянским и проявлял особый интерес к «тайным кружкам, движущим политику».

В 1700 г. он возвращается в Англию и приобретает славу не только как знаток иностранных языков и обычаев, но и как человек веселого свободного нрава.

В 1701 г. Генри Сент-Джон занимает место в Палате общин, представляя родовой бург Вутон-Бассет.

В 1702 г. он был удостоен степени почетного доктора в Оксфорде.



Боллингброк

Его речи в парламенте имели большой успех, и в скором времени он становится лидером группы умеренных тори.

В двадцать пять лет Генри Сент-Джон стал военным министром в кабинете Годолфина и вместе с главнокомандующим, герцогом Мальборо, решал военные судьбы страны.

В 1708 г. он подал в отставку и на время уединился в деревне (за год до этого обвенчавшись с Френсис Уничкомб, дочерью крупного лендлорда).

В 1710 г. в министерстве графа Оксфорда он получает пост государственного секретаря. Это зенит политической карьеры Сент-Джона.

В 1712 г. ему дарован титул виконта Болингброка.

В 1714 г., после отставки Оксфорда, Болингброк надеялся занять пост главы правительства.

Внезапная смерть королевы Анны помешала его намерениям: тайный совет признал королем Георга I, который немедленно лишил Болингброка власти, а парламент обвинил его в государственной измене и конфисковал имущества.

Герцог Мальборо предупредил Болингброка о возможном аресте, и тот в панике 18 марта 1715 г. бежал из Англии.

Во Франции, явившись ко двору претендента, он немедленно был назначен министром и принял участие в подготовке восстания в Англии и Шотландии во имя Якова III.

Восстание было скоро подавлено.

Болингброк открыто разрывает отношения с претендентом и поселяется в поместье Лясурс близ Ормана.

Георг II после долгих просьб именитых ходатаев прощает Болингброка: был снят секвестр, наложенный на его владения, и ему разрешили вернуться на родину, без права занимать государственные должности и заседать в парламенте.

В 1725 г. Болингброк вернулся в Англию.

В этот период он становится публицистом и быстро завоевывает славу выдающегося писателя. Болингброк возглавляет внепарламентскую оппозицию правительству. Большую часть своих статей он помещал в газете «Кудесник», беспощадно громя правительство Уолпола. Отставка Уолпола в 1742 г. не изменила положения Болингброка, и последние годы своей жизни он оставался в стороне от дел в родовом поместье Баттерси, в окружении книг и посещавших его молодых политиков.

Умер Болингброк в 1751 г.

Как и при жизни, его имя вот уже более двух столетий вызывает ненависть и презрение одних и неумеренные восторги других.



Король Георг II

Судьба

Природа одарила Болингброка выдающимися качествами — блестящим и оригинальным умом, замечательным ораторским талантом, большой энергией, но полное отсутствие идеалов и крайняя порочность лишили его возможности сыграть в общественной жизни ту выдающуюся роль, к которой он был призван.

Генри Сент-Джон принял результаты второй английской революции 1688—1689 гг. как свершившийся факт и расценивал помыслы о реставрации Стюартов как политический анахронизм, а восстание якобитов считал делом рук политических дилетантов и авантюристов, обреченных на поражение. Свифт писал о Сент-Джоне после знакомства с ним: «Это величайший молодой человек из всех, кого я только знал: ум, способности, красота и быстрота восприятия, образованность и превосходный вкус, лучший оратор в Палате общин».

В момент крушения блистательно начатой политической карьеры Болингброк сделал шаг, который неблагоприятно отразился на его прижизненной и посмертной репутации: он принял предложение претендента на английский престол и занял должность государственного секретаря при Сен-Жерменском дворе. В этом поступке нашли отражение все человеческие слабости Болингброка: импульсивность, спесь, безграничное честолюбие и мстительность. Болингброк не был привержен делу якобитов и не верил в его успех. Это был акт отчаяния, граничащий с беспринципностью и ставящий под вопрос его честность.

После разрыва с претендентом, в изгнании, Болингброк — мыслитель и писатель — наконец посвятил себя занятиям, к которым его всю жизнь влекло.

Его посещает Вольтер, который впоследствии писал: «В этом выдающемся англичанине я обнаружил всю ученость его страны и галантность нашей. Этот человек, всю жизнь погруженный в удовольствия и дела, нашел, однако, время для изучения всего, что относится ко всему».

После возвращения в Англию, помимо издания газеты оппозиции, Болингброк создает серию эссе, составивших впоследствии его «Философские опыты».

Опубликованные через три года после смерти автора, они произвели впечатление разорвавшейся бомбы. В бытность министром Болингброк приобрел репутацию защитника англиканской церкви и непримиримого врага диссидентов. В «Опытах» он выступил столь откровенным вольнодумцем, что вначале не верили, что автором является сам Болингброк.

Известный критик того времени Джонсон писал: «Сэр, это был негодяй и трус. Негодяй — потому что направил огонь против религии и морали, а трус — потому что не имел мужества сделать это при жизни...»

В 1736 г. Болингброк переслал в Англию лорду Корнбери текст знаменитых «Писем об изучении и пользе истории».

Потеряв веру в парламентскую оппозицию тори, Болингброк решил письменно изложить свое кредо в сочинении, посвященном проблеме власти, — «Идеи о Короле-Патриоте», опубликованном в 1749 г.

В отличие от Макиавелли он пишет не для государя, который только кажется добродетельным, а для того, кто в действительности является таковым.

Его Король-Патриот руководствуется интересами общего блага и не противостоит подданным, а возглавляет их.

В новейшей литературе выяснено, что именно Болингброку Вольтер обязан рядом фундаментальных идей в области философии и методологии истории, идей, которые весьма усердно изучают — но уже как идеи Вольтера.

Много идей Болингброка вошло в русло европейской исторической и политической мысли века Просвещения, но без имени автора.

Болингброк — практический политик погубил Болингброка — писателя; человек с шаткими моральными принципами — в высшей степени принципиального мыслителя, философа, на склоне лет грустно иронизировавшего над страстями своей бурной молодости.

Полное собрание сочинений Болингброка, изданное после его смерти в 1754 г., было осуждено как опасное для религии, нравственности, государства и общественного спокойствия.

Имя Болингброка предали анафеме литературные душеприказчики английского либерализма XVII века и историки либерально-вигской школы XIX века типа Маколея.



Король Георг I



Королева Анна

Болингброк — политик и мыслитель, стоявший между двумя эпохами в истории Англии. Как аристократ и политик он выступал в защиту унаследованных позиций своего класса. Но как просветитель содействовал разоблачению мифологии христианства и способствовал утверждению столь ненавидимого им буржуазного строя.

Творчество

Второе издание полного собрания сочинений Болингброка, изданное в Лондоне в 1808—1809 гг., состоит из восьми томов.

Самое известное его произведение — «Рассуждение о партиях» (печаталось в 1733—1734 гг. в газете «Кудесник»).

«Идея о Короле-Патриоте» опубликована в 1749 г. В этой работе речь идет об анализе природы власти как таковой. Сочинение предназначалось для сына Георга, принца Уэльского Фредерика, на которого Болингброк возлагал надежды.

Так же интересны философские эссе, составленные из серии писем под общим заголовком «Письма, или Опыты, адресованные Александру Поку, эсквайру».

Известны работы Болингброка: «План для всеобщей истории Европы», «Письма о патриотизме», «Письма об изучении и пользе истории», написанные в 1735 г. и изданные посмертно в 1752 г.

«Письма» адресованы реальному лицу — лорду Корнбери, правнуку графа Кларендона — автора знаменитой «Истории великого мятежа» в Англии (1640—1660 гг.), — пожелавшему узнать мнение Болингброка о методе изучения и пользе истории.

Этим была обусловлена манера изложения — в виде записи живой, непринужденной беседы. Болингброк серьезно готовился к написанию большого исторического труда, посвященного истории Европы. Об этом свидетельствует сама структура «Писем». Отправным пунктом должен был служить Пиренейский мир, а затем автор предполагал продвигаться вперед к Утрехтскому миру. Насколько можно судить, VII и VIII письма — это этюды к оставшемуся незавершенным труду.

Болингброк считал, что интерес к истории — не мода и забава, а вечная морально-этическая потребность человека, диктуемая его жизненными интересами.

«Письма» Болингброка оказались со всех точек зрения трудом новаторским, ломающим каноны, они ставили новые вопросы и предлагали новые решения.

На первый план выдвигалась проблема практического значения не индивидуального, а социально-исторического опыта, фиксированного и обобщенного в истории, и его роли в жизни общества и человека.

«Я согласен, — писал Болингброк, — что история с умыслом и систематически фальсифицировалась во все времена и что пристрастие и предубеждение — причины произвольных и непроизвольных ошибок даже в лучших из историй».

Следует отдать должное Болингброку: в своей критике источниковедческой базы античных разделов всемирной истории он во многом предвосхитил критические методы в источниковедении XIX века.

Решая тот же вопрос, который до него занимал графа Кларендона: кто повинен в «смутах» XVII века — король или парламент, Болингброк занял позицию, прямо противоположную Кларендону. Он был первым торийским историческим писателем, открыто признавшим корону виновницей всех злоключений Англии в XVII веке.

«Письма об изучении и пользе истории» — это высшее достижение Болингброка-мыслителя, уникальный памятник исторической мысли не только английского, но и европейского Просвещения. Их уникальность в том, что в них воплощена теория истории как области знания, как сферы духовной деятельности человека.

Письмо III

Партия вигов в целом приобрела большую и заслуженную популярность во время царствования нашего Карла II благодаря их протестам против внешней политики этого государя. Те, кто унаследовал скорее название, чем принципы этой партии после революции, и кто держал в своих руках управление страной с небольшими перерывами почти все годы после революции — те, делая вид, что действуют согласно тем же принципам, впали в крайность, столь же порочную и столь же противную всем правилам хорошей политики, как и та, против которой выступали их предшественники. Старые виги жаловались на то, что мы представляли собой бесславное зрелище: наш

двор был марионеткой, а король — пенсионером Франции, и настаивали на том, чтобы растущее властолюбие и сила Людовика XIV получили своевременный отпор. Новые виги хвастались и продолжают хвастаться тем, какое славное зрелище мы собой представляем, тогда как мы стали благодаря их дипломатии и их управлению марионетками наших собственных пенсионеров, т. е. наших союзников, тогда как мы ни в малейшей степени не соизмеряем наших усилий в войне с интересами и возможностями нашей страны, не сопоставляем их честно и трезво, как делает тот, кто видит вещи в правильном свете и верном масштабе, с общей системой сил в Европе, и, словом, имеем ввиду лишь частные интересы у себя дома и за границей. Я говорю «дома и за границей», потому что не менее справедливо, что они принесли в жертву благосостояние страны ради создания и сохранения партии у себя дома, чем то, что они сделали это ради создания и сохранения союзов за границей, не имеющих ни малейшей необходимости.

Эти общие утверждения можно доказать, не прибегая к рассказам об отдельных случаях, как убедится Ваша светлость, когда рассмотрит всю последовательность нашего поведения в двух войнах — в той, что предшествовала, и той, что немедленно последовала за началом нынешнего столетия, особенно в последней. При правлении, которое предшествовало революции, торговля процветала и наша нация стала богатой; но мы слишком пренебрегали общими интересами Европы, и у нас под маской прерогативы установилось чуть ли не рабство. При правительствах, которые существовали после, постоянно нагромождались налоги на налоги, долги на долги, пока небольшое число семей не разбогатело до крайних пределов и на нас не обрушилось национальное разорение под благовидным предлогом поддержки общего дела против Франции, ослабления ее мощи и приведения соотношения сил в Европе в более уравновешенное состояние — без сомнения, похвальные намерения, если бы они были подлинными, но из-за того, что их использовали лишь в качестве простых предлогов, принесшие много зла. Часть его мы испытываем и испытывали с давнего времени, а часть распространит свои последствия на наше отдаленное потомство.

Царство прерогативы было кратким, и зло и опасности,

которым оно нас подвергало, окончились вместе с ним. Но царство фальшивой и расточительной политики продолжается и в конце концов довершит наше падение. В некоторых странах нищета стала следствием рабства, рабство станет, вероятно, следствием нищеты в нашей стране; и если это так, то мы знаем, к чьей двери положить это детище. Если бы мы закончили войну в 1706 году, мы бы примирили, как подобает мудрому народу, свои внешние и внутренние интересы как можно более полно; мы бы обеспечили в достаточной мере первые, не принося вторые полностью в жертву, как мы поступили впоследствии, продолжив войну. Вы не смогли бы удержаться от изумления, наблюдая, как увеличивалось бремя войны ежегодно, какие огромные суммы мы выплачивали в ходе ее, чтобы покрыть недостачу средств у наших союзников. Ваше изумление, а также негодование возрастет, когда Вы сравните увеличение расходов, с 1706 года исключительно, с увеличением расходов на более чем тридцать миллионов (я не преувеличиваю, хотя пишу по памяти), которое произошло к 1711 году включительно. В связи с этим Ваша светлость убедится, что когда в конце 1710 года королева сочла уместным сменить свой кабинет министров, настало время принять решение о заключении мира. Настало время спасти нашу страну от полной неплатежеспособности и банкротства, положив конец политике, которая сохранялась лишь благодаря партийным предрассудкам, прихотям отдельных людей, личным выгодам еще большего числа людей, властолюбию и жадности наших союзников, приглашенных грабить нас прелиминариями 1709 года.

Лица, которые пришли к власти в это время, прислушались (и правильно сделали, что прислушались) к первым предложениям о примирении, которые им были сделаны. Намерения противника способствовали тому, чтобы они так поступали. однако намерения их друзей и партий у себя в стране, которые кормились и продолжали кормиться войной, этому препятствовали, ибо ни от кого из них не могли укрыться те трудности и опасности, которым они подверглись бы, если бы свершилось это великое дело. В письме к другу мне позволено сказать, что они не были скрыты и от меня и что я предвидел вероятность большин-

ства происшедших со мной в дальнейшем событий. Следовательно, хотя нашим долгом по отношению к своей стране было освободить ее от необходимости нести далее столь несоразмерно тяжелое бремя в столь ненужной войне, все же выполнение его составляло в известной мере заслугу. Я столь твердо в этом убежден, я столь неисправим, милорд, что, если бы снова попал в те же самые обстоятельства, я бы принял такое же решение и сделал бы то же самое. Возраст и опыт могли бы помочь мне действовать более эффективно и искусно, но все, что я испытал после смерти королевы, не заставило бы меня отступить от этих действий. Невзирая на это, я не удивлюсь, если Вы сочтете Утрехтский мир не соответствующим успеху, достигнутому нами в войне, и усилиям, которые были сделаны. Я сам так считаю и всегда признавал, даже когда он заключался и был заключен, что думаю именно так.

Так как мы совершили безумство, закончившееся удачей, нам нужно было бы извлечь из него больше выгоды чем это мы сделали, и, оставили бы мы Филиппа или посадили другого государя на испанский трон, мы должны были бы ослабить Францию и укрепить ее соседей в большей мере, чем это было сделано. Мы должны были сокрушить ее мощь на поколения вперед, а не удовлетворяться временным ее ослаблением. Франция испытывала крайнюю нужду в людях и деньгах, а ее правительство лишилось кредита, но те, кто посчитал это достаточным ослаблением, не были дальновидны и рассуждали слишком поверхностно. Однако несколько таких людей нашлось, ибо, подобно тому как было сказано, что нет нелепости, которую бы тот или другой философ не поддерживал, так и Ваш опыт, как бы Вы ни были молоды, должен показать Вам, что нет такой абсурдной крайности, в которую наши британские партийные политики не были бы склонны впасть в сфере государственных вопросов и ведения общественных дел.

Но если Франция была истощена, то как же обстояло дело с нами и с Голландией? Голод сделал ее положение в какое-то время гораздо худшим, чем наше, и по видимости, и в действительности. Но как только это бедствие, которое привело в замешательство французов и до крайности испугало

Людовика XIV, и его прямые последствия остались позади, стало очевидно для наблюдателя, хотя немногие занимались наблюдениями, что если мы не были в состоянии в течение года покрыть годовые расходы, а дефицит составлял по крайней мере несколько миллионов, то французы были готовы и могли нести бремя десятины, которая, помимо всех других налогов, взималась с них. Это наблюдение заслуживало серьезного внимания, и, конечно, оно заслуживало внимания тех, кто его в то время сделал и кто не считал, что война должна продолжаться до тех пор, пока парламент можно заставлять голосовать за выделение средств на нее. Но предположим, что оно не заслуживало внимания, предположим, что мощь Франции была ослаблена до каких угодно пределов, имея ввиду ее внутреннее положение, — равно я утверждаю, что такое ослабление не могло быть постоянным и поэтому не было достаточным. Тот, кто знает характер ее правительства, характер ее народа и естественные ее преимущества в торговле перед всеми нациями, которые ее окружают, знает, что авторитарное правительство и характер народа позволяют ей в особых случаях сбросить бремя долгов гораздо более легко и с гораздо менее опасными последствиями, чем это возможно для кого-либо из ее соседей; что хотя вообще торговля ущемляется, а промышленность испытывает затруднения из-за этого десятичного правительства, все же ни та, ни другое не находятся в застое; характер же народа и природные преимущества страны таковы, что, какими бы значительными ни были бедствия в то или иное время, двадцати лет спокойствия достаточно, чтобы восстановить положение дел и обогатить ее снова за счет всех наций Европы. Если кто-то в этом сомневается, пусть поглядит, в каком положении это королевство было оставлено Людовиком XIV, какие странные штуки, касающиеся системы государственных доходов и частной собственности, выкидывал герцог Орлеанский в период своего регентства и управления, и затем отдаст себе отчет в том, что доход Франции, за вычетом десятины, превышают все расходы ее правительства уже на много миллионов ливров и будут превышать их гораздо больше в следующем году.

В целом, милорд, то тяжелое и истощенное состояние, в

какое была приведена Франция в ходе последней великой войны, было лишь временным ослаблением ее мощи. И какое бы действительное и долговременное ослабление ее мощи в некоторых аспектах ни принес с собой Утрехтский договор, этого было недостаточно. Мощь Франции не оказалась бы столь велика, если бы Англия и Голландия вооружились сами и вооружили всю Германию против нее, если бы она была так же открыта для нападений врагов, как они — для ее нападений. Внутренние силы ее были велики; но крепость тех границ, которые почти сорок лет создавал Людовик XIV и создавать которые помогала ему в свою очередь глупость всех его соседей, сделала эту силу такой великой, какой она и оказалась. Подлинное ослабление чрезмерной мощи Франции (я оставляю в стороне химерические планы относительно изменения ее государственного строя) заключалось поэтому в уничтожении военных укреплений на ее границах и в сооружении барьеров против нее путем отторжения от нее и разрушения гораздо большего количества пунктов, чем то, которого она лишилась в Утрехте, но не более того, которое она могла принести в жертву ради немедленного облегчения своего положения и ради безопасности в будущем для своих соседей. То, что ее не заставили принести эти жертвы, должно быть целиком отнесено на счет тех, кто противился заключению мира, — и я в этом клянусь всем доверием ко мне Вашей светлости и всеми заслугами в этом деле, которое столь часто оспаривалось. Я говорю: «дело, которое столь часто оспаривалось», — ибо, по правде говоря, не думаю, чтобы оставались какие-то сомнения у кого-либо, кроме авторов английских памфлетов, относительно того, поведение ли тех, кто ни отказался от переговоров (как было сделано в тысяча семьсот седьмом году), ни делал вид, что ведет переговоры, не намереваясь между тем заключить мирный договор (как было сделано в 1709 и 10-м годах), но вел огромную работу в пользу мира вплоть до его осуществления; или поведение тех, кто на каждом шагу мешал этой работе, спасло мощь Франции от большего и необходимого ослабления на утрехтских мирных переговорах. Те самые государственные деятели, которые

участвовали в этой злосчастной оппозиции, вынуждены признать эту истину.

И как бы они могли отрицать это? Венские дипломаты могли жаловаться на то, что император не стал обладателем всей Испанской монархии, а голландские — на то, что Штаты не стали прямо или косвенно хозяевами всех Нидерландов. Но ни они, ни кто-либо еще, в ком осталась хоть капля стыда, не могут отрицать, что покойная королева, хотя она пошла на переговоры потому, что решила окончить войну, все же в высшей степени желала вести переговоры в полном согласии со своими союзниками и обеспечить для них все разумные условия, на какие они могли надеяться, и гораздо лучшие, чем те, на которые им пришлось согласиться, когда они попытались вырвать из ее рук ведение переговоров. Расхождения между союзниками дали Франции выгодные возможности, которые она использовала. Единственный вопрос, который остается, — кто причина этих расхождений? И он легко будет решен каждым беспристрастным человеком, который внимательно изучит официальные отчеты того времени. Если бы можно было опубликовать также и частные отчеты — а я полагаю, что время для этого почти настало, — то откроется чудовишная картина, шокирующая любого честного человека. Я не намерен здесь входить во многие конкретные вопросы; но если бы я или какое-то другое лицо, столь же хорошо информированное, как и я, попытались дать полное представление о них, то стало бы неоспоримым и очевидным, что самая яростная оппозиция, возглавляемая немцами и голландцами в союзе с определенной партией в Британии, начала действовать, как только были сделаны первые предложения королеве, раньше, чем она начала переговоры, и потому была оппозицией не к тому или иному плану переговоров, но к любым переговорам, в особенности к таким, в которых руководящая роль принадлежала Великобритании или в которых она должна была получить какую-то особую выгоду.

То, что имперцы не желали переговоров, пока не будет принято предварительное и несбыточное условие, чтобы испанская корона перешла к императору, станет ясно из следующего: принц Евгений, когда он прибыл в Англию много

времени спустя после смерти Иосифа и воцарения Карла по поручению, совершенно недостойному этого великого человека, всегда вел переговоры, только исходя из данного условия. И я помню, с каким внутренним раздражением я присутствовал на совещаниях с ним, касающихся финансовых затрат каждой из сторон на возобновление войны в Испании, в том же самом помещении, в Кокпите, где незадолго до этого государственные деятели других союзных стран в ясных выражениях говорили министрам королевы, что «их повелители не согласятся на то, чтобы имперская и испанская короны оказались на одной голове». То, что голландцы относились отрицательно не к любым переговорам, а лишь к таким, в которых Великобритания должна была получить какие-то преимущества, станет ясно из того, что их министр показал, что он готов и имеет полномочия прекратить противодействие шагам, предпринятым королевой, представив памятную записку, в которой он заявлял, что «его руководители присоединились к этим шагам и решили не продолжать войну за возвращение Испании при условии, что королева согласится на то, что они введут войска в Гибралтар и в Порт-Магон совместно с нами и разделят с нами равным образом асьенто, право плавания в Южных морях и что бы ни было уступлено испанцами королеве и ее подданным».

То, что виги приняли участие в этом союзе вместе с иностранными державами против своей страны и своей королевы с неистовством еще менее объяснимым, чем то, которое ранее послужило причиной создания и существования Торжественной лиги и ковенанта, станет ясно из того, что их попытки действовать были направлены не только на то, чтобы вырвать из рук королевы руководство переговорами, но и на то, чтобы заставить свою страну продолжать войну на тех же неравноправных условиях, которые стоили ей уже почти на двадцать миллионов больше, чем она должна была бы вложить в нее. Ибо они не только продолжали играть роль пособников императора, который признал неспособность вносить свою долю, но равным образом и голландцев, после того как Штаты отказались ратифицировать договор, который их представитель подписал в Лондоне в конце 1711 года и согласно которому королева сильнее, чем ког-

да-либо, объединялась с ними, обязуясь продолжать войну, заключить мир и гарантировать его после заключения совместно с ними, «если они будут выполнять обязательства, которые взяли вместе с ней, и условия пропорциональных расходов, на которых наша нация вступила в войну».

На основе таких проектов, как эти, велась борьба против Утрехтского договора, и средства, при этом употреблявшиеся, и те, которые предполагалось употребить, были достойны этих проектов: открытое, прямое и бесстыдное отрицание законной власти, секретные заговоры против государства, низкие махинации против отдельных лиц, не виноватых ни в чем, кроме стремления закончить на основе полномочий, данных королевой, войну, которую другая партия в стране стремилась продолжать вопреки ее воле. Если бы правильная политика окончания войны была сомнительной, было бы столь же законным для тех, кто считал ее правильной, советовать вести ее, сколько для тех, кто считал ее ошибочной, советовать противоположное; и решение сюзерена на троне должно было бы положить конец спору. Но тот, кто судил в то время по видимости вешей и глядел на них с одной стороны, мог бы считать, что прекратить войну или действие Великой Хартии вольностей — одно и то же; что правящая королева не имеет права осуществлять власть независимо от ее наследника и ни один из ее подданных не имеет права осуществлять управление при ней, хотя бы она и желала этого, кроме тех, которых она сочла за благо отдать от себя.

Как бы ни были сумасбродны эти идеи, никакие другие не могут оправдать поведение тех, кто в это время выступал против мира, и, как я только что сказал, неистовство этой лиги было не более необъяснимо, чем неистовство Торжественной лиги и ковенанта, я мог бы добавить, что оно ненамного было менее преступным. Некоторые из тех, кто обвинял министров королевы после ее смерти в мнимом предательстве, были виновны при ее жизни в действительных изменах; и я могу сравнить безумие и неистовство господствовавшего тогда духа как перед заключением мира, так (под предлогом опасности, грозящей наследованию трона) и после него, не с чем иным, как с безумием и неистовством, охватившим тори вскоре после восшествия на

трон Георга I. Последние, которые были вызваны несправедливыми и политически не оправданными преследованиями, привели к открытой революции. Первые могли бы найти тот же выход, если бы королева прожила чуть дольше. Но возвратимся к теме.

Упорная приверженность голландцев к лиге, выступающей против королевы, сделала переговоры в Утрехте, когда они открылись, не более чем пародией на переговоры. Если бы люди, которые управляли этой республикой, были достаточно умны и честны, чтобы объединиться, хотя бы на это время, с королевой и, так как они не могли предотвратить созыв конгресса, действовать на нем в согласии с ней, мы могли бы достичь достаточного взаимопонимания между союзниками и достаточного превосходства над французами. Все частные требования королевы, как и самих голландцев, о том, чтобы или сорвать переговоры, или иметь в резерве, как обычно делают в таких случаях, определенные пункты, отправляться от которых было бы выгодно на переговорах, не были бы выполнены; но все существенные требования, все те, в частности, которые были действительно необходимы, чтобы обезопасить границы в Нидерландах и в четырех округах от Франции, были бы удовлетворены. Ибо Франция в этом случае продолжала бы скорее просить о мире, чем вести переговоры на равной ноге. Первый дофин, сын Людовика XIV, умер за несколько месяцев до начала конгресса; второй дофин, его внук, а также жена и старший сын этого государя умерли вскоре после его начала от какой-то неведомой болезни и были похоронены вместе в одной могиле.

Такие семейные несчастья, последовавшие за длинной цепью национальных неудач, заставили старого короля, хотя он нес их с большим внешним достоинством, стремиться к выходу из войны любой приемлемой ценой, чтобы не подвергать нынешнего короля, которому было всего пять лет, опасности вести ее. Королева делала все, что было морально допустимо, за исключением того, чтобы поступиться своей честью в переговорах, а также интересами своих подданных в условиях мира, стремясь обеспечить союз с Генеральными Штатами. Но, что бы она ни делала, все бы-



Граф Роберт Оксфорд

ло напрасно, и то же безумие, которое помешало Голландии использовать для своей и общей выгоды бедствия Франции, помешало им использовать для тех же целей семейные несчастья династии Бурбонов. Они продолжали тешить себя мыслью, что должны заставить королеву отказаться от принятых ею мер путем интриг с партией внутри Британии, которая выступала против этих мер, и даже поднять против нее восстание. Но эти интриги, а также интриги принца Евгения были раскрыты и расстроены, и мсье Бюи испытал унижение, когда лорд Оксфорд публично обвинил

его в них в момент, когда тот явился для прощания с лордами — членами совета; лорд коснулся многих подробностей, которых нельзя было отрицать, относительно тайных сделок этого рода, в которых принимал участие Бюи — в соответствии с инструкциями и, я полагаю, во многом против своей воли и симпатии.

Поскольку приближалось время летней кампании, лига решила противопоставить успехам конгресса успехи на поле брани. Но вместо того, чтобы помешать успеху конгресса, события кампании послужили только для того, чтобы обернуть этот успех в пользу Франции. В начале года королева и Штаты, действуя совместно, могли диктовать друзьям и врагам к большой выгоде первых и с таким же ущербом для последних, поскольку причины войны казались справедливыми, события ее — разумными, а цели — необходимыми.

В конце года союзники не были больше в состоянии диктовать, а Франция — подчиняться диктату; голландцы же обратились к королеве с просьбой о добрых услугах, не в силах более противиться ей и наносить ей оскорбления. Даже тогда эти услуги были им оказаны с усердием и принесли им известную пользу.

Так окончилась война, гораздо более благоприятно для Франции, нежели она ожидала и нежели рассчитывали те, кто положил ей конец. Королева хотела ослабить и унижить эту державу. Союзники, которые выступили против нее, хотели бы уничтожить ее и на ее обломках создать другую, столь же могучую. Ни та, ни другие не смогли добиться своего, и те, кто хотел сломить мощь Франции, сохранили ее, противясь тем, кто хотел ее ослабить.

Так как я упомянул о событиях 1712 года и их решающем значении для поворота в пользу Франции переговоров, то позвольте мне остановиться на этом предмете более подробно. Вы удостоверитесь, что я сделаю это с полным беспристрастием. Катастрофические события этой кампании в Нидерландах и их последствия приписывались отделению британских войск от армии союзников. Общественное возмущение этим шагом в то время было велико, и предубеждение, которое было порождено этим недовольством, среди некоторых сильно еще и сейчас. Но если недоволь-

ство породило эти предубеждения, то другие предубеждения в свою очередь породили это недовольство, что неудивительно в отношении людей, склонных продолжать войну. Я признаюсь совершенно открыто, что, когда до моего сведения дошел первый шаг, который вел к этому отделению, — это произошло, между прочим, задолго до того, как я написал по приказанию королевы герцогу Ормонду в тех самых словах, в каких это приказание было сформулировано и отдано (что «он не должен вести какой-либо осады или завязывать сражения вплоть до дальнейшего приказа»), — я был удивлен и уязвлен. Настолько, что, если бы имел возможность переговорить с королевой наедине после того, как я получил письмо мсье де Торси по этому вопросу, и до того, как она отправилась на совет, я бы сгоряча, вероятно, стал бы возражать против этого решения. Правда тем не менее заключается в том, что этот шаг был оправдан в тот момент во всех отношениях и что последствия должны быть отнесены на счет тех, кто сами их навлекли, а не на счет королевы или министра, который ей советовал.

Шаг этот был, конечно, оправдан по отношению к союзникам, так как королева, предпринимая его, взяла на себя не более и даже значительно менее того, что делали многие из них, приостанавливая, подвергая опасности и срывая военные действия в разгар войны, когда они отказывались от посылки войск, или откладывали их выступление, или не заботились о приготовлениях, которые должны были делать, под весьма несерьезными предлогами. В ходе ваших исследований Ваша светлость встретится со многими частными примерами того, на что здесь указывается в общем. Но я не могу не сказать о нескольких примерах, касающихся императора и Генеральных Штатов, которые негодовали громче всех и с наиболее выгодным для себя результатом, хотя имели наименьшие основания жаловаться на поведение королевы из-за своего собственного.

На каком основании, например, император мог жаловаться на приказы, посланные герцогу Ормонду? Я не говорю ничего о малой численности его войск, которая в тот самый момент доходила до того, что едва ли более одного полка, находящегося в его непосредственном подчинении, дей-

ствовало против Франции и Испании, как я на следующий день официально заявил принцу Евгению перед лордами — членами совета и доказал на бумаге.

Я не говорю ничего о том, что предшествовало 1707 году, о чем мог бы многое сказать. Но я желал бы, чтобы Ваша светлость приняла во внимание то, что, как Вы узнаете, произошло после знаменитого 1706 года. С согласия королевы или против ее желания император заключил договор об эвакуации Ломбардии, чем предоставил достаточно времени, чтобы столько французских полков было рекрутировано у себя дома, направлено в Испанию и разгромило британские войска при Альмансе? С согласия ее или против ее желания он, вместо того чтобы, используя все свои войска и прилагая все усилия, осуществить величайший замысел всей войны — тулонскую операцию, — отрядил двенадцать тысяч человек для овладения Неаполитанским королевством, которое и так должно было пасть? И возможность уничтожить все морские силы Франции и разорить или подчинить ее области с той стороны была потеряна только из-за этой ненужной диверсии и из-за поведения принца Евгения, которое не оставляло сомнения в том, что он намеренно и в согласии с венским двором допустил эту фатальную неудачу.

Взгляните, Ваша светлость, на поведение Штатов, и у Вас найдется причина прийти в изумление от наглости людей, стоявших там в то время у власти и осмелившихся поднять голос против королевы Великобритании за то, что их представители сами совершали не раз в этой самой стране и в ходе этой же войны. В 1712 году, при окончании войны, когда начались переговоры о заключении мирного договора, когда малейшее неблагоприятное событие на поле брани уменьшило бы то преимущество, которым союзники обладали за столом переговоров, и когда предшествующие военные успехи уже обеспечили им то преимущество, в котором они нуждались, достаточное для того, чтобы добиться безопасного, выгодного, почетного и длительного мира, королева дала распоряжение своим генералам приостановить до дальнейшего приказа военные действия. В 1703 году, в начале войны, когда нельзя было надеяться на какие-либо успехи, не пойдя ради этого на известный риск, и когда тя-

желое положение в Германии и Италии настоятельно требовало активизации действий в Нидерландах, чтобы война не ослабевала там в то время, когда во всех остальных местах она велась неудачно, герцог Мальборо решил атаковать французов. Однако голландские представители не позволили своим войскам выступить, разрушили его план в тот самый момент, когда он приводился в исполнение (насколько я помню), и для своего поведения не нашли другой причины, чем та, которая служит доводом против любого сражения, — возможность оказаться побежденными. Я знаю, что указывалось на то обстоятельство, что границы их были близки, и говорилось, что их провинции в случае поражения оказались бы незащищенными от вторжения французов. Но, помимо других ответов на эту пустую отговорку, было очевидно, что они уже предпринимали сражения в такой же близости от границ и что способ отдалить врага заключается в действии, а не в бездействии.

В целом же голландские представители остановили в это время продвижение союзных войск, пользуясь неограниченной и независимой властью над войсками Провинций.

В 1705 году, когда успех предыдущей кампании должен был внушить им полное доверие к руководству герцога Мальборо, когда, возвратясь с Мозеля в Нидерланды и преодолев французские позиции, он начал возмещать себе и общему делу ущерб, который только что перед этим был понесен им вследствие зависти и раздражения принца Баденского или обычной медлительности и небрежности немцев; в то время, когда он стремился как можно более полно использовать преимущество и находился на марше, чтобы атаковать неприятеля, наполовину побежденного и более чем наполовину деморализованного; более того, когда он уже составил диспозицию для атаки и часть его войск уже переправилась через Дайл, — представители Провинций еще раз связали ему руки, лишили его возможности, слишком благоприятной, чтобы быть упущенной (таковы, я полагаю, были некоторые пункты его жалобы), — короче говоря, союзники получили по меньшей мере афронт там, где мы могли бы добыть победу.

Пусть то, что сказано, послужит примером, показываю-



Герцогиня Мальборо

шим, с какой степенью независимости от королевы, решений ее военных советников и ее генералов действовали в ходе войны эти государства, которые не постеснялись обвинить королеву за то, что она лишь однажды и в конце войны позволила себе приостановить действия своих войск до дальнейшего приказа. Но пусть это произошло из-за того, что они предвидели, каков будет этот дальнейший приказ. Они



Герцог Мальборо

предвидели тогда, что, как только Дюнкерк попадет в руки королевы, она согласится на двухмесячное перемирие и порекомендует им сделать то же самое. Ни это предвидение, ни ясное заявление, сделанное епископом Бристольским в

Утрехте по приказанию королевы, которое показало им, что ее решение было принято не для того, чтобы подчиниться заключенному ими против нее союзу, — ничто не могло заставить их правильно использовать эти два месяца: попытаться возобновить их союз и доброе согласие с королевой, хотя я могу сказать в полном соответствии с истиной и хотя они сами в то время не сомневались, что она охотно пошла бы навстречу им более чем на половину пути и что ее министры сделали бы все, что могли, чтобы это произошло.

Даже в этот момент мы могли восстановить превосходство, которое начали терять в союзническом конгрессе, ибо, если бы королева и Провинции объединились, другие основные союзники примкнули бы к ним, и в этом случае Франция была бы в такой мере заинтересована в том, чтобы избежать возобновления войны, что должна была бы пойти и пошла бы ради сохранения мира на гораздо более тяжелые условия для себя и для Испании, чем те, на которые она пошла впоследствии. Но благоразумные и трезвые Штаты продолжали вести себя как своевольные дети или как люди, опьяненные злобой и гневом; и таковым будет поведение мудрейших правительств во всех случаях, когда среди тех, что находятся у власти, групповые и личные интересы будут брать верх над государственными соображениями.

После того, как была отброшена всякая пристойность в их поведении по отношению к королеве, они оставили и всякую осмотрительность по отношению к самим себе. Они объявили, что «будут продолжать войну без нее». По их оценке, Ландреси представляло большую ценность, чем Дюнкерк; а возможность опустошить несколько французских провинций или поставить судьбу всей войны на карту еще одного сражения казалась предпочтительнее другого шага, открытого для них: я имею в виду попытку проверить во время перемирия со всей серьезностью и в честном сотрудничестве с королевой, можно ли добиться от Франции таких условий мира, которые бы удовлетворили их и других союзников.

Если бы соединенные армии прорвались на территорию Франции в ходе предшествующей кампании или какой-либо из прежних кампаний; и если бы немцы и голландцы вели себя тогда с той же бесчеловечностью, с какой вели себя

французы на их территориях во время прежних войн; если бы они сожгли Версаль или даже Париж, если бы осквернили прах почивших государей, который находится в соборе Сен-Дени, каждый добропорядочный человек испытывал бы ужас, возбуждаемый подобными жестокостями; и все же никто бы не мог сказать, что возмездие несправедливо. Но в 1712-м было слишком поздно во всех отношениях лелеять подобные планы. Если бы французы не были готовы к защите своей границы — или из-за нехватки сил, или в тщетной надежде, что будет заключен мир, подобно тому, как наш король Карл II был не готов к защите побережья в конце первой войны с Голландией, — союзники могли играть наверняка, осуществляя мщение, как это сделали голландцы с нами в 1667 году, и заставив французов принять более жесткие условия, чем те, которые они предлагали или готовы были принять. Но обстоятельства были иными. Французская армия была, как я полагаю, более многочисленна, чем армия союзников даже до ее раскола, и, конечно же, в лучшем состоянии, чем два или три года назад, когда было пролито море крови, чтобы выбить их из позиций (ибо большего мы не совершили) при Мальплаке. Неужели немцам и голландцам было бы легче прорвать их оборону сейчас, чем тогда? Неужели французы не стали бы с таким же упорством защищать Париж, с каким они защищали Монс? И, отдавая должное герцогу Ормонду и принцу Евгению, разве не следует принять во внимание отсутствие герцога Мальборо? Взгляните на этот вопрос со всех точек зрения, милорд, и Вы придете к убеждению, что немцы и голландцы стремились только к одному: в любом случае, любой ценой и с небольшим риском сорвать начатые переговоры и навязать Великобритании необходимость продолжения столь долго выполняемых ею союзнических обязанностей. Да, обязанностей, и притом невысоко оцениваемых, так как конфедераты присвоили себе право требовать от нее выполнения соглашений с ними, освободив себя от обязательств по отношению к ней; обременяя ее без меры, без соблюдения пропорций и правил расходами на войну, в которую она одна вложила больше их всех, вместе взятых, и в которой она уже не была непосредственно заинтересована

и не имела даже никаких отдельных от союзников целей, а те, что она преследовала, давали ей весьма сомнительные выгоды, после всего этого жалуясь на то, что королева осмелилась склониться к мирным предложениям и начать переговоры, тогда как их нрав и амбиция требовали продолжения войны в течение неопределенного времени и ради цели, которая была или предосудительной, или неясной.

Прекращение военных действий, которое началось с Нидерландов, было продолжено и расширено в соответствии с актом, который я подписал в Фонтенбло. Тем временем военное счастье повернулось в другую сторону — последовали все те позорные провалы, которые вынудили голландцев вступить в переговоры и стремиться к поддержке королевы, к которой они только что проявляли полное пренебрежение. Эту поддержку они получили в той мере, в какой она могла быть эффективной при обстоятельствах, в которые они поставили себя и всю коалицию. И Великобритания, Португалия, Савойя, Пруссия и Соединенные Провинции заключили мир без согласия его императорского величества весной 1713 года, тогда как он мог бы быть заключен на гораздо более выгодных для них всех условиях в 1712-м. Меньше упорства со стороны Провинций, и, возможно, больше определенных решений со стороны королевы — и все разрозненные нити были бы связаны воедино, а весь этот большой труд был бы закончен гораздо раньше и лучше. Я говорю: «возможно, больше определенных решений со стороны королевы», — потому, что, хотя и думаю, что передал бы ее приказы о подписании мира с Францией с гораздо большей готовностью до того, как начались военные действия, а не тогда, когда я выполнил их при подписании перемирия, все же я не осмеливаюсь судить сам, а хотел бы, чтобы это сделала Ваша светлость после обзора всех обстоятельств, о которых я сейчас скажу.

Когда составила лига, она с самого начала переговоров выступила за продолжение войны, против королевы, используя всю свою силу и все возможные средства. Общим следствием этой яростной оппозиции для королевы и ее министров было то, что дальнейшие шаги предпринимались ими более медленно и осторожно; частное же следствие



Король Людовик XIV

заклучалось в том, что они вынуждены были открыть глаза нации и зажечь в народе стремление к миру, показав наиболее публичным и торжественным образом, как несправедливо распределялось бремя военных расходов и как нечестно вели себя с нами союзники. Первое создало видимость неуверенности и робости в их поведении, что только воодушевило лигу и усилило оппозицию. Второе раздражило, в особенности голландцев, так как император и другие союзники имели скромность по крайней мере не притворяться, будто они несут соразмерные военные расходы. Таким образом, две державы, союз которых имел наибольшее значение, дальше всего разошлись между собой, и королева была вынуждена действовать в более тесном сотрудничестве со своим врагом, который желал мира, чем это она бы делала, если бы ее союзники были менее упрямы в стремлении продолжать войну. В ходе дел лорд Оксфорд, который всегда держал в руках свою особую нить переговоров, возымел надежды, что Филиппа можно убедить отказаться от Испании в пользу его тестя и удовольствоваться владениями этого государя, королевством Сицилия, и сохранением своего права наследования французской короны. Имел ли милорд какие-то особые основания, чтобы питать эти надежды, кроме общих соображений, исходящих из оценки положения Франции, положения династии Бурбонов и намерений Людовика XIV, я сильно сомневаюсь. Людовик, который искал мира и был вынужден его искать чуть ли не любой ценой, который понимал, что он может его получить даже от королевы, если Филипп не откажется от испанской короны или не откажется немедленно, путем отречения и торжественного акта об исключении, от всех претензий на французскую корону, — не сомневаюсь, что Людовик желал первого. Я также верю, что Филипп отказался бы от Испании взамен на упомянутые выше компенсации или на одну из них, если бы нынешний король Франции умер после смерти его отца, матери и старшего брата, ибо все они страдали от одной болезни. Но Людовик не хотел прибегать к крайним мерам, чтобы заставить своего внука, равно как и королева не хотела ради того продолжать войну. Филипп был слишком упрямым, а его жена слишком честолюби-

ва, чтобы отказаться от испанской короны, когда они обнаружили нашу слабость и почувствовали свою силу в этой стране вследствие их успеха в кампании 1710 года, после которой милорд Стенхоп сам был убежден, что Испанию нельзя победить или удержать, если она будет побеждена, без гораздо большей армии, чем та, какую мы могли туда послать. В этой ситуации было безрассудно предполагать, как предполагал лорд Оксфорд или делал вид, что предполагает, будто они откажутся от испанской короны ради отдаленной и неясной перспективы наследовать французский престол и удовлетвориться тем временем весьма небольшими владениями. Филипп поэтому после долгой борьбы за то, чтобы не быть вынужденным делать выбор, пока французское наследство оставалось для него открытым, должен был его сделать и сделал его в пользу Испании. И вот это, милорд, было критическим пунктом переговоров, и к этому моменту я отношу то, что я сказал выше о последствиях более определенных решений со стороны королевы. Было ясно, что, если бы она вела кампанию в согласии со своими союзниками, она не могла бы быть хозяйкой положения на переговорах и почти не имела бы шансов на то, чтобы провести их так, как предполагала. Наша неудача на поле сражения сделала бы французов более неустойчивыми за столом мирных переговоров, наша удача сделала бы таковыми наших союзников. Основываясь на этом, королева приостановила действия своих войск, а затем заключила соглашение о перемирии.

Сравните теперь внешние обстоятельства и последствия того шага с обстоятельствами и последствиями, которые бы повлекло за собой другое решение. Для того, чтобы добиться мира вообще, было необходимо сделать то, что сделала королева, или еще больше; для того же, чтобы добиться хорошего мира, было необходимо быть готовым к продолжению войны и показать это; ибо перед ней стояла трудная задача быть настороже как в отношении врагов, так и союзников. Но в этой сумятице, когда лишь немногие были в состоянии судить о вещах трезво, поведение ее полководца, после того как он начал военные действия, хотя он и прикрыл союзников в осаде Ле-Кенуа, плохо соответство-

вало, на первый взгляд, тем заявлениям о намерении энергично вести войну, которые делались несколько раз до начала кампании. Оно походило на двойную игру, и таким оно прослыло среди тех, кто не принимал во внимание все обстоятельства момента, или тех, кто был всецело во власти мысли о национальной необходимости продолжать войну. Возмущение не могло быть большим, если бы королева подписала сепаратный мир; но я думаю, что внешнее впечатление могло быть объяснено в благоприятном смысле как в первом, так и во втором случае. После смерти императора Иосифа не в наших и не в общих правильно понятых интересах было бы возлагать испанскую корону на голову нынешнего императора. Поэтому, как только Филипп сделал выбор (и если бы она приняла это решение раньше, его выбор был бы сделан еще быстрее), я полагаю, что королева могла объявить, что она не будет продолжать войну ни часом больше, чтобы предоставить Испании в распоряжение императорского величества; что обязательства, которые она взяла на себя в то время, когда он был эрцгерцогом, более не связывают ее; что вследствие его вступления на императорский трон сама суть их изменилась; что она предприняла эффективные меры, чтобы предотвратить в сколь угодно отдаленном будущем соединение корон Франции и Испании и в соответствии с тем же принципом не согласится, а тем более — не будет воевать ради того, чтобы осуществить немедленное объединение имперской и испанской корон; что те, кто настаивают на продолжении войны, желают этого объединения; что они не могут желать ничего иного, если отважились скорее порвать с ней, чем вести мирные переговоры, и выразили такую готовность добиваться с помощью ненадежной военной удачи разумного удовлетворения, которого они в любом случае могли добиться без риска; что она не желает более подвергаться этому обману и приказала своим министрам подписать мир с Францией на условиях передачи в ее руки Дюнкерка; что она не спешит предписывать что-либо своим союзникам, но что она настояла, в их интересах, на определенных условиях, которые Франция вынуждена была принять в пользу тех из них, кто подпишет мирные договоры одновременно с

ней или согласится на немедленное прекращение военных действий, а во время перемирия — на переговоры при ее посредничестве. В такой линии поведения было бы больше искренности и достоинства, а результат должен был быть более благоприятным. Франция уступила бы больше за сепаратный мир, чем за перемирие; а на голландцев произвела бы большее впечатление перспектива первого, чем второго, в особенности из-за того, что эта линия поведения совершенно отличалась бы от их собственной в Мюнстере и Нимвегене, где они оставили своих союзников только на том основании, что они извлекали из этого выгоду для себя. Перерыв в военных действиях королевы, даже перемирие между ней и Францией были не окончательными; и они могли питать и питали надежды на то, чтобы снова затащить ее под свое и немецкое ярмо. Таким образом, этого было недостаточно, чтобы обуздать их упрямство и удержать от всей той злосчастной поспешности, какую они проявили, чтобы потерпеть поражение при Денене.

Но возможно, что они оставили бы свои тщетные надежды, видя, что министры королевы готовы подписать мирный договор, а некоторые из основных союзников готовы подписать его одновременно. В этом случае несчастье, которое последовало, могло бы быть предотвращено, а коалиция могла бы добиться лучших условий мира: вместо императора на испанский трон взошел бы принц из дома Бурбонов, который никогда бы не мог стать королем Франции; испанский скипетр ослабел бы в руках одного, а императорский скипетр укрепился бы в руках другого; Франция смогла бы оправиться от прежних ударов и закончить долгую неудачную войну двумя успешными кампаниями; ее честолюбие увяло бы, а могущество ослабело вместе с ее старым королем и при последующем правлении малолетнего государя; одно из них по крайней мере могло быть так сведено на нет условиями мира (если бы можно было предотвратить поражение союзников в 1712 году и утрату стольких городов, захваченных французами в этом и следующем годах), что второе не представляло бы опасности, если даже допустить, что оно бы продолжало существовать, в то время как сейчас, я считаю, спокойствие Европы зависит в боль

шей мере от недостатка честолюбия, чем от недостатка силы со стороны Франции.

Но, доводя до конца сравнение двух линий поведения, можно предположить, что после объявления королевой сепаратного мира голландцы действовали бы так же, как они действовали после объявления ею перемирия. Приготовления к кампании в Нидерландах были сделаны; голландцы как и другие конфедераты, вполне обоснованно полагались на свои войска, но совершенно безосновательно умаляли силу войск противника; их оставила обычная трезвость суждения и осторожность из-за честолюбивых надежд на обширные приобретения, искусно в них возбужденных. Остальную часть союзнической армии составляли имперские и немецкие войска, и, таким образом, голландцы, имперцы и другие немцы, имея возможность преследовать цель, которая уже не являлась целью всей конфедерации, могли на сей раз объединиться против королевы, как они уже делали раньше; ущерб, нанесенный им самим и общему делу, можно было предотвратить. Без сомнения, положение дел могло быть таким. Они могли льстить себя надеждой на то, что смогут прорваться во Францию и заставить Филиппа из-за трудного положения, в которое будет поставлен его дед, отказаться от испанской короны в пользу императора даже после того, как Великобритания, Португалия и, возможно, также Савойя вышли бы из войны, ибо эти государи столь же мало, сколь и королева, желали видеть испанскую корону на голове императора. Но даже в этом случае, хотя безумие могло быть бóльшим, последствия не могли быть худшими. Королева могла быть полезной конфедератам в качестве посредницы в переговорах в такой мере, в какой они предоставили бы ей эту возможность, будучи стороной этих переговоров; а Великобритания получила бы возможность намного раньше освободиться от бремени, которое было навязано ей вследствие капризной и порочной политики и продолжало тяготеть над ней, пока не стало невыносимым. Относительно этих двух линий поведения в те времена, когда мы могли избрать любую из них, некоторые лица полагали, что последняя предпочтительнее первой. Однако дело так и не дошло до публичного обсуждения. Иначе и не могло быть — так

много времени было потрачено на ожидание выбора Филиппа, а прекращение военных действий и перемирие было вынесено на совет скорее как решенное дело, чем как предмет дискуссии. Если бы Ваша светлость или кто-то еще рассудили бы, что в тех обстоятельствах, в которых находилась конфедерация в начале 1712 года, следовало избрать второй путь и разрубить гордиев узел, вместо того чтобы терпеть затяжные притворные переговоры, в ходе которых французы извлекали столько преимуществ из разъединения союзников, короче говоря, если следует вменить в вину советникам королевы в то время медлительность, растерянность, непоследовательность и нерешительность, если следует сказать, в частности, что она пропустила надлежащий момент, когда поведение лиги, направленное против нее, будучи изобличено перед всем миром, оправдало бы любые шаги, предпринятые ею (хотя она и объявила вскоре после того, как момент уже был упущен, что это поведение освободило ее от всех обязательств), и когда она должна была одним решительным шагом освободить своих союзников от войны или себя — от конфедерации, прежде чем она утратила свое влияние на Францию, — если все это должно быть вменено в вину, то все же доказательства, привлеченные, чтобы поддержать обвинение, показывают, что мы были лучшими союзниками, чем политиками, что желание королевы вести переговоры совместно со своими союзниками и принятое ею решение не подписывать соглашения без них привели к тому, что ей пришлось вынести то, чего не приходилось выносить ни одной коронованной особе, и что там, где она ошибалась, ошибка проистекала главным образом из-за терпения, уступчивости и снисходительности, проявляемых ею по отношению к ним и к ее собственным подданным, находящимся в сговоре с ними.

Подобные упреки могут быть сделаны по поводу поведения королевы в ходе этого великого предприятия, точно так же как упреки в человеческих слабостях могут быть сделаны в адрес тех лиц, которых она использовала для его осуществления. От этих слабостей не были свободны, я полагаю, ни те, кто им предшествовал, ни те, кто последовал за ними. Но принципы, на основе которых они действова-

ли, были честными, средства, которые они использовали, — законными, а результат, которого они хотели достичь, — справедливым. В то же время самое основание всякой оппозиции миру коренилось в несправедливости и безрассудстве. Ибо что могло быть более несправедливым, чем попытка голландцев и немцев заставить королеву продолжать войну ради их частных интересов и замыслов, непропорционально большие расходы на которую были обременительны для торговли ее подданных и отяготили их долгами на долгие времена? Войну, цель которой так изменилась, что начиная с 1711 года королева вела ее, не только не будучи связана каким-либо обязательством, но и против своих собственных и общих интересов? Что могло быть глупее — Вы подумаете, что я слишком смягчил выражение, и будете вправе так думать, — что могло быть глупее, чем попытка со стороны одной группы людей в Британии продлить войну, столь разорительную для их страны, без каких-либо доводов, которые они осмелились бы открыто высказать, кроме мести Франции за обиды Европы и соединения имперской и испанской корон на голове австрийца? Один из этих доводов требовал мести за слишком большую цену, а другой должен был подвергнуть свободы Европы новым опасностям таким завершением войны, которая была начата ради их утверждения и обеспечения.

Я остановился столь пространно на поведении тех, кто содействовал и кто противился мирным переговорам в Утрехте, на сравнении той линии поведения, которой придерживалась королева, и той, которой она могла бы придерживаться, потому что та большая польза, которую мы должны получить от изучения истории, не может быть добыта, если мы не приучим себя сравнивать поведение различных правительств и различных партий в одних и тех же обстоятельствах и наблюдать за действиями, к которым они прибегали и к которым могли бы прибегнуть, и возможными и действительными последствиями, которые вытекали из тех и других. Благодаря такому упражнению ума изучение истории опережает опыт, как я заметил в одном из первых писем, и готовит нас к действию. Если это соображение не извиняет в достаточной мере моего многословия по данно-

му вопросу, то я могу добавить еще одно, которое может это сделать.

Вплоть до смерти покойной королевы одна партия в нашей стране была одержима воинственным пылом; после нее той же партией овладел пыл мирных переговоров. Вы видели последствия первого — Вы видите теперь последствия второго. Воинственный пыл довершил разорение нашей нации, начало которому положила еще революция; но тогда, в последней войне, он создал репутацию нашему оружию, а также нашим дипломатам. Ибо, хотя я считаю и, должно быть, всегда буду считать, что принцип, которого мы придерживались в наших действиях после отказа от того, на котором основывался великий союз 1701 года, был ложным, все же мы должны признать, что ему следовали и мудро, и смело. Стремление к ведению переговоров было сходным образом уязвимо, во всяком случае, уязвимо в той же мере. Вместо того чтобы выплатить долги, сделанные во время войны, они продолжают их делать почти так же после двадцати трех лет мира. Те налоги, которые более всего стесняют наши коммерческие интересы, все еще заложены [в обеспечение долга], а те, что более всего ущемляют интересы землевладельцев, вместо того, чтобы вводиться в чрезвычайных случаях, стали обычными фондами, используемыми для покрытия государственных расходов. Это тем более горестно для каждого человека, который принимает близко к сердцу честь своей страны и ее процветание, что в этом случае у нас нет того слабого утешения, которое мы находили в другом.

Перевод А. Т. Парфенова



**ВОЛЬТЕР (псевдоним)
(настоящее имя:
МАРИ ФРАНСУА АРУЭ)**

21 ноября 1694 г. — 30 мая 1778 г.

Жизнь

Вольтер родился в Париже, в семье буржуа. Отец его был нотариусом.

После смерти матери маленького Франсуа отдали на обучение в иезуитскую коллегию при монастыре, в котором монахи постарались привить ему интерес к наукам и христианскую любовь к ближнему.

После выхода в 1719 г. из коллегии Вольтер решил посвятить себя писательской деятельности, хотя первое время по совету отца изучал право.



Вольтер

Уже первые сатирические сочинения Вольтера создали ему репутацию вольнодумного и опасного человека. В них поднимались социальные и политические проблемы, волновавшие французскую общественность.

В 1717 г. два его стихотворения, обличавших беззакония, царившие при регентстве, стали причиной его заточения в Бастилию. На этот произвол властей молодой поэт ответил новыми стихами и пьесой, в которых восхвалялись законность, терпимость мнений и резко критиковались тирания и религиозные предрассудки.

В 1726 г. Вольтер за пропаганду вольнодумных идей был выслан из Франции в Англию, где страной и обществом управляла конституция, а не произвол монарха, что не могло не отразиться на творчестве одного из основоположников



Король Людовик XV



Маркиза де Помпадур

Просвещения. В Англии Вольтер пишет «Философские письма», в которых, исследуя либеральный строй Англии, намеками подчеркивал его превосходство над абсолютистской монархией Франции. За это в 1734 г. французский парламент приговорил его «Письма» к сожжению.

После возвращения во Францию в 1745 г. Вольтер был приближен ко двору короля Людовика XV и получил звание камергера и придворного историографа.

Король не понимал и не ценил стихотворений Вольтера в честь любовницы короля, госпожи Помпадур, у королевы они вызывали ревность, а вельможи не прощали поэту постоянных колкостей и эпиграмм. Поэтому вскоре ему пришлось покинуть Париж и уехать в замок Сирэ на границе Лотарингии, с хозяйкой которого, маркизой дю Шатле, Вольтер сблизился на долгие годы. Дю Шатле сумела превратить свой замок в своеобразный культурный центр с большой библиотекой и домашним театром, куда приезжали многие высокообразованные люди Франции. В Сирэ Вольтер написал свой монументальный труд по всемирной истории — «Опыт о нравах и духе народов».

После смерти дю Шатле в 1750 г. Вольтер принимает предложение прусского короля Фридриха II, своего страстного поклонника, приехать в Берлин. Однако через три года, поняв, что он нужен Фридриху II лишь для политических игр, покидает Германию и в 1754 г. селится возле Женевы.

В 1758 г. Вольтер перебирается в свое имение Ферне на границе Франции и Швейцарии, где он прожил фактически до конца жизни и написал значительную часть своих произведений. Но в Ферне Вольтер не ограничился лишь литературной деятельностью — он развернул бурную общественную деятельность. Его публицистическая борьба с мракобесием и нетерпимостью к чужим мнениям католических священников шла параллельно с практической деятельностью в защиту жертв католической церкви: Вольтер, апеллируя к общественному мнению Европы и затрачивая огромные суммы, добился пересмотра судебных дел и освобождения несчастных.

Благодаря Вольтеру Ферне из маленького селения превратился в цветущий городок, став не только местом паломничества многих вольнодумцев, но и убежищем для немалого числа изгоев из Франции и Швейцарии.

В 1778 г. на вершине европейской славы Вольтер решил нарушить запрет французского короля и вернуться в Париж. Власти так и не смогли этому воспрепятствовать.

Вольтер с триумфом, под общее ликование въехал в город. Но через несколько дней, утомленный дорогой, великий просветитель скончался.

Судьба

Судьба Вольтера была удивительной и запутанной. Долгие годы он мечтал о просвещенном монархе, который управлял бы страной и своими подданными на основах разума и гуманистических начал. Вольтер и сам стремился ко двору и власти, чтобы помогать монарху «правильно» управлять государством, но каждый раз становился жертвой произвола.

Больше всего он был потрясен отношением к себе прусского короля Фридриха II, который в письмах к нему всячески приветствовал идеи «просвещенной монархии» и приглашал его в Пруссию. Приехав в Берлин, Вольтер был приятно удивлен просветительскими идеями, которые высказывались при дворе, но вскоре увидел, что Фридрих II далек от его идей. Это вызвало со стороны Вольтера массу колкостей и эпиграмм в адрес короля и его фаворитов, что окончательно охладило отношения между Вольтером и Фридрихом II.

После одного из военных парадов король, сухо распрошавшись, отпустил Вольтера из Пруссии. Но вслед за ним были посланы агенты Фридриха II, вспомнившего, что у Вольтера остались его черновые стихи, в том числе и поэма, которая могла подорвать престиж прусского короля. Во Франкфурте-на-Майне Вольтера задержали и грубо, не обращая внимания на представителей властей независимого города, обыскали и больше месяца держали под арестом. В конце концов измученного и оскорбленного Вольтера отпустили.

Только перебравшись в имение Ферне, он смог частично реализовать свои мечты. Благодаря помощи Вольтера в Ферне нашли приют женевские ремесленники, не имевшие полных прав у себя на родине. В голодный 1771 г. Вольтер организовал бесплатную раздачу продуктов населению, как у себя в имении, так и в близлежащих французских провинциях. Он также сумел добиться в Пе-де-Ге освобождения монастырских крестьян от личной зависимости. В результа-

те кипучей общественной и публицистической деятельности и благодаря широкой европейской славе с мнением Вольтера стали считаться многие европейские монархи.

Творчество

В 50–60-е гг. появляются основные исторические сочинения Вольтера — одного из основоположников французского Просвещения XVIII в., взгляды которого заметно эволюционируют в новых условиях. Вольтер был выдающимся историком своего времени. Его перу принадлежат ряд исторических трудов — «Век Людовика XIV» (1768), «Обзор века Людовика XV (1755 — 1763)», «История России в царствование Петра Великого» (1759 — 1763) и другие.

Наиболее монументальное историческое сочинение Вольтера — «Опыт о нравах и духе народов и о главных исторических событиях» (1756) — охватывает огромный период от Карла Великого до Людовика XIII. Вольтер — автор статьи «История» для Энциклопедии Дидро. В целом его сочинения содержали изложение событий мировой истории с первобытных времен до середины XVIII века.

Ниспровергая теологические традиции средневековья, Вольтер закладывал основы новой исторической мысли. Внимание историков прошлого обращалось на деятельность королей и полководцев, на придворные и военные события. «Я вижу почти повсюду, — писал Вольтер, — только историю королей; я хочу написать историю людей; историк должен уделять особое внимание обычаям, законам, нравам, торговле, финансам, сельскому хозяйству, населению». В соответствии с этим Вольтер заложил основы новому осмыслению человеческой истории как истории народов, а не отдельных личностей, намного расширил и географические рамки истории. Старая историческая схема, основанная на библейской традиции, включала в орбиту всемирной истории европейские страны, а также страны, так или иначе затронутые в Библии (Египет, Вавилон, Ассирия, Персия и др.); Вольтер стремился на доступном ему материале воссоздать историю арабов и других народов Азии, Африки,



Маркиза де Шатле
Современная гравюра

Америки. Недаром свой «Опыт о нравах» Вольтер начал с истории Китая и Индии.

Одним из первых Вольтер поднял вопрос о необходимости критического подхода к источнику. Вопреки господствующему мнению, что Библия и творения «отцов церкви» являются абсолютно достоверными, Вольтер призвал руководствоваться здравым смыслом и разумом при использовании исторических источников. Все сверхъестественное, противоречащее естественному порядку природы, должно быть изгнано из истории.

Отражая оптимистическое мироощущение образованной части третьего сословия, Вольтер выступал одним из при-



Лицо Вольтера

Зарисовки Жанна Гюбера

верженцев теории прогресса. Ему была чужда идеализация первобытного общества как счастливого первоначального состояния человечества. Основную задачу своей всемирной истории Вольтер видел в том, «чтобы показать, через какие ступени люди прошли от грубого варварства прежних вре-



Вольтер и король Фридрих II

мен к культуре нашего». Главным двигателем исторического прогресса для Вольтера были развитие человеческого разума и просвещения. А основные препятствия на пути прогресса — суеверие, религиозный фанатизм, невежество. Прогресс человечества совершается в тяжелой борьбе этих двух сил. В конечном счете дух просвещения берет верх. Европа теперь, в XVIII в., более населена, более цивилизована, более богата, чем в период, например, Карла Великого и даже в римские времена.

Резкая неприязнь Вольтера к европейскому средневековью отразилась в трактовке его как хаоса, в котором сильный подавляет слабого, а народ прозябает в состоянии рабства. Однако, признавая тяжелое положение простого народа, Вольтер тем не менее испытывал неприязнь к народным восстаниям и движениям. Он понимал, что они были вызваны тем, что сеньоры «обращались с крестьянами как с животными». Но его отталкивали насильственные действия этих «мужланов», которые защищали идею равенства людей методами «хищных зверей». Склоняясь в политике к идее просвещенного абсолютизма, Вольтер стремился найти историческое подтверждение этой идеи. Отсюда — возвеличивание Людовика XIV, Генриха IV, Карла Великого, Петра I как властителей, способных и стремившихся, по его мнению, провести нужные преобразования «сверху».

В целом борьба Вольтера с теологией, выдвинутое им новое понимание задач исторической науки, идея общественного прогресса оказали сильнейшее воздействие на развитие исторической мысли. Отмечая заслуги Вольтера, А. С. Пушкин образно отметил, что он «первый пошел по новой дороге и внес светильник философии в темные архивы истории».

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ — это изложение фактов, приведенных в качестве истинных, в противоположность басне, которая является изложением фактов ложных.

Существует история мнений, которая есть не что иное, как собрание людских заблуждений; история (механичес-



Король Карл Великий

ких) искусств является, возможно, самой полезной из всех, когда она сочетает изучение изобретений и прогресса (механических) искусств с описанием их механизма; естественную историю неточно называют историей, так как она составляет существенную часть физики.

История событий делится на священную и гражданскую. Священная история — это ряд божественных и чудесных действий, с помощью которых богу было угодно некогда руководить еврейским народом, а ныне испытывать нашу веру. Я совсем не коснусь этого почтенного предмета.

Фундамент всякой истории составляют рассказы отцов детям, передаваемые из поколения в поколение; первоначально они являются лишь вероятными, но с каждым поколением степень вероятности падает. Со временем басня разрастается, а истина исчезает, поэтому происхождение каждого народа стало нелепицей. Например, египтянами в течение долгих веков правили боги, затем полубоги, наконец, в течение 11340 лет у них были цари, и в этот отрезок времени солнце четыре раза изменяло место своего восхода и заката.

Финикийцы считали, что они жили в своей стране 30 000 лет, и эти 30 000 лет были заполнены такими же чудесами, что и египетская хронология. Известно, какие смехотворные чудеса царят в древней греческой истории. Римляне, как бы серьезны они ни были, тем не менее наполнили баснями первые века своей истории. Этот народ, столь новый по сравнению с азиатскими, пятьсот лет не имел историков. Поэтому неудивительно, что Ромул считался сыном Марса, а его кормилицей была волчица, что он с 20 тысячами человек выступил из своей деревни Рим против 25 тысяч воинов из деревни сабинян, что впоследствии он стал богом, что Тарквиний Старший рассек камень ножом и что весталка своим поясом протащила корабль по земле.

Самые ранние анналы всех наших современных наций не менее баснословны; эти дивные и невероятные вещи следует сообщать, но лишь как доказательство людского легковерия, они входят в историю мнений.

Есть только одно средство достоверно узнать что-либо из древней истории — рассмотреть несколько бесспорных памятников, если они уцелели. Таковых в письменном виде

имеется только три: первый — сборник астрономических наблюдений, непрерывно производившихся в Вавилоне в течение 1900 лет; он был отправлен Александром в Грецию и использован в Альмагесте Птолемея. Эта серия наблюдений, восходящих к 2134 г. до н. э., неопровержимо доказывает, что уже за многие века до того вавилоняне составляли единый народ, ибо умение есть дело лишь времени, а природная леность людей тысячи лет оставляет их без иных познаний и иных талантов, кроме умения питаться, защищаться от непогоды и резать друг друга. Об этом можно судить на примерах германцев и англичан времен Цезаря, нынешних татар, народов половины Африки и тех, что мы нашли в Америке, исключая в некоторых отношениях королевства Перу и Мексики и государство Тласкала.

Второй памятник — это полное затмение солнца, вычисленное в Китае в 2155 г. до н. э. и признанное правильным всеми нашими астрономами. О китайцах надо сказать то же, что и о народах Вавилонии; они несомненно уже жили в большой просвещенной империи. Китайцев ставит над всеми народами земли то, что ни законы, ни их нравы, ни язык, на котором там говорят ученые, не изменялись уже около 4 тыс. лет. Однако эта нация, самая древняя из всех ныне существующих, владеющая самой обширной и самой красивой страной, изобретшая почти все промыслы до того, как мы кое-каким научились у них, вплоть до наших дней всегда исключалась из наших мнимо всеобщих историй. Когда испанцы или французы перечисляют нации, никто из них не упускает случая, чтобы назвать свою страну древнейшей монархией в мире.

Третий памятник, значительно уступающий двум другим, — Арондельские мраморные доски, где высечена Афинская хроника с 263 г. до н. э., доведенная только до Кекропса, т. е. на 1319 лет раньше того времени, когда она была высечена. Таковы единственные бесспорные данные, которыми мы обладаем, из истории всей античности.

Неудивительно, что для гражданской истории античности нет данных древнее 3 тысяч лет. Причина тому — переменны на этой планете, а также долгое и всеобщее невежество в искусстве передавать факты с помощью письменности;

есть еще множество народов, у которых и теперь нет в этом никаких навыков. Искусство письма было известно лишь очень небольшому числу просвещенных народов, и, кроме того, им владели очень немногие [лица]. До XIII—XIV вв. среди французов и немцев не было ничего более редкого, чем умение писать: почти все акты удостоверялись лишь свидетелями. Во Франции кутюмы страны были записаны только при Карле VII в 1454 г. Искусство письма было еще более редким у испанцев, отчего их история так суха и малодостоверна до времени Фердинанда и Изабеллы. Отсюда видно, что из умевших писать немногие могли внушить к себе уважение.

Были народы, которые завоевывали части света, не имея понятия о буквах. Известно, что Чингис-хан завоевал часть Азии в начале XIII в., но знаем мы это не от него и не от татар. Их история, написанная китайцами и переведенная отцом Гобиль, свидетельствует, что татары совсем не умели писать.

Письмо было неизвестно и скифу Огу-хану, прозванному персами и греками Мадиес, который завоевал часть Европы и Азии задолго до царствования Кира. По всей вероятности, тогда из ста народов, может быть, лишь два употребляли буквы.

Остаются памятники другого рода, которые являются свидетельствами лишь отдаленной древности некоторых народов и предшествуют всем известным эпохам и всем книгам. Это такие чудеса архитектуры, как египетские пирамиды и дворцы, которые не пострадали от времени. Геродот, живший 2200 лет тому назад и видевший их, не мог узнать у египетских жрецов, когда именно их воздвигли.

Трудно дать самой древней из пирамид меньше 4 тысяч лет, но надо принять во внимание, что эти тщеславные усилия царей могли быть предприняты лишь спустя длительное время после основания городов. А чтобы выстроить города в ежегодно затопляемой стране, вначале надо было укрепить илистую землю и сделать ее недоступной для затопления. Прежде чем выполнить это необходимое условие и прежде чем получить возможность приступить к этим великим сооружениям, надо было, чтобы народы уже умели де-

лать убежища во время половодья на Ниле среди скал, образующих две гряды справа и слева от этой реки. Надо было, чтобы эти объединившиеся народы обладали орудиями для пахоты, строительства, землемерными познаниями, а также законами и гражданским порядком; все это обязательно требует громадного времени. По множеству обстоятельств, которые всегда тормозят наши самые необходимые и самые мелкие предприятия, мы видим, сколь трудно совершать крупные дела и что нужно не только неустанное упорство, но и многие поколения, вдохновленные этим упорством.

Однако, кто бы ни воздвиг одну-две удивительные громады — Менес или Тот, Хеопс или Рамзес, — мы не сможем изучить по ним историю Древнего Египта: язык этого народа утрачен. Следовательно, мы ничего не знаем, кроме того, что еще до появления древнейших историков был уже материал для составления древней истории.

Та история, которую мы называем древней и которая на самом деле является недавней, охватывает только 3 тысячи лет — для более ранних времен мы можем строить лишь некоторые предположения, — она сохранилась только в двух светских трудах — в китайской хронике и в истории Геродота. Древние китайские хроники касаются лишь своей отделенной от прочего мира империи. Геродот, более для нас интересный, рассказывает обо всей известной тогда земле. Он очаровал греков рассказами, содержащимися в девяти книгах его истории, новизной труда, красотой слога и в особенности своими баснями. Почти все, что он рассказывает со слов чужеземцев, — баснословно, но все то, что он видел сам, — верно. От него известно, например, какое чрезвычайное изобилие и какое великолепие царили в Малой Азии, ныне бедной и обезлюдившей. Он видел в Дельфах удивительные золотые дары, которые прислали туда лидийские цари, а ведь он имел в виду читателей, знавших Дельфы не хуже его. Сколько же времени должно было пройти, прежде чем лидийские цари смогли накопить достаточный избыток богатств, чтобы делать такие значительные дары чужеземному храму!

Но когда Геродот передает услышанные им сказки, его

книга становится просто романом, похожим на милетские басни. То это Кандавл, который показывает свою жену совсем нагой своему другу Гигесу, а женщина из скромности не оставляет Гигесу иного выхода, как убить ее мужа и жениться на вдове или погибнуть. То это дельфийский оракул, который угадывает, что в тот момент, когда он говорит, Крез в ста милях от него велит сварить черепаху в бронзовом сосуде. Роллен, повторивший подобные вымыслы, восхищается познаниями оракула и достоверностью [речений жреца] Аполлона, а также целомудрием жены царя Кандавла, и по этому поводу он рекомендует полиции запретить молодым людям купаться [нагими] в реке. Время так дорого, а история столь необъятна, что надо избавить читателей от подобных басен и наставлений.

История Кира совсем искажена вымышленными преданиями. Весьма вероятно, что этот Кир, называемый Киром, став во главе воинственных народов Элама, действительно завоевал Вавилон, погрязший в наслаждениях. Однако неизвестно, какой царь правил тогда в Вавилоне: одни называют Валтасара, другие — Анабота. По Геродоту, Кир был убит в походе против массагетов, Ксенофонт в своем моральном и политическом романе описывает его смерть в постели.

Об этих сумерках истории известно лишь то, что издавна существовали обширные империи и тираны, власть которых покоилась на народной нищете; что тирания доходила до того, что мужчин лишали их пола, чтобы употребить их в отрочестве для гнусных забав, а в старости для охраны женщин; что людьми управляло суеверие, что сновидение считали голосом с неба, который решал, быть ли войне или миру, и т. п.

По мере того как Геродот в своей истории приближается к своему времени, он лучше осведомлен и более правдив. Следует признать, что для нас история начинается лишь с походов персов против греков. До этих важных событий имеется лишь несколько смутных преданий, включенных в детские сказки. Геродот становится образцом для историков, когда описывает грандиозные приготовления Ксеркса с целью покорить Грецию, а затем Европу. Он ведет его в

сопровождении почти двух миллионов солдат от Суз до Афин. Он сообщает нам, как были вооружены столь разные народы, которые этот правитель вел за собой; ни один не был забыт, от глубин Аравии и Египта до Бактрии и северного побережья Каспийского моря, где тогда жили могущественные народы, а ныне кочевые татары. Все народы от Босфора Фракийского до Ганга находились под его знаменами. Мы видим с изумлением, что этому государю были подвластны такие же пространства, как и Римской империи; у него было все то, что принадлежит теперь Великому Моголу по сю сторону Ганга, вся Персия, вся страна узбеков, вся Турецкая империя, если исключить из нее Румынию, но зато он владел Аравией. По протяженности его владений видно, как ошибаются сочинители в стихах и прозе, считающие Александра, мстителя за греков, безумцем за то, что он подчинил себе империю врага греков. Он вторгся в Египет, Тир, Индию только потому, что они принадлежали правителю, разорившему Грецию.

У Геродота то же достоинство, что и у Гомера; он был первым историком, как Гомер — первым эпическим поэтом, и оба поняли красоту, свойственную неведомому до них искусству. Геродот великолепно изобразил, как этот владыка Азии и Африки заставил свою огромную армию перейти из Азии в Европу по мосту из судов, как он захватил Фракию, Македонию, Фессалию, Верхнюю Ахайю и как вошел в покинутые и опустевшие Афины. Невозможно было предвидеть, что афиняне, лишившиеся рода и территории, укрываясь на своих судах с некоторыми другими греками, обратят в бегство многочисленный флот великого царя, что они возвратятся к себе победителями и заставят Ксеркса с позором увести остатки своей армии, а затем по договору запретят ему навигацию в своих морях. Это превосходство маленького, отважного и свободного народа над волей рабской Азией, — вероятно, самое славное, чем обладают люди. Эти события показывают также, что народы Запада всегда были более искусными моряками, чем азиатские народы. Когда читаешь современную историю, победа при Лепанто заставляет вспомнить Саламинскую битву и сравнить дона Хуана Австрийского с Солоном, Фе-

мистоклом и Эврибиадо. Вот, пожалуй, единственная польза, которую можно извлечь из изучений этого далекого времени.

Фукидид, преемник Геродота, ограничивается тем, что подробно излагает нам историю войны в Пелопоннесе, который чуть побольше какой-нибудь провинции во Франции или Германии, но который дал людей, вполне достойных бессмертной славы; похоже, что ужасный бич гражданской войны разжег новое пламя и новые силы человеческого духа, ибо именно в это время расцвели в Греции все искусства. Таким же образом начали они совершенствоваться впоследствии в Риме во время других гражданских войн при Цезаре и еще раз возродились в XV—XVI вв. нашей эры среди народов Италии.

За Пелопоннесской войной, описанной Фукидидом, следует славное время Александра, государя и достойного воспитанника Аристотеля; он основал больше городов, чем другие государи разрушили, и изменил отношения в мире. При нем и его преемниках процветал Карфаген, и Римская республика начала привлекать к себе взоры народов. Другие еще коснели в варварстве: кельты, германцы и все северные, в ту пору никому не известные народы.

История Римской империи заслуживает нашего наибольшего внимания, так как римляне были нашими учителями и законодателями. Их законы еще до сих пор в силе в большинстве наших провинций, их язык еще живет, и долгое время после их гибели он был единственным языком, на котором составлялись публичные акты в Италии, Германии, Франции, Испании, Англии, Польше.

При разделе Римской империи на Западе установился новый строй, тот, что называется средневековым. Его история есть варварская история варварских народов, которые, став христианами, не сделали от этого лучше.

В то время как Европа была столь потрясена, в VII в. появляются арабы, до сих пор остававшиеся в своих пустынях. Они распространяют свою власть и господство на Переднюю Азию, Африку, завоевывают Испанию; их сменяют турки, которые учреждают столицу своей империи в Константинополе в середине XV в.

В конце именно этого века был открыт Новый Свет, и вскоре после этого европейская политика и искусства приобрели новые формы. Искусство книгопечатания и возрождение наук приводят к появлению наконец довольно точных исторических трудов вместо смехотворных хроник, погребенных в монастырях со времени Григория Турского. Вскоре каждая нация Европы получает своих историков. Прежняя скудость оборачивается излишеством: не остается города, который не хотел бы иметь свою собственную историю. Читатель подавлен громадой мелочей. Тот, кто хочет научиться, должен ограничиться ходом крупных событий и избегать всех мелких частных фактов, которые ему мешают; во множестве переворотов он улавливает дух времени и нравы народов. В особенности необходимо заняться историей своей родины, изучить ее, овладеть ею, сохранить в ней все детали, а на другие нации бросить более общий взгляд. Их история интересна только в зависимости от их отношений с нами или благодаря совершенным ими значительным деяниям. В первые века после падения Римской империи, как уже отмечено, происходили вторжения варваров с варварскими же именами; исключение составляет лишь время Карла Великого. Англия остается почти изолированной до правления Эдуарда III, Север пребывает диким до XVI в., в Германии долгое время царит анархия. Распри императоров с папами разоряют Италию в течение 600 лет, и трудно уловить истину из-за пристрастности малообразованных писателей, составивших бесформенные летописи тех несчастливых времен. Испанская монархия знала лишь одно событие при вестготских королях, и это событие — ее уничтожение; полный беспорядок [длился] до царствования Изабеллы и Фердинанда. Франция при Людовике XI — жертва мрачных бедствий при беспорядочном управлении. Даниель утверждает, что первые века во Франции интереснее римских; он не понимает, что происхождение такой обширной империи тем более интересно, чем более оно скромно, и что интересно увидеть родничок, из которого родится поток, затопивший половину мира.

Чтобы проникнуть в сумрачный лабиринт средневековья, нужна помощь архивов, а их почти нет. Некоторые старые

монастыри сохранили хартии и дипломы с дарениями, подлинность которых иногда оспаривается, но это не тот источник, который может осветить политическую историю и публичное право Европы. Из всех стран, бесспорно, Англия обладает самыми древними и самыми полными архивами. Акты, собранные Раймером благодаря покровительству королевы Анны, начинаются с XII в. и продолжаются без перерыва до наших дней. Они проливают много света и на историю Франции. Например, из них видно, что Гиень принадлежала англичанам по праву абсолютного суверенитета, когда король Франции Карл V присоединил её своим указом и овладел ею с помощью оружия. Отсюда же известно, какие значительные суммы и какого рода дань уплатил Людовик XI королю Эдуарду IV, с которым мог бы сражаться, и сколько денег ссудила королева Елизавета Генриху Великому, чтобы помочь ему взойти на трон, и т. д.

О пользе истории. Эта польза состоит в сравнении законов и нравов чужих стран с собственными, которое может сделать государственный деятель или гражданин; это [сравнение] побуждает современные нации соревноваться друг с другом в искусствах, торговле, земледелии. Крупные ошибки в прошлом очень полезны во всех отношениях. Нельзя не напоминать вновь и вновь о преступлениях и несчастьях, причиненных бессмысленными распрями. Бесспорно, что напоминание о них мешает их повторению. Знаменитый маршал Саксонский добывал всеми способами сведения о том, что он называл «позициями», именно потому, что он прочел подробные известия о битвах при Креси, Пуатье, Азенкуре, Сен-Кантене, Гравелине и т. д.

Примеры оказывают большое влияние на ум государя, если он читает со вниманием. Тогда он увидит, что Генрих IV начал свою большую войну, которая должна была изменить европейскую систему, только после того, как достаточно обеспечил основу для такой войны, чтобы иметь возможность выдержать ее в течение многих лет без всякой финансовой поддержки.

Он увидит, что королева Елизавета благодаря одним лишь ресурсам торговли и разумной экономии могла сопротивляться могущественному Филиппу II и что из сотни ко-

раблей, высланных ею в море против непобедимого флота, три четверти были поставлены торговыми городами Англии.

То, что при Людовике XIV территория Франции не пострадала за все девять лет неудачнейшей войны, доказывает пользу пограничных крепостей, которые он построил. Напрасно автор труда о причинах падения Римской империи порицает Юстиниана за то, что он проводил такую же политику, что и Людовик XIV. Ему следовало бы порицать лишь тех императоров, которые не позаботились о пограничных крепостях и открыли ворота империи перед варварами.

Наконец, большая польза современной истории и ее преимущество перед древней состоит в том, что она учит всех властителей тому, что начиная с XV в. страны всегда объединялись против чрезмерно усилившейся державы. Эта система равновесия была неизвестна древним, и в этом причина успеха римского народа, который, создав армию, превосходившую войска других народов, подчинил их один за другим от Тибра до Евфрата.

Об исторической достоверности. Всякая достоверность, не обладающая математическим доказательством, есть лишь высшая степень вероятности. Иной исторической достоверности не существует.

Когда один лишь Марко Поло первым рассказал о размерах и населенности Китая, он не вызвал к себе доверия, да и не мог его требовать. Португальцы, пришедшие в эту обширную империю спустя многие века, придали этим сведениям вероятность. Ныне они бесспорны в силу той бесспорности, которую порождают единодушные утверждения тысячи очевидцев разных народов, так что никто не может опровергнуть их свидетельств.

Если бы лишь два-три историка описали приключения короля Карла XII, который вопреки желанию своего благодетеля — султана упорно не покидал его владения и сражался вместе со своей свитой против армии янычар и татар, я воздержался бы от суждения; но после бесед со многими очевидцами, которые ни разу не подвергли эти действия сомнению, пришлось в них поверить, ибо, в конце концов,

хотя они не были ни разумными, ни обычными, тем не менее не противоречат законам природы и характеру героя.

Историю человека в железной маске я мог бы считать романом, если бы узнал о ней только от зятя врача, лечившего этого человека на его смертном одре. Но поскольку офицер, охранявший его тогда, также подтвердил мне факты, равно как и все, кто должны были быть о них осведомлены, а дети государственных министров, хранивших эту тайну, еще живы и осведомлены так же, как и я, то я придал этой истории большую степень вероятности, хотя, однако, и меньшую, чем та, которая заставляет поверить в события, происшедшие в Бендерах, ибо те имеют больше свидетелей, чем жизнь человека в железной маске.

Не следует верить тому, что противоречит естественному ходу вещей, если только это не относится к людям, вдохновленным божественным разумом. В статье «Достоверность» данной Энциклопедии содержится большой парадокс, ибо утверждается, что нужно доверять всему Парижу, который будет говорить, что видел воскрешение мертвого, точно так же, как верят всему Парижу, когда он говорит, что выиграна битва при Фонтенуа. Но очевидно, что свидетельство всего Парижа о невероятном событии не может быть равным свидетельству Парижа о событии возможном. В этом и заключаются первые понятия разумной метафизики. Наша Энциклопедия служит истине; одна статья должна исправлять другую, и если содержится какая-либо ошибка, она должна быть отмечена более сведущим человеком.

Недостоверность истории. Различают мифологические и исторические времена. Но и в самих исторических временах должно различать правду и басни. Я не говорю здесь о баснях, ныне признанных таковыми, например о чудесах, которыми Тит Ливий украсил или испортил свою историю. Но сколько поводов для сомнений в самых общепризнанных фактах! Надо обратить внимание на то, что Римское государство существовало 500 лет без историков и что сам Тит Ливий сожалел об утрате жреческих анналов и других памятников, которые почти все погибли при пожаре Рима (*pleraque interire*). Надо учесть и то, что в течение первых трехсот лет письменных памятников вообще было мало (*ra-*

rae per eadem tempora litrae). Тогда позволено будет усомниться во всех событиях, которые не соответствуют обычному порядку человеческих дел. Вероятно ли, что Ромул — внук царя сабинян, был вынужден похитить сабинянок, чтобы получить жен? Правдоподобна ли история Лукреции? Можно ли поверить Титу Ливию, что царь Порсенна, придя в восхищение от [доблести] римлян, ушел [из-под Рима], ибо какой-то фанатик хотел его убить? Не склониться ли, напротив, к мнению Полибия, на двести лет более раннему, чем Тит Ливий, который говорит, что Порсенна покорил римлян? Заслуживает ли доверия история Регула, посаженного карфагенянами в бочку с железными шипами? Не написал ли бы об этом современник Полибия, если бы такое событие действительно произошло? Между тем он не проронил о нем ни слова. Откройте словарь Морери на статью «Регул», он уверяет, что пытки этого римлянина описаны Титом Ливием. Однако декада, в которой Тит Ливий мог бы об этом сказать, утрачена; имеется лишь дополнение Фрейнзениуса, и вот оказывается, что автор словаря цитирует немца XVII в., считая, что цитирует римлянина эпохи Августа. Можно было бы составить необъятные тома, заполненные фактами общеизвестными, но в которых необходимо сомневаться. Однако размеры этой статьи не позволяют сказать большего.

Являются ли историческими доказательствами монументы, ежегодные обряды и даже медали? Естественно предположить, что монумент, воздвигнутый нацией для прославления какого-либо события, доказывает его подлинность. Однако, если эти памятники воздвигнуты не современниками, если они прославляют маловероятные события, доказывают ли они что-либо иное, кроме того, что ими было освящено лишь то или другое общественное воззрение?

Ростральная колонна, воздвигнутая в Риме современниками Дуилия, несомненно подтверждает факт морской победы, одержанной Дуилием. Но доказывает ли статуя авгура Навия, который разрезал булыжник бритвенным ножом, что он совершил это чудо? Являются ли статуи Цереры и Триптолема в Афинах бесспорными доказательствами того, что Церера обучила афинян земледелию? Подтверждает ли

истинность истории с троянским конем знаменитая статуя Лаокоона, которая сохранилась доныне?

Обряды и ежегодные праздники всей нации отнюдь еще не доказывают приписываемое им происхождение. Праздник Ариона, несомого дельфином, справлялся у римлян, как и у греков. Праздник Фавна напоминал об его приключении с Геркулесом и Омфалой, когда влюбленный в Омфалу Фавн занял место Геркулеса на ложе его возлюбленной. Знаменитый праздник луперкалий был установлен в честь волчицы, вскормившей Ромула и Рема.

На чем был основан праздник Ориона, отмечаемый в пяте иды мая? Вот на чем: Хирей принимал у себя Юпитера, Нептуна и Меркурия; когда прочие гости удалились, этот старик, не имевший жены и желавший ребенка, поведал о своем горе трем богам. Немыслимо сказать, что именно они сделали на шкуре быка, мясом которого Хирей накормил их; затем они положили на эту шкуру немного земли, и от этого после девяти месяцев родился Орион.

Почти все римские, сирийские, греческие, египетские праздники были основаны на подобных сказках, равно как и храмы, и статуи античных героев. Это памятники, которые легкое верие посвящало заблуждению.

Медали, даже современные, подчас не являются доказательствами. Сколько раз лезть чеканила медали в честь битв с неопределенным исходом, но превращенных в победы, и в честь замыслов, состоявшихся лишь в легендах? Даже в недавнее время, когда англичане в 1740 г. воевали с испанским королем, разве не была выбита медаль, свидетельствовавшая о взятии Карфагена адмиралом Верноном, и притом как раз в то время, когда адмирал снял с него осаду?

Медали являются безупречными свидетельствами лишь в том случае, если событие подтверждено современными авторами; тогда эти доказательства, подкрепляя друг друга, констатируют истину.

Нужно ли в историю включать речи и создавать портреты? Если генерал армии или государственный деятель сказал что-либо по важному поводу особым и выразительным стилем, характеризующим его дарование и дух века, следует, несомненно, передать его речь дословно; из этих речей,

вероятно, состоит самая полезная часть истории. Но зачем заставлять человека говорить то, чего он не сказал? Это почти равносильно приписыванию ему того, чего он не совершал, т. е. вымыслу в духе Гомера. Но то, что является вымыслом в поэме, у историка становится, строго говоря, ложью. Этим методом пользовались многие древние, но это доказывает лишь, что множество древних хотели продемонстрировать свое красноречие в ущерб истине.

Портреты слишком часто указывают больше на желание блеснуть, чем научить: современники вправе создавать портреты государственных деятелей, с которыми общались, генералов, под началом которых воевали. Но следует бояться того, что кистью будет водить пристрастие! Вероятно, портреты, которые даны у Кларендона, сделаны с большей беспристрастностью, серьезностью и мудростью, чем те, что читаются с удовольствием в произведениях кардинала Ретца.

Однако желание изобразить людей прошлых времен и попытаться проникнуть в их души, рассмотреть события и характеры так, чтобы можно было уверенно читать в глубине сердец, — дело очень деликатное; у многих же это чистое ребячество.

О максиме Цицерона, относящейся к истории: историк не смеет лгать или скрывать истину. Первая часть этого предписания бесспорна, надо рассмотреть вторую. Если истина может быть сколько-нибудь полезна государству, то ваше молчание достойно осуждения. Но предположим, что вы пишете историю государя, который доверил вам тайну. Должны ли вы ее раскрыть? Должны ли вы рассказать потомству то, что навлекло бы на вас обвинение, если бы вы доверили такую тайну только одному человеку? Перевесил бы долг историка более важную обязанность?

Предположим далее, что вы стали свидетелем какой-либо слабости, которая никак не повлияла на государственное дело. Должны ли вы рассказать о ней? В таком случае история стала бы сатирой.

Надо признать, что большинство сочинителей анекдотов более нескромны, чем полезны. Но что сказать о тех наглых компиляторах, которые возводят злословие в заслугу, публикуют и продают скандалы, как Локуста продавала свои яды?

О сатирической истории. Если Плутарх порицал Геродота за недостаточное восхваление некоторых греческих городов и за пропуск многих известных и достойных памяти фактов, насколько больше достойны порицания те, кто ныне, не имея ни одного из достоинств Геродота, приписывают государям и нациям гнусные действия без малейшего признака доказательств? Война 1741 г. была описана в Англии. В этой истории сказано, что в битве при Фонтенуа французы стреляли в англичан отравленными пулями и осколками ядовитого стекла и что герцог Кэмберленд отправил королю Франции целый ящик этих мнимых отрав, обнаруженных в телах раненых англичан. Тот же автор добавляет, что, поскольку французы потеряли в этой битве сорок тысяч человек, парижский парламент отдал приказ, запрещающий говорить о ней под угрозой телесного наказания.

Изданные недавно подложные мемуары заполнены подобными нелепыми выдумками. В них находим сведения, что при осаде Лилля союзники бросали в город записки, составленные таким образом: «Французы, утешьтесь, Ментенон не будет вашей королевой». Почти каждая страница заполнена клеветой и оскорблениями в адрес королевской семьи и знатных семейств королевства без заботы о малейшем правдоподобии, которое могло бы скрасить эти наветы. Это не значит писать историю, это значит писать в угоду клевете.

В Голландии издали под названием «Истории» массу брошюр, стиль которых груб, как брань, а факты столь же лживы, сколь плохо изложены. Говорят, что это дурной плод превосходного дерева свободы. Но если злополучные авторы этой чепухи пользуются свободой обманывать читателей, то здесь следует применить свободу их разоблачения.

О методе, манере изложения истории и о стиле. Об этом предмете сказано столько, что здесь его надо лишь коснуться. Хорошо известно, что метод и стиль Тита Ливия, его важность, его разумное красноречие соответствуют величию Римской республики; что стиль Тацита более подходит для изображения тиранов, Полибия — для наставлений в военном деле, Дионисия Галикарнасского — для описания древностей.

Но в целом брать теперь за образец этих больших масте-

ров было бы бременем более тяжелым, чем то, что лежало на них. От современных историков требуется больше деталей, больше обоснованных фактов, точных дат, авторитетов, больше внимания к обычаям, законам, нравам, торговле, финансам, земледелию, населению. С историей дело обстоит так же, как с математикой и с физикой. Поприще чрезвычайно расширилось.

Если вы составляете историю Франции, то не обязаны описывать течение Сены и Луары, но если вы знакомите публику с завоеваниями португальцев в Азии, нужна топография открытых ими земель. Желательно, чтобы вы провели за руку вашего читателя вдоль Африки и по побережьям Персии и Индии; от вас ждут сведений о нравах, законах, обычаях этих новых для Европы народов.

У нас имеется двадцать историй проникновения португальцев в Индию, но ни одна не знакомит нас с различными правительствами этой страны, ее религиями, древностями, браминами, учениками Иоанна, гебрами, банианами. Это замечание можно отнести почти ко всем историям чужеземных стран.

Если вы можете нам сказать то, что на берегах Оксуса и Яксарта один варвар наследовал другому, то чем вы полезны обществу?

Метод, подходящий к истории вашей страны, не годится для описания открытий в Новом Свете. О городе вы не станете писать, как пишете о великой империи, жизнеописание частного лица вы не составите так же, как вы напишете историю Испании или Англии.

Эти правила достаточно известны. Но искусство написания хорошего исторического труда всегда будет встречаться очень редко. Хорошо известно, что нужен серьезный, правильный, разнообразный и приятный стиль. При написании истории действуют законы, аналогичные законам всех произведений человеческого ума: много предписаний и мало великих мастеров.

ФАКТ. Этот термин трудно определить: сказать, что он употребляется при всех известных обстоятельствах, когда что-либо вообще перешло из состояния возможности в состояние бытия, — отнюдь не значит, сделать его яснее.

Факты можно разделить на три класса: божественные деяния, явления природы и действия людей. Первые относятся к теологии, вторые — к философии, а прочие — к собственно истории. Все они равно подлежат критике.

Кроме того, факты должны быть рассмотрены под двумя самыми общими углами зрения: либо они естественны, либо сверхъестественны; либо мы были их очевидцами, либо они дошли до нас через традицию, через историю и все ее памятники.

Если факт произошел на наших глазах и мы приняли все возможные предосторожности, чтобы не ошибиться самим и не быть обманутыми другими, тогда у нас есть вся та уверенность, которую заключает сама природа факта. Но эта уверенность имеет свои пределы: степень ее и сила зависят от всего разнообразия обстоятельств факта и личных качеств очевидца. Тогда достоверность, сама по себе достаточно большая, возрастает в зависимости от доверия к очевидцу и от простоты и заурядности факта или снижается, чем подозрительнее человек и чем необычнее и сложнее факт. Словом, если что и заставляет людей верить, так это их природа и их знания. Откуда могут они почерпнуть уверенность в том, что приняли все необходимые предосторожности против самих себя и против других, если не из природы самого факта?

Меры предосторожности против других неисчислимы, как и факты, о которых мы выносим суждение; а та предосторожность, что касается нас лично, сводится к недоверию к своим природным и приобретенным знаниям, к своим страстям, предрассудкам и чувствам.

Если факт сообщен нам историей или традицией, у нас есть только одно правило для его проверки; его применение может быть трудным, однако само оно надежно. Это опыт прошлых веков и наш собственный. Ограничиваться лишь собственным наблюдением значило бы часто допускать ошибки, ибо сколько найдется фактов истинных, хотя мы, естественно, предрасположены к тому, чтобы считать их ложными? И сколько найдется других, т. е. ложных, которые, принимая во внимание лишь обычный ход вещей, мы более склонны считать истинными?

Чтобы избежать ошибки, представим себе историю всех времен и традицию всех народов в образе старцев, исключенных из общего закона, ограничивающего нашу жизнь малым числом лет, и обратимся к ним с вопросами относительно событий, о которых мы можем узнать правду лишь от них. Несмотря на уважение, которое мы питали бы к их рассказам, не забудем, что эти старцы — люди и что об их осведомленности и правдивости мы знаем лишь то, что нам расскажут или рассказали другие люди и в чем мы убедимся сами. Мы тщательно соберем все доводы за или против их свидетельств; мы изучим факты беспристрастно и во всем разнообразии обстоятельств. На наибольших пространствах обитаемых земель и во все доступные нам времена мы исследуем, сколько раз вопрошаемые нами старцы сказали в подобных случаях правду и сколько раз случилось, что они солгали. Это соотношение и явится выражением нашей уверенности либо неуверенности.

Принцип этот неопровержим. Мы являемся в наш мир и находим в нем очевидцев, сочинения и памятники, но кто научит нас оценивать эти свидетельства, если не наш собственный опыт?

Отсюда следует, что поскольку на земле нет двух людей, схожих по своей природе, знаниям, опыту, то нет и двух людей, на которых эти свидетельства произведут совершенно одинаковое впечатление. Ведь имеются даже такие индивиды, различие между которыми бесконечно: одни отрицают то, во что другие верят так же прочно, как в собственное бытие, а между последними есть такие, что допускают под определенными названиями то, что упорно отвергают под другими именами, и во всех этих противоречивых суждениях различия во мнениях проистекают отнюдь не из различия в доказательствах, поскольку доказательства и возражения почти всегда одни и те же.

Перевод А. А. Ржевского



ГАБРИЭЛЬ БОННО де МАБЛИ

1709 — 1785

Жизнь

Французский историк, политический деятель, мыслитель Габриэль Бонно де Мабли родился 14 марта 1709 г. в Гренобле в семье секретаря городского парламента Габриэля Бонно, в 1710 г. получившего титул виконта де Мабли. В середине 1720-х гг. молодой Мабли поступает в иезуитский коллеж в Лионе, где получает классическое образование, а затем — в парижскую семинарию Сен-Сюльпис, которую, однако, вскоре покидает. С этих пор Мабли активно занимается историческими исследованиями.

В 1742 г. он поступает на государственную службу — становится секретарем министра иностранных дел П. Г. де Тансэне. Как отмечают биографы Мабли, де Тансэне был



Король Людовик XVI

настолько не способен выполнять свои обязанности, что, по сути, Мабли стал настоящим государственным министром, а де Тансэне — его представителем в Королевском совете. В 1746 г. Мабли покидает государственную службу и полностью посвящает себя исторической науке.

Авторитет Мабли был столь велик, что ему доверили воспитание дофина — будущего Людовика XVI. Но он отказался от этого места, утверждая, что в основе его воспитания лежал бы принцип «не народы для королей, а короли для народов», но дал согласие написать один из томов для учебника наследника престола.

Умер Мабли 23 апреля 1785 г. в Париже и похоронен в церкви Сен-Рош. Посмертно его зачислили в члены Академии надписей и изящной словесности.

Судьба

В своей политической деятельности и трудах Мабли старался повлиять на государя таким образом, чтобы сделать его политику более справедливой, умеренной, призывал быть верным данному слову. Его глубоко возмущало восприятие самого существа политики как беззастенчивого обмана. Мабли полагал, что прямоту и лояльное поведение — лучший способ устранить затруднения в дипломатических переговорах, а не обходные маневры, лукавство и неблагоприятные происки.

В работе «Заметки по истории греков» (1749 г.) Мабли пытался показать, что небольшие государства, внешне слабые, но сильные добродетелью, единством, бедностью, по сути, сильнее самых грозных держав.

В своих трудах, особенно в «Заметках по истории Франции» (1765), описывая государственный строй империи Карла Великого, Мабли пропагандирует собственную модель государства, в котором суверенные права принадлежат народу, а монарх является властителем — философом, лишенным недостатков, трудящимся на благо своего народа. Он призывал возобновить практику созыва Генеральных Штатов как средства передачи народу некогда отобранных

законных прав. В его требованиях ограничения имущественного неравенства, осуждении роскоши историки усматривают проявление утопического социализма.

Произведения Мабли были хорошо известны в России; здесь они рассматривались как образец свободомыслия и прогрессивных взглядов.

Творчество

Мабли был приверженцем мысли Цицерона: история — наставник жизни. Во всех своих трудах он пытался подтвердить правильность этого постулата. Мабли смело выстраивал параллели между римлянами и французами, сравнивал Грецию и Рим с современностью, всегда подчеркивал необходимость использования в политике исторического опыта.

Он полагал, что в истории два ряда явлений, определяющих весь ее ход. Один ряд представляет собой воплощение в истории естественных законов. Развиваясь в соответствии с естественными законами, исторические события, по мысли Мабли, формируют своеобразный опыт человечества. Другой ряд явлений, будучи результатом человеческих страстей, искажает естественный ход событий, тем самым уродуя его. Задача историка — изучить взаимодействия этих двух рядов, с тем чтобы показать, как пагубно страсти влияют на естественную идеальную природу человека и общества. Историк выполняет важную общественно-политическую функцию — содействует принятию таких политических законов, которые в наибольшей степени соответствовали бы законам естественным. Важность истории возрастает необычайно: она служит источником сведений о таких формах государственной жизни, которые наиболее приемлемы с позиций теории естественного права и к которым человечеству следует стремиться. Установление идеальных государственных форм, по Мабли, — не самоцель, а средство достижения человеческого счастья, которое само по себе бесценно. История, таким образом, становится инструментом нахождения путей к достижению человеческого счастья.

Об изучении истории. О том, как писать историю.

Правда ли, сударь, что вам казалось, будто ваша душа возвышается при чтении моих писем? Это было бы очень приятной для меня похвалой. Это означало бы, что мне удалось внести в мои письма тот дух милорда Стенхопа, который делает рассуждения интересными и трогает сердце, открывая истину ума. Я надеюсь, что вы не хотели польстить мне, ибо мне кажется, что, с тех пор как я знаю свои права и обязанности, я сам испытываю то же, что вы испытали. Мне кажется, что суетность имен и титулов не действует более на мое воображение. В людях, наиболее униженных судьбой, я вижу свергнутых с трона королей, которых держат в цепях; великих мира сего я считаю своего рода тюремщиками.

— Милорд, — сказал я ему вчера, когда мы совершали нашу третью прогулку, — я узнал благодаря вам права каждого народа; я знаю, что свобода — это благодеяние природы, а неограниченная власть — предел несчастий; я знаю, что нелепо, чтобы законы, уклонившиеся от их истинного назначения, были подчинены воле монарха. Но трудность не в том, чтобы познать истину, а в том, чтобы провести в жизнь ее предписания. Я пытался предусмотреть то, чему вы должны меня научить, и я заблудился в лабиринте. Прежде чем просить вас помочь мне выбраться из него, разрешите мне воспользоваться еще одной минутой для беседы с вами о предмете, имеющем очень близкое отношение к нашему последнему разговору.

Вопрос касается законов. Цицерон написал о них трактат; вчера вечером, просмотрев его труд, я случайно наткнулся на очень интересный отрывок. Этот философ нападает на эпикурейцев, считающих, что только то справедливо или несправедливо, что приказывают или запрещают политические законы. Как! — восклицает он с негодованием. — Возможно ли, чтобы законы, созданные тиранами, могли быть справедливыми! Если бы тридцать тиранов захотели предписывать афинянам законы и если бы афиняне высказались в пользу этих законов, явилось ли бы это мотивом для подчинения им? Несомненно нет, — прибавляет Цицерон, — существует только одно право, обязывающее

людей, и есть только один закон, устанавливающий право, и закон этот — здравый рассудок, который учит тому, что надо приказывать и что запрещать. Многие нации, говорит он далее, допускают у себя вредные, пагубные вещи, столь далекие от разума, сколь далеки были бы соглашения, заключенные между разбойниками. Во имя какого права я бы подчинился им? Несправедливый закон, под каким бы названием его ни подносили, не должен служить в большей степени законом — даже если бы народ мог подчиниться ему, — чем смертоносные снадобья невежественного шарлатана могут служить спасительными лекарствами.

В первый момент, милорд, я готов был думать так, как думает Цицерон, и я охотно сказал бы о нем то, что он говорил о Платоне: я согласен лучше вместе с ним заблуждаться, чем находить истину с другими философами. Однако меня не испугала моя смелая мысль, что мой собственный разум — мой первый судья, мой первый правитель, мой первый государь. Я убеждаюсь, что Бог одарил меня разумом не для того, чтобы я руководствовался чужим разумом. Как только я начинаю думать, что я никому не могу отказать в том праве, которое я присваиваю себе; у меня появляются беспокойство и неуверенность. Сколько людей — столько мнений, а между тем разве не важно для блага общества, чтобы существовал всеобъемлющий разум, т. е. закон, примиряющий все мнения? Наконец, милорд, мысль Цицерона, столь соответствующая вашему мнению о необходимости власти разума над разумными существами, представляется мне противоречащей вашей доктрине о законах. Все должно повиноваться им, говорили вы мне; гражданин не должен сопротивляться должностным лицам, а должностное лицо должно быть рабом законов; отсюда проистекает благо общества, и я этому так же верю, как вы. Но вот что меня смущает: если гражданин должен отказать несправедливому закону в повиновении, следовательно, каждый гражданин имеет право обсуждать законы. Всем ложным умам, следовательно, дозволено не повиноваться, и недостойные граждане получают повод для возмущения. Я не спокоен, и могу ли я быть спокойным, если я предвижу наступление анархии?

Попытаемся, — ответил мне милорд, — разделить законы на различные разряды, и нам, вероятно, удастся примирить достоинство разума и власть законов, кажущиеся нам противоречивыми, и судить об опасностях или о преимуществах, связанных с обсуждением законов, пугающих вас. Что касается естественных законов, вы понимаете, что, поскольку мы видим в них лишь предписания нашего разума, нет нужды слишком много изучать их; они столь простые, столь ясные, что достаточно представить их людям, чтобы они подчинились им, за исключением случаев, когда человек встревожен какой-либо страстью или если функции его мозга нарушены. Самый лживый ум, самый простой крестьянин знают так же хорошо, как и самый глубокий философ, что они не должны делать другому того, что они не хотели бы испытать на себе. Пусть человек унижен нищетой и своим низким занятием, будьте уверены, однако, что вам удастся внушить ему некоторое представление о его достоинстве, в то время как Август среди жертв, которые ему приносят жрецы, и бесстыдной лести сената еще способен чувствовать, что он только человек. Чем больше мы будем углублять эти первоначальные законы природы, тем больше смысла будут иметь наши политические законы; и разве не потому мы все испортили, что уклонились от этого правила?

...К первому разряду человеческих законов я отношу основные или конституционные законы управления каждого государства. Поистине, — продолжал милорд, речи которого я жадно слушал, — вы слишком скромны, если вы считаете дерзостью судить об их справедливости или несправедливости, и вы не очень высоко цените своего ближнего, если вы отказываете ему в этой привилегии. Не бойтесь ни долгих, ни оживленных споров: достаточно самого обыкновенного здравого смысла, чтобы видеть, свободны или зависимы законы от власти; стремится ли правительство к общему благу или все общество в целом принесено в жертву одному какому-нибудь члену его. Было ли правительство с самого начала создано порочным или оно извратилось впоследствии — мне кажется, что после нашей последней беседы вы без колебаний должны думать о нем так же, как о нем думает Цицерон. Вовсе не стремясь к тому, чтобы за-

кон примирял все мнения, что укрепляло бы несчастья общества, надо считать возражения, сделанные закону, началом удачной реформы. Ваш долг благоприятствовать ему. Не бойтесь дать оружие неверным умам или недостойным гражданам: страх перед правительством, угнетающим их, сдержит их; если же они осмелятся говорить, их плохие рассуждения и их дурные намерения послужат опорочению несправедливых законов.

Всякое правительство, какое бы оно ни было, является источником всех частных законов, которые законоведы делят на законы экономические, уголовные, гражданские и т. д. Я бы не хотел, как и Платон, чтобы в тех счастливых краях, где законы созданы, обдуманы и опубликованы свободным народом, с теми формальностями и той разумной и осторожной медлительностью, которые придают законам величие и силу, гражданин имел претензии быть мудрее закона, отказываясь повиноваться тому, что он считает несправедливым. Его разум был бы слишком самонадеянным; он может высказать свои сомнения и требовать объяснения, но предварительно пусть повинуется закону. Его повиновение не будет преступным: сомнение не является мотивом сопротивления закону, а кроме того, разве мудрость правительства, при котором он живет, не оправдывает его повиновения?

...Монарх спокойно ставит в заголовке своих повелений: *такова моя воля*. По какой причине, по какому праву он требует моего повиновения? Разве составление законов, то, что для людей наиболее свято, — это какая-то увеселительная прогулка на охоту? Разве буду я считать священными законами какие-то обрывки тайно сфабрикованных с корыстной целью приказов, обнародованных не по правилам или в незаконченном виде и не обеспечивающих мне безопасность? Деспот должен внушать мне подозрение уже по одному тому, что его обязанности выше человеческих сил и что хрупкая человеческая добродетель вовсе не создана для того, чтобы противиться искушениям и бесчисленным обманам, которым подвергается королевская особа. Я заставляю мою логику засвидетельствовать, что ее беспристрастные законы стремятся к общему благу и что народ не

может быть принесен в жертву страстям министров и фаворитов деспота. Его диван ежедневно делает такие глупости, над которыми глупая чернь посмеялась бы, если бы она не была их жертвой. Я не настолько безумен, чтобы считать себя обязанным повиноваться этим повелениям.

Нет, нет! Цицерон был прав: мы согласились считать неоспоримой истиной, что гражданин должен повиноваться властям, а власти — закону, и вы можете быть уверены, что в республике, где будет соблюдаться этот порядок, несправедливость законов никогда не породит пагубных распрей. Но так как счастливые республики в мире редки; так как люди, всегда влекомые своими страстями к тирании и раболепству, настолько злы или настолько глупы, что создают несправедливые и нелепые законы, какое иное средство можно применить к этому злу, как не неповиновение? Это приведет к некоторым волнениям, но почему надо этого бояться? Эти волнения докажут лишь, что вы любите порядок и желаете восстановить его. Слепое повиновение, наоборот, свидетельствует о том, что тупой гражданин безразличен к добру и злу. Чего же можно ждать от него? Человек мыслящий стремится утвердить власть разума; человек, повинующийся без рассуждения, устремляется к рабству, так как он находится во власти страстей.

Прошу вас, — сказал мне милорд, — вспомнить об одном праве из трактата о законах, в котором Квинт выступает с красноречивой декларацией против власти народных трибунов. Что ответил ему Цицерон? Мой брат, вот живое и верное изображение всех невыгодных сторон трибуната; но будьте справедливы и, вскрывая эти стороны, покажите нам одновременно и бесчисленные и бесценные преимущества, которые нам доставили эти правители. Надо сравнивать добро со злом, и надо сравнивать их справедливо. Начните с этого, и вы увидите затем, что ваша республика никогда не пользовалась бы теми неоценимыми благами, которыми мы обязаны активности, смелости, твердости и ежедневной и строгой бдительности трибунов, если бы мы захотели отвести от них те преходящие бедствия, которые иногда приносили их честолюбие, их заговоры и их интриги.

В политике все рассуждают так, как Квинт; а я скажу вам, как Цицерон: эти небольшие смуты, которые вас тревожат, действительно создают затруднения, но они сопровождаются преимуществом, несущим безопасность и благополучие государству. Трибуны Квинта ошибались иногда и препятствовали благотворным мероприятиям; но, постоянно сопротивляясь тирании законовевов и честолюбию сената, они сохранили народное достоинство, являющееся достоинством республики. Трибуны утвердили законы и не допустили, чтобы они стали притеснительными; трибуны возбудили у граждан бодрость, вызвали соревнование и предоставили им все блага. Сколько вещей, которые мы берем на себя смелость хулить, получили бы одобрение, если бы мы давали себе труд рассмотреть их со всех сторон, видеть не только их ближайшие последствия, но и самые далекие!

Нам хотелось бы иметь чистые блага, без всякой примеси, и, однако, безумно желать этого, поскольку общество состоит из людей, т. е. из материала весьма несовершенного. Будем довольствоваться той степенью совершенства, которого природа разрешила нам достигнуть, и теми средствами, какие она предоставила нам для его достижения. Наименьшее зло — вот наше наибольшее благо. В мире физическом так же, как в мире моральном, природа придала лекарствам какую-то горечь. Следует ли поэтому отказаться от них или, гримасничая подобно ребенку, принимать их? Я прекрасно понимаю, что если дух беспокойства распространится среди граждан, он когда-нибудь окажется столь же опасным, как и трибун, но это та узда, которая сдерживает правительство, всегда готовое перейти предписанные ему границы.

Впрочем, — прибавил милорд, — вопрос о несправедливых и глупых законах и о реформе правительства, который мы вчера обсуждали, — в сущности говоря, один и тот же вопрос, ибо невозможно гражданам одновременно исправлять пороки своего правительства и рабски повиноваться предписываемым им законам.

...Если вы знаете кого-нибудь, сударь, кто хотел бы встать на защиту несправедливых и нелепых законов, попросите его изложить это на бумаге и пришлите мне эти за-

писки. Что же касается меня, я не смею далее настаивать на таких законах, так как я в состоянии противопоставить милорду только те жалкие общие места, которые он без труда опровергнет, к тому же признаюсь вам, что я не обладаю счастливым талантом спорить против того, что считаю истиной.

Так как мы вели беседу о законах, — сказал мне милорд, — мы должны были бы, прежде чем перейти к детальному обсуждению вопроса о реформе, к которой вы жадно стремитесь, посвятить оставшееся время нашей прогулки рассмотрению тех средств, какие предоставила нам природа для создания справедливых законов. Милорд, — возразил я, — несомненно, природа слишком мудра, чтобы дать нам разум, неспособный указать нам, каковы наши обязанности, и позаботиться об удовлетворении всех наших нужд. Почему мы не углубимся в самих себя; почему мы не заставим умолкнуть наши страсти; почему мы не обратимся за советом к нашему разуму, чтобы узнать у него, каковы веления природы? Наши законы, несомненно, будут хорошими, если они будут, так сказать, только отростками естественных законов. Они запретят порок и распространят добродетель. Вы бы увидели тогда, что граждане без печали несут бремя законов и, может быть, даже любят их как основу своей безопасности и благоденствия. Вы правы, — возразил мне милорд, — ваш метод верный. Но, если судить по опыту, вряд ли он осуществим. Я хотел бы знать, существует ли такое искусство, с помощью которого люди, всегда способные под влиянием своих страстей ослепляться и соблазняться, сумели бы избежать соблазна страстей и найти столь полезную и как будто всегда ускользающую от них правду.

Я уже хотел было ответить, сударь, что надо устроить так, чтобы в государстве процветало изучение юриспруденции, чтобы были основаны кафедры естественного права, что надо основать законодательный совет из честных людей; я хотел сказать и сотни других столь же важных вещей, когда заметил, к счастью, что милорд Стенхоп с любопытством следит, пошла ли мне на пользу беседа с ним. У меня хватило здравого смысла понять, что я найду свой ответ в

тех принципах, которые я воспринял от него. Милорд, — сказал я ему шутя, — в ваших словах кроется какое-то лукавство; я не совсем знаю, что бы я ответил вам три дня тому назад, но сегодня я смело говорю вам, что государство может иметь хорошие законы только тогда, когда оно само является своим собственным законодателем.

Милорд обнял меня, сударь, и я, крайне обрадованный такой честью и открытием, в некотором роде, истины, злоупотребив его терпением, заставил его выслушать меня. Я доказывал ему то, что он знал лучше меня, — что смешно ждать при монархии или при аристократическом строе справедливых и разумных законов. Как могут монарх или спесивые патриции пользоваться законодательной властью так, чтобы их страсти, более слепые, чем страсти других людей, не повернули все к их личной выгоде? Они все могут, но разве они стремятся делать только добро? Разве окружающие их льстецы сами не помешают им выполнить их замыслы? Если бы они их выполнили — это было бы чудом; едва ли во всей вековой истории можно найти два-три подобных примера. С тех пор как монархов безуспешно предупреждают о необходимости предпочитать общественное благо их лошадям, их любовницам, их собакам, их прислужникам, как еще люди не поняли, что они говорили глупим?

Наоборот, если законодательная власть окажется в руках народа, будьте уверены, что он вскоре будет иметь мудрейшие и полезнейшие законы. Гордый своим достоинством республиканец, желающий повиноваться только законам, естественно, обладает честной, справедливой, возвышенной и смелой душой. Тот, кто приспосабливается к господству людей, должен быть готов почитать капризы, несправедливость, безумства — своего суждения он лишен. Почитая своего султана, турки привыкли смотреть на его личные приказы как на законы. Для подданных деспота нет других добродетелей, кроме терпения и нескольких полезных рабских достоинств, совместимых с ленью и страхом. Если народ, ревниво охраняющий свою свободу, и ошибается иногда, его ошибки недолговечны, и они учат его; но для людей порабощенных их первая ошибка неизбежно подготавливает вторую.

Остерегайтесь, — сказал милорд, прервав меня, — вы го-

рячитесь; вы, пожалуй, слишком далеко забегаете, не обращая внимания на то, что истина одинаково далека от всякой крайности.

...Для возникновения республики достаточно любви к свободе, но сохранить ее и сделать цветущей может только любовь к законам; таким образом, союз этих чувств должен стать главной целью политики. Мы напрасно будем стараться установить этот ценный союз или сохранить его, если мы не добьемся беспристрастного и благосклонного ко всем требованиям граждан правительства. Если вы ставите себе такую цель, не бойтесь создать несправедливые законы; если же вы пренебрегаете ею, не надейтесь добиться счастья общества. Законодатель, намеревающийся внести закон для исправления допущенного в государстве злоупотребления, должен отнестись к этому внимательно и спросить себя, не способен ли этот закон в какой-то мере ослабить непосредственно или косвенным образом любовь и уважение к законам вообще. Если он произведет одно из этих действий, будьте уверены, что, несмотря на кажущееся и преходящее благо этого закона, он нанесет смертельную рану республике. Но одного этого мало, необходимо, чтобы вы, так сказать, сохранили эти два чувства в равновесии в сердцах ваших граждан. Я уже говорил вам: страсти такого рода, как честолюбие, гнев, гордость, жадность, злоупотребят любовью к свободе, если ею не руководит любовь к законам. А другие страсти — лень, сладострастие, страх — сделают бесполезным и даже опасным уважение к законам, если оно не одушевлено любовью к свободе.

Проследите историю античных республик, и вы увидите, что, как только они теряют то равновесие, которого я требую, начинаются разногласия. Восстановится оно — тотчас вслед за смутой наступит спокойствие. Невозможно более сохранить равновесие — тогда государство безвозвратно пропало. В эти периоды упадка республики, стонавшие под тяжестью своих несчастий, безуспешно составляли законы и правила, с виду мудрые и полезные. В чем причина этого? В том, что реформу начинали не оттуда, откуда следовало ее начинать. Мы начинаем лечить тот или иной порок, вместо того, чтобы сначала изучить причины, вызвавшие

его. Частного рода законы не произведут никакого действия, если основные законы государства плохие или если они потеряли свою силу.

Люди почти никогда не знали порядка и метода законодательства, не умели различать законы по их значению, их действительности и их влиянию. Государства почти всегда безуспешно трудились над тем, чтобы сделать себя счастливыми, или были ими только в течение редких моментов. Свободные народы по обыкновению имеют несчастье утаивать пороки своей конституции и даже любить их. Поэтому многие республики лишь наполовину пользуются теми преимуществами, которые предоставляет им свобода; их терзает множество неудобств, от которых они не могут освободиться, потому что в основе они дороги им. Мы, англичане, жалуемся на тысячи беспорядков, происходящих от некоторых прерогатив короля. Зачем нужна нам свобода выбора в общинах и эта власть двухпалатного парламента, установленные биллями, если мы почитаем право короля портить нас?

В других республиках правление построено таким образом, что части его, разумно связанные, взаимно укрепляются, но сами республики нередко нарушают эту гармонию. То граждане по какому-то капризу сами усиливают власть правителей и замечают свою ошибку лишь тогда, когда вражда и ревность, которые они возбудили, уже не допускают ее исправления; то они пытаются соединить вещи несоединимые. Они хотели бы в свободном государстве наслаждаться пороками, которые привели их соседей к подчинению самовластию деспота. Какой народ обладает такой мудростью, чтобы видеть тесную и неизбежную связь, существующую между свободой и нравственностью? Если вы станете, под предлогом благоприятствования торговле, потворствовать жадности и роскоши, я предсказываю вам, что, какие бы законы вы ни создали для укрепления вашей свободы, они не помешают вам быть рабами. Какая республика могла бы избежать судьбы Спарты и Рима, если бы она восприняла их пороки?

Я не стану повторять вам, сударь, всего того, что милорд Стенхоп говорил мне о связи морали с политикой. Он говорил с тысячью подробностей, правда, очень любопытных,

но я могу сказать, не желая льстить вам, что много раз слышал эти же суждения от вас. Он показал мне скрытую связь пороков; они не столь опасны приносимым ими злом, сколько тем, что препятствуют осуществлению добра, повергая душу в какое-то оцепенение, в какое-то бессилие. Нравственность стоит подобно часовому на страже законов и не допускает нарушения их; безнравственность, наоборот, заставляет предать их забвению и презрению. Вы, конечно, помните, сударь, сколько раз в наших политических мечтаниях мы искали средства для исправления пороков нашего управления? Каких только проектов реформ не придумывали мы! Но мы всегда кончали наши грустные беседы жалобой на то, что нельзя найти честных людей для их исполнения.

Знаете ли вы, — сказал мне милорд к концу нашей прогулки, — что является основным источником всех несчастий, угнетающих человечество? Собственность имущества. Я знаю, — прибавил он, — что первобытные общества могли по справедливости установить ее; собственность находят даже в естественном состоянии, ибо никто не может отрицать, что человек имел право считать своей собственностью хижину, которую он построил, и плоды, которые он взрастил. Ничто, конечно, не препятствовало тому, чтобы семьи, объединяясь в общества для взаимной помощи, сохранили свою собственность и разделили между собой поля, которые должны были снабжать их продуктами питания. Принимая во внимание волнения, которые происходили в естественном состоянии из-за дикости нравов, и тот факт, что каждый хотел иметь права на все, учитывая также отсутствие опыта, который бы позволил предусмотреть все бесчисленные неудобства, вытекающие из этого раздела, — новым гражданам могло казаться выгодным установить собственность имущества. Но не должны ли были мы, знающие все бесконечные бедствия, вышедшие из этого злосчастного сосуда Пандоры, стремиться — если бы слабый луч надежды осветил наш разум — к счастливой общности имущества, столь восхваляемой, столь оплакиваемой поэтами, к общности, которую Ликург установил в Лакедемоне, которую Платон хотел воскресить в своей республике и которая из-

за развращенности нравов может быть в мире лишь пустой мечтой?

Каким бы равным ни был первоначальный раздел имущества республики, будьте уверены, — продолжал милорд, — что через два поколения равенство среди граждан исчезнет. У вас только один сын, приученный вами к экономии и труду, и он получит от вас наследство, заботливо сбереженное, в то время как я, которому природа отказала в ваших силах и ваших способностях, менее активный, менее ловкий или менее счастливый, разделю свое наследство между тремя или четырьмя детьми, ленивыми или расточительными. И вот — люди неизбежно неравны, ибо неравенство имуществ неизменно приводит к различию потребностей и какому-то подчинению, правда, не одобряемому законами природы и разумом, но признаваемому многими страстями, порожденными богатством и бедностью. Нельзя себе представить, чтобы богатые, как только их начнут ценить и уважать за их состояние, не стали бы объединяться и требовать особого порядка, отличного от порядка большинства. Искреннейшим образом они верят, что заслуживают места, в действительности принадлежащего лишь добродетели и талантам. Они присваивают себе право быть жестокими, надменными, наглыми по отношению к бедным, у которых они вызывают одновременно зависть и восхищение. Сколько пороков терзает общество! Они множатся вместе с бесполезными искусстваами. Не надейтесь больше, чтобы общественное благо стало главным интересом гражданина: его собственность и отличия, которые он приобрел из гордости, ему дороже отечества. Возникают интриги, заговоры, волнения. В то время как роскошь развивает в высших слоях общества дух тирании, она унижает народ, с каждым днем все более тупеющий, и приучает его к рабству.

Сначала раздается ропот против злоупотреблений, но их терпят, пока можно, и эта снисходительность способствует их укреплению. Когда же злоупотребления достигают той степени наглости, которая вызывает возмущение, тогда уже нельзя помочь. А если будут созданы аграрные законы и законы против роскоши? Они не будут более соответствовать ни общественным, ни частным нравам. Напрасно вызывают

народные волнения в республике; они лишь доказывают, что в ней нет больше правительства. И чтобы заставить замолчать некоторые уже бесполезные законы, к которым еще осмеливаются взывать, напуганные граждане из жадности и честолюбия прибегают к самому жестокому насилию: страсти создают обширные планы, их венчает успех; а тирания карает граждан, которых она боится. Такова римская история. Когда же люди безвольно и беспечно отдаются ходу событий и порокам, тогда в государстве повсюду устанавливается какая-то холодная, вялая тирания. Общественным благом сначала повсюду пренебрегают, а затем предают его полному забвению. Постыдные рескрипты, опубликованные под названием законов, посеют раздоры среди граждан и возведут в почет унижение, мошенничество и доносы. Тирания не соизволит проливать потоки крови, потому что она презирает своих рабов. С одной стороны — угнетатели, ленивые, глупые и упоенные несметностью своих богатств, готовые вознаградить всякого, кто сумеет вернуть им заглохшее у них в неге влечение к удовольствию. С другой стороны — угнетенные, нищета которых лишила их способности мыслить; и эти животные, которые перестали считать себя людьми и которые действительно не являются ими более, будут заняты добыванием жалкой пищи, в которой им отказывают. Такова история древних народов: ассирийцев, вавилонян, медиян, персов и т. п., обесславленных своей роскошью и своей изнеженностью, и такова история большинства наших современных государств.

Присядемте на минуту на этот вереск, — сказал мне милорд. Я не смог противиться. — Сохраните мою тайну, я хочу доверить вам мои мечты. Когда я читаю описание какого-нибудь путешественника о некоем пустынном острове, над которым расстилается ясное небо и по которому течет полезная для здоровья вода, у меня всегда является желание отправиться туда и основать там республику, где все богаты, все бедны, все равны, все свободны, все братья и где первым законом было бы запрещение владеть собственностью. Мы понесли бы в общественные магазины плоды наших трудов; они были бы государственным сокровищем и достоянием каждого гражданина. Ежегодно отцы семейств

избирали бы экономов, обязанностью которых было бы распределение необходимых вещей соответственно потребности каждого, распределение работы, которая требуется от каждого системой общности, и поддержание в государстве нравственности.

Я знаю, что собственность внушает вкус и усердие к труду, но если при нашей испорченности мы не знаем иного побуждения к труду, кроме собственности, не будем заблуждаться, полагая, будто действительно нет ничего, что могло бы заменить это побуждение. Разве людьми владеет только одна страсть? Не станет ли любовь к славе и уважению, если мне удастся ее возбудить, столь же деятельной, как и жадность, но без всех невыгодных сторон ее? Не изобретателям искусств буду раздавать я награды, поощряющие соревнование, а земледельцам, поля которых будут наиболее плодородными; пастуху, стадо которого будет самым здоровым и самым плодовитым; самому ловкому и выносливому охотнику, лучше других переносящему трудности и непогоду в разные времена года; самому трудолюбивому ткачу; женщине, больше других занятой выполнением своих домашних обязанностей; отцу семейства, больше других старающемуся поучать свою семью исполнению ее обязанностей перед человечеством; детям, наиболее усердно выполняющим свои уроки и более других с готовностью подражающим добродетелям своих родителей. Разве вы не видите, что род человеческий облагородится под влиянием такого законодательства и без труда обретет счастье, которое напрасно обещают нам наша жадность, наша гордость и наша изнеженность? Только от людей зависело осуществление этой столь возносимой мечты о золотом веке. Какая страсть посмеет проявиться на моем острове? Над нами не будет тяготеть бремя бесполезных законов, угнетающих ныне все народы. Устав от тягостного и бессмысленного зрелища, какое представляет Европа, мое воображение предается этим сладким мечтам и душа полна приятных надежд. Я почти наслаждаюсь созданными мною призраками и с сокрушением расстаюсь с ними. Вы слушаете меня с большим вниманием, — сказал мне милорд, — ваше сердце, обманутое иллюзиями, вселяющими в него надежду, с ра-

достью отдыхает; не говорит ли оно вам, что в этом счастье, для которого созданы люди?

Поедем, милорд, — ответил я, — я последую за вами. Когда и куда мы отправимся? Давайте поселимся под новым небом, где, освобожденные от предрассудков и страстей Европы, мы были бы забыты ею навсегда и не были бы свидетелями бесчеловечных безумств наших правительств и несчастий наших сограждан.

Прекрасно, — ответил мне милорд со вздохом, а затем улыбаясь сказал: — Поедем, я согласен; но мы вдвоем не образуем республики. Кто захочет последовать за нами? Кто захочет отправиться искать где-то вдали от своей родины счастья, которым он пренебрег бы, если бы нашел его около себя! Мы дошли до такой степени испорченности, когда высшая мудрость должна казаться крайним безумием и действительно им является; если у нас совсем нет новых людей, которых мы могли бы по своей воле превратить в граждан, как сумели бы мы изменить их представления? Как сумеете вы вырвать из сердец корни этих бесчисленных и вечно возрождающихся страстей, власть которых воспитание и привычки сделали несокрушимой?

Цицерон где-то хулит Катона за то, что тот говорит о римлянах своего времени так, как если бы он жил в республике Платона. Постараемся не заслужить такого же упрека, будем разумнее Катона. Мы пресмыкаемся в глубине бездны; мы влачим там тяжелые цепи, которые никакая человеческая сила не может разорвать; оставим попытку подняться быстрым взлетом на вершину горы, прорезающей небеса.

Перевод Ф.Б. Шуваловой



ЮМ ДАВИД

1711 — 1776

Жизнь

Давид Юм родился 26 апреля 1711 г. в Эдинбурге в добродорядочной семье.

Семья отца составляла ветвь графов Тоум, а брат матери имел титул — лорд Галкертон.

Родители Юма не были богаты.

Отца Давид потерял еще ребенком и был на попечении матери, которая, несмотря на молодость и красоту, всецело посвятила себя воспитанию и образованию своих детей. (У Давида были старший брат и сестра.)

В детстве Юм с успехом прошел элементарный курс наук и рано заинтересовался литературой.

В 1734 г. в Бристоле он пытается заняться коммерцией,

но спустя несколько месяцев понимает, что совершенно непригоден для этого рода деятельности.

С 1734 по 1737 г. он живет во Франции — сначала в Реймсе, затем в Ла-Флеше в Анжу, где пишет «Трактат о человеческой природе».

В 1737 году Юм возвращается в Лондон.

В 1742 г. издает в Эдинбурге первую часть «Опытов».

В 1745 г. в качестве попечителя приезжает к маркизу Аннанделю и живет в Англии в течение года.

Жалованье, полученное за это время, увеличивает его маленькое состояние.

В 1747 г. по приглашению генерала Сен-Клэра он надевает офицерский мундир и служит два года в качестве адъютанта.

Юм пишет, что эти два года были единственным перерывом в его творческих занятиях, но он их провел приятно и в хорошем обществе, значительно увеличив свое состояние.

В 1749 г., после смерти матери, он возвращается к брату и проводит с ним два года в деревне, где пишет вторую часть «Опытов» и «Исследование о принципах морали».

В 1751 г. он переселяется из деревни в Эдинбург и занимается изданием своих литературных и философских работ.

В 1752 г. общество юристов избирает его библиотекарем. Эта должность почти не приносила доходов, но давала возможность пользоваться обширной библиотекой.

В этот период Юм начинает работать над «Историей Англии» и издает в Лондоне «Естественную историю религии» и ряд других небольших статей.

В 1763 г. по приглашению графа Гертероуда, назначенного послом в Париж, он занимает должность секретаря посольства.

В начале 1766 г. возвращается в Эдинбург.

В 1767 — 1768 гг. занимает пост помощника государственного секретаря.

В 1772 г. возвращается в Эдинбург обеспеченным человеком (годовой доход в 1000 фунтов).

После возвращения Юма в Эдинбург вокруг него собрался кружок шотландских деятелей культуры: Адам Смит, Адам Фергюсон, Хьюдке Блейр, Вильям Робертсон и др.



Давид Юм

Весной 1775 г. у Юма обнаруживаются признаки неизлечимой болезни. Жизненный путь великого шотландца завершился 25 августа 1776 г.

Судьба

Раннее интеллектуальное развитие и несокрушимое душевное здоровье — вот то, чем Юм отличается от многих великих мыслителей прошлого и будущего.

В конце 30-х годов у доктора Хатчисона завязалась переписка с молодым эсквайром, приславшим ему на отзыв рукопись книги «О морали».

Юный философ спорил с ним не как дотошный студент, а как коллега по философскому цеху.

Давид Юм — а это был он — не прошел университетской школы, но за три года, проведенных во Франции для «совершенствования литературных способностей», написал громадный «Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам».

Автор не стал дожидаться одобрения публики, а, показав доктору Хатчисону рукопись третьей книги «О морали», издал ее в 1740 г. В письме Хатчисону Юм заявлял: «Я не могу согласиться с Вашим пониманием слова "природное"». Смысл возражений Юма заключался в том, что нельзя узнать намерение Творца, исходя из устройства творения — природы и человека. Нельзя приписывать причине что-либо сверх того, что содержится в следствии. Все рассуждения относительно причины и следствия основаны на опыте.

Что заставляет нас предполагать, что будущее будет похоже на прошлое? Привычка — вот ключ к загадке. Именно привычка является руководителем жизни, а не разум, как принято считать. Юм шокировал не только религиозное, но и обыденное сознание, когда заявил, что вера в существование объекта, в качестве яркого представления, порождается привычкой.

Прошло несколько лет, и Юму пришлось пожалеть, что он поспешил с изданием своего первенца.

Весной 1745 г. ему было отказано в кафедре в Эдинбургском университете. Его обвиняли в скептицизме, неприкрытом атеизме, оскорблении богов и отрицании нематериальности души.

Попытка Юма нейтрализовать предубеждение против своей кандидатуры не удалась. В Шотландии господствовал дух «угрюмого фанатизма», национальная пресвитерианская церковь ревностно следила за частным и общественным поведением мирян.

Несколько лет спустя Юм снова потерпел фиаско в попытке добиться кафедры.

Среди философской братии — от Томаса Рида до Томаса Хилла Грина — стало привычным трактовать бедного Давида как каналью.

Изданная в 1754 г. первая часть «Историй Англии» была встречена криками неудовольствия: англичане, шотландцы и ирландцы, виги и тори, церковники и сектанты, свободомыслящие и ханжи, патриоты и придворные — все соединились в порыве ярости против человека, который осмелился оплакать судьбу Карла I и графа Страффорда.

В 1756 г. выходит второй том, который был лучше принят и помог пробиться несчастному первому тому.

На склоне лет Юм знакомится с дотошным и настырным журналистом Босуэллом. Кумир Босуэлла Самюэль Джонсон не одобрял Юма.

В июле 1776 г. было взято «Интервью века». Оно прошло и закончилось совсем не так, как планировал журналист, — нанесло болезненную травму его религиозным убеждениям, но сохранило бесценные свидетельства о полных философской невозмутимости и человеческого достоинства последних дней великого скептика.

Кончина Юма, сопоставимая с античными образцами, произвела глубокое впечатление на современников. Верующие, как и в случае со Спинозой, недоумевали, как Господь позволил такому грешнику «тихо испустить нечистую душу». Дстойное завершение достойной жизни воодушевляло всех друзей Юма, создавая важный нравственный прецедент.

Творчество

Основные работы Юма: «Трактат о человеческой природе» (1740 г.), «О норме вкуса» (1739 — 1740 гг.), «О бессмертии души», «Диалоги о естественной религии» (1751 г.), «Исследования о человеческом познании» (1748 — 1757 гг.), «История Англии» (три части с 1754 по 1761 г.).

Над «Историей Англии» Юм начал работать с начала 50-х годов. Он приступает к ее написанию с установкой: без гнева и пристрастия проследить судьбы английского народа и королевских династий, особенно Тюдоров и Стюартов. Ему казалось, что он будет единственным историком, презревшим власть, выгоду, авторитет и голос народных предрассудков.

«История Англии» является наиболее адекватным выражением душевного склада философа-историка. «Истории» Юма, с ненавистью встреченной в Шотландии, расточали комплименты во время его визитов во Францию.

Изданная в 1759 г. «История дома Тюдоров» вызвала особое неудовольствие изображением царствования Елизаветы.

Однако Юм был неуязвим для яростных нападок публики и продолжал с удовлетворением работать в Эдинбурге над последними томами первой части «Истории Англии».

«История Англии» была благосклонно принята королевской семьей во Франции, показательно, что Людовик XVI в ожидании казни искал утешение, перечитывая главы о Карле I «Истории» Юма.

В этой работе наиболее интересны проблемы внешней политики, деятельность государей и министров, войны и дипломатия.

Движущей силой исторического процесса у Юма выступают развитие идей и морали, а также деятельность отдельных личностей.

Он рассматривает эпоху средних веков в духе просветителей, как период варварства и произвола.

Настоящая, безоговорочная слава, слава классика, пришла к Юму в XX веке.



Адам Смит

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

Мы ежедневно встречаемся с людьми, которые настолько скептически относятся к истории, что утверждают, будто ни один народ никогда не мог верить в такие нелепые принципы, какими были принципы греческого и египетского язычества; в то же время эти люди настолько догматичны по отношению к религии, что думают, будто подобных нелепостей нельзя найти ни в каких других вероисповеданиях. Таких предубеждений придерживался Камбиз; он весьма нечестивым образом осмеял и даже ранил Аписа, великого бога египтян, который его непосвященному зрению казался не чем иным, как большим пятнистым быком. Но Геродот по справедливости приписывает эту исполненную страсти выходку настоящему сумасшествию или же душевному расстройству, иначе, говорит он, Камбиз никогда не

оскорбил бы публично ни одного установленного культа. Ибо, продолжает он, каждый народ всегда бывает наиболее удовлетворен своим собственным культом и думает, что он в данном отношении превосходит все остальные народы.

Надо сознаться, что римско-католическая секта является весьма ученой и что ни одно другое вероисповедание, кроме англиканского, не может оспаривать того, что указанная секта есть самая ученая из всех христианских церквей. Однако знаменитый араб Аверроэс, несомненно слышавший о египетских суевериях, заявляет, что из всех религий самой нелепой и безрассудной является та, последователи которой, создав свое божество, поедают его.

И действительно, я думаю, что ни у каких язычников нет такого догмата, который предоставлял бы столько поводов для насмешек, как догмат о *пресуществлении*: он до такой степени нелеп, что не поддается никакой аргументации. По этому поводу существует даже несколько занимательных анекдотов; они, правда, до некоторой степени вольнодумны, однако сообщают их по большей части сами католики. Рассказывают, что однажды священник по недосмотру вместо причастия дал причащаемому жетон (counter), случайно попавший в число облаток. Причастник терпеливо прождал некоторое время, думая, что жетон размягчится у него на языке, но, заметив, что он остается целым, вынул его. *«Вы, видно, ошиблись, — вскричал он, обращаясь к священнику. — Кажется, Вы дали мне бога-отца: он такой крепкий и жесткий, что я не могу его проглотить.»*

Один известный полководец, находившийся на службе в Московии, явившись в Париж, чтобы излечить свои раны, привез с собой молодого турка, взятого им в плен. Некоторые доктора Сорбонны (которые в общем столь же догматичны, как и константинопольские дервиши), жалея бедного турка, который должен был подвергнуться вечным мукам только потому, что никто его не просветил, весьма настойчиво предлагали Мустафе перейти в христианство и в виде поощрения обещали ему много доброго вина в этом мире и рай в мире будущем. Трудно было устоять перед столь сильными соблазнами; и, после того как Мустафа был вполне просвещен и обучен катехизису, он наконец согласился

принять крещение и причаститься святых тайн. Но священник, дабы закрепить и упрочить все сделанное им, решил продолжать свои поучения и на следующий день начал их с обычного вопроса: «Сколько существует богов?» — «Ни одного», — ответил Бенедикт, ибо таково было его новое имя. «Как ни одного!» — вскричал священник. «Конечно, — ответил добросовестный новообращенный, — вы все время говорили мне, что существует только один бог, а вчера я его съел».

Таковы доктрины наших братьев католиков, но мы до такой степени привыкли к этим доктринам, что никогда не удивляемся им, хотя в какой-нибудь будущий век, вероятно, будет трудно убедить некоторые народы, что двуногие существа, именуемые людьми, могли некогда исповедовать подобные принципы. И в то же время тысяча шансов против одного, что у самих этих народов в их вероисповедании будет что-нибудь столь же нелепое, к чему они будут относиться с самой слепой и благочестивой верой.

Я жил однажды в Париже в одной гостинице с тунисским посланником, который, проведя несколько лет в Лондоне, возвращался к себе через Париж. Как-то раз я увидел, что его мавританское превосходительство стоит у ворот и забавляется, разглядывая проезжающие мимо пышные экипажи. Случайно той же дорогой проходило несколько капуцинов, никогда не видавших турка, тогда как он, со своей стороны, хотя и привык к европейским костюмам, но никогда не видел забавной фигуры капуцина. Трудно выразить то обоюдное восхищение, которое они внушили друг другу! Но если бы капеллан посольства вступил в спор с этими францисканцами, их взаимное удивление было бы не меньшим. Вот так все люди дивятся друг на друга, и им никак невозможно вбить в голову, что африканская чалма несколько не хуже и не лучше европейского капюшона. Он очень хороший человек, сказал князь Саллийский про де Рюйтера, но жаль, что он христианин.

Предположим, что доктор Сорбонны говорит жрецу из Саиса: «Как можете вы поклоняться порею и луку?» — «Если мы им и поклоняемся, — отвечает жрец, — мы по крайней мере не едим их». — «Но разве кошки и обезьяны не стран-

ные объекты для обоготворения?» — спрашивает ученый профессор. «Они по крайней мере столь же пригодны для этой цели, как реликвии или истлевшие кости мучеников», — отвечает его не менее ученый противник. «Разве не сумасбродство с вашей стороны, — настаивает католик, — резать друг друга из-за вопроса, что предпочтительнее — капуста или огурец?» — «Да, — отвечает язычник, — я соглашусь с этим, если вы сознаетесь, что еще более сумасбродны те, которые сражаются из-за предпочтения того или другого тома софистики, тогда как десять тысяч таких томов не сто́ят одного-единственного кочана капусты или огурца».

Всякий посторонний наблюдатель (к сожалению, посторонних наблюдателей очень немного) легко придет к заключению, что если бы для установления какой-либо народной религии не требовалось ничего, кроме выяснения нелепости других религиозных систем, то всякий приверженец какого-либо суеверия мог бы привести достаточные основания в пользу своей слепой, фанатичной преданности тем принципам, в которых он воспитывался. Но и, несмотря на отсутствие обширных познаний, необходимых для обоснования подобной уверенности (возможно, даже благодаря такому отсутствию), у человечества нет нехватки в религиозном усердии и вере. Диодор Сицилийский иллюстрирует это, приведя замечательный случай, свидетелем которого был он. В то время как Египет трепетал перед самим именем Рима, один легионер случайно совершил святотатственный и нечестивый поступок, убив кошку; весь народ в крайнем исступлении напал на него, и правитель, несмотря на все свои старания, не в силах был его спасти. Я уверен, что как римский сенат, так и римский народ того времени не были столь же шепетильны по отношению к собственным национальным божествам. Несколько позже они совершенно искренне предоставили Августу место в небесных апартаментах и, вероятно, свергли бы ради него с престола любого из небожителей, если бы им казалось, что Август желает этого. «*Praesens divus habebitur Augustus*», — говорит Гораций. Это весьма важный факт, у других народов и в другие эпохи к подобным фактам относились также далеко не безразлично.

Несмотря на всю святость нашей священной религии, говорит Туллий, ни одно преступление не является столь обычным среди нас, как святотатство. Между тем разве кто-либо слышал, чтобы египтянин осквернил храм кошки, ибиса или крокодила? Нет таких мучений, говорит тот же автор в другом месте, которым не согласился бы подвергнуться египтянин, лишь бы не нанести вреда ибису, аспиду, кошке, собаке или крокодилу. Итак, вполне справедливы слова Драйдена, сказавшего: «Какого бы происхождения ни был их верховный бог, происходил ли он от бревна, камня или же какого-нибудь иного грубого материала, его приверженцы столь же храбро защищают его, как если бы он был выкован из золота» («Авесалом и Архитопель»).

Мало того, чем презреннее материал, из которого состоит божество, тем большее обожание способно оно вызвать в сердцах своих обольщенных приверженцев; они упиваются тем, что постыдно, и кичатся своим божеством, стойко перенося насмешки и оскорбления его врагов. Десять тысяч крестоносцев стекаются под священные знамена и открыто гордятся именно теми сторонами своей религии, которые их противники признают наиболее постыдными.

Я знаю, что в египетской богословской системе встречается одно затруднение, хотя, впрочем, немногие системы подобного рода вполне свободны от таковых. Принимая во внимание способ размножения кошек, нетрудно доказать, что одна их пара в течение пятидесяти лет могла бы заполнить своим потомством целое царство. Если бы к этому потомству стали относиться с таким же благоговейным обожанием, то еще через двадцать лет в Египте не только было бы легче найти бога, чем человека (как и было, по словам Петрония, в некоторых местностях Италии), но боги в конце концов уморили бы с голоду людей, так что у самих богов не осталось бы ни жрецов, ни поклонников. Поэтому вполне вероятно, что этот мудрый народ, наиболее славившийся в древние времена своим благоразумием и здоровой политикой, предвидя столь опасные последствия, оставляя все свое почитание на долю взрослых богов и открыто, без всякого сомнения и раскаяния топил священных новорожденных, или маленьких богов-сосунков. Таким образом, от-

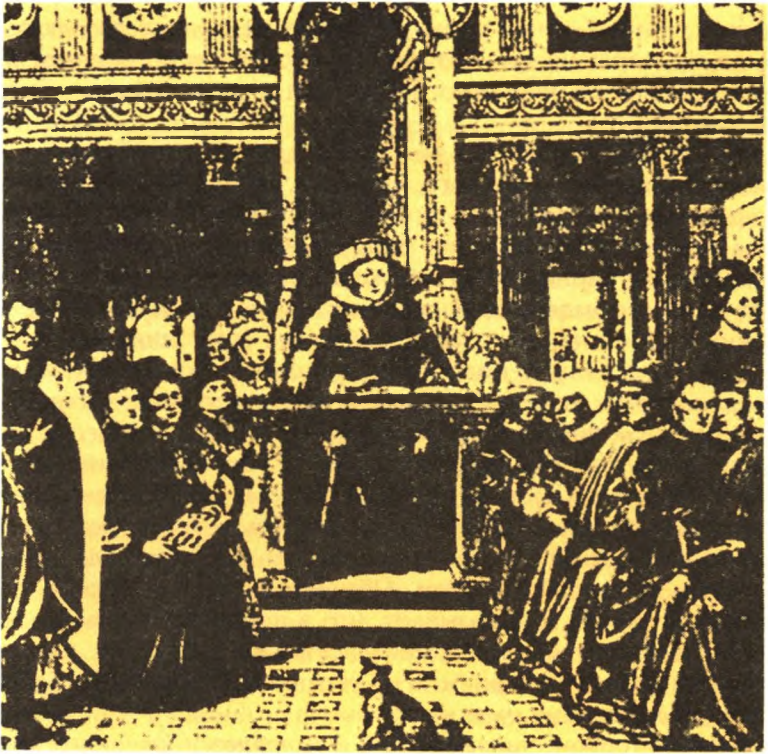
ступление от принципов религии ради преходящих интересов никоим образом не следует считать изобретением новейших времен.

Ученый и философ Варрон, рассуждая о религии, не претендует выразить что-либо помимо сомнения и неуверенности. Таковы были его здравый смысл и выдержка! Но страстный, ревностный Августин поносит благородного римлянина за его скептицизм и сдержанность; сам же он исповедует безусловную, слепую веру. Однако один языческий поэт, современник этого святого, по неразумению считает религию последнего настолько ложной, что, по его словам, даже дети при всем их легкомыслии не могли бы поверить в нее.

Если заблуждение столь обыденная вещь, то разве удивительно, что каждый является столь самоуверенным (positive) и догматичным и что рвение часто возрастает пропорционально ошибке? «Moverunt, — говорит Спартиан, — et ea tempestate Judaei bellum quod vetabantur mutilare genitalia»

Если бы вообще был такой народ или такая эпоха, у которого или в которую народная религия утратила бы всю свою власть над людьми, то можно ожидать, что это случилось бы в Риме во времена Цицерона, что неверие открыто воздвигло бы там свой трон и сам Цицерон в каждой своей речи, в каждом своем поступке оказался бы самым явным его ревнителем. Но какие бы скептические вольности ни позволял себе этот великий человек в своих сочинениях и философских беседах, в обыденной жизни он избегал обвинений в деизме и нечестии. Даже перед собственной семьей и перед женой Теренцией, которой он в высшей степени доверял, ему хотелось казаться истинно религиозным человеком; от него осталось адресованное к жене письмо, в котором он всерьез просит ее принести жертву Аполлону и Эскулапу в благодарность за свое выздоровление.

Набожность Помпея была гораздо более искренней: все его поведение во время гражданских войн свидетельствует о большом уважении к гаданиям, снам и пророчествам. Август был заражен всевозможными суевериями; подобно тому как о Мильтоне сообщают, что его поэтический гений никогда не расцветал обильно и пышно весной, так и Ав-



Святой Августин читает риторику и философию

*Худ. Беноццо Гоццолли. „Жизнь св. Августина“
фрагмент фрески в церкви Сан-Агостино,
1465.. Сан Джиминьяно*

густ отмечает, что в это время года его способность видеть сны никогда не достигала такого совершенства и не заслуживала такого доверия, как в остальные времена года. Кроме того, этот великий и талантливый император обычно сильно беспокоился, когда ему случалось перепутать обувь и надеть сандалию с правой ноги на левую. Словом, нельзя сомневаться в том, что приверженцы утвердившихся суеверий в древнее время были столь же многочисленны во всех слоях общества, как в наше время приверженцы современной религии. Влияние древних суеверий было столь же все-

общим, хотя и менее сильным; такое же количество людей было привержено им, хотя их приверженность, видимо, не была столь сильной, безоговорочной и точной (*precise and affirmative*).

Мы можем отметить, что, несмотря на догматический, властный характер всякого суеверия, убежденность религиозных людей бывает во все времена скорее притворной, чем истинной, и ни в коей мере не может сравниться с той твердой уверенностью и убежденностью, которая руководит нами в обыденных жизненных делах. Люди даже перед самими собой не смеют сознаться в тех сомнениях, которые мучают их в связи с подобными вопросами; они ценят лишь слепую веру и скрывают от самих себя свое действительное неверие при помощи самых усердных клятв и самого крайнего ханжества. Но природа оказывает сопротивление всем их усилиям и не позволяет тому неясному, мерцающему свету, который только и может проникнуть в эту мрачную область, сравняться с яркими впечатлениями, доставляемыми здравым смыслом и опытом. Обычное поведение людей опровергает слова и показывает, что в подобных вопросах их вера является каким-то неизъяснимым душевным актом, средним между неверием и убеждением, но гораздо более близким к первому, чем ко второму.

Таким образом, человеческий дух является, по-видимому, до такой степени шатким и неустойчивым, что даже теперь, когда многие лица находят интерес в том, чтобы постоянно обрабатывать его с помощью резца и молотка, они тем не менее оказываются не в состоянии выгравировать на нем богословские принципы на сколько-нибудь продолжительное время; насколько же более это справедливо по отношению к древним временам, когда существовало сравнительно мало носителей священных обязанностей! Неудивительно, что видимость была тогда очень обманчива и люди в некоторых случаях казались безусловно неверующими и даже врагами установленной религии, не будучи таковыми или по крайней мере не сознавая ясно своих собственных взглядов на данный предмет.

Другой причиной, делавшей древние религии гораздо более неустойчивыми, чем современные, являлось то обстоя-

тельство, что первые были основаны на *предании*, тогда как вторые — на *Священном писании*; причем предания в первом случае были запутанны, противоречивы и зачастую сомнительны, а поэтому их совершенно нельзя было свести к какому-нибудь образцу, или канону, и из них нельзя было вывести определенные принципы веры. Рассказы о богах были столь же бесчисленны, как папистские легенды, и, хотя почти каждый верил в некоторую часть таких рассказов, никто не мог верить в их совокупность и не мог даже знать ее; в то же время все должны были признавать, что ни одна отдельная часть этих рассказов не обоснована лучше остальных. Предания разных городов и народов также были во многих случаях прямо противоположными, и нельзя было указать основания для предпочтения одного из них другим. И так как существовало бесчисленное множество рассказов, основанных на далеко не надежном предании, то переход от основных принципов веры к ненадежным и сомнительным фикциям был совсем незаметен. Поэтому стоило лишь приблизиться к языческой религии и начать рассматривать ее по частям, как она расплывалась, точно облако. Она никогда не могла быть построена на твердых догматах и принципах; и это хотя и не отталкивало большинство людей от столь нелепой веры — разве люди могут быть разумными, — однако вызывало у них большие сомнения и колебания по отношению к ее принципам и даже побуждало некоторые известным образом настроенные умы к действиям и мнениям, казавшимся проявлением безусловного неверия.

К этому можно добавить, что вымыслы языческой религии были сами по себе легкими, изяшными и простыми, в них не было ни чертей, ни морей из серы, ни вообще чего-либо такого, что могло особенно устроить воображение. Кто мог воздержаться от улыбки, думая о взаимной любви Марса и Венеры или о любовных похождениях Юпитера и Пана? В данном отношении это была истинно поэтическая религия, разве что в ней было слишком много легкомыслия, не подобающего серьезным видам поэзии. Мы знаем, что она была воспринята поэтами нового времени, причем последние высказывались о богах, которых они рассматривали как вымысел, не с большей свободой и не с меньшей непоч-

тельностью, чем это делали древние по отношению к действительным объектам своего поклонения.

Совершенно неправильно полагать, будто религиозная система, не оказавшая глубокого влияния на дух народа, должна быть безусловно отвергнута всеми здравомыслящими людьми и что противоположные принципы, несмотря на те предубеждения, в которых воспитываются люди, большей частью устанавливались при помощи аргументов и рассуждений. Не знаю, не будет ли более вероятным обратное заключение? Чем менее назойливо и навязчиво какое-либо суеверие, тем меньше вызывает оно неудовольствия и негодования людей и тем меньше вызывает у них вопросов относительно его обоснования и происхождения. В то же время очевидно, что власть всякой религиозной веры над умом человека неустойчива и непостоянна, подчинена всякому колебанию настроения и зависит от разных событий, поражающих воображение. Разница здесь только в степенях; представитель древнего мира во время своей речи стал бы попеременно переходить от неверия к суеверию, современный же человек часто думает то же самое, но бывает более осторожен в выражениях.

Лукиан прямо говорит, что всякого, кто не верил в самые бессмысленные басни язычества, народ считал нечестивцем и безбожником. И действительно, разве стал бы этот изящный писатель направлять всю силу своего остроумия и своей сатиры против народной религии, если бы эта религия не была предметом веры всех его соплеменников и современников?



Марс и Венера
С античной группы



Афродита, Пан и Эрос

Ливий признается в общем неверии своего века столь же откровенно, как это сделало бы любое духовное лицо нынешнего времени, но зато столь же строго и осуждает его. Можно ли, однако, представить себе, что народное суеверие, которое ввело в заблуждение такого умного человека, не могло сделать того же и с большинством народа?

Стоики наградили своего мудреца множеством пышных и даже нечестивых эпитетов, заявляя, что он является богатым, свободным царем и равен бессмертным богам. Они забыли добавить, что своим умом он не отличается от любой старухи, ибо ничто не может быть более жалким, чем те взгляды, которых придерживалась секта стоиков по отношению к религиозным вопросам. Они, например, в согласии с прорицателями вполне серьезно утверждали, что, если ворон каркает слева, это хорошее предзнаменование, а если грач кричит с той же стороны, то это предзнаменование плохое. Панэций был единственным греческим стоиком, относившимся с некоторым сомнением к предсказаниям и гаданиям. Марк Антоний рассказывает, что он сам получал от богов много советов во сне. Эпиктет, правда, запрещает обращать внимание на язык грачей и воронов, но не потому, что они не вешают истин, а лишь потому, что они не могут предсказать нам ничего, кроме того, что мы сломаем себе шею или что наше имение будет конфисковано, а это, по его мнению, такие события, которые вовсе нас не касаются. Таким образом, стоики соединили философский энтузиазм с религиозным суеверием; сила их ума, целиком направленная в сторону этики, оказалась истощенной, когда дело коснулось религии. Платон влагает в уста Сократа утверждение, что возведенное на него обвинение в неверии обосновывалось исключительно тем, что он отрицал такие побасенки, как кастрация Урана его сыном Сатурном и свержение Сатурна с престола Юпитером. Однако в одном из последующих диалогов Сократ признается, что учение о смертности души было общераспространенным среди народа мнением. Есть ли здесь противоречие? Да, несомненно, но оно обнаруживается не у Платона, а у народа. религиозные принципы которого вообще всегда

бывают составлены из самых непримиримых элементов, в особенности в такую эпоху, когда суеверия воспринимаются им так легко и свободно.

Тот же Цицерон, который в кругу своей семьи старался показать себя истинно религиозным, на открытом заседании суда без стеснения отзывался об учении о загробной жизни как о бессмысленной басне, к которой никто не может относиться серьезно. Цезарь в изображении Саллюстия говорит таким же языком на открытом заседании сената. Однако нет никаких сомнений в том, что на основании подобных вольностей нельзя делать заключение о господстве полного и безусловного неверия и скептицизма среди народа. Хотя некоторые стороны народной религии не оказывали значительного воздействия на души людей, зато другие ее стороны тесно соприкасались с последними; и главной задачей философов-скептиков было доказать, что те и другие одинаково мало обоснованы. К этому искусственному приему прибегает Котта в диалогах «О природе богов». Он опровергает всю систему мифологии, постепенно переходя вместе с правоверными от более значительных мифологических рассказов, в которые все верили, к более легкомысленным, над которыми все смеялись; от богов — к богиням, от богинь — к нимфам, от нимф — к фавнам и сатирам. Его учитель Карнеад прибегал к подобному же способу рассуждения.

В общем самые крупные и заметные различия между основанной на предании мифологической религией и религией систематической, или схоластической, сводятся к следующим двум пунктам: первая часто оказывается более разумной, так как состоит целиком из множества рассказов, которые хотя и не обоснованы, но не заключают в себе явных нелепостей и логических противоречий; кроме того, она оказывает такое слабое и поверхностное влияние на душу людей, что даже в том случае, когда ее все воспринимают, она, к счастью, не оставляет слишком глубоких впечатлений в аффектах и рассудке.

ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ РЕЛИГИЙ НА НРАВСТВЕННОСТЬ

Здесь я не могу не отметить одного факта, который, быть может, достоин того, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто делает предмет своего исследования человеческую природу. Несомненно, что каким бы возвышенным ни было словесное определение, которое любая религия дает своему божеству, однако многие из ее приверженцев, и даже, по-видимому, большинство из них, всегда стараются снискать милость божества не при помощи добродетели и нравственности, хотя именно это и должно быть угодно совершенному существу, а при помощи соблюдения мелочных обрядов, безмерного усердия, восторженного экстаза или веры в таинства и нелепые положения. Лишь меньшая часть Седер, равно как и Пятикнижия, посвящена правилам нравственности, и мы можем быть уверены, что именно эту часть всегда менее всего соблюдали и принимали во внимание. Когда древних римлян поражала какая-нибудь эпидемия, они никогда не приписывали своих бедствий собственным порокам и не помышляли о раскаянии и искуплении. Они не вспоминали о том, что являются грабителями всего мира, что их честолюбие и жадность разоряют землю и повергают богатые народы в нищету. Они только провозглашали «диктатора», который должен был вбить гвоздь в дверь, и воображали, что этот прием достаточен для умиротворения разгневанного божества.

В Эгине одна из партий, устроив заговор, варварски и изменнически умертвила семьсот своих сограждан; убийцы дошли до такой степени бешенства, что, когда один несчастный беглец стал искать убежища в храме, ему отрезали руки, которыми он цеплялся за ограду, и его, вынеся за пределы священного места, немедленно же умертвили. Этим нечестивым поступком, говорит Геродот (а не рядом других жестоких убийств), они оскорбили богов и приняли на себя неискупимую вину.

Даже если бы мы предположили, чего никогда не бывает, что можно найти такую народную религию, в которой прямо заявлялось бы, что божескую милость можно снискать

одной только нравственностью, если бы был основан специальный орден священнослужителей для внедрения указанного принципа в умы посредством ежедневных проповедей и всевозможных приемов, то, несмотря на это, предрассудки настолько укоренились в людях, что за недостатком какого-либо иного суеверия они сочли бы сущностью религии именно посещение данных проповедей, а не добродетель и нравственность. Возвышенный пролог к законам Залевка не внушил лограм, насколько нам известно, каких-либо более здравых понятий о способах угодить божеству, чем те понятия, которые были свойственны другим грекам.

Итак, отмеченный нами факт является повсеместно распространенным, но объяснить его тем не менее довольно трудно. Указание на то, что люди всегда низводят своих богов до своего подобия и рассматривают их как особый вид человеческих существ, лишь несколько более могущественных и разумных, чем они сами, недостаточно, оно не устраняет затруднения. Ибо нет такого глупого человека, который, рассуждая при помощи ума, данного ему природой, не счел бы добродетель и честность самыми драгоценными качествами, которыми может обладать человек. Но почему не приписать подобный взгляд божеству? Почему не свести всю религию или главную ее часть к этим качествам?

Недостаточно также сказать, что нравственность труднее внедряется в практическую жизнь людей, чем суеверие, в силу чего первая и отвергается. Не говоря уже о чрезмерных самоистязаниях браминов и талапойнов, пост рамадан, во время которого несчастные турки в течение многих дней, часто в самую жаркую пору года, притом находясь в одном из наиболее жарких климатов на свете, остаются без пищи и питья от восхода до заката солнца, несомненно должен представляться даже самым порочным и испорченным людям гораздо более суровым, чем исполнение какой-либо нравственной обязанности. Четыре поста, принятых у московитов, и суровые испытания, которым подвергают себя некоторые католики, должны казаться более неприятными, чем кротость и благожелательность. Словом, всякая добродетель, если только люди хоть немного привыкли осуществлять ее на деле, приятна, а всякое суеверие всегда неприятно и тягостно.

Возможно, следующее решение вопроса поможет найти истинный выход из всех этих затруднений. Те обязанности, которые человек исполняет в качестве друга или родителя, являются не чем иным, как его долгом по отношению к своему благодетелю или к своим детям, и он не может пренебречь данными обязанностями, не порвав всех уз природы и нравственности. Сильная склонность может побуждать его к исполнению указанных обязанностей, чувства порядка и нравственной обязанности присоединяют свою силу к силе этих естественных уз, и человек, поскольку он действительно добродетелен, склоняется к исполнению своего долга без всякого усилия или старания. Что касается более строгих и в большей степени основанных на размышлении добродетелей, как-то: патриотизма, сыновнего долга, умеренности или честности, то даже здесь, по нашему мнению, сознание нравственной обязательности уничтожает всякую претензию на заслугу религии и добродетельное поведение не превышает того, что составляет наш долг по отношению к обществу и к нам самим. Во всем этом суеверный человек не находит ничего такого, что он совершил бы ради своего божества или что могло бы ему снискать особую милость, особое покровительство последнего. Он не сознает, что самый надлежащий метод служения божеству состоит в том, чтобы способствовать счастью его творений. Он продолжает отыскивать более непосредственные способы служения верховному существу, надеясь успокоить тот страх, который он испытывает, и все навязываемые ему поступки, когда они не служат никакой жизненной цели или особенно насилуют его естественные склонности, он исполняет особенно охотно и именно в силу тех самых причин, которые должны были бы привести его к безусловному отказу от этих поступков. Они кажутся ему чисто религиозными в тем большей степени, чем меньше в них примеси каких-либо иных мотивов или соображений; и, если ради них человек жертвует большей частью своего покоя и удобства, его заслуга вырастает в его собственных глазах пропорционально тому усердию и той преданности, которые он проявляет. Если человек отдает то, что он занял, или возвращает долг, он ни в

коей мере не делает одолжения своему божеству, потому что он был обязан совершить эти справедливые поступки и потому что их совершили бы многие люди, даже если бы во вселенной не существовало бога. Но если человек целый день постится или подвергает себя суровому бичеванию, то в таких поступках, по его мнению, сказывается прямое служение богу; никакой иной мотив не мог бы склонить его к таким проявлениям аскетизма. Он считает, что при помощи таких явных знаков преданности несомненно приобретет милость божества и сможет надеяться на вознаграждение в виде божественного покровительства и безопасной жизни в этом мире и вечного блаженства в будущем.

Поэтому величайшие преступления оказывались во многих случаях совместимыми с суеверным благочестием и набожностью. Поэтому совершенно справедливо считается рискованным выводить какие-либо достоверные заключения о нравственности человека на основании того усердия или той аккуратности, с которыми он выполняет свои религиозные обязанности, хотя бы даже он сам верил, что делает это искренне. Мало того, было подмечено, что самые гнусные поступки, самые черные дела скорее способствовали пробуждению суеверных страхов и возрастанию религиозного рвения. Гамилькар, организовав заговор с целью предать смерти весь карфагенский сенат и посягнуть на свободу своей страны, пропустил удобный случай вследствие того, что постоянно считался с разными предзнаменованиями и предсказаниями. *Те, кто замышляет самые преступные и самые опасные предприятия, обычно бывают самыми суеверными людьми*, замечает по данному поводу один древний историк. Их набожность и благочестие обычно растут параллельно их страхам. Катилина не довольствовался устафовленными божествами и обрядами, принятыми народной религией: терзаемый страхом, он искал новых изобретений подобного рода, о чем, наверное, никогда бы и не помыслил, если бы оставался хорошим гражданином, который подчиняется законам своей страны.

К этому можно добавить, что после совершения преступления пробуждаются угрызения совести и тайные страхи,

не дающие покоя душе и заставляющие прибегать к религиозным обрядам и таинствам ради искупления своих грехов. Все, что ослабляет или нарушает внутреннее равновесие, служит интересам суеверия, и ничто не воздействует на него так пагубно, как мужественная, стойкая добродетель, которая или предохраняет нас от несчастных, печальных случайностей, или же учит нас их переносить. При спокойном, светлом состоянии духа никогда не появляются признаки ложного божества. С другой стороны, если мы поддадимся естественным, неупорядоченным внушениям наших робких, боязливых сердец, то верховному существу будут приписываться всевозможные жестокости вследствие терзающих нас страхов и всевозможные капризы вследствие тех приемов, к которым мы прибегаем, чтобы умиротворить его. Жестокости, капризы — эти качества, как бы ни были они замаскированы словами, составляют, как можно повсюду наблюдать, господствующую, характерную черту божества в народных религиях. Священнослужители же, вместо того чтобы исправлять эти извращенные представления человечества, часто бывают готовы поощрять и развивать их. Чем более страшным представляется божество, тем послушнее и податливее становятся люди по отношению к его служителям; чем непостижимее требуемые божеством способы снискания его расположения, тем настоятельнее необходимость расстаться с нашим естественным разумом и довериться руководству и управлению духовенства. Таким образом, следует заключить, что искусственным путем можно только способствовать усилению свойственных людям слабостей и безумств, но не вызвать их появления. Их корни находятся в глубине нашего духа, их источником являются существенные и всеобщие свойства человеческой природы.

Перевод С.И. Церетели



ГИББОН ЭДУАРД

1737 — 1794

Жизнь

Эдуард Гиббон родился 27 апреля 1737 г. в местечке Путней близ Лондона, в семье зажиточного землевладельца.

Отец Гиббона был активным членом палаты общин.

В детстве Эдуард из-за слабого здоровья не смог получить правильного школьного образования, он обучался в колледже Св. Магдалины в Оксфорде, занимался теологией, принял католичество и за это был исключен.

Отец Гиббона отправил его на исправление в Лозанну к пастору Павилльяру, где он пробыл несколько лет и вернулся к англиканству.

Вернувшись в Англию в 1758 г., он записался в милицию и участвовал в Семилетней войне.

В 1774 г. Гиббон был избран членом парламента, но активной роли там не играл.

В 1779 г. в кабинете Норта его назначают главноуправляющим колониями.

В 1776 г. Гиббон публикует первый том «Истории упадка и крушения Римской империи», в 1789 г. в Лозанне публикуется последний — шестой том основного исторического труда Гиббона.

Эдуард Гиббон умер 16 января 1794 г.

Судьба

Эдуард, слабый от рождения, рано пристрастился к чтению. Сначала его привлекали путешествия, затем история Древнего Востока, предпочтение он отдавал древним авторам.

Уже 15-летним юношей он готовит исследование о далеком прошлом Египта, скептически относясь к тайнам в этой области, что становится навсегда отличительной чертой его будущих исследований.

В Оксфорде сочинения Боссюэ поколебали Гиббона в англиканском правосудии. Он увлекается культом и мистикой католического учения, но принимает католичество скорее из юношеского протеста против большинства, чем по велению потрясенной религиозной души. В Гиббоне преобладает холодный разум; он энтузиаст «от головы».

В Лозанне Гиббон основательно изучает французский язык и литературу. Знакомство с идеями энциклопедистов расширяет его кругозор, он становится убежденным сторонником Просвещения XVIII века, но интерес к прошлому не покидает его. Он пишет в своих «Мемуарах», что во время пребывания в Лозанне прочел и изучил около десяти тысяч страниц латинских авторов, в совершенстве овладев латынью.

Во время Семилетней войны он совершенствует греческий, читая в подлиннике классиков, в том числе Гомера и Страбона.

В парламенте Гиббон пребывал «немым», но наблюдение

за современной политикой помогло ему понять государственную жизнь далеких веков.

Путешествие в Италию привело его к выбору дела всей жизни.

Гиббон рассказывает: «Сидя раз на вершине Капитолия, я углубился в мечты о древнем величии Рима, а в это время у ног моих католические монахи пели вечерню на развалинах храма Юпитера. Здесь-то я и пришел к решимости написать историю разложения и упадка Римской империи».

Гиббон создал свой труд на основе широчайшего исторического материала.

Он был блестящим знатоком источников: это античные классики, средневековые хроники и комментарии к ним, географические описания, работы археологов и нумизматов, труды отцов церкви и работы по ее истории.

В 1788 г. личная библиотека Гиббона насчитывала до семи тысяч томов.

Первый том трудов Гиббона вышел в 1776 г. после двенадцати лет колоссальной непрерывной работы. Успех превзошел все ожидания, это был первый образец исторического труда в широком монументальном стиле.

В 1781 г. он заканчивает первоначальный план «Истории упадка и крушения Римской империи», выпуская второй и третий том.

После падения «старого Рима» перед историком раскрылась жизнь его преемника, «второго Рима» — Константинополя.

Потребовалось еще десятилетие напряженного труда по собиранию и построению нового, еще более огромного материала.

В 1789 г. выходит последний, шестой том труда Гиббона.

Для эпохи Гиббона его гениальное сочинение представляло совершенно новое явление в области исторического творчества.

Труд Гиббона заложил фундамент для истории Европы, связав в целое древность, средневековые и новые времена, язычество, христианство, ислам и зарождение нового просвещения.

**Коммод**

Римское Палаццо Консерваторе

Творчество

Эдуард Гиббон создавал свой труд «История упадка и крушения Римской империи» на протяжении четверти века с 1764 по 1789 годы.

Труд Гиббона в гл. 1 —36 содержит основанное на детальном изучении источников изложение политической истории Римской империи со времени Коммода (конец I века) до падения Западной Римской империи (конец V века), последующие части посвящены истории Византийской империи

до 1453 г. (взятие Константинополя турками) с экскурсами в историю западноевропейского средневековья и даже в историю России.

В объективности и точности заключается наиболее сильная сторона творчества Гиббона.

«Я использую собрания Тиллемака — чья неподражаемая точность граничит с талантом, — чтобы в силу моих способностей собрать и скрепить разбросанные частицы исторических известий», — пишет он.

Заслуга Гиббона как историка в том, что он выдвинул проблему упадка и крушения Рима как проблему естественного развития общества, определяемую не «божественным промыслом», а взаимодействием определенных причин и следствий.

Римляне, замечает Гиббон, слишком далеко качнули маятник в сторону демократии, и это привело страну к анархии, авторитаризму, а затем и деспотизму. Деспотическое переорождение верховной власти — вот причина упадка Римской империи. Но сам историк не выделяет ее в качестве исключительной и единственной причины.



Адакр свергает последнего Римского императора

Особого рассмотрения требует вопрос о роли христианства в судьбе империи, как его понимает Гиббон. Христианство освободило его служителей от каких-либо обязанностей перед обществом и государством, ибо исполнение обязанностей священной профессии принималось за полное выполнение долга по отношению к государству. Число служителей культа быстро росло и в конечном счете превысило численность солдат в легионах. В результате множество людей и большие материальные средства становились совершенно бесполезны для жизни общества.

Тип построения труда Гиббона — повествовательный. Он понимает историю как развертывающуюся панораму событий и стремится к достоверному и конкретному воспроизведению хода истории человечества.

При описании средних веков Гиббон первый стал подрывать представление о них как о безусловном господстве застоя и мрака. Зато при освещении истории Византии его концепция «падения» закрыла ему глаза.

Гиббон в Византийской империи находит лишь симптомы упадка, но невозможно тысячелетнее падение, и его концепция оказывала отрицательное влияние на историографию до конца XIX века.

Как классическое повествование, написанное блестящим стилем и изобилующее яркими картинками, богатое по содержанию, «История разложения и упадка Римской империи» сохраняет не только историческое значение.

Не удивительно утверждение строгого Нибура, что в этом отношении труд Гиббона не будет превзойден.

* * *

Послам Юлиана было приказано исполнить данное им поручение с самой большой поспешностью. Но во время их проезда через Италию и Иллирию местные губернаторы задерживали их под разными вымышленными предлогами; от Константинополя до Кесарии, в Каппадокии, их везли с большой медленностью, а когда они были наконец допущены в присутствие Констанция, император уже составил себе из депеш своих собственных чиновников самое неблагоприятное мнение о поведении Юлиана и галльской армии. Он выслушал с признаками нетерпения содержание писем, отпустил дрожавших от страха послов с негодованием и презрением, а его взгляды, телодвижения и гневные возгласы свидетельствовали о происходившем в его душе волнении. Родственная связь могла бы облегчить примирение между братом и мужем Елены, но она была незадолго перед тем расторгнута смертью этой принцессы, беременность которой несколько раз была бесплодна, а в конце концов сделалась гибельной для нее самой. Императрица Евсевия сохранила до последних минут своей жизни ту горячую и даже ревнивую привязанность, которую она питала к Юлиану;

но ее кроткое влияние уже не могло сдерживать раздражительность монарха, который сделался со времени ее смерти рабом своих собственных страстей и коварства своих евнухов. Однако страх, который внушало ему нашествие внешнего врага, заставил его на время отложить наказание врага внутреннего; он продолжал продвигаться к границам Персии и счел достаточным указать на те условия, исполнение которых могло дать Юлиану и его преступным сообщникам право на милосердие со стороны их оскорбленного государя. Он потребовал, чтоб самонадеянный Цезарь самым решительным образом отказался от звания и ранга Августа, принятых им от бунтовщиков, чтоб он снизошел на прежнее положение ограниченного в своих правах и зависимого правителя; чтоб он передал гражданскую и военную власть в руки лиц, которые будут назначены императорским двором, и чтоб он положился в том, что касается его личной безопасности, на уверения в помиловании, которые будут переданы ему одним из арианских епископов Галлии, Эпиктетом, который был любимцем Констанция. Несколько месяцев прошли в бесплодных переговорах, которые велись на расстоянии трех тысяч миль, отделявших Париж от Антиохии, и лишь только Юлиан заметил, что его скромный и почтительный образ действий только усиливал высокомерие непримиримого соперника, он смело решился вверить свою жизнь и свою судьбу случайностям междоусобной войны. Он принял квестора Леона в публичной аудиенции в присутствии войск; высокомерное письмо Констанция было прочитано перед внимательной толпой, и Юлиан заявил в самых льстивых выражениях о своей готовности отказаться от титула Августа, если получит на это согласие от тех, кого он признает виновниками своего возвышения. Это предложение, сделанное нерешительным тоном, было с горячностью отвергнуто, и возгласы: «Юлиан Август, продолжайте царствовать по воле армии, народа и республики, которых вы спасли» — разразились как гром по всему полю и привели в ужас бледного Констанциева посла. Затем была прочитана та часть письма, где император укорял в неблагодарности Юлиана, которого он облек отличиями верховной власти, которого он воспитал с такой заботливостью и нежностью и которого он охранял в детстве, в то время как он оставался беспомощным сиротой. «Сиротой! — воскликнул

Юлиан, увлекшийся, из желания оправдать себя, чувством ненависти. — Разве тот, кто умертвил всех членов моего семейства, может ставить мне в упрек, что я остался сиротой? Он принуждает меня мстить за те обиды, которые я долго старался позабыть». Собрание было распушено, и Леон, которого с трудом оградили от народной ярости, был отослан к своему повелителю с письмом, в котором Юлиан выражал с пылким и энергическим красноречием презрение, ненависть и жажду мщения, доведенную до ожесточения вынужденною двадцатилетнею сдержанностью. После отправки этого послания, равносильного объявлению войны на жизнь и на смерть, Юлиан, за несколько недель перед тем праздновавший христианский праздник Богоявления, сделал публичное заявление, что он веряет заботу о своей безопасности бессмертным богам и таким образом публично отрекается и от религии, и от дружбы Констанция.

Положение Юлиана требовало, чтоб он немедленно принял какое-нибудь энергическое решение. Из перехваченных писем он узнал, что его противник, жертвуя интересами государства для своих личных интересов, возбуждал варваров к вторжению в западные провинции. Положение двух складов противника, из которых один устроен на берегах Констанского озера, а другой у подножия Коттийских Альп, указывало направление двух неприятельских армий, а размер этих складов, в каждом из которых было по шестьсот тысяч четвертей пшеницы, или, скорее, пшеничной муки, был грозным свидетельством силы и многочисленности врага, который готовился окружить его. Но императорские легионы находились еще на своих отдаленных стоянках в Азии; Дунай охранялся слабо, и, если бы Юлиан мог, благодаря внезапности своего вторжения, занять важные иллирийские провинции, он мог бы надеяться, что множество солдат станет под его знамена и что богатые золотые и серебряные руды покроют расходы на междоусобную войну. Он предложил собравшимся солдатам решиться на это важное предприятие, внушил им основательное доверие и к их генералу и к самим себе и убеждал их поддержать приобретенную ими репутацию, убеждал, что они страшны врагам, скромны в обхождении со своими согражданами и послуш-

ны своим офицерам. Его воодушевленная речь была принята с самым громким одобрением, и те самые войска, которые восстали против Констанция, потому что он вызвал их из Галлии, теперь с горячностью заявили, что они готовы следовать за Юлианом на край Европы и Азии. Солдаты принесли присягу в верности; бряцая своими щитами и приложив к своему горлу обнаженные мечи, они со страшными заклинаниями обрели себя на службу вождю, которого превозносили как освободителя Галлии и как победителя германцев. Это торжественное обязательство, внушенное, по-видимому, не столь чувством долга, сколь личной привязанностью, встретило противодействие лишь со стороны Небридия, незадолго перед тем назначенного преторианским префектом. Этот честный министр осмелился вступить без всякой посторонней помощи за права Констанция посреди вооруженной и возбужденной толпы людей и едва не сделался почтенной, но бесполезной жертвой ее ярости. Лишившись одной руки от удара меча, он пал к стопам государя, которого оскорбил. Юлиан прикрыл префекта своей императорской мантией и, защитив его от усердия своих приверженцев, отправил его домой с меньшим уважением, чем такого заслуживало мужество врага. Высокая должность Небридия была передана Саллюстию, и галльские провинции, освободившиеся теперь от невыносимой тяжести налогов, стали наслаждаться мягким и справедливым управлением Юлианова друга, который получил возможность применять к делу те добродетели, которые он влил в душу своего воспитанника.

Надежды Юлиана были основаны не столько на многочисленности его войск, сколько на быстроте его движения. Пускаясь на такое отважное предприятие, он принимал все меры предосторожности, какие только могло внушить благоразумие, а когда не было возможности поступать так, как требовало благоразумие, он полагался на свое мужество и на свою фортуна. Он собрал свою армию в окрестностях Базеля и там же разделил ее на части. Отряд из десяти тысяч человек под предводительством кавалерийского генерала Невиты должен был направиться внутрь Реции и Норики. Другой такой же отряд, под начальством Иовия и Новина, приготовился к выступ-

лению окружным путем больших дорог через Альпы и северные границы Италии. Генералам были даны энергичные и ясные инструкции: быстро продвигаться вперед густыми и сомкнутыми колоннами, которые, сообразно с расположением местности, могли бы быть легко выстроены в боевом порядке; предохранять себя от нечаянных ночных нападений сильными патрулями и бдительными часовыми; предотвращать сопротивление неожиданностью своего появления, уклоняться от распросов быстрым удалением из занятой местности, распространять слухи о своей силе и внушать благоговение к имени Юлиана: присоединиться к своему государю под стенами Сирмиума. Самому себе Юлиан предоставил исполнение самой трудной и самой блестящей части общего плана. Он выбрал три тысячи храбрых и ловких волонтеров, отказавшихся, подобно своему вождю, от всякой надежды на отступление; во главе этого преданного отряда он бесстрашно устремился в самую глубь Маркианского, или Черного, леса, скрывающего в своих недрах истоки Дуная, и в течение некоторого времени никто ничего не знал о том, где находится Юлиан. Таинственность его похода, его быстрота и энергия преодолели все препятствия; он прокладывал себе путь через горы и болота, овладевал мостами или переправлялся через реки вплавь, подвигался вперед по прямому направлению, не обращая никакого внимания на то, через какую территорию ему приходится переходить, через римскую или через варварскую, и наконец появился между Ратисбоном и Веной в том самом месте, откуда он предполагал спустить свою армию вниз по Дунаю. Благодаря искусно задуманной хитрости он захватил стоявший на якоре флот из легких бригантин, запаса плохой провизией, способной удовлетворять неразборчивый, но ненасытный аппетит галльской армии, и смело пустился вниз по течению Дуная. Благодаря неутомимым усилиям его гребцов и постоянно благоприятному попутному ветру его флот проплыл в одиннадцать дней более семисот миль, и он высадил свои войска в Бононии только в девятнадцати милях от Сирмиума, прежде нежели до неприятеля дошло известие о том, что он покинул берега Рейна. Во время этого далекого и быстрого плавания Юлиан не уклонялся от главной цели своего предприятия, и, хотя он принимал депутации от некоторых городов, спешив-

ших приобрести своей торопливой покорностью его милостивое расположение, он проезжал не останавливаясь мимо неприятельских постов, расположенных вдоль реки, и не увлекался соблазном выказать бесполезную и несвоевременную храбрость. Берега Дуная были с обеих сторон покрыты толпами любопытных, которые глазели на пышность боевого снаряжения, предчувствовали важность предстоящих событий и распространяли по окрестным странам славу юного героя, продвигающегося вперед с нечеловеческой скоростью во главе бесчисленных военных сил Запада. Луцилиан, соединявший с рангом кавалерийского генерала главное начальство над военными силами Иллирии, был встревожен и смущен неопределенными донесениями, которых он не мог опровергнуть, но которым трудно было верить. Он принял некоторые медленные и нерешительные меры с целью собрать войска, когда был застигнут врасплох Дагалефом — деятельным офицером, которого Юлиан послал вперед с небольшим отрядом легкой кавалерии немедленно вслед за своей высадкой в Бононии. Взятый в плен генерал, не знавший, что его ожидает, был тотчас посажен на лошадь и отправлен к Юлиану, который милостиво поднял его и разогнал чувства страха и удивления, по-видимому совершенно притупившие его умственные способности. Но лишь только Луцилиан пришел в себя, он позволил себе обратиться к победителю с неуместным замечанием, что он поступил опрометчиво, появившись среди своих врагов с небольшой кучкой людей. «Поберегите эти трусливые замечания для вашего повелителя Констанция, — возразил Юлиан с презрительной улыбкой. — Дозволяя вам поцеловать полу моей мантии, я принял вас не как советника, а как просителя». Сознавая, что только успех может оправдать его попытку и что только смелость может доставить успех, он немедленно предпринял, во главе трех тысяч солдат, нападение на самый сильно укрепленный и самый населенный город иллирийских провинций. Когда он вступил в длинное предместье Сирмиума, он был встречен радостными криками армии и народа, которые, украсившись венками из цветов и держа в руках зажженные свечи, проводили его как своего государя в императорскую резиденцию. Два дня были проведены среди общего торжества, которое было отпраздновано играми цирка; но на третий день, ра-

но утром Юлиан выступил в поход с целью занять узкие проходы Sicci, в ущельях горы Гемуса, которая, находясь почти на полпути между Сирмиумом и Константинополем, отделяет Фракию от Дакии, представляя со стороны первой из этих провинций крутой склон, а со стороны второй легкую покатость. Защита этого важного пункта была поручена храброму Невитте, который, точно так же как и генералы итальянского отряда, успешно исполнил план похода и соединения, так искусно задуманный его повелителем.

Отчасти благодаря страху, который наводило имя Юлиана, отчасти благодаря сочувствию, которое он внушал населению, его власть распространилась гораздо далее тех пределов, которыми ограничивались его военные успехи. Префектуры итальянская и иллирийская управлялись Тавром и Флоренцием, соединявшими со своей важной должностью пустые отличия консульского звания; а так как эти сановники поспешно удалились к императорскому двору в Азию, то Юлиан, не всегда умевший сдерживать свою наклонность к насмешкам, заклеил их бегство тем, что во всех публичных актах того года прибавлял к именам двух консулов эпитет «беглые». Покинутые своими высшими должностными лицами провинции признали над собою власть такого императора, который, соединяя в себе достоинства воина с достоинствами философа, внушал одинаковое к себе уважение и в расположенных на Дунае лагерях, и в греческих школах. Из своего дворца, или, вернее говоря, из своей главной квартиры, находившейся то в Сирмиуме, то в Нессе, он разослал главным городам империи тщательно изложенную апологию своего поведения, опубликовал секретные депеши Констанция и приглашал все человечество сделать выбор между двумя соперниками, из которых один прогнал варваров, а другой поощрял их вторгнуться внутрь империи. Глубоко оскорбленный упреком в неблагодарности, Юлиан хотел доказать справедливость своего дела как силою оружия, так и силою аргументов — хотел выказать не только свои военные, но и свои литературные дарования. Его послание к афинскому сенату и народу, по-видимому, было внушено сильным влечением к изящному, заставившим его представить свои действия и свои мотивы на суд выродившимся афиня-

нам своего времени с такой смиренной почтительностью, как будто он защищался, во дни Аристиды, перед трибуналом Ареопага. Его обращение к римскому сенату, которому все еще дозволяли утверждать права на императорскую власть, было согласно с обычаями испускавшей дух республики. Городской префект Тертулл созвал сенат: там было прочитано послание Юлиана, а так как он, по-видимому, был властителем Италии, то его притязания были уважены и ни один голос не нарушил общего единодушия. Его косвенное порицание нововведений Константина и его страстные нападки на пороки Констанция были выслушаны с меньшим удовольствием: как будто Юлиан лично присутствовал на заседании, сенаторы единогласно воскликнули: «Просим вас, уважайте виновника вашей собственной фортуны». Это было двусмысленное выражение, допускавшее различные толкования, смотря по тому, каков будет исход войны; оно могло быть принято и за смелый упрек узурпатору в неблагодарности и за льстивое признание, что Констанций загладил все свои ошибки тем, что возвысил Юлиана.

Известие о движении и быстрых успехах Юлиана дошло до его соперника, в то время как отступление Сапора дало ему возможность отложить на время заботы о войне с Персией. Скрывая свою душевную тревогу под маской презрения, Констанций выражал намерение возвратиться в Европу и заняться погоней за Юлианом — так как он никогда не говорил об этой экспедиции иначе, как об охотничьей прогулке. В своем лагере близ Гиерополя, в Сирии, он сообщил об этом намерении своим войскам, слегка упомянул о виновности и опрометчивости Цезаря и уверял, что, если галльские мятежники осмелятся померяться силой в открытом поле с императорской армией, они будут неспособны выдержать огонь ее глаз и падут от одних ее воинственных возгласов. Речь императора вызвала одобрение солдат, и президент гиеропольского совета Теодот из лести умолял со слезами, чтоб голова побежденного бунтовщика была назначена на украшение его города. Избранный отряд был отправлен в почтовых экипажах, чтоб занять, если еще было возможно, проход Sicci; рекруты, лошади, оружие и магазины, приготовленные для войны с Сапором, получили

новое назначение сообразно с требованиями междоусобной войны, а победы, одержанные Констанцием над его внутренними врагами, внушали его приверженцам полную уверенность в успехе. Нотариус Гауденций, принявший от его имени управление африканскими провинциями, пресек доставку съестных припасов в Рим, а затруднения Юлиана еще увеличились вследствие одного неожиданного события, которое могло иметь для него самые пагубные последствия. Юлиан принял изъявления покорности от стоявших в Сирмиуме двух легионов и одной когорты стрелков; он, не без основания, не полагался на преданность этих войск, получивших некоторые отличия от императора, и под предлогом, что границы Галлии охраняются слишком слабо, удалил их от главного театра военных действий. Они неохотно выступили в поход и дошли до границ Италии; а так как их пугали и дальность пути, и дикая отвага германцев, то они решились, по наущению одного из своих трибунов, остановиться в Аквилее и водрузить знамя Констанция на стенах этой неприступной крепости. Бдительный Юлиан тотчас понял, как велика угрожавшая ему опасность и как необходимо немедленно принять против нее меры. По его приказанию Ионин отвел часть армии в Италию, предпринял осаду Аквилеи и вел ее с энергией. Но легионные солдаты, по-видимому сбросившие с себя иго дисциплины, обороняли крепость с искусством и упорством; они пригласили остальную Италию последовать данному ими примеру мужества и преданности своему государю и грозили отрезать отступление Юлиана в случае, если бы он не устоял против численного превосходства восточных армий.

СМЕРТЬ КОНСТАНЦИЯ. 301 г.

Но человеколюбие Юлиана было избавлено от печальной необходимости, о которой он скорбел в таких трогательных выражениях, — ему не пришлось делать выбор между гибелью других и своею собственной, так как кстати приключившаяся смерть Констанция предохранила Римскую империю от бедствий междоусобной войны. Приближение зимы не

помешало императору покинуть Антиохию, а его приближенные не осмелились противиться его нетерпеливой жажде мщения. Легкая лихорадка, которая, быть может, была вызвана его душевной тревогой, усилилась от утомительного путешествия, и Констанций был вынужден остановиться в небольшом городке Монсукрене, в двенадцати милях по ту сторону Тарса, где он и умер после непродолжительной болезни на сорок пятом году от рождения и на двадцать четвертом году своего царствования. Из предшествующего изложения мирских и церковных событий уже можно было составить себе ясное понятие о его характере, представлявшем смесь гордыни с малодушием и суеверия с жестокостью. Долгое злоупотребление властью придало его личности высокое значение в глазах его современников, но так как одни только личные достоинства имеют значение в глазах потомства, то мы ограничимся замечанием, что последний из сыновей Константина унаследовал лишь недостатки своего отца, но не обладал ни одним из его дарований. Утверждают, будто Констанций перед смертью назначил Юлиана своим преемником, и мы не находим ничего неправдоподобного в том, что его заботливость об участи молодой и нежно любимой жены, которую он оставлял беременной, могла в последние минуты его жизни одержать верх над его более грубыми страстями, над ненавистью и жаждой мщения. Евсевий вместе со своими преступными сообщниками сделал слабую попытку продолжить владычество евнухов путем избрания нового императора; но их заискивания были с негодованием отвергнуты армией, которой была отвратительна мысль о междоусобице, и два офицера высшего ранга были немедленно отправлены к Юлиану с уверением, что ни один меч в империи не будет вынут из ножен иначе, как по его приказанию. Это счастливое событие предотвратило исполнение военных планов Юлиана, задумавшего напасть на Фракию с трех различных сторон. Без пролития крови своих сограждан он избежал опасностей борьбы, исход которой был сомнителен, и приобрел все выгоды полной победы. Горя нетерпением посетить место своего рождения и новую столицу империи, он направился туда из Несса через Гемские горы и через города Фракии. Когда он прибыл в Гераклею, нахо-

дившуюся от Константинополя на расстоянии шестидесяти миль, все население столицы высыпало ему навстречу, и он совершил свой торжественный въезд при громких изъявлениях преданности со стороны солдат, народа и сената. Бесчисленная толпа теснилась вокруг него с почтительным любопытством и, может быть, была обманута в своих ожиданиях, когда увидела небольшого ростом и просто одетого героя, который в пору своей неопытной юности одолел германских варваров, а теперь совершил удачный поход через весь Европейский континент от берегов Атлантического океана до берегов Босфора. Через несколько дней после того, когда прибыли в гавань смертные останки покойного императора, подданные Юлиана восхищались искренней или притворной чувствительностью своего государя. Пешком, без диадемы и одетый в траурное платье, сопровождал он погребальное шествие до церкви Св. Апостолов, где было положено тело усопшего, и если эти доказательства уважения могли бы быть истолкованы как себялюбивая дань, принесенная высокому происхождению и положению его родственника, то слезы Юлиана свидетельствовали перед всем миром о том, что он позабыл нанесенные ему Констанцием оскорбления и помнил лишь сделанное ему добро. Лишь только стоявшие в Аквилее легионы убедились, что император действительно умер, они отворили городские ворота и, принеся в жертву своих преступных вождей, без труда получили прощение от благоразумия и снисходительности Юлиана, который, на тридцать втором году своей жизни, получил бесспорную власть над всей Римской империей.

Философия научила Юлиана сравнивать выгоды деятельной жизни с выгодами уединения, но знатность его рождения и случайности его жизни никогда не давали ему свободы выбора. Он, может быть, искренне предпочел бы роши Академии и афинское общество; но сначала воля, а впоследствии несправедливость Констанция заставили его подвергнуть свою личность и свою репутацию опасностям, сопряженным с императорским величием, и принять на себя перед целым миром и перед потомством ответственность за благополучие миллионов людей. Юлиан со страхом припоминал замечание своего любимого философа Платона, что

заботы о нашем скоте и стадах всегда поручаются существам более высокого разряда и что управление народами требует небесных дарований богов или гениев. Отправляясь от этого принципа, он обоснованно приходил к заключению, что тот, кто хочет царствовать, должен стремиться к божественным совершенствам; что он должен очищать свою душу от всего, что в ней есть смертного и земного; что он должен подавлять свои плотские вожделения, просвещать свой ум, управлять своими страстями и укрощать в себе дикого зверя, которому, по живописному выражению Аристотеля, редко не удастся воссесть на трон деспота. Но трон Юлиана, утвердившийся вследствие смерти Констанция на самостоятельном фундаменте, был седалищем разума, добродетели и, может быть, тщеславия. Юлиан презирал почести, отказывался от удовольствий, исполнял с непрестанным старанием обязанности своего высокого сана, и между его подданными нашлось бы немного таких, которые захотели бы его избавить от тяжести диадемы, если бы они были обязаны подчинить свое распределение времени и свои действия тем суровым законам, которые наложил сам на себя этот император-философ. Один из самых близких его друзей, с которым он нередко делил свой скромный и простой обед, высказал замечание, что его легкая и необильная пища, обыкновенно состоявшая из различных овощей, никогда не отнимала у его ума и у его тела той свободы и той способности к деятельности, которые необходимы для разнообразных и важных занятий писателя, первосвященника, судьи, генерала и монарха. В один и тот же день он давал аудиенции нескольким послам и писал или диктовал множество писем к своим генералам, гражданским сановникам, личным друзьям и к различным городам империи. Он выслушивал чтение присланных ему записок, рассматривал содержание прошений и диктовал решения так быстро, что его секретари едва успевали вкратце их записывать. Его ум был так гибок, а его внимание так сосредоточенно, что он мог пользоваться своей рукой для того, чтобы писать, своими ушами для того, чтобы слушать, своим голосом для того, чтобы диктовать, и таким образом одновременно следовать за тремя различными нитями идей без

колебаний и без ошибок. В то время как его министры отдыхали, монарх быстро переходил от одной работы к другой и после торопливо съеденного обеда удалялся в свою библиотеку; там он оставался до тех пор, пока назначенные им на вечер деловые занятия не заставляли его прервать его научные занятия. Ужин императора был еще менее обильен, чем обед; его сон никогда не отягощался трудным пищеварением, и, за исключением небольшого промежутка не столько сердечной склонности, сколько политических расчетов, целомудренный Юлиан никогда не разделял своего ложа с подружкой женского пола. Его будили рано утром входившие в его комнату секретари, которые запасались свежими силами, отдыхая в течение предшествующего дня, а его слуги дежурили попеременно, в то время как для их неутомимого повелителя главный способ отдохновения заключался в перемене занятий. Предшественники Юлиана, и его дядя, и его родной брат, и его двоюродный брат, удовлетворяли свою ребяческую склонность к играм цирка под благовидным предлогом, что они желают сообразоваться с вкусами народа, и они нередко проводили большую часть дня как праздные зрители блестящего представления или как участники в нем до тех пор, пока не был закончен полный комплект двадцати четырех бегов. В торжественные праздники Юлиан снисходил до того, что появлялся в цирке, несмотря на то что чувствовал и высказывал несогласное с господствовавшей модой отвращение к таким пустым забавам; но, просидев с равнодушным невниманием в течение пяти или шести бегов, он удалялся с торопливостью философа, считающего потерянной каждую минуту, которая не была посвящена общественной пользе или обогащению его собственного ума. Благодаря такой бережливой трате своего времени он как будто удлинил свое непродолжительное царствование, и, если бы все числа не были с точностью определены, мы отказались бы верить, что шестнадцать месяцев отделяли смерть Констанция от выступления его преемника в поход против персов. История может сохранить воспоминание лишь о деяниях Юлиана; но до сих пор сохранившаяся часть его объемистых сочинений служит памятником как трудолюбия императора, так и его

гения. «Мизопогон», «Цезари», некоторые из его речей и его тщательно обработанное сочинение против христианской религии были написаны во время длинных вечеров двух зим, из которых первую он провел в Константинополе, а вторую в Антиохии.

ДВОРЦОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

Преобразование императорского двора было одним из первых самых необходимых дел Юлианова управления. Вскоре после его прибытия в Константинопольский дворец Юлиану понадобился брадобрей. Перед ним тотчас явился великолепно разодетый сановник. «Я требовал брадобрея, — воскликнул император с притворным удивлением, — а не главного сборщика податей». Он стал расспрашивать этого человека о выгодах, доставляемых его должностью, и узнал, что, кроме большого жалованья и некоторых значительных подобных доходов, он получал суточное продовольствие для двадцати слуг и стольких же лошадей. Тысяча брадобреев, тысяча виночерпиев, тысяча поваров были распределены по разным заведениям, созданным роскошью, а число евнухов можно было сравнить лишь с числом насекомых в летний день. Монарх, охотно предоставлявший своим подданным превосходства заслуг и добродетели, отличался от них разорительным великолепием своей одежды, своего стола, своих построек и своей свиты. Роскошные дворцы, воздвигнутые Константином и его сыновьями, были украшены разноцветными мраморами и орнаментами из массивного золота. Не столько для удовлетворения вкуса, сколько для удовлетворения тщеславия ко двору доставлялись самые изысканные съестные припасы — птица из самых отдаленных стран, рыба из самых дальних морей, плоды не по времени года, розы зимой и лед в летнюю пору. Содержание бесчисленной дворцовой прислуги стоило дороже, чем содержание легионов, но лишь весьма незначительная ее часть употреблялась на служение монарху или хотя бы на увеличение блеска его власти. На стыд монарху и на разорение народу было учреждено бесчислен-

ное множество неважных и даже только номинальных должностей, которые можно было приобретать за деньги, так что самый последний из подданных мог купить право существовать за счет государственной казны без всякой обязательной работы. Эта надменная челядь быстро обогатилась остатками расходов от такого громадного хозяйства, увеличением подарков и наград, которых она скоро стала требовать как долг, и взятками, которые она вымогала от тех, кто боялся ее вражды или искал ее дружбы. Она расточала эти богатства, забывая о своей прежней нищете и не заботясь о том, что ожидает ее в будущем, и одна только безрассудная ее расточительность могла стоять на одном уровне с ее хищничеством и продажностью. Ее шелковые одеяния были вышиты золотом, ее стол был изящен и обилен; дома, которые она строила для своего собственного употребления, занимали такое же пространство, как мыза иного древнего консула, и самые почтенные граждане были обязаны сходить с лошади, чтоб почтительно поклониться встреченному ими на большой дороге евнуху. Дворцовая роскошь возбуждала отвращение и негодование в Юлиане, который имел обыкновение спать на полу, неохотно подчинялся самым неизбежным требованиям человеческой природы и находил удовлетворение своего тщеславия не в старании превзойти царственную пышность своих предшественников, а в презрении к ней. Он поспешил совершенно искоренить зло, которому общественное мнение придавало еще более обширные размеры, чем те, какие оно имело на самом деле, и горел нетерпением облегчить положение и прекратить ропот народа, который легче выносит тяжесть налогов, когда уверен, что плоды его труда употребляются на нужды государства. Но Юлиана обвиняют в том, что при исполнении этой благотворной задачи он поступал с торопливою и неосмотрительною страстью. Изданием только одного эдикта он превратил Константинопольский дворец в обширную пустыню и с позором распустил весь штат рабов и слугителей, не сделав ни из чувства справедливости, ни даже из милосердия никаких исключений в пользу старости, заслуг или бедности преданных слугителей императорского семейства. Таков в действительности был нрав Юлиана.

на, часто забывавшего основной принцип Аристотеля, что истинная добродетель находится между двумя противоположными пороками на одинаковом от них расстоянии. Великолепные и приличествующие женщинам одеяния азиатов, завитые локоны и румяна, ожерелья и браслеты, казавшиеся столь смешными на Константине, были вполне обоснованно отвергнуты заменившим его на троне философом. Но вместе с шегольством Юлиан, по-видимому, отвергал и необходимость быть прилично одетым; он будто гордился своим пренебрежением к требованиям чистоплотности. В сатирическом произведении, предназначенном для публики, император с удовольствием и даже с гордостью говорит о длине своих ногтей и о том, что его руки всегда выпачканы в чернилах; он утверждает, что, хотя большая часть его тела покрыта волосами, бритва бреет только то, что у него на голове, и с очевидным удовольствием восхваляет свою косматую и густонаселенную бороду, которую он, по примеру греческих философов, нежно лелеет. Если бы Юлиан руководствовался простыми требованиями здравого смысла, то первый римский сановник не унизился бы в его лице ни до жеманства Диогена, ни до жеманства Дария.

Но дело общественного преобразования оставалось бы недоконченным, если бы Юлиан только уничтожил злоупотребления предшествовавшего царствования, оставив безнаказанными его преступления. «Мы теперь избавились, — говорит он в фамильярном письме к одному из своих близких друзей, — мы удивительным образом избавились от ненасытной пасти гидры. Я отношу это название вовсе не к брату моему Констанцию. Его уже нет в живых; пусть будет ему пухом земля над его головой! Но его коварные и жестокосердные любимцы старались обманывать и раздражать монарха, отличавшегося таким мягкосердечием, которое нельзя хвалить, не впадая в лесть. Впрочем, даже этих людей я не намерен притеснять; их обвиняют, и они должны пользоваться благодеяниями справедливого и беспристрастного суда». Для разбирательства этих дел Юлиан назначил шестерых судей из лиц, занимавших высшие должности на государственной службе и в армии, а так как он желал отклонить от себя упрек в наказании своих личных врагов, то местом заседа-

ний этого чрезвычайного трибунала он назначил Халкедон, на азиатском берегу Босфора, и дал судьям безусловное право постановлять и приводить в исполнение свои окончательные приговоры без всяких отсрочек и без апелляций. Звание председателя было возложено на почтенного восточного префекта, второго Саллюстия, добродетели которого одинаково ценились и греческими софистами, и христианскими епископами. Ему дан был в помощники один из выбранных консулов — красноречивый Мамертин, достоинства которого громко превозносились на основании сомнительного свидетельства тех похвал, которые он расточал сам себе. Но гражданская мудрость этих двух сановников перевешивалась свирепостью запальчивостью четырех генералов: Невитты, Агило, Иовина и Арбецио. Публика была бы менее удивлена, если бы увидела Арбецио не в судейском кресле, а на скамье подсудимых; тем не менее существовало общее убеждение, что ему одному была известна тайная задача комиссии; начальники отрядов юпитерцев и геркулианцев гневно стояли с оружием в руках вокруг трибунала, и судьи подчинялись в своих решениях то законам справедливости, то громким требованиям крамолы.

Камергер Евсевий, так долго злоупотреблявший милостивым расположением Констанция, поплатился позорной смертью за наглость, безнравственность и жестокости своего рабского владычества. Казнь Павла и Аподемия (из которых первый был сожжен живым) была неудовлетворительным наказанием в глазах вдов и сирот стольких сот римлян, на которых донесли и которых погубили эти легальные тираны. Но сама справедливость (по живописному выражению Аммиана) проливала слезы над участью имперского казначея Урсула; его смерть была свидетельством неблагодарности Юлиана, который несколько раз выпутывался из затруднительного положения благодаря неустрашимой щедрости этого честного министра. Причиной и оправданием его казни была ярость солдат, которых он раздражал своими разоблачениями, и Юлиан, глубоко потрясенный и угрызениями своей совести и ропотом публики, постарался утешить семейство Урсула тем, что возвратил ему его конфискованное имущество. Прежде нежели истек год, в течение

которого Тавр и Флоренций были возведены в звание префектов и консулов, они были вынуждены обратиться с мольбами о помиловании к безжалостному халкедонскому трибуналу. Первый из них был сослан в город Верчелли, в Италию, а над вторым был произнесен смертный приговор. Мудрый монарх наградил бы Тавра за то, что считалось его преступлением: этот верный министр, не будучи в состоянии воспротивиться наступательному движению бунтовщика, укрылся при дворе своего благодетеля и своего законного государя. Но преступление Флоренция оправдывало строгость судей, а его бегство доставило Юлиану случай выказать свое великодушие: император обуздал себялюбивое усердие одного доносчика и не захотел знать, в каком месте этот несчастный беглец скрывается от его справедливого гнева. Через несколько месяцев после того, как халкедонский трибунал был закрыт, в Антиохии были казнены заместитель африканского префекта нотариус Гауденций и египетский герцог Артемий. Этот последний властвовал над обширной провинцией как жестокий и развратный тиран, а Гауденций долго занимался клеветническими доносами на невинных и добродетельных граждан и даже на самого Юлиана. Однако разбирательство их дела велось так неискусно и приговор над ними был постановлен так неумело, что в общественном мнении составилось убеждение, будто они пострадали за непоколебимую преданность, с которой они защищали интересы Констанция. Остальные виновные спаслись благодаря всеобщей амнистии и могли безнаказанно пользоваться взятками, которые они брали или за то, чтоб защищать угнетенных, или за то, чтоб угнетать беззащитных. Эта мера, которая достойна одобрения, если смотреть на нее с точки зрения здравых политических принципов, была приведена в исполнение таким способом, который унижал величие императорского престола. Множество просителей, в особенности египтян, докучали Юлиану настойчивыми требованиями, чтоб им были возвращены подарки, розданные ими или по неблагоразумию, или противозаконно; он предвидел бесконечный ряд утомительных процессов и дал просителям слово, которое должен бы был считать священным, что, если они отправятся в Халке-

дон, он сам приедет туда, чтоб лично рассмотреть их жалобы и постановить решение. Но лишь только они высадились на противоположном берегу, он, безусловно, запретил лодочникам перевозить кого-либо из египтян в Константинополь и таким образом задержал своих разочарованных клиентов на азиатской территории до тех пор, когда они, истощив и свое терпение, и свои денежные средства, поневоле возвратились на родину с ропотом негодования.

Многочисленная армия шпионов, агентов и доносчиков, набранная Констанцием для того, чтоб обеспечить спокойствие одного человека и нарушить спокойствие миллионов людей, была немедленно распущена его великодушным преемником. Юлиан был не легко доступен подозрениям и не был жесток в наказаниях: его пренебрежение к измене было результатом здравого смысла, тщеславия и мужества. Из сознания своего нравственного превосходства он был убежден, что между его подданными нашлось бы немного таких, которые осмелились бы или открыто восстать против него, или посягнуть на его жизнь, или занять в его отсутствие вакантный престол. Как философ, он мог извинять опрометчивые выходки недовольных, как герой, он мог относиться с пренебрежением к честолюбивым замыслам, для успешного осуществления которых у опрометчивых заговорщиков не достало бы ни авторитета, ни дарований. Какой-то житель Анкиры сделал для своего собственного употребления пурпуровую одежду, благодаря докучливому заискиванию одного из его личных врагов Юлиан узнал об этом неосторожном поступке, который был бы признан в царствование Констанция за уголовное преступление. Собрав сведения о ранге и характере своего соперника, монарх послал ему через доносчика в подарок пару пурпуровых туфель, чтоб довершить великолепие его императорского одеяния. Более опасный заговор был составлен десятью состоявшими при нем гвардейцами, которые вознамерились убить Юлиана на поле близ Антиохии, где происходили военные упражнения. Они раскрыли свою тайну в то время, как были пьяны; их привели закованными в цепи к оскорбленному монарху, который с воодушевлением объяснил им преступность и безрассудство их замысла, и затем, вместо того чтоб подвергнуть их пытке и смертной казни, которой они и заслуживали и ожидали, он

произнес приговор о ссылке двух главных виновных. Только в одном случае Юлиан, по-видимому, отступился от своего обычного милосердия — когда он приказал казнить опрометчивого юношу, задумавшего захватить своею слабою рукою бразды правления. Но этот юноша был сын того кавалерийского генерала Марцелла, который в первую кампанию против галлов покинул знамена Цезаря и республики. Вовсе не из желания удовлетворить свою личную жажду мщения Юлиан мог легко смешать преступление сына с преступлением отца; но он был тронут скорбью Марцелла, и щедрость императора постаралась залечить рану, нанесенную рукою правосудия.

Юлиан не был равнодушен к выгодам, доставляемым общественной свободой. Из своих ученых занятий он впитал в себя дух древних мудрецов и героев, и его жизнь и его судьба зависели от каприза тирана, и, когда он вступил на престол, его гордость нередко бывала унижена той мыслью, что, рабы, которые не осмелились бы порицать его недостатки, не способны ценить его добродетель. Он питал искреннее отвращение к восточному деспотизму, установленному в империи Диоклетианом, Константином и восьмидесятилетней привычкой к покорности. Основанный на суеверии мотив не дозволял Юлиану исполнить нередко возникавшее в его уме намерение избавить свою голову от тяжести дорогой диадемы, но он решительно отказывался от титула *Dominus*, или Господин, с которым уже так свыкся слух римлян, что они совершенно позабыли о его рабском и унижительном происхождении. Должность или, скорей, название консула было приятно для монарха, с уважением взиравшего на все, что оставалось от республики, и он, по сознательному выбору и по склонности, держался той политики, которую Август принял из предусмотрительности. В январские календы, лишь только рассвело, новые консулы Мамертин и Невитта поспешили во дворец, чтобы приветствовать императора. Когда его уведомили об их приближении, он встал со своего трона, поспешил к ним навстречу и заставил сконфуженных сановников принять изъявления его притворной покорности. Из дворца они отправились в сенат. Император шел пешком впереди их носилок, и глазевшая толпа любовалась зрелищем, напоминавшим старые времена, или втайне порицала образ действий, унижавший в ее глазах императорское дос-

тоинство. Впрочем, Юлиан во всех своих действиях неизменно держался одних и тех же принципов. Во время происходивших в цирке игр он по неосмотрительности или с намерением отпустил на волю одного раба в присутствии консула. Лишь только ему напомнили, что он присвоил себе право, принадлежащее другому сановнику, он присудил самого себя к уплате пени в десять фунтов золота и воспользовался этим случаем, чтобы публично заявить, что он, точно так же как и все его сограждане, обязан соблюдать законы и даже формы республики. Согласно с общим духом своего управления и из уважения к месту своего рождения Юлиан предоставил константинопольскому сенату такие же отличия, привилегии и власть, какими еще пользовался сенат Древнего Рима. Была введена и мало-помалу упрочилась легальная фикция, что половина национального собрания переселилась на восток, а деспотические преэемники Юлиана, принявши титул сенаторов, признали себя членами почтенного собрания, которому было дозволено считать себя представителем величия римского имени. Заботливость монарха, не ограничиваясь Константинополем, распространилась и на муниципальные сенаты провинций. Он несколькими эдиктами уничтожил несправедливые и вредные льготы, устранявшие стольких досужих граждан от службы их родине, а благодаря справедливому распределению общественных обязанностей он возвратил силу, блеск и (по живописному выражению Либания) душу испускавшим дух городам своей империи. Древние времена Греции возбуждали в душе Юлиана нежное соболезнование, воспламенявшееся до восторженности, когда он вспоминал о богах и героях и о тех людях, возвышавшихся над богами и героями, которые завешали самому отдаленному потомству памятники своего гения и пример своих добродетелей. Он облегчил стесненное положение городов Эпира и Пелопоннеса и возвратил им их прежний блеск. Афины признавали его своим благодетелем, а Аргос — своим избавителем. Гордый Коринф, снова восставший из своих развалин с почетными отличиями римской колонии, требовал от соседних республик дани для покрытия расходов на публичные зрелища, которые устраивались на перешейке и заключались в том, что в амфитеатре травили медведей и барсов. Но города Элида, Дельфы и Аргос, унаследовавшие от дальних предков

священную обязанность поддерживать Олимпийские, Пифийские и Немейские игры, обоснованно требовали для себя освобождения от этого налога. Привилегии Элиды и Дельф были уважены коринфянами, но бедность Аргоса внушила смелость угнетателям, и слабый протест его депутатов был заглушен декретом провинциального сановника, заботившегося, как кажется, лишь об интересах столицы, в которой находилась его резиденция. Через семь лет после того, как состоялось это решение, Юлиан дозволил принести на него апелляцию в высший трибунал и употребил свое красноречие — вероятно, с успехом — на защиту города, который был резиденцией Агамемнона и дал Македонии целое поколение царей и завоевателей.

Юлиан употреблял свои дарования на дела военного и гражданского управления, увеличивавшиеся числом соразмерно с расширением империи, но он сверх того нередко принимал на себя обязанности оратора и судьи, с которыми почти вовсе незнакомы новейшие европейские монархи. Искусство убеждать, которое так тщательно изучали первые Цезари, было оставлено в совершенном пренебрежении воинственным невежеством и азиатскою гордостью их преемников; если же они снисходили до того, что обращались с речами к солдатам, которые внушали им страх, зато они относились с безмолвным пренебрежением к сенаторам, которые внушали им презрение. Заседания сената, которых избегал Констанций, считались Юлианом за самое удобное место, где он мог высказывать свои республиканские принципы и выказывать свои ораторские способности. Там, точно в школе декламации, он изощрялся попеременно то в похвалах, то в порицаниях, то в увещаниях, а его друг Либаний заметил, что изучение Гомера научило его подражать и безыскусному сжатому стилю Менелая, и многоречивости Нестора, из уст которого слова сыпались как хлопья снега, и столько же трогательному, сколько энергическому красноречию Улисса. Обязанности судьи, не всегда совмещающиеся с обязанностями монарха, исполнялись Юлианом не только по чувству долга, но и ради развлечения, и, хотя он мог бы полагаться на честность и прозорливость своих преторианских префектов, он нередко садился рядом с ними за судейским столом. Его пронизательный ум находил приятное для себя

занятие в том, что старался разоблачать и опровергать придирки адвокатов, старавшихся скрыть правду и извратить смысл законов. Он иногда забывал о своем высоком положении, задавал нескромные и неуместные вопросы и обнаруживал громкими возгласами и оживленными жестами горячее убеждение, с которым он отстаивал свои мнения против судей, адвокатов и их клиентов.



Александр Север

Но сознание своих собственных недостатков заставляло его поощрять и даже просить своих друзей и министров, чтоб они сдерживали его увлечение, и всякий раз, как эти последние осмеливались возражать на его страстные выходки, зрители могли заметить выражение стыда и признательности на лице своего монарха. Декреты Юлиана почти всегда были основаны на принципах справедливости, и он имел достаточно твердости, чтоб противостоять двум самым опасным соблазнам, осаждающим трибунал монарха под благовидными формами сострадания и справедливости. Он решал тяжбы без всякого внимания к положению судящихся, и бедняк, участь которого он желал бы облегчить, присуждался им к удовлетворению справедливых требований знатного и богатого противника. Он тщательно отделял в себе судью от законодателя, и, хотя он замышлял необходимую реформу римского законодательства, он поставлял свои решения согласно со строгим и буквальным смыслом тех законов, которые судья был обязан исполнять и которым подданный был обязан подчиняться.

Если бы монархам пришлось лишиться своего высокого положения и остаться без всяких денежных средств, они большей частью немедленно низошли бы в низшие классы общества без всякой надежды выйти из безвестности. Но личные достоинства Юлиана были в некоторой мере независимы от фортуны. Какую бы он ни избрал карьеру, он

достиг бы или по меньшей мере оказался бы достойным высших отличий своей профессии благодаря своему непреклонному мужеству, живости ума и усидчивому прилежанию; он мог бы возвыситься до звания министра или начальника армии в той стране, где он родился простым гражданином. Если бы завистливая прихоть правителя обманула его ожидания или если бы он из благоразумия не захотел идти по тому пути, который ведет к величию, он стал бы упражнять те же дарования в уединенных занятиях, и власть королей не могла бы влиять ни на его земное благополучие, ни на его бессмертную славу. Кто будет рассматривать портрет Юлиана с мелочным или, быть может, недоброжелательным вниманием, тот найдет, что чего-то недостает для изящества и красоты его наружности. Его гений был менее могуч и менее высок, чем гений Цезаря, и он не обладал высокою мудростью Августа. Добродетели Траяна кажутся более надежными и естественными, а философия Марка Аврелия более проста и последовательна. Однако и Юлиан выносил несчастья с твердостью, а в счастье был воздержан. После двадцатилетнего промежутка времени, истекшего со смерти Александра Севера, римляне созерцали деяния такого императора, который не знал других удовольствий, кроме исполнения своих обязанностей, который трудился с целью облегчить положение своих подданных и вдохнуть в них бодрость и который старался всегда соединять власть с достоинством, а счастье с добродетелью. Даже крамола и даже религиозная крамола была вынуждена признать превосходство его гения и в мирных и в военных делах управления и с прискорбием сознаться, что веротступник Юлиан любил свое отечество и был достоин всемирного владычества.

Перевод В.Н. Неведомского



ЖОЗЕФ де МЕСТР

1 апреля 1753 г. — 26 февраля 1821 г.

Жизнь

Жозеф де Местр родился в одной из знатных савойских семей, представители которой преданно служили королям Сардинии. Отец де Местра, граф Франсуа Ксавье, занимал высокие посты в Сардинском королевстве — президента Сената и хранителя королевских владений.

Начальное образование де Местр получил в коллегии иезуитов. Затем в 15 лет (1768 г.) вступил в Сообщество Черных Исповедников, сопровождавших приговоренных к смерти на место казни, хоронивших их тела и молившихся за них, затем отправился в Туринский университет изучать юриспруденцию.

В 1774 г. он вернулся домой, где был принят на место сверхштатного прокурора.

В 1786 г. де Местр женится и после смерти отца занимает его пост в Сенате.

В 1792 г., после объявления Францией войны Сардинскому королевству, де Местр присоединился к королевской армии, которая отступила в Альпы в Пьемонт. Вместе с ним туда же бежала и его семья. Вскоре весь королевский двор перебирается в Лозанну (Швейцария), где Местр пишет первую свою книгу «Суждения о Франции» ((1796), выдержавшую несколько изданий.

В 1797 г. Савойя была присоединена к Франции, и де Местру пришлось уехать в Венецию, которая была присоединена к Австрии.

В 1801 г. де Местр был назначен правителем Королевской Канцелярии в Сардинии (высшая гражданская должность в королевстве).

В 1802 г. он на долгие годы (12 лет) расстался со своей семьей, которая вернулась в Савойю.

В 1803 г. сардинский король Виктор-Эммануил I отправил де Местра в Санкт-Петербург с дипломатической миссией, целью которой был союз Сардинии с Россией против Франции.

26 мая 1803 г. де Местр был представлен Александру I в качестве сардинского посла в России.

В Петербурге, помимо дипломатической деятельности, де Местр негласно покровительствовал распространению католицизма в России. По его предложению Полоцкая коллегия иезуитов в 1811 г. была реорганизована в академию.

В 1813 г. в Петербург приезжает семья де Местра.

В 1817 г., после изгнания из России иезуитов и всплеска антикатолических настроений среди придворной аристократии, де Местр вынужден был покинуть Россию.

За время пребывания в Петербурге де Местр написал множество произведений: «О промедлении божественной справедливости», «Опыт о порождающей основе человеческих установлений», «О Папе», «Санкт-Петербургские вечера» и множество других.

Де Местр поселился в Турине, где занялся изданием своих рукописей.

В 1818 г. он был назначен в Сардинии Великим канцлером с рангом министра, а в 1821 г. Местр умер.



Виктор-Эмануил - король Италии

Судьба

Прибыв в Петербург, Жозеф де Местр был обласкан императором Александром I, благодаря чему он был прекрасно принят петербургским обществом, которое поразил его блестящий ум и европейская известность. Один из русских современников писал: «Граф Местр точно должен быть ве-



Прощание Александра I с Фридрихом Вильгельмом III и Луизо у гроба Фридриха Великого в гарнизонной церкви, в Потсдаме, в ночь с 3 на 4 ноября 1805 г.

По картине Дэлинга, гравировано Мено Гаасом в Берлине 1806 г.

ликий мыслитель: о чем бы ни говорил он, все очень интересно, и всякое замечание его так и врезывается в память, потому что заключает в себе идею прекрасно выраженную».

Де Местр стал любимцем столичной аристократии. Он часто бывал у Толстых, Строгановых, у графа Кочубея, адмирала Чичагова, княгини Е. Н. Вяземской.

Фрейлина Роксандра Стурдза так вспоминала о посещениях де Местра: «Завязала я знакомство с графом де Местром и его братом. Но старший, чьи сочинения составили эпоху, присоединял ко всем сокровищам знаний и дарований еще редчайшую чувствительность, которую он вносил в самые простые жизненные отношения. Непреклонный, часто даже нетерпеливый в своих убеждениях, он был всегда снисходителен и дружелюбен в личных отношениях к людям. Страстный ценитель женщин, он искал их общества и их одобрения. Дружба, которую он мне высказывал, была для меня столь же приятна, как и полезна, ибо граф де Местр занимал видное место в обществе, и было достаточно удовольствия, какое он находил в моей беседе, чтобы создать мне репутацию».

Приезд де Местра в Петербург совпал с усилением интереса столичной аристократии к католицизму, и в особенности к иезуитам, которым она оказала существенную поддержку. Однако де Местр не сразу проникся идеей распространения католицизма в России. В 1803 г., посетив пансион иезуитов в Санкт-Петербурге, он записал у себя в дневнике, что никогда не видел ничего более жалкого и не нашел здесь тех педагогических талантов, которые отличают их от европейской школы. Только в 1811 г. де Местр подал А. Н. Голицыну особую записку в пользу ходатайства иезуитов расширить рамки католического образования в России. Записка была передана Александру I. При личной встрече Александр I сказал де Местру, что прочел все с большим удовольствием, и полностью все поддержал.

В этот период де Местр был наиболее приближен к русскому императору. Александр I использовал его как частного секретаря для редактирования государственных бумаг, а также в качестве советника. Ему, например, послали на отзыв проект памятника Минину и Пожарскому в Москве. Сын его был принят в привилегированный Кавалергардский полк.

После возвращения Александра I из заграничного похода все изменилось. Кончилось благополучие иезуитов. Их орден, так же как и папский престол, после поражения наполеоновской Франции испытывал влияние Австрии, сопер-

ницы России в Европе. Среди столичной знати участились случаи обращения в католичество, за что винили тех же иезуитов. В результате, императорским указом были закрыты для проживания иезуитов Санкт-Петербург и Москва. Это был тяжелый удар для тесно связанного с иезуитами де Местра. Его подозревали в активном содействии переходу русских аристократов из православия в католичество, что было недопустимым для дипломатов.

Де Местр пытался оправдаться перед императором, но безуспешно, и ему предстояло покинуть ставший столь любимым его сердцу Санкт-Петербург, в котором он хотел остаться до конца своей жизни.

После смерти де Местра его дочь Адели написала: «Вы не удивитесь моему известию о том, что после случившегося с нами ужасного несчастья в Петербурге не нашлось никого, кто хотя бы написал нам или положил цветок на эту почитаемую могилу. Четырнадцать лет видели они перед собой сей живой светоч, это редчайшее соединение доброты, познаний и таланта. Видели, но не любили».

Творчество

Широкую известность Жозефу де Местру принесла его книга «Суждение о Франции», изданная в 1796 г.. В ней де Местр изображает Французскую революцию как социально-политический хаос, у которого нет причин и следствий. Деятели ее представляются ему безвольными посредственностями, коими движет неведомая им самим сила. И сила эта принадлежит божественному Провидению. Революция не есть дело людей. Они ее не предвидели, не хотели и не осуществляли. Она только от Бога. У Франции особое предназначение в мире — вести за собой христианское человечество, ведь не зря ее именуют старшей дочерью Церкви. Но она отступила от своего долга, впала в безбожие и восстала против самого Бога. За это последовала кара революцией. Однако истекающая кровью, но вместе с тем очистившаяся Франция сможет исполнить свое предназначение, ведь истинные правительства создаются Провидени-



Набережная Невы у Летнего сада в Петербурге

ем. А какой толк от конституций, не принимающих во внимание ни страну, ни ее нравы, ни ее религию? В природе нигде нет абстрактного человека. Есть только множество народов. Революция неспособна создавать, ибо ни одно государство не возникло по осознанной воле людей. Республика обречена, и после всеобщего очищения к власти вернуться Бурбоны.

В своих работах де Местр отрицал абстрактные социальные идеи французских просветителей о равенстве и братстве, их идею возникновения государства на основе общественного договора. Для де Местра человеком и историей управляло божественное Провидение. Причину революций и народных восстаний в новое время де Местр видел в том, что люди в своей деятельности выдвинули на первый план материалистические знания, естественную науку, отодвинув на задний план религию, веру и самого Бога.

Обращаясь к приверженцам революции, де Местр писал: «Вы желаете равенства между людьми потому, что вы ошибочно считаете их одинаковыми, вы толкуете о правах человека, пишете общечеловеческие конституции; ясно, что, по вашему мнению, различия между людьми нет; путем умозаключения вы пришли к отвлеченному понятию о человеке и все приурочиваете к этой фикции. Выдуманного вами общечеловека нигде на свете не увидишь, ибо его в природе не существует. Поэтому перестанем витать в области отвлеченных теорий и фикций и станем на почву действительности».



Князь А. Н. Голицын

Для де Местра права человека — это только замаскированное желание как можно меньше нести обязанностей гражданина, а права сословий — только стремление создать государство в государстве. При аристократическом режиме, по мнению де Местра, нация раскалывается, при демократическом — она крошится, и затем от нее остается только «буйная пыль». Развитие национальной истории должно быть проникнуто единством мысли и сознания, а мыслить вообще нельзя, т. к. это ведет к созданию искусственных институтов в обществе и в конечном счете к социальным катаклизмам.

Касаясь России в своем трактате «О Папе Римском» (1819 г.), де Местр вынес ей жестокий приговор. Он, знавший эту страну много лучше, чем большинство иностранцев, а сравнительно с русскими имевший преимущество

взгляда извне, отказал ей в праве принадлежать к европейской семье народов. Перед Россией только один выбор: рабство или революция.

Лишь католицизм может ее спасти, но он так и не смог пустить корни среди русских. Исторические взгляды де Местра на Россию нашли отражение также в его «Петербургских письмах» (1803 — 1817 гг.).

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

16 (28) мая 1816 г.

<...> Ваше превосходительство помнит, конечно, из сообщения моего об удалении прежних католических священников то мнение, что удар сей направлен противу самой религии. К несчастью, подтвердилось сие столь сверхобычным способом, что я почитаю непрямым долгом своим уведомить о сем как Ваше Превосходительство, так и Его Величество.

Последний Генерал иезуитов отец Грубер, из немцев, человек воистину необычайный, богослов, лекарь, химик, механик, оптик и т. д., а более всего государственный и созданный как бы для того, чтобы быть министром у великого государя, получил от щедрот Павла 19.000 рублей, которые сей Император пожелал отдать католической Церкви. Отец Грубер, коего знал я весьма близко, принял их от имени и в собственность сей Церкви и купил землю вокруг храма, действуя при сем лишь как обычный управляющий. Затем замыслил он смелый план построить на сей земле дом, который стал бы собственностью Церкви. Благодаря всеобщему уважению к Генералу и совершенной относительно него доверенности сразу же стали притекать вклады. Ему удалось возвести дом за 450.000 рублей; было установлено правило ежегодно платить 15.000 долга и проценты. К прошлому декабрю оставалось задолженности на 220.000 рублей. Все шло превосходно, и никто ни на что не жаловался. Что же произошло теперь? Князь Александр Голицын, министр вероисповеданий (я уже имел честь говорить Вашему Превосходительству, что один сей титул вызывает у меня судороги), воспользовался представившимся



Революционные лидеры (1793 г.)

случаем, дабы изничтожить католический храм. Для сего отождествил он его с иезуитами, хотя то и другое было совершенно разделено, и стал утверждать, будто дом принадлежит иезуитам, а посему должен быть конфискован и продан за долги. Ваше Превосходительство может подумать, что все это привиделось мне во сне, однако же сие есть чистая правда. Дело было рассмотрено в комитете министров, каковые все и подписались под решением, за исключением двоих, заявивших на это протест. Потомство не забудет их, но дело было сделано, и мы увидели подтверждение того, что в России можно продавать имущество должника, не справившись о желании на то заимодавца. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

16 (18) июня 1816 г.

<...> Сейчас, когда я пишу сие Вашему Превосходительству, в Павловске дают блистательный праздник в годовщину битвы при Ватерлоо; как вы понимаете, праздник сей устроен в честь принца Оранского и его августейшей супруги; бал, ужин, музыка и пение, кантаты, великолепные декорации; одним словом, ничто не упущено. Но, к общему удивлению, не приглашены иностранные посланники. Впрочем, здесь никогда не следуют неизменным и всеобщим правилам: все зависит от желания и настроения повелителя. Как я уже имел честь писать Вашему Превосходительству, нас теперь не балуют. Иностранный посланник может быть приятен как генерал, как представитель особливо дружественного или родственного двора, но если он всего лишь посланник и ничего более — сто раз видел я, как им с легкостью пренебрегают. Посол Англии, обретающийся здесь в великом фаворе и числящийся даже генерал-адъютантом Его Императорского Величества, приглашен на сей праздник, но французский посол не удостоился сего. Сочли, конечно, что имя Ватерлоо не ласкает ухо французов, кем бы они теперь ни были. Мне понятна сия деликатность. Но все же это такой случай, когда в равной мере тягостно быть и приглашенным, и неприглашенным. Что до меня, то я был весьма рад, ибо уже заранее решил сказаться больным <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

29 июня (11 июля) 1816 г.

Г-н Граф,

Завтра мне назначен прием по поводу тех двух предметов, о коих трактуется в переданных мною нотах. К сожалению, почта отправляется уже сегодня.

Касательно же того нового назначения, сообщенного мне Вашим Превосходительством, я отказываюсь от оногo самым решительным образом и делаю сие с тем почтительным негодованием, каковое, полагаю, вполне мне дозволительно. Конечно, меня, как и любого другого, может ослеплять самолюбие, но я твердо уверен, что должность, не имеющая европейского наименования, ниже моего достоинства. Когда речь идет о генерале, посланнике, епископе, камергере и т. д., это понятно каждому. Но назовите *il presidente capo del consolato*, и всякий спросит, что это такое. Никого, г-н Граф, при справедливом правительстве, подобном нашему, не понижают с того места, куда поставила его мудрость Короля. Человек безупречной службы меняет свою должность лишь на высшую или же, когда возраст не позволяет ему продолжать свое поприще, монарх удостоивает почтенную его старость какой-нибудь новой наградой. В ожидании именно такового течения дел, полагая себя еще способным служить Его Величеству не хуже многих других, а даже и лучше, я отнюдь не прошу об отставке и поелику уже в течение пятнадцати лет с достоинством ношу звание посланника при одном из величайших государей мира, я никогда не приму должность, каковая не соответствует рангу посланника. Ваше Превосходительство, конечно же, не преминет сообщить мне, что такова воля Короля (излюбленная форма, сокращающая письма); действительно, г-н Граф, Король — наш повелитель, и посему я не устал повторять, что если благоугодно ему дать мне отставку с пенсией, возразить против сего мне нечего. Но я никогда не соглашусь с честью быть *il presidente capo del consolato*. Прими я сию должность, многие будут смеяться, а для меня невозможно доставить такое удовольствие лю-

дям, стоящим слишком низко в моих глазах. Ежели я могу одолжить их каким-либо иным способом, они могут вполне рассчитывать на меня. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

30 июня (12 июля) 1816 г.

Г-н Граф,

Перечитывая письмо ваше в части, ко мне относящейся, я все менее и менее понимаю его. Человек, который на протяжении трех лет председательствовал в высшем суде и уехал из страны на пятнадцать лет как посланник при Российском Императоре, отзывается для того, чтобы возглавить низший суд, и сие после понесенных для отечества трудов! Дело непостижимое, г-н Граф, и я просто не верю глазам своим.

Друзья писали мне: «Просите такого или такого места в Пьемонте или Савойе». Но я ничего не требую, г-н Граф, будучи убежден, что было бы нескромной претензией досаждать своими просьбами о том или о сем. Я лишь прошу что-нибудь пристойное, не позволяя себе отказываться от чего-либо, поелику принужден я оставить первоначальное свое намерение не переезжать отсюда ни в какое иное место. Но для меня лучше пострадать, нежели быть смешным: в первом случае в мою защиту, по крайней мере, возопит глас общества, а сие есть само по себе немалое утешение.

Мне весьма приятно, что меня печатают в Париже, а Академия Наук призывает меня в свое лоно именно в то время, когда ваша юриспруденция предлагает мне быть *il presidente capo del consolato*. Ничто не могло совместиться лучше, нежели сии два события. Ежели заметки мои имели бы в Париже такой же успех, как и в других местах, тогда я просил бы должности товарища прокурора, удостоверяя честным своим словом знание латыни. Впрочем, г-н Граф, прошу прощения за таковую шутку, что выходит уже за пределы дозволенного.

Я есмь и пр.

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

3 (15 июля) 1816 г.

<...> Российский Император стал спасителем всей Европы, а нас в особенности, благодаря тому, что он освободил Францию и тем самым восстановил всеобщее равновесие. Горе нам и многим другим, ежели Император не сможет удержать нынешнее свое положение! Воистину лук теперь туго натянут. У него 1.200.000 солдат, и при этом он производит еще рекрутские наборы. Армия стоит ему более миллиона в день, а доходы не превосходят 400 миллионов. Войско сильно ропщет; оно изнурено и голодает. Многие дворяне разорились и крайне раздражены законом об ипотеках, о котором я уже подробно писал Вашему Превосходительству. Впрочем, у Императора есть, я полагаю, весьма основательные резоны поступать так, как он это делает, и не считать себя обязанным говорить мне о них. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

18 (30) июля 1816 г.

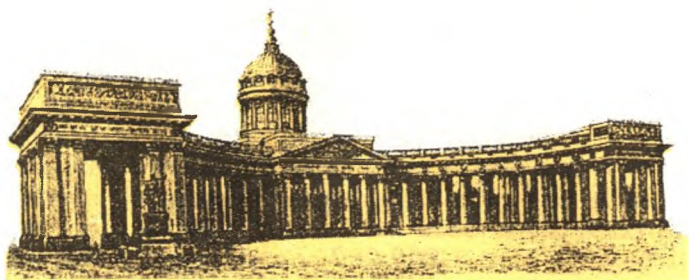
<...> В субботу 14 (26)-го сего месяца Санкт-Петербургские коммерсанты давали великолепный обед в честь Его Императорского Величества и всей августейшей фамилии в большом зале новой биржи, что послужило как бы ее освящением. <...>

Трапеза обошлась в 46.000 рублей, а именно: 18.000 маэстро Рикетти, императорскому кулинару, за обед как таковой, 18.000 за десерт и пр. и еще 10.000 на вина.

Ничто не нарушило величия сего события, а изобилие фруктов было прямо-таки беспримерным. Среди прочего особенно выделялась стерлядь, стоившая 500 рублей. Сомневаюсь, чтобы где-нибудь кроме Лондона и Санкт-Петербурга могли происходить подобные празднества.

Известно, что в Париже знаменитый Робер по заказу Его Императорского Величества успел с вечера к утру приготовить банкет, стоивший 6.000 франков, чем немало удивил Императора.

Несмотря на сии прелестные праздники, время от времени оживляющие Санкт-Петербург, сей город уже совсем не тот, что прежде. На него словно легла пелена какой-то пе-



Казанский собор (1801-1811 гг.)

Архитектор А. Воронихин

чали, и иностранцы, не приезжавшие сюда лет десять, просто не узнают сию великолепную столицу. Особливо поражает, как быстро здесь забыли, что такое открытый дом. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

5 (17) сентября 1816 г.

<...> Если Ваше Превосходительство желает убедиться в том, сколь неуклонно и искусно идет своим поприщем сей государь (Александр I. — Д. С.), то достаточно лишь взглянуть на устройство Польши. Всмотритесь внимательнее, г-н Граф, прочтите все до сего относящееся, и вы увидите, с каким постоянством стремится он к своей цели, презирая все ошибки, все интриги и все партии.

Возможно, Ваше Превосходительство знает, что Его Императорское Величество дал обет построить в Москве великолепный храм во имя Спасителя для увековечения благодеяний Провидения, явленных за последние годы. Он начал исполнение своего обета с указания места для храма и даже будто бы уже одобрил сам план.

О сем плане рассказывают совершенно безумные вещи, и я передаю Вашему Превосходительству лишь то, что говорят. По слухам, он составлен каким-то очень молодым русским, который неустанно и с превеликим вдохновением трудился над сим колоссальным замыслом. Постройка храма будет стоить сорок миллионов и займет восемнадцать лет. Римский Св. Петр по сравнению с сей церковью ока-



Храм Христа Спасителя в Москве

жется чем-то вроде часовни. Все сие представляется родом какого-то безумия, а посему я оставляю за собой лишь роль эха, отражающего раздающиеся голоса. Впрочем, не исключено, что русская горячность и вправду измыслила какую-либо фанатическую затею; характер русских во всех делах, а особливо в искусствах, таков же, как и на поле брани: они идут вперед, ни о чем более не заботясь. Здесь мы видим разительный сему пример в Казанском соборе. Я весьма опасаясь, что новый проект будет полностью поручен какому-нибудь молодому таланту, совершенно отрешенному от советов иностранцев, паче всего итальянцев. Однако, как я уже сказал Вашему Превосходительству, пока невозможно сообщить ничего достоверного.

Но в то время как архитекторы трудятся над постройкою храмов, высший архитектор — Император — думает об устройстве колоний, людей и, прежде всего, солдат. Проект военных муниципий, или солдатских поселений, уже испытывается на практике и прекрасно показал себя. Из трех батальонов каждого полка отбирается один численностью 600 или 700 человек; им дается коронная земля, и всех их женят. Они строят себе ранжированные дома по плану, определенному для всей Империи; в каждом доме должны быть две запасные комнаты на двух солдат из других бата-

льонов, перемешающихся с места на место и расквартируемых в сих поселениях, как в гарнизонах.

Всякий ребенок мужского пола, выработанный на таковых мануфактурах, становится солдатом, что отнюдь не является новшеством для России, где солдатских сыновей от рождения записывают солдатами. Новые сии учреждения сами всем себя обеспечивают, кроме обмундировочного сукна.

Первая пробная колония была устроена в Витебской губернии; говорят, только за сей год она поставила 144 ребенка мужского пола и на 80.000 рублей зерна. О затраченных на сие средствах не сообщается.

Легко понять, что таковой порядок вещей создает солдатский народ и величайшую из мыслимых армий, притом за самую низкую цену. От сего воспоследует окончательное исчезновение гражданского правопорядка. Говорили мне и еще об одном нововведении, которое весьма существенно подкрепит начатое дело. Император отправляет один батальон в уже населенную местность Новгородской губернии, и новая сия колония будет отделена от общего управления Империей, так что сия амальгама войска и крестьян окажется в подчинении военного начальства. Весьма почтенные особы уверяли меня, будто уже есть указ, где говорится о намерении Его Императорского Величества испробовать в сей губернии новый проект сравнительно с уже существующим порядком. Ежели Ваше Превосходительство присокупит к сим важным опытам еще и великое намерение освободить крестьян, к чему уже приступлено в Эстонии, то, полагаю, не будет преувеличением мое мнение, что России суждено явить миру во внутреннем своем устройстве еще более великое зрелище, нежели показанное ею за своими пределами. В остальном же было бы слишком самонадеянно предсказывать все следствия великих сих нововведений, кои оценены могут быть лишь временем и опытом. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)

3 (15) октября 1816 г.

<...> Честь имею уведомить Ваше Превосходительство о некоем деле, а лучше сказать о *puntiglio* сего великого дво-

ра с Соединенными Штатами. Сии последние еще до получения тех депеш, про которые я сообщал вам, прислали в Кронштадт нарочитый корвет со всеми судебными бумагами, относящимися к обвинению русского консула в Филадельфии г-на К. По имеющимся свидетельствам, он обольстил несчастную девицу двенадцати лет, которая служила у него в доме нянькой собственного его ребенка. Двадцать один присяжный решили, что есть основания для обвинения, после чего мировой судья отправил консула в тюрьму, но уже через несколько часов магистры применили к нему Habeas Corpus. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

17 (29) октября 1816 г.

... Весь мир, г-н Граф, находится как бы в состоянии деторождения, если мне позволительно употребить таковое сравнение. Ничто не остается на своем месте, и в России. быть может, даже более, нежели в иных местах. У Императора есть все, дабы произвести великие перемены: огромная сила ума и даже тела, ибо сия последняя необходима, чтобы вынести сей тяжкий труд; кроме сего, вера в себя после достигнутых блестящих успехов; полное понимание существующих злоупотреблений и великое желание устранить оные, равно как и совершеннейшая свобода от всяческих предрассудков. Тысяча прочих обстоятельств, о которых было бы слишком долго рассуждать, присовокупляются к сим личным качествам, и все это подает уверенность, что сие царствование сделает Россию совершенно иной, нежели была она при восшествии его на трон. Дай Бог, чтобы все переменялось только к лучшему! <...>

П. В. ЧИЧАГОВУ

18 (30) ноября 1816 г.

Любезнейший мой адмирал,

Объясните, как могло случиться, что, постоянно вспоминая о вас, я так долго не писал к вам. И правду, достойный друг мой, если вам понятно сие, объясните это мне, ибо сам я совершенно сего не понимаю. Я впал в какую-то не имею-

шую даже названия бесчувственность и сделался совершенным отшельником. Пресеклось множество моих знакомств, и я почти совсем перестал писать письма. Оставшись лишь со своим семейством и книгами, наблюдаю я за течением часов, проходящих с убыстряющейся скоростью, подобной движению физических тел. Однако же, узнав, что братья мои виделись с вами, а один из них даже в Караманье и предлагал вам купить это имение, сколь завидовал я дорогому моему аббату, имевшему удовольствие видеться и говорить с вами. Как вы нашли сего отверженного прелата, являющего собой печальный обломок варфоломеевского избиения духовенства, но которого не смогли все-таки лишить ни головы, ни сердца? И что вы скажете об этой игре Фортуны, приведшей вас не только в Турин, но именно на тот постоянный двор, куда только что приехал мой брат? Это уже просто какой-то роман. Они, несомненно, много говорили с вами о разразившейся здесь надо мной буре, но, полагаю, мнения их не могли быть правильными. Если ваш августейший повелитель и верил какое-то время, будто я недоброжелатель его Церкви, он имел полную возможность удостовериться, что я никоим образом не выступал против нее. Мы объяснились на сей счет, и, уверяю вас, г-н адмирал, не будь у меня семьи, я здесь и окончил бы свои дни. Но как отцу семейства мне совершенно ясна необходимость возвратить своих в отечество. Посему просил я об отзыве, а Его Величество соблаговолил освободить меня от моей должности с начала сентября, а потом, по причине путешествия Императора, в мае будущего года. Хотя и нельзя сказать, что в России совершенно невозможно отыскать хоть какие-то злоупотребления и тягости, я, тем не менее, привязался к сей стране. Мне дороги мои книги, мой стол, мое кресло и вообще тысяча вещей, которые не имеют даже имени. Мне не хочется съезжать с места и говорить всему, что я каждодневно вижу уже пятнадцать лет: «Прошайте навсегда».

Впрочем, если опять обратиться к физике, со мною будет то же самое, что и с телом, выброшенным с одной планеты на другую. Сначала оно поднимается, а потом падает. Истинно болезненным для меня окажется только отделение, но вскоре противоположное притяжение окажет свое дей-

ствии в соответствии с обычным законом квадратов. И насколько таковое притяжение увеличится при мысли о том, что возвращение даст мне счастливую возможность свидеться с вами! Я не знаю ваши планы, но если окажемся мы оба одновременно в Италии, мне будет совершенно необходимо обнять вас и вместе с вами вспомнить о вечерах на большой набережной, о прогулках в Петергоф, о стольких уладительных часах и стольких печальных переживаниях! Обращаясь к сему навсегда ушедшему времени, я чувствую, как сердце мое сжимается, словно промеж двух досок, и готово разорваться. <...> Пора уже заканчивать это письмо, но прежде хочу сообщить вам, что Король удостоил меня назначения в должность первоприсутствующего высшего суда. Я еще не знаю, где это будет и предполагается ли сей чин в качестве приготовительного к более высокому. Родольф мой (и ваш тоже) теперь подполковник генерального штаба. В этом отношении я вполне доволен. Он поручает мне передать вам тысячу нежностей и почтительных поклонов и не менее моего жаждет свидеться с вами. Он увозит отсюда наградную шпагу «За храбрость» и знание русского языка, чем вы сможете воспользоваться, чтобы говорить с ним дурно обо мне в моем присутствии, ибо и через пятнадцать лет я знаю лишь одно слово: хорошо, каковое надобно каждую минуту, лабы хвалить все, что только ни делается. — Тысячу и тысячу раз до свидания, г-н адмирал, обнимаю вас от всего сердца с тем сладостным чувством печали, для изображения коего я не нахожу слов.

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

28 ноября (10 декабря) 1816 г.

<...> Почти все время Император занят по военной части. Министр вероисповеданий князь Александр Голицын, о котором я столько писал, бывает у Его Императорского Величества, обедает и ужинает с ним, но лишь в качестве друга и чуть ли не просто сотрапезника. Для прочих министров даже нет министерских докладов. Управляет всем комитет министров, предложения коего и подаются Императору на утверждение. Самой важной персоной, которая пе-

редает распоряжения по всем частям управления, является граф Аракчеев, артиллерийский офицер, большого природного ума, сохраняющий в поведении своем изрядное постоянство: он отказывается от денег (он богат) и от орденов, к коим не испытывает никакого влечения, а довольствуется только портретом Императора и высшими воинскими почестями, отдаваемыми самому Императору, — дело небывалое и неслыханное. Каждый день он подает Его Императорскому Величеству целые связки бумаг, относящихся до всех частей управления. Недавно мне рассказывали, что один секретарь, явившийся с докладом по министерству вероисповеданий, спросил: «Не почитает ли Ваше Превосходительство уместным, чтобы я доложил сие своему начальству?» Аракчеев отвечал: «А это уж как вам угодно».

Именно он сказал о случае с домом католиков, про который я уже достаточно писал: «Что за дурацкое дело рассуждать, кому принадлежит сей дом! Он нужен — значит, он будет взят. И говорить тут больше не о чем».

Я не могу себе представить, чтобы когда-нибудь Россия могла управляться иначе. <...>

Император занимается буквально всем. Никогда еще здесь не было столь всеобъемлющей власти, однако внутри страны все делается по-своему. Что ж, верно, есть нации, коим предопределено быть дурно управляемыми. Сие может показаться великим парадоксом, тем не менее это святая истина, и означает она лишь то, что русские не предрасположены к лучшему правлению, и ежели предложить им все те пустые либеральные законы и конституции, то они лишь потеряют от того свою силу. <...>

КАРДИНАЛУ СЕВЕРОЛИ

3 (15) декабря 1816 г.

<...> Похоже, что Библейское Общество кружит головы даже людям совсем для него посторонним; во всяком случае, говорят, будто книжные лавки не могут удовлетворить всех желающих. Саси и Карьер — самые распространенные, поскольку в России речь может идти только о французском языке. Пока еще не видно, что из сего получится, но занятно са-

мо по себе зрелище совместно заседающих в Библейском Обществе соиниан, деистов, просто любопытствующих и даже врагов всякой религии. Не менее любопытно и другое зрелище, но совершенно в ином роде — неловкое положение сегодня Англиканской Церкви. Загнанная в угол Библейским Обществом, она вынуждена была заявить, что верные чада Церкви не могут толковать Библию иначе, чем она сама: на сие все нонконформисты хором вскричали: «Ах, сударыня, так, значит, вы католичка!» <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

(1816)

Г-н Граф,

Судя по одной фразе в последнем письме Вашего Превосходительства, я вижу, что вы почти совсем не представляете, каково положение католической религии в сей обширной Империи. Дело сие величайшей важности, и пусть Его Величество не сетует на меня за желание вполне оное разъяснить.

Ваше Превосходительство имели возможность прочесть в официальных публикациях по поводу выдворения иезуитов, что Россия всегда отличалась духом терпимости. О сем, конечно, очень хорошо рассуждать, и скажу вам, г-н Граф, более того: я твердо уверен, что Его Императорское Величество совершенно в сие верит, ибо, как я уже имел честь писать Вашему Превосходительству, во всем свете нет такого государя, который столько же не уважал бы свободу совести. Но на самом деле ничего такого нет, и можно сказать, не греша против истины, что католическая религия лишь терпима в России.

Но если Ваше Превосходительство желает доподлинной точности, необходимой в такого рода делах, католическая религия здесь отнюдь не есть религия терпимая, но, как и протестантизм, религия государственная, хотя ни та, ни другая не являются господствующими, что, впрочем, совсем другое дело. Религией терпимой называют ту, которая устанавливается либо силой, либо хитростью: таковы протестанты во Франции и раскольники в России. Но когда государь путем завоевания или уступок приобретает новые владения с уже установившей-

ся религией, речь тогда идет не о терпимости, а о праве. Я поделился таковыми соображениями с некоторыми из здешних светлых голов, и все они были немало поражены.

Припоминаю, как года три тому назад министр вероисповеданий князь Александр Голицын, коему сейчас мы стольким обязаны, прямо сказал мне: «Действительно, это так и есть, просто я никогда о сем не думал».

Но я хотел бы в разъяснение к сему добавить, что ежели католическая религия терпима в обыкновенном смысле сего слова, это на самом деле означает, что она вовсе не терпима.

Любая религия не может почитаться терпимою, если нарушается ее дух, ее догматы и ее правила. Его Величество, наш повелитель, несомненно, не почитал бы себя терпимым к евреям, если бы принуждал их в своих владениях есть свинину и работать по субботам. Но ведь именно нечто подобное происходит здесь с нами.

В синагоге разрешается говорить, что Иисус Христос был сыном солдата, а в мечете — вопрошать: «Как у Бога мог быть сын, если он не имел жены?» Одно из сих богохульств содержится в Талмуде, другое — в Коране. Никто в сие не вмешивается и ни на что не жалуется.

Но если католический проповедник говорит: «Вне Церкви нет спасения!», мирские власти призывают его к ответу, выговаривают ему и велят впредь представлять на рассмотрение свои проповеди. «Он выказывает неуважение к нашей религии». Как будто, трактуя Спасителя бастардом, ему не выказывают несколько меньшее почитание! Если кто-то не желает что-либо выслушивать в терпимой государством церкви, он вполне может не ходить туда.

В свое время Его Императорское Величество повелел, чтобы память генерала Моро почтили надгробным словом, и отец иезуит Розавен, коему сие было поручено, принужден был явиться к военному губернатору и прочесть ему заранее свою речь. Для нас проповедь, сочиненная генералом, — это все равно что епископ, командующий на плацу, но здесь никто сим не оскорбляется, ибо они с легкостью переносят обычаи одной Церкви на другую.

Вашему Превосходительству достаточно известно, что главный догмат католицизма заключается в верховенстве

Римского Первосвященника. Без него, на наш взгляд, нет истинного христианства. Такая религия есть монархия; идея вселенской (католической) религии без единого главы — это то же самое, что Российская Империя без Императора. Когда нам говорят: «Вполне достаточно и синода», мы отвечаем: «Не более достаточно, чем сената». Для нас непереносима никакая идея, которая хоть в какой-то степени изменяет монархическое единство; я не хочу доказывать, правы мы или нет, сейчас речь не о том. Я лишь говорю, что мы думаем именно так, и нельзя говорить о терпимости там, где нетерпим сей догмат.

Глава католической Церкви в этой стране, Высокопреосвященный архиепископ, — почти открытый противник папского верховенства и ищет лишь случая, как бы навредить оному. Однажды, будучи при дворе и видя Императора, он сказал стоявшим рядом с ним: «Вот мой папа римский!» Мне рассказывал это один русский свидетель сего, сам весьма сей сценой скандализованный. <...>

Я мог бы сообщить Вашему Превосходительству поразительные вещи, но в письме приходится ограничивать себя общими соображениями. Если из 38 миллионов, населяющих обширную сию Империю, вычсть 11 миллионов католиков, 2 миллиона с половиною протестантов, всех раскольников, коих даже не решаются счесть, да еще разные дикие народцы, то окажется, что господствующая религия численно отнюдь не преобладает или, может быть, лишь весьма незначительно. Для огромной сей массы в 11 миллионов монарх доступен (в религиозном отношении) лишь через посредство министра вероисповеданий, русского по вере, бесконечно мною уважаемого как благородного, честного и умного человека и верноподданного, но разумеющего во всех сих делах, до нас относящихся, не более десятилетнего ребенка. К тому же после всего случившегося мы не можем ни в чем доверять ему.

Посему, г-н Граф, если случится Вашему Превосходительству услышать разговоры, может быть, даже и с некоторой выпренностью, о процветающей в России веротерпимости, вам уместно будет вспомнить все сказанное мною. Здесь терпимы протестантизм, сочинянство, раскольники,

иудаизм, ислам, ламаизм, язычество и даже рьенизм, если угодно. Но католичество — это совсем другое дело, как я показал Вашему Превосходительству. Никогда не станут нас терпеть должным образом, пока не будем мы иметь посредствующего органа при Императоре, а Его Святейшество не будет свободен как в сношениях с нами, так и в своей власти над здешними епископами; к тому же и для самой Империи сие есть дело наиважнейшее. Новый нунций из доверенных лиц мог бы многое уладить, и в этом заключена великая для нас надежда.

Если Ваше Превосходительство пожелали бы спросить, что я думаю о возможности улучшения всех сих дел, я ответил бы, поскольку речь идет о религии, словами Евангелия: «Как могут разуметь они, когда им ничего не говорят?» Кто здесь имеет право и желание представлять соображения свои повелителю? Но если Бог и время наведут Его Императорское Величество на добрую мысль выслушать нас через посредство одного из тех людей, коих голос общества всегда указывает монархам, я мог бы надеяться на все от сего внушения. Но пока счастливые сии времена еще не наступили, а происшедшая здесь перемена (хоть я вполне искренне и восхишаюсь тем, как вел себя Император касательно оной) произвела такое разделение в людях и делах, что я нахожу в ней еще одну и сильнейшую причину почтительнейше настаивать на моем отозвании. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)

(1816)

Г-н Граф,

Удаление моего отсюда требуют и другие причины, кроме случившегося несчастья. Повсюду, а в России в особенности, иностранному посольству затруднительно обходиться хотя бы без некоторой благосклонности властей. Ни у какого иного государя нет большего расположения прощать то, что может оскорблять его, чем у Императора. Я имею все основания почитать его способным не обращать внимания на проступки и даже дерзости в отношении собственной его особы, которые при иных дворах незамедли-

тельно вызвали бы громы и молнии. Но если, хоть один раз получает он неблагоприятное впечатление, дело становится безнадежным. Таковое свойство объясняется не только мнениями, но и настроением сего монарха. Со своей стороны, г-н Граф, я остерегусь предпринимать хотя бы малейшие усилия, дабы восстановить столь лестное для меня прежнее положение. Благосклонность — это очаровательная дама, которую надобно обожать, пока она принимает нас, но если вздумается ей сокрыться, то в таком случае должны мы с глубоким поклоном отойти в сторону, чтобы не быть смешными. <...>

КАВАЛЕРУ де СЕН-РЕАЛЮ

22 декабря 1816 г. (3 января 1817 г.)

Как изъяснить тебе, любезнейший друг, то удовольствие, которое доставило мне милое твое письмо от 9-го прошлого ноября? Уже лет сто, как не видел я твоего почерка из-за деспотизма жены твоей, по злонамеренности не дающей тебе бумаги. Как хорошо, любезный брат, что сумел ты похитить прекрасный белый лист и исписать его мне на радость! А скоро, милый друг, переписка наша прекратится или, по меньшей мере, сделается столь же не затруднительной, как обыкновенная беседа. Не скажу, чтобы перемена места не вызывала у меня беспокойства, но не надобно обманываться касательно сего. Меня удерживала здесь лишь боязнь перемены занятий в моем возрасте, кгда хочется лишь отдыхать, а не бороться с новыми препонами. Узы привычки и благодарности не могут устоять противу чувства долга, голоса крови и любви к друзьям, которые зовут меня. Однако, если все тщательно взвесить, то чувствуешь и страх, и печаль. Мне нечего сказать тебе касательно моего будущего. Пока все сводится к титулам, но меня это не только не огорчает, но, напротив, я даже доволен всяким отлагательством. Король может судить обо мне только по письмам, а это прескверный и несовершенный способ узнавания людей. Если прежде, чем назначить, он хоть посмотрит на меня и, так сказать, прощупает, это будет лишь во благо.

Мне весьма забавен наш иезуитический спор: по сему

поводу, так же как и по многим другим, я стараюсь, сколь возможно, держаться подальше от всяческого фанатизма и утрированных идей. Повторю тебе по латыни то, что говорил на французском нашему приятелю X. : *tantum contende in republica quantum probari tuis civibus possis*. Платон сказал это, а Цицерон подтвердил. Я охотно следую за ними, и если бы был министром там, где нация против иезуитов, то не посоветовал бы монарху возвращать их, несмотря на всю свою к ним приверженность. Но что есть нация? Это, любезный друг, монарх и аристократия. Голоса надобно взвешивать, а не считать. Не знаю, сколько у тебя слуг, но если их даже пятьдесят, то я взял бы на себя смелость оценить все эти голоса, вместе взятые, несколько менее, чем один твой. Именно высшие сословия поддерживают охранительные принципы и здравые государственные идеи. В отношении блага отечества сотня генуэзских лавочников значит для меня меньше, чем один дом Бриньоль. Я никогда не говорил, что без иезуитов не обойтись, я лишь полагаю их в высшей степени полезными как для политики, так и для богословия. Если какой-либо другой орден может заменить и даже превзойти их, это было бы прекрасно, но мне что-то не приходит на ум ничего подобного. <...>

<...> повторяю, если бы не дети, ничто не могло бы заставить меня заниматься делами. Уже пришел такой возраст, когда надо отдыхать и думать о том расчете, про который ты мне столь кстати написал. Я не знаю, что такое жизнь мошенника, ибо никогда оным не был, но жизнь честного человека — прескверная вещь. Сколь мало людей, чье пребывание на сей планете ознаменовалось делами воистину добрыми и полезными! Я преклоняюсь перед тем, про кого можно сказать: «*Pertransiit benefaciendo*», кто мог наставлять, утешать и поддерживать; кто принес великие жертвы во благо других, скрываясь от мира и ничего не ожидая от него. Но если говорить про обычных людей, сколько из тысячи могут спросить себя без ужаса: «Что я сделал в этом мире? Продвинул ли я хоть в чем-нибудь общее дело, и останется ли после меня более доброго, нежели злого?» <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

15 (27) января 1817 г.

<...> 6/18 сего месяца имели мы случай видеть блестящую церемонию освящения вод и последующий парад, в котором участвовало всего лишь 36 000 солдат. Мы смотрели из знакомого Вашему Превосходительству «Фонарика». Уже во второй раз допускают нас в оный, и потому избавлены мы были от обязанности свидетельствовать почтение свое обеим Императрицам, занимавшим большой балкон, выходящий на Неву. Красота войск, точность и равномерность их движений не имеют равных себе во всем свете. Это механизм, словно бы приводимый в движение невидимыми колесами. Особенно поразительна кавалерия; кажется, будто лошади обрели разум, утраченный людьми. Вернее, это кентавры, движимые единой волей. Восхитительное зрелище являли собой на широкой площади сии как бы танцующие каре, которые то вдруг расходились в разные стороны, то поворачивались с нарастающей скоростью вокруг воображаемой оси, ни на мгновение не нарушая математической строгости линий.

Как и все дела человеческие, таковое совершенство имеет свои недостатки. Во-первых, частое повторение, длительность и суровость учений истощают силы людей, особенно в здешнем климате. Как рассказывал мне один весьма осведомленный эскулап, только от того, что по-итальянски называется strapazzo, ежегодно в одной только вардии умирает 3 000 человек. Во-вторых, офицер, не столь крепкий, как солдат, должен быть доволен уже тем, что выдерживает тяготы своего ремесла. После учений он кидается на постель и спит, дабы вечером у него хватило сил для танцев. Таким образом, тут и речи не может быть с каких-либо серьезных занятиях, и, следовательно, военная служба является силою, постоянно принижающей человека во цвете лет.

Вот, г-н Граф; все pro и contra сей механической системы. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы сказать, что при виде таких воинских представлений меня всегда удручают две весьма сожалительные идеи. Первая та, что воен-

ное искусство есть единственное из всех прочих, где усовершенствование служат лишь во зло роду человеческому, не принося никакой пользы ни одной нации. Ежели не существовало бы бомб, дрались бы и без бомб; не было бы пушек, дрались бы без пушек. К чему все сии изобретения, коль скоро они сразу же становятся всеобщим достоянием? Лучше пользоваться существующими средствами, раз они уже есть, и унес бы сам дьявол всех этих изобретателей новых способов убийства!

Второе мое соображение касается ужасающего увеличения военного сословия во всей Европе. Генрих IV, достигнутый смертью среди великих приготовлений, имел 30 000 солдат. Через сто лет у Петра I было не больше сего. Екатерина содержала 80 000, а теперь у ее внука уже миллион. Куда мы идем? Пожираются все доходы, падают все правительства. Впрочем, здесь опасность меньше, чем где-либо в ином месте... Но не буду выходить за пределы, положенные для письма.

Мне приятно, что подробности, кои имел я честь сообщить Вашему Превосходительству касательно военных колоний, заинтересовали Его Величество. У меня есть все основания полагать, что Император продолжит осуществление сего великого и плодотворного замысла, который восходит к римлянам, как свидетельствуют о том первоначальные названия наших городов: *Colonia Ubiorum* (Кельн), *Colonia Aqrippina* (Женева) и т. д. Первый опыт в России оказался неудачным; надо было перевезти тысячу крестьян в отдаленную губернию, дабы освободить место для военных поселенцев. Но те люди, коим была поручена болезненная операция, принялись за дело столь неловко, что по меньшей мере половина несчастных крестьян умерла еще в пути. Прознавший о сем Император сделал все возможное для оставшихся в живых, и, полагаю, именно после сего принял он исключительно ту методу, о которой я уже писал вам, а именно — соединять вместе солдат и крестьян.

Перевозка сих последних с места на место есть величайшая жестокость, ибо человек воистину подобен растению и его нельзя безболезненно вырвать из родной почвы, особливо если совершается сие столь скоропостижно. В осталь-

ном Император действует по праву обыкновенного землевладельца, но, если я не ошибаюсь, именно это право и будет одним из первых отменено или преобразовано.

Вообще же уважение к человеческой плоти и хотя бы какая-то умеренность в обращении с людьми, опасение набредить им — все это еще нельзя почитать вполне укоренившимся в России; однако двери Зимнего Дворца широко для сего раскрыты, а ведь именно оттуда все распространяется и по другим местам.

Не бывает стран, не подверженных никаким превратностям; здесь наиболее страшны следующие: 1. полное нарушение соразмерности между гражданским и военным сословием, что может завести очень далеко; 2. опасность освобождения, произведенного слабым человеческим разумением, а не так, как у нас, через посредство естественного течения событий, то есть от Бога; 3. опасность религиозной революции, замышляемой протестантами и иллюминатами, которые почти открыто поднимают голову, прикрываясь маской вселенского христианства. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

23 января (4 февраля) 1817 г.

<...> Присовокуплю несколько мыслей, которые я не мог доверить здешней почте. <...> Когда приходится иметь дело с этой страной, тем паче в случаях особой важности, надобно постоянно повторять одно и то же: чин, чин, чин и ни на минуту о сем не забывать. Мы постоянно обманываемся из-за наших понятий о благородном происхождении, которые здесь почти ничего не значат. Не хочу сказать, будто знатное имя совсем уж ничто, но оно все-таки на втором месте, чин важнее. Дворянское звание лишь помогает достичь чина, но ни один человек не занимает выдающегося положения благодаря одному, лишь рождению; это и отличает сию страну от всех прочих.

В самом начале моего здесь пребывания случилось мне часто видеть княгиню; однажды какой-то человек шепотом предупредил меня, что это неподходящий для посланника дом. Я никак не мог взять в толк, каким образом одна из

первейших фамилий Империи может нанести ущерб моей репутации, но мне с таинственным видом объяснили: ведь муж ее всего лишь майор. Подобные вещи совершенно непонятны мне, однако их надобно принимать в соображение, когда речь идет об этой стране; ведь даже повелитель ее слишком мало уважает свое дворянство и всегда отдает предпочтение чину сравнительно с происхождением, каковое само по себе не дает ничего, просто совершенно ничего. И разве имеет здесь для иностранца хоть какое-то значение наследственное имя! Напротив, ему будет только хуже, когда станут его толкать, задирать и унижать те люди, которых у себя дома он не пустил бы и на порог. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

6 (18) марта 1817 г.

<...> Среди почти всеобщих бедствий в Европе глаз отдыхает при взгляде на Россию, которая пользуется величайшим изобилием и кормит другие народы. За 1816 год во всей Империи получено не менее 100 миллионов серебром лишь от одной продажи зерна. Сейчас только в Одессе стоит 48 судов, на каждом по 1.500 четвертей пшеницы; мера сия соответственна 300 фунтам и стоит 45 рублей. В 1810 г. Император взял у Банка в долг 20 миллионов ассигнациями с обязательством вернуть через семь лет по серебряному рублю за каждый бумажный. Министр финансов уже объявил, что готов погасить сей долг. Все виды на будущее очень хороши. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)

18 (30) марта 1817 г.

<...> В Европе Император сейчас всемогущ: будем стараться быть ближе к нему. Мало кто из государей подвергался стольким нападкам даже в собственных своих владениях, но я никогда не имел ни малейшего желанья участвовать в этом; надеюсь, у меня будет случай рассказать Вашему Превосходительству забавнейшие о сем истории. <...>

Кампании 1812 и 1814 гг. велись с такой осмотритель-

ностью, искусством и отвагою, что никак невозможно отказать ему в заслуженной славе и мудрости как монарху.

Внутри Империи он делает все возможное, но материал сопротивляется работнику. С его стороны следует опасаться лишь уничтожения гражданского сословия и создания нации солдат со всеми неизбежно происходящими от сего зловредными следствиями.

Могут быть опасны и его планы в отношении религии. Несомненно, они велики. Тем не менее, как мы знаем, он находится в прямых сношениях со Святейшим Отцом, и справедливость требует воздержаться пока от окончательного суждения. Так или иначе, но мы увидим необычайные дела; если даже Императору суждено ошибаться, он и тогда останется одним из величайших среди ошибавшихся государей. <...>

ГРАФУ де ВАЛЕЗУ

20 апреля (2 мая) 1817 г.

Г-н Граф,

Чсть имею переслать Вашему Превосходительству копию ноты Его Превосходительства графа Нессельроде, которая уведомляет меня об освобождении г-на Жана Батиста Лоньинотто. Как видите, нота сия не отличается многословием. Я старался узнать, в чем обвиняли этого Лоньинотто, но понять тут ничего невозможно. Выражение «Уже приняты все необходимые меры», к несчастью, означает скорее всего, что его посадят в кибитку и отвезут прямо на границу, за которую выдворят в соответствии с существующими правилами. Что он будет там делать? Сие для меня совершенно непостижимо. Но все-таки теперь он на свободе, а это уже немало. Я весьма сомневаюсь в возможности узнать хоть что-то определенное касательно обвинений противу сего человека. Здешняя система правосудия прямо противоположна нашей. Мы сообщаем обо всем ко всеобщему сведению, они все скрывают. <...>



КОББЕТ УИЛЬЯМ

9 марта 1762 г. — 18 июня 1835 г.

Жизнь

Родился в семье мелкого фермера. С 1781 г. работал у адвоката, затем служил в армии.

В 1792 г. Коббет отправился в Америку. Поселился в Филадельфии, занимался книжной торговлей, давал уроки английского языка французским эмигрантам (в том числе и Талейрану, будущему наполеоновскому министру иностранных дел), занимался публицистикой.

В 1800 г. Коббет вернулся в Англию. С 1802 г. издает «Политический обозреватель», на страницах которого выступал с критикой существующих английских порядков. Острый язык Коббета, умение доступно и понятно объяснить сложные политические проблемы

сделали его известным среди широкой демократической общественности.

По инициативе Коббета с 1804 г. начата публикация протоколов английского парламента, а с 1809-го — издание протоколов суда по делам, касающимся государственной измены.

В 1817 —1818 гг. Коббет живет в Америке, но затем возвращается в Англию.

В 1824 —1826 гг. выходит его работа «История протестантской реформации в Англии».

В 1830 г. — «История регентства и правления короля Генриха IV».

В 1832 г. Коббет был избран в нижнюю палату английского парламента.

В 1834 г. он публикует последнее свое историческое сочинение, посвященное жизни американского президента Э. Джексона.

Судьба

Впервые Коббет заявил о себе как о ярком публицисте в 1794 г. в Америке, написав несколько памфлетов в монархическом духе. Особо яростно Коббет критиковал демократические принципы и Великую французскую революцию. Махровый монархизм статей Коббета вызвал непонимание у американских чиновников, и против него был возбужден ряд судебных процессов. По одному из них он был приговорен к уплате штрафа в 5.000 долларов. Не имея возможности его уплатить, Коббет бежал в Англию.

Однако в Англии Коббет из сторонника роялистов превращается в народного трибуна демократических принципов.

Он изобличает паразитизм знати, лицемерие служителей церкви, бюрократизм и продажность чиновников, жестокость судей и жадность предпринимателей, за что подвергся преследованиям английских властей. В 1812 г., за похищение телесных наказаний в армии, он был приговорен



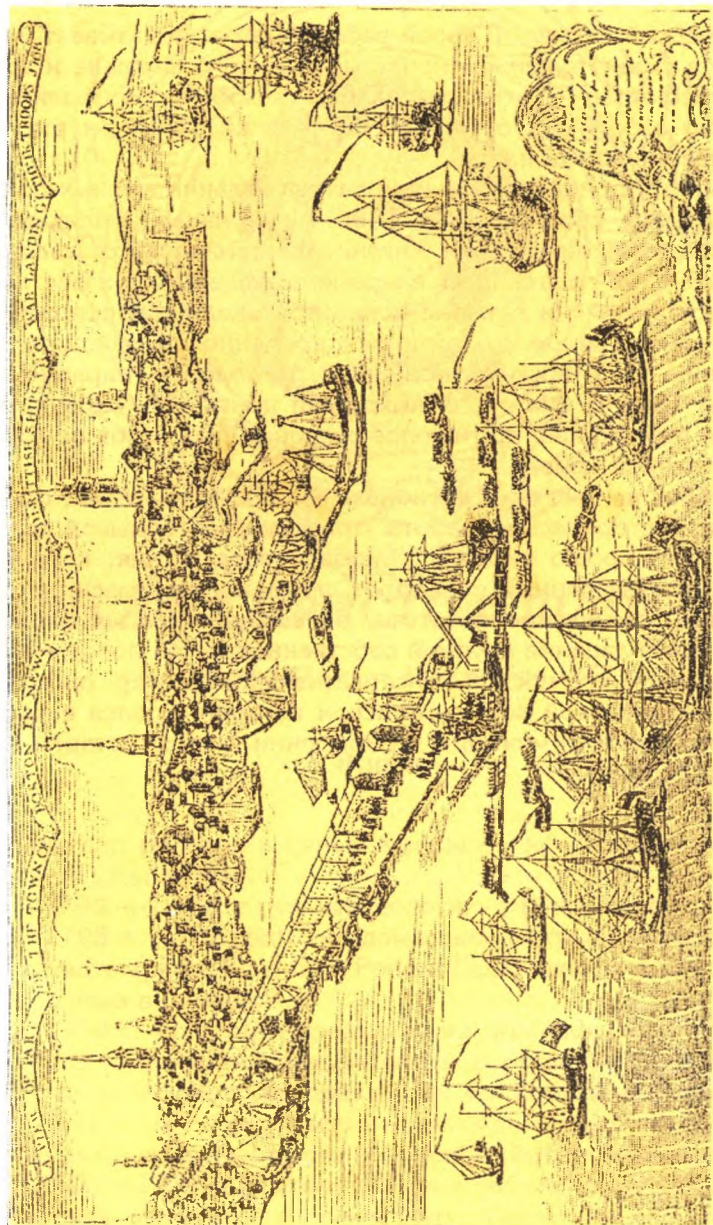
Талейран — посол Франции в Лондоне 1834 г.

к двухлетнему тюремному заключению и штрафу в 1.000 фунтов стерлингов.

В результате ему пришлось продать большинство своих изданий. Однако Коббет сумел сыграть важную роль в активизации политического сознания английских низов.

Творчество

Основной исторический труд Коббета — «История протестантской реформации в Англии». Он видел корни реформации в жадности короля, его приближенных и знати, которые стремились завладеть огромными богатствами ка-



Бостон. XVIII в. Америка

толической церкви. В своей работе Коббет показывает, что вместе с уничтожением монастырей была совершена и другая «реформа» — отменены законы, которые обязывали общество заботиться о бедных. Яркими красками он рисует ухудшение жизни низов.

Коббету принадлежала инициатива издания важных документальных сборников, В 1806 г. он начал публикацию «Парламентской истории Англии от нормандского завоевания до 1803 года». Здесь впервые помещены все известные до этого времени парламентские протоколы, сопровождаемые комментариями. Почти одновременно он приступил к изданию под другим названием протоколов парламента после 1803 г. Эта серия выходит и поныне. В 1809 г. он начал публикацию протоколов судебных процессов по государственной измене.

Коббет не был профессиональным исследователем, однако его исторические работы представляют большой интерес. Он хорошо видел и описывал последствия, которые имел промышленный переворот для развития сельского хозяйства: обнищание крестьян, вытеснение мелких фермеров, преобладание крупной собственности. Но положительные идеалы его носили консервативный характер: он полагал, что «золотой век» английской истории остался в далеком прошлом, и мечтал о возвращении к эпохе «старой веселой Англии».



ФРИДРИХ КРИСТОФ ШЛОССЕР

17 февраля 1776 г. — 23 сентября 1861 г.

Жизнь

Шлоссер родился в семье немецкого крестьянина в герцогстве Ольденбург.

В 1794—1797 гг. изучал теологию в Гёттингене.

В 1798 г. (в 21 год) стал домашним учителем. Сначала у немецкого графа Бентинке-Роне в Голландии, а затем у одного купца в Гамбурге.

В 1800 г. Шлоссер переезжает во Франкфурт-на-Майне. В 1808 г. временно возвращается в родной город Эвер. Все это время Шлоссер практикует как домашний учитель.

В 1810 г. он вновь переезжает во Франкфурт, где в 1814 г. ему предоставляют место городского библиотекаря.

В 1807—1809 гг. выходят первые работы Шлоссера, посвященные историко-теологическим темам. Однако poste-

пенно его внимание все больше и больше сосредоточивается на светской политической, литературной и культурной истории.

Вскоре, в 1819 г., он получает приглашение на кафедру истории в Гейдельбергский университет, которую занимает непрерывно в течение сорока двух лет до самой смерти. На протяжении всей своей преподавательской практики он пользовался широкой популярностью у студентов. Шлоссер всю жизнь посвятил научной деятельности, много ездил по библиотекам и архивам Германии и Франции, результатом чего стали его фундаментальные труды по истории.

В 1823 г. вышла его двухтомная работа «История XVIII столетия», которую Шлоссер на протяжении всей жизни постоянно дополнял. И уже пятое издание 1864—1866 гг. насчитывало восемь томов.

В 1844—1857 гг. вышел другой обширный труд Шлоссера — «Всемирная история» в девятнадцати томах.

Помимо этих работ Шлоссер оставил о себе память в истории как основатель Гейдельбергской школы, из которой вышли или к которой примыкали такие величины немецкой исторической науки, как Гервинус, Гейссер, Карл фон Роттека, Циммерман и другие.

Судьба

Бюргерская натура Шлоссера ярко проявлялась в его статьях в виде жестких и хлестких замечаний и выводов, что привело к распространению по Европе мнения о Шлоссере как о грубом человеке с тяжелым характером. Поэтому его ученику Гервинусу пришлось специально опровергать эти слухи. Многие иностранцы приезжали в Гейдельберг, чтобы познакомиться с человеком, слава которого распространилась повсюду; некоторые из них считали необходимым предварительно осведомиться, не беспокоят ли они своим посещением ворчливого ученого, зарывшегося в книжной пыли, и «не угрожает ли им опасность быть вытолканным за дверь». И с каким же изумлением уходили они от него, так

как с первого же знакомства видели совсем не то, что ожидали встретить!

Шлоссер был настоящий кабинетный немецкий ученый, но совершенно особого характера. До 50 лет он прожил холостяком и не хотел слышать о другой подруге жизни, кроме науки. С шести часов утра и до позднего вечера он постоянно сидел за своими занятиями, исключая время на еду, прогулку и чтение газет. Железное здоровье позволяло ему вести такой образ жизни и давало его единственному глазу (другой был поврежден оспой) возможность выдерживать чрезмерное напряжение. Во время болезней Шлоссер не принимал никаких лекарств и всегда лечил себя сном, продолжавшимся днем и ночью. Его диета состояла в самой строгой умеренности; он любил здоровую и вкусную пищу, никогда не пил вина, а только пиво; аккуратно совершал свои прогулки или работал в саду; всякий мог отвлекать его от занятий, ему никогда не докладывали о приходящих, и он никому не отказывал.

На своих вечерах, в небольшом кругу учеников, он сам готовил и разливал чай, предлагал закуску. Женившись на девушке образованной и прекрасно воспитанной, он должен был носить перчатки, ходить с тросточкой, являться в общество, посещать вечера, где играли в вист, и предпринимал увеселительные прогулки; ко всему этому он привык гораздо скорее, чем ожидали от него товарищи, между которыми были люди светские, и он встречался с ними в заграничных путешествиях как истинный турист и светский человек.

Обладая в высшей степени способностью узнавать людей по одному взгляду, он никогда не ошибался в выборе друзей и собеседников. Бывали, конечно, исключения: по добродушию, беспечности, для избежания неприятностей он поддерживал иногда знакомства с людьми недостойными, которых, однако, вполне понимал; но недовольство, какое проявлялось в таких случаях у его друзей, служит доказательством, что это действительно бывали только исключения из общего правила, а его постоянное общество состояло из людей избранных и безукоризненных. Та же самая нравственная строгость, которая обнаруживается в его сочинениях, обнаруживалась и во всех его житейских отношениях.

Знакомые Шлоссера, имевшие с ним серьезные столкновения и оскорблявшиеся его откровенной прямоотой и резкостью, немало способствовали тому, что о нем распространился слух как о человеке неуживчивом и отталкивавшем от себя всякого; слух этот смущал и посещавших его иностранцев, пока они сами не убеждались в обратном.

Творчество

Перу Шлоссера принадлежат два фундаментальных труда: «История XVIII века» и «Всемирная история». Составлены эти сочинения из разных частей, написанных в разное время и с разными целями. Некоторые части являются специальными исследованиями, другие — курсами для студентов и публики; поэтому между отдельными частями нет соответствия и рядом с разделами иногда излишне подробными встречаются крупные пробелы. Но эти недостатки покрываются стремлением к объективности и искренностью Шлоссера, его тонким пониманием человеческой психологии и умением глубоко проникать в содержание исследуемого им времени. При этом Шлоссер никогда не терял из виду своей цели, задачи истории, как он ее понимал: дать ответ на волнующие вопросы современной жизни. Оправдывая «крайности» Французской революции, критикуя «пороки» феодальных княжеств Германии и буржуазной Англии, Шлоссер показывал важность новых либеральных и демократических перемен. Однако его приверженность либеральным идеям не мешала ему быть беспристрастным в оценке людей и событий. Так, Шлоссер высоко оценил историческую роль некоторых монархов, например Александра Македонского, Фридриха II.

«История XVIII века» представляет собой анализ предреволюционного состояния европейских государств, которых коснулось разложение политических режимов, и в особенности нравов правящей верхушки. Из этого состояния, по мнению Шлоссера, было только два выхода: или окончательная гибель, подобно гибели Римской империи, или революция. Было необходимо, «чтобы нация очистилась пламе-

нем революции, как в огненной купели, и чтобы это пламя проникло во все старое дерево от корня его до вершины». Его оценки исторических событий и деятелей имеют характер по преимуществу нравственный или нравственно-политический, причем, несмотря на умение понимать и изображать дух эпохи, Шлоссер находил возможным произносить приговоры над историческими деятелями с личной точки зрения. Это придает его работам своеобразный колорит.

Во «Всемирной истории» Шлоссер сохранил концепцию Гердера, которая заключалась в универсально-гуманистическом понимании истории, т. е. единой истории всех народов, в противовес узкому шовинизму и европоцентризму.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА

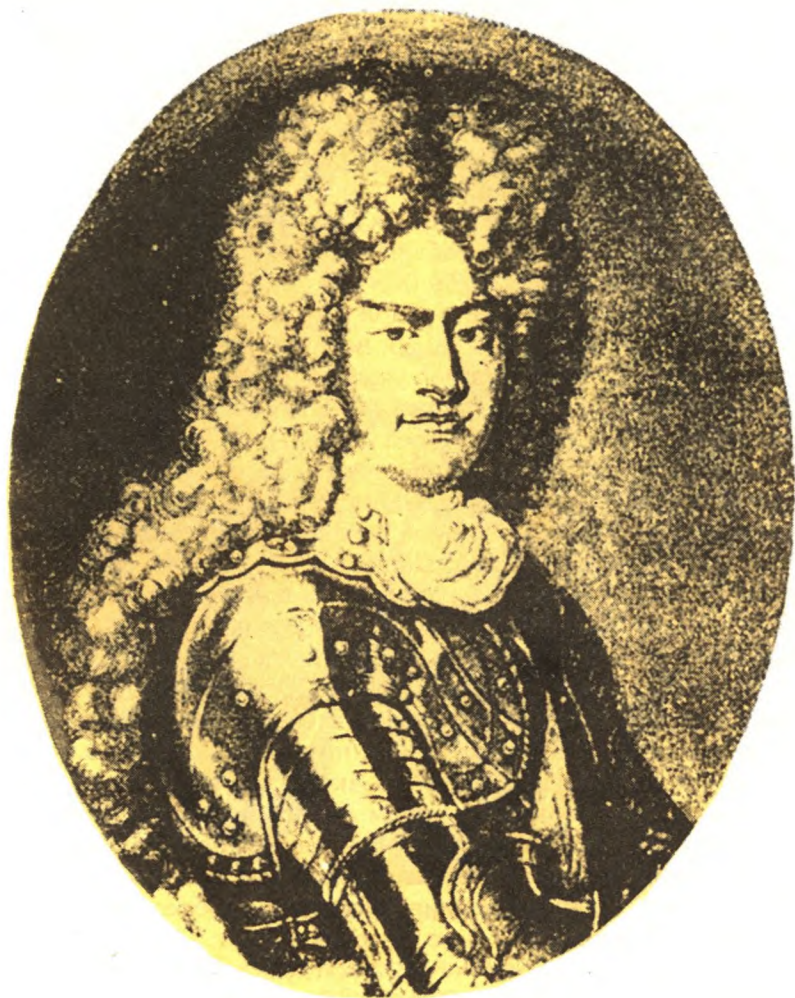
Мы уже показали во введении причины союза, заключенного против Швеции Россией, Данией и Саксонией, которой курфирст был в то время и королем польским. Между ними был уже положительно условлен раздел провинций, завоеванных Швецией: никто не сомневался в том, что победить 17-летнего сумасбродного короля, не имеющего талантов (так думали о Карле XII), ничего не будет стоить. Впрочем, король польский Август II не мог рассчитывать на Польские силы, хотя от условленного раздела Шведских провинций должна была выиграть только Польша. Август, вместе со своим любимцем Флеммингом, очень хорошо знал это и потому отправил в Лифляндию своих Саксонцев, с которыми мог делать все, что хотел. Он рассчитывал на неудовольствие Лифляндского дворянства и на поддержку со стороны России.

Что касается до России, то Петру нужны были Шведские провинции, лежащие при Финском заливе, для того чтобы привести свое государство в ближайшие соотношения с остальной Европой, — для этого ему хотелось завести флот и мореплавание на Балтийском море и присоединить к своим владениям значительное количество новых подданных, образованных по-европейски. Поэтому, долгое время обольщая Швецию мирными соглашениями, он между тем уговорился в своем дворце с Саксонским посланником о внезап-



Карл XII — король Швеции

ном вторжении в Лифляндию и Эстляндию. В этом союзе особенно деятелен был лифляндец Йоганн Рейнгольд Паткуль. Он был в Швеции при Карле XI несправедливо и жестоко преследуем судом, приговорен к смерти, потом помилован, но все-таки заключен в крепость. Отсюда он бежал и жил сначала в Бранденбурге, потом в Швейцарии, после



Август II — король Польши

того вступил в Саксонскую службу, из которой перешел в Русскую. Он думал, что его соотечественники при внезапном появлении Саксонцев очень охотно помогут им взять Ригу, между тем как Датчане вторгнутся во владения герцога Готторпского, а Русские будут угрожать Ревелю.

Пока король Датский Фридрих IV готовил войско против Гольштейн-Готторпа, Английские, Шведские и Голландские послы собрались в Герде у герцога Целльского и старались при содействии герцога Ганноверского отклонить Датского короля от нападения. Молодой герцог Гольштейн-Готторпский, напротив того, всячески раздражал Датчан. Герцог Гольштейнский Фридрих был зять Карла XII и участник всех его отчаянных забав; позже он сопровождал его в первом походе в Польшу (он был убит в 1702 году при Клисове). Точно так же, как и Карл, герцог въезжал на груды разбросанных бревен на самый верх их, садился верхом на пойманного оленя, принимал участие в опасных охотах Карла, соперничал с ним в отважных попытках взъехать верхом на лестницу, перескочить через плетень, через овраг или через поленницу дров. В последнее время он привел в свою землю батальон Шведов и устроил шанцы, которые не могли принести ему никакой пользы, но для Датчан были ненавистны. Союз между Россией, Данией и Польшей (то есть Саксонией) был скрыт от Шведского посланника в Варшаве: хотели напасть на врагов неожиданно и в одно время, а между тем Петр не мог объявить разрыв прежде, чем успеет отозвать свои войска от Турецких границ. Это мог он сделать только в августе 1700 г., и когда он ввел наконец войска свои в Эстляндию, оба его союзника потерпели уже неудачи в своих предприятиях. В 1699 г. Саксонское войско вступило в Польшу, но Поляки, которым не нравилось пребывание Саксонцев в Польских владениях, настоятельно требовали их удаления, и потому Август должен был поспешить походом на Ригу. План нападения был дурно соображен и столь же дурно исполнен. В конце февраля 1700 г. Саксонцы неожиданно явились перед Ригой, а Паткуль проехал всю Лифляндию. Но ни граждане Риги, ни Лифляндские дворяне не восстали, и король Август напрасно старался дурно придуманными увертками оправдать вероломное нарушение мира.

Враждебное вторжение Датчан в Гольштейн-Готторп совершилось так же поспешно, как и поход Саксонцев в Лифляндию. Датчане вступили в Шлезвиг, чтобы разрушить укрепления (Schanzen) и осадить Тёнинген. Предприятие против Тёнингена было оставлено после ничтожной и в высшей



Фридрих VI — король Дании

степени неудачной бомбардировки. Между тем Дания, после нападения на Шлезвиг, была угрожаема с трех сторон, а обещанные Саксонские вспомогательные войска частью вовсе не приходили, частью состояли из всякой разбойничьей сволочи, которая легко могла быть уничтожена войсками герцога Целльского. Во-первых, угрожали Дании своим флотом, посланным в Балтийское море, морские державы, которых весь интерес состоял теперь в том, чтобы беречь силы Германии для Французской войны. Потом — князя,

которые в Альтонском договоре поддерживали права герцога Гольштейнского, собрали войско на Эльбе. Наконец, сам Карл XII явился с быстротою молнии, чтобы отомстить на Копенгагене обиду своего зятя. Появление Карла в виду столицы Дании было так внезапно, он с такой быстротою высадил на берег свои войска, сделал такие отличные приготовления к бомбардированию уstraшенного города, что не только король Фридрих, но даже начальники посланного в Балтийское море соединенного флота были застигнуты совершенно врасплох. Если бы флоты морских держав захотели поддержать отважное предприятие Карла, Копенгаген, конечно, погиб бы. Чтобы спасти Данию, государи, поручившиеся в исполнении Альтонского трактата, старались примирить Данию с Швецией до прибытия Шведской тяжелой артиллерии. В Травендале, увеселительном замке герцога Плёнского, состоялся конгресс, и примирение совершенно было союзными государями тем легче, что Шведов дело не касалось непосредственно, а король Датский, в своем стесненном положении, принял бы, вероятно, и еще более тяжкие условия, нежели какие ему были предписаны. Англичане показали при переговорах более расположения к Шведам и их друзьям, нежели к Датчанам; но нельзя было исключить от участия в переговорах Французского посланника, и он уговорил, чтобы некоторые, слишком обременительные для Дании условия были смягчены. Король Шведский совсем не рад был тому, что герцог Гольштейнский принял Травендальский трактат и в одной статье его прямо поручился за то, что Карл оставит Зеландию. Карл удалился медленно и неохотно; герцог Гольштейнский, не дожидаясь приказа Карла, уже прежде того, по требованию союзных государей, вывел Шведские войска обратно в Германию. Ни король Август, ни Петр не рассчитывали, что Датская война будет подавлена в самом начале. Саксонцы сначала отступили от Риги, потом летом снова начали неприятельские действия, и опять прекратили их, наконец в третий раз опять начали и произвели в Лифляндии немало опустошений. Петр же, ровно через 12 дней подписания Травендальского мир (30 августа 1700 г.), о котором он, конечно, не знал и не хотел знать, издал объявление войны Шведам.

Европе казались нисколько не удовлетворительны те основания, какие Петр выставлял причинами ужасного похода, который предпринимали на Эстляндию его варвары, тогда еще совсем дикие, под начальством чужеземных офицеров, смертельно ими ненавидимых. Всякий принимал тогда сторону Швеции, и Карл спешил отомстить Русским, так, как он отомстил уже Датчанам. После своего возвращения из-под Копенгагена он пробыл в Швеции весьма короткое время, с маленьким войском смело пристал к Пернау и не хотел слушать никаких представлений превосходных и опытных генералов своей службы, убеждавших его подождать прибытия остальных войск. С 15.000 он поспешил напасть на Русское войско, расположенное лагерем под Нарвой. Войско Петра состояло из 40.000 частью иностранцев, частью диких Русских. Иностранцы командовали этим войском, генерал Альяр распоряжался осадой Нарвы, при непрерывных распрях Русских с иностранными офицерами, которые должны были организовать их. Войско Карла было хорошо обучено, опытно и храбро; Реншёльд, начальствовавший войсками вместе с Карлом, был отличным полководцем и по натуре, и по образованию; старик, наместник Рижский, Дальберг, был инженер, сопровождавший еще Карла X в его изумительных походах через Бельт. Петр предвидел судьбу своего войска; он удалился вместе с Головиным и Меншиковым, оставивши принцу де Круа заботу справляться, как умеет, с одной стороны со своими Русскими, с другой — с Шведами.

В этот раз дерзкое безрассудство Карла было для Шведов гораздо полезнее, нежели всякая холодная и спокойная рассудительность. Он устремился прямо на Русские шанцы, которых слабость открыл ему один из иностранных офицеров Русской службы, Йоганн Груммерт. Внутри окопов Русские не могли воспользоваться своим численным превосходством. Но сначала сопротивление было мужественное, пока Русские, вздумав, что иностранцы им изменяют, иных из иностранных офицеров перебили, а других заставили искать спасения у Шведов. Тогда сдальсь на капитуляцию сначала правое крыло Русской армии, а на другое утро примеру его последовало и левое, которым командовал генерал Вейде. По этой капитуляции офицеры объявлены во-



Александр Данилович Меншиков

еннопленными, обоз и орудия отданы Шведам; рядовые же все отпущены домой (21 ноября 1700 г.).

Эта победа предала в руки Шведов весь генералитет, более 150 пушек и непосредственно за тем 120 небольших Русских судов, стоявших в гавани поблизости Нарвы. Война с Россией, может быть, окончилась бы теперь так же скоро, как и война с Данией, если бы Карл не захотел непременно наказать короля Августа, которого Саксонцы стояли на левом берегу Двины. Таким образом он упустил благоприятный случай и потерял из виду своего главного противника, потому что игра с Августом и с его любимцем Флеммингом была для Карла слишком легка. Август был король двора и



Царь Петр I Великий. 1717 г.
Гравюра Я. Губракена по портрету Карла Моора

дворянства, как Фридрих Датский и Фридрих Прусский, и подобно им, он также губил себя безумной роскошью. Фридрих Август был истинно велик в рыцарской вежливости, все трое, они были неутомимы в устройствах разных праздников и увеселений, отличались великолепием и расточительностью. Знание церемониала и этикета было единственной наукою, которую они изучали. В отношении к образу мыслей и к нравам Немцев XVIII столетия нельзя не заметить здесь того обстоятельства, что лучшие Немецкие поэты этого времени (Кёниг и Бессер) были один за другим обер-церемониймейстерами у Фридриха Прусского и что фон Кёниг сделал даже Августа предметом одного героического стихотворения, и именно как полководца в войне, на которой он был в высшей степени жалок. Все эти три правителя равно не имели недостатка в восторженных похвалах от дам, и от людей высших классов, которые вообще склонны считать золотом все, что только блестит. Притом же во дворцах их толпились Итальянцы и Французы, умевшие заменять недостаток истинных достоинств дерзостью. Таким образом, эти правители были королями блестящего придворного штата, который их окружал, а нередко который они разоряли. Но народ находился тогда еще на такой низкой ступени развития, что без всякой мысли зевал на эти праздники и удивлялся, как грезам воображения, этому великолепию, о котором кричали тогда все газеты и которое покупалось его собственным потом. Совсем не то был Карл XII; он стоял во главе своего войска как образец нравственности и религиозности и держал при себе только Немцев и Шведов, не терпел Французского общества.

Когда Карл высидился в Зеландии, он гораздо более заботился о порядке, нежели сами Датчане. Он платил за все так аккуратно, что ему доставляли все скорее, чем Датчанам. Он довольствовался самой простой одеждой и пищей; в его лагере каждый день два раза, в 7 часов утра и в 4 часа вечера, установлена была общая молитва, при которой он сам постоянно присутствовал. На поле сражений солдаты его не смели раздевать и обирать убитых прежде, чем им дано будет дозволение. Карл действовал самостоятельно; а его противники, особенно король Август, были просто орудиями в руках Петра и содей-

ствовали ему в достижении его целей. В то время как Карл собирал свои силы в Лифляндии, чтобы напасть на Саксонцев в Польше, король Август и царь имели новое свидание в Литве, чтобы возобновить свой союз. Курфюрст Бранденбургский тоже захотел воспользоваться этим временным для удовлетворения своего забавного тщеславия.

Двадцать лет уже курфюрст лелеял мысль назваться королем Прусским. Теперь, когда Россия, Польша и Саксония не могли его оскорблять, когда император и морские державы нуждались в нем, он ничем более не занимался, как церемониями, придворными распоряжениями и дипломатическими переговорами относительно принятия им королевского титула: Император был согласен — не только потому, что получил для себя отличное и довольно значительное Прусское войско, но и потому, что переговоры по какому-то случаю, вместо того, чтоб идти через министра, пошли через императорского духовника. Англия и Голландия признали королевский титул за курфюрстом, потому что хотели нанять Прусское войско. Петр еще во время своего последнего путешествия объявил, что он охотно признает королевский титул курфюрста. То же сделали Саксония, Польша и Дания, потому что они находились тогда в затруднительном положении. Швеция медлила, Франция признала новый титул только в Утрехтском трактате. Издавна приготовленное коронование совершилось в январе 1701 г., и все газеты наполнены были описаниями торжеств по этому случаю. Явились гравюры, изображавшие это событие, и добрый Немецкий народ покупал и изучал их; таков был дух того времени! Следующие анекдоты доказывают, что такой дух времени производил свои уродливые действия не только в Саксонии и Польши, посредством Августа и его Флемминга, не умевших или не хотевших сделать ничего хорошего, но точно так же и в Берлине и в Вене.

В Вене переговоры касательно Датской помощи в войне за наследство остановились только из-за того, что Датскому послу отказывали в титуле превосходительства (Excellenz) и не хотели сделать ему *первого* визита. На эти пустяки смотрели как на обстоятельство весьма важное и едва могли выйти из затруднения при помощи какой-то забавной улов-

ки. Вильгельм III и Голландцы поступали совершенно иначе: они пользовались этой мелочностью Берлинского двора для своих целей. Новый король сделал удивительное предложение: чтобы чужестранные послы, когда они являлись в его дворец, оставались стоя за его стулом, до тех пор, пока подадут ему пить. Из-за этого возникла у него распря с Данией; Датский посланник Алефельд оставался в своих поместьях, пока Фридрих не уступил ему. Но Английский посланник Моли и Голландский Опдам явились позади королевского кресла, и за то Фридрих дал им великолепные подарки и отпустил на службу морских держав, так же как к императору, превосходные войска.

Король Август еще прежде оскорбил Поляков тем, что дал право гражданства в Польше своему Флеммингу, участнику его оргий; после того он совершенно отдалил от себя фамилию Сапег, сделавши Флемминга великим шталмейстером Литовским. Поэтому, едва только Карл явился в Польше, как Сапегги пристали к нему. Петр, который в январе 1701 г. заключил также новый трактат с Данией, обещал королю Августу, при свидании с ним в Биржах, на Литовской границе, 20 000 войска и ничтожную сумму денег — 200.000 талеров. Вместе с тем царь принимал на себя уплату значительной суммы на подкуп вице-канцлера Польши и некоторых сенаторов, для того чтобы склонить Речь Посполитую к участию в союзе против Шведов.

Карл XII (он тогда только что достиг 19-го года) разбил в июне и июле Саксонцев и соединенных с ними Курляндцев, совершил, в виду Русских, искусный переход через Двину, взял в сентябре Динамюнде и немедленно устремился в Польшу. Петр с удовольствием видел, что все бремя войны падает, таким образом, на одного Августа; а Август, чтобы получить от морских держав субсидии, которые он проматывал на любовниц, на праздники и всякую роскошь, продавал державам, соединенным против Франции, 8.000 человек Саксонцев в то самое время (16 января 1702 г.), как на него самого в Польше нападали Шведы. Между тем Петр в тылу Шведов из солдат, оставшихся после Нарвского поражения, составил новое войско, образовал его в нескольких удачных сшибках, угрожал Лифляндии и Эстляндии и



Юзеф Сапега



Ян-Казимеж Сапега

опустошал эти провинции, тогда как истинные его замыслы обращены были на Ингерманландию и Карелию. В то время, как Петр утверждался здесь, Карл проник до Варшавы (в мае 1702 г.) и отвергал все выгодные предложения мира со стороны короля Польского — под тем предлогом, что с такими людьми, каковы были всегда Август и его Флеминг, невозможен никакой мир, никакое примирение, потому что у них честь считается глупостью, а вероломство — государственной мудростью. Озлобление Карла так сильно, что уже в первом ответе кардиналу прimate Польши он говорил о низвержении с престола своего противника.

Храбрые Саксонцы терпели в одно время и от Шведов, и от Поляков, которым они были в тягость; а король Август, окруженный своими любовницами, придворными дамами и кавалерами и преданный роскоши, казалось, смеялся над общим бедствием. Он удалился наконец в Краков и Сандомир и, по своему обычаю, делал втайне мирные предложения, которые потом открыто отвергал. Карл следовал за ним в Краков и при Клиссове, близ Пинчова (19 июля 1702 г.) разбил Саксонское войско, на этот раз подкрепленное Польской армией под начальством Любомирского. При Клиссове пал зять Карла, герцог Фридрих Гольштейнский, незадолго пред тем прибывший к Карлу из Германии. Успех этой битвы еще более увеличил упрямство Карла; напрасно его министры, Шведский Сенат, лучшие генералы умоляли его

не впутывать себя и свое государство в лабиринт Польских распрей. Если когда-нибудь, то именно теперь выказывался бедственный произвол властителей и их министров, во всей Европе, в Испании и Франции точно так же, как в Швеции, Саксонии, Польше и Пруссии. Шведы были проводимы через всю Польшу, от одного конца до другого, то стояли в Галиции, то опять возвращались в Польскую Пруссию, терпели во всем недостаток, проливали кровь в бесполезных сражениях, не имели ни покоя, ни отдыха, умирали от холода. Швеция, и без того бедная людьми, была теперь совершенно лишена своих крепких граждан и земледельцев, которые, как рассказывает один из Карловых генералов в «Шведских биографиях», добывая кратковременную славу, погибали от болезней, дурной пищи, болотных испарений, непогод и тягостей похода. При всем этом Шведам было все-таки лучше, чем Немцам и Французам: по крайней мере их король разделял с ними все трудности: и голод, и дурную пищу, и к тому же, подобно странствующему рыцарю, забавлялся разными приключениями, которые он отыскивал в пустынях, болотах и лесах. Король Август, напротив того, выдавливал кровь из своих Саксонцев и отдавал солдат своих внаем Нидерландам. Он зашел даже так далеко, что у рядовых солдат отнимал половину жалованья, какое платили им Голландцы и Англичане. Тем не менее эти бедные люди насильно принуждены были к военной службе на чужой земле, тогда как и в Саксонии никто уже не хотел поступать в солдаты за неслыханную плату. Поляки, в свою очередь, также терпели и от Саксонцев, и от Шведов, и от Русских союзников их короля, и, кроме того, скоро вооружились один против другого и попеременно опустошали владения друг друга. Огинские и Сапеги потешались разорением городов и истреблением лесов Литвы, одни в соединении с Русскими, а другие — со Шведами. Только Петр пользовался временем, между тем как Август кутил и волочился, а Поляки собирали сеймы и составляли конфедерации.

Петр вновь устроил свое войско и приучил его к битвам, нападая на Шведов в Ингерманландии и Карелии, в Эстляндии и Лифляндии, не иначе, как с силами, превосходящими неприятельские в числе. Шереметев одержал победу над



Ян Собеский — король Польши

Шлиппенбахом близ Дерпта (январь 1702 г.), а потом еще раз при Гуммельсгофе (в июле); сам Петр взял, в конце года (22 октября), крепость Нотебург, которую он назвал потом Шлиссельбургом. В следующем году Карл все кружил по Польше и победил Саксонцев при Пултуске (25 апреля 1703 г.), между тем как Петр (17 мая 1703 г.) основал в Шведской области новую столицу свою при Финском заливе и укреплял ее окрестности с моря и суши. Поляки отвергали тогда всякое соединение с Русскими; но Август заключил с ними новый трактат (10 октября 1703 г.), который потом, по своему обыкновению, старался утаить под покровом самой жалкой лжи. Терпение Поляков наконец истощилось, и они склонились на предложение Карла о низвержении Августа, которое прежде отвергли. Карл старался дать им в короли старшего сына Яна Собеского, победителя Турок и избавителя Вены. Это подало Августу повод к бессовестнейшим насильствам, к вероломству и нарушению неприкосновенности чужой области — на что потом Карл ссылался в свое оправдание, когда позволил себе сделать то же самое.

Все три сына Собеского — Ян, Константин и Александр — лишены были умственных дарований. Старший был мужчина не очень красивый с виду и, как доказывает история всей его жизни, весьма бедно наделен природою в умственном отношении. Король Август, перед своим избранием, отклонил соперничество этого принца, обещав ему 400.000 талеров, которых, по своему обычаю, не заплатил ему. Увидев, что они обмануты, три брата удалились в свои владения в Силезии и жили в Олау. Из Силезии они вступили в сношения с Карлом, и он послал из Гейльсберга (января 1704 г.) открытое письмо, в котором объявлял, что всячески будет содействовать избранию Яна Собеского, и если он будет избран, то станет поддерживать его на троне вооруженной силою. Во главе партии, противной Августу, стоял тогда кардинал примас Михаил Раздеёвский, человек самого двусмысленного характера, какой только является в Новой Истории, — и коронный великий гетман Любомирский. Этот последний, в январе 1704 г., отправился в Варшаву и там составил генеральную конфедерацию (6 февраля 1704 г.), которая объявила низвержение короля Августа. При известии об

этой конфедерации Август послал в Силезию 30 переодетых офицеров, чтобы они в императорских владениях захватили принца Яна. Высокоблагородные Саксонские дворяне, которые на своих пирах и потехах поминутно обнажали шпаги за оскорбление чести, не сочли бесчестным переодетыми, подобно разбойникам и убийцам, запрятаться в лесу, чтобы подстеречь и захватить проезжавших через него из Бреслава в Олау Яна и Константина Собеских (18 февраля 1704 г.). Захваченные таким образом, Собеские были отведены сначала в Плейссенбург, возле Лейпцига, а потом в Кёнигштейн. Александр убежал в Польшу, но его не могли убедить принять корону. Карл, с согласия Александра, предложил в короли Станислава Лешинского, Познанского воеводу, успевшего ему понравиться. Станислав не имел ни связей, ни больших средств, кардинал примас и князь Любомирский были недовольны избранием нового претендента, но упрямство Карла было непобедимо. Принуждением и обильной раздачей крепких напитков он сделал то, что Поляки (в июле 1704 г.) избрали в короли ничтожного и бессильного придворного — Станислава. Пока новый король не был избран, Карл оставался в Польской Пруссии. В это время он осадил и взял Торн и вынудил значительные суммы денег с городов Эльбинген и Данциг. По избрании нового короля, который только и мог держаться при помощи Шведов, он пошел в Галицию и взял Лемберг, между тем как Август составлял план нападения на Варшаву. Станислав оставался в Варшаве под защитой только 1 500 Шведов, под начальством генерала Горна. На своих Поляков он не мог полагаться, после того, как кардинал примас явно поссорился со Шведами и ушел с своими приверженцами в Польскую Пруссию. Когда Август подступил к Варшаве, Горн и его Шведы были взяты в плен, а Станислав убежал к Карлу з Лемберг. Но плодами нападения на Варшаву и выгодами от затруднений, которые приготовил себе в Польше сам Карл, воспользовался не Август, а Петр.

Петр еще в прошедшем году (1703) положил основание новой столице своего царства, названной по его имени Петербургом, и уже видел первый Голландский корабль, вошедший в пристань нового города. Теперь Петр объявил

свою неприязнь Полякам за низвержение ими короля; впрочем, помощь, данная им королю в его нужде, была чрезвычайно ничтожна, да и ту Август промотал на различные увеселения. А между тем, как Станислав и Август оспаривали друг у друга Польшу, Петр завоевал Нарву и Дерпт и обнародовал в Лифляндии льготную грамоту для всех сословий, как будто обладание этой страной было за ним уже вполне обеспечено. Левенгаупт, с слабым войском, без всяких средств — Карлова война в Польше поглощала все силы Швеции, — должен был прикрывать Курляндию и Лифляндию. Его неоднократные победы над Русскими были бесплодны, пока продолжалась война в Польше. Петр же, чтобы долее удержать в Польше Шведского героя, заключил в Нарве (30 августа 1704 г.) новый союз с королем Августом и снова дал ему 200 тысяч рублей, которые Августом были, разумеется, промотаны его обыкновенным способом.

Петр и Август решили теперь опять вовлечь в войну Данию, и Флемминг сам отправился в Копенгаген, чтобы склонить к войне Фридриха. Но хотя он и был еще раздражен против Шведов за Гольштейн-Готторп, однако же не смел начать неприязненных действий, тем более что новый король Прусский, желая добиться от Швеции признания своего нового королевского достоинства, обязался защищать Готторп от неприятельских нападений. Между тем в военных действиях этого года является Паткуль, уже три года находившийся в Русской службе. Петр послал его, во главе Русских полков, на помощь Саксонцам. Как скоро Карл появлялся на одном конце Польши, Август должен был бежать на противоположный конец. Только Шуленбург, предводитель Саксонцев, осмеливался сражаться со Шведами; но все, что предпринимал Шуленбург, портили и уничтожали Штейнау и Флемминг, старшие его чином и пользовавшиеся особенным благоволением своего элегантно-го короля; притом войску его недоставало денег, провианта и подкрепления. Когда Штейнау был несколько времени в отсутствии, Шуленбург имел некоторые успехи в Познани, но вскоре они опять были потеряны. Когда сам Карл напал на него при Пуниче (октябрь 1704 года), он удержал против него поле битвы, но тем не менее должен был по-

том отступить. Сам король Август тщательно избегал всегда встречи со Шведами. Он стоял в Кракове и Сандомире, с Русскими и Поляками, и никак не мог согласиться пропустить карнавал, который он всегда праздновал в Дрездене с особенной пышностью и расточительностью, которая все увеличивалась, по мере того, как разорялась его земля. Он долго оставался в Саксонии (1705 г.), Карл, напротив того, расхаживал по Великой Польше, по берегам Варты и в низовьях Вислы, между тем как Саксонская армия совершенно без дела стояла на берегу Одера, где за нею наблюдал Реншёльд с 7 до 8 тысячами Шведов. Весь 1705 год кружил Карл по Польше, между тем как Петр утверждался в Остзейских провинциях. В это время явился в Польше Меншиков; но он не мог сойтись с Огильви и потому сделал мало. Пайкуль с Саксонскою конницею и с собранными в Кракове Поляками хотел в середине года, соединившись с Шуленбургом, напасть на Шведов в Варшаве, как сделал в прошедшем году сам король Август. Но три Шведские полка (31 июля 1705 г.) рассеяли всю неприятельскую армию между Волей и Варшавой и взяли Пайкуля в плен. Пайкуль был лифляндец по происхождению, но никогда не находился в Шведской службе. Несмотря на то, Карл предал его суду и казни как своего подданного. Это судебное убийство, равно как позже жестокость против Паткуля, запятнало имя Карла и мало принесло чести тому роду религиозности и правоверия, которых он был ревностным поборником. Зато после победы при Воле король Шведский мог наконец заставить короновать и помазать своего Станислава на этот раз уже в Варшаве. (сентябрь 1705 г.).

Со времени коронования Станислава, с тех пор, как Польская Речь Посполитая была соединена с Швециею формальным трактатом, Августу не было никаких причин скрывать долее свой союз с Россиею; он имел новое свидание с Петром в Гродно и затем совершенно предал Поляков Русским. В это же время, в отсутствие короля, Саксонское министерство, служившее орудием неслыханного угнетения бедной Саксонии, прибавило к ее бедствиям еще позорное нарушение народного права в отношении к иностранному послу. Паткуль, посланник Петра при Саксонском дворе,

открыл своему государю низкие интриги министров и двора и советовал царю, чтобы он отступился от Августа, от его придворных, любовниц и их поверенных. Саксонские министры перехватили письма и составили заговор против Паткуля; они решились наконец, чтобы овладеть его бумагами, арестовать его и отправить в Зонненштейн. При этом допустил употребить себя орудием Шуленбург, такой же ловкий придворный, как и другие. Сочинитель его «Записок» хочет уверить, что он из актов тайного Дрезденского архива привел нам объяснения злодейства против Паткуля. Как будто можно находить или даже искать в архивах объяснений касательно причин подобных злодеяний!

К этому времени относятся подвиги Левенгаупта в Лифляндии и Курляндии; его действия поставили его в ряду лучших полководцев, тем более что русское войско вчетверо превосходило его числом и что его войско терпело во всем недостаток. Петр снова привел в движение Литву. Он послал в Курляндию Шереметева, которого, за победы над Шлиппенбахом, возвел в достоинство фельдмаршала. Левенгаупт пошел на него из Риги в Курляндию и (26 июля 1705 г.) разбил его при Гемауертгофе. В этом деле он овладел всей Русской артиллерией. Впрочем, эта победа, как и многие отважные подвиги Шведского генерала, осталась бесплодною: Левенгаупт не мог утвердиться в Курляндии и должен был идти назад к Риге. Август имел новое свидание с Петром (в ноябре) в Гродно, и Карл явился за ним сюда, когда Петр по причине некоторых беспокойств в своем собственном царстве должен был отправиться в Астрахань. Но Август уклонился от встречи с своим противником и поспешил удалиться к Висле. В Польше же Саксонцы и Поляки составляли план, чтобы, воспользовавшись отсутствием Карла, с трех сторон напасть на Реншёльда, до сих пор спокойно стоявшего на границах Польши и Силезии, и совершенно уничтожить его. В успехе до того были уверены, что Флемминг заранее отправился в Берлин хлопотать, чтобы беглецы Шведской армии, по его мнению уже совершенно рассеянной, не могли найти себе убежища в Бранденбургских областях. Саксонская и Польская кавалерия должна была двинуться от Кракова, Август должен был прийти с Вислы, чтобы соединиться с Шуленбургом на самом месте сражения. Но ко-



Станислав Лещинский — король Польши и Швеции

роль с 10—12 тысячами Саксонцев, Русских и Поляков не осмелился вступить в бой со Шведами и остановился за пятнадцать миль от поля битвы. Между тем Шуленбург с 13 тысячами своих Саксонцев, рассчитывая на приближение короля, начал сражение, на которое вызвал его Реншэльд. Шуленбург шел из Саксонии через Силезию, и Реншэльд хотел сначала идти ему навстречу, но потом, рассудивши, решился ждать его у Фрауштадта, недалеко от Познанской границы (6 февраля 1706 г.)? На этот раз Саксонцы разбиты были не более как после двухчасовой битвы, и поражение было так решительно, что из тринадцати тысяч едва осталось три. Август смотрел на гибель своих войск хладнокровно: он так привык уже к лести, что не мог отнести на счет своего постыдного замедления и неисполненного обещания слова Шуленбургова донесения, «что его войску недоставало божественной помощи». После поражения своих Саксонцев король возвратился в Варшаву, а потом, кончивши здесь свои праздники, пиры и оргии, отправился в Краков.

Между тем Шведы в Литве, при всей воздержанности, деятельности и религиозности своего короля, страдали не меньше, чем Саксонцы от излишеств, трусости и от не признающего никаких нравственных законов развращения своего повелителя. Карл бродил в Литве по лесам и болотам от февраля до июля, не совершивши ничего замечательного, кроме того, что прогнал Русских из Курляндии. Август с своими возлюбленными оставался в Кракове. Но когда в июле месяце Карлу случилось с колокольни одной иезуитской церкви бросить взгляд на необозримые болота Воыни и получить от настоятеля коллегии точные сведения о свойствах страны, только тогда он понял, что безумно было оставаться в этих пустынях, и поспешил назад в Польшу, чтобы, наконец, напасть на Саксонию. Король Август немедленно бежал из Кракова в Литву, как только ужасный противник его удалился отсюда, и снова соединился здесь с Русскими.

Король соединился с Реншэльдом, в Польше оставил Мардфельда и с 22.000 человек устремился в Саксонию. Шведских солдат в это время дурно кормили, они были плохо одеты, частью даже оборваны; но все-таки Карлово войско, как солдаты, так равно офицеры и генералы, было лучшее в Европе. Поход

Шведов через Силезию беспокоил императора, который, чтобы не раздражать Карла, обещал вследствие Шведского посредничества облегчение участи Силезским протестантам, терпевшим большие притеснения. Он возвратил им тогда некоторые права, отнятые у них по настоянию иезуитов; но вскоре эти права снова были у них отняты силою, по иезуитскому правилу, что не сдержат слова, данного неверному или еретичу, есть заслуга перед церковью. Дания и Пруссия пришли теперь в большое беспокойство; Саксонские правители в Дрездене оставили всякую мысль о сопротивлении Карлу и немедленно вступили с ним в переговоры. Карл проник до Лейпцига. Сначала он остановился в Таухе, а потом в одном дворянском имении близ Альтранштадта; Станислав находился в его свите. Август, видя, что может потерять и Саксонию, обратился к двоим из людей, которые служили орудием его коварства и которые нужны были ему и его министру для выполнения их замыслов. Он дал им поручение склонить Шведов к миру или обмануть их переговорами. Фингстен и Имгоф были посланы полномочными из Саксонии в Польшу будто бы с неограниченным полномочием для переговоров со Шведами. Но потом Август утверждал, что они должны были только провести Шведов переговорами, и когда это не удалось, он не задумался пожертвовать обоими полномочными. Они принимали главное участие в аресте Паткуля, которого так позорно и малодушно предали потом неблагородному мщению богобоязненного Карла; они сами напрашивались на дело переговоров, потому заслуживали той участи, какую готовили им Август, Флемминг и их соучастники. Но все это не оправдывает короля.

Шведы, во время своего пребывания в Саксонии, намеренно и систематически довершили разорение этой страны, и мы не можем не обратить внимания друзей Германского отечества на следующее обстоятельство. Как много можно бы сделать из такой земли, как Саксония, из понятливости, терпения, бережливости, честности, трудолюбия этого благородного народа, если бы хоть часть денег, беспутно растраченных в Польше, употреблена была здесь для достижения целей общепользных! Какую бессмертную славу заслужил бы король, если бы он послал на Рейн против врагов Немецкой Империи амуницию и солдат, даром потерянных

в Польше! Впрочем, король Август превосходно играл роль, наложенную на него тою, родившеюся в Италии и выработанною во Франции теорией, которая досель считается высшею жизненною мудростью в высших сферах и высшим совершенством в образовании дипломата. Образование короля Августа и его Флемминга было такого рода, что признавало только высшие классы и не хотело знать грубых необразованных простолюдинов. Он дал Имгофу и Фингстену неограниченное полномочие вести переговоры о мире и заключить его; и он же потом наказал их за заключение мира, потому что они должны были бы знать, что не это составляло его истинные намерения. Он оставался при Русском войске, когда оно угрожало Мардефельду и его Шведам, в то время как сам вел переговоры и обещал перемирие. Чтобы оправдаться в этом перед Карлом, он дал знать Шведам о намерениях Русских и потом все-таки, вместе с Русскими, напал на Шведов, чтобы не лишиться выгод победы.

Комиссары короля Польского получили от него свое поручение 16 августа; августа 26 (1706 г.) Карл подошел к Саксонским границам, и как только он расположил свою главную квартиру в Альтранштадте, начались переговоры. Король Август еще прежде через одного Французского офицера сказал своему сопернику Станиславу, что он не чужд мысли сложить с себя Польскую корону. Переговоры скоро кончились, потому что при тогдашнем положении дел требования Шведов были законом; 24 сентября мир был уже заключен. Фингстен отправился с известием к своему королю в Петриков, но и здесь он остался верен характеру придворного, служащего при Августе; он не решился сказать королю всей правды. Это подало Августу предлог, хотя он сам принял и обнародовал этот мир, — предать суду полномочных и обвинить их по суду и по праву, посредством одного из юридических факультетов, умевших для всякой несправедливости найти закон и право. Та же двуличность, какую обнаружили Август и его поверенные при заключении мира, которого им не хотелось принять, выказалась и в предприятии против отряда Шведского войска, который был расположен, под начальством Мардефельда, в воеводстве Познанском. Фингстену было поручено послать известие о заключении мира начальнику Саксонского отряда, который, в

соединении с Польским и Русским войском под предводительством Меншикова, должен был напасть на Мардефельда. Но он не сделал этого ни во время своего проезда в Петриков, ни на возвратном пути, а послал письмо уже из Бреславля по почте, зная очень хорошо, что при тогдашней медленности почтовых сообщений известие наверно придет уже слишком поздно.

Король Август пришел в большое затруднение, когда Меншиков решился напасть на генерала Мардефельда. Он прибег к своему обыкновенному способу действий. Он дважды предупредил Мардефельда о нападении, но тем не менее присоединился с своими Саксонцами и Поляками к Меншикову, когда он одержал победу при Калише (29 октября 1706 г.). За эту победу Меншиков возведен был Немецким императором в достоинство князя Немецкой Империи. Впрочем, кровь Поляков и Саксонцев, равно как и двух с половиною тысяч Шведов, павших в этой битве, была пролита совершенно напрасно. С большим трудом могли успокоить короля Шведского торжественными обещаниями удовлетворения.

В упоении победы, Карл забыл долг человечества не менее Августа с его министром. Саксонские враги Паткуля соединились с Шведами для того, чтобы погубить его. Карл с жестоким упорством настоял на его выдаче и велел везти его за собою в Польшу, чтобы там бесчеловечнейшим образом колесовать его и тем утолить жажду мщения в неукротимой душе своей. Король Август по мирному договору должен был отказаться от Польской короны, признать Станислава, освободить принцев Собеских и заплатить старшему ту сумму, которую прежде обещал ему, но не выплатил. От него требовали даже, чтобы он выдал Шведам Русских, которые находились в Саксонии и под его защитой считали себя в безопасности. Но самую большую тяжесть оба короля взвалили все-таки на бедный Саксонский народ. Шведам были обеспечены в Саксонии зимние квартиры, жалованье, содержание, хорошее продовольствие и денежные выдачи сверх жалованья. Но Саксония была Капудей для Шведов, потому что в последнее время пребывания своего в этой стране они вели себя слишком нагло и развратно и тем ослабили свою дисциплину.



ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ ГИЗО

4 октября 1787 г. — 12 сентября 1874 г.

Жизнь

Гизо родился в протестантской семье. Отец был крупным адвокатом.

Образование получил в Женеве.

В 1805 г. Гизо переезжает в Париж, где вскоре женится на писательнице Полине де Мелан. Ее близкое знакомство с лидерами роялистской партии открыло Гизо доступ к политической деятельности.

В 1812 г. Гизо становится профессором новой истории в Сорбонне.

В 1814 г. он был назначен главным секретарем министерства внутренних дел и по поручению нового правительства составил записку «О состоянии умов во Франции». Записка была направлена против ультрароялистски настроенной

части аристократии. В ней доказывалось, что королевская власть должна опираться на все слои населения, что только при таком условии монархия Бурбонов сможет упрочить свое положение в обществе.

Вскоре Гизо был назначен членом Государственного совета и директором департаментской и общинной администрации.

В 1820 г. Гизо за либеральные взгляды был отправлен в отставку и возобновил преподавательскую деятельность в Сорбонне.

В 1820 г. Гизо выпускает книгу «О правительстве Франции со времен Реставрации», в которой с либеральных позиций критикует монархический режим Бурбонов, за что в 1822 г. его лишили кафедры.

В 1822 г. выходит историческая работа Гизо «Этюды по истории Франции».

В 1826—1827 гг. — его «История Английской революции», снискавшая ему славу либерально-демократического историка.

В 1830 г. Гизо избирается в парламент и становится министром внутренних дел.

В 1832—1837 гг. он — министр просвещения.

В 1840 г. Гизо назначается послом в Лондон. В том же году и до 1847 г. Гизо занимал пост министра иностранных дел Франции.

В 1847 г. его назначают премьер-министром, однако Февральская революция 1848 года прервала его карьеру, и Гизо вынужден был эмигрировать в Англию.

С этого момента Гизо становится ярким противником революции, которая, по его мнению, была главной угрозой демократии и свободе.

В последние годы и до самой смерти в 1874 г. Гизо посвящает себя историческим исследованиям.

Еще ранее вышли его знаменитые исторические сочинения: «История цивилизации в Европе» (1839 г.) и «История цивилизации во Франции» (1840 г.)



Английский коттедж

Судьба

Начало жизни молодого Гизо сложилось так, что по простой логике он должен был стать ярким противником любого либерально-демократического движения во Франции и идей Великой французской революции. Отец его погиб на эшафоте в 1794 г. Началом своей успешной политической карьеры Гизо был обязан французским монархистам и реставрации власти Бурбонов.

Однако с самого начала он заявил о себе как о революционном либерале. «Более тринадцати веков, — писал

Франсуа Пьер Гизо
Художник П. Деларош



он, — Франция состояла из двух народов — народа-победителя и народа-побежденного. В течение более чем тринадцати веков побежденный народ боролся, чтобы сбросить иго народа-победителя. В наши дни разыгралась решающая схватка между ними. Она называется революцией».

Эта историческая концепция Гизо (теория борьбы завоевателей и завоеванных) оказала оригинальное влияние на русского историка М.П. Погодина. Представитель «истории официальной народности», он считал, что в основе западноевропейской истории лежит завоевание, создавшее почву для социальных конфликтов, приведших к революции. Этому Погодин противопоставлял исторический путь России — мирное призвание варягов, исключавшее социальную борьбу, а следовательно, и причину для революции.

Творчество

Историю Франции Гизо представляет в своих работах (основной труд — «История цивилизации во Франции») как историю борьбы между завоевателями Галлии — германцами и их потомками — дворянством, с одной стороны, и по-

рабошенными ими галло-римлянами и их потомками, — третьим сословием, — с другой.

Великая французская революция XIX в. рассматривается как решающая битва между дворянством и третьим сословием. Благодаря своей теории борьбы завоевателей и завоеванных Гизо вошел в историографию как один из создателей идеи решающей роли классовой борьбы в истории.

Обращаясь к дворянству, Гизо писал: «Как, вы хотите, чтобы мы забыли нашу историю, потому что ее итоги оказались против вас?» Борьба между аристократией и простолюдинами, доказывал Гизо, наполняет историю Франции. С большим сочувствием рисует он экономический подъем третьего сословия в результате роста городов, развития торговли и промышленности, союза городских коммун с королевской властью против феодальной аристократии; рассказывая о том, как распался этот союз, он подчеркивает, что это не остановило поступательного движения третьего сословия, которое продолжало крепнуть, в то время как значение дворянства все более падало. «Третье сословие, — заключает Гизо, — совершило революцию, как поток, долго накопившийся, прорывает себе русло, когда его пытаются сдержать непрочной плотиной».

Важной заслугой Гизо был вывод о том, что в основе классовых различий лежат имущественные отношения помимо политических. «Большинство писателей, ученых-историков, публицистов, — писал он в своих «Опытах по истории Франции», — стремились объяснить существующее состояние общества, степень или род его цивилизации через политические учреждения этого общества. Разумнее было бы начинать изучение самого общества для того, чтобы понять и узнать его политические учреждения... Чтобы понять политические учреждения, надо изучить различные слои, существующие в обществе, и их взаимоотношения; чтобы понять эти различные общественные слои, надо узнать природу поземельных отношений».



АЛЬФОНС ЛАМАРТИН

21 октября 1790 г. — 28 февраля 1869 г.

Жизнь

Отец воспитал Ламартина в духе преданности законной монархии. Школьное воспитание Ламартин получил сначала в Лионе, потом в иезуитской школе в Беллэ.

Одно время служил в королевской гвардии.

С 1823 по 1829 гг. был секретарем посольства в Неаполе и во Флоренции.

В 1829 г. Ламартин, отказавшись от должности секретаря в министерстве иностранных дел Франции, был назначен посланником при герцоге Леопольде Саксен-Кобург-Готском. С реставрацией Июльской монархии в 1830 г., против которой он выступил, Ламартин уходит в отставку.

В 1833 г. Ламартин избирается в Палату депутатов, где



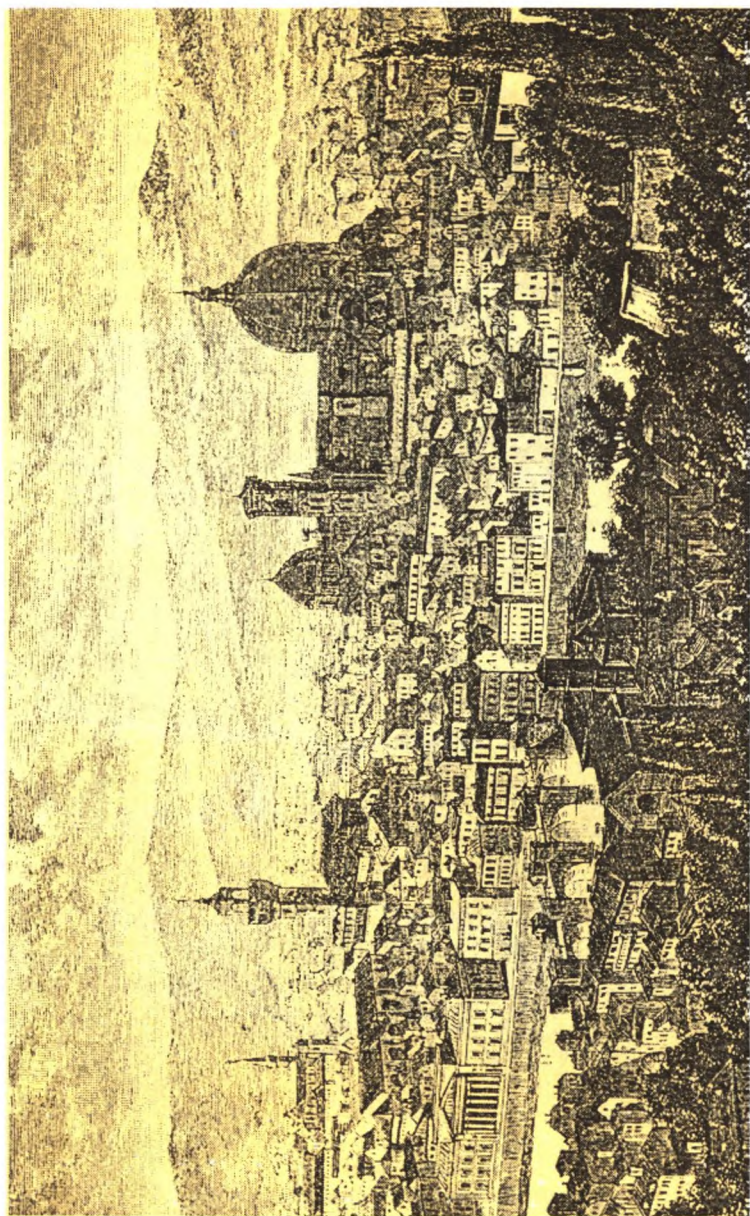
Альфонс Ламартин

примыкает к роялистской оппозиции, но в 1840 г. сближается с либералами и поддерживает их программу парламентской реформы, не скрывая своего отрицательного отношения к рабочему движению.

В 1847 г. слава Ламартина достигла своей вершины, когда он выпустил в свет «Историю жирондистов», получившую всеобщее признание.

Во время Февральской революции 1848 г. в Париже Ламартин решительно выступил в парламенте против регентства герцогини Орлеанской, предлагая учредить временное правительство и созвать Национальное собрание.

Во временном правительстве Ламартин занял пост минис-



Флоренция XIX в.



Кавеньяк

Гравюра Ребеля по рисунку А. Лакоши



А. Ледрю-Роллен

Гравюра Ребеля по рисунку А. Лакоши

тра иностранных дел и выступил посредником между радикалами и консерваторами. В результате была провозглашена II Французская республика.

В марте и апреле 1848 г. Ламартину пришлось прибегнуть к вооруженной силе для разгона демонстраций Парижан, что сильно подорвало его популярность. А 15 мая он подавил вооруженное восстание.

Желая всех примирить, он никого не удовлетворял. Сближение Ламартина с Ледрю-Ролленом и генералом Кавеньяком оттолкнуло от него и консерваторов, и радикалов.

На выборах в президенты Ламартин получил очень мало голосов. Даже в законодательное собрание 1849 г. Ламартин не смог попасть из-за низкой своей популярности, хотя выдвигался в 10 округах.

В мае 1849 г. уходит с поста министра иностранных дел.

В 50—60-х годах Ламартин отказывается от республиканизма и либеральных идей и становится сторонником монархии и твердой диктатуры.

Судьба

Детство и юношеские годы Ламартин провел в обществе матери и пяти сестер; это вместе с рано развившейся любовью к природе породило в нем особую мягкость характера и склонность к сентиментальной мечтательности. Любимыми книгами Ламартина были Евангелие и сочинения Руссо. Уже в раннем детстве он начинает писать стихи. Особый отпечаток меланхолии на его поэзию наложила трагическая любовь к девушке, воспетой им под именем Эльвиры. Она рано умерла, что стало особой темой грустных размышлений об утраченном счастье.

Убежище от всех тоскливых мыслей Ламартин постарался найти в активной политической деятельности, где оставался предан моральным ценностям своего времени. Он отстаивал идеи прогресса и религиозной терпимости; ратовал за расширение демократических свобод во Франции. Блестящие его речи с интересом слушались не только в парламенте: они перепечатывались и распространялись по стране.

Определенной политической программы у Ламартина не было. Он поддерживал консервативный кабинет Моле, а когда приверженцы последнего предложили ему председательствовать в палате, Ламартин отказался, заявив, что он прогрессист, а они консерваторы.

В 1840 г., противодействуя политике Тьера по восточному вопросу, он высказался за уничтожение Турецкой империи, предложив отдать Константинополь России, Египет — Англии, а Сирию — Франции. Став министром иностранных дел, Ламартин старался проводить политику сближения Франции с Россией.

В бурный для Франции 1848 г. Ламартин делал все, чтобы спасти свой народ от братоубийства и сохранить республику. 25 февраля, когда разъяренная толпа угрожала временному правительству разгоном, Ламартин произнес знаменитую речь, в которой красноречиво описал ужасы революции и воспел французское трехцветное знамя в противоположность красному. В результате правительство сумело взять ситуацию под контроль.

Уйдя из политики, Ламартин вновь обратился к поэзии, дав миру блестящие гимны христианству.

Творчество

Главный исторический труд Ламартина — «История жирондистов», вышедшая в 1847 г. в 8 томах. В ней Ламартин воспел политические взгляды жирондистов и их заслуги перед Францией: попытку спасти родину правовой революцией якобинцев.

Книга была написана изысканным литературным языком, в ней были даны оригинальные характеристики политическим деятелям Первой французской революции с позиций демократических идей и республиканских настроений.

Ламартин был приверженцем идеалистической концепции исторического развития общества. Он считал, что божественное предначертание играет важную роль в исторических событиях и деятельности людей.

Не менее важное значение, по Ламартину, имеет и час-

тная собственность. Ее существование он считал вечным элементом человеческой истории, так как она является «законом природы и условием жизни», без нее невозможно прогрессивное развитие никакого общества.

Причиной любой революции, по мнению Ламартина, является развитие политических идей в обществе. Когда идеи достигают своего наивысшего развития и не находят общественного и политического применения — революция неизбежна. В итоге революции идеи воплощаются в виде новых политических институтов.

В «Истории жирондистов» Ламартин использовал огромное количество документальных источников, что и сегодня представляет огромную ценность для исторической науки.

Позже Ламартин отказывается от многих своих республиканских взглядов. В 1852 г. он выпускает 8-томную «Историю Реставрации», в которой восхваляется монархическое правление. Реставрацию Бурбонов в 1813 г. Ламартин уже считает «возрождением Франции», а дворянство — основой и цветом нации.

1

Я намерен писать историю небольшого числа людей, которые были поставлены волею Провидения в центре величайшей драмы новых времен; люди эти соединяли в себе идеи, страсти, ошибки, добродетели целой эпохи; их политика и жизнь, составлявшие, так сказать, узел французской революции, были разрублены тем же ударом, который поразили и судьбу их отечества.

Эта история, полная крови и слез, полна также уроками для народов. Никогда, быть может, столько трагических событий не совершалось в такое короткое время; никогда так быстро не выказывалось таинственное соотношение, которое существует между действиями и их последствиями. Никогда с большею скоростью слабости не влекли за собою ошибки, ошибки — преступления, преступления — кару. Никогда еще не проявлялось с большею очевидностью то правосудное возмездие, которое, подобно совести, неразрывно связано с нашими действиями и совершается даже неотразимее, чем фатум у древних; ни-



Адо́льф Тье́р

когда нравственный закон не получал более блистательного подтверждения и не мстил за себя с большею жестокостью. Даже простой рассказ об избранных нами двух годах служит самым лучезарным комментарием всей великой революции, и потоки пролитой крови не только возбуждают ужас и сострадание, но также дают людям урок и пример. В таком духе я намерен рассказать об этих событиях.

Беспристрастие истории не похоже на беспристрастие зеркала, дело которого только отражать предметы; это беспристрастие судьи, который видит, слушает и решает. Летопись — не история; чтобы история заслуживала свое название, ей нужна совесть, потому что потом история становится совестью человеческого рода. Рассказ, оживленный воображением, обдуманый и проверенный разумом, — вот история, как ее понимали древние; образчик такой же истории намерен представить и я.

Мирабо умер. Народ, побуждаемый инстинктом, толпился около дома своего трибуна, как бы ожидая вдохновения даже от его гроба; но этого вдохновения не мог бы дать уже и живой Мирабо. Гений его поблек пред гением революции; увлекаемый в неминуемую пропасть тою самою колесницею, которую сам пустил в ход, он напрасно цеплялся за трибуну. Последние сообщения, сделанные им королю и переданные нам железным шкафом вместе с тайною продажности Мирабо, свидетельствуют об ослаблении и понижении его умственных способностей. Его советы отличаются изменчивостью, нескладностью, почти наивностью. То он хочет остановить революцию чем-нибудь вроде песчинки; то видит спасение монархии в прокламации короны и в царственной церемонии, которая должна сделать короля популярным. То он хочет купить рукоплескания трибун и думает, что с ними продана ему и вся нация. Ничтожность средств к спасению представляет резкий контраст с растущей громадностью опасности. В идеях Мирабо господствует беспорядок. Становится понятным, что вся его сила заключалась в страстях, им возбужденных, и что, когда у него не стало силы ни ими управлять, ни с ними расстаться, он им изменил. Этот великий агитатор является не более как устрешенным царедворцем, который прячется под защиту трона и хотя еще бормочет вошедшие в прежнюю свою роль страшные слова «нация» и «свобода», но уже усвоил себе всю мелкость и суетность придворных взглядов. Гений внушает сострадание, когда сталкивается с невозможностью. Мирабо был самым сильным человеком своего времени, но и величайший из людей в борьбе против разъяренных элементов покажется нам безумцем. Падение бывает величественным только тогда, когда человек падает, не расставаясь с добродетелью.

Поэты говорят, что облака принимают форму тех стран, по которым проходят, а опускаясь на горы, долины и равнины, сохраняют на себе отпечаток их и несут его к небесам. Эти слова составляют верное изображение некоторых людей, обладающих, так сказать, коллективным гением, который формируется сообразно эпохе и воплощает в них

всю индивидуальность данной нации. Мирабо был одним из таких людей. Он не изобрел революции, но провозгласил ее. Без него она, быть может, осталась бы только в идеях и стремлениях. Он явился, и в нем она приобрела форму, страстность, язык, которые дают возможность, обращаясь к толпе, прямо указать на предмет и назвать его по имени.

Мирабо родился в дворянской семье, старинной фамилии, которая происходила из Италии, но впоследствии бежала и водворилась в Провансе. Основатели этой фамилии были тосканцы. Фамилия Мирабо находилась в числе тех, которых Флоренция изгнала от себя во время смут за свободу и за изгнание и преследования которых Данте в суровых стихах упрекает свою родину. Кровь Макиавелли и беспокойный дух итальянских республик были свойственны всем лицам этой фамилии. Члены ее, как люди, были выше своей судьбы. Пороки, страсти, добродетели — все у них выходило из общего уровня. Женщины в этой фамилии отличались или ангельскими свойствами, или развратом, мужчины — или высокими качествами, или распушенностью; самый язык, подобно характерам, там выразителен и величествен. В самой интимной переписке у них заметен колорит героических языков Италии. Предки Мирабо говорят о своих домашних делах, как Плутарх говорил о раздорах Мария с Суллой, Цезаря с Помпеем. Уже и тут видны великие люди, вовлеченные в малые дела. Мирабо с колыбели привык к этой величественности и к этой домашней мощи. Хотя такие подробности могут показаться чуждыми рассказу, но я на них настаиваю потому, что они его объясняют. Причина гениальности отдельного человека часто заключается в свойствах всех его предков, и фамилия, взятая в целом, бывает иногда предвестницей судьбы своего потомка.

3

Воспитание Мирабо было сурово и грубо, как рука его отца, которого называли «другом людей», а беспокойный ум и эгоистическое тщеславие которого делали его преследователем жены и тираном детей. Вместо всех других добродетелей ребенка приучали только чести: так называлась тогда та показная

добродетель, которая часто бывала не более как наружною правдивостью, изяществом порока. Рано поступив на военную службу, Мирабо из военных нравов того времени заимствовал лишь склонность к разврату и к игре. Рука отца настигала Мирабо везде, но не для того, чтобы поднять молодого человека, а чтоб погрузить его еще глубже под тяжестью последствий сделанных ошибок. Молодость Мирабо прошла в государственных тюрьмах, уединение которых распалило его страсти; гений Мирабо там ожесточился ненавистью к тюремным стенам, а его душа утратила там стыдливость, которая вообще редко переживает бесчестие подобных ранних наказаний. Выйдя из тюрьмы, Мирабо, по совету отца, сделал попытку, не совсем легкую, устроить свой брак с девицей Мариньян, богатой наследницей одной из крупных фамилий Прованса; для этого Мирабо, подобно гладиатору, пришлось прибегать к различным хитростям и к дерзким выходкам, какие только были возможны на миниатюрной арене города Э. Ловкость, обольщение, отвага — все ресурсы натуры Мирабо пушены были в ход для успеха, который и был достигнут; но лишь только Мирабо женился, как уже новые гонения стали преследовать его, и он попал в крепость Понтарлье. Любовь, сделанная бессмертной «Письмами к Софии», отворила пред Мирабо двери его заточения. Затем он похитил госпожу Моннье у ее старого мужа. После нескольких месяцев счастья любовники бежали в Голландию. Их ловят, разлучают, запирают — одну в монастырь, другого — в Венсенскую башню. Любовь, которая, подобно огню в недрах земли, всегда таится в каком-нибудь уголке судьбы великих людей, соединяет все жгучие страсти Мирабо в один горящий очаг. Предаваясь мщению, он дает удовлетворение оскорбленной любви; достигнув свободы, он, в сущности, возвращает и освобождает свою любовь; в серьезных занятиях он прославляет ту же любовь. Войдя в тюрьму неизвестным, Мирабо вышел из нее писателем, оратором, государственным человеком — но также и человеком развращенным, готовым на все, готовым даже продать себя, чтоб купить этим состояние и знаменитость.

Драма жизни уже была создана в его голове, оставалось только найти арену, и время подготовило ее для него. В течение немногих лет, составлявших промежуток между выхо-

дом Мирабо из Венсенской башни и вступлением на трибуну Национального собрания, он брался за столько полемических работ, что всякий другой человек был бы ими подавлен, а ему они только что давали перевести дух. Банк Св. Карла, учреждения Голландии, сочинение о Пруссии, борьба с Бомарше, его стилем и его значением, большие ораторские труды по вопросам о войне, о европейском равновесии, о финансах, колкости и брань, дуэли на словах с министрами или с людьми минутной популярности — все это напоминает римский форум во времена Клодия и Цицерона. В этих перебранках новейшего времени Мирабо является человеком древности. Между тем слышатся уже первые раскаты народных волнений, которые вскоре должны были разразиться и над которыми голосу Мирабо суждено было господствовать. При первых выборах в Э отвергнутый с презрением дворянством, он устремляется к народу, уверенный, что возьмет перевес везде, лишь только бросит на весы свой гений и свою смелость. Марсель оспаривает у Э великого плебея. Двойное избрание Мирабо, произносимые им речи, составляемые им же адреса, обнаруживаемая при том энергия — все это обращает на себя внимание целой Франции — громовые слова его становятся лозунгом революции. Сравнивая себя в звучных фразах с людьми древности, Мирабо становится в народном воображении на высоту тех личностей, о которых хочет напомнить. Слушатели привыкают смешивать его самого с теми именами, которые он цитирует в своих речах. Производимое им движение подготавливает умы к великим потрясениям; он гордо возвешает о себе нации в следующих выражениях, вошедших в его адрес к жителям Марселя: «последний из Гракхов, умирая, бросил пылью в небо, и из этой пыли родился Марий — Марий, который велик не столько по причине изгнания Кимвров, сколько потому, что принизил в Риме гордую аристократию».

Вступив в Национальное собрание, Мирабо как бы наполняет его собою; он один представляет там целый народ. Его жесты равносильны приказаниям, вносимые им предложения подобны государственным переворотам. Он ставит себя в уровень с тронem. Дворянство видит себя побежденным силою,

вышедшею из его собственных недр. Духовенство, стоящее в рядах народа и желающее примирить демократию с церковью, оказывает оратору поддержку для низвержения двойной аристократии — дворян и епископов. В несколько месяцев падает все, что было возведено и утверждено веками. Мирабо сознает, что он остался один среди этих развалин. Тогда его роль как трибуна кончается — начинается роль государственного человека. В этой последней он еще выше, чем в первой. Там, где все идет ощупью, он смотрит на предмет верно, идет прямо. Революция в голове Мирабо является уже более не взрывом гнева, но определенным планом. Философия XVIII века, сдерживаемая благоразумием государственного мужа, формулируется на его губах. Его красноречие, повелительное, как закон, состоит в таланте воодушевлять разум страстью. Слово Мирабо воспламеняет и освещает все; оставшись с этого времени почти одиноким, он не теряет мужества. Опираясь на сознание своего превосходства, он пренебрегает завистью, ненавистью и ропотом. Он презрительно отталкивает страсти, которые до сих пор за ним следовали. Он не хочет их более, как скоро его дело в них не нуждается; он говорит людям уже только во имя своего гения. Гения ему достаточно, чтоб возбуждать к себе повиновение. Могущество оратора состоит в том отголоске, который истина находит в людях. Сила приходит к Мирабо путем отражения. Он возвышается между всеми и над всеми партиями. Все его ненавидят, потому что он над всеми господствует, и все идут за ним, потому что в его руках и гибель их, и спасение. Не предаваясь никому, он ведет переговоры со всеми; сохраняя бесстрастие относительно бурного элемента собрания, он полагает основание преобразованной конституции: законодательство, финансы, дипломатия, война, религия, политическая экономия, равновесие властей — все эти вопросы он затрагивает и разрешает, не как утопист, но как государственный муж. Предлагаемое им разрешение вопроса всегда составляет верную средину между идеалом и практикою. Он делает разум доступным существующим нравам и приводит учреждения в соприкосновение с привычками. Он хочет удержать трон, чтоб дать опору демократии, он добивается свободы слова в палатах, выражения воли единой и несокрушимой нации — в правительстве. Свойство гения Мира-



Мирабо

бо, такого определенного и до такой степени непризнанного, заключается даже не столько в смелости, сколько в меткости. Под величественностью выражений он скрывает непогрешимость здравого смысла. Самые его пороки не могут взять верх над ясностью и искренностью его разума. У подножия трибуны это человек без стыда и без добродетели; на трибуне это честный человек. Предаваясь в частной жизни дурным поступкам, торгуясь с иностранными государствами, продаваясь двору для удовлетворения своих расточительных вкусов, он и в этом постыдном торге своею личностью сохраняет неподкупность своего гения. Мирабо недоставало только честности из всех качеств, необходимых великому человеку его времени. Для него народ нечто иное, как орудие, слава для него божество, вера — потомство; совесть у Мирабо заключается в рассудке, фанатизм его идеи вполне человечесен, холодный материализм того времени отнимает у души Мирабо движение, силу и цель, свойственные предметам исчезающим. Умирая, он говорит: «Покройте меня ароматами и украсьте цветами, чтоб предаться вечному сну». Этот человек вполне принадлежит данному времени; своему делу он не сообщает ничего бесконечного. Он не освящает знаком бессмертия ни своего характера, ни действия, ни мысли. Если бы он верил в Бога, то, быть может, умер бы мучеником, но оставил бы после себя религию разума и царство демократии. Короче, Мирабо представляет собою здравый смысл одного народа, но не верование человечества.

4

Наружная пышность набросила покрывало всеобщего траура на те чувства, которые смерть Мирабо втайне произвела в различных партиях. Когда колокола издавали похоронный звон и каждую минуту гремела пушка, когда гражданину делали истинно королевские похороны, церемония которых привлекла 200.000 зрителей, когда Пантеон, в который снесли усопшего, казался едва достойным монументом для подобного праха, что происходило в это время в глубине сердец окружающих?

Король, содержавший красноречие Мирабо на жалованье, королева, с которой он имел ночные совешания, жале-

ли его, быть может, как жалеют последнее средство спасения: во всяком случае, он им внушал больше страха, чем доверия; чувство унижения, нераздельное с просьбою короны у подданного о помощи, должно было успокоиться в виду этой разрушительной силы, которая сама собою пала пред троном. Смертью Мирабо двор был отомщен за оскорбления, какие должен был от него выносить. Раздраженная аристократия предпочитала смерть Мирабо его услугам. Для дворянства он был не более как отступником своего сословия. Быть когда-нибудь возвышенной тем самым человеком, который унижил аристократию, — это было довершением ее позора. Национальное собрание тяготилось превосходством Мирабо. Герцог Орлеанский понимал, что одного слова этого человека достаточно для освящения и поражения всяких преждевременных честолюбивых планов. Герой буржуазии, Лафайет, должен был страшиться народного оратора. Тайная зависть неизбежно существовала между диктатором города и диктатором трибуны.

Мирабо в своих речах никогда не нападал на Лафайета, но в разговоре часто у него прорывались о сопернике такие слова, которые, падая на человека, как бы отпечатываются на нем. Со всяким ущербом Мирабо Лафайет казался выше; то же было и со всеми ораторами собрания. Соперников Мирабо не имел, но у него были завистники. Красноречие его, как оно ни было популярно, оставалось красноречием патриция. Его демократичность упала сверху: она не имела в себе чувств недоверия и ненависти, которые возбуждают в сердцах низкие страсти и в оказываемом народу добре видят только оскорбление для дворянства. Народные чувства Мирабо были некоторым образом либеральной стороной его гения. Блестящие излияния его великой души ни в чем не были похожи на нескладную ярость демагогов. Завоевывая права для народа, он имел такой вид, как бы сам давал их. Это был волонтер демократии; свою ролью, своим отношением к демократам, расположенным позади него, Мирабо напоминал, что со времен Гракхов до него самого из патрициев выходили трибуны самые могучие в деле служения народу. Талант Мирабо, не имевший себе равного по философскому складу мысли, по обширности ее и по грандиоз-

ности выражений, был также видом аристократичности, которую ему еще менее могли простить. Природа доставила ему первенство, смерть открывала простор около него для всех второстепенных личностей. Они готовились оспаривать друг у друга его место, которого между тем не был способен занять никто из них. Слезы, которые эти люди проливали при гробе Мирабо, были слезы притворные. Один только народ оплакивал его искренно, потому что народ слишком силен, чтоб быть завистливым, и потому что, не ставя Мирабо в упрек его происхождение, он даже любил в нем дворянский оттенок, как добычу, завоеванную у аристократии. Кроме того, беспокойная нация, видевшая падения своих учреждений одного за другим и опасавшаяся общего переворота, чувствовала по инстинкту, что гений великого человека был единственною силою, какая ей оставалась. Как скоро этот гений погас, под ногами монархии оставались только мрак и пропасти. Только якобинцы громко радовались, потому что один лишь этот человек мог уравновесить их силу.

6 апреля 1791 года Национальное собрание возобновило свои заседания. Место Мирабо, оставшееся пустым, ясно показывало невозможность заместить умершего. На лицах зрителей в трибунах выражалась тревога. В зале царствовало молчание. Талейран прочел собранию посмертную речь Мирабо. Его хотели слушать еще раз после смерти. Слабое эхо этого голоса, по-видимому, доходило до своего отечества из глубины сводов Пантеона. Чтение было угрюмо. Нетерпение и беспокойство давили все умы. Партии горели желанием померяться силами без прежнего крупного перевеса в одну сторону. Схватка между ними сделалась неизбежною. Посредника, который их сдерживал, уже не было.

5

Прежде чем изобразить положение этих партий, бросим краткий взгляд на исходную точку революции, на пройденный ею путь и на главнейших вождей, которые старались управлять революциею на том пути, который еще оставалось сделать.

Не прошло еще и двух лет с тех пор, как общественное мнение сделало брешь в монархии, и уже результаты были

громадны. Дух слабости и колебания в правительстве был причиною созыва собрания нотаблей. Настроение общества наложило руку на власть и созвало Генеральные штаты. Когда они собрались, нация сознала свое могущество; от этого сознания до легального восстания оставалось сказать только одно слово. Мирабо его произнес. Национальное собрание учредилось пред лицом трона и даже выше его, расточительная популярность Неккера истощилась в уступках и исчезла вслед за тем, как у него не оставалось более обрывков монархии, которые бы можно было бросить народу. Отставка министра монархии была для нее поражением. Последний шаг этого министра вывел его вон из королевства. Обезоруженный король оставался в руках нации заложником прежнего порядка. Провозглашение прав человека и гражданина, единственный отвлеченный акт, сделанный до тех пор революцией, дало ей значение социальное и всеобщее. Над этой декларацией много смеялись; она содержала в себе несколько ошибок и перемешивала в названиях состояние природы с состоянием общественным, но в сущности она была догматом совершенно новым.

6

Есть в природе предметы, форму которых можно хорошо различить только в некотором отдалении. Близость, как и большое расстояние, мешает хорошо видеть их. То же самое бывает относительно крупных событий. Рука Провидения видима в делах человеческих, но она же и скрывает от нас то, что совершает. То, что можно было тогда разглядеть во французской революции, представляло собою величайшее мировое событие, наступление новой идеи среди людей, идеи демократической, а за ней и демократического управления.

Эта идея проистекала из христианства. Христианство, заставшее людей рабами и падшими по всей земле, поднялось при падении Римской империи грозным мщением, хотя и носило форму самопожертвования. Оно провозгласило три слова, повторенные 2.000 лет спустя французской философией: свобода, равенство, братство людей, но скрыло на время этот догмат в глубине христианских душ. Слиш-

ком слабое сначала для нападения на гражданский закон, оно сказала властям: еще на некоторое время я вам оставляю мир политический и ограничиваюсь нравственным. Продолжайте, если можете, сковывать, делить, поработать, профанировать народы — я буду освобождать души, — 2.000 лет я употреблю на обновление умов, прежде чем дело дойдет до учреждений. Но наступит день, когда мое учение из храма перейдет в совет народов. В тот день социальный мир получит обновление.

День этот наступил. Он был подготовлен веком философии, скептической по наружности, верующей на деле. Скептицизм XVIII века относился только к внешним формам и сверхъестественным догматам христианства; но он страстно принял его нравственность и социальное значение. Что христианство называло откровением, философия называла разумом. Слова были в некоторых отношениях различны, смысл оставался один и тот же. Из того и другого одинаково проистекало освобождение личностей, сословий, народов, только древний мир освободился во имя Христа, мир новый освобождался во имя прав, полученных от Бога каждым существом. Но тот и другой производили это освобождение или от Бога, или от природы. Политическая философия революции, чтобы открыться Европе, даже не могла найти другого слова, более истинного, полного и святого, как христианство, и усвоила себе догмат и лозунг братства. Французская революция нападала на внешнюю форму господствовавшей религии только потому, что последняя выражалась в правительствах монархических, теократических и аристократических. Таково объяснение кажущегося противоречия XVIII века, который в политике все заимствовал у христианства и в то же время отрицал его. Между двумя учениями происходили одновременно сильное отталкивание и сильное притяжение. В самой борьбе они признавали друг друга и стремились выразить это признание еще полнее, когда борьба закончилась бы торжеством свободы.

Таким образом, с апреля 1791 г. мыслящим умам были очевидны три вывода: п е р в ы й, что начатое революционное движение, переходя с одного предмета на другой, дойдет до полного восстановления в человечестве всех поп-

ранных прав, начиная от прав народов пред правительствами до прав гражданина пред сословиями и пролетария пред гражданами, что оно будет преследовать тиранию, привилегии, неравенство, эгоизм, не только на троне, но и в законе гражданском, в администрации, в легальном распределении собственности, в положении промышленности, труда, семьи, и во всех сношениях человека с человеком и мужчины с женщиною; в т о р о й, что это демократическое, философское и социальное движение будет искать себе естественного выражения в правительственной форме, аналогичной его принципу и свойствам, т. е. в господстве народа, в республике с одним главою или несколькими; наконец, т р е т и й, что социальная и политическая эмансипация повлечет за собою умственную и религиозную эмансипацию, что свобода мысли, слова и действия не остановится пред свободой верования, что идея о Боге выйдет из святилищ, чтоб в каждом свободном сознании блеснуть светом свободы, что этот свет — для одних откровение, для других разум, более и более распространит истину и справедливость, которые исходят на земле от Бога.

7

Человеческая мысль делает целый мир своим отражением. Мысль была обновлена целым веком философии. Ей предстояло преобразовать социальный мир. Итак, французская революция была, в сущности, возвышенным и страстным спиритуализмом. Она имела пред собою идеал святой и всеобщий. Вот почему она зарождала страсти по другую сторону французских пределов. Люди, которые ограничивают ее, тем самым ее уродуют. Она означала наступление трех видов нравственного господства: господства права над силою, разума над предрассудками, народов над правительствами. Она означала переворот в праве: равенство; переворот в идеях: замещение авторитета рассудком; переворот в фактах: царство народа. Это был завет социальных прав и обязанностей, хартия человечества. Провозвестником ее явилась Франция. В этой борьбе идей Франция имела союзников везде, даже на тронах.

Бывают эпохи в истории человечества, когда засохшие ветви падают с людского дерева, когда дряхлые, отжившие учреждения слабеют сами собою, оставляя место новому вину, учреждениям, которые, обновляя идеи, обновляют народы. Древность полна таких перемен, которых видны только следы в памятниках и в истории. Каждая из таких катастроф в мире идей увлекает к падению старый мир и дает свое имя новой цивилизации. Восток, Китай, Египет, Греция, Рим видели эти развалины и эти возрождения. Запад испытал их в ту эпоху, когда друидская теократия уступила место богам и правительству римлян. Византия, Рим и Империя произвели сами перемену быстро и как бы бессознательно, когда, утомленные политеизмом, поднялись, по голосу Константина, против своих богов и смели, подобно гневному ветру, обряды, понятия и храмы, сохранившиеся еще в народе, но уже лишенные лучшей доли человеческой мысли. Цивилизация Константина и Карла Великого одряхла в свою очередь, и верования, поддерживавшие алтари и троны в течение 18 веков, ослабевая в умах людей, угрожали миру религиозному и политическому переворотом, после которого власть редко остается твердою, когда вера колеблется. Монархическая Европа была делом католицизма. Политика образовалась по подобию церкви. Авторитет в ней был основан на тайне. Право нисходило свыше. Власть, как и вера, признавалась божественною. Повиновение народов было делом священным, и этим самым исследование делалось богохульством, а рабство добродетелью. Философский дух, неслышно восставший три века тому назад против учения, которое повседневно себе противоречило скандалами, тиранией, преступлениями двух властей, не хотел более признавать божественного титула за властями, которые отрицали разум и поработали народы. Пока католицизм был единственным легальным учением в Европе, эти глухие вспышки разума не потрясали государств. Рука правителей их карала.

Тюрьмы, казни, инквизиция, костры запугали разум и подержали двойной догмат, на котором покоились две власти.

Но книгопечатание, этот постоянный взрыв человеческой мысли, послужило народам как бы вторым откровением. Употребляемое сначала исключительно церковью для распространения в народе господствовавших идей, оно вскоре начало подрывать их. Догматы временной и духовной властей, непрерывно поражаемые этими потоками света, должны были вскоре поколебаться сначала в умах, а потом и в жизни. Гуттенберг, сам того не зная, был механиком нового мира. Создав общение идей, он обеспечил независимость разума. Каждая буква алфавита, выходящая из-под его пальцев, содержала в себе больше силы, чем армии королей и громы первосвященников. Он вооружал разум словом. Эти две силы господствуют над человеком, впоследствии они должны господствовать над человечеством. Умственный мир родился из материального изобретения; он вырос быстро. Из него вышла религиозная реформа.

Империя католицизма потерпела сильное раздробление. Швейцария, часть Германии, Голландия, Англия, целые провинции Франции были похищены у центра религиозного авторитета и перешли на сторону учения о свободном исследовании. Как скоро религиозный авторитет подвергся нападкам и спору в лице католицизма, авторитет трона оставлен был на произвол народов. Философия более могущественная, чем самый мятеж, приближалась к трону более и более, все с меньшим уважением и меньшею боязнью. История могла записать слабости и преступления королей; публицисты осмеливались комментировать историю, народы осмеливались делать выводы. Общественные учреждения подверглись оценке по степени их действительной пользы для человечества. Умы наиболее почтительные к власти заговорили государям об обязанностях, народам — о правах. Святая дерзость христианства прозвучала на кафедре, пред лицом Людовика XIV. Боссюэт, этот теократический гений, перемешивал лезть Людовику XIV с некоторыми мрачными предостережениями, которые утешают народ в терпимом им унижении. Фенелон, краткий гений нового закона, писал свои наставления государям и своему Телемаку в королевском дворце, в кабинете наследника трона. Политическая философия христианства, восстание правосудия в пользу

слабых, через него достигла Людовика XIV и ушей его внука. Фенелон воспитывал в герцоге Бургонском целую революцию. Король слишком поздно заметил это и изгнал из своего дворца духовное обольщение. Но революционная политика уже зародилась, народ читал ее на страницах Фенелона. Версаль, благодаря Людовику XIV и Фенелону, должен был сделаться одновременно дворцом деспотизма и колыбелью революции. Монтескье разобрал учреждения и исследовал законы всех народов. Классифицируя правительства, он их сравнивал; сравнивая, он их судил. Это суждение на каждой странице сопоставляло и противопоставляло право и силу, привилегию и равенство, тиранию и свободу.

Жан Жак Руссо, менее даровитый, но более красноречивый, изучил устройство государства не в законах, но в самой природе. Одаренный душой свободной, но страдающей, он великодушным порывом своего сердца возбудил всех, возмущенных неравенством общественных условий. Это было возмущение идеала против действительности.

Он был трибуном природы, Гракхом философов; он составлял не историю учреждений, а мечты о них, но эти мечты исходили с неба и туда же возвращались. Это была утопия правительств, но ею-то Руссо больше всего и увлекал. Для воодушевления народов нужно, чтобы к истине примешивалась небольшая доля иллюзии; голая действительность слишком холодна, чтобы фанатизировать человеческий ум: он воспламеняется только из-за таких предметов, которые составляют нечто большее, чем природа: таков так называемый идеал, такова притягательная сила религий; вот что производит фанатизм, этот бред добродетели. Руссо был идеалом политики, Фенелон — идеалом христианства.

Вольтер обладал критическим гением, силою насмешливого отрицания, которое клеймит все то, что опрокидывает. Он заставил людей смеяться над ними самими, он их унизил для того, чтобы возвысить; он выставил пред ними все предрассудки, все заблуждения, все несправедливости, все преступления невежества; он побудил людей к возмущению против идей, считавшихся освященными, но не путем энтузиазма к будущему, а посредством презрения к прошлому. Судьба дала ему 80 лет жизни, чтобы медленно разло-

жить дряхлый век; он имел время сразиться против своего времени и пал только победителем. Его ученики наполняли дворы, академии и залы; ученики Руссо предавались своим мечтаниям и озлоблению в более низких слоях общества. Первый был счастливым и изящным адвокатом аристократии; второй — тайным утешителем и любимым мстителем демократии. Книга Руссо была книгою угнетенных людей и чувствительных душ. Сам он, человек несчастный и религиозный, поставил Бога наряду с народом; его доктрины освящали разум, восстанавливая сердце. В его выражениях звучало мшение, но там было место и для милосердия; последователи Вольтера способны были низвергать алтари; последователи Руссо могли поднимать их; один мог обойтись без добродетели и поладить с тронами, другой чувствовал потребность в Боге и мог основывать только республики.

Многочисленные ученики Вольтера и Руссо продолжали их дело, располагая всеми органами общественной мысли; философия XVIII века завоевывала и изменяла все, от геометрии до священной кафедры. Д'Аламбер, Дидро, Райналь, Бюффон, Кондорсе, Бернарден де Сен-Пьер, Гельвециус, Сен-Ламбер, Лагарп составляли как бы церковь нового века. Эти столь различные умы были одушевлены одною мыслью — обновлением человеческой мысли. Цифры, точные науки, история, экономия, политика, театр, нравственность, поэзия — все служило проводником новой философии. Она текла во всех жилах того времени, завербовала себе все таланты, говорила всеми языками. Случай или Провидение хотели, чтобы этот век, почти бесплодный в других странах, был веком Франции. От конца царствования Людовика XIV до начала царствования Людовика XVI природа была щедра на людей: свет, поддерживаемый таким числом гениев первой величины — от Корнеля до Вольтера, от Боссюэта до Руссо, от Фенелона до Бернардена де Сен-Пьера, — приучил другие народы смотреть на Францию. Очаг мировых идей распространял из нее ослепительный блеск. Нравственный авторитет человеческого разума находился уже не в Риме; свет, направление исходили из Парижа; мыслящая Европа была французскою. Во французском гении всегда было и будет нечто более могучее, чем самое его мо-

гушество, более светлое, чем самый его блеск: это его жар, его поразительная общительность — притяжение, которое он оказывает на Европу. Гений Испании Карл V горд и предприимчив; гений Германии глубок и мрачен; гений Англии отличается искусством и гордостью; гений Франции исключительно любящий, и в этом его сила. Легко увлекающийся сам, он столь же легко увлекает народы.

Свойство общительности, находящееся в характере французской расы, было тогда предвестием наступившего века. Внимание всей Европы инстинктивно обращалось к Франции, как бы вследствие сознания, что движение и свет могли исходить только оттуда. Единственный звучный пункт на материке был Париж. Самые малые предметы, исходя из него, производили много волнения. Литература была проводником французского влияния; монархия мысли, прежде чем иметь героев, имела уже свои книги, свой театр, свои письмена. Она делала завоевания путем разума, и типография была ее армией.

9

Партии, разделявшие Францию после смерти Мирабо, располагались следующим образом: вне собрания — двор и якобинцы; в собрании — правая и левая стороны, одна — фанатик нововведений, другая — фанатик сопротивления; между этими двумя крайними партиями еще находилась средняя партия. Ее составляли люди крайних партий, желавшие стране блага и мира; их мягкие и нерешительные мнения, стоявшие между революцией и консерватизмом, желали, чтобы первая победила без насилия, а второй уступил без злобы. Это были философы революции. Но теперь было время не философии, а победы; две противоположные идеи, ставшие лицом к лицу, желали борцов, а не судей; своим столкновением они раздавили этих людей. Назовем главных вождей этих различных партий и ознакомимся с ними, прежде чем увидим, как они действовали.

Королю Людовику XVI было только 37 лет; он имел фамильные черты лица, с несколько тяжелым оттенком, следствием немецкой крови его матери — принцессы Саксонского дома. Прекрасные, широко раскрытые голубые глаза — больше свет-

лые, чем ослепительные, округленный, убегающий назад лоб, римский нос, мягкое очертание ноздрей, которое несколько изменяло энергию, свойственную орлиному носу, рот улыбающийся и грациозный при произнесении слов, губы толстые, но хорошо очерченные, тонкая кожа, с живым, хотя немного слабым отливом, короткий рост, толстое тело, боязливая поза, неверная походка; при спокойном состоянии тревожное покачивание тела попеременно то на одну, то на другую сторону, без передвижения его; быть может, оно в нем обуславливалось привычною нетерпеливостью, свойственною государям, которые должны давать длинные аудиенции, а быть может, это было и физическим выражением постоянного колебания нерешительного ума; во всей фигуре было выражение благодушия, не совсем королевского, которое при первом взгляде располагало сколько к насмешке, столько же и к уважению и его врагами было умышленно перетолковано так, чтобы показать народу в самых чертах государя отражение тех пороков, которые предстояло истребить в королевстве; в целом, некоторое сходство с физиономией последних цезарей в эпоху упадка понятий и раскrotость Антонина в дородности Веспасиана. Таков человек!

10

Этот принц был воспитан в полном удалении от двора своего деда. Атмосфера, заражавшая весь век Людовика XV, не коснулась его преемника. Пока Людовик XV из своего двора делал вертеп, наполненный подозрительными людьми, его внук, воспитанный в глуши Медонского дворца просвещенными и религиозными наставниками, вырастал в уважении к своему сану, в страхе пред троном и в религиозной любви к народу, которым был призван править. Казалось, дух Фенелона пережил два поколения королей в этом дворце, где он воспитал герцога Бургонского, чтобы руководить еще воспитанием его потомка. Существо, самое близкое к коронованному пороку, сидевшему на троне, было, быть может, самым чистым в целой Франции. Если бы и весь тогдашний дух времени не был столь же развратен, как король, он обратил бы сюда свою любовь. Напротив, испорченность дошла до тех пределов, когда чистота кажется



Мария Антуанетта — королева Франции

смешною и когда к стыдливости относятся с презрением.

Вступив 16 лет от рождения в брак с дочерью Марии-Терезии, молодой принц до самого вступления своего на трон продолжал вести жизнь, посвященную семейному уединению и учению. Постыдный мир усыплял Европу. Война — это упражнение принцев — не могла подготовить Людовика



Людовик XVI — король Франции

к отношениям с людьми и приучить к команде. Поля сражения, служащие театром для великих актеров, никогда не показывали принца взорам его народа. На нем не блистало никакого обаяния, кроме данного рождением. Единственной его популярностью было отвращение, внушаемое его делом. Людовик XVI пользовался уважением своего народа, но ни-

когда не имел его расположения. Честный и просвещенный, он призвал с собою честность и просвещение в лице Тюрго. Но, обладая философским сознанием необходимости реформ, принц был реформатором только в душе: он не имел для этого ни гения, ни смелости. Его государственные люди не более самого короля располагали этими качествами. Они поднимали все вопросы, не двигая их с места; они накапливали бури, не давая им должного направления. Эти бури должны были в конце концов обратиться против них самих. Людовик XVI обращался от Морепа к Тюрго, от Тюрго к де Калонну, от де Калонна к Неккеру, от Неккера к Мальзербу, переходил от интригана к честному человеку, от банкира к философу; дух системы и шарлатанства худо помогал духу правительства. Это царствование, обладавшее такими громкими именами, не имело ни одного государственного человека; все были только обещания и обман. Двор предавался воплям, нацию охватило нетерпение, движение становилось судорожным: собрание нотаблей, Генеральные штаты, Национальное собрание, — все это прогремело между рук короля; из его добрых намерений вышла революция более пламенная и разъяренная, чем могла бы выйти из его пороков. Теперь король стоял лицом к лицу с революцией в Национальном собрании; в советах королевских не было ни одного человека, способного не только сопротивляться ей, но даже понять ее. Люди действительно сильные предпочитали быть популярными слугами нации, чем шитоносцами короля в то время, о котором мы говорим.

11

Г. Монморен был предан королю, но не имел значения в глазах нации. Министерство не обладало ни инициативой, ни силой сопротивления: инициатива принадлежала якобинцам, исполнительная власть терялась среди революционных движений. Королю, лишенному правительственных органов и атрибутов, не имевшему силы, оставалась только тягостная ответственность за анархию. Он был целью, в которую все партии направляли ненависть и ярость народа. Он имел привилегию всевозможных обвинений.

Когда с высоты трибуны Мирабо, Барнав, Петьон, Ламет, Робеспьер красноречиво угрожали трону, в то же время бесчестные памфлеты, проникнутые духом возмущения журналы изображали короля тираном, недостаточно обузданным, который поглупел от вина, подчинялся капризам бесстыдной женщины и в глубине своего дворца сговаривался с врагами нации. Стоическая добродетель этого государя в зловещем предчувствии его скорого падения была достаточна для спокойствия его совести, но не для принятия хороших решений. Выходя из совета министров, где честно исполнял свои конституционные обязанности, король искал более непосредственного вдохновения то в дружбе преданных ему слуг, то даже в лице своих врагов, боязливо удостоенных королевского доверия. Одни советы сменялись другими, взаимно себе противореча в ушах короля, а результаты их также противоречили себе в его действиях. Враги короля внушали ему мысль о необходимости уступок и обещали популярность, которая ускользала из их рук, как только они хотели ее ему доставить. Двор говорил королю о силе, которая была лишь в области мечтаний; королева — о мужестве, которое она чувствовала в своей душе; интриганы — о подкупе; трусы — о бегстве; поочередно и зараз он перепробовал все эти средства. Ни одно из них не было действительно; время полезных решений уже прошло. Кризис был неизлечим. Нужно было выбирать между жизнью и тронном. Попытка сохранить жизнь и трон должна была погубить то и другое.

Если занять мысленно положение Людовика XVI и спросить себя, какие советы могли бы его спасти, — ответ будет затруднителен. Бывают обстоятельства, обставляющие все движения человека такими западнями, что, какое бы направление он ни принял, все-таки упадет в роковую пропасть своих ошибок или даже своих добродетелей. Людовик XVI был именно в таком положении. Вся непопулярность королевской власти во Франции, все ошибки прежних царствований, все пороки королей, все скандалы двора, все страдания народа, так сказать, скопились над его головой и указали его невинное чело для искупления неправд нескольких веков. Эпохи, как и религии, имеют свои жертвы. Когда они хотят обновить учреждение, сделавшее-



Робеспьер

Барнав (1761-1793)



...я непригодным, то громоздят над человеком, в котором олицетворяется это учреждение, всю ненависть и все проклятия, свойственные самому учреждению; из этого человека они делают жертву, которую приносят своему времени: Людовик XVI был такою жертвою — невинною, но обремененною всеми неправдами прежних тронов — жертвою, которую должно было принести в искупление оскверненного королевского сана. Таков король.

12

Королева, казалось, была создана природою в контраст королю, как бы для того, чтобы навсегда привлечь интерес и сострадание веков одной из тех государственных драм, которые остаются неполны, если их не закончило несчастье женщины. Дочь Марии-Терезии начала жизнь среди бурь австрийской монархии. Она была сестрою тех детей, кото-

рых эта императрица держала за руки, явившись с мольбою о помощи к преданным венгерцам, встретившим ее криками: «Умрем за нашего короля, Марию-Терезию!» Дочь ее также обладала королевским духом. Когда она прибыла во Францию, красота принцессы осветила королевство; эта красота была тогда в полном блеске. Мария-Антуанетта была высока, стройна, гибка, настоящая дочь Тироля. Двое детей, принесенных ею трону, не только не заставили увянуть красоту королевы, но еще прибавили к ее выражению характер материнского величия, который так уместен у матери целой нации. Только предчувствие несчастий, воспоминание о трагических сценах в Версале, каждодневное беспокойство несколько уменьшили прежнюю свежесть королевы. Природное достоинство ее осанки не уменьшало грациозности ее движения; шея, хорошо разграниченная от плеч, представляла те прелестные очертания, которые придают такую выразительность позам женщины. В королеве видна была женщина — под величием сана сквозила нежность сердца. Белокурые, с пепельным оттенком волосы королевы были длинны и шелковисты; лоб, высокий и несколько выпуклый, соединялся с висками кривою линией, которая придает выражение нежности и чувствительности этому седалищу мысли; глаза светло-голубого цвета, напоминающего небо севера или воду Дуная; орлиный нос, с хорошо открытыми и несколько раздувающимися ноздрями, где трепетали душевные потрясения, признак мужества; большой рот с блестящими зубами, — австрийские, т. е. выдающиеся, и как бы вырезанные губы, овальный облик — подвижная, выразительная, страстная физиономия; во всем лице был тот блеск, который описать невозможно, который сверкает во взгляде, в тенях, в отражении лица и покрывает его сиянием, подобным горячему цветистому пару, среди которого плавают предметы, освещенные солнцем; это крайнее выражение красоты, сообщаемое идеалом, который делает ее живою и видоизменяет ее прелести. При всей этой привлекательности — душа, проникнутая привязанностью, — сердце, склонное к волнению, но требующее только сосредоточенности, улыбка задумчивая и разумная, которая не имела в себе ничего банального, не допускала мысли об ин-

тимности или о каком-нибудь особом предпочтении, потому что сознавала себя достойною дружбы. Такова Мария-Антуанетта как женщина.

13

Этого было довольно, чтобы составить счастье человека и украшение двора. Но чтобы вдохновить нерешительного короля и спасти государство в трудных обстоятельствах, нужно было нечто большее: нужен был правительственный талант; королева его не имела. Ничто не могло ее приготовить к управлению беспорядочными силами, которые волновались подле нее; несчастье не оставило ей времени на размышления. Принятая с увлечением развратным двором и пламенной нацией, она должна была верить в постоянство подобных чувств. Ее усыпили праздники Трианона. Она слышала первый ропот бури, но не верила опасности; она полагалась на любовь, которую внушала другим и сама чувствовала в сердце. Между тем двор делался требовательным, нация враждебной. Служа орудием придворных интриг на сердце короля, Мария-Антуанетта сначала благоприятствовала, потом сопротивлялась всем реформам, которые могли предупредить или отсрочить кризис. Политика королевы состояла лишь в предубеждении, ее система — только в попеременной надежде на тех, кто обещал ей спасти короля. Граф Артуа, принц молодой и рыцарский по наружности, овладел ее умом. Он полагался на дворянство, говорил о своей шпаге, смеялся над кризисом. Он презирал этот шум на словах, составлял заговоры против министерств, отзывался дурно о переговорах. Королева, упоенная лестью окружающих, побуждала короля брать назад поутру уступки, сделанные накануне. Во всех судорожных движениях правительства заметна была ее рука. Комнаты королевы служили очагом постоянного заговора против новых стремлений; нация наконец это поняла и стала ее ненавидеть. Имя королевы сделалось для народа призраком контрреволюции. Кого бояться, на того охотно клеветуют. В гнусных памфлетах королеву изображали Мессалиной. Пушены был в ход слухи самые бесчестные; распрос-

транялись анекдоты самые лживые. Ее можно было обвинить в нежности, но в разврате никогда. Она была молода и прекрасна, ей поклонялись; если ее сердце и не оставалось нечувствительным, то по крайней мере ее чувства никогда не проявлялись в чем-нибудь скандальном. Сердце женщины, хотя бы она была королевой, имеет свою неприкосновенность. Чувства делаются достоянием истории только тогда, когда проявляются публично.

14

В течение знаменитых дней 5 и 6 октября королева заметила, хотя слишком поздно, ненависть к себе народа; неприязнь должна была наполнить и ее сердце. Началась эмиграция; королева отнеслась к ней благосклонно. Все ее друзья были в Кобленце; ее считали соучастницей в их делах; это соучастие действительно существовало. Басни об австрийском комитете расходились в народе. Марию-Антуанетту обвиняли в заговоре на гибель нации, которая каждую минуту требовала ее головы. Возбужденный народ нуждается в ненависти к кому-нибудь; ему указали на королеву. Ее имя было воспето в народном гневe. Женщина была избрана врагом всей нации. Гордость королевы пренебрегала раскрытием заблуждения. Она затворилась в чувствах вражды и ужаса; заключенная в Тюльерийском дворце, она не могла высунуть голову в окно, чтоб не вызвать обиды и не услышать оскорбления. Всякий городской шум заставлял ее бояться восстания. Дни ее были угрюмы, ночи полны волнения; казнь ее продолжалась каждый час в течение двух лет; мучения королевы увеличивались любовью к детям и беспокойством за короля. Двор ее был пуст, она видела возле себя только подозрительные власти, надменных министров и Лафайета, пред которым вынуждена была придавать даже своему лицу притворное выражение. Комнаты королевы таили в себе доносы; слуги были ее шпионами. Нужно было их обманывать, чтоб иметь возможность совещаться с немногими друзьями, которые еще оставались у нее. Потайные лестницы, темные коридоры приводили ночью на вершину замка тайных советников, которых она к себе призывала,

эти совещания походили на заговоры; королева выходила из них постоянно, с разнородными мыслями и ими наполняла душу короля, поведение которого, благодаря этому, отличалось несвязностью, свойственною растерянной женщине.

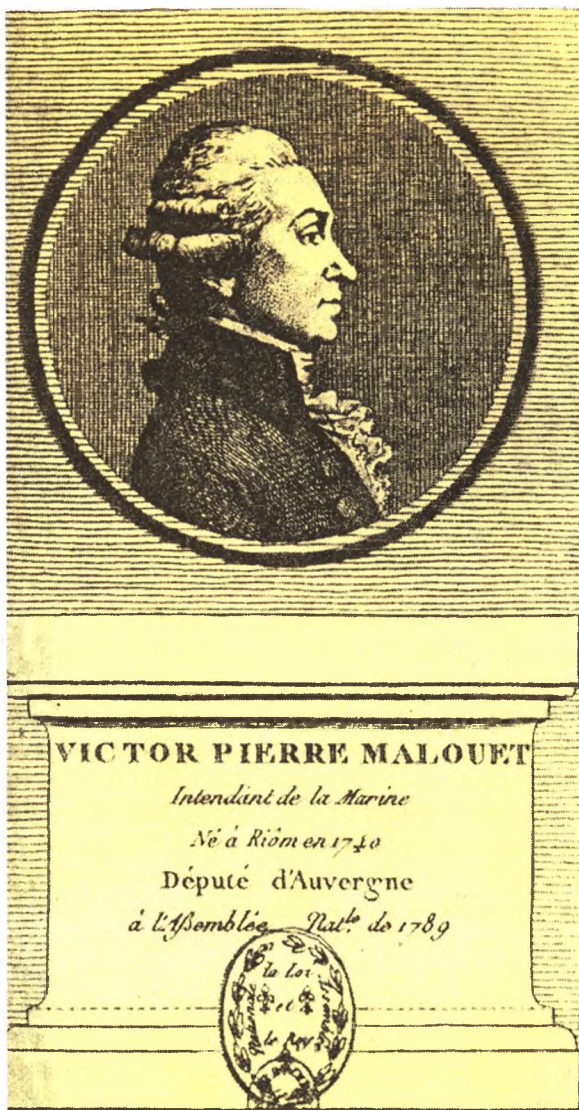
Насильственные меры, попытки подкупить собрание, искреннее признание конституции, попытки сопротивления, сознание королевского достоинства, раскаяние, слабость, ужас и бегство — все это задумывали, пытались исполнить, готовили, останавливали и прекращали в один и тот же день. Женщины, столь возвышенные, когда нужна преданность, редко бывают способны к последовательности и невозмутимости, необходимым для политического плана. Их политика находится в сердце; страсть у них слишком близка к разуму, из всех добродетелей трона они имеют только мужество; героями они бывают часто, государственными людьми — редко. Королева представила еще один пример этого; она сделала королю много зла. Одаренная большим умом, лучшею душою, сильнейшим характером, чем он, она употребила свое превосходство только на то, чтоб внушить ему доверие к губительным советам. В одно и то же время она была и утешением в его несчастиях, и гением его гибели; она свела его шаг за шагом на эшафот, но и сама вошла туда вместе с ним.

15

Правая сторона Национального собрания состояла из естественных врагов движения — из дворянства и высшего духовенства. Но это были враги не одинаковой степени и не одного вида. Мятеж рождается внизу, революция — наверху; мятежи — не что иное, как народный гнев, революции же — идеи эпохи. Идеи зарождаются в голове нации. Французская революция была великодушною мыслью аристократии. Эта мысль попала в руки народа, который сделал из нее оружие против дворянства, трона и религии. В залах она была философией, на улицах — восстанием. Между тем все крупные фамилии королевства сделали свой вклад в ряды провозвестников первых догматов революции; Генеральные штаты, древняя арена значения и триумфов высшего дворян-

ства, соблазняли честолюбие его потомков: они стояли во главе реформаторов. Сословный дух не мог их удержать, когда вопрос состоял в соединении с третьим сословием. Фамилии Монморанси, Ноайль, Ларошфуко, Клермон-Тоннер, Лалли-Толландаль, Вирие, д'Эгильон, Лозен, Монтескье, Ламет, Мирабо, герцог Орлеанский, первый принц крови, граф Прованский, брат короля, впоследствии сам король под именем Людовика XVIII, дали толчок самым смелым нововведениям. Каждый из них сообщал свое мимолетное значение принципам, которые легче было поставить, чем удержать в пределах; большею частию это значение уже исчезло. Когда эти теоретики умозрительной революции заметили, что поток уносит их, они пытались остановить течение или удалялись; одни снова сгруппировались вокруг трона, другие эмигрировали после 5 и 6 октября. Некоторые, самые твердые, остались на своих местах в Национальном собрании; они сражались за потерянное дело без надежды, но со славою; они старались по крайней мере поддержать монархическую власть и оставляли народу без спора остатки дворянства и церкви. К числу таких принадлежали: Казалес, аббат Мори, Малуэ и Клермон-Тоннер. Это были люди замечательные среди своей умиравшей партии.

Клермон-Тоннер и Малуэ были скорее государственными людьми, чем ораторами; их твердые и обдуманые слова носили на себе отпечаток рассудка. Они искали равновесия между свободой и монархией и думали, что нашли его в английской системе двух палат. Люди умеренные той и другой партии слушали их голос с уважением; подобно всем полупартиям и полуталантам, эти люди не возбуждали ни ненависти, ни гнева; но события их не слушали и, удаляя их, шли к более полным результатам. Мори и Казалес, менее философы, были атлетами правой стороны; натуры их были различны, но ораторское могущество почти равное. Мори представлял собою духовенство, которого был членом, Казалес — дворянство, к которому принадлежал. Мори, рано привыкший к борьбе религиозной полемики, отточил и отполировал на кафедре свое красноречие, которое должен был перенести на трибуну. Выйдя из низших рядов народа, он принадлежал к старому порядку только по платью; он защищал религию и монархию, подобно двум текстам, вложенным в его



VICTOR PIERRE MALOUE

Intendant de la Marine

Né à Riom en 1740

Député d'Auvergne

à l'Assemblée Nat^l de 1789



Малуэ



Казалес

речи. Его убеждение было только ролью: всякая роль столь же хорошо шла бы к нему. Но ту роль, которую указывало положение, Мори выдерживал с изумительным мужеством и с прекрасным самообладанием. Выросший на серьезном учении, одаренный обильным, живым и цветистым красноречием, он произносил речи, которые были целыми трактатами по обсуждаемому предмету. Мори, единственному сопернику Мирабо, чтобы сравняться с этим последним, недоставало только дела, более национального и более справедливого; софизмы злоупотреблений старого порядка не могли облечься красками правдоподобнее тех, которыми Мори описал этот порядок. Историческая и религиозная ученость доставили ему аргументы. Смелость его характера и языка давали ему такие слова, которые мстят даже за поражение. Красивая осанка, звучный голос, повелительный жест, беспечность и веселость, с которыми он относился к трибунам, часто вызывали рукоплескания даже у его врагов. Народ, который чувствовал свою неодолимую силу, забавлялся бессильным сопротивлением. Мори для народа был вроде тех гладиаторов, на борьбу которых смотрят не без удовольствия,

Аббат Мори



хотя и знают, что они должны умереть. Одного только недоставало аббату Мори: нравственного авторитета в словах. Ни его рождение, ни вера, ни нрав не внушали уважения слушателям. В человеке замечен был актер, в защите дела — только адвокат; оратор и произносимые им слова не составляли одного целого. Снимите с аббата Мори платье, свойственное его сану, он переменился бы и сам без особых усилий и занял бы место среди реформаторов. Подобные ораторы могут украшать свою партию, но не спасают ее.

16

Казалес был одним из тех людей, которые сами себя не знают до тех пор, пока обстоятельства не откроют их талант, указав им на обязанности. Он был незаметным офицером в рядах армии, и только случай, бросивший его на трибуну, открыл Казалесу, что он оратор. Ему не нужно было искать, какое дело следует защищать: дворянин должен защищать дворянство, роялист — короля, подданный — трон.

Положение составляло доктрину Казалеса. Он принес в Национальное собрание характер и добродетели своего мундира. Слово для него было только лишней шпагой, он обратил его, с рыцарскою преданностью, на защиту монархии. Казалес был ленив и малоучен, но тонкий здравый смысл заменил ему учение. Его монархические верования вовсе не были фанатизмом прошлого: они допускали изменения, принятые самим королем и совместимые с неприкосновенностью трона и действиями исполнительной власти. Между Казалесом и Мирабо расстояние было невелико по отношению к догмату; но один хотел свободы как аристократ, другой — как демократ. Один бросился в среду народа, другой привязал себя к ступенькам трона. Самый характер красноречия Казалеса показывает, что оно посвящено безнадежному делу. Он больше протестовал, чем рассуждал; бурным триумфам левой стороны он противопоставлял иронические вызовы, горькое негодование, которое на минуту возбуждало удивление, но не вело за собою победы. Дворянство ему обязано тем, что пало не без славы, а трон — не без величия; красноречие Казалеса имело оттенок героизма.

Позади этих двух людей не было ничего более, кроме партии, ожесточенной несчастьем, деморализованной своим уединением среди нации, — ненавистной народу, бесполезной трону, питавшейся напрасными иллюзиями и сохранившей от своего павшего могущества только мщение за обиды и наглость, которые вызывали новые унижения. Надежды этой партии вполне покоились на вмешательстве армии иностранных держав. Людовик XVI был в ее глазах пленником-королем, которого Европа явится освободить. Патриотизм и честь для этих людей находились в Кобленце. Победенная численностью, лишенная искусных вождей, которые умеют обессмертить самое отступление, бессильная против духа времени и несогласная на примирение, правая сторона могла только взывать к мщению; политика ее состояла только в проклятиях.

Левая сторона потеряла в лице Мирабо и вождя и регулятора. Человека целой нации более не было; оставались люди партии: таковыми были Барнав и два Ламета. Эти люди, униженные перевесом Мирабо, пытались задолго до его

смерти уравновесить господство его гения, возвышая тон своих теорий и речей. Мирабо был апостолом своего времени; эти же люди стремились только к мятежу; завидуя Мирабо, они думали заслонить его талант превосходством своей популярности. Посредственности думают сравняться с гением, переходя границы разума. На левой стороне образовалось отделение от 30 до 40 голосов. Барнав и Ламет вдохновляли их. Вне собрания им соответствовал клуб друзей конституции, сделавшийся клубом якобинцев. Ими было поднято народное движение, сдерживаемое Мирабо, который соединил против этих людей левую сторону, центр и рассудительных людей правой стороны. Они гораздо больше умели производить интриги, заговоры, возбуждать разногласия, чем господствовать в собрании. Смерть Мирабо очистила им место.

Ламеты, люди придворные, воспитанные добротой королевской фамилии, осыпанные милостями и пенсиями короля, имели за собою такое же резкое отступничество, как и Мирабо, не имея, подобно ему, оправдания в жалобах на монархию; отступничество было одним из их дипломов на народную благосклонность. Люди ловкие, они перенесли в национальное дело приемы двора, при котором были вскормлены. Тем не менее любовь их к революции была бескорыстна и искренна, хотя заметные таланты этих людей не равнялись с их честолюбием. Подавленные Мирабо, они возбуждали против него всех тех, которых тень этого великого человека заслоняла вместе с ними. Они искали ему соперника, а находили только завистников. Явился Барнав; они окружили его, рукоплескали ему, опьянили собственным его значением. Они убедили его на минуту, что фразы составляют политику, а ритор — то же, что государственный человек.

Мирабо был настолько велик, чтобы не бояться их, и настолько справедлив, чтобы не презирать. Барнав, молодой адвокат из Дофине, дебютировал блестящим образом в столкновениях между парламентом и тронем, волновавших эту провинцию, и испытал на небольшой арене свое адвокатское красноречие. Посланный 30 лет от роду в Генеральные штаты с Мунье, своим патроном и учителем, он ско-

**Шарль Ламет**

ро оставил его и монархическую партию, чтобы отличаться в партии демократической. Зловещее слово, соскользнувшее не из сердца, но с губ Барнава, лежало тяжестью на его совести. «Чиста ли кровь, которая течет?» — воскликнул он при первом смертоубийстве, совершенном революцией. Эти слова положили на него знак товарищества с крайней партией. Барнав, однако, не совсем принадлежал к ней или лишь настолько, сколько требовалось для успеха его речей. Крайним в нем был только оратор, человек — не был таким, а жестоким — еще менее. Ученый, но лишенный идеи, обладавший даром слова, но не имевший одушевления, Барнав был умом средней руки, честной душой, колеблющейся волей, прямым сердцем. Талант его, который раздували до сравнения с Мирабо, был лишен искусства

**Александр Ламет**

ловко нанизывать общеизвестные соображения. Привычка к адвокатству давала ему кажущееся превосходство в импровизации, исчезающее при размышлении. Враги Мирабо соорудили Барнаву пьедестал из своей ненависти и возвысили его, чтобы была возможность сравнения. Но когда он был низведен до своего настоящего роста, тогда сделалась очевидною вся разница, какая существовала между человеком нации и человеком адвокатской трибуны. Барнаву имел несчастье быть великим человеком в посредственной партии и героем в партии завистливой; он заслуживал лучшей доли и потому приобрел ее.

ния, начинал заявлять о себе человек, до тех пор почти неизвестный, волнуемый беспокойною мыслью, которая, по видимому, не допускала его молчать и не давала покоя; он при всяком случае старался говорить и нападал безразлично на всех ораторов, даже на Мирабо. Столкнувшись с трибуны, он на следующий день опять всходил на нее; униженный сарказмами, заглушаемый ропотом, не признаваемый ни одной партией, исчезая среди атлетов, которые привлекали общественное внимание, он беспрерывно терпел поражения, но никогда не был ими утомлен. Можно бы сказать, что внутренний, пророческий гений открывал этому человеку заранее пустоту всех окружающих талантов и всемогущество воли и терпения; голос, слышный только ему, как бы говорил: «Эти люди тебя презирают, но они принадлежат тебе; все извороты этой революции, которая не хочет тебя видеть, все-таки дойдут до тебя, потому что ты встал на ее дороге как неизбежная крайность, которая должна закончить собою всякое порывистое движение!» Этот человек был Робеспьер.

Бывают пропасти, которые люди не смеют исследовать, и характеры, в которые не хотят углубляться, боясь встретить там слишком много мрака и ужаса; но история, обладающая беспристрастным взглядом, не должна останавливаться при виде этих ужасов; она должна понять то, что берется рассказывать.

Максимилиан Робеспьер родился в Аррасе, в бедном, честном и уважаемом семействе; отец его, умерший в Германии, по происхождению был англичанин. Этим объясняется некоторый пуританизм натуры Робеспьера. Аррасский епископ принял на себя расходы по его воспитанию. Находясь в коллегии Людовика Великого, молодой Робеспьер отличался трудолюбивою жизнью и суровым нравом.

Письма и адвокатура делили его время. Философия Жан-Жака Руссо глубоко проникла в его ум; эта философия, попав на деятельную волю, не осталась мертвою буквою: она сделалась в душе Робеспьера догматом, верованием, фанатизмом. В сильной душе сектатора всякое убеждение становится учением его секты. Робеспьер был Кальвином политики; он питал во мраке смутную мысль обновления

как социального, так и политического мира; эта мысль была мечтой, бесплодно наполнявшей его юность, до тех пор, пока революция предоставила ему то, что судьба всегда доставляет людям, которые следят за ее путями, — случай. Он за него ухватился. Он был выбран депутатом третьего сословия в Генеральные штаты. Из всех людей, открывавших в Версале первую сцену этой громадной драмы, быть может, только он предвидел развязку. Мысль целого народа покоится иногда на самом неизвестном человеке из всей обширной толпы. Ни в рождении Робеспьера, ни в его талантах, ни во внешности не было ничего такого, что могло бы привлечь к нему общественное внимание. Он не прославился ровно ничем; его бледный талант проявлялся только в судебных местах или в провинциальных академиях; несколько многословных речей, наполненных неосознательно, почти пастушескою философией, несколько холодных и напыщенных поэтических опытов бесплодно соединялись с его именем в общем ничтожестве литературных сборников того времени; Робеспьер был более чем неизвестен, он слыл человеком посредственным, его презирали. В его чертах не было ничего такого, что останавливает на себе взгляд, скользящий по большому собранию; на этой внутренней силе не было ничего написано физическими чертами: он был последним словом революции, но никто не мог его прочитать.

Робеспьер был мал ростом — с худощавыми и угловатыми членами, нервной походкой, искусственными позами, некрасивыми и неграциозными жестами; голос его, несколько крикливый, искал ораторских оттенков, но находил только утомление и монотонность; довольно красивый, маленький лоб над висками имел выпуклость, как будто бы был с трудом раздвинут массою туго двигавшихся мыслей; глаза, густо закрытые ресницами и очень пронизательные, глубоко вдавались во впадины орбит; они издавали голубоватый блеск, довольно мягкий, но неопределенный и скользящий подобно отражению стали, на которую упал свет; прямой и маленький нос резко заканчивался высокими и очень открытыми ноздрями; ко всему этому большой рот, тонкие и неприятно сжатые на углах губы, короткий, остrokонечный

подбородок, цвет лица багрово-желтый, как у больного или у человека, преданного бессоннице и размышлениям. Обычным выражением этого лица была наружная ясность на подкладке серьезности и неопределенная улыбка, колеблющаяся между сарказмом и грацией. Лицо это обладало кротостью, но зловещею. В целой физиономии господствовало изумительное и постоянное напряжение лба, глаз, рта, всех лицевых мускулов. Наблюдая за этим человеком, можно было заметить, что все черты его лица, как и вся его душевная работа, неуклонно сходились на одном каком-нибудь пункте — и притом с такою силою, которая не оставляла места ни малейшему колебанию воли; он заранее уже видел то, что хотел совершить, заранее имел это будущее действие перед глазами перешедшим в жизнь.

Таков был тогда этот человек, которому предстояло сосредоточить в себе всех окружающих и, обратив их в свои орудия, сделать потом из них же свои жертвы. Он принадлежал не к одной партии, а скорее ко всем, которые поочередно служили созданному им идеалу революции. В этом и была его сила, потому что партии останавливались на известных пунктах, он же не останавливался. Свой идеал Робеспьер ставил, подобно цели, впереди каждого революционного движения; он шел вместе с теми, кто хотели ее достигнуть; потом, когда эту цель миновали, он становился далее ее и шел туда уже с другими людьми, продолжая действовать таким образом без малейшего уклонения, без остановки, без отступления. Революция неизбежно должна была когда-нибудь дойти до своего последнего слова. Этим словом он и хотел быть. Он воплотил в себе всю революцию, с ее принципами, мыслями, страстями, гневом, заставляя этим и ее воплотиться в нем когда-нибудь. Но день этот был еще не близок.



ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

4 декабря 1795 г. — 4 февраля 1881 г.

Жизнь

Родился в семье сельского каменщика. По происхождению шотландец.

Окончил Эдинбургский университет в 1814 г. Работал сельским учителем.

Рано занялся литературной деятельностью. Женится в 1826 г. на Д. Уэлли, с которой прожил 40 лет. Жил бедно.

Знание немецкого языка дало ему возможность ознакомиться в подлинниках с немецкой литературой и философией. В 1824 г. он переводит гётевского «Вильгельма Мейстера», в 1825 г. — «Жизнь Шиллера». Это его первые крупные работы.

За ними последовали переводы и критические разборы Гофмана, Тика, Фуке и др., характеристики Бёрнса и Вольтера, печатавшиеся в «Эдинбургском обозрении».

Одну из последующих работ — «История немецкой литературы» — не взялся напечатать ни один издатель, так как направление Карлейля не отвечало духу времени.

Первое крупное произведение — «История Французской революции», 1838 г.

1841 г. — лекции о героях и героическом в истории.

Наибольшее историческое значение имеют «Письма и речи Оливера Кромвеля» (1845 — 1846 гг.), «Жизнь Фридриха II» (1858 — 1865 гг.).

В конце жизни Карлейль — ректор Эдинбургского университета.

С 1868 по 1870 г. занимается изданием собрания своих сочинений в 34 томах.

Судьба

Томас Карлейль являлся одним из наиболее читаемых и почитаемых авторов в Англии XIX века. Тэн говорил: «Спросите любого англичанина, кого у них больше всего читают, и всякий ответит вам: Карлейля».

В XIX веке Карлейля называли «английским Львом Толстым». Герцен с восторгом писал о нем: «Таланта огромного, но чересчур парадоксального».

«Историю французской революции» Джон Стюарт Милль, человек совершенно противоположного склада ума и характера, приветствовал «как гениальное произведение, стоящее выше всех общепринятых рутинных мнений».

Чарльз Диккенс носил книгу Карлейля вместо Библии. Знаменитый драматург Уильям Теккерей опубликовал рецензию на нее в «Таймс», после чего Карлейль стал знаменит в литературных кругах не только Англии, но и Европы.

Карлейль воспитал в Англии целое поколение энергичных общественных деятелей. Он совершил для Англии ги-



Т. Карлейль

гантскую работу, по словам Джона Марля — положил конец увлечению байронизмом и пессимизмом и призвал англичан к деятельной жизни.

Главное противоречие в творчестве Карлейля: начав в первой половине XIX века с беспощадной критики буржуазии, во второй половине своей долгой жизни великий гуманист начинает прославлять ее «цивилизаторскую миссию» и переходит на сторону реакции.

В России после 1917 г. имя Карлейля было предано забвению.



Император Фридрих II

Творчество

Первое крупное историческое произведение Карлейля — «История Французской революции», в которой он осуждает Французскую и всякие революции вообще.

В то же время все сочинение — пламенный страстный призыв понять революцию, стремление правдиво описать страдания и надежды народа, восхищение его героизмом.

Книга Карлейля встретила одобрительные отзывы в обоих политических лагерях: и тори, и виги восприняли ее как обличение революции, с одной стороны — как «анархии, вырвавшейся из оков», а с другой — как осуждение «старого порядка», который не сумел реформами предотвратить революцию.

Карлейль был одним из первых исследователей, который пытался беспристрастно разобраться в причинах массового террора во Французской революции.



Оливер Кромвель у гроба Карла I

Деларош

В 1844 г. он публикует книгу «Герои, почитание героев и героическое в истории», в которой утверждает, что история — это биография великих людей и целые эпохи являются продуктом их творчества.

Герой должен быть спасителем общества от революции. «Пока человек будет человеком — кромвели и наполеоны всегда будут неизбежным завершением».

Стоя на этих позициях, Карлейль опубликовал в 1845—1846 гг. историческую работу «Письма и речи Оливера Кромвеля».

Он считал, что, в отличие от Французской революции, Английская революция носила прежде всего религиозный характер. Кромвель, по его мнению, был единственным героем революции, который наложил на нее печать своей личности и гения. Карлейль видел в нем прежде всего палача революции.

В 1858 — 1860 гг. появляется самое обширное историческое сочинение Карлейля «История Фридриха II».

При многих блестящих качествах, оно страдает растянутостью, и Карлейль в нем восхваляет «короля-героя» и прусские порядки.

Одно из наиболее полных собраний сочинений Т. Карлейля 1895 года составляет 37 томов.

Английские исследователи (Честертон) акцентируют в работах Карлейля поиски единого положительного воззрения, которое он называл религией, не находя иного, более точного термина.

Карлейль, как многие гении, скептически относился к своим произведениям. Об «Истории Французской революции» он писал: «Не знаю, стоит ли чего-нибудь эта книга и нужна ли она для чего-нибудь людям: ее или не поймут, или вовсе не заметят (что скорее всего и случится), но я могу сказать людям следующее: сто лет не было у вас книги, которая бы так прямо, так страстно и искренне шла от сердца вашего современника».

Цареубийство

Виновен ли Людовик Капет в заговоре против свободы? Должен ли наш приговор быть окончательным, или он нуждается в ратификации путем обращения к народу? Если Людовик виновен, то какое должно быть наказание? Такова форма, принятая после смятения и «многочасовой нерешительности»; таковы три следующих один за другим вопроса, относительно которых предстоит теперь высказаться Конвенту. Париж волнуется вокруг его зала, толпится и шумит. Европа и все народы ждут его ответов. Каждый депутат должен лично, от своего имени ответить: виновен или не виновен?

Относительно виновности, как указано выше, в душе пат-

риотов нет сомнений. Подавляющее большинство высказывается за виновность; Конвент единогласно постановляет: «Виновен», за исключением каких-нибудь 28 человек, которые не высказываются за невиновность, а совсем отказываются от голосования. Второй вопрос также не возбуждает сомнений вопреки расчетам жирондистов. Разве обращение к народу не окажется просто междоусобной войной, только под другим названием? Большинство двух против одного отвечают, что обращения к народу не должно быть; значит, и это установлено. Шумные патриоты теперь, в десять часов вечера, могут умолкнуть на ночь и отправиться спать не без надежды. Вторник прошел хорошо. Завтра решится, какое наказание! Завтра — решительный бой!

Можете вообразить себе, какое стечение патриотов на следующий день, в среду; весь Париж поднимается на носки, и все депутаты на местах! 749 почтенных депутатов, из них около 20 отсутствуют, находясь в командировках; Дюшатель и семеро других отсутствуют по болезни. Однако ожидающим патриотам и стоящему на носках Парижу приходится запастись терпением: эта среда опять проходит в дебатах и волнении; жирондисты предлагают, чтобы решение утверждалось «большинством в две трети»; патриоты яростно противятся им. Дантон, только что вернувшийся из поездки в Нидерланды, добивается отнесения предложения жирондистов «к порядку дня»; он добивается потом даже того, чтобы вопрос решался безотлагательно, *sans désespérer*, в непрерывном заседании, пока решение не будет принято.

И вот наконец в восемь часов вечера начинается это изумительное голосование посредством вызова по именам, *appel nominal*. Какое наказание? Нерешительные жирондисты, решительные патриоты, люди, боящиеся короля, люди, боящиеся анархии, должны отвечать здесь и сейчас же. Бесчисленное множество патриотов волнуется в тускло освещенных лампами коридорах, теснится на всех галереях, во что бы то ни стало желая слышать. Приставы громко вызывают каждого депутата по имени и департаменту; каждый должен взойти на трибуну и дать ответ.

Очевидцы изобразили эту сцену третьего голосования и голосований, вытекающих из него, как самую странную во всей революции; сцену, растянувшуюся до бесконечности, продолжавшуюся с немногими короткими перерывами от среды до утра воскресенья. Длинная ночь переходит в день, утренняя бледность покрывает все лица, и снова спускаются зимние тени, и зажигаются тусклые лампы; но днем и ночью, в черед часов, депутаты один за другим непрерывно поднимаются по ступеням трибуны, останавливаются там на некоторое время в более ярком освещении наверху и произносят свое роковое слово, вновь погружаясь затем во мрак и толчею. В полночный час они похожи на призраков, на выходцев из ада! Никогда председателю Верньо и никакому другому председателю на земле не приходилось руководить ничем подобным. Жизнь короля и многое другое, зависящее от нее, дрожа, колеблется на весах. Один за другим члены Конвента поднимаются на трибуну; шум стихает, пока не произнесено: «Смерть», «Изгнание», «Пожизненное заключение». Многие говорят «Смерть», но в самых осторожных, строго обдуманых фразах, с пояснениями, подкреплениями, какие только могут придумать, и со слабыми ходатайствами о помиловании. Многие говорят: «Изгнание; все, только не смертная казнь». Весы колеблются, никто не может еще предсказать, куда они склонятся. Патриоты в беспокойстве и ревут; приставы не могут усмирить их.

Ввиду такого яростного рева патриотов многие из бедных жирондистов говорят «Смерть», мотивируя это столь неприятное для них слово краткой казуистикой и иезуитскими измышлениями. Даже Верньо говорит: «Смерть» — и также приводит иезуитские мотивы. Богатый Лепелетье Сен-Фаржо, сначала принадлежавший к дворянству, потом к патриотической левой в Конституанте, много говоривший и вносивший доклады, и там, и в других местах, против смертной казни, тем не менее теперь говорит: «Смерть» — слово, за которое он дорого поплатится. Манюэль, в прошлом августе определенно принадлежавший к решительным патриотам, но с сентября и с сентябрьских событий все более отстававший от них, высказывается за изгнание. Но ни одно слово его не могло бы встретить сочувствия в этом Конвенте, и он

в немой злобе покидает это собрание навсегда. В коридоре его сильно толкают. Филипп Эгалите голосует согласно голосу своей души и зову своей совести — голосует за смерть; при этом слове, произнесенном им, даже патриоты качают головой, и по залу суда проносятся ропот и содрогание. Мнение Робеспьера не может подлежать сомнению; речь его длинна. Поднимается Сиейес и, едва остановившись, почти на ходу, кричит «*La mort sans phrases!*» (Смерть без разговоров!) — и исчезает, как привидение или исчадие ада!

Однако если читатель думает, что вся эта процедура носит погребальный, печальный или хотя бы только серьезный характер, то он сильно ошибается. «Приставы в отделении Горы, — говорит Мерсье, — превратились в оперных капельдинеров»: они открывают и закрывают галереи для привилегированных лиц, для «любовниц д'Орлеана-Эгалите» или для других разряженных знатных дам, шуршавших кружевами и трехцветными лентами. Галантные депутаты постоянно навещаются сюда, угощая их мороженым, прохладительными напитками и болтовней; разряженные красавицы кивают в ответ; некоторые принесли с собой карточки и булавки и отмечают проколами «да» и «нет», как при игре в *Rouge-et-Noir*. Выше царит *Mère Duchesse* со своими ненарушаемыми амазонками; она не может удержаться от протяжных «га-га!», когда подается голос не за смерть. На галереях закусывают, пьют вино и водку, «как в открытой таверне, en pleine tabagie». Во всех соседних кофейнях держат пари. Но в зале Конвента на всех лицах усталость, нетерпение, крайнее переутомление, они оживляются лишь изредка, при новом обороте игры. Некоторые депутаты засыпают; приставы ходят и будят их, когда им надо голосовать; другие депутаты рассчитывают, не успеют ли они сбегать пообедать. Фигуры поднимаются, как бледные призраки, в тусклом свете ламп и произносят с этой трибуны только одно слово: «Смерть». «*Tout est optique*, — говорит Мерсье, — весь мир представляет оптическую тень». Поздно ночью в четверг, когда голосование закончено и секретари подсчитывают голоса, является больной, похожий на призрак Дюшатель; его несут на стуле, завернутым в одеяло, «в халате и в ночном колпаке», и он вотирует за помилование: ведь и один голос может перетянуть чашу весов.



Король Людовик XVI
Дюглесси



Жорж-Жак Дантон

Гравюра Санлю

Нет! Среди гробового молчания председатель Верньо скорбным голосом принужден сказать: «Заявляю от имени Конвента, что наказание, к которому присужден Людовик Капет, — смерть». Смертная казнь присуждена незначительным большинством — в 53 голоса. Мало того, если мы отнимем у одной стороны 26 голосов, сказавших «смерть», но связавших с нею ходатайство о помиловании, и прибавим

их к противной стороне, то получится большинство всего в один голос.

Итак, приговор гласит: «Смерть!» Но как он будет приведен в исполнение? Он еще не исполнен! Едва объявлен результат голосования, как входят трое защитников Людовика с протестом от его имени и с просьбой об отсрочке для обращения к народу. Де Сез и Тронше ходатайствуют об этом в кратких красноречивых словах, а старый Мальзерб ходатайствует с красноречивым отсутствием красноречия, прерывающимися фразами, с волнением и рыданиями; благородный седой старец с его энергией, смелым умом и честностью не в силах справиться со своими чувствами и заливается немymi слезами. Обращение к народу отвергается, так как об этом уже состоялось постановление. Что же касается отсрочки, которую они называют *sursis*, то это будет подвергнуто обсуждению и поставлено на голосование завтра: сейчас заседание закрывается. В ответ на это патриоты с Горы «свистят», но «деспотическое большинство» решило так, и заседание откладывается.

Значит, еще четвертое голосование, ворчит негодующий патриотизм, еще голосование и бог весть сколько других и сколько отложенных голосований, и все дело будет оставаться в неопределенности! И при каждом новом голосовании эти иезуиты-жирондисты, даже те, кто голосовал за смерть, будут стараться найти какую-нибудь лазейку! Патриотизм должен быть бдительным и неистовым. Одно деспотическое закрытие заседания уже было, а теперь еще другое, в полночь, под предлогом усталости; вся пятница проходит в колебаниях, в торговле, в пересчете числа голосов, которое оказалось подсчитанным верно! Патриоты режут все громче; от долгого ожидания они впали почти в бешенство, и глаза их налились кровью.

«Отсрочка: да или нет?» — вопрос этот голосуется в субботу, весь день и всю ночь. Нервы у всех истощены, все сердца в отчаянии; наконец-то дело близится к концу. Верно, несмотря на рев, осмеливается сказать: «Да, отсрочка», хотя голосовал за смерть. Филипп Эгалите по душе и совес-

ти говорит: «Нет». Следующий поднимающийся на трибуну депутат говорит: «Раз Филипп говорит: "Нет", я со своей стороны говорю: "Да" (Moi, je dit: «Oui»). Весы продолжают колебаться. Наконец в три часа утра, в воскресенье, председатель объявляет: «Отсрочка отвергнута большинством в 70 голосов. Смерть в 24 часа!»

Министр юстиции Гара должен отправиться в Тампль с этой мрачной вестью; он несколько раз восклицает: «*Quelle commission affreuse!*» (Какое ужасное поручение!) Людовик просит духовника и еще три дня жизни, чтобы приготовиться к смерти. Духовника разрешают; три дня и всякие отсрочки отвергаются.

Итак, спасенья нет? Толстые каменные стены отвечают — нет. Неужели у короля Людовика нет друзей? Неужели нет энергичных людей, которые с отчаянным мужеством решились бы на все в таких крайних обстоятельствах? Друзья короля Людовика далеко, и они слабы. Даже в кофейнях за него не поднимается ни одного голоса. Капитан Даммартен уже не обедает теперь в ресторане Мео, не видно там и сеющих смерть усачей в отпуску, показывающих кинжалы усовершенствованного образца. Храбрые роялисты, собиравшиеся у Мео, далеко за границами; они рассеяны и блуждают по свету, или кости их белеют в Аргонском лесу. Только несколько слабых священников «расклеивают за ночь на всех углах воззвания», призывающие к освобождению короля и приглашающие набожных женщин восстать в его защиту; священников хватают во время распространения этих листовок и отправляют в тюрьму.

Но нет, у Людовика нашелся один заступник из тех, кто бывал у Мео; он постарался сделать все, что мог, и даже более того: убил депутата и довел до исступления всех парижских патриотов! В пять часов вечера, в субботу, Лепельтье Сен-Фаржо, подав свой голос против отсрочки, побежал перекусить в ресторан Феврье в Пале-Руаяле. Он пообедал и уже расплачивался, когда к нему подошел коренастый мужчина «с черными волосами и синим подбородком», в широком камзоле; это был, как потом вспомнили Феврье

и присутствующие, некий Пари из бывшей королевской гвардии. «Вы Лепелетье?» — спрашивает он. — «Да». — «Вы голосовали по делу короля?» — «Я подал голос за смерть». — «Scélérat, вот тебе!» — крикнул Пари и, выхватив саблю из-под камзола, вонзил ее глубоко в бок Лепелетье. Феврье схватил его, но он вырвался и убежал.

Депутат Лепелетье лежит мертвый; он скончался в сильных мучениях в час дня — за два часа до того, как голоса против отсрочки были окончательно подсчитаны. Пари скитается в бегах по Франции; его не удастся схватить; через несколько месяцев его находят застрелившимся в далекой глухой гостинице. Робеспьер имеет основания думать, что принц д'Артуа находится тайно в Париже и что весь Конвент целиком будет перебит. Сантер удваивает и утраивает все свои патрули. Сострадание тонет в ярости и страхе, и Конвент отказывает в трех днях жизни и во всякой отсрочке.

Итак, вот до какого конца дожил ты, о злополучный Людовик! Потомок шестидесяти королей должен умереть на эшафоте в согласии со всей буквой закона. Форма этого закона, форма общества вырабатывалась в царствование шестидесяти королей, в продолжение тысячи лет и тем или иным образом превратилась в весьма странную машину. Несомненно, машина эта в случае необходимости может быть и страшной, мертвой, слепой, не тем, чем она должна была бы быть, и быстрым ударом или холодной, медленной пыткой она погубила жизни бесчисленных людей. И вот теперь сам король или, вернее, королевская власть в его лице должна погибнуть в жестоких мучениях, подобно Фаларису, заключенному в чрево своего же собственного раскаленного медного быка! Так всегда бывает, и ты должен бы знать это, гордый деспот. Несправедливость порождает несправедливость: проклетия и ложь, как бы далеко они ни разбрелись по свету, всегда «возвращаются домой». Невинный Людовик несет на себе грех многих поколений; в свою очередь он должен испытать, что праведного людского суда нет на земле и что плохо было бы ему, если б не существовало другого, высшего суда.

Король, умирающий таким насильственным образом, поражает воображение, что и должно быть, и не может не быть. И однако, в сущности, умирает ведь не король, а человек! Королевский сан — это платье; главная же утрата — это утрата кожи. Может ли мир во всей своей совокупности сделать нечто худшее человеку, у которого отнимают жизнь? Лалли шел на место казни, подгоняемый плетью, с забитым деревянными гвоздями ртом. Мелкие людишки, приговоренные за карманное воровство, переживают в немой муке целую пятиактную трагедию, когда идут, не замечаемые никем, на виселицу; они тоже осушают до дна кубок предсмертной тоски. Для королей и для нищих, для справедливо и несправедливо осужденных смерть одинаково жестокая вещь. Пожалей их всех; но и величайшее твое сострадание, увеличенное всеми соображениями и вспомогательными средствами вроде мыслей о контрасте между тронном и эшафотом, — как неизмеримо мало все это по сравнению с тем, о чем ты жалеешь!

Пришел духовник. Аббат Эджворт, ирландец родом, которого король знал по его хорошей репутации, немедленно явился для своей торжественной миссии. Покинь же землю, злополучный король; она с ее злобой пойдет своею дорогой, ты тоже можешь идти своей. Остается еще тяжелая сцена расставания с любимыми и близкими. Милых сердцу, окруженных такой же жестокой опасностью, нужно оставить здесь! Пусть читатель взглянет глазами камердинера Клери сквозь стеклянную дверь, около которой стоит на страже и муниципалитет: он увидит одну из самых душераздирающих сцен.

«В половине девятого отворилась дверь в переднюю; первой показалась королева, ведя за руку сына, потом *madam Royale* и сестра короля Елизавета; все они бросились в объятия короля. Несколько минут царило молчание, нарушаемое только рыданиями. Королева пошевелинулась, чтобы отвести Его Величество во внутреннюю комнату, где ожидал Эджворт, о чем они не знали. «Нет, — сказал король, — пойдемте в столовую, мне можно вас видеть только там». Они вошли туда, и я притворил дверь, которая бы-

ла стеклянная. Король сел; королева села по левую руку его, принцесса Елизавета — по правую, *madam Royale* — почти насупротив, а маленький принц стоял между коленями отца. Все они наклонялись к королю и часто обнимали его. Эта горестная сцена продолжалась час и три четверти, во время которых мы ничего не могли слышать; мы могли только видеть, что всякий раз, когда король говорил, рыдания принцесс усиливались и продолжались несколько минут; потом король опять начинал говорить».

Итак, наше свидание и наше расставание кончаются! Конец огорчениям, которые мы причиняли друг другу; конец жалким радостям, которые мы верно делили; конец всей нашей любви и страданиям и всем нашим суетным земным трудам! Добрая душа, я никогда более, никогда вовеки не увижу тебя! Никогда! — Читатель, знаком ли тебе жестокий смысл этого слова?

Тягостная сцена эта продолжалась около двух часов, потом они отрываются друг от друга. «Обещай, что ты еще увидишься с нами завтра». Он обещает: «О, да, да, еще раз; а теперь идите, милые, любимые; молитесь бога за себя и за меня!» Тяжелая сцена кончилась; он не увидит их завтра. Проходя по передней, королева взглянула на стоящих на страже муниципальных церберов и с женской несдержанностью воскликнула сквозь слезы: «*Vout êtes tous des scélérats!*»(Все вы злодеи!)

Король Людовик крепко спал до пяти часов утра, когда Клери, согласно его приказанию, разбудил его. Клери стал причесывать его, а он, достав из карманных часов кольцо, все пытался надеть его на палец; это было обручальное кольцо, которое он как немой прощальный привет хотел вернуть королеве. В половине седьмого он причастился и продолжал молиться и беседовать с аббатом Эджвортом. Он не хочет видеть свою семью: это было бы слишком тяжело.

В восемь часов входят члены муниципалитета; король передает им свое завешание, поручения и вещи, которые они сначала грубо отказываются принять; потом дает им сверток золотых — 125 луидоров; их нужно возратить Мальзербу, который одолжил ему их. В девять часов Сантер говорит: «Пора». Король просит позволения удалиться еще на

три минуты. По прошествии трех минут Сантер повторяет, что пора. Топнув правой ногой о пол, Людовик отвечает: «Partons»(едем). Как отдается сквозь бастионы и укрепления Тампля бой барабанов в сердце августейшей жены, которая скоро останется вдовой! «Значит, он ушел, не повидавшись с нами?» Королева, сестра короля и его дети горько плачут. Над всеми ими также витает смерть; все погибнут ужасным образом, за исключением одной — герцогини Ангулемской, которая останется жить, но не в добрый час.

У ворот Тампля слышится несколько слабых криков: «Grâce! Grâce!» Может быть, то были голоса милосердных женщин. На остальных улицах царит гробовая тишина. Не допускается ни один невооруженный человек; вооруженные, если даже и испытывают сострадание, не смеют выражать его, потому что каждый страшится своих соседей. Все окна закрыты, из них никто не смотрит. Все лавки закрыты. В это утро по этим улицам не проезжает никаких экипажей, кроме одного. Восемьдесят тысяч вооруженных людей стоят рядами, подобно вооруженным статуям; стоят пушки, канониры с зажженными фитилями, но без слов, без движения; это город, чарами превращенный в безмолвие и камень; единственный звук — это громыханье медленно катящегося экипажа. Людовик читает по молитвеннику молитвы умирающих; громыханье кареты, этот похоронный марш, проникает в его ухо среди великой тишины, но мысль тщетно пытается обратиться к небу и забыть землю.

Часы бьют десять; взгляните на площадь Революции, некогда площадь Людовика XV: около старого пьедестала, на котором когда-то стояла статуя этого короля, теперь возвышается гильотина! Далеко вокруг только пушки и вооруженные люди; позади теснятся зрители; Орлеан-Эгалите приехал в кабриолете. Быстрые гонцы (hoquetons) спешат каждые три минуты в городскую Ратушу; неподалеку заседает Конвент, мстящий за Лепелетье. Не обращая ни на что внимания, Людовик продолжает читать молитвы умирающих — он кончает их еще через пять минут; тогда экипаж открывается. В каком настроении осужденный? Десять различных свидетелей дают на этот счет десять разных показаний. Теперь, когда он прибыл к черному Мальстрёму и пучине

Смерти, в нем борются все настроения: скорбь, негодование, покорность, старающаяся смириться. «Позаботьтесь о господине Эджворте», — коротко поручает он сидящему с ним офицеру, и затем оба выходят из экипажа.

Барабаны бьют. «Taisez vous!» (Замолчите!) — кричит король «страшным голосом (d'une voix terrible)». Он всходит на эшафот не без промедления; на нем коричневый камзол, серые панталоны, белые чулки. Он снимает камзол и остается в белом фланелевом жилете с рукавами. Палачи подходят к нему, чтобы связать его, он отталкивает их и противится; аббат Эджворт вынужден напомнить ему, что Спаситель, в которого веруют люди, покорился и дал себя связать. Руки короля связаны, голова обнажена — роковая минута наступила. Он подходит к краю эшафота. «Лицо его горит, и он говорит: «Французы, я умираю безвинно; говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед богом. Я прощаю своих врагов; желаю, чтобы Франция...» Генерал на коне, Сантер или какой-то другой, выскакивает вперед с поднятой рукой: «Tambours!» Барабаны заглушают голос осужденного. «Палачи, исполняйте свою работу!» Палачи, опасаясь быть убитыми сами (если они не сделают того, что им приказано, то Сантер и его вооруженные отряды бросятся на них), хватают несчастного Людовика; на эшафоте происходит отчаянная борьба одного против шестерых, и его привязывают наконец к доске. Аббат Эджворт, нагнувшись, напутствует его: «Сын Святого Людовика, взойди на небеса!» Топор падает — жизнь короля пресеклась. Был понедельник 21 января 1793 года. Королю было тридцать восемь лет, четыре месяца и двадцать восемь дней.

Палач Сансон показывает голову; дикий крик «Vive République!» разносится, все усиливаясь; машут шляпами, фуражками, поднятыми на штыки; студенты из Коллегии четырех наций подхватывают этот крик на набережной, и он разносится по всему Парижу. Орлеан уезжает в своем кабриолете; советники городской Ратуши потирают руки, говоря: «Кончено, кончено!» Кровью короля смачивают носовые платки, концы пик. Палач Сансон, хотя впоследствии он отрицал это, продает пряди его волос; кусочки коричневого камзола долго еще носят в кольцах. Таким образом, в какие-

нибудь полчаса все доделано, и вся толпа разошлась. Пирожники, продавцы кофе и молока выкрикивают свои обычные ежедневные возгласы. В этот вечер, говорит Прюдом, патриоты в кофейнях пожимали друг другу руки сердечнее обыкновенного. И только через несколько дней, по словам Мерсье, обыватели поняли, какое серьезное дело эта казнь.

Бесспорно, это дело серьезное, и оно не пройдет бесследно. На следующее утро Ролан, давно уже по горло сытый огорчениями и отвращением, подает в отставку. Отчеты его все готовы, точно переписаны черным по белому до последнего сантиметра; он желает только, чтобы их приняли, чтобы затем удалиться подальше, во мрак, в деревню, к своим книгам. Но отчеты никогда не будут приняты, и он никогда не удалится туда.

Ролан подал в отставку во вторник. В четверг происходят похороны Лепелетье де Сен-Фаржо и помещение его останков в Пантеон Великих Людей. Похороны эти замечательны как дикая помпезность зимнего дня. Тело несут полуобнаженное: саван не закрывает раны; саблю и окровавленное платье несут напоказ; «мрачная музыка» играет суровые похоронные мотивы; венки из дубовых листьев сыплются из окон; председатель Верньо шествует с Конвентом, с Якобинским клубом и с патриотами всех цветов — скорбь сроднила их всех.

Похороны Лепелетье примечательны также и в другом отношении: это последний акт, совершенный этими людьми в согласии! Все партии и оттенки мнений, волнующие эту раздираемую смутой Францию и ее Конвент, стоят теперь, так сказать, лицом к лицу, кинжал к кинжалу, после того как жизнь короля, вокруг которой все они боролись и сражались, выброшена прочь. Дюмурье, завоевывающий Голландию, ворчит в опасном недовольстве во главе армии. Говорят, что он желает иметь короля и что королем его будет молодой Орлеан-Эгалите. Депутат Фоше в «*Journal des Amis*» проклинает свою жизнь горше, чем Иов, и призывает кинжалы цареубийц, «виперы Арраса», или Робеспьера, Плутона, Дантона, отвратительного мясника Лежандра и призрак д'Эрбуа, чтобы они поскорее отправили его на тот

свет. Это говорит Те Деум Фоше, Фоше бастильской победы, член Cercle Social. Ужасен был смертоносный град, грохотавший вокруг нашего парламентарского флага в день Бастилии, но он был ничто в сравнении с таким крушением святой надежды, какое произошло теперь, с превращением золотого века в свинцовый шлак и сернистую черноту вечного мрака!

В самой Франции убийство короля разделило всех друзей, а за пределами ее соединило всех врагов. Братство народов, революционная пропаганда, атеизм, цареубийство — полное разрушение социального порядка в мире! Все короли, приверженцы королей и враги анархии соединяются в коалицию, как для войны за собственную жизнь. Англия извещает гражданина Шовелена, посланника, или вернее, мантию посланника, что он должен покинуть эту страну в восьмидневный срок. Согласно этому, посол и его мантия, Шовелен и Талейран, уезжают. Талейран, замешанный в истории с железным шкафом, оказавшимся в Тюильри, находит, что ему безопаснее отправиться в Америку.

Англия выгнала посольство, Англия объявляет войну, по видимому возмущенная главным образом состоянием реки Шельды, Испания объявляет войну, возмущенная главным образом чем-то другим, что, без сомнения, указано в ее манифесте. Мы находим даже, что не Англия объявила войну первой и не Испания, но что Франция сама первая объявила войну им обеим. Это пункт необычайно интересный для парламента и журналистики того времени, но лишенный всякого интереса в настоящее время. Все объявляют войну. Меч обнажен, ножны отброшены. Дантон в своем обычном высоком риторическом стиле промолвил: «Нам угрожает коалиция монархов, а мы бросаем к их ногам в качестве перчатки голову монарха».

Перевод А.М. Барга



ЛЕОПОЛЬД фон РАНКЕ

21 декабря 1795 г.— 23 мая 1886г.

Жизнь

Отец Ранке был юристом. Однако из-за того, что их предки были духовными лицами, воспитание Ранке было традиционно строго религиозным и консервативным.

Сначала Ранке учился в Дондорфской монастырской школе, потом в Шульпфорском колледже. Затем он поступает в Лейпцигский университет, где специализируется на богословии и классической филологии.

В 1818 г. Ранке поступает учителем древних языков в гимназию во Франкфурте-на-Одере.

В 1824 г., под влиянием исторических сочинений В. Скотта и О. Тьерри, он пишет и публикует первый свой исторический труд «История романских и германских наро-



Леопольд фон Ранке

дов с 1494 до 1535» и приложение к ней — «К критике новой историографии», что принесло ему известность среди немецких историков.

В 1825 г. Ранке был приглашен в Берлинский университет, где получил должность профессора на кафедре всеобщей истории.

В 1827 г. он посещает Прагу, Вену и ряд немецких южных городов.

В 1828 — 1831 гг. Ранке работает в архиве Италии, где собирает богатый материал по истории римских пап.

В 1831 г. он становится редактором консервативного берлинского историко-политического журнала. Ранке изменил направленность журнала, сделав его либеральным.



Максимилиан II — король Баварии

В 1834 г. Ранке основал свой исторический семинарий, где разбирались по преимуществу вопросы из эпохи салических императоров и Гогенштауфенов. Однако конечным результатом этих практических занятий стало возникновение исторической школы Ранке. У него занимались будущие светила немецкой исторической науки — Георг Вайц, Гизебрехт, Кёнке, Деннигес, Гирш и Зибель.

В 1836 г. Ранке выпускает на основе своих итальянских

находок «Историю пап», которая сразу получила широкую известность и была переведена на французский язык.

В 1837 — 1845 г. он публикует «Государи и народы Южной Европы в XVI — XVII вв».

Одновременно с этой работой выходит (1839 — 1847 г.) другой грандиозный труд Ранке — «История Германии в эпоху Реформации.»

Работая над своими сочинениями, Ранке исколесил фактически всю Европу. Он черпал материалы и документы из всех европейских архивов. Во многих из них он побывал по несколько раз. В результате из-под пера Ранке вышли отдельные сочинения по истории Сербии, Франции, Англии, Пруссии и других европейских стран.

В 1859 г. при содействии баварского короля Максимилиана II Ранке открывает при мюнхенской Академии наук специальную историческую комиссию, которая долгие годы издавала важнейшие документы и источники по немецкой истории.

В 1880 г. Ранке приступает к написанию многотомной «Истории мира», но его смерть в 1887 г. не позволила ему закончить оставшиеся 8-й и 9-й тома, которые были составлены А. Дове по предварительным заметкам Ранке.

Судьба

Первой лекцией, прослушанной Ранке в Лейпцигском университете, была лекция профессора Виланда по истории. Сухое изложение надолго отбило у Ранке желание заниматься историей. Он увлекся филологией, богословием и философией.

Первой книгой, которая пробудила у Ранке интерес к истории, было сочинение Нибура. Вслед за этим он стал читать Геродота, римских историков, О. Тьерри, В. Скотта и др., что позволило ему сделать первую, и удачную, попытку попробовать себя в истории. После «Истории романских и германских народов» Ранке решил посвятить себя только истории.

Однако он был не просто историком, но и прекрасным преподавателем и основателем целой школы.

Первое впечатление, какое производил Ранке как про-



Бертольд Георг Нибур

фессор, было, по словам его ученика Зибеля, удивление. Небольшого роста, с громадной головой и вьющимися волосами, он обыкновенно сопровождал свою речь частыми и живыми жестами. Он говорил быстро, иногда останавливаясь, подыскивая более меткое выражение, а затем, увлекаясь снова, ускорял свою речь до того, что трудно было уследить за ней. Но стоило лишь привыкнуть к этим внешним особенностям Ранке — и увлечение им было безгранично. В его курсах богатство содержания шло рука об руку с удивительной по своей пластичности формой благодаря тому, что Ранке записывал каждую свою лекцию и тратил на ее подготовку немало времени. Как учитель, Ранке представлял своим ученикам полную свободу в выборе темы. Он исходил из того, что дело школы — не дрессировка индивидуальных возможностей личности, а развитие их.

Основываясь в своих исследованиях всегда на архивных материалах, он и от учеников своих требовал критического

отношения к источникам, а не преклонения перед ними. Историк должен, говорил Ранке, уподобиться физику, который из значения свойств стекла приходит к выводу о первоначальном направлении и окраске проходящего через это стекло луча. Ранке не желал, чтобы его ученики строили свои выводы на непрочном фундаменте, — но не желал и того, чтобы они конечной и высшей целью своей деятельности считали постройку крепких подвальных сводов. Историк должен обладать до известной степени творческой фантазией, он должен быть и ученым и художником.

Ранке, постоянно интересуясь всемирной историей, сделал первую попытку изложить историю мира в курсе, который его пригласили прочитать в 1854 г. баварскому королю Максимилиану II, познакомившемуся с Ранке во время пребывания в Берлинском университете. В своем курсе Ранке дал полные и оригинальные характеристики отдельным столетиям и историческим эпохам. Это было тем более замечательно, что Ранке читал свой курс королю, не имея под руками никаких книг. Сам Ранке назвал свои лекции историческими рапсодиями.

Творчество

Вклад Ранке в развитие исторической науки громаден и неисчерпаем.

Он впервые стал систематически применять к источникам средневековой и новой истории метод исторической критики источника, ранее выдвинутый филологами-античниками (Вольфом, Лахманном) и специалистами по Древнему Риму (Нибуром). Этот метод, сводящийся к сопоставлению параллельных источников и перекрестному анализу показаний очевидцев с целью их взаимной проверки, к тщательному анализу содержания каждого отдельного источника для установления его достоверности и к ряду других операций «внутренней» и «внешней» критики, был результатом развития филологической и исторической наук начиная с XV века.

Теоретические взгляды Ранке сформировались под влиянием философии идеализма и протестантизма. Исторический

процесс, по Ранке, это осуществление «божественного плана управления миром», придающего единство всему процессу; причинные связи между собой также преуказаны Богом; религия играет решающую роль в жизни народов, внешне исторические явления выступают как борьба идей, причем высшая идея — Бог, а все прочие идеи — «мысли Бога в мире». Каждый исторический период, имеет свою «руководящую идею».

Наряду с религиозной идеей важное место в ходе истории занимает идея политическая, воплощенная в государстве. Каждое государство стремится быть могучим, сильным, чтобы укрепить свои позиции в мире; его политика всегда есть политика силы. Сама природа государств толкает их к борьбе за господство, к захватническим войнам. «Это вечный закон их существования». Такие войны имеют положительное значение, так как они содействуют «гармоническому развитию» наций, побуждают их ко все новым усилиям. Войнами Ранке объясняет даже рост культуры; в грубой силе он усматривает проявление «духовной сущности нации», ее «изначальный гений». Однако не нужно забывать, что Ранке работал в период борьбы немцев за объединение Германии, и это сделала Пруссия с помощью «грубой силы», с одной стороны, а с другой — при широкой поддержке немецкой общественности.

Историческая концепция Ранке характеризуется также принципом европоцентризма. Весь ход истории определяют «ведущие народы; с VI в. н. э. это романо-германские народы и государства Западной Европы, которые «создали» самую высокую культуру, благодаря чему Европа стала центром всемирной истории». Историческую роль славян Ранке сводит к защите от восточных кочевников западноевропейской цивилизации. Сами славяне в культурной и политической организации полностью зависят от Запада.

Основной интерес в своих сочинениях Ранке уделяет войнам и дипломатии. История выступает как преимущественно политическое развитие государств и их взаимоотношений, определяемых стремлением более сильных государств к гегемонии, а противостоящих им слабых в военном отношении — к сохранению в Европе «политического равновесия».

Еще одной характерной чертой всех произведений Ранке является то, что их можно назвать историей великих людей

(королей, пап, полководцев, министров, политиков), которым Ранке с большим мастерством дает блестящие портретные характеристики, что значительно оживляет изложение. По этому поводу даже К. Маркс не удержался и заметил, что «Истории» Ранке — это «собрание анекдотов и сведения всех крупных событий к мелочам и пустякам».

ОБ ЭПОХАХ НОВОЙ ИСТОРИИ

Введение

Для настоящих лекций прежде всего необходимо уяснить себе: 1) исходный пункт, от которого придется отправляться; 2) основные понятия.

Что касается исходного пункта, то мы зашли бы дальше нашей цели, если бы в своем рассмотрении перенеслись в совершенно отдаленные времена, к совершенно далеким от нас обстоятельствам, которые, правда, все еще оказывают влияние на современность, но только косвенное. Поэтому мы, чтобы не потеряться в чисто историческом материале, возьмем за исходный пункт римскую эпоху, в которой можно наблюдать соединение разнообразнейших моментов.

Затем нам надо уяснить себе: 1) понятие прогресса вообще; 2) то, что следует, в связи с этим, разуметь под «руководящими идеями».

1. Что следует разуметь под понятием «прогресс» в истории

Если бы мы вместе с некоторыми философами предположили, что все человечество развивается из данного первобытного состояния по направлению к положительной цели, то это можно было бы представить себе двояким образом: или можно думать, что какая-то всем руководящая воля способствует ходу развития человеческого рода от одной точки к другой, — или что в человечестве лежит, так сказать, духовное влечение, которое с необходимостью нап-

равляет обстоятельства к определенной цели. На мой взгляд, оба эти воззрения не выдерживают философской критики и не могут быть доказаны исторически.

С философской точки зрения такой взгляд не может быть принят потому, что он в первом случае прямо устраняет человеческую свободу и налагает на людей печать безвольных орудий, а во втором — люди должны были бы быть или Богом, или ничем.

Но и исторически эти взгляды оправдываются; ибо, во-первых, человечество в значительной своей части находится еще в первобытном состоянии, в исходном пункте развития; а тогда спрашивается: что такое прогресс? Где заметен прогресс человечества? Существуют элементы великого исторического развития, установившиеся в римской и германской нациях; здесь, без сомнения, существует последовательно развивающаяся духовная сила. Да даже во всем историческом процессе нельзя отрицать, так сказать, исторической силы человеческого духа; это движение, по своему началу восходящее еще к первобытным временам и продолжающееся с известною постоянностью. Однако в человечестве существует вообще только одна группа народов, принимающих участие в этом общеисторическом движении, а другие группы остаются вне его. В общем же мы не можем видеть постоянного прогресса даже и в тех национальностях, которые находятся в историческом движении. Обратим, например, свои взоры на Азию, и мы увидим, что там культура получила свое начало и что эта часть света имела несколько культурных эпох. Однако там движение в целом было скорее попятным, ибо в азиатской культуре как раз древнейшая эпоха была самой цветущей; вторая и третья эпохи, когда господствовали греческие и римские элементы, были уже не так значительны, а с вторжением варваров — монголов азиатская культура и вовсе прекратилась. Против этого факта старались вооружиться гипотезой географического шествия прогресса; однако я должен с самого начала объявить праздным утверждением то предположение, которое делал, например, Петр Великий, что культура совершает круговое шествие по земному шару; она-де явилась с востока и снова туда возвращается.

Во-вторых, надо избегать при этом и другого ошибочного воззрения, будто бы прогрессивное развитие веков охватывает одновременно все стороны человеческого существа и способностей.

История показывает нам — возьмем для примера один только момент, — что в новое время искусство процветало всего более в XV и первой половине XVI столетия, тогда как в конце XVII и в первые три четверти XVIII оно пришло в сильнейший упадок. Точно так же обстоит дело и с поэзией: и здесь бывают лишь отдельные моменты, когда это искусство действительно выдвигается, однако вовсе не видно того, чтобы поэзия с течением веков достигала высшей потенции.

Если мы, таким образом, исключим географический закон развития, если, с другой стороны, мы вынуждены предположить — а этому нас поучает история, — что целые народы могут погибать, когда начавшееся развитие не является у них непрерывно всеобъемлющим, то мы лучше поймем, в чем заключается на самом деле непрерывный прогресс человечества. Он покоится на том, что великие духовные тенденции, господствующие над человечеством, то расходятся, то встречаются. В этих тенденциях, однако, есть всегда определенное частное направление, которое является преобладающим и влияет так, что остальные направления отступают на задний план. Так, например, во второй половине XVI века религиозный элемент являлся настолько преобладающим, что литературный отступал перед ним назад. Напротив, в XVIII веке утилитарное направление захватило такое широкое поле, что пред ним должны были податься искусство и родственные ему сферы деятельности.

В каждой эпохе человечества проявляется, таким образом, определенная великая тенденция, и прогресс покоится на том, что известное движение человеческого духа обнаруживается в каждом периоде, выдвигая то одну, то другую тенденцию и своеобразно проявляясь в ней.

Если же, вопреки выраженному здесь взгляду, видеть прогресс в том, что будто бы в каждую эпоху жизнь человеческая достигает более высокой ступени, что, следовательно, всякое поколение во всех отношениях превосходит предыдущее и, значит, последнее поколение всякий раз имеет

преимущество перед прежними, а предшествовавшие являются лишь носителями последующих, — то это было бы несправедливостью со стороны Божества. Такое как бы посредствующее поколение не имело бы само по себе значения; оно что-нибудь значило бы лишь постольку, поскольку оно являлось бы ступенью для последующих поколений, и не стояло бы в непосредственном отношении к Божеству. Я же утверждаю: каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к Богу, и ее ценность основана вовсе не на том, что из нее выйдет, а на ее существовании, на ее собственном «я». Благодаря этому рассмотрение истории, и именно индивидуальной жизни в истории, получает совершенно особенную привлекательность: каждая эпоха должна быть рассматриваема как нечто, имеющее цену само по себе, и является в высшей степени достойной рассмотрения.

Историк должен поэтому обратить свое внимание, во-первых, на то, как думали и жили люди в известный период; тогда он увидит, что, помимо некоторых неизменных и вечных основных идей, например, нравственных, каждая эпоха имеет свою собственную тенденцию и свой собственный идеал. Но если даже всякая эпоха сама по себе имеет свое оправдание и свою цену, все-таки нельзя упускать из виду того, что вышло из этой эпохи. Итак, историк, во-вторых, должен заметить и различие между отдельными эпохами, для того чтобы созерцать внутреннюю необходимость их последовательности. Нельзя не признать при этом известного прогресса; но я не стал бы утверждать, что этот прогресс идет по прямой линии, скорее это как бы поток, который по-своему прокладывает себе дорогу.

Мне представляется — если я позволю себе такое замечание, — что Божество, существуя вне времени, обзирает все историческое человечество в его целом и всюду считает его одинаково ценным. Идея о воспитании рода человеческого во всяком случае заключает в себе долю истины; но пред Богом все поколения человечества являются равноправными, и так должен смотреть на дело и историк.

Несомненный прогресс, в высшей степени решительный подъем замечен на всем протяжении истории в области материальных интересов, где шаг назад едва ли будет возможен

без чудовишного переворота; в нравственном же отношении нельзя проследить прогресс. Нравственные идеи могут, конечно, развиваться экстенсивно; так и в умственном отношении можно утверждать, что, например, великие произведения, созданные искусством и литературой, ныне составляют предмет наслаждения большей массы людей, чем прежде; но было бы смешно желание быть эпическим писателем выше Гомера или более великим трагиком, чем Софокл.

2. Какого мнения надо держаться о так называемых руководящих идеях в истории

Философы, а именно гегелевская школа, выставили об этом предмете известные положения, по которым история человечества разворачивается как логический процесс в тезисе, антитезисе, синтезе, в положении и отрицании. Но в схоластике погибает жизнь, так и это воззрение на историю, этот процесс саморазвивающегося по разным логическим категориям духа привел бы к тому, что мы уже выше отвергли. По этому воззрению только идея имела бы самостоятельную жизнь; все же люди были бы лишь тенями или схемами, наполняющимися идеей.

В основе учения, по которому мировой дух производит вещи как бы обманом и пользуется людскими страстями для достижения своих целей, в основе этого учения лежит в высшей степени недостойное представление о Боге и человечестве; вдобавок это учение последовательно может привести только к пантеизму; человечество тогда — Божество в процессе своего осуществления; Божество, которое рождает само себя духовным процессом, лежащим в его природе.

Таким образом под руководящими идеями я могу понимать только господствующие тенденции каждого века. Эти тенденции могут быть только описаны, а не суммированы в последней инстанции в одно понятие; иначе мы опять вернулись бы к только что оставленному нами выше.

Историк и должен теперь расчлнить крупные тенденции веков и развернуть великую историю человечества, которая представляет комплекс различных тенденций. С точки зрения божественной идеи я могу себе представить дело толь-

ко так, что человечество скрывает в себе бесконечное разнообразие процессов, которые проявляются мало-помалу, и притом проявляются по законам, нам неизвестным, гораздо более таинственным и великим, чем обыкновенно думают.

Разговор

Король Максимилиан: Вы говорили выше о нравственном прогрессе; имели ли Вы при этом в виду также и внутренний прогресс отдельной личности?

Ранке: Нет, только прогресс рода человеческого; индивид же, напротив, всегда может подняться на высшую нравственную ступень.

Король Максимилиан: Но так как человечество состоит из индивидов, то спрашивается, если индивид поднимается на более высокую нравственную ступень, не будет ли этот прогресс обнимать и все человечество?

Ранке: Индивид умирает; он имеет конечное бытие; человечество же бесконечно. В материальных вещах я предполагаю прогресс, ибо здесь одно вытекает из другого; иначе обстоит дело в отношении нравственном. Я думаю, что в каждом поколении действительная нравственная величина равна таковой же каждого другого и что для нравственной величины не существует различия в степенях; так, например, мы вовсе не можем превзойти нравственную величину древнего мира. В мире духовном часто случается даже, что интенсивная величина находится в обратном отношении к экстенсивной; стоит сравнить только нашу современную литературу с классической.

Король Максимилиан: А не является ли тем не менее возможным принять, что Провидение не во вред свободному самоопределению отдельной личности поставило человечеству в его целом определенную цель и ведет его к ней?

Ранке: Это космополитическая гипотеза, которую, однако, нельзя доказать исторически. Правда, в пользу ее мы имеем изречение Св. Писания, по которому будет некогда один пастирь и единое стадо; но до сих пор это еще не обнаружилось как основное движение всемирной истории. Доказательством служит история Азии, которая после периодов величайшего процветания снова впала в варварство.

Король Максимилиан: Но разве число индивидов, созревших для высшего нравственного развития, теперь не больше прежнего?

Ранке: Я допускаю это, но не принципиально; ибо история учит нас, что некоторые народы совсем не способны к культуре и что часто более ранние эпохи бывали гораздо нравственнее позднейших. Франция в середине XVII столетия, например, была гораздо нравственнее и образованнее, чем к концу XVIII века. Как уже сказано, можно говорить о большем распространении нравственных идей, но только в определенных кругах. С точки зрения общечеловеческой для меня является вероятным, что идея человечества, которая исторически представлена лишь в великих нациях, постепенно охватит все человечество, и это было бы внутренним нравственным прогрессом. История не противоречит этому воззрению, но и не доказывает его. Особенно должны мы остерегаться принимать это воззрение за исторический принцип истории.

Наше дело держаться только предмета

Вторая лекция

Понятие прогресса, которому преимущественно посвящена была наша вступительная лекция, не является, как мы видели, применимым к различным вещам. Оно не применимо к связи веков вообще, т. е. нельзя сказать, чтобы одно столетие стояло в служебном отношении к другому. Затем, это понятие не будет применимо к произведениям гения искусства, поэзии, науки и государства; ибо все они имеют непосредственное отношение к божественному; они, правда, существуют во времени, однако их сущность не зависит ни от предыдущего, ни от последующего. Так, например, Фукидид, который, собственно, создал историографию, остался в своем роде непревзойденным.

Так же мало можно говорить о прогрессе в индивидуальном, нравственном и религиозном существовании, ибо последнее имеет также непосредственное отношение к Божеству. Одно только можно было бы допустить, именно, что прежние нравственные понятия были несовершенны; но с тех пор, как появилось христианство и с ним истинная

нравственность и религия, в этой области не могло более произойти прогресса. Справедливо и то, что, например, среди греков господствовали известные национальные представления, как о дозволенности мести, которые были устранены христианством; но из этого не следует, что сущность христианства подготовлена прежними несовершенными порядками: христианство есть внезапное божественное явление, как и вообще великие произведения гения носят на себе печать непосредственного озарения. После Платона не может явиться другой Платон; и как я ни далек от умаления заслуг Шеллинга в философии, я все-таки не думаю, чтобы он превзошел Платона. Последний был единственным в своем языке и стиле, вообще в своем поэтическом явлении, причем нельзя отрицать, что в отношении содержания Шеллинг умел воспользоваться большею массою материала, оставленного ему его предшественниками.

Напротив, прогресс приходится признать во всем, что касается как познания природы, так и умения подчинять ее себе. Первое у древних находилось в младенчестве, да и во втором отношении древние не могут равняться с нами. Это стоит далее, в связи с тем, что мы называем способностью распространения. Распространение нравственных и религиозных идей, общей идеи человечества находится в постоянном прогрессе, и там, где уже раз существует средоточие культуры, она имеет склонность распространяться во все стороны, однако не так, чтобы являлось возможным считать прогресс действующим непрерывно и во всяком пункте.

Итак, в более материальных отношениях, в усовершенствовании и применении точных наук, а также в приобщении различных наций и индивидов к идее человечества и культуры прогресс является безусловным.

Напротив того, относительно умственных дисциплин, именно философии и политики, приходится поставить вопрос, действительно ли в них совершился прогресс. Что касается философии, то я должен признаться, что для меня достаточно древнейшей философии, как она выработана у Платона и Аристотеля. В формальном отношении никогда не возвышались над ней, да и по содержанию новейшие философы теперь опять обращаются к Аристотелю. То же самое

и в политике: общие принципы ее установлены с величайшей верностью уже у древних, как ни обогатились последующие времена опытом и политическими экспериментами. Политика, в которой мы теперь вращаемся, покоится, разумеется, на исторически данных обстоятельствах. Вопросы о конституционной и сословной монархии и т. д. суть вопросы, которые, с нашей точки зрения, являются вполне законными, но которые все-таки покоятся лишь на данных обстоятельствах; ибо никто не станет утверждать, что с монархией в идее связаны и сословия. Позднейшие времена, таким образом, в одном только имеют преимущество пред древними, именно в том, что в их распоряжении находится большее обилие политических опытов. Точно так же вопрос о суверенитете народа или государя не разрешим наукой, а разрешается историческим путем — группировкой партий. То, что я сказал о политике, относится и к историографии. Как уже было замечено, никто не может иметь претензии быть более великим историографом, чем Фукидид, напротив, я лично имею претензию совершить в историографии нечто другое, чем древние; потому что наша история течет полнее, чем их, потому что мы пытаемся привлечь в историю иные силы, которые обнимают целиком жизнь народов, одним словом, потому что мы пытаемся свести историю к единству.

Установив таким образом некоторые основные понятия и исходный пункт наших лекций, мы перейдем теперь к самому предмету их.

1. Основы Римской империи; обозрение первых четырех столетий нашей эры

В начале этих лекций мы должны прежде всего представить себе, чем была Римская империя в отношении своего интеллектуального содержания и своей сущности. Можно сказать, что вся древняя история вливается в римскую, как в главную реку, которая впадает в море, и что вся новейшая история снова исходит из римской. Я осмеливаюсь утверждать, что вся история не имела бы никакой цены, если бы не существовало римлян.

Первый вопрос, возбужденный Вашим Величеством, состоит в том, погибла ли история совсем, или насколько в

римской истории продолжали действовать все элементы, которые вызваны были древней историей. Разрешение этого вопроса получится, если мы оценим тот факт, что Римская империя была воздвигнута на предшествовавшем ей греко-македоно-восточном государстве, основанном Александром Великим и его преемниками, государстве, которое восприняло в себя главнейшие моменты ориентализма.

Если мы бросим короткий ретроспективный взгляд на древнейшую историю, то мы увидим на Востоке сильные религиозные противоречия. Мы находим там евреев, граничащих с одной стороны с египтянами, с другой — с Ассирийским и Вавилонским государством, религиозные представления которого отличаются несомненным сходством с представлениями египтян.

Посреди этих языческих народностей монотеистические иудеи беспрестанно выдерживали войны и нападения. Ассирияне и вавилоняне уводили их в плен, и одно время казалось, что национальный монотеизм близок к гибели, если бы другой элемент, стоявший в родстве с иудейским, не пришел последнему на помощь. Это был персидский элемент. Персы, у которых религиозные воззрения были чище и яснее, чем у ассирийских и семитических идолопоклонников вообще, поставили себе задачу реставрировать иудейский элемент. После этого явился Александр Великий, который сам был ревностным язычником, и восстановил национальное идолопоклонство. Тогда как Камбиз убил Аписа, Александр объявил себя сыном Юпитера Аммона и признал восточный миф.

Оба эти момента, т. е. более чистая религия, в которой персы принимали известное участие и которая у иудеев являлась в виде монотеизма, так же, как и идолопоклонство других народов, перешли теперь в Римскую империю, которая хоть и завоевала Македонское, Сирийское и Египетское государство, однако во всем остальном сохранила там прежние порядки.

Римляне, подобно преемникам Александра, были сильными противниками иудеев, и вот случилось то великое мировое событие, что из иудейской среды вышла идея мировой религии. Именно евреи, хоть и унаследовали идею о едином Боге — вероятно древнейшую идею первобытных времен, — однако смотрели на Бога скорее как на Бога национального. Тогда

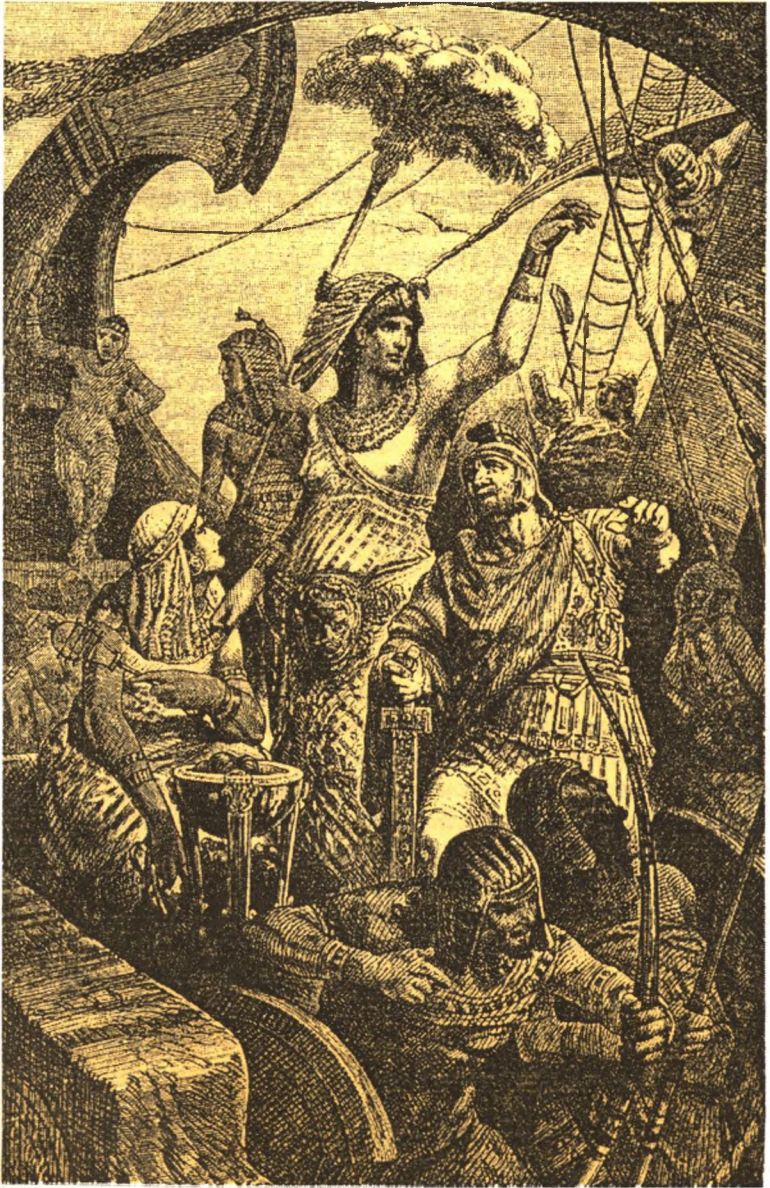


Марк Антоний

появился Христос и, опираясь на их религию, стал проповедовать всеобщего Бога, отвлеченного от всех народных интересов и национальных божеств. Из иудейства вышла мировая религия, в тот момент, когда римляне закончили завоевание Востока и приняли в свою империю массу восточных элементов. Вся религиозная борьба, совершавшаяся в восточном государстве, перешла в Римскую империю, и только в Римской империи христианству удалось завоевать мир.

Мы видели, таким образом, что в религиозном отношении Римская империя была комплексом всех прежних элементов. Перейдем теперь к политическим противоположностям.

Древние народы Востока были все разрознены религиозно, но объединены политически и были все противниками греков. Там образовалась огромная монархия, от владычества которой уклонились только отдаленные карфагеняне, и вот этому колоссу выступила навстречу маленькая горсть греков, осмелившихся противостоять неистовому напору. Элементы постоянной независимости и большой концентрированной монархии пришли в столкновение, причем ни персы, ни греки не могли покорить друг друга, и именно до тех пор, пока греки были республиканцами, так как в эту эпоху ревность народа свергала всякого, кому, по-видимому, начинало удаваться какое-нибудь крупное предприятие.



Клеопатра на корабле во время битвы при Акции

Персы потому только подчинились греческому элементу, что и в Греции подымалась монархия, монархия, представлявшая греческую сущность с восточными формами. Монархия, которая до сих пор была чисто восточной и варварской, теперь эллинизировалась. Можно сказать: если бы монархия осталась чисто персидской, она никогда не могла бы стать популярной на Западе, и мы, может быть, увидели бы не что иное, как странное государство, похожее на державу Сассанидов. Однако, как уже сказано, сколько преемники Александра ни смотрели на себя как на преемников фараонов и других династий, все-таки восточная монархия становилась более цивилизованной, так как эти государи теперь являлись одновременно и носителями культуры. Стоит припомнить хотя бы, например, Александрию, этот великий питомник греческого духа!

Итак, в тех областях, которые впоследствии стали римскими, монархический элемент оставался очень живым, настолько, что, по моему мнению, если бы Марк Антоний, отправившийся в Египет и живший у Клеопатры, одержал победу, то он, в силу своих восточных симпатий, перенес бы восточную монархию на Запад.

Однако греко-республиканский дух не был подавлен этими происшествиями, но оставался все время живым и оказывал воздействие на Рим в такое время, когда там существовали скорее только формы республики. Этот греко-республиканский дух имел тем большее влияние на Рим, что он более теоретизировал республиканский принцип и в таком виде распространял его дальше, так как знатные римляне усваивали вполне греческое воспитание. На этой греко-республиканской почве воздвиг Август свою монархию, не такую, какую представляем себе мы, а принципат, при котором сохранились все республиканские формы. Август никогда не осмелился бы назвать себя царем, и в этом смысле стремление Антония совершенно расходилось с Августовым.

Помимо религии и политики, у греков выдавался еще один момент, который воспринял в себя и Рим, именно момент искусства и литературы, момент, который уже при преемниках Александра пытался овладеть Востоком. Мысль, которую я считаю в данном случае весьма ценной,

состоит в том, что у других наций существовавшие до этого времени литературные стремления оставались единичными, у греков же мало-помалу развилось явление, которое можно назвать литературой, т. е. круг литературных произведений, стремившихся воспринять в себя все достойные знания. Все это перешло в Римскую империю. Конечно, можно сказать: если бы римское государство имело другой характер, не аналогичный греческому, то оно не могло бы развиваться таким образом. Но благодаря тому, что республиканская форма одержала в Риме перевес, аналогия между римским и греческим народным духом продолжала существовать. Писатели Августова века свободно могли примыкать к Греции, чего не было бы, если бы Антоний одержал верх. Теперь весь восточный иудейско-сеμιто-греческий мир во всех своих проявлениях вошел в Римскую империю и тесно примкнул к ней.

В первом столетии нашей эры в свою очередь и Рим вступил в сношение с Западом. Это первое столетие, которым обыкновенно так пренебрегают, было столетием, полным духа и жизни.

Здесь мы должны в своем изложении на мгновение вернуться к ранней истории Запада. Эта история основана на том, что в древние времена кельтские народности имели главенствующее значение в Галлии и Испании, в первой частью вместе с германцами. Галлы проникли вперед до Рима; один из брэннов занял Рим, другой Дельфы; они основали небольшое государство близ Византии; они перебрались в Сирию и хотели одно время даже завоевать Египет. Короче, галлы в течение некоторого времени были могущественнейшим народом, и одна часть римской истории занята описанием изгнания галлов из Италии.

Тогда появился Цезарь и свершил великое завоевание Галлии — одно из величайших событий мировой истории, ибо на Галлии основана вся последующая конфигурация Европы. Я говорю в своей французской истории: великие завоеватели — это те, которые одновременно распространяют и культуру, и этим-то отличался Цезарь! Он завоевал Галлию не для того, чтобы иметь ее, но вместе с тем романизировал и культивировал ее. Положим, здесь можно вста-



Битва римлян с варварами

вить вопрос: не было ли возможно, чтобы кельты сами себя культивировали? Я думаю, что едва ли на этот вопрос можно ответить утвердительно; ведь они были окружены карфагенскими и иными цивилизирующими влияниями и все-таки постоянно разбойниками врываются в Италию и Азию, постоянно противились культуре, и только с победой над ними культурный мир в Италии, Греции и на Востоке успокоился от этих варваров.

После того как Цезарь переправился и в Британию, появился потом Август и приобрел громадную заслугу перед Западом своими завоеваниями; ибо он окончательно покорил Испанию римлянам, колонизировал Галлию, исходя из Лиона по всем направлениям, и простер свои культурные стремления до Рейна. Одним словом: то, что совершил Це-

**Галльская конница**

заль, было величайшей заслугой в военном отношении; а то, что совершил Август, было еще устойчивее; он довершил романизацию Галлии, и кельты должны были все начать говорить по-латыни. Один из величайших подвигов Августа заключался в том, что он, с помощью Друза и Тиберия, сделал доступными Альпы. До тех пор, пока варварские народы альпийских долин ложились поперечным бревном между культурным миром — Италией и т. д. — и остальным Западом, нечего было и думать о распространении цивилизации в Средней Европе. Теперь же, когда Альпы были открыты, римляне начали проникать с одной стороны до Паннонии (Тиберий), с другой стороны, в Германии, они



Император Тиберий



Друз

подвинулись до самой середины Вестфалии. Правда, здесь они были разбиты; но тем не менее все пространство по Рейну и южнее Дуная было романизовано: Кёльн и Аугсбург были римскими городами. То, чему положил начало Цезарь в другом направлении, именно завоевание Британии, довершил Клавдий, которого ославили одним из глупейших людей. Эти земельные приобретения продолжались до второго столетия, когда Траян занятием Дакии и Мизии подготовил будущую страну румын и валахов. Господство римлян простиралось за Черное море до Евфрата, а на западе имело своей границей Атлантический океан.

Таким образом, главным событием первого века нашей эры было то, что воспринятая Римом восточно-греческая культура, соединившись с латинской, теперь устремилась на Запад и что таким образом, вся завоеванная в это первое столетие земля стала культурной страной. Можно считать счастьем, что эти завоевания нашли себе границу в Германии; но без римских завоеваний мы не имели бы понятия о культуре, и в пределах этих границ ее появление является величайшим мировым событием, какое когда-либо совершалось. Правда, это огромное целое



Император Октавиан Август

снова распалось на две половины, на греческую и латинскую; Запад говорил по-латыни, восток — по-гречески: но все в целом представляло единство.

Третья лекция

Теперь является вопрос, что произошло, по основании Римской империи в первые века, на занятой ею обширной арене.

По самой природе дела дальнейшее развитие совершалось внутри империи, а не стремилось выйти за ее пределы, так как невозможно, чтобы государство беспрестанно увеличивало свои размеры. Поэтому и Рим нашел себе границы, и это в известном отношении совпадает со всемирно-исторической тенденцией, которую, правда, можно постигнуть только впоследствии, той тенденцией, что завоевательная сила устремлялась только на Запад. Если мы удивляемся тому, что римляне не пошли, как Александр Великий, в Аравию и Индию, а употребили все свои силы на то, чтобы цивилизовать Испанию, Галлию, Германию, Дакию, то всемирно-историческая причина этого явления лежит в том, что цивилизирующая тенденция на Востоке была уже проведена, и всемирно-историческое призвание Рима состояло лишь в том, чтобы цивилизовать Запад, исходя из центра мира, который занял Рим. Для этого римлянам ничего не было нужно, кроме уже завоеванных элементов; остальные они могли оставить в стороне.

Заслуги Рима были следующие: 1) создание всемирной литературы; 2) преобразование римского права в право всеобщее; 3) образование монархического строя и в связи с этим создание правительственной централизации; 4) возвышение христианской церкви до господствующего положения.

Создание всемирной литературы.

Рим в его целом делился, правда, на две части, из которых одна говорила на греческом, другая на латинском языке. Соответственно этому обе литературы, греческая и римская, имели одну главную цель, хотя одна господствовала на Востоке, дру-

гая на Западе. Это, между прочим, с величайшею определенностью можно видеть из самой историографии: когда римляне достигли мирового господства, греки не имели другой высшей идеи, кроме той, чтобы понять и описать римский общественный строй, — Полибий, Дионисий Галикарнасский! Эта тенденция продолжалась и в следующие века; так, главный историк империи — Дион Кассий, — был греком. Правда, римляне в лице своего Тацита выдвинули одного из величайших историков, какие когда-либо существовали; однако он схватывает больше моральную сторону всемирной истории и описывает темные стороны, выступившие в римском государстве благодаря принципату; напротив, всемирно-историческая сторона в истории схватывалась более греками, чем римлянами, например, Аппианом, Плутархом, который пытался понять римлян как индивидов, причем его задача заключалась в том, чтобы путем сравнения их с героями другой нации возвысить их до всемирно-исторического значения и достоинства.

Итак, произошло своеобразное явление двойной литературы, той литературы на двух языках, которая по своей идее совершенно единообразна, хотя у каждой своя особенная тенденция. Теперь является вопрос: каковы были плоды этой литературы? Для того чтобы ответить на это, я брошу короткий взгляд назад, на классическую греческую литературу. Произведения этого времени возникали как произведения природы, каждое своеобразным манером на своеобразной почве; каждый автор писал на своем диалекте, и классическая литература, например, в Афинах возникла в эпохи наиболее яркого и резкого выражения афинского духа. Этот род литературного творчества позднее уже не мог иметь места. Диалекты сгладились, и на место аттического стал общий диалект; теперь не могли уже более появляться такие великие писатели, как в более раннее время. Теперешние греческие авторы сообщают лишь то, что имеет всеобщий интерес, и к ним присоединяются римляне. Так как не было больше столкновения партий, то, понятно, перестали являться и великие ораторы, и теперь стали писать в форме писем, как Плиний и др.

Одним словом, создалась всеобщая литература, которая обнимала все отрасли и распространялась на двух языках,

причем греческие произведения были более талантливы, а латинская свидетельствовала о более упорном труде.

Юридическое развитие

Здесь приходится отпрявляться от того, что собственно научный гений римлян по природе был юридический. Ни в одной отрасли они не были так оригинальны, как в гражданском праве. Другие нации, конечно, сделали также кое-что в этом отношении, но римляне с самого начала своего государства так отчетливо усвоили правовые понятия и развили их с такою последовательностью, как никакой другой народ.

Первоначально право лишь передавалось от одного учителя к другому, а также в виде действующего на форуме права. Но римское право получило значительную обработку, после того как усилилась Римская империя, потому что тогда стали придавать силу закона изречениям великих юристов, которые привлекались императорами в юридические школы: никогда теория и практика не соединялись теснее, как при римских императорах. Поэтому мы находим в эпоху, мало плодотворную в других областях литературы, ряд величайших юристов (Гай, Ульпиан, Папиниан и другие), из изречений которых составлены были в VI веке пандекты и институции.

Первым моментом в развитии права был тот, когда люди юридического гения разрабатывали исконно римские правовые понятия; вторым — когда закономерно разработанные правовые идеи получили чрез санкцию императоров силу закона, благодаря чему это право в той его форме, в какой оно содержалось в учреждениях, получило одновременно и научное содержание. Третий, весьма важный для человечества момент состоял в том, что римское право, вследствие своего научного развития, отбросило все частное, что еще прилипало к нему, и благодаря этому получило высокое всеобщее значение. Таким образом, возникло теперь *jus gentium*, именно в этом его смысле, т. е. как римское право в его всеобщей приложимости. Ваше Величество можете видеть отсюда, насколько важно то, что правильно развившееся право освобождается от частных, препятствующих его применению к другим нациям, как это слу-

чилося с римским правом. Можно утверждать, что римское право — вообще величайшее создание Римской империи.

*Образование монархического строя
и правительственной централизации*

В борьбе между Августом и Антонием, которая была, может быть, борьбою между западным и восточным принципами, Август остался победителем и вскоре соединил в своей особе важнейшие республиканские должности; однако он никогда не мог и думать о том, чтобы назваться царем, и придумал титул Августа, т. е. достойного почитания. Одним словом, появилась разница между личностью государя и республиканскими стремлениями, которые, собственно говоря, оставались все еще конституционными.

Отсюда и выходило то, что многие императоры, независимо от недостойных личных качеств, попадали в двусмысленное положение и играли такую странную роль; ибо, хотя они и изъявляли притязания на неограниченную власть, все-таки являлись в глазах древних родов и особенно сенаторов лишь главными начальниками, которые в гражданских войнах фактически одержали верх. Веспасиан, из фамилии Флавиев, первый внес некоторого рода устойчивость в принципат. Когда он победил, он заставил сенат дать ему известные права в знаменитом *lex regia*, именно право отдавать приказы с силою закона самолично, без участия сената.

Несмотря на это, впоследствии снова обнаружались старые столкновения и насилия. Сенат снова достиг господства и назначил императора — Нерву; последующие императоры назначались императором правящим, путем усыновления, и вступали на престол с согласия сената, как Антонины. В III веке, напротив, над государством разразилось время отвратительнейшей смуты, которое называют также эпохой 30-ти тиранов, когда уже варвары с силою надвигались на Римскую империю. В это бедственное время, когда, с одной стороны, границы государства нуждались в сильной защите, с другой стороны — всякая армия пыталась провести в императоры того, кто стоял во главе ее, — в это время Диоклетиан нашел выход, чтобы сломить упорство армий и вместе с тем удовлетворить потреб-

ности государства в сильной защите. Он присоединил к себе несколько лиц в качестве Augusti или Caesares, которые, при нераздельности власти, правили одновременно с ним, так что один здесь, другой там представлял собой высшую власть, которая оставалась сконцентрированной в Диоклетиане, как главном Цезаре.

Из этой комбинации вышел Константин, который в IV веке провел в полной форме единое государство на основании Диоклетиановых институций; впрочем, это удалось бы ему не более, чем другим генералам императорской эпохи, если бы он не взял в руки реформу учреждений и не соединился с самого начала с христианством. Прежде всего требовалось окончательно подавить преобладающее значение армий и положить конец проискам аристократических партий. Важнейшим нововведением Константина для этой цели было разделение гражданской и военной властей, соединение которых в одних руках до сих пор придавало провинциальной магистратуре такую непомерную власть.

Благодаря этому все население в городах стало покойнее, и аристократия подвизалась больше на почве местных, а потому и менее опасных партийных интересов. Далее, Константин разделил все государство на диоцезы, а диоцезы на провинции и ввел формальную иерархию чинов и должностей, из которых некоторые существуют и до наших дней; например, испанский *Corregidor* — это старый *Corrector provinciae*. В этих округах Константин ввел абсолютное управление, в которое он включил институт дефензоров — отголосок прежних провинциальных учреждений, которые никогда не исчезали окончательно, — для того чтобы не отдать население прямо-таки на произвол *praesides provinciarum*. К этим централизирующим стремлениям присоединились еще другие реформы, например, приобщение Италии, до сих пор от этого изъятая, к «*ingens malum tributorum*», уничтожение различия между *civitates*, распространение римского гражданского права на все провинции (уже при Каракалле) и т. д.

Таким образом, Римская империя достигла доселе еще не существовавшего великого единства, значение которого ясно выступает только тогда, когда мы сравним его с массой независимых национальностей, которые существовали раньше. Итак,

мы и здесь наблюдаем в крупных размерах, как и в литературе и в праве, то явление, что из частного мало-помалу развивается общее. Во главе этого единства стоял принцип, наследственность которого, если она и не была прямо исключена, все-таки не могла считаться обычном фактом.

Если в заключение мы спросим, оказал ли Восток влияние на образование монархии, то нельзя не признать того, что некоторые атрибуты последней, например, диадема, происходят оттуда; но зерно этого учреждения выходило из силы обстоятельств и потребностей страны.

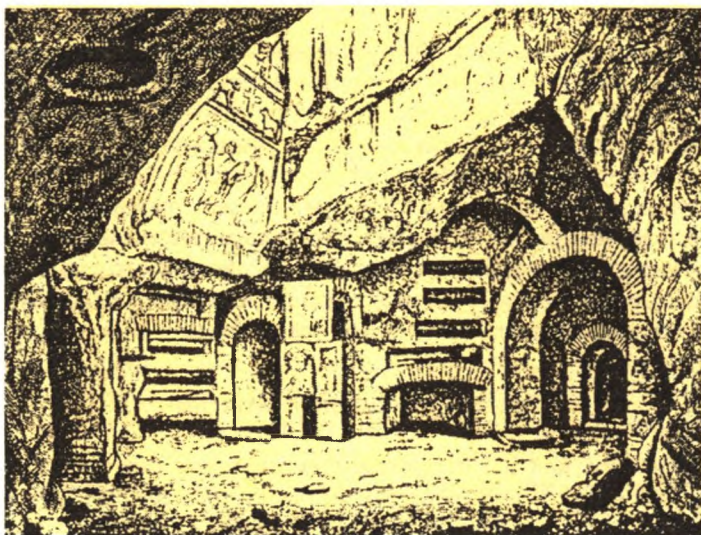
Основание мировой религии

После того как в I столетии довершилось римское завоевание, во втором — развилась мировая литература, в третьем произошла выработка римского права, а в конце третьего и в четвертом столетиях выработалась в некотором образе устойчивой форме монархия, — после всего этого вступила в ряд всемирно-исторических заслуг Рима величайшая из заслуг эпохи — основание мировой религии.

Константин основал свой сан на следующих факторах: 1. на своей победе и оружии; 2. на реформе управления; 3. на религии. Является всемирно-исторический вопрос: на чем основана сама возможность установления христианства в Римской империи? Содействовала ли этому сама Римская империя по самой своей природе?

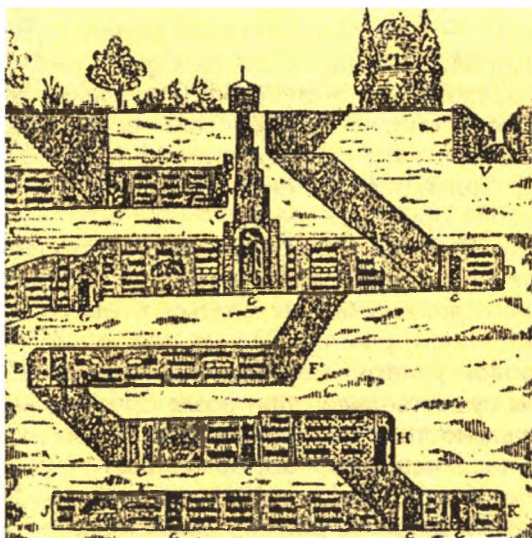
Можно сказать, что Римская империя в высшей степени способствовала развитию идеи христианства как мировой религии. Прежде всего должна была создаться большая совокупность народов с некоторым единством, совокупность, в которой идея мировой религии могла бы проложить себе дорогу; пока народы существовали один возле другого, как различные индивидуальности, с различными религиями, являлись возможными лишь национальные божества.

Мое мнение о взаимоотношении церкви и государства сводится к тому, что государство должно существовать раньше, а затем уже появляется церковь. При государстве становится возможною и церковь, и это в высшей степени обнаруживается в появлении церкви в Римской империи;



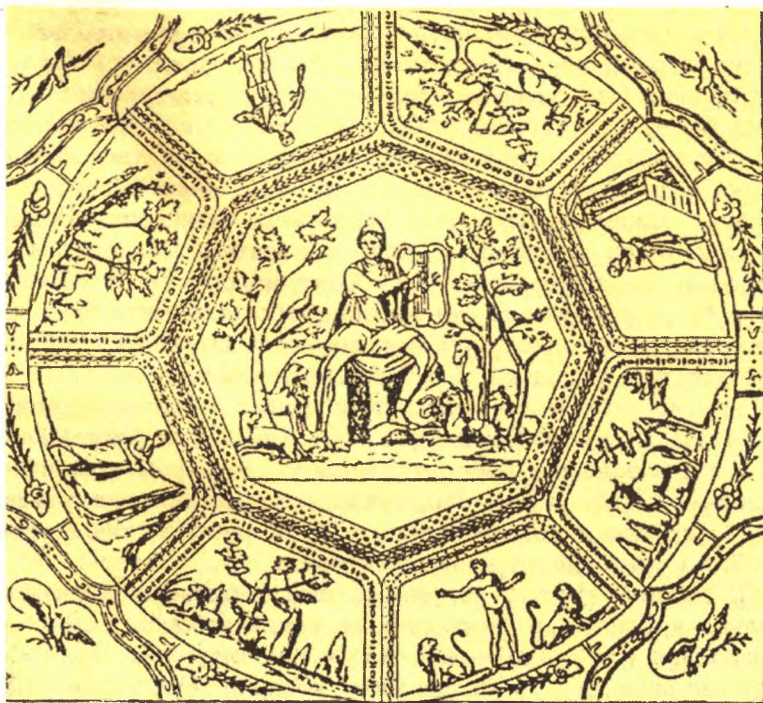
Римские катакомбы

Внутренний вид комнаты в катакомбах св. Цецилии



Разрез катакомб

На рисунке видны комнаты различной величины: малые, средние и большие. Первые носят название „кубикул“, вторые — „крипт“, третьи — „капелл“

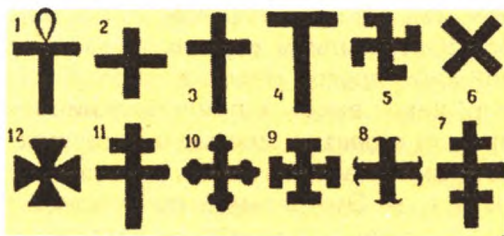


Библейские сцены

Роспись из катакомбы св. Калиста

Разные виды креста:

- 1) древнеегипетский крест с петлей;
- 2) греческий;
- 3) латинский;
- 4) Т-образный;
- 5) свастика;
- 6) св. Андрея;
- 7) папский;
- 8) якорьобразный;
- 9) виселицеобразный;
- 10) трилистникообразный;
- 11) лоренский;
- (русский патриарший);
12. мальтийский.



без существования последней христианская религия едва ли распространилась бы на земном шаре.

Сделаем шаг дальше: введение христианства натолкнулось бы на величайшие трудности, если бы восточный мир не был уже эллинизирован. Не будь в то время всеобщего языка и литературы, религия не могла бы иметь такого всеобщего влияния. Допустим, например, что христианство должно было непременно проповедоваться на сирийском наречии, на котором говорил Христос; оно тогда показалось бы людям чем-то совершенно обособленным, узконациональным; проповедуемое на мировом языке, оно стало в соответствии с людьми, с остальным образованием.

Помимо этих моментов политического и литературного единства, в римской сущности было еще нечто, бесконечно способствовавшее распространению мировой религии. Привезя к себе в Рим национальные божества всех известных народов и поклоняясь им у себя, римляне тем самым отняли у этих идов из-под ног почву.

Почитание Изиды, например, имело большое значение только в Египте, в Риме оно не имело никакого смысла. Благодаря принятию чужих богов национальный принцип утратил свою цену, и потом идея, которая сама в себе имела силу и проведение которой было подготовлено самими обстоятельствами, эта идея могла с тем большею легкостью одержать верх над различными культурами, что они потеряли свое исконное значение.

К этому присоединился еще следующий, не менее важный момент: римляне с самого начала обладали как в религиозном, так и в нравственном отношении своеобразным духом, большим обилием строгих нравственных понятий, чем какой-либо другой народ в мире. Стоит припомнить, например, какое высокое представление имели римляне о браке: прошли столетия, прежде чем случился первый развод; припомним домашнюю жизнь римлян, институт отеческой власти и т. д. Это сильное присутствие моральных тенденций продолжало действовать и позднее, во времена величайшего нравственного упадка.

Дальнейшим решающим моментом является непрекращавшееся противоборство более чистых религиозных воззрений

римлян и семитического идолопоклонства. Это противоборство обнаружилось уже в борьбе с карфагенянами, культ которых, соединенный с человеческими жертвоприношениями, римляне всегда презирали. Даже император Клавдий, беззастенчивый в других случаях, решительно запретил человеческие жертвоприношения. Эти и другие обстоятельства указывают на то, что римляне имели более высокое представление о ценности человека, чем другие народы. Так и в этом отношении римские представления, хотя все еще несовершенные, совпадали с христианскими. Дальнейший вопрос следующий: какое значение приобрело христианство в своем первом распространении, какие у него были особенности, сделавшие его способным стать сильнее всех других религий?

В течение первых веков восточные идолопоклоннические культы и представления еще стремились проникнуть в христианство; я напому манихейя, религиозные основы которых распространились вплоть до Африки и Индии, и многих других. Получи перевес эти секты, которые пытались ориентализировать христианство, последнее стало бы только одной из этих восточных религий. Но христианство нашло другую связь, с помощью которой оно воспротивилось этим влияниям, именно связь с римской и греческой философией. Мудрецы, иногда и поэты обеих этих наций издавна стояли в известной оппозиции к идолопоклонству, а потому христианству не составило никакого труда примкнуть к этим философам; с своей стороны и многие христианские мученики казались язычникам философами, если они абстрактно понимали то, за что буквально держались другие (Юстин). Главный момент, кстати пришедшийся христианству, является по своей природе научным и диалектическим. В то время как идолопоклонство более или менее выродилось в величайшие странности и фантазмагии, — научные и религиозные понятия христианства, помимо неисчерпаемой тайны, на которой оно основано, гораздо более обладали свойством получать разностороннее объяснение. Скоро поняли, что христианство совпадало с величайшими творческими созданиями человеческого духа, и это сознание было одним из могущественнейших рычагов при распространении мировой религии. Эта связь христианства с античной культурой,

это сочетание двух принципов, которые противоречат друг другу и все-таки непрестанно связаны между собой, — эта связь и придала всему делу мировое значение.

Совершенно независимо от личных интересов, которые мог преследовать какой-нибудь властитель вроде Константина, мировое положение Римской империи, своеобразное направление римского духа в религиозном и нравственном отношении и объединенное государственное устройство вместе с всеобщей литературой содействовали тому, чтобы дать христианству перевес над всеми другими религиями.

Четвертая лекция.

После того как мы говорили о распространении религии, следует ответить на вопрос, каким образом совершалось устройство церкви. Кое-что при этом заимствовано было из иудейства, например, различие между духовным и светским чином. Как у иудеев существовало особое колено, Левино, которому предпочтительно перед другими предоставлено было отправление богослужения, так и в христианстве на духовных лиц в противоположность «народу» (λαός), смотрели как на «удел Божий» (κληρος). Несмотря на несомненную в некоторых случаях аналогию с иудейством, церковь все-таки получала отличный от иудейства образ, именно благодаря в высшей степени своеобразному явлению синодов и соборов.

Уже в самые ранние времена существования церкви образовались общины, стоявшие в известной связи между собой и присвоившие себе нечто вроде церковного самоуправления. Наиболее важно, однако, то, что представители этих общин, — епископы, собирались вместе и решали в качестве последней инстанции спорные вопросы догмы, утверждая, что на этом их собрании присутствует Св. Дух. При этом удивительно, что эти синоды прежде всего стали собираться в чисто республиканских местностях, где еще сохранилась идея о старых союзных отношениях, как например, в Ахеелу. Первоначально эти синоды носили частный характер, позднее они расширились во всеобщие соборы, на которые стекалась вся вселенная (οιχοσμενη);

здесь христианство получило ту догматическую основу, на которой мы стоим и поныне.

Этот весьма важный институт сообщил христианству начало представительства для выработки доктрины, какого никогда еще не было, и в то время как государственное устройство выработывалось в абсолютизм, в церкви обнаруживалось совсем иное явление, именно самоуправление и самоопределение снизу, которое, обнимая собою все, образовывало рядом с большим государством собственное царство.

Христианство было уже довольно широко распространено то при гонениях, то при потачке со стороны императоров, когда император Константин в середине IV столетия нашел для себя выгодным (или был подвигнут к этому каким-нибудь другим, нам неизвестным обстоятельством) принять христианство. Для него было делом величайшей важности стать во главе и этой новой организации, после того как он в качестве императора стал во главе армии и в качестве правителя — во главе им устроенного управления. Он понял и высокое значение этого шага и вел себя как верховный, так сказать, внешний епископ церкви, благодаря чему только и было вполне закончено объединение империи.

Благодаря этому и церковь, которая до сих пор не представляла единства, приняла характер крупного соединения; ибо римские епископы в то время еще были далеко от того, чтобы считать себя верховными главами церкви; напротив, патриархи все вместе стояли под императорами, хотя в духовном отношении не слишком-то слушались их.

И вот возник вопрос: ограничиться ли христианству этим все-таки узким пространством Римской империи?

Римская империя таила в своих недрах массу неурядиц. К ним надо отнести прежде всего гибельное, слишком насильственно действовавшее управление. Далее, Римская империя не давала достаточного прироста населения; вследствие опустошительных гражданских войн, вследствие все более и более распространявшегося нерасположения к браку и вследствие других причин империя терпела бесконечную убыль населения; его приросту нисколько не способствовало и христианство, в котором очень скоро обнаружались монашеские тенденции.

Итак, мы видим здесь тот странный факт, что Римская империя, обнаружив величайшее творчество, которое было необходимо миру, сама пустела.

Теперь дело было в том, чтобы проявилась экспансивная сила получивших господство мировых идей. Это могло произойти двояким манером; во-первых, эти воззрения могли путем передачи сообщаться остальным нациям — это отчасти и случилось, в Британии христианство распространилось далеко за пределы римского вала. Это происходило, однако, больше в сектантской форме, которая не могла вполне соответствовать задаче. Во-вторых, распространение христианских идей могло совершаться путем войны, которая приводила в постоянное соприкосновение с римлянами множество народов, особенно германцев, и которая благодаря этому сделалась также моментом распространения христианства.

Но оба эти фактора не могли сделать того, чтобы мир воспринял целиком элементы христианства; распространение всемирно-исторических идей и культуры, развивавшейся в Римской империи, совершалось более путем завоеваний чужих народов в Римской империи, чем победами римлян над чужими народами. Если бы римляне распространили эти идеи в мире путем покорения других народов, они вместе с тем навязали бы другим народам свой язык и всю свою сущность; весь остальной мир был бы так же романизован и эллинизирован, как раньше Восток и часть Запада. Но дело не дошло до этого; другие нации мира через это утратили бы всю свою непосредственность. Ввиду того, однако, что римляне не были даже и достаточно сильны для совершения этого, задача эта выпала на долю германцев. Они со всех сторон прорвались через римский *limes*, и только благодаря принятию ими христианства мировая религия стала религией всех наций.

Удивительную противоположность этому представляют арабы, которые не приняли мировой религии, но восприняли римскую культуру. Благодаря этому развилось то удивительное мировое сцепление, что на одной стороне, на Западе, культивировали и распространяли переданные римлянами воззрения германцы, а на другой — на Востоке — арабы.

Пятая лекция

Преобразование Римской империи под влиянием нашествий германцев и завоеваний арабов

Наши германские предки следующим образом расположены были вокруг римского мира: на северофранцузском и нидерландском побережьях сидели фризы и саксы. Римляне выставили в этих краях после середины III столетия военачальника, по имени Каравзия, против морских разбойников, беспокоивших берега. Этот военачальник обладал бунтовскими наклонностями, соединился с саксонскими прибрежными жителями в Германии и сделал их сильными на море, чем те уже очень рано стали пользоваться для нападения на Британию, отделенную от них проливом.

В низовьях Рейна, на римских границах, около середины III столетия появились франки, именно в самом устье реки — франки салические, несколько дальше вверх по течению — рипуарские. Саксонцы с одной стороны, франки с другой были здесь, на севере, ближайшими соседями римлян.

По рубежу (*limes*) между Рейном и Дунаем расположились различные германские народы, из которых наиболее значительными были алеманны. Германцы распространились вообще по всему Дунаю до его устья (в Дакии и Мизии), где над множеством других племен — вандалов, гепидов и других — господствовали готы.

У нас есть из ранней эпохи империи удивительные очерки о германцах Тацита, историка, который обладал достаточным всемирно-историческим пониманием, чтобы подметить природную противоположность между римлянами и германцами. Из этих различий я упомяну лишь некоторые: прежде всего римскую испорченность в противоположность германской простоте и умеренности; затем, в особенности, в высшей степени своеобразный военный строй германцев. В то время как римское военное соединение покоилось преимущественно на строго военном повиновении, германский строй основан был на принципе личной и наследственной верности. У германцев существовала, во-первых, королевская власть, как своего рода религиозное дос-

тоинство, и во-вторых, дружинный строй, учреждение, в силу которого во время войны к знатнейшим германцам примыкали другие, обязывавшиеся охранять избранного ими вождя, который, в свою очередь, обязывался быть для них верным и заботливым вождем; это один из превосходнейших элементов, доказывающий различие между римлянами и германцами: у римлян все было государством, а личные отношения были совершенно задержаны в своем проявлении. Этот дружинный строй как раз и придавал германцам большую сплоченность в борьбе с римлянами. Это обстоятельство имело величайшее значение для всемирной истории в том отношении, что у римлян, правда, выработалось государственное устройство, но только как внешняя форма, которую они не могли вполне реализовать, так как один властитель сталкивал другого, между тем у германцев, в их древнем королевском достоинстве и в их своеобразном военном быте, именно всепроникающая связь верности сообщила всей новой истории свойственный ей отпечаток. Эти германцы имели для римлян тем большее значение, что римское государство, как мы видели, беднело населением и не могло больше отстаивать своих границ. Пограничная область была германизирована путем долгого и медленного движения еще до переселения народов; вообще самое переселение не надо представлять себе всеобщим движением Европы (такое движение произошло только один раз), а пограничной борьбой, в которой германцы наступали, а римляне отступали. Однако без этого не произошло бы в Европе того великого изменения, которое, казалось, также было намечено судьбой.

Первый толчок к переселению народов исходил от готов. Они пришли у Черного моря в столкновение с гуннами, народом, принадлежащим к одной семье с чудью и финнами. Гунны в IV веке свергли великую державу остгота Германиха и после этого так стеснили вестготов, что последние должны были просить себе убежища в пределах Римской империи, в чем им не было отказано. Тогда они большими толпами на челнах переправились через Дунай в Римскую империю. Здесь они, однако, перессорились с правителями провинций, которые отняли у них детей и скот в уплату за



Штурм Рима вандалами



Аркадий
 Мрамор. Археологический музей.
 Стамбул

доставленные пришельцам съестные припасы. Из-за этого в 378 году дело дошло до генеральной битвы при Адрианополе, в которой император Валент был убит и готы остались победителями, так что они утвердились в Мизии и стали играть там видную роль.

Пока здесь почти непрерывно происходили битвы и благодаря этому империя пришла в величайшее замешательство, почти все германские народы пришли в некоторое движение. Сами вестготы, которые перешли в Восточную Римскую империю и из среды которых там вышел в V веке Аларих, доставляли бесконечные хлопоты римским правителям. Император Аркадий в конце концов не нашел другого средства избавиться от них, как направить их на Западную империю, после чего они в самом деле под начальством Алариха двинулись в Италию.



Аттила и папа Лев I

Одновременно с этим на Запад устремлялись и другие народы, именно вандалы, аланы, свевы. Эти три племени перешли сначала через Рейн, отправились в Галлию и оттуда в Испанию. Вандалы позднее переправились в Африку и основали там в начале V века большое государство на развалинах Карфагена.

Однако между этими германскими племенами надо делать различие: одни, как, например, Аларих и его дружина, устремлялись всенародным войском, т. е. народ представлял собою в то же время и войско; притом они везли с собою жен и детей, равно как и все необходимое к жизни, и всегда готовы были к войне. Они приходили в Римскую империю добывать себе денег (субсидии) и средств к жизни, и так как ни того, ни другого они добиться не могли, то они поселялись в значительной части империи в виде военной касты, под начальством своих предводителей, которым они обязаны были военной службой и которые в то же время были и

их королями; здесь они разделялись с провинциалами обыкновенно так, что последние выделяли им часть земли. К таким народам принадлежали готы, одна часть которых, именно вестготы, завоевали Рим, затем перешли в Галлию (их главным средоточием была Тулуза) и оттуда распространились и в Испанию; затем бургундцы, которые осели в римских провинциях по Рейну и Роне; свевы, их соперники — не совсем германского происхождения, — аланы и вандалы.

Другая часть германцев медленнее проникала из родных мест через границу и заводила колонии. В то время как вышеназванные народности, раз успокоившись, занимали лишь часть области, — там, куда проникали эти колонизирующие народы, не оставалось ничего римского. К этим народам принадлежали алеманны, саксы, франки.

На некоторое время выступил еще другой вопрос. С самого начала гунны принимали большое участие во всеобщем перевороте; теперь они основали на Дунае могущественное государство и властвовали там над множеством германских народов (остготы, гепиды и т. д.) И вот король гуннов Атила сделал попытку покорить всю Западную Римскую империю под власть своих гуннов. А эти еще были совершенными варварами и оставались совершенно недоступными культуре. Сделайся они господами Римской империи, варварство одержало бы победу над Европой. Но этому не суждено было случиться. Атила был разбит на Каталаунской равнине в Галлии (у Шалона-на-Марне), в битве, имеющей всемирно-историческое значение. Эта битва замечательна еще и потому, что здесь германцы стояли друг против друга: одна часть их, именно вестготы, соединилась с римлянами, другая — с Атилой (451).

В Италии предводитель германских вспомогательных народов — герулов, турцилингов и др. — по имени Одоакр положил конец Западной Римской империи (476 г.); но римляне Восточной империи утверждали, что Италия принадлежит им, и поэтому подстрекнули остготов отправиться в Италию; те последовали этому призыву и, победив Одоакра, основали под господством Теодориха остготское государство, которое, впрочем, приближалось скорее к типу народных полчищ — войск.



Самое древнее изображение крещения Хлодвига
 Музей изделий из слоновой кости в Амьене. X в.

Благодаря своему избавлению от готов Восточная империя снова приобрела большую силу, и к началу VI века Юстиниан при помощи своего отличного полководца Велизария мог уже настойчивее преследовать мысль о восстановлении Римской империи в полном ее объеме. Велизарию удалось прежде всего разрушить государство вандалов, после чего он обратился против остготов. Чтобы окончательно разбить их, преемник Велизария по командованию, Нарсес, призвал также на помощь лангобардов, которые сидели в то время на среднем Дунае. Между тем последние вскоре после этого явились со всею своею силою, чтобы вновь отнять у византийцев только что завоеванную Италию и оставить ее за собой. Греки продолжали владеть лишь значительною частью морского берега — именно Равеннским экзархатом, Венецией, Неаполем и южными оконечностями материка.

Посмотрим теперь, какой удивительный вид приняли различные части Западной Римской империи.

В Италии нельзя было прийти к единству, так как здесь постоянно противодействовали друг другу три элемента: 1. папство, усилившееся во время всеобщего замешательства; 2. греческий элемент, которому, собственно говоря, по праву принадлежал и Рим; 3. лангобарды, которые владели почти всей верхней Италией, Тосканой, а в нижней Италии — Беневентом. Таким образом, уже в то время совершилось разделение Италии на разные области, которое существует и до нынешнего дня.

Вандалы совершенно исчезли из истории, после того как их царство в Африке было разрушено; напротив, вестготское королевство в Испании получило в высшей степени оригинальную форму: именно после обращения вестготов из арианства иерархия получила могучее влияние, так что короли, которые были избирательными, постоянно оказывали повиновение высшему духовенству, и вообще все испанское государственное устройство уже носило иерархический характер.

Но всего замечательнее сложились отношения в Галлии, куда в конце V века устремились франки. Их король Хлодвиг победил сначала римлян, которые при Сиагрии образовали нечто вроде королевства, затем бургундцев и часть

вестготов, не ушедших в Испанию. По-видимому, он вступил в соглашение с побежденными уже, но еще не уничтоженными римлянами, соглашение, в силу которого они примкнули к нему. Благодаря своему обращению в католическое исповедание и подавлению арианства, которое исповедывали бургундцы и вестготы, он приобрел сильную поддержку духовенства, вследствие чего ему явилась возможность не только подавить своих внутренних врагов, но и распространить свое господство далеко в глубь Германии.

В Британии, напротив того, все римское было уничтожено варварами. Все, что только оставалось из церковных элементов, удалилось в христианские неримские владения, к кельтам, особенно в Ирландию, и только позднее христианство вновь введено было в германской Британии.

В остальных провинциях как раз церковь стойко удержалась под всеми этими развалинами.

Если государство было уничтожено, вся сила сопротивления сосредоточилась в епископствах. Меж тем благодаря этому и короли естественно оказались заинтересованными в поддержании и распространении церкви; так что благодаря этим завоеваниям среди величайших бурь совершились все-таки два важных момента мирового развития. Римская империя на Западе, правда, была разрушена, зато провинциалы вошли там в некоторую связь с завоевателями, из которых произошли новые нации. Однако вместе с тем Запад — Италия, Испания, Галлия, Британия, Германия — таким образом вполне отделился от Востока; вследствие этого смешения германских и романских элементов он составил с этих пор совершенно обособленный мир. На этом покоится все дальнейшее развитие отношений вплоть до новейшего времени.

Шестая лекция.

Среди главных элементов образовавшегося теперь мира с римской стороны перед нами выступает провинциальная аристократия, которая на началах договора мирно ужилась с вторгнувшимися королями и знатными вождями. Если



Император Юстиниан
Деталь мозаики. Сан Витале

спросить теперь, при каких обстоятельствах они слились в одно целое, то перед нами важным моментом той эпохи явится законодательство.

В тот момент, когда происходило все это, в Константинополе на престол вступил император Юстиниан (527), который завершил законодательство Римской империи. Он в самый настоящий момент кодифицировал в два больших собрания римское право, живое развитие которого приостановилось при вторжении варваров, так что это исконное творение римского духа, над которым последний работал в течение столетий, получило свою твердую форму только ко времени падения мирового владычества Рима. Мы и здесь находим подтверждение того наблюдения, что, пока умы находятся в состоянии непрерывного творчества и деятельности, они и не думают о фиксировании отношений, и что только с наступлением той эпохи, когда не хватает живого импульса, появля-

ются люди, которые отдаются собиранию. Собиратели юстиниановского времени выискивали из массы лежавшего перед ними материала то, что им казалось самым лучшим; это-то Юстиниан и объявил единственно действующим законом Римской империи.

Нечего было, конечно, и думать, чтобы тогдашние германцы желали или даже только были способны жить по этим за-

конам. Вестготский король Атаульф, преемник Алариха, отправляясь из Италии в Галлию, открыто высказывал, что он обратил бы Римскую империю в Готскую, если бы только его готы захотели жить по законам, как римляне. Однако известное количество законных установлений теперь оказывалось необходимым. Поэтому среди этих наций делались своеобразные попытки законодательства, целью которого было связать в одно общество оба живущих рядом народа — германцев и римлян. Такое значение имеют *leges*, или народные «правды» вестготов, бургундов, франков и т. д. Более всего в этих законах нам бросается в глаза так называемый вергельд, в основании которого лежит воззрение, что заинтересованным в уголовных случаях является не государство, а родственники убитого или пострадавшего, т. е. воззрение, идущее прямо вразрез римской государственной идее. Однако хотя подобная комбинация правовых положений выглядела варварской, она являлась все-таки прогрессом духа законности и представляет собой одно из значительнейших событий этого времени, событие, в котором мы можем также усмотреть распространение мировой идеи.

Но как можно было управлять этими странами в остальном и как ими управляли? От древнеримского управления повсюду уцелело еще многое; германские короли принимали сохранившееся и пользовались им для увеличения своего могущества. Сюда относится организация финансового управления, которая была очень прибыльна для королей, так как если не германцы, то провинциалы были подвержены обложению (*tributaria sollicitudo*). Следовательно, и сама идея римского управления перешла на германского короля; это тем более важно, что германские короли с особенным честолюбием добивались своего признания со стороны восточных римских императо-



Абуль Кассим Магомет

ров. Вся позднейшая абсолютная монархия покоится на мысли о восстановлении Римской империи. В германское же королевское достоинство в-его позднейшем развитии, помимо римских элементов, вошел в особенности германский принцип, считающий правительственную власть наследственным правом, чего не было у римлян. Поговорив о политике, мы должны теперь бросить взгляд на религию и культуру, чтобы и здесь усмотреть зачатки современной культуры.

В романском мире, как выше было сказано, главнейшим из уцелевших элементов была церковь, которая владела неизмеримым содержанием цивилизации вследствие своей связи с философией и литературой. В эту церковь вошли теперь и германцы. Как римляне вступали в германскую придворную и военную службу, так германцы вступали в службу духовную: мы видим, например, у вестготов и во франкской монархии множество германцев епископами; у франков короли некоторое время имели величайшую власть над епископами, они их даже прямо назначали; но чем слабее становилась власть меровингских королей, тем сильнее рос авторитет епископов, еще не завися пока от Рима. Дальнейший вопрос в том, как догма и культ этой церкви могли быть сообщены варварам, насколько варвары были способны воспринять догму, образовавшуюся путем глубокомысленнейших комбинаций, и как культ чистой религии мог быть слит с германским духом, одичавшим в войнах и вследствие войн.

Догма была сообщена германцам в виде голой формулы, причем о содержании вовсе не заботились, и к культу странным образом примешалось языческое идолопоклонство. Однако если даже догма была понята формально, то все-таки эта формула заключала в себе истину, и впоследствии снова могло развиться чувство к таинственному; это был, можно сказать, единственный путь, которым христианство могло быть сообщено этим народам.

В культуре и литературе также стояло друг против друга два различных элемента: римская культура и литература позднейшего времени носила резюмирующий характер; доктрина излагалась в повсеместных школах в виде готовых результатов; об исследовании не было речи ни в одной научной отрасли. С этой несколько окостеневшей римской ли-

тературой германское начало с своей поэзией и сагами также пришло в соприкосновение. Особенно наглядно выступает это у историков: у Иордана в его истории готов, у Григория Турского в его истории франков, позднее у Павла Диакона в его истории лангобардов. В этих в высшей степени несовершенных опытах проявляется то смешение и соприкосновение различных начал, из которых в позднейшее время вышел третий жизнеспособный элемент.

Церковь, королевская власть, государственный строй, управление, право, литература — сделались теперь романо-германскими.

Совсем иным образом началась борьба существующих элементов с вновь образующимися на Востоке. Там вокруг Римской империи не было расположено таких племен, которые, вступив на военную службу к империи, стремились бы овладеть ею: главное движение на Востоке выходило из религии. В религии восточные народы еще сохранили жизненную силу, и в этом отношении здесь были налицо величайшие противоположности: 1. евреи с своим древним монотеизмом, имевшие в IV и V веках такой успех среди арабов, что целое племя этого народа перешло в иудейство; 2. арабское идолослужение, преимущественно поклонение созвездиям; 3. парсизм, снова возродившийся, и ряд родственных дуалистических доктрин; 4. далее на восток буддизм, враждовавший с браминской религией, что отражалось в общем движении и на Западе. С другой стороны на Восток устремлялись изгнанные из Римской империи по постановлениям соборов секты несториан, монофизитов и других, споривших главным образом о том, как надо представлять себе Сына Божьего.

В средину этого огромного стечения всех религий мира вступил в конце VI века Магомет, который, будучи торговцем по профессии, во время своих путешествий приходил в соприкосновение со всеми этими религиозными культурами. Он не хотел, однако, примириться ни с иудейством, ни с сабеизмом, которому предано было его племя, ни с христианством, но выставил свою собственную религию, которая смешана была со всеми этими разнообразными элементами

и которую понимают под именем ислама, т. е. преданности Богу. После многих и жестоких гонений ему удалось собрать около себя толпу верующих, фанатизм которых скоро ниспровергнул перед собой все.

Эта религия возникла в тот момент, когда персы находились в сильной борьбе с Восточной Римской империей. К этим двум государствам Магомет обратился с требованием покорности, и когда они не оказали ее, его полчища, опытенные национальным и религиозным одушевлением, набросились как на Восточную Римскую империю, так и на персов. Их огромные завоевания произведены были в две эпохи. В первую они завоевали Сирию, Иерусалим, Египет и Персию и проникли до индийских границ; во вторую, около середины VII столетия, Омайяды бросились на Запад, заняли побережье Африки, оттуда переправились в Испанию, где наголову разбили вестготов в знаменитой битве при Херес де-ла-фронтера, перешли Пиренеи и на некоторое время утвердились в одной части Галлии. Так основали они неизмеримое государство, столицей которого был сначала Дамаск, а позднее Багдад.

Это второе великое изменение, которому подвергся римский мир с другой стороны.

Перевод И.И. Шитца



ОГЮСТЕН ТЬЕРРИ

10 мая 1795 г. — 22 мая 1856 г.

Жизнь

Тьерри родился в небогатой семье мелкого провинциального чиновника.

В 1813 г. окончил Высшую нормальную школу в Париже. Через год, в 1814 г., стал личным секретарем французского историка К. А. Сен-Симона.

Несколько лет Тьерри в сотрудничестве с Сен-Симоном занимался политической публицистикой, отстаивая либеральные идеи во французском обществе.

В 1817 г. он уходит от своего учителя, не найдя взаимопонимания с Сен-Симоном по некоторым политическим вопросам.

Тьерри начинает заниматься историей средневековой Фран-



Сен-Симон

ции, стремясь обосновать притязания буржуазии на политическую власть в условиях реставрации монархии Бурбонов. Несмотря на стремление Тьерри отмежеваться от Сен-Симона, его статьи 1817 — 1821 гг. во французских либеральных газетах обнаруживают сильное влияние идей учителя.

В 1820 г. он публикует статью, посвященную истории Жакерии.

В 1825 г. выходит трехтомное сочинение «История завоевания Англии норманнами»

В 1830 г. Тьерри становится членом Академии надписей.

В 1840 г. выходит новое сочинение Тьерри — «Рассказы из времен Меровингов»

В 1853 г. публикуется «Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия», в котором Тьерри попытался проанализировать с новых позиций третье сословие, — в условиях распада его в XIX веке на два класса: буржуазию и пролетариат.



О. Тьерри

Судьба

Тьерри был одним из основателей романтического направления во французской историографии и одним из первых социальных историков, стремившихся проследить историю третьего сословия.

Тьерри откровенно признавал, что взялся за изучение истории с целью «реабилитации средних и низших сословий, предков третьего сословия», незаслуженно забытых историками. «Сам выходец из простонародья, я требовал, чтобы ему была отдана его доля славы в наших анналах, чтобы получили дань уважения традиции плебейской чести, энергии и буржуазной свободы».

Для Тьерри французское общество делилось на дворянство и третье сословие. Поэтому революция 1848 г., обна-

ружившая внутри третьего сословия антагонизм между пролетариатом и буржуазией, глубоко потрясла Тьерри, опрокинув его историческую концепцию (борьба классов, согласно Тьерри, прекращается с победой третьего сословия). Он писал: «... разразилась катастрофа февраля 1848 г. Я был потрясен ею вдвойне, прежде всего как гражданин, а затем как историк... История Франции, казалось, была опрокинута так же, как и сама Франция».

Впоследствии Тьерри пытался доказать, что антагонизм внутри третьего сословия возник «только вчера» и не имеет исторических корней, что столкновение между буржуазией и пролетариатом в 1848 г. явилось историческим недоразумением и не должно повториться в будущем.

Творчество

Тьерри как историк прославился благодаря своим работам по истории Франции, и в первую очередь многотомному труду «Рассказы из времен Меровингов».

Тьерри поднял перчатку, брошенную дворянством, которое устами графа Монлозье утверждало, что оно вышло из «расы победителей» — франков, вся же остальная часть нации — это потомки покоренных франками галло-римлян. Согласившись с исходными моментами теории происхождения двух рас и двух наций на французской почве, Тьерри повернул всю эту теорию против дворянства.

В основе исторической концепции Тьерри лежит мысль о том, что вся история Франции есть история борьбы враждебных сословий, начало которой положено завоеваниями.

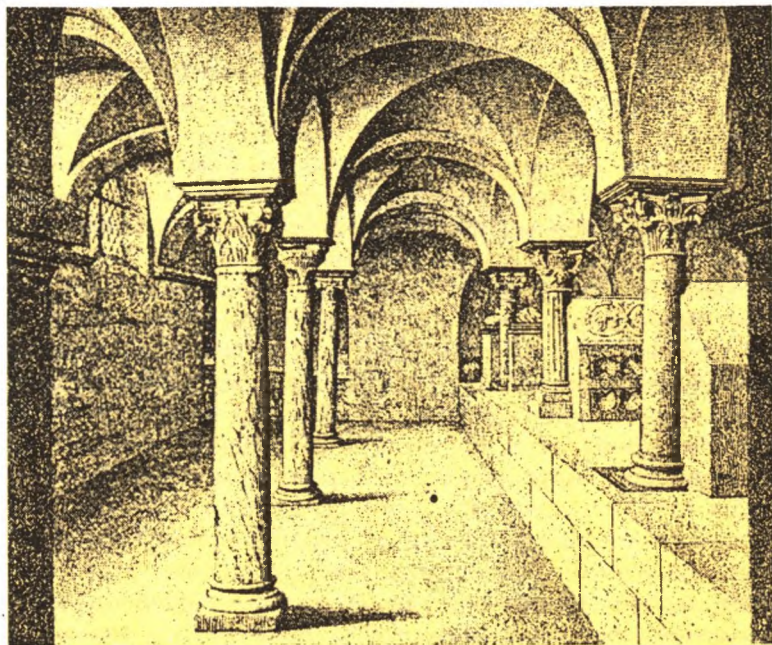
«Дух завоеваний, — писал Тьерри, — еще парит над этой несчастной страной... Современное дворянство связывает свои претензии с привилегированными людьми XVI века, которые вели свое происхождение от владетельных людей XIII века, а те, в свою очередь, связывали себя с франками Карла Великого, восходящими в своем происхождении к сикамбрам Хлодвига... Можно оспаривать лишь естественную преемственность, политическое же происхождение —

бесспорно. Так предоставим же эту преемственность тем, кто на нее претендует, а мы претендуем на преемственность противоположную. Мы — сыны людей третьего сословия; третье сословие вышло из коммун, коммуны были прибежищем для крепостных, крепостные же были жертвами завоевания. Так от формулы к формуле на протяжении пятнадцати веков мы приходим к последней форме завоевания, которую предстоит стереть».

Таким образом, третье сословие противостоит дворянству. Вся история Франции, после завоевания, есть упорная борьба двух сословий, двух рас, двух народов, вышедших из завоевания. Тьерри не скрывал своего враждебного отношения к аристократии и симпатии к низам. Особенно ярко это проявляется в его статье «Правдивая история Жака Простака». Автор пользуется термином «Жак Простак», рисуя историю долгого угнетения, а затем победоносного восстания в конце XVIII в. и свержения власти господ. История должна быть, доказывал Тьерри, прежде всего историей народа. «Самая лучшая часть наших анналов, самая серьезная, самая поучительная, — писал он, — еще не написана; у нас нет еще истории граждан, истории подданных, истории народов... Движение народных масс к свободе показалось бы нам более величественным, чем поход завоевателей, а их бедствия тронули бы нас больше, чем несчастья лишенных престола королей».

Тьерри подходил к истории, в сущности, как к процессу непрерывной классовой борьбы, хотя идея эта и выражена у него в своеобразной расовой и национальной форме. Классы Тьерри называет нациями и расами. Свою теорию Тьерри считал применимой и к истории других стран, он видел в ней открытый им исторический закон и, чтобы обосновать свою концепцию, обращался к истории не только Франции, но и Англии («История завоевания Англии норманнами»).

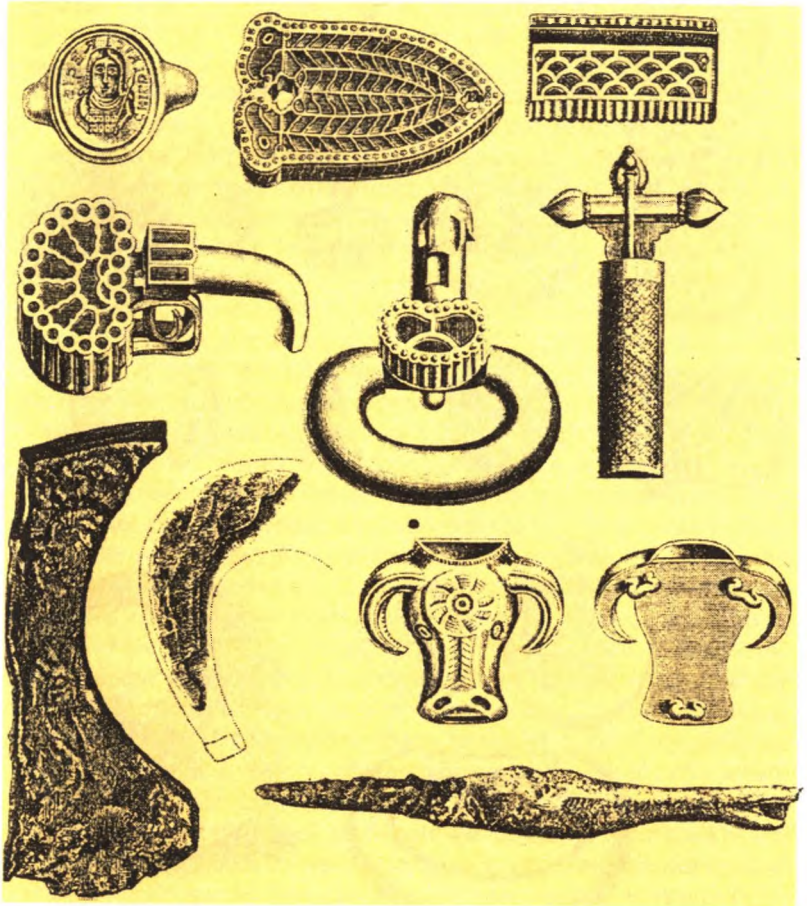
История Англии также представлялась ему борьбой двух народов, завоевателей и завоеванных, — англосаксов и кельтов, затем англосаксов и датчан и, наконец, угнетенного англосаксонского народа против норманнских завоевателей. В свете борьбы этих двух рас рассматривается вся средневековая история Англии (так, в восстании Уота Тай-



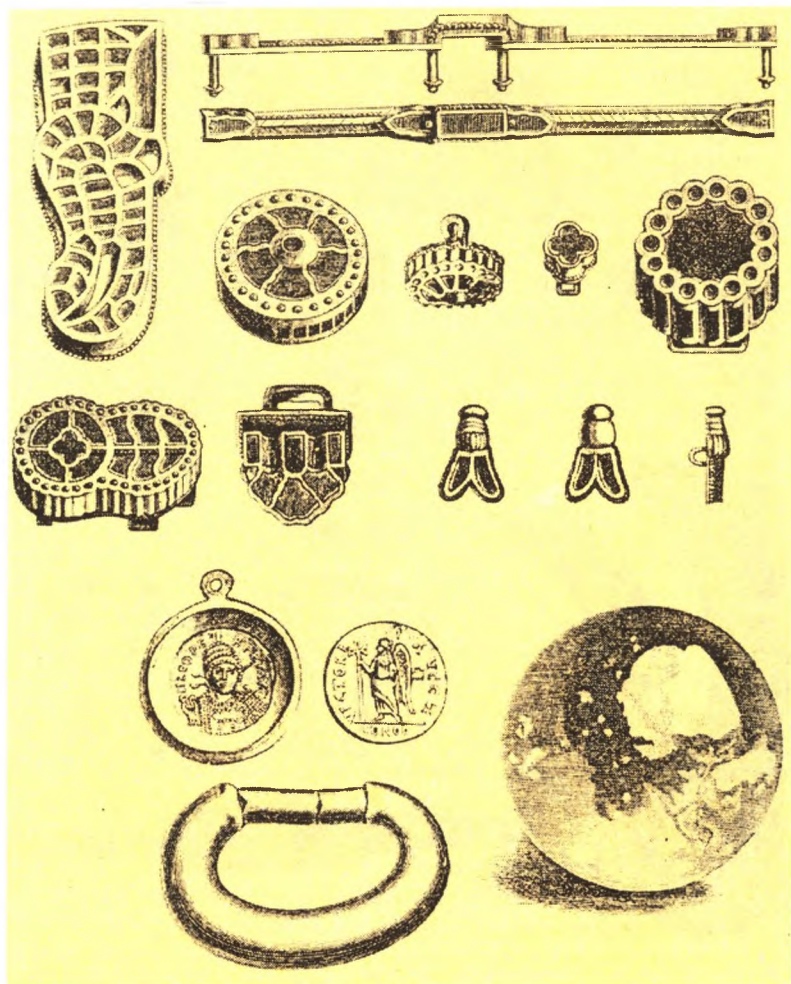
Храм эпохи Мервингов

лера Тьерри видит одно из проявлений ненависти англосаксов к завоевателям — норманнам); «раса» завоевателей в дальнейшем становится привилегированным классом.

Для творчества Тьерри характерны яркие романтические черты: эмоциональность изложения, драматизация исторических событий, любовь к деталям, создающим «местный колорит». Он привлекает в качестве основных источников хроники и легенды. Одной из главных задач историка Тьерри считал художественное воссоздание прошлого с помощью интуиции; главенствующую роль, соответственно, Тьерри отводил форме, стилю исторического произведения. Однако, в отличие от других историков-романтиков, он не идеализировал средневековье, а изображал его эпохой «военного деспотизма», господства грубой силы.



Находки из гробницы Мерovingских королей



Находки из гробницы Меровингских королей

Рассказы из времен Меровингов

Несторий и Евтихий, — эти два имени волновали римский мир V века, может быть, более, чем имена Алариха и Аттилы: Аларих и Аттила угрожали только земле, а те простирали свои угрозы даже до неба, потрясая христианство в самом главном основании его, в учении о Воплощении. Когда Дева Мария родила Эммануила, Богочеловека, пришедшего спасти род человеческий, то кого, собственно, родила она, человека или Бога? И если она родила того и другого, то в каком отношении находились между собою два естества, божеское и человеческое, в лице ее сына Иисуса? Таков был грозный в очах веры вопрос, внезапно поднятый в первой половине V века и возбудивший религиозную войну, знаменосцами которой были Несторий и Евтихий.

Никейский вселенский собор в 325 году оказал великую услугу зданию католической веры, определив догмат пресвятой Троицы и безапелляционным решением утвердив единосущность трех божественных лиц; но относительно тайны Воплощения он не входил в подробное и обстоятельное рассуждение. В его изложении веры, резюмировавшем его работы, которое мы называем его символом веры, об этом сказано только, что «Иисус Христос, единородный Сын Божий, сошел с неба для нашего спасения, воплотился и вочеловечился, пострадал, был погребен и воскрес в третий день». Это была, выраженная в общей формуле, традиционная вера большинства церквей; но эта, немного обшая, формула таила в себе много частных вопросов, которые Никейский собор не счел нужным и поднимать. Довольный окончанием своей ближайшей и непосредственно предлежавшей задачи, он оставил своим преемникам заботу выработать другое, более точное и подробное зероопределение о тайне Воплощения — что представлялось не менее важным, но не менее и трудным.

Важность и потребность этого вероопределения уже давно чувствовалась христианскими учителями, и церковь на многочисленных частных соборах установила два предела для свободы мыслей. Павел Самосатский в III веке и Фотин в IV веке учили, что сын девы Марии был простой человек, просвещенный



Победа галло-римлян над германцами

Барельеф с Триумфальной арки М. Аврелия

Духом Святым. Это учение уничтожало в самом основании совершенное Иисусом Христом дело искупления, имеющее принципом своим жертву самого Бога, приносящего себя во все-сожжение для нашего искупления: оно было вовсе не христианское и потому предано было анафеме соборами, как западными, так и восточными. В IV веке Аполлинарий Лаодикийский, став на точку зрения диаметрально противоположную, утверждал, что Иисус Христос по существу своему был истинный Бог, но не был истинный человек, что Он — вечное Слово Божие, восприявшее во чреве Марии плоть, но созданную из других элементов чем те, из коих образована наша человеческая природа, с которою она имела сходство только кажущееся. И это учение, не менее чем первое, уничтожало действительность искупления, потому что для искупления вины Адама нужно было быть в одно и то же время Богом и человеком; поэтому многие соборы осудили и это учение как еретическое. Таковы были два барьера, поставленные церковью в качестве пределов, за которыми учение переставало быть христианским.



Древние кельты

Но внутри этих двух крайних пределов традиционная вера церкви в божественного Искупителя мира царила вместе с большою свободою изъяснений ее, потому что ничто еще не было определено с точностью относительно частных, второстепенных вопросов, касающихся предмета ее. Таким образом, в рассматриваемую нами эпоху проявлялось множество различных мнений, то в поучениях епископов к их пастве, то в изданиях изложений веры или символов, которые переходили из рук в руки под именами большею частью уважаемых лиц и где пробовали разрешить вопросы, волновавшие умы. Для внимательных наблюдателей было очевидно, что христианская церковь переживала трудный процесс рождения, подобный тому, который она испытала при императоре Константине и который вызвал на свет Никейский собор.

Таково было положение вещей, когда за смертью константинопольского архиепископа Сисиния эта первая на востоке епископская кафедра сделалась вакантною. Сисиний был старец простой, снисходительный и кроткий, как голубь, но слабый, болезненный и мало заботившийся о делах своей церкви. Он ничего не подготовил, чтобы облегчить дело избрания своего преемника. Поэтому, когда он закрыл глаза, всюду обнаружился беспорядок. Образовались враждебные партии, начались происки: испорченный клир, недостойные претенденты, не пренебрегавшие никакими средствами развращения избирателей, золото, рассыпаемое щедрою рукой, — все это предвещало благомыслящим людям одно из наиболее постыдных избраний. Император Феодосий II, сестра его Пульхерия, принимавшая постоянное участие в государственных делах, в особенности же когда в них представлялся какой-либо религиозный интерес, испугались того прискорбного результата, на который все указывало им как на верный исход выборов, — и они задумали предупредить его, решившись сами выбрать епископа в другом месте. Это значило сделать то, что на нынешнем языке мы назвали бы *coup d'etat* (государственным переворотом), потому что избрание епископа имело свои канонические законы, свои регламенты и свои гражданские обычаи. Тем не менее они подумали, что из двух зол — иметь ли епископа, выбранного по правилам, но дур-

ного, или же выбранного не правилам, но хорошего, — последнее было все-таки предпочтительнее первого. Они припомнили также, что при подобном же обстоятельстве их отец Аркадий вызвал из Антиохии Иоанна Златоуста, чтобы сделать его константинопольским епископом, — и глаза их невольно обратились в эту же сторону. В Антиохии в это время между пресвитерами ее был один оратор, красноречие которого все превозносили и которого приходили слушать со всех сторон Востока; на нем-то оба властителя и остановили свой выбор — и Феодосий II немедленно послал ему приглашение как можно скорее прибыть в имперский город, чтобы занять в нем вакантный епископский престол. Этот пресвитер назывался Несторий.

Несторий был сириец, из той части Сирии, в которой протекает Евфрат и которая имела странное преимущество снабжать Восток множеством ересиархов, оттого ли, что вид дикой и печальной природы этой страны располагал умы к мечтательным созерцаниям, или соседство Аравии, Халдеи и Персии приносило в них такие идеи, которые возмущали и искажали чистоту их христианской веры. Он родился в маленьком городке *Германикии*, правильно называемом *Cesaria Germanica*, в память великого Германика, который некогда управлял Сирией. Происхождение его было довольно темное и даже низкое, так что противник его Кирилл смело мог сказать ему — в виде одной из тех теологических вежливостей, которым в полемике тогдашнего времени не было недостатка, — что он вышел из грязи и что происхождение его было постыдное. Чтобы избежать лишений, соединенных с таким жизненным положением, Несторий рано удалился из отечества, прошел Восток и остановился в Антиохии, где принялся учиться. Он посещал здесь те знаменитые школы, из которых выходили или языческие риторы, или христианские ораторы, смотря по тому, были ли ученики их крещены или нет: Несторий был крещен еще в детстве и потому вышел из них христианским оратором. Он считался одним из самых лучших и блестящих воспитанников той гимназии, которую основал Ливаний и в которой образовался один из величайших ораторов христианских — Златоуст.

По выходе из школы Несторий удалился в монастырь Ев-

препия, находившийся в нескольких милях от Антиохии, чтобы там в тишине уединения изучать творения отцов и приучить себя к подвигам монашеской жизни: это был обычный в это время искус для тех, которые предназначали себя служению церкви и проповеди; но Несторий не любил ни умерщвлений плоти, ни лишений бедности, из которых с ранней поры жизни он вынес слишком горький опыт, — и он поспешил отбросить их далеко от себя, как только мог это сделать. Что же касается до толкований отцов, то они оттолкнули его своей сухостью: живой, подвижный, но поверхностный ум неопита вовсе не был расположен к продолжительным и серьезным работам; его гением было ораторское искусство, по крайней мере в том его виде, в каком оно культивировалось тогда на форумах или в стенах церковей. К тому же он обладал величавой осанкой, полным и звучным голосом и природным даром слова; от природы бледное и сухое лицо его, светлый и глубокий взгляд придавали всей его фигуре нечто такое, что во все времена считалось принадлежностью оратора. Эти внешние качества решили его призвание. Серьезную и требующую терпения науку он презирал и не старался скрывать этого презрения. Относительно изучения отеческих толкований и канонов, которое с течением времени становилось все более и более необходимым, Несторий не раз говаривал, что при изъяснении св. книг он не справляется ни с живыми, ни с мертвыми. Зато и живые ему отомстили хорошо, а умершие еще лучше. Один современный писатель обрисовывает его в двух словах: «Он имел достаточно красноречия, но мало рассудительности».

По поступлении его в клир антиохийский епископ возложил на него обязанность катехизации, или поучения верных своей церкви, — должность, которую прежде занимал Златоуст и в которой он прославился; прославился на ней и Несторий. Толпы народа теснились на его беседы, в которых бедность доказательств скрывалась под мерно произносимыми фразами и театральным великолепием его фигуры и голоса. В сущности, пожалуй, он приобрел и заслуженный успех в этом роде красноречия — без противников, где оратор принимал в соображение только себя самого: его живое воображение быстро схватывало предметы и выражало их в

блестящих образах; но, к сожалению, эти успехи в красноречии научили его не сомневаться ни в своих словах, ни в своем знании. Он был уже на Востоке славным оратором, когда получил письмо Феодосия, приглашавшее его в Константинополь на епископский престол. Несторий охотно принял это приглашение, но, принимая его, он счел нужным, для большей важности, заставить имперский город и императора подождать себя. История говорит нам, что он на переезд из Антиохии в Константинополь употребил целых три месяца, совершая путь через Малую Азию, что, конечно, не был путь самый кратчайший: он не сердился, когда ему делали задержки. Во время этого путешествия он останавливался на некоторое время в Мопсуэте, маленьком городке, лежащем на восточном плоскогории Тавра; остановимся и мы немного на этом пребывании его в Мопсуэте, потому что оно имело заметное влияние на судьбу будущего патриарха.

В Мопсуэте было тогда епископом лицо в то время знаменитое, но которое история показывает нам только в каком-то таинственном полусвете; он назывался Феодором и был уже в глубокой старости, слепой или почти слепой. С сердцем самым прямым и благородным, с честностью, пред которой преклонялись даже враги его, Феодор соединял в себе ум оригинальный и характер независимый. Постоянный друг всех угнетенных, он нередко в этом качестве принимал под свою защиту идеи, отвергаемые большинством без достаточного основания. Обыкновенные, ходячие мнения, популярные верования возмущали его инстинктивно. Он имел, если смеем так выразиться, темперамент ереси, но без свойственной ей гордости. Мнениями своими он нисколько не тщеславился, и его стремление к исследованию вещей останавливалось всегда на тех границах, которые ему начертывали искреннее желание истины и вера, основанная на знании. Тем не менее, однако ж, он был очень смел, чтобы не сказать дерзок, и современникам его было совершенно извинительно так судить о нем; но безукоризненная честность этого человека извиняла смелость теолога. Несмотря на частное разномыслие с ним в учениях веры, самые православные люди Востока уважали и любили его; Злато-



Добрый пастырь

Мозаика в равеннской церкви св. Назария и св. Цельсия, построенной Галлой Плацидой, дочерью императора Феодосия Великого

уст до самой смерти своей питал и хранил сердечную признательность к нему, за которую Феодор, с своей стороны, платил ему преданностью почти религиозною. Епископ Мопсуэтский знал Нестория с давних пор, как уроженца стран Евфрата, и, видя его возводимого на первенствующий епископский престол восточного христианства, он откровенно говорил ему о своих мнениях и искреннем желании своем видеть их принятыми знаменитыми членами епископата. Разговор их вращался на тайне Воплощения; мы не знаем, что они говорили между собой, но последствие показало, какое действие произвели слова Феодора на путешественников, потому что Несторий был у него не один; он вез с собой из Антиохии нескольких клириков, преданных его особе, и между ними пресвитера Анастасия, которого он взял с собой в качестве будущего синкелла. Так назывался в первые века церкви секретарь епископа, его обязательный советник и поверенный его учений, равно как и его действий. Синкелл обыкновенно жил в епископском дворе, чтобы епископ всегда имел в нем надсмотрщика за своей дверью; некоторые соборы требовали даже, чтобы



Распятие. Рельеф на дереве. V в.

синкелл и спал в одной комнате с своим епископом или в соседней с нею, чтобы этим отнять всякий повод к клеветам и подозрениям насчет епископа.

Рукоположение нового патриарха состоялось 10 апреля 428 года в большой константинопольской базилике, в присутствии императора Феодосия II, императрицы Евдокии, сената и многочисленного народа, любопытствовавшего повидать и послушать его. Новопоставленный архиепископ, по обычаю и требованию того времени, произнес речь, в которой, между прочим, обращаясь к Феодосию, с свойственным ему театральным пафосом, он воскликнул: «Император, дай мне землю, очищенную от еретиков, — и я воздам тебе за это небо; помоги мне истребить еретиков — и я помогу тебе истребить Персов». Некоторые простые люди приняли эти произнесенные им слова с удовольствием; но люди просвещенные, умевшие по словам заключать о качествах души, были крайне удивлены ими. Это надменное и легкомысленное обращение показалось настолько странным в новоприбывшем, что история сохранила и самые буквальные выражения его.

Судя по горделивому и тщеславному тону этого обраше-

ния, можно было подумать, что новопоставленный архиепископ отнюдь не расположен, из благодарности за свое возвышение, подобострастно лобызать руку, его возвысившую, что в отношениях своих к двору он поставит себя в положение независимое и, если то будет нужно, готов будет мужественно постоять за свои принципы и убеждения... Но Несторий вовсе не имел в себе расположения и способности быть стойком, а тем более мучеником. На другой же день по своем посвящении, явившись во дворец, он представился самым мирным и любезным человеком. Затем он часто посещал дворец и сделался настоящим царедворцем, любил господствующую при дворе пышность, заискивал придворных почестей и скоро вкрался в доверенность к Феодосию, которого притворно считал за великого богослова. Феодосий, с своей стороны, думал о себе, что он понимает кое-что в богословских тонкостях, о которых говорил ему архиепископ, — и между ними образовался род богословского компромисса. Несторий понравился также и императрице Евдокии: он во многом напоминал ей тех блестящих риториков и софистов, которыми она так восхищалась в девичество; но строгая Пульхерия наблюдала за ним не без некоторого беспокойства и выжидала время, чтобы лучше его узнать, прежде чем полюбить или возненавидеть.

Но если тон, каким произнесены были Несторием слова, обращенные к императору, оказался фальшивым, то прямой смысл этих слов, указывавший на задуманное им преследование еретиков, скоро оправдался на самом деле. Не прошло и пяти дней со времени вступления Нестория на епископский престол, как он открыл гонение против неправославных общин, терпимых его предшественниками и самим Феодосием Великим в царствующем городе или по крайней мере в его округе. Он начал с ариан, которые в силу договора, заключенного между Аркадием и вождем соединенных готв Гайнасом, имели за стенами города часовню, в которой собирались на молитву и отправляли свои службы. Несторий самовластно отдал приказ немедленно ее разрушить. Ариане оказали сопротивление, силились защитить ее, но когда силою были выгнаны из нее, то с отчаяния сами подожгли ее. Пожар распространился от нее на город и истребил целый квартал.

Разделавшись с арианами, архиепископ предпринял поход против других еретиков; для этого он добился издания новых законов против ересей или возобновления старых, вышедших из употребления. Таким образом, ссылка, конфискация имущества, заключение в тюрьму, лишение гражданских прав, инквизиторский надзор — все это было применено им к многочисленным общинам, о которых закон, казалось, совсем забыл в продолжение полувека. Еномиане, валентиниане, монтанисты, мессалиане, маркиониты и многие другие еретики подверглись проскрипции; не было ни одной секты, — не исключая даже и такой невинной секты, как секта четырнадцатников, вся вина которых заключалась в том, что они по примеру иудеев праздновали пасху на четырнадцатый день Нисана, — которая не стала бы жертвою ревности нового патриарха. Преследуемые сопротивлялись; некоторые из них взяли за оружие, и кровь полилась во многих городах Востока.

Какая была цель у Нестория возжечь эти угасшие факелы? Желал ли он этим снискать себе благорасположение Пульхерии, которой религиозные гонения, казалось ему, не были не по сердцу, или же он хотел показать этим константинопольскому народу, что их новый пастырь одушевлен такою ревностью о православии, какой не знали его предшественники? Вероятно, обе эти причины входили в его расчет, который, однако ж, не имел успеха. Укор косвенно направленный им против доброй памяти прежних архиепископов и достигавший даже до Златоуста, глубоко оскорблял чувства константинопольской паствы и возбуждал негодование. Не менее возмутительным и изумительным представлялось гражданам Константинополя и то, что, едва только прибывши в имперский город и, по греческой пословице, воспроизведенной одним современником: «едва узнавши вкус воды из его фонтанов», он уже возбудил гражданскую войну на его улицах. Народ прозвал его поджогою, и много искренних христиан открыто отреклись от него. «Не в этом состоит дух религии, — говорил по этому поводу историк Сократ, — подобным образом действий делают ее только ненавистною». Один писатель, в православии которого не может быть никакого сомнения, Кассиан,

придает этой чрезмерной ревности иронический смысл: «Несторий, — говорит он, — заблаговременно принял меры, чтобы не существовало на свете других ересей, кроме его собственной». В самом деле, ересь его разразилась как громовой удар, прежде чем кто-либо приготовился к ней.

Однажды синкелл Нестория, пресвитер Анастасий говорил поучение к народу в присутствии самого патриарха, и вдруг, остановившись на минуту, как бы для того, чтобы сделать своим слушателям некое важное предостережение, сказал: «Остерегайтесь называть Деву Марию матерью Божией, Богородицей (Θεοτόχον); Мария была человек, а от человека не может родиться Бог». При этих словах, резко противоречивших вере и учению константинопольской церкви, между слушателями поднялся сильный шум до такой степени, что архиепископ должен был встать с своего места, чтобы защитить своего катехизатора. «Анастасий, — сказал он, — прав; не нужно более называть Марию Матерью Божией, Богородицей; она мать только человека, человекородица (ἀνδρπλοτόχον)». Эта сцена была заведомо наперед подготовлена между патриархом и синкеллом, и выражения, употребленные ими, также заранее были условлены между ними; но, несмотря на то, слова, произнесенные патриархом, произвели только то, что собрание, окончательно возмущенное ими, поднялось с мест и с шумом вышло из церкви. В продолжение всего вечера и следующих дней в целом городе только и было речи, что о сцене, происшедшей в церкви, и об учении, которое проповедовал новый архиепископ. Сильное волнение обнаруживалось во всем народе, и в среде мирян не менее, как и в клире. Много говорилось об этом и в императорском дворце; друзья Нестория стали беспокоиться; они дали ему почувствовать необходимость категорического объяснения пред собранием народа, чтобы избежать недоразумений и с точностью определить почву, на какой стояли с той и другой стороны. Несторий обещал это сделать, и так как приближалось 25 декабря, праздник Рождества Христова, то он и отложил свои объяснения на этот великий день: более удобного времени для изъяснения догмата Воплощения нельзя было и выбрать.



ФРАНСУА ОГЮСТ МИНЬЕ

8 мая 1796 г. — 24 марта 1884 г.

Жизнь

Закончил юридический факультет в Эксе, на котором сблизился с Тьером. Занимался первое время адвокатской практикой.

Его исторические интересы обнаружились рано. В 1820 г. его статья «Похвала Карлу VII Победоносному» была отмечена Нимской Академией.

В 1821 г. Минье переезжает в Париж, где начинает работать в либеральной газете «Курьер франсэ».

В конце этого же года вышла в свет первая книга Минье, привлекавшая внимание критики, — «О феодализме, об установлениях Людовика Святого и о влиянии законодательства этого государя». Дон в рецензии отмечал, что книга пора-

жает не столько объемом, сколько глубиной и верностью общих рассуждений.

В 1822—1823 гг. Минье читал в университете «Атений» курс лекций по истории Реформации XVI в., которой он не перестанет заниматься в течение всей жизни. Год его преподавания (1823—1824) был посвящен актуальной в то время теме — английской революции XVII в., включая события 1688 г. Минье сопоставлял английскую и французскую революции и намекал на сходство событий, чтобы показать возможность окончательной смены династии во Франции.

В 1824 г. Минье выпускает «Историю французской революции», вызвавшую оживленную полемику.

В сентябре 1827 г. состоялся судебный процесс над Минье по поводу его брошюры, в которой рассказывалось о столкновениях парижан с полицией на похоронах Манюэля. Суд закончился 28 сентября оправдательным приговором.

В 1829 г. Минье основывает совместно с Тьером и А. Каррелом газету «Насьональ», сыгравшую большую роль в Июльской революции 1830 г. В самой революции Минье принял активное участие. Он подписал протест журналистов против июльских ордонансов и был на парижских баррикадах.

После Июльской революции Минье отказывается от предложения войти в правительство. Однако становится директором Архива иностранных дел, что открыло ему широкие возможности для исторических исследований.

В 1833 г. Минье ездил в Испанию с дипломатической миссией.

В 1833 г. он становится членом Академии моральных и политических наук, в 1836 г. — членом Французской академии, в 1837 г. — секретарем Академии гуманитарных наук. Основная деятельность Минье после Июльской революции — научная. Наиболее знаменитыми трудами того периода его жизни были: 4-томное собрание документов о дипломатических сношениях — «Испанское наследство» (изданное в 1836—1842 гг.), «История Марии Стюарт» (1851 г.), «Карл V» (1854 г.), «Соперничество между Франциском I и Карлом V» (1875 г.).

Судьба

До сих пор ходит не подвергавшаяся сомнению легенда о том, что Минье написал свой основной труд «История Французской революции» (700 стр.) за четыре летних месяца. Это очень трудно представить, читая сложный текст со старательно обдуманной научной концепцией и богатым фактическим материалом. Во всяком случае, «История Французской революции» Минье удалась.

Историки полемизировали с ней на протяжении всего XIX века. Через 35 лет после первой ее публикации, в конце 50-х годов, правительство Наполеона III рекомендовало преподавателям истории воздержаться от ссылки на историков «новой школы», особенно на Минье и Тьерри. Но «левые» всегда ценили ее очень высоко. В 1886 г. Ф. Энгельс советовал читать работу Минье для изучения истории французской революции. Она была реальной силой еще в эпоху Парижской Коммуны. Один из ее деятелей, представитель бланкистско-якобинской группы Феликс Пиа, никогда не расставался с сочинением Минье и носил его в кармане.

Творчество

В своей работе «История Французской революции» Минье видел в революции закономерное явление, подготовленное предшествующим историческим развитием. Он подчеркивал роль классовой борьбы, доказывая, что борьба политических партий в годы революции явилась отражением классовых противоречий. «Конституция 1791 г., — писал он, —... была делом сильного в то время среднего сословия...» Либерал, Минье с большим сочувствием отзывался о фельянах, а особенно о жирондистах, с сожалением отмечая, что их власть сменилась диктатурой якобинцев (или, как Минье писал, «властью толпы»). Однако он подчеркивал, что революционный террор 1793 — 1794 гг. был вызван ожесточенным сопротивлением контрреволюционной оппозиции внутри страны и враждебными действиями воен-



Карл VII



Людовик XII Святой

ной коалиции европейских монархий и был спасителем для Франции. «Революция была спасена, и, чтобы сохранить ее, нужно было вернуться к законному режиму», — так характеризует он обстоятельства, приведшие к термидорианскому перевороту.

Движущей силой исторического процесса, по Минье, была «необходимость» — человеческая реакция на события. Она может быть прежде всего строго разумной и сознательно целесообразной. Тот или иной деятель или группа деятелей, хладнокровно и правильно взвешивая обстоятельства, определяют путь, которым легче всего прийти к цели, и направляют события по этому пути. Так поступали основные действующие лица и партии революции. Однако в переломные моменты революции «необходимость» становилась часто самостоятельной силой. Вожди и партии действовали под диктовку событий, руководимые борьбой интересов, фанатизмом и гневом. События были умнее их. Учредительное и законодательное собрания, вопреки своей воле и государственному разуму, боясь восставшего народа, принимали меры, углубившие революцию и приводившие революцию и цивилизацию не к гибели, а к торжеству.

Для Минье революция была совершена бессознательно, вопреки желаниям и намерениям ее вождей.

Введение

Я собираюсь дать краткий очерк французской революции, с которой начинается в Европе эра нового общественного уклада, подобно тому как английская революция начинает эру новых правительств. Эта революция не только изменила соотношение политических сил, но произвела переворот во всем внутреннем существовании нации. В то время еще существовали средневековые формы общества. Вся земля была разделена на враждовавшие друг с другом провинции, а общество разделялось на соперничающие друг с другом классы. Дворянство, утратив всю свою власть, однако, сохранило свои преимущества; народ не пользовался никакими правами; королевская власть не была ничем огра-

ничена, и Франция была предана министерскому самовластию, местным управлениям и сословным привилегиям. Этот противозаконный порядок революция заменила новым, более справедливым и более соответствующим требованиям времени. Она заменила произвол — законом, привилегии — равенством; она освободила людей от классовых различий, землю — от провинциальных застав, промышленность — от оков цехов и корпораций, земледелие — от феодальных повинностей и от тяжести десятины, частную собственность — от принудительного наследования; она все свела к одинаковому состоянию, к одному праву и к одному народу. Чтобы произвести столь обширные реформы, революции пришлось победить много препятствий, и это вызвало наряду с длительными и благодетельными результатами ее временные излишества. Привилегированные классы старались помешать ей. Европа пыталась подчинить ее себе; но, обострив этим только борьбу, она не могла ни изменить ее силы, ни уменьшить успеха. Внутреннее сопротивление привело к господству масс, а наступление извне — к военному деспотизму. В то же время, несмотря ни на господствовавшую анархию, ни на деспотизм, главная цель была достигнута: в империи во время революции разрушилось старое общество и на месте его создано новое.

Когда какая-нибудь реформа сделалась необходимой и момент для выполнения ее наступил, то ничто уже не может помешать ей и все ей способствует. Счастливы были бы люди, если бы они умели этому подчиняться, если бы одни уступали то, что у них есть лишнего, а другие не требовали бы того, чего им не хватает; тогда революции происходили бы мирным путем, и историкам не приходилось бы упоминать ни об излишествах, ни о бедствиях; им бы только пришлось отмечать, что человечество стало более мудрым. До сих пор летописи народов не дают нам ни одного примера подобного благоразумия: одна сторона постоянно отказывается от принесения жертв, а другая их требует, и благо, как и зло, вводится при помощи насилий и захвата. Не было еще до сих пор другого властелина кроме силы.

Передавая историю этого важного периода, со дня открытия Генеральных штатов и до 1814 года, я постараюсь, по

мере того как буду излагать ход революции, истолковывать решительные моменты ее. Мы увидим, чья вина в том, что, начавшись при обстоятельствах, обещавших полный успех, она так жестоко выродилась; каким образом она привела Францию к республике и каким образом на обломках этой последней она воздвигла империю. Эти различные фазы ее были почти неизбежны, так как события, обусловившие их, имели непреодолимую силу. Однако было бы слишком смело утверждать, что все это иначе и быть не могло; наверное можно сказать лишь одно, что революция, имея причины, которые ее произвели, и со страстями, которые она пробудила, должна была иметь такой ход и такое окончание. Раньше, чем приступить к истории революции, посмотрим, что привело к созыву Генеральных штатов, которые, собственно, и привели ко всему остальному. Я надеюсь, что, излагая все, что предшествовало революции, покажу, что избежать ее было так же трудно, как трудно было вести ее.

Французская монархия со времени своего основания не имела ни постоянной формы, ни прочного государственного права. В первые времена французской монархии корона доставалась по выборам; верховная власть принадлежала нации, а король являлся только предводителем войск, зависящим от общей воли народа, постановлявшего все решения и определявшего всякое предприятие. Нация избирала своего верховного главу, короля, под председательством которого она осуществляла свою законодательную власть на марсовых полях, а судебную власть — в низших народных собраниях под управлением одного из королевских чиновников. Эта королевская демократия во время феодального режима уступила место королевской аристократии. Верховная власть усилилась, вельможи отняли ее у народа, подобно тому как впоследствии король отнял ее у вельмож. В эту эпоху монарх сделался наследственным владыкой, но не в качестве короля, а как владелец лена; законодательный авторитет остался принадлежностью аристократии в их обширных владениях или в парламентах баронов; а судебная власть над подданными сосредоточилась в руках вассалов в вотчинных судах. Далее власть все более и более концентрировалась, переходя от большего числа к меньшему, и

в конце концов от небольшого числа представителей властей перешла к одному. В продолжение многих веков короли Франции, рядом последовательных усилий, разрушили феодальное здание и на его обломках утвердили свою власть. Они завладели ленами, подчинили себе вассалов, уничтожили парламент баронов, уничтожили или подчинили себе вотчинные суды — они присвоили себе законодательную власть, а судебная власть отправлялась в их интересах парламентами юристов.

Генеральные штаты, которые созывались ввиду настоятельной нужды государства получить субсидию, составлялись из трех сословий — духовенства, дворянства и среднего сословия и никогда постоянного правильного значения не имели. Возникнув во время усиления королевской власти, сначала они пользовались господствующим влиянием, впоследствии были совершенно уничтожены ею. Но наиболее сильную и упорную оппозицию своему возвышению короли встретили не со стороны этих собраний, сила и судьба которых находилась в их руках, а со стороны аристократии, которая сначала защищала от короля свое господство, а потом свое политическое значение. Со времени Филиппа-Августа и до Людовика XI она боролась за сохранение своей власти; начиная с Людовика XI и до Людовика XVI — за то, чтобы сделаться орудием королевской власти. Фронта была последней кампанией аристократии. В правление Людовика XIV абсолютная монархия окончательно основалась и господствовала беспрепятственно.

Режим, господствовавший во Франции со времен Людовика XIV и до революции, скорее характеризуется полным произволом, чем деспотией, так как монарх мог гораздо больше того, что делал. Развитию этого огромного авторитета ставились лишь слабые преграды. Корона распоряжалась совершенно свободно — личностью при помощи бланковых приказов об арестовании (*lettres de cachet*), собственностью — при помощи конфискации, доходами — при помощи налогов. Правда, некоторые корпорации обладали средствами обороны в виде так называемых привилегий, но эти привилегии очень редко уважались. Так, парламент пользовался привилегией принимать или отвергать тот или другой



Король Филипп II Август

налог, но король всегда заставлял его вносить налоги в парламентские росписи во время так называемых королевских заседаний и наказывал ослушных членов парламента ссылкой. Дворянство было освобождено от податей, духовенство имело право само себя облагать добровольными приношениями; некоторые провинции откупались от налога определенными суммами, другие самостоятельно производили раскладку их. Таковы небольшие гарантии, которыми обладала Франция; кроме того, все эти гарантии были направлены к выгодам имущих классов и к ущербу для народа.

Находящаяся в такой зависимости Франция к тому же бы-



Король Людовик XIV

ла очень плохо организована; общественные злоупотребления делались еще более тяжелыми вследствие несправедливого распределения гражданских прав французов. Разделенная на три сословия, которые в свою очередь делились на многочисленные классы, нация была предоставлена проявлениям деспотизма и злу, проистекающему от неравенства. Дворянство разделялось частью на придворных, живущих милостями короля, т. е. за счет народа, получая в свои руки управление различными провинциями или высшие должности в армии, частью на дворян, недавно получивших дворянское достоинство, руководящих администрацией, за-

нимая должности интендантов и другие гражданские места; частью на судейское дворянство, заведовавшее судебною властью и имевшее исключительное право занимать судебные должности; и, наконец, на дворянство земельное, угнетавшее деревню, пользуясь своими феодальными правами, пережившими права политические. Духовенство делилось на два класса, из которых одним были предоставлены епархии и аббатства с их богатыми доходами, а другим — апостольское служение и бедность. Среднее сословие, изнуренное налогами двора, унижаемое дворянством, вдобавок было еще само разделено на враждующие друг с другом корпорации, организованные для охранения односторонних их интересов. Это сословие владело едва одной третью всех земель, с которой они принуждены были платить феодальный оброк помещикам, десятинный сбор — духовенству и подати — королю. В возмещение за все эти жертвы они не пользовались никакими политическими правами, не принимали никакого участия в управлении и совершенно не допускались к государственной службе.

Людовик XIV подверг пружины абсолютной монархии слишком долгому и слишком сильному напряжению. Властолюбивый, раздраженный смутным временем юности, он уничтожил всякое противодействие, всякую оппозицию, как со стороны аристократии, проявлявшуюся в виде возмущений, так и со стороны парламента, проявлявшуюся в виде предостережений, а также и со стороны протестантов, стремившихся к свободе совести, что церковь объявила ересью, а король — мятежом. Людовик XIV покорил аристократию, призвав ее ко двору, где ценою своей независимости она купила себе удовольствия и милости. Парламент, бывший до тех пор орудием королевской власти, пожелал быть равносильным ей, за что король высокомерно заставил его смириться и замолчать на шестьдесят лет. Наконец отмена Нантского эдикта была последним дополнением к этим проявлениям деспотизма. Самовластное правительство не только не хотело встречать сопротивление, но желало еще, чтобы его одобряли и ему подражали. Подчинив себе всякое проявление общественной деятельности, оно преследует свободу совести, а когда у него не осталось бо-

льше политических противников, оно начало искать новые жертвы среди религиозных диссидентов. Безграничная власть Людовика XIV внутри государства была направлена против еретиков, а выйдя за пределы его, направилась против Европы. Система притеснений нашла советников в лице честолюбцев, служителей — в драгунах, нашла успех, который поощрял ее к дальнейшим действиям. Язвы, разъедавшие Францию, были покрыты лаврами, ее стоны заглушены победными песнями. Но в результате всего этого, когда перемерли даровитые люди, прекратились победы, промышленность перешла в другие страны, деньги исчезли, стало вполне ясно, что деспотизм своими успехами исчерпывает свои собственные средства и вперед уничтожает свое собственное будущее.

Смерть Людовика XIV послужила сигналом реакции: произошел резкий переход от религиозной нетерпимости к неверию, от духа покорности — к протестам. За время регентства третье сословие увеличило свое значение, как увеличив свое материальное благосостояние, так и возвысившись нравственно, между тем как дворянство все более и более теряло свое нравственное достоинство, а духовенство — свое влияние. В царствование Людовика XIV двор вел менее блестящие и очень разорительные войны; он начал тайную борьбу с общественным мнением и явную с парламентом. Воцарилась полная анархия, управление попало в руки любовниц, власть пришла в полный упадок, и оппозиция с каждым днем все более и более усиливалась.

Положение парламентов и сама система их изменились. Король предоставил им власть, которую потом они обратили против него. В тот момент, когда общими усилиями парламента и королевской власти остатки аристократии были окончательно разбиты, они сами разделились, как всякие соратники после победы. Королевская власть стремилась разбить парламент сделавшийся опасным для нее, перестав быть полезным; а парламент в свою очередь хотел подорвать королевскую власть. Эта борьба между королем и парламентом, которая при Людовике XIV была все время благоприятна короне, при Людовике XV велась с переменным счастьем, а закончилась революцией. По самой своей при-

роде парламент не может не быть орудием. Его привилегии и корпоративное честолюбие заставляли его всегда противостоять силе и помогать слабым; по очереди он помогал сначала короне против аристократии, потом народу против короны. Это и сделало его столь популярным в царствование Людовика XV и Людовика XVI, хотя он нападал на корону исключительно из соперничества с нею. Общественное мнение не требовало отчетов в побуждениях, руководивших им; оно сочувствовало не его властолюбию, а его сопротивлению; оно его поддерживало, потому что нашло в нем защиту. Одобряемый и поощряемый таким образом, парламент стал грозным для королевской власти. Сопротивления парламента, после того как им было отвергнуто завешание самого деспотического короля, требовавшего полного повиновения, после того как он восстал против Семилетней войны, получил контроль над всеми финансовыми операциями и настоял на уничтожении иезуитов, сделались так энергичны и так часто повторялись, что двор, встречая их на каждом шагу, наконец понял, что ему необходимо или повиноваться парламенту, или подчинить его себе. И он решил привести в исполнение план преобразования парламента, предложенный канцлером Мону. Этот смелый человек, который, по собственному его выражению, был призван, чтобы освободить корону из-под ига приказных, заменил этот враждебный парламент другим, более послушным. Вслед за тем и вся магистратура Франции, по примеру парижской, потерпела ту же участь.

Но прошло время, благоприятное для государственных переворотов. Самовластие было настолько уже дискредитировано, что король едва отваживался им пользоваться, встречая неодобрение даже со стороны двора. Образовалась новая власть, власть общественного мнения, хотя и не признанная еще, но тем не менее получившая уже такое влияние, что решения ее становились законами. Нация, которая до сих пор совершенно игнорировалась, мало-помалу восстанавливает свои права; она хотя и не принимает еще участия в управлении, но оказывает на него влияние. Этим путем образуется всякая новая сила; сначала она не принимает участия в управлении, а только наблюдает извне; за-

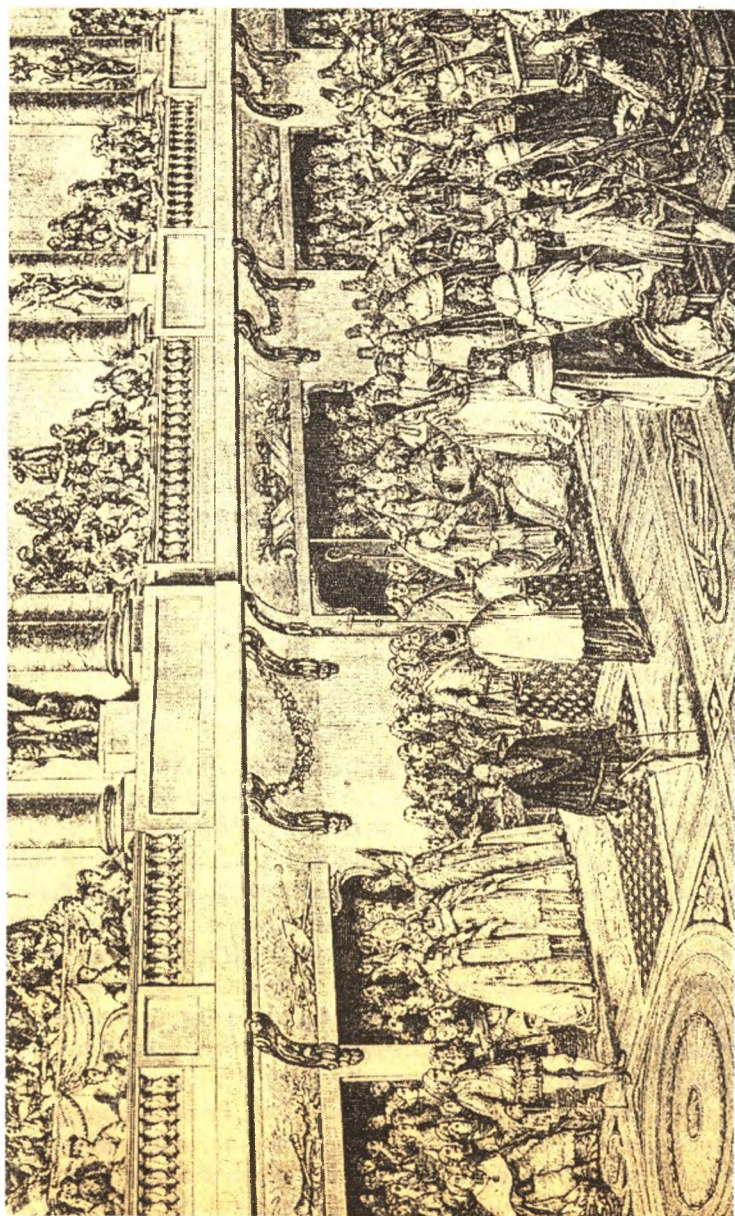
тем она переходит от права контроля к праву содействия. И вот, наконец, настало время, когда среднее сословие должно было получить свое право участия в правлении. Оно уже раньше делало попытки к получению этого права, но эти попытки были бесплодны, так как были преждевременны; раньше оно не имело еще ничего, чем бы могло возвыситься, и не было достаточно сильно, чтобы приобрести власть, так как право свое можно получить только силою. Поэтому оно было только третьим сословием, занимая третье место при восстаниях; так и в Генеральных штатах; все делалось при помощи его, но ничего для него. При феодальной тирании оно служило королям против господ; во время министерского и фискального деспотизма оно служило знати против короля; но в обоих этих случаях оно являлось лишь орудием, в первом — короны, во втором — аристократии. Борьба велась в чуждой ему сфере и за чуждые интересы. Когда аристократия во время фронды была окончательно побеждена, третье сословие сложило оружие, что достаточно показывает, насколько роль его была второстепенной.

Наконец, после целого века абсолютного подчинения, третье сословие появляется на сцене, но уже действует за свой собственный счет. Что прошло, то не вернется, и для аристократии не было уже возможности вновь подняться после ее падения, так же как невозможно это было и для абсолютной монархии. У королевской власти должен был явиться новый противник, так как никогда нет недостатка в кандидатах на власть. Этим противником явилось третье сословие, сила которого — богатство, просвещение и самостоятельность росли с каждым днем; оно должно было победить королевскую власть и ограничить ее. Парламент был корпорацией, но не являлся сословием; в этой новой борьбе он мог способствовать переходу власти из одних рук в другие, но не мог удержать ее для себя.

Двор сам способствовал прогрессу третьего сословия, помогал развитию одного из наиболее сильных средств его — просвещению. Один из самых неограниченных монархов помогал движению умов и против своего желания создал общественное мнение. Поощряя восхваление, он

подготовил осуждение, так как нельзя вызывать исследование, направленное в свою пользу, без того чтобы потом оно не обратилось вам во вред. Когда кончились хвалебные песни, начались исследования, и философы восемнадцатого века сменили литераторов семнадцатого. Религия, законы, злоупотребления — все являлось для них предметом исследования и размышления. Они раскрывали права народа, выражали его нужды, указывали на несправедливости. Этим путем образовалось сильное и просвещенное общественное мнение, удары которого чувствовало правительство, но не осмеливалось заглушить его голос. К общественному мнению прислушивались даже те, на которых оно нападало: придворные во имя моды, власти, в силу необходимости подчинялись его требованиям; таким образом, век реформ был подготовлен веком философии, так же точно как этот последний был подготовлен веком процветания изяшных искусств.

Вот в каком состоянии была Франция, когда 11 мая 1774 года вступил на престол Людовик XVI. Новое царствование получило в наследство от предыдущего большие затруднения: расстроенные финансы, которые не могло исправить ни экономное и миролюбивое министерство кардинала Флери, ни ведущее к банкротству министерство аббата Терре, неуважение к власти, несговорчивый парламент и властное общественное мнение. Из всех королей Людовик XVI по своим намерениям и качествам лучше всего подходил к своей эпохе. Все были утомлены от произвола — он был склонен не пользоваться им; все были раздражены ужасным распутством двора Людовика XV — новый король отличался чистотою нравов и умеренностью своих потребностей; все требовали реформ, которые сделались неизбежными, — он сознавал общественные нужды и гордился, что мог их удовлетворить. Но делать добро было так же трудно, как и продолжать зло. Надо было бы иметь силу, как для того, чтобы заставить привилегированные классы подчиниться реформам, так и для того, чтобы заставить народ переносить злоупотребления, а Людовик XVI не был ни преобразователем, ни деспотом. Ему не хватило той великой силы воли, которая одна только способна производить



Коронация Людовика XVI

государственные перевороты и которая одинаково необходима как монарху, который хочет ограничить свою власть, так и монарху, желающему ее усилить. Людовик XVI имел здравый ум, прямое и доброе сердце, но не обладал энергичным характером и не мог настойчиво вести дела. Его проекты улучшений встречали препятствия, которых он не предвидел и которые он не успел победить. Таким образом, он пал благодаря своим попыткам реформ, как другой мог бы пасть, отказавшись от них. Его царствование вплоть до созыва Генеральных штатов было рядом безрезультатных попыток улучшений.

Выбор Морепа премьер-министром, который сделал Людовик XVI при восшествии своем на престол, особенно способствовал тому, что все его царствование получило такой характер нерешительности. Молодой король, проникнутый идеей о своих обязанностях и сознавая свою неспособность их выполнить, прибег к опытности семидесятирехлетнего старика, который впал в немилость в царствование Людовика XV за свою оппозицию королевским любовницам. Но вместо мудреца он нашел в нем только царедворца, губительное влияние которого осталось на всю его жизнь. Морепа мало заботился о благе Франции и о славе своего государя — он заботился только о том, чтобы не потерять его благосклонность. В качестве президента совета он жил в Версале, в комнатах, смежных с покоями короля; он повлиял на ум и характер Людовика XVI, сделав их нерешительными; он приучил его к полумерам, к смене систем, к непоследовательности и, сверх всего, к необходимости во всем действовать чужим умом, а не своим. Морепа пользовался правом министров. Эти последние по отношению к нему так же держались, как он сам по отношению к королю. Боясь потерять свой кредит, он держал в отдалении от министерства людей, сильных своими связями, и назначал министрами людей новых, которые нуждались в нем, чтобы удержаться на месте и проводить свои реформы. Он по очереди призывал и поручал ведение дел Тюрго, Малербу, Неккеру, а они пытались вводить улучшения, каждый в той части управления, которая была ими наиболее хорошо изучена.

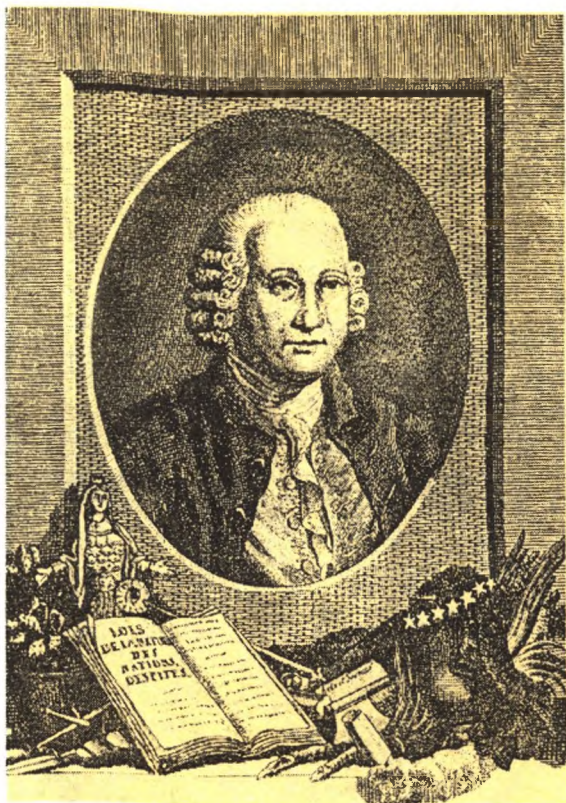
Малерб, происходивший из судейской семьи, наследовал истинные добродетели, а не предрассудки парламентаризма. Свободный ум соединялся в нем с прекрасной душой. Он хотел каждому возратить его права: осужденным — возможность защиты; протестантам — свободу совести; писателям — свободу печати; каждому французу — гарантию личности; он предложил отмену пыток, восстановление Нантского эдикта, уничтожение бланковых приказов об аресте (*lettres de cachet*) и отмену цензуры. Тюрго, человек с большим и сильным умом, с решительным характером, с необыкновенной силою воли, пытался осуществить еще более широкие замысли. Он соединился с Малербом, чтобы с его помощью довершить учреждение такой административной системы, которая привела бы к единству в управлении и к равенству в государстве. Этот добродетельный гражданин постоянно был занят мыслью об улучшении судьбы народа: он один предполагал сделать все то, что позднее совершила революция, — уничтожить все сервитуты и все привилегии. Он предложил освободить деревню от барщины, провинции от их застав, торговлю от внутренних таможен, промышленность от всех стеснений и, наконец, заставить знать и духовенство платить налоги одинаково с третьим сословием. Этот великий министр, про которого Малерб говорил, что у него голова Бэкона, а сердце Лопиталья, хотел, при помощи провинциальных собраний, приучить нацию к общественной жизни и приготовить ее к восстановлению Генеральных штатов. Если бы он удержался на своем месте, он бы произвел революцию путем правительственных распоряжений. Но при режиме, в котором господствовали частные привилегии и всеобщее порабощение, нельзя было провести ни одного проекта, имевшего целью общественное благо. Тюрго, возбудив против себя неудовольствие придворных своими попытками к улучшению общественного строя и неудовольствие парламента отменой натуральных повинностей и внутренних таможен, наконец встревожил старого министра тем влиянием, которое он стал приобретать над Людовиком XVI благодаря своим добродетелям. Людовик XVI покинул его, хотя и говорил, что только он и Тюрго одни желают благо народу.



Тюро

**Неккер**

В 1776 году Тюрго был смещен и заменен в генеральном контроле финансов Клюни, бывшим интендантом в Сан-Доминго, который в свою очередь через шесть месяцев был заменен Неккером. Неккер был иностранец, протестант, банкир и скорее великий администратор, чем государственный человек; он задумал реформу Франции по плану менее обширному, чем план Тюрго, но он проводил его с бóльшим тактом и выдержкой. Назначенный министром с тем, чтобы он нашел деньги для двора, он пользовался этой нуж-

**Мальзерб**

дой двора, чтобы дать некоторые свободы народу. Он поправил финансы, введя в них порядок, и дал возможность провинциям до некоторой степени участвовать в их управлении. Его идеи были благоразумны и верны: они состояли в том, чтобы уравнивать доходы с расходами, сократив последние; в обыкновенное время пользоваться только налогами, а к займам прибегать лишь в особо важных случаях; когда вместе с настоящим затрагивались интересы и будущего; устанавливать налоги при помощи провинциальных собраний и установить гласную отчетность для облегчения заключения займов. Эта система основывалась на сущности



Мария-Антуанетта

Современная гравюра

займа, который, нуждаясь в кредите, требует от администрации гласности, а также на сущности налога, который, имея необходимость в согласии платящих, требует разделения с ними власти. Каждый раз, когда правительство имеет недостаток в средствах и принуждено просить их, то, если оно обращается с этим к заимодавцам, оно должно им представить свой баланс; если же оно обращается к плательщикам налогов, оно обязано предоставить им некоторое участие во власти. Таким образом, займы привели к отчетности, а налоги — к Генеральным штатам; первые подчинили власть суду общественного мнения, а вторые — народу.

Но Неккер, хотя и проводил реформы с меньшим нетерпением, чем Тюрго, и хотя желал устранить злоупотребления выкупом, в то время как его предшественник хотел их прямо уничтожить, не оказался счастливее его. Своей экономией он восстановил против себя придворных; действия провинциальных собраний возбудили негодование парламента, который хотел сохранить за собой исключительное право оппозиции; кроме того, премьер-министр не мог простить ему некоторые признаки влияния, которым он пользовался. И он был вынужден покинуть свой пост в 1781 году, несколько месяцев спустя после обнародования знаменитого отчета (*Comptes rendus*) о состоянии финансов, который внезапно посвятил Францию в состояние государственных дел и сделал уже навсегда невозможным возвращение к неограниченной власти.

Вскоре после удаления Неккера умер Морепа. Его место около Людовика XVI заняла королева и наследовала все его влияние на короля. Этому доброму, но слабому королю было необходимо, чтобы кто-нибудь им управлял. Его жена, молодая, красивая, деятельная и тщеславная, приобрела сильное влияние на него. Но дочь Марии-Терезии или слишком хорошо помнила о своей матери, или, наоборот, совершенно о ней забыла; в ней смешивались легкомыслие и властолюбие, и свою власть она употребляла только затем, чтобы облекать ею других, которые и были причиной гибели всего государства и ее собственной. Морепа не доверял министрам-царедворцам, а выбирал всегда министров популярных, хотя, правда, не поддерживал их; если это не привело к добру, то и зло не было увеличено. После его смерти популярных министров заменили министры-царедворцы, и они своими ошибками сделали кризис, который первые хотели предупредить своими реформами, неизбежным. Разница в выборе оказалась очень важной; благодаря ей с переменой людей произошла перемена во всей системе администрации. Этот момент надо считать началом революции. Отмена реформ и возвращение беспорядков ускорили ее наступление и усилили ее жесточенность.

Колонн, бывший интендантом, был назначен генеральным контролером финансов. Управлять этим министерством, в

Колонн



то время самым важным, было крайне трудно. Неккер имел двух преемников, но никто не мог его заменить; тогда в 1783 году обратились к Колонну. Колонн был смел, блестящ, красноречив, легко работал, ум имел легкий и изобретательный. По ошибке или по расчету, он принял в администрации систему, совершенно противоположную системе своего предшественника. Неккер советовал бережливость, Колонн восхвалял расточительность; придворные были виною падения Неккера — Колонн думал удержаться благодаря им. Свои софизмы он поддерживал своею щедростью; королеву он убеждал празднествами, вельмож — пенсиями; он дал большое движение финансам, чтобы числом и легкостью своих операций заставить верить в справедливость своих желаний; он даже увлек капиталистов, будучи вначале очень аккуратен в своих платежах. Он продолжал делать займы и после заключения мира и исчерпал таким образом кредит, который своим благоразумием доставил правительству Неккер. Когда этот источник, которым он так неумело пользовался, был исчерпан, он, чтобы продлить свою власть, должен был прибегать к налогам. Но к кому обратиться за ними? Народ не был уже в состоянии платить боль-

ше, а привилегированные классы не желали ничем поступиться. Но надо было на что-нибудь решиться, и Колонн, надеясь достигнуть большего нововведением, созвал собрание нотаблей, которые 22 февраля 1787 года и открыли свои заседания в Версале. Но обращение к помощи других должно было быть концом системы, основанной на расточительности. Министр, который поднялся благодаря тому, что щедро давал, не мог удержаться, когда стал просить.

Нотабли, выбранные правительством из среды высших классов, образовали особое собрание при министерстве, не имевшее ни собственного существования, ни полномочий. К этому собранию обратился Колонн, полагая, что оно, будучи зависимым, окажется более покорным, и ему удастся избежать обращения к парламентам или к Генеральным штатам. Но это собрание, составленное из привилегированных, было мало склонно к жертвам. Его нерасположение к ним еще усилилось, когда оно увидало бездну, созданную всепоглощающим правительством. Оно с ужасом узнало, что в несколько лет долги страшно увеличились и достигли одного миллиарда шестисот сорока шести миллионов и что доходы дают ежегодно дефицит в сто сорок миллионов. Это открытие было сигналом падения Колонна. Он пал и был замешен своим противником в собрании — архиепископом Санским Ломени-де-Бриенном. Бриенн рассчитывал на преданность большинства нотаблей, так как оно поддерживало его, чтобы низвергнуть Колонна. Но члены привилегированных сословий были так же мало расположены жертвовать Бриенну, как и его предшественнику; они помогали ему в его происках, когда это согласовалось с их интересами, но не захотели помогать его честолюбию, до которого им не было никакого дела.

Епископ Санский, которому ставили в упрек то, что он не имел плана, и не мог, собственно, иметь его. Нельзя было продолжать расточительность Колонна, но не время было возвращаться и к сокращениям Неккера. Экономия, которая в прежнее время была бы средством спасения, не могла уже помочь теперь. Теперь требовались или новые налоги, но парламент на них не соглашался, или новые займы, но кредит был истощен, или же, наконец, пожертвова-

ния со стороны привилегированных классов, которые не хотели их делать. Бриенн, который всю жизнь мечтал о министерстве, но который обладал слишком слабыми данными, чтобы выйти из этого затруднительного положения, испытал все средства, но ничего не достиг. Это был человек деятельного, но слабого ума, смелого, но не постоянного характера. Смелый перед тем, как начать что-нибудь, но потом ослабевавший, он погубил себя своей нерешительностью, своей недалковидностью и изменчивостью своих средств. Ему приходилось выбирать только между отчаянными средствами, но и тут он не мог решиться на что-нибудь одно и ему следовать.

Собрание нотаблей оказалось мало покорным и очень бережливым. Одобрив учреждение провинциальных собраний, постановление о хлебной торговле, уничтожение повинностей натурою и установление нового штемпельного налога, собрание разошлось 25 мая 1787 г. Разойдясь, оно разнесло по всей Франции все, что стало ему известно о нуждах престола, об ошибках министерств, о расточительности двора и о непоправимых бедствиях народа. Бриенн, освободившись от этого собрания, прибег опять к налогам как к ресурсу, которым в продолжение некоторого времени не пользовались. Он потребовал занесения в парламентские регистры двух указов — указа о гербовом сборе и о поземельном налоге. Но парламент, находившийся в полной силе своего могущества и тщеславия и видевший в финансовых затруднениях правительства средство к увеличению своей власти, отказался исполнить его требование внесения в регистры. Парламент был изгнан в Труа; пребывание там ему надоело, и министр возвратил его из этой ссылки под условием принятия указов. Но это было лишь отсрочкой неприятных действий; нужды короны скоро сделали борьбу еще более ожесточенной. Министру снова нужны были деньги, само существование его было связано с получением нескольких займов, общая сумма которых достигала почти четырехсот сорока миллионов. И ему необходимо было внесение их в парламентские регистры.

Бриенн ожидал оппозиции парламента; поэтому для внесения этих указов в регистры было устроено королевское

заседание; а для того чтобы задобрить магистратуру и общественное мнение, в том же заседании было постановлено восстановить протестантов в их правах, было обещано Людовиком XVI ежегодное опубликование финансовых отчетов и созыв Генеральных штатов не позднее, как через пять лет. Но этих уступок было уже недостаточно: парламент все-таки отверг внесение займов в регистры и восстал против тирании министерства. Некоторые из его членов, в числе которых был и герцог Орлеанский, подверглись ссылке. Парламент постановил протестовать против *lettres de cachet* и требовал возвращения своих членов. Король отверг это постановление, но парламент подтвердил его. Борьба разгоралась все сильнее и сильнее. Магистратура Парижа встретила поддержку со стороны всей магистратуры Франции и поощрение со стороны общественного мнения. Она провозгласила права города и свою собственную некомпетентность в деле налогов; сделавшись либеральной из собственных выгод, великодушной вследствие гнета, она восстала против произвольных арестов и потребовала, чтобы Генеральные штаты собирались регулярно. После этого геройского выступления она постановила несменяемость своих членов и объявила, что никто другой не вправе занять их должности. За этой смелой манифестацией последовали арест двух членов парламента — д'Эмпремениля и Гуалара, реформа самого парламента и учреждение верховного судилища (*cour plénière*).

Бриен понял, что оппозиция парламента сделалась систематической и что она будет возобновляться при каждом истребовании субсидии или при каждом утверждении займа. Ссылка явилась только временным средством, которое остановило оппозицию, но не уничтожило ее. Поэтому он составил проект так, чтобы свести деятельность этого учреждения к исключительно юридической; для выполнения этого плана он избрал себе в помощники хранителя государственной печати Ламуаньона. Ламуаньон был очень подходящим человеком для проведения решительных мер: он обладал смелостью и энергичную настойчивость Мопу соединял с большим благоразумием и честностью. Но он ошибся в силе правительства и в том, что было возможно в его

время. Мопу изменил парламент переменной состава его членов, а Ламуаньон хотел его уничтожить вовсе. Первая из этих мер в случае удачи дала бы только временное успокоение, вторая должна была бы дать успокоение окончательное, ибо она уничтожала власть, в то время как первая ограничивалась только перемещением ее. Но реформа Мопу оказалась непрочною, а реформа Ламуаньона — неисполнимою. Тем не менее надо сказать, что проведение ее было начато вполне разумно. В один и тот же день была удалена вся магистратура Франции, чтобы уступить место новой судебной организации. Хранитель государственной печати отнял у парижского парламента его политические права, чтобы передать их верховному судилищу (*cour plénière*), составленному министерством; он ограничил, кроме того, его судебную компетенцию в пользу окружных судов, круг деятельности которых он расширил. Но общественное мнение было возмущено, уголовный суд (*Châtelet*) протестовал, провинции поднялись, верховное судилище не могло ни образоваться, ни начать действовать. Вспыхнули смуты в Дофинэ, в Бретани, в Провансе, во Фландрии, в Лангедоке, в Беарне; министерству вместо частичной оппозиции парламента пришлось иметь дело с оппозицией более горячей и более всеобщей. Дворянство, третье сословие, провинциальные штаты и даже духовенство — все приняли теперь в ней участие. Бриенн, вынуждаемый финансовыми нуждами, созвал экстренное собрание духовенства, которое обратилось к королю с адресом, прося его об уничтожении верховного судилища и о немедленном созыве Генеральных штатов, так как только они могли бы поправить расстроенные финансы, обеспечить государственный долг и прекратить этот конфликт между властями.

Санский архиепископ своей распрей с парламентом отсрочил на время финансовые затруднения, но вызвал вместо них затруднения правительственные. И в момент, когда эти последние прекратились, первые появились снова и решили падение министерства. Не получая ни податей, ни займов, не имея возможности воспользоваться верховным судилищем и не желая созывать парламента, Бриенн прибег наконец к последнему ресурсу — обещал созвать Гене-

ральные штаты. Но этой мерой он ускорил свое падение. Он был призван к управлению финансами с тем, чтобы выйти из затруднительного положения, а он его еще ухудшил, чтобы достать денег, — он их нигде не мог получить. Кроме всего этого, он довел до отчаяния нацию, восстановил сословия против государства, скомпрометировал авторитет правительства и сделал неизбежным худшее, по мнению двора, средство к получению денег — созыв Генеральных штатов; он пал 25 августа 1788 года. По случаю его падения была приостановлена уплата государственных рент, а это являлось уже началом банкротства. Этот министр был предметом наибольших нападков, так как был последним. Унаследовав от прошлого все затруднения и все ошибки, он принужден был бороться против трудности своего положения очень слабыми средствами. Он пытался бороться интригами, притеснениями; он ссылал парламент, закрывал его на время, уничтожал его; все было против него, ничто не помогало. После долгой бесплодной борьбы он пал жертвою утомления и слабости, я не решаюсь сказать — вследствие своей неспособности, так как, будь он гораздо более сильным и гораздо более искусным, будь он Ришелье или Сюлли, — он все равно пал бы. Никто не был уже в состоянии добывать деньги или продолжать угнетать народ. В оправдание ему надо сказать, что он не сам создал то положение, из которого не умел выпутаться; он виноват лишь тем, что был слишком самонадеян, когда принял его. Он пал жертвою ошибок Колонна, который воспользовался кредитом, созданным Неккером, для своей расточительности. Таким образом, Колонн разрушил кредит, а Бриенн, желая восстановить его силою, подорвал основание власти.

Правительству осталось только одно средство, престолу одно спасение — созыв Генеральных штатов. Их настоятельно требовали и парламент, и пэры королевства 13 июля 1787 г., и сословия Дофинэ в визильском собрании, и духовенство в своем парижском собрании. Провинциальные штаты приготовили к ним умы, нотабли явились предтечами их. Король, обещавший 18 декабря 1787 года созвать Генеральные штаты в продолжение пяти лет, 8 августа 1788

года назначил днем открытия их 1 мая 1789 года. Был опять призван Неккер, парламент восстановлен, верховное судилище уничтожено, окружные суды закрыты, провинции удовлетворены; новый министр принял все меры для избрания депутатов и созыва штатов.

В это время в оппозиции, которая до сих пор отличалась единодушием, произошла большая перемена. Министерство Бриенна встречало противодействие со стороны всех сословий государства, так как оно стремилось всех их угнетать. При Неккере министерство встречало оппозицию только со стороны тех сословий, которые домогались власти для себя и порабощения для народа. Правительство сделалось из деспотического национальным, а они одинаково остались против него. Парламент поддерживал борьбу скорее за власть, чем во имя народного блага; дворянство соединилось с третьим сословием больше из неаппетитности к правительству, чем из любви к народу. Каждая из этих двух корпораций требовала созыва Генеральных штатов: парламент надеялся господствовать при помощи их, как в 1614 году, а дворянство полагало, что при помощи их оно вернет свое утраченное влияние; поэтому-то магистратура и предложила за образец Генеральных штатов 1789 года принять штаты 1614 года, но общественное мнение отвергло это предложение; дворянство не согласилось на двойное представительство третьего сословия, и раздор вспыхнул между этими двумя сословиями.

Дух времени, необходимость реформ, значение, которое приобрело третье сословие, — все требовало этого двойного представительства. И в провинциальных собраниях оно было уже допущено. Когда Бриенн перед выходом из министерства обратился к литераторам, желая знать лучший состав и лучшее устройство Генеральных штатов, появились в числе других работ, особенно излюбленных народом, знаменитая брошюра Сийеса — О третьем сословии (tiers état) и брошюра д'Антрега — О Генеральных штатах (états généraux). Общественное мнение с каждым днем высказывалось все больше и больше. Неккер, желая его удовлетворить и не осмеливаясь это сделать, желая угодить всем сословиям, желая заслужить всеобщее одобрение, созвал новое собрание нотаблей 6

ноября 1788 года, чтобы обсудить состав Генеральных штатов и способ избрания их членов. Он думал заставить это собрание согласиться с двойным числом представителей третьего сословия; но собрание отвергло это предложение, и он принужден был сам решить, против желания нотаблей, то, что он должен был бы решить, вовсе их не спрашивая. Неккер не сумел избежать распрей, потому что предварительно не разрешил всех затруднений. Он не принял на себя инициативы по вопросу о двойном представительстве третьего сословия, как позднее не принял ее и по вопросу о голосовании посословном или поголовном. Когда Генеральные штаты были собраны, разрешение этого второго вопроса, от которого зависела судьба власти и судьба народа, было предоставлено силе.

Хотя Неккеру и не удалось склонить нотаблей к принятию двойного представительства третьего сословия, но он настоял на принятии этой меры в совете. Королевским указом от 27 ноября было установлено, что общее число депутатов Генеральных штатов будет не меньше тысячи и что число депутатов от третьего сословия будет равно числу депутатов от дворянства и от духовенства обоих вместе. Кроме того, Неккер добился включения сельских священников в духовное сословие, а протестантов — в третье. Были созваны окружные собрания для выборов; каждый агитировал за выбор членов своей партии и старался, чтобы избирательные списки были составлены в его духе. Парламент имел мало влияния на выборы; двор не имел никакого. Дворянство выбрало несколько популярных депутатов, но большая часть избранных ими были люди, преданные интересам своего сословия и одинаково враждебные как к третьему сословию, так и к олигархии знатных придворных фамилий. Духовенство избрало епископов и аббатов, стоявших за привилегии, а кроме того, священников, сочувствовавших народному делу, которое было и их делом. Наконец, третье сословие выбрало людей просвещенных, твердых, единомысленных в своих целях. Депутация от дворянства составила из двухсот сорока двух дворян и двадцати восьми членов парламента; депутация духовенства — из сорока восьми архиепископов и епископов, тридцати пяти аббатов и деканов, двухсот восьми священников; наконец, депутация от общин — из двух ду-

ховных лиц, двенадцати дворян, восемнадцати городских савоюников, ста двух членов окружных судов, двухсот двенадцати адвокатов, шестнадцати докторов, двухсот шестнадцати купцов и землевладельцев. Открытие Генеральных штатов было назначено на 5 мая 1789 года.

Так была вызвана революция. Двор тшетно старался предупредить ее, так же тшетно старался потом ее уничтожить. Под руководством Морепа король назначал популярных министров и делал попытки реформ; под влиянием королевы он назначал министров-царедворцев и имел властолюбивые тенденции. Репрессии также не дали того, чего нельзя было достигнуть реформами. После того как напрасно он обращался к царедворцам за экономией, к парламенту — за налогами, к капиталистам — за займами, он стал искать новый класс плательщиков и обратил свой призыв к привилегированным классам. Он обратился к нотаблям, состоявшим из дворян и духовенства, с просьбой о принятии ими участия в тягостях государственного управления, но они отказались. И только тогда он обратился ко всей Франции и созвал Генеральные штаты. Он старался войти в сделку с сословиями, раньше чем пошел на сделку с народом, и только после того, как первые отказали ему, он обратился к стране, вмешательства и поддержки которой он боялся. Он предпочитал частные собрания, которые, будучи изолированы, должны были оставаться слабыми, собранию общему, которое, представляя собою все интересы, должно было сосредоточить в себе всю власть. До этой великой эпохи с каждым годом нужды правительства возрастали, а вместе с ними увеличивалось и сопротивление. Оппозиция перешла от парламентов к дворянству, от дворянства к духовенству и от него к народу. Каждое из сословий начинало выказывать сопротивление по мере того, как королевская власть обращалась к нему за советом; так продолжалось до тех пор, пока все эти частные сопротивления не слились в одно — национальное, или, вернее, пока все они не замолчали перед этой общей оппозицией. Генеральные штаты только узаконили совершившуюся уже революцию.

Перевод И.М. и Н.И. Дебу



АДОЛЬФ ТЬЕР

14 апреля 1797 г. — 3 сентября 1877 г.

Жизнь

Тьер был сыном торговца в Марселе, который разорился во время первой Французской революции и превратился в обыкновенного ремесленника.

После успешного окончания школы Тьер на общественные средства поступил в коллеж города Эс, где после обучения на юридическом факультете занялся адвокатской практикой.

В 1821 г. он получил премию роялистской академии за историческую статью. В том же году переезжает в Париж. Там он начинает свою политическую карьеру, долгие годы сотрудничая с газетой «Констительюсьонель».

В 1823 — 1827 гг., Тьер пишет и публикует свою глав-

ную историческую работу «История французской революции» (10 томов).

В 1829 г. Тьер совместно с А. Каузелем и Ф. Минье, своим ближайшим другом и политическим единомышленником, основал газету «Насьональ», на страницах которой выступал за ограничение конституцией французской монархии.

В 1830 г. он написал декларацию протеста против июльских ордонансов — против нарушения правительством хартии — и призвал народ к неповиновению.

В период июльских событий в Париже (1830 г.) Тьер был одним из ярких пропагандистов против Бурбонов. Он призывал граждан возвести на французский престол герцога Орлеанского.

После прихода герцога Орлеанского (Луи Филиппа) Тьер стал членом Государственного совета.

С ноября 1830 по март 1831 г. он — заместитель министра финансов.

В то же время Тьер был избран в палату депутатов.

С 1832 по 1836 г. Тьер возглавил министерство внутренних дел в так называемом «Правительстве 11 октября», в котором он был представителем левого центра.

На посту министра внутренних дел Тьер эволюционировал вправо и жестоко расправился с лионским и парижским восстаниями. Он выступал за ограничение свободы слова и общественных ассоциаций.

В 1836 г. Тьер возглавил правительство, но из-за разногласий с королем ушел в отставку и занялся научной работой.

В 1838 — 1839 гг. он возглавил оппозицию против правительства Моле.

В 1840 г. Тьер вновь возглавляет правительство, в котором взял себе также портфель министра иностранных дел. Во внешней политике Тьер полностью поддержал стремление Египта к независимости, что в конечном счете привело к ухудшению отношений Франции с Турцией, Англией, Россией, Австрией и Пруссией. Тьеру пришлось срочно готовить страну к войне. Однако король выступил против проведения сенатской внешней политики Тьера, и последнему пришлось вновь уйти в отставку, возглавив антикоролевскую оппозицию.

С 1845 г. Тьер вновь начинает сотрудничать с газетой



Луи Филипп I

«Констительюсонель», в которой публикует либеральные статьи, проникнутые, как и ранние его статьи, революционным пафосом. Он с особой силой критикует правительство Гизо за неспособность разрешить социально-экономические проблемы страны.



А. Тьер

С 1845 по 1869 г. выходит вторая крупная историческая работа Тьера «История консульства и империя» (21 том).

В период Февральской революции 1848 г. король обратился за помощью к Тьеру, но ему так и не удалось спасти монархию от падения.

Во время II Французской республики Тьер примкнул в парламенте к правым, поддерживая консервативные шаги правительства и попытку установить диктатуру генерала Кавеньяка.

В 1849 — 1851 гг. Тьер входит в монархическую оппози-



Наполеон III



Кавеньяк

цию. Однако в 1851 г. за критику Наполеона III он был выслан из Франции. На следующий год ему разрешили вернуться, однако Тьер на долгие годы оставил политическую деятельность. Только в 1863 г. он вновь избирается в Законодательное собрание, где примкнул к либеральной оппозиции. Он активно выступает за свободу слова и против государственного произвола и имперской формы правления во Франции.

После падения монархии в 1870 г. Тьер был направлен Правительством национальной обороны в Лондон, Петербург, Вену и Флоренцию для переговоров о поддержке Франции в войне против Пруссии и о посредничестве какой-нибудь из держав в заключении мира, но успеха не добился.

В феврале 1871 г. Тьер избирается в Национальное собрание, которое поручает ему возглавить французское правительство. В невыгодных условиях Тьер вынужден был заключить тяжелый для Франции мир с Пруссией, что обострило социальное недовольство парижан. Попытка Тьера разоружить рабочие отряды Парижа вызвала вооруженное восстание 18 марта 1871 г., приведшее к провозглашению Парижской коммуны.

Тьер, заручившись поддержкой Германии, с особой жестокостью подавил восставших рабочих.

31 августа 1871 г. Тьер вновь был избран главой (президентом) Французской республики. В этот период ему пришлось решать проблемы, связанные с последствиями войны с Германией и восстанием парижских рабочих.

В мае 1873 г., после подавления монархического большинства в парламенте, Тьер ушел в отставку, после чего до самой смерти уже не играл важной роли в политической жизни Франции.

Судьба

Тьер, как никто другой из политиков, был подвержен влиянию взлетов и падений политической карьеры. Его взгляды и мысли менялись так часто, что их хватило бы на жизнь нескольких людей.

В политику Тьер пришел как революционно настроенный либерал, требующий ограничения власти монархии (государства). Однако, войдя в правительство в качестве министра внутренних дел, он стал с восторгом призывать к порядку, точно так же, как до этого — к свободе.

Проявив себя жестким, консервативным политиком, Тьер подвергся резкой критике со стороны газеты «Насьональ», которую он основал со своими единомышленниками. В ответ он подверг ее судебным преследованиям:

Однако в 1840 г., став во главе правительства, Тьер заявил в парламенте: «Я — сын революции, я родился в ее недрах. В этом заключается моя сила». Однако в реальной политике революция для Тьера была несчастьем для страны и не имела ничего общего с порядком. «Я не верю, чтобы существовала одна партия — преданная порядку, другая — преданная беспорядку. Я верю, что все партии в равной степени желают порядка... Передо мною только добрые граждане».

В период Февральской революции 1848 г. Тьер откликнулся на призыв короля о помощи. 24 февраля, утром, он напечатал и распространил прокламацию с заголовком: «Свобода! Порядок! Единство! Реформа!» Прокламация не произвела ни малейшего впечатления на парижан. Этим же утром Тьер вернулся во дворец и сказал королю: «Ваше Величество! Слишком поздно!» Действительно, было уже поздно: революция совершилась, и старый порядок рухнул.

Оставаясь в оппозиции Наполеону III, Тьер вновь предстал перед страной в качестве либерала и противника политики императорского правительства. Когда Франция допустила разгром Пруссией Австрии, Тьер произнес знаменитую фразу: «Не осталось более ошибки, какую не совершило бы правительство».

И все же нужно отдать должное политической деятель-

ности Тьера. Вся история Франции в течение полувека так или иначе связана с его именем. Он оставил видный след и в науке. Способность его к труду была удивительная. Немногие умели так, как он, ладить с людьми и примирять разногласия. Правда, Тьер пользовался широкими симпатиями лишь в короткие периоды своей жизни. Виктор Гюго в своих посмертных записках так отзывался о нем: «Я всегда испытывал к этому знаменитому человеку, выдающемуся оратору, посредственному писателю, к этому узенькому и маленькому сердцу неопределенное чувство отвращения, удивления и презрения».

Биограф Тьера Ломени так описывал впечатление людей, знавших его: «Наружность Тьера невольно обращала на него внимание; маленького роста, с короткой талией, с огромными очками на небольшом носу, с провинциальным акцентом в голосе, с постоянным подергиванием плеч, вечно размахивающий руками, бесцеремонный в своих приговорах, Тьер казался всем большим оригиналом».

Творчество

В течение 1823 — 1827 гг. Тьер выпустил свою знаменитую «Историю французской революции» в 10 томах. Работа Тьера была первой подробной и вместе с тем научной историей революции. Он был одним из первых, кто признал борьбу классов в истории, но был убежден, что закономерным характером обладает лишь классовая борьба буржуазии и дворянства.

В сочинении Тьера поражало умение судить обо всем профессионально. Картины битв и походов свидетельствовали о знакомстве с военным делом, страницы, посвященные финансам, как будто были написаны финансистом. Изящный язык и яркие характеристики главных деятелей революции обеспечили книге успех.

Идея причинности пронизывала все сочинения; события революции не являлись случайностью или проявлением злой воли революционеров, но вытекали одно из другого с логи-



Робеспьер

Гравюра Фиссингера



Жорж Дантон

Рисунок Ж. П. Давида

ческой необходимостью. Тьера упрекали даже в историческом фанатизме. Его обвиняли также в поклонении успеху; и действительно, он сочувствовал Мирабо, пока Мирабо находился на вершине своего могущества; потом его сочувствие перенеслось на жирондистов, которых он называл самыми просвещенными и самыми великодушными людьми эпохи. Но вместе с тем он утверждал, что они повредили делу революции и свободы и вполне заслужили свою участь. По очереди он сочувствовал Дантону, Робеспьеру, оправдывая их репрессии против жирондистов. Но как только счастье изменило якобинцам, Тьер стал оправдывать и их казнь.

Успех, по мнению Тьера, венчает истинные достоинства, а неуспех — почти всегда результат ошибок.

18-е брюмера Тьер признает необходимостью не только исторической, но и моральной и видит в нем спасение Франции от угрожавшей ей анархии. Впрочем, есть исторические деятели, по отношению к которым антипатия Тьера выходит дальше, за рамки неудачи. Это Бурбоны.

«История французской революции» имела крупное значение для историографии. Господствующее в обществе неприязненное отношение к революции не позволяло двигаться исторической науке. Конечно, в исторической литературе того времени встречались сочинения с симпатией к революции. Однако работа Тьера стала лучшим сочинением, позволявшим взглянуть на революцию с положительной сто-

Оноре Мирабо
Рисунок Моро де
Жена



роны. Книга дышала любовью к свободе и сочувствием к революционным событиям.

Вторая работа Тьера, «История консульства и империи», стала панегириком Наполеону I; книга содержит богатый фактологический материал и так же, как и «История французской революции», написана ярким живым языком.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ФРАНЦИИ ДО ЛЮДОВИКА XVI

Народы, населявшие Францию в самые отдаленные века ее истории, известны нам почти только по рассказам их завоевателей, Римлян. Народы эти, без сомнения, происходили от смешения других, древнейших завоевателей с побежденными племенами. Цезарь изображает их воинственными, всегда вооруженными и готовыми решить всякий спор дракою, легкомысленными, несколько склонными к праздности, но гостеприимными, великодушными, доверчивыми и искренними. Они были до того проникнуты тем, что называется *правом сильнейшего* (как будто сила есть право!), что присваивали себе полную власть над жизнью своих жен и детей. Жрецы их, друиды, единственные хра-

нителю кое-каких учений, обеспечили себе их повиновение, действуя на их суеверность. Жрецы эти основывали свое владычество на страхе, который внушали своими проклятиями; они были избавлены от государственных тягостей, но пользовались государственными богатствами. У этих народов, как и у многих варваров, были в употреблении человеческие жертвы. Однако они, говорят, верили в загробную жизнь и в одно верховное существо; но вероятнее, что друиды поддерживали лишь суеверия грубого политеизма или даже фетишизма. Поэты, или барды, пели воинственные песни, которые ободряли сражающихся и увековечивали имена героев.

Эти народы, называемые Римлянами *Галлами*, но сами себя именовавшие *Кельтами*, имели по большей части, аристократический образ правления. Военачальники и воины образовали то, что на наших языках зовется дворянством, знатью, благородным сословием: они пользовались богатством и властью; массе предоставлялись нужда и рабство. Галлия составляла нечто вроде конфедерации; каждым народом управлял король, выбираемый воинами или знатью. Эти короли далеко не имели неограниченной власти. Один из них говорил Цезарю: «Республика имеет не менее власти надо мною, нежели я над нею».

Римская дисциплина, гений и счастье Цезаря в десять лет восторжествовали над храбростью Галлов. Завоеватель, из политических расчетов, посеял раздор между союзными племенами; он умел добывать себе приверженцев и союзников и победил Галлов одних другими. Галлы отличались пылкостью в нападении, но легко унывали от неудач. Дело, довершенное силою, давно было начато колонизациею: Галлы обратились в Римлян; им дали новые искусства, новые нравы; их окончательно побороли цивилизациею. Римская муниципальная система и римское ученое земледелие вскоре привели Галлию в цветущее состояние — тогда деспотизм начал ее грабить. Так продолжалось четыре столетия, в конце которых народ очутился в крайней бедности, пожираемый проконсулами, раздираемый крамолами, беспрестанно переходя от открытого восстания под власть недолговечных тиранов.



Наполеон I

Тем временем христианство водворялось в империи, уже терзаемой набегами многих варварских племен. Это была вера, подходящая для недовольных, для угнетенных. Евангелие — закон человеколюбия, равенства, утешение несчастных — распространилось в Галлии. В 325 г. император Константин разрешил открытое исповедание христианской религии и публичное отправление ее обрядов; он временно восстановил потрясенный порядок. Епископы пользовались популярностью; деспотизм обласкал их, чтоб через них обеспечить себе покорность народа. Они не замедлили освободиться постепенно из-под гражданской власти, и римский епископ, впоследствии получивший титул «первосвященника», тогда уже пользовался некоторым духовным верховенством и влиянием в светских делах. Римская цивилизация, искусство и литература были в упадке; империя, разъединенная и ослабленная, разваливалась; дисциплина распустилась; обаяние римского имени пропало; мрак невежества и варварства ложился на прекрасные области, жившие так счастливо под управлением Траяна, Антонина, Марка-Аврелия, императоров-философов.

ВОДВОРЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ И ГОТСКИХ ПЛЕМЕН ВО ФРАНЦИИ

Варварские племена севера Европы, привлекаемые хорошим климатом и богатством империи, уже не раз учиняли набеги на разные области, но их все еще изгоняли, то силою, то трактатами, а то и откупались от них подарками. Последнее средство было никуда негодное, но дряхлый римский деспотизм часто прибегал к нему; выродившийся Рим дошел даже до того, что защищался против одних врагов оружием других. Стали нанимать легионы варваров для охранения границ. Одному племени германского народа, Франкам, долгое время была поручена защита берегов Рейна. Понятно, что эти варвары, научившись у Римлян военному искусству, обратили его в собственную пользу. Они рассудили, что гораздо приятнее овладеть империей, нежели охранять ее, и надеялись, пользуясь наполнявшими ее

смутами и беспорядками, прочно в ней устроиться. *Вестготское* племя поселилось в Испании и на юге Франции, *Бургунды* — в восточной части Франции, а *Франки* — в нынешней Бельгии. Эти Франки больше других варваров имели сношения с римлянами. Они шли на войну несколькими коленами или ратями, и во главе каждой рати стоял выборный глава. Монахи, писавшие плохие летописи о тех временах, сохранили имена нескольких из этих франкских вождей, которых почтенные монархические историки произвели в французские короли: *Фарамунд*, *Хлод*, *Мервег*, *Гильдрик* были такими, более или менее могущественными вождями. *Аэций* (420 г.), полководец *Валентиана III*, несколько раз побеждал *Хлода* и ненадолго восстановил римское владычество в Галлии, кроме *Арморики* (нынешней Бретани), которая объявила себя независимую. Около этого времени (451 г.) татарская туча, предводительствуемая *Аттилою*, прозванным «бичом Божьим», налетела на Галлию. *Аэций* помирился с другими врагами империи, соединил свою армию с армией вестготов и победил *Аттилу* в шалонских равнинах, в Шампани. Если бы не эта великая победа, раса *Галлов* была бы ныне смешана с расою *Гуннов*.

В то время сын *Мервега*, или *Меровея*, которого мы называем *Хильдеригом* (459 г.), предводительствовал Франками, поселенными близ *Турнэ*. Они его низложили за то, что он обольщал у них девушек. Это право впоследствии вышло, по-видимому, из употребления. Факт этот замечателен как доказательство того, что франки низлагали при случае своих королей. На место его они избрали начальника римской милиции, *Эгидия*. *Эгидий* же, на которого один римский патриций, его личный враг, натравил *Вестготов* и даже племя *Рипуарских Франков*, заключил союз с *Хильдеригом* и вместе с ним победил *Вестготов* при *Орлеане* (463 г.) *Хильдериг* между тем опять попал в милость к своим Франкам, потому что он был хороший воин. Он жил постоянно в *Турнэ* и недалеко проникнул в Галлию. Когда он умер ((480 г.), он оставил своего шестнадцатилетнего сына во главе своего племени, называемого *Салическим*. Я упомянул не обо всех событиях, которые представляет история Галлии около того времени; место не позволяет, при-



Баптистерий св. Иоанна в Пуатье

Конец VII в.

том они мало интересны, заключааясь главным образом в поочередных сражениях и союзах между Римлянами и Франками, Вестготами и прочими варварами, в деяниях честолюбивых полководцев, воспитанных на интригах императорского двора, низвергающих своих бессильных государей и нередко призывающих варваров, когда это потвор-



Хлодвиг



Хлодвиг между Хродехильдой и Ремигием
Западный фасад Собора в Реймсе XIII в.

ствовало их личным расчетам. В то время Западная империя только что развалилась; Саксы заняли Анжу и Мэн, Бургунды — Секванию, Вестготы — юг до Луары, Алеманны и Франки оспаривали друг у друга север, Римляне и Галлы сохранили остальное, а Арморика была независима.

ЗАВОЕВАНИЯ ФРАНКОВ ПРИ ХЛОДВИГЕ; ГРАЖДАНСКОЕ УСТРОЙСТВО НАРОДОВ, НАСЕЛЯВШИХ ФРАНЦИЮ

(481 г.) Сына Хильдериха звали Хлодовигом, или Хлодвигом; это, кажется, одно и то же имя, что Людвиг, Людовик. Его владения были необширны и граничили с разными франкскими племенами. Он был честолюбив и имел все таланты завоевателя. Вступив в союз с одним франкским племенем, он сначала побил *Сиагрия*, сына *Эгидия*, управлявшего галло-римлянами Суассонской области, и, добившись того, что ему его выдали, обезглавил его. Затем он вступил в союз с Рипуарскими Франками и еще более увеличил свое могущество и влияние в Галлии, женившись на *Клотильде* (493 г.), дочери короля Бургундов. Она была христианка, и Хлодвиг этим браком как бы вызывался быть покровителем христиан, составлявших большинство населения Галлии; во всяком случае, он приберегал их поддержку. Они ему скоро понадобились. Явились опасные соперники — Алеманны, сброд всяких грабителей германских орд. Соединившись с Рипуарами, он дал им сражение при *Цюльпихе*, близ *Кельна*, и победил их (496 г.). Летописец *Григорий* оставил об этой битве восторженный рассказ весьма сомнительной правдивости. Всего вероятнее, что, пока исход сражения был еще не верен, Хлодвиг громогласно дал обет принять христианство, чтоб воодушевить многочисленных воинов-христиан, служивших в его войске. Как бы то ни было, он вскоре после того принял крещение в *Реймсе* с частью своих Франков.

Римляне часто давали варварским князьям разные римские почетные титулы, чтоб склонить их на свою сторону тшеславием. Хлодвиг получил титул «начальника римской милиции»; после поражения *Сиагрия* он действительно сде-

дался им. Его обращение в христианство покорило ему всех римлян, исповедовавших эту веру. Короли Вестготов тоже были христиане, но исповедовали ересь Ария, т. е. не признавали божества Христа. Союзные Армориканцы не замедлили вступить в переговоры с Хлодвигом, который долго воевал против них и в 494 г. взял Париж, один из союзных городов. Ему оставалось победить только Вестготов и Бургундов; он начал с последних. Клотильда сама подстрекала его на это, желая отомстить дяде, Гундобальду, убийце ее отца. Хлодвиг, никогда не пускавшийся в предприятие без союзника, предложил поделиться трудами и плодами этой войны могущественному Теодориху, который царствовал над Готами и старался восстановить в Италии римскую цивилизацию. Хлодвиг победил без него (500 г.), однако Теодорих потребовал и получил свою долю. Поражению Гундобальда много содействовало то, что христиане отступились от него; он слишком поздно понял, что надо было делать уступки преобладающим мнениям. Он принял христианство, и Хлодвиг возвратил ему престол, с условием, чтоб он платил ему дань. Теодорих, боявшийся слишком большого расширения могущества Хлодвига, вероятно, принудил его к такому умеренному поступку. Он же задержал и покорение Вестготов. Однако, узнав, что их король, Аларих, чем-то прогневал своих подданных, Хлодвиг соединился с Гундобальдом и побил Алариха при Вулье, близ Пуатье (505 г.). Эта победа имела последствием покорение почти всего юга Галлии, которая впоследствии и назвалась по своим завоевателям — Францией. Хлодвиг в триумфе возвратился в Тур (510 г.), где пожертвовал богатые дары реке св. Мартина. Тут же он получил от Анастасия, императора цареградского, звание римского консула и августа, в чем была выдана ему грамота. Эта почесть мало что могла прибавить к его могуществу.

Хлодвиг поселился в Париже, тогда еще называемом Лютецией и бывшем постоянным местом пребывания цезаря Юлиана, когда он управлял Галлией. Чтобы не иметь соперников, он разными путями умертвил королей различных франкских племен и заставил себя избрать на их место. Он умер в Париже в 511 году.

Посмотрим, каково было положение народов, в ту пору



Хильдеберт и Хлотарь



Казнь Брунгильды

населявших Францию. Франки были или свободные, или рабы, но у них рабство не имело такого личного характера, как у Римлян. Они управлялись салическим законом, составленным Хлодвигом для своего племени, или законом Рипуаров. Свободные люди каждый год собирались на Марсовом поле и там составляли законы. Королей они избирали, но обыкновенно брали старшего сына того, которого надо было заместить. Бургунды, подчинявшиеся законам Гундобальда, сохранились отдельной нацией до королей второй династии; у них нравы были свирепее, нежели у других Франков. Вестготы по большей части ушли в Испанию. Римляне или Галлы сохранили свое гражданское устройство, насколько это позволяли преимущества, присвоенные себе завоевателями. Духовные лица принадлежали к этой национальности, и она, по милости этого обстоятельства, пользовалась некоторым влиянием. Одна только религия была в состоянии обуздывать грубую силу. К несчастью, тогда уже начинали употреблять ее во зло, хотя в то время, она еще сохранила остаток своей первобытной чистоты, а наивная вера варваров делала ее могучим и спасительным орудием примирения. Епископов уважали, потому что нравы их вообще были чисты; они с пользою становились посредниками между победителями и побежденными. Когда Франк вступал в духовное звание, ему отрезали длинные волосы, отличительный признак его свободных соотечественников, и он делался как бы Римлянином. Правда, за убийство Римлянина платилось менее, нежели за убийство Франка, но так и должно было быть у народа-завоевателя, наказывавшего всякое убийство лишь денежной пеней, соразмерную важности личности убитого. Впрочем, Римляне судились собственными судами, а для решения спорного дела между Римлянином и Франком учреждался суд наполовину из Римлян, наполовину из Франков. Выродившийся латинский язык получил значительное преобладание; Франки на нем составляли свои публичные акты; наконец, Франки браками роднились с Римлянами. Достаточно пробежать историю тех времен, в которой не встречается ни одно восстание Галлов против Франков и из которой ясно видно, как епископы своим влиянием старались сохранять некоторое равенство и согла-



Король Дагоберт

сие между обоими народами, чтобы отвергнуть мнение писателей, уверяющих, будто Галлы были обращены в рабство. Впрочем, вопрос этот для нынешнего француза лишен всякого интереса. Слитие давно совершилось, а когда именно и каким путем — ни для кого не важно.

ПРЕЕМНИКИ ХЛОДВИГА. НАЧАЛО ФЕОДАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Рассеянные по всей Галлии завоеватели не собрались, чтобы выбрать преемника Хлодвигу. Его четыре сына разделили его владения между собою. Такие дележи потом часто повторялись — отсюда происходит большая путаница в истории тех времен. Нет надобности утруждать память именами малоизвестных королей, живших в Орлеане, Суассоне, Метце или Париже, равно как и беспрестанными войнами, возникавшими между ними из-за разных наследств. Летописи того времени исполнены одними бесчеловечными убийствами и бесславными драками; не попадается ни одного царствования, ознаменованного важными переменами, обширными политическими комбинациями. После двух войн Франки покорили Бургундов, потом прогнали Готов из альпийских областей. Император Юстиниан около того времени (537 г.) формально уступил франкским королям права Римской империи на Галлию. Хлотарь, бывший сначала только суассонским королем, умирая, владел всею Хлодвиговой монархией. Дети его разделили ее между собой, только Париж оставили общим достоянием. Королевы Фредегунда и Брунегильда постоянно возбуждали между ними войны. Первая отличалась необыкновенною даровитостью, отвагою и злодейством. Она самолично выиграла несколько сражений; последняя погибла ужасной смертью, если верить летописям, исполненным противоречий и лжи. Дагоберт был король распутный и расточительный (613 г.), душивший Францию налогами, чтоб обогащать своих наложниц и основывать монастыри. Монахи сделали из него святого, но такие поступки, как избиение по его приказанию пятнадцати тысяч Болгар, бежавших в его владения и

Карл Мартелл

получивших от него разрешение в них перезимовать, не говорит в пользу его святости.

Вообще этот исторический период представляет мало интересного, но в нем следует искать начала феодальной системы, столь долго угнетавшей и пожиравшей Францию.

Какие земли достались Франкам после завоевания или были даны им королями? Вот вопрос, насчет которого историки никак не могут сойтись мнениями. Что это были за так называемые *салические* земли, которые получались с условием отправлять известные военные повинности и не могли переходить в наследство к женщинам? Откуда взялся салический закон, устранивший женщин от престолонаследия? Как бы

там ни было, верно то, что короли, по примеру Римлян, стали давать земли, или «военные бенефиции», сначала на срок, потом пожизненно. Вельможи — *ленники* или *феоды*, — наиболее близкие к королям люди, сражавшиеся подле них, составлявшие их совет и присягавшие им, впоследствии стали передавать эти дарованные им земли в наследство. Каждый из них учредил то, что тогда называли «сеньориєю», заимствуя это название из муниципальной иерархии Римлян; этим именем Франки означали верховенство данной земли над соседними землями. Тут-то и начинается феодализм — бессмысленный вид владычества земли, землевладельца над обывателем. Ленные владельцы или вельможи, господа (*seigneurs*), по необходимости должны были сделаться мелкими тиранами. С первых же пор они забрали в свои руки гражданское и политическое правосудие каждый в своем участке и пользовались им, чтоб налагать пени и конфисковать в свою пользу имущества. Этих ленов сначала было немного; потом они покрыли собою Европу. Епископы и монахи стали делаться ленными владельцами, военные вожди заставляли избирать себя епископами. Короли, духовенство и светская знать заодно грабили народ и порабощали его, но духовенство получало наибольшие от этого выгоды. Полное невежество и чудовищное суеверие содержали умы в покорности — духовенство через это наживало несметные богатства. Военные люди прямо грабили народ, а духовенство страшало его и брало с него деньги; нередко короли отнимали имения у духовенства и отдавали их в пользование военным, которые иногда платили за это прежним владельцам ежегодную сумму в виде вознаграждения.

Когда какой-нибудь король совершал убийство, он покупал отпущение, основывая монастырь. Когда хотели избавиться от короля, его запирали в монастырь, постригали в монахи. С другой стороны, короли часто присваивали себе право назначать епископов, тогда как их должен был избирать народ. Если светский человек, едучи верхом, встречал духовное лицо, он должен был слезть с лошади, чтоб поклониться ему. Такие черты достаточно характеризуют время. Из них видно, что феодализм, варварство и могущество духовенства росли и крепились вместе.

МАЙОРДОМЫ. КАРЛ МАРТЕЛЛ. ЛЕНЫ.

Важные придворные должности были заимствованы варварскими королями у византийских императоров. Последние короли меровингской династии пользовались уже только тенью власти; ими управляли их же честолюбивые и могущественные придворные вельможи. Главным над всеми придворными чинами был майордом. Система наследственности, начинавшая захватывать все должности, утвердилась и в этой стране так что в действительности началась новая династия. Номинальные короли почти не выходили из своих дворцов, где проводили жизнь в полном бездействии. Многие из них жизнью платились за печальное отличие, доставшееся им по рождению, когда этого требовали честолюбивые расчеты майордомов. Майордом *Пипин*, человек очень ловкий, собрал всю Францию под свою власть (690 г.). Он снова ввел в употребление собрания на Марсовом поле. Сын его, Карл, был один из величайших воинов своего времени и за это был прозван *Мартеллом*, т. е. молотом. Он держал военное сословие постоянно под оружием и был его кумиром. Сарацины, незадолго перед тем завоевавшие Испанию во имя Магомета, вторглись во Францию и заняли всю южную половину ее. Карл Мартелл победил их при Пуатье, в достопамятной битве (732 г.) и отбросил их за Пиренеи. Эта победа, быть может, замедлила возрождение цивилизации, потому что Сарацины обладали некоторыми искусствами и просвещением, по милости которых Испания долго процветала.

Замечательно в царствование Карла то обстоятельство, что он, для того, чтобы награждать своих военачальников и иметь средства, необходимые для ведения этих непрерывных войн, отобрал имения у церкви, уже владевшей почти что всей Францией; поэтому монахи-историки предали его анафеме. Он раздавал множество земель, с обязательством нести военные повинности и присягать ему в верности, так что первые крупные феодалы обогатились имениями, отобранными у духовенства.

ПИПИН КОРОТКИЙ, ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ КАРЛОВИНГСКОЙ ДИНАСТИИ. ДУХОВЕНСТВО. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРЯДКИ

Карл Мартелл не удостоил надеть на себя корону; сын его Пипин счел это необходимым для своих политических расчетов. Он это устроил с большою ловкостью. Он сделался популярен; он расположил к себе войско, но обласкал также и духовенство, которому возвратил часть отобранных у него имений. Он отправил посланного папе, с просьбою разрешить следующий вопрос совести: «Должен ли королевский титул принадлежать лицу, неспособному царствовать, когда королевская власть в руках человека, с толком пользующегося ею?» Захария ответил, что имеющий королевскую власть должен принять и королевский титул. Законного короля постригли в монахи (750 г.) — и дело с концом. Пипин первый пожелал освятить свое восшествие на царство церковными обрядами. Он принял помазание от прелата (755 г.).

Царствование Пипина было вообще славное. Он прогнал окончательно Сарацин с юга и приобрел большую власть в Германии. Все важные дела и новые законы он отдавал на обсуждение народным собраниям, имевшим основным началом то, что *«закон создается с согласия народа и издается королем»*. Духовенство его усердно превозносило. Папа величал его *«новым Моисеем»*; *«новым Давидом»*. Вероятно, в благодарность за покорность, оказываемую ему духовенством, Пипин решился ввести его в народные собрания, на правах особого политического сословия. Этот факт весьма важный и достойный замечания.

КАРЛ ВЕЛИКИЙ. ВРЕМЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Человек, одаренный необыкновенно деятельным духом и обладающий огромными средствами, может основать новый политический строй, но творение его будет лишь настолько прочно, насколько народы будут расположены поддерживать его и насколько его замыслы будут выражением общей потребности.



Карл Великий

Пипин разделил королевство между двумя сыновьями (768 г.) Один из них скоро умер; другой, получивший название Карла Великого, царствовал после него. Король лонгобардский, владевший всем севером Италии, в то время был могущественным государем. Он предложил Карлу Великому свою дочь, и Карл согласился жениться на ней, разведясь для этого со своей первой женой, против желания папы.

Скоро, однако, он развелся и с лонгобардкой, принял сторону римлян против отца ее и сверг его с престола (774 г.), взяв его столицу, Павию. Папа Адриан возложил на него железную корону Лонгобардов. Сделавшись римским королем, Карл захотел покорить народ бедный и храбрый, единственная вина которого заключалась в ненависти ко всякой зависимости. Ему понадобилось тридцать три года на покорение Саксов; так как сила оказалась недостаточна, то он послал к ним миссионеров и обращал их в христианство, чтоб потом с большим удобством притеснять их. Он избивал их тысячами и целые племена этих несчастных переселил в другие части своих владений. Вождь их, *Витикинд*, явил чудеса упорства и мужества. Можно сказать, что декреты Карла Великого против Саксов писаны кровью. В то же время он старался забраться в Испанию, но его предприятия против тамошних Сарацин были не так удачны. Зато он успел в замысле гораздо более обширном. В начале девятого века (800 г.) он возложил на себя в Риме императорскую корону. Папа Лев III содействовал осуществлению этой мысли, и падший римский народ кричал: «Да здравствует Карл, августейший и миролюбивый император римский, венчанный рукою Божьею!» Любопытно, что мысль восстановить империю Цезарей возымел преемник тех самых варваров, которые способствовали ее падению.

Желая возродить цивилизацию, Карл учредил училища, в которых преподавались грамматика, т. е., по-тогдашнему, чтение, арифметика и церковное пение. Училища эти могли устроиться только в монастырях и епископских дворцах, так как одни духовные лица знали грамоту. Один английский монах, Алькуин, был приглашен ко двору, чтобы основать литературный «институт». Карл, не выпуская оружия из рук, ничего не забывал и сам учился грамматике. Зиму и весну он проводил в Аахене, и там созывал свои сеймы, на которых дворяне, епископы и несколько свободных людей, допущенных из милости, обсуждали указы, которые он потом издавал в виде законов. Соответствовали ли его законы общей пользе? Вероятно, насколько позволял век. Панегирики Карла уверяют, что он не давал дворянству притеснять духовенство и народ, постоянно занимая его войною. Его указы (са-

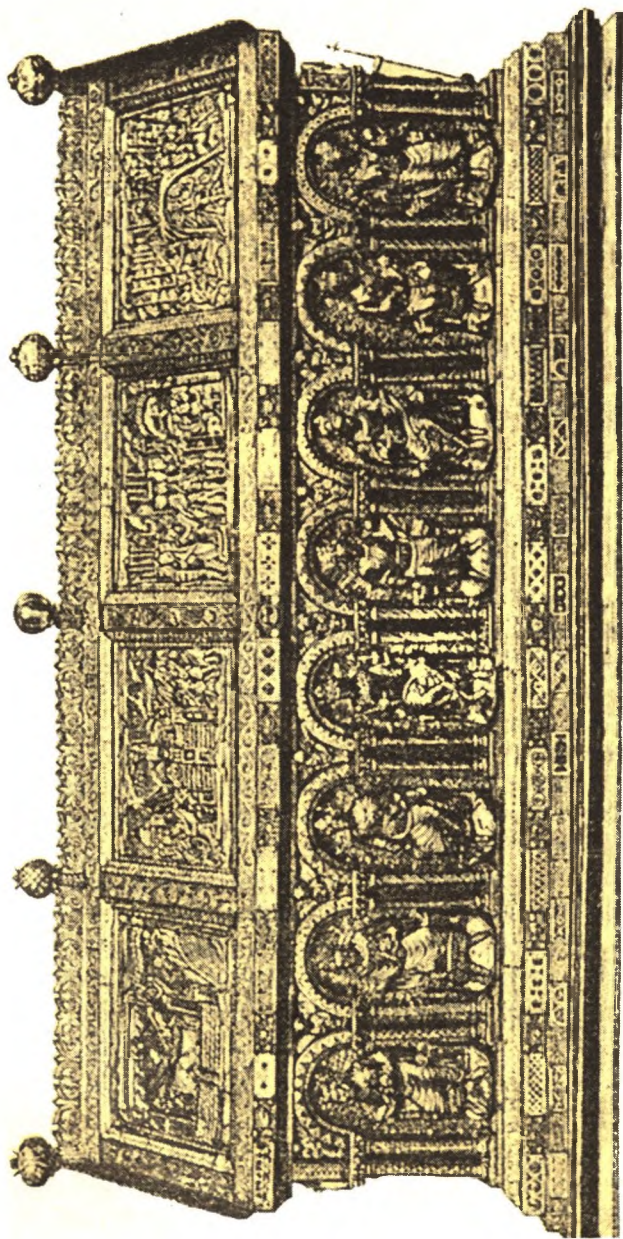


Папа Лев III

pitulaires) были несомненно полезны в такую пору, когда у всех народов, составлявших его империю, были разные законы. Он любил искусства и промышленность; он имел те понятия о порядке и единстве, без которых нельзя ничего создать. Он был неутомим и всегда являлся там, где требовалось его присутствие. Никто более его не был способен к постоянной борьбе против варварства, но он не мог восстановить ни Римскую империю, ни цивилизацию, по той причине, что он был единственный римлянин своего времени, а народы еще не созрели для новой цивилизации, которая должна была родиться несколько веков спустя.

В течение своего долгого царствования Карл Великий вел переговоры с константинопольским двором, принимал дружеское посольство от халифа Гарун-Аль-Рашида, председательствовал на соборах. Чтобы уменьшить влияние епископов, он их освободил от военной службы, но зато учредил в пользу их десятинный сбор. Он занимался преобразованием духовных порядков и по возможности обуздывал жадность духовенства. Он позаботился о том, чтобы право убежища, которым пользовались монастыри, не обратилось в безнаказанность преступления. Он издал законы против роскоши, правила о монетах и торговле. Он учредил административные собрания в провинциях, куда отправлялись должностные лица для наблюдения за исполнением законов, вверенных графам вместе с епископами, и для принятия жалоб от народа. Но в то же время феодальная система все более утверждалась.

Победив Саксов, Баварцев, Венгров (809 г.) и сделавшись владыкою большей части тогдашней Европы, Карл разделил империю между своими детьми. Пипина он сделал королем Италии, Людовика — королем аквитанским; после смерти Пипина он сделал Людовика своим соправителем (813 г.), а внука своего, *Бернарда*, короновал королем итальянским. Однако конец этого великого царствования был очень бурен и предвещал беды. Датские и шведские морские разбойники, которых тогда называли *нордманами*, т. е. «людьми севера», начинали опустошать берега Франции. Карл думал серьезно заняться их защитой; он посетил порты, велел построить суда (814 г.), но смерть настигла его среди этих тру-



Гробница Карла Великого в Аахене

дов, когда он уже мог ясно предвидеть новые бедствия, в недалеком будущем грозившие его державе.

Карл Великий был необыкновенного роста и силы. Все историки единодушно восхваляют его частные качества. Он был трезв и воздержан, справедлив, бережлив и великодушен; во вкусах он был прост и не пренебрегал ни малейшими мелочами; он посылал продавать овощи из своего огорода. Непонятно, как мог такой человек избить тридцать тысяч Саксов!

**ЛЮДОВИК БЛАГОЧЕСТИВЫЙ.
МОГУЩЕСТВО ДУХОВЕНСТВА.
СУДЕБНЫЕ ИСКУСЫ. ПОЕДИНКИ. ЯЗЫК**

Как не стало Карла Великого, слабость его преемника распустила все то, что держалось силою его могучей руки, и здание, воздвигнутое им, в короткое время разрушилось. Людовик Благочестивый обладал прекраснейшими качествами и величайшими частными добродетелями: он был храбр, учен, человеколюбив; но этого мало было, чтоб продолжать деятельность Карла Великого. Он начал с того, что тоже разделил империю между своими сыновьями (817 г.) и одного из них сделал своим соправителем с титулом императора; но так как он не сумел держать их в повиновении, то имел в них врагов. Четыре восстания против малодушного императора сделали из его царствования одну непрерывную междоусобную войну. Бернарда, короля Италии, император покорил (818 г.) и, в первый раз изменяя своей обычной умеренности, приказал ослепить (он сначала был приговорен к смерти). Но вскоре, мучимый совестью, он подвергся всяким унижениям и покаяниям и этим возбудил новые восстания. Его вторая жена, Юдифь Баварская, упростила его вторично разделить империю, чтоб не оставить без наследства ее сына, Карла, но другие сыновья на это не согласились. Последовало новое восстание. Император уступил (830 г.), смирился и позволил заключить императрицу в монастырь, но скоро опять потребовал ее к себе и попытался вернуть некоторую власть над сыновьями, но они снова восстали против него, склонили папу на свою сторону (838 г.), посеяли изме-



Людовик I Благочестивый

ну и раздор в войсках императора и наконец низложили его. Лотарь садится на престол. Безбожные епископы осуждают несчастного государя на пожизненное покаяние. Он надевает власяницу, позволяет себя обезоружить, посыпает голову пеплом и запирается в келью. Его крайнее унижение трогает народ в его пользу. Составляется партия, короли аквитанский и баварский к ней примыкают. Лотарь побежден, вымывает у отца прощение и возвращается в свое итальянское королевство. Епископы, надругавшиеся над павшим императором, наказаны. Но честолюбивые замыслы Юдифи в пользу своего сына Карла вызывают новую войну. Император покоряет непокорного сына Людовика (840 г.) и вскоре за тем умирает, удрученный скорбью.

Это царствование особенно заслуживает внимания из-за роли, которую в нем играет церковь. Карл Великий упот-

реблял духовенство как политическое орудие, Людовик покорился ему как высшей силе. Первый дал папе светскую власть, чтобы этим купить его благодарность и преданность и через него обеспечить себе покорность народов; последний валялся в ногах у римских епископов, повиновавшихся слову его отца. С этого царствования начались дерзкие притязания римской тиары на верховенство над светскими коронами, и теократический деспотизм, принявший такие страшные размеры при Иннокентии III. Епископы стали считать себя единственной законной властью. Они обладали несметными богатствами, позволяли себе безобразную роскошь и носили латы и оружие, как воины; иной аббат имел до 20 000 крепостных. Людовик вздумал отменить злоупотребления, столь противные евангельскому учению, и только навлек на себя гнев и мщение духовенства.

В это время правосудие было проникнуто самым бессмысленным варварством. Оно основывалось на том предположении, что сотворится чудо всякий раз, когда невинный подвергается обвинению. Чтобы смыть с себя обвинение, нужно было погрузить руку до локтя в кипяток или схватить голой рукой раскаленное железо, и пр. и пр. Если не происходило повреждения, обвиненный объявлялся оправданным. А то еще распри и преступления судились поединком. Истец и ответчик сражались не словами, а оружием, сами или через других бойцов. Каждый монастырь держал такого бойца для защиты своих интересов. Карл Великий заменил в этих последних меч палкою. Впоследствии одни крепостные дрались на палках. Свидетелям, даже судьям нередко приходилось прибегать к оружию. Этому так называемому «божьему суду» всегда предшествовали религиозные обряды. Самые суды эти были заимствованы первоначально от Бургундов.

Римляне во время своего владычества ввели в Галлии латинский язык; Франки и прочие варвары испортили его. Вышло новое наречие, названное «романским», — смесь языков кельтского, германского, готского, с преобладанием латинского. Из этого-то языка в течение восьми веков выработался французский язык.



Карл Лысый

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ ПРИ КАРЛЕ ЛЫСОМ РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

При Людовике Благочестивом монархия, изнутри расшатанная, снаружи еще стояла; при сыне его, Карле Лысом, все рухнуло. Карл был малодушен и бессилен; царствование его было непрерывным рядом бедствий. После смерти отца три брата воевали между собою. Тот, который получил титул императора, был побит другими двумя в знаменитой битве при Фонтенэ, в Бургундии, в которой легло сто тысяч человек. Епископы, в то время распорядившиеся короною, низложили его и постановили новый раздел. Об эту пору Норманны сделались ужасным бичом для Франции, которую наполовину опустошили и разграбили. Они сожгли Париж, и Карл по примеру императоров павшего Рима откупился от них богатыми дарами. Это, конечно, заставило их тем скорее вернуться. Каждый год целые флоты разбойничьих судов причаливали к берегам, и король душил народ налогами, чтоб их удовлетворить. Среди общей неурядицы епископы и светские вельможи оспаривали друг у друга власть (846 г.). Последние взяли верх на собрании, в которое не были допущены представители народа; первые отомстили тем, что низложили короля (858 г.) и отдали корону его брату, Людовику Немецкому, а потом и этого отлучили от церкви. Таким образом, у духовенства и светских властей было одно общее занятие: грабить в перегонку народ с одной стороны, пока его с другой одолевали разбойники. Король лотарингский едва не лишился короны через отлучение от церкви (860 г.), за то только, что развелся с женою. В это время Бальдуин, французский вельможа, отлученный от церкви за похищение дочери Карла, получил от последнего графство Фландрское, которое перешло к его потомству.

Остановимся здесь на развитии феодального образа правления, сввергшего народы в столь жалкое, бедственное положение.

Во время завоевания Франками области управлялись савонниками, называющимися *comtes*, т. е. товарищами императора, а иногда *дюками* — *dux*, т. е. полководцами.

Франкские короли впоследствии от себя назначали этих гражданских и военных сановников, которые на французском языке сохранили свое латинское название — *comte, duc*, — а на германском получили наименование *графов* и *герцогов*. В хаосе, водворившемся при Карле Лысом, они сделались независимы от королевской власти и даже вырвали у нее признание наследственности их должностей. Этим учредилось новое правительство, или, вернее, правительство разделилось на столько же равноправных членов, сколько прежде у него было агентов, на столько же монархий, сколько прежде было провинций. Король, однако, в теории признавался верховным главою, но его власть была не более чем миф; сила по необходимости должна была всегда иметь верх, а сила — это постоянная война. Эта политическая система основывалась на так называемой верности. Подчиненный назывался *вассалом*, глава его — *сюзереном*. Король не был ничьим вассалом, кроме Бога, по тогдашнему выражению, а его вассалы в свою очередь имели вассалов; выходили нескончаемые подразделения. Лен давался как бы в условное пользование: сюзерен давал его вассалу с тем, чтобы последний сопровождал его на войну, а со своей стороны обеспечивал его своим покровительством. Порядок в такой системе мог быть лишь настолько, насколько соблюдались взаимные обязательства этого договора, поэтому на деле выходила организованная анархия. Простолюдины, или вилены, были не вассалы, а подданные сюзерена, обязанные, по его требованию, идти на войну под его знаменем. В этой политической лестнице каждая ступень имела власть лишь на ступень, стоявшую непосредственно под нею. Такова — насколько возможно изложить на двух страницах то, что едва умещается в нескольких книгах, — сущность безобразной политической системы, именуемой феодальною.

УПАДОК КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ И ДИНАСТИИ КАРОЛИНГОВ. ПОСЕЛЕНИЕ НОРМАННОВ

Понятно, что при таких условиях королевская власть не долго могла продержаться. Преемники Карла Лысого еще превзошли его слабостью характера. Людовик Косноязычный был сын Карла Лысого. За ним последовали Людовик III (879 г.) и Карломан. При них один вельможа основал себе маленькое королевство в Провансе. Оставался еще сын Людовика Косноязычного, пятилетний Карл. Предложили корону Карлу Толстому (884 г.), царствовавшему в Германии, с императорским титулом. Норманны, не прекращавшие своих грабительств, осадили Париж. Одон, граф Парижский, храбро защищал город. После двухлетней осады император подошел на помощь с армиею, но норманны застрашали его, и он купил мир. Он вскоре после того умер, некоторые говорят — в состоянии умопомешательства. Граф Одон (888 г.) принял корону в качестве опекуна маленького Карла; он легко мог бы и вовсе ею овладеть. По смерти его (898 г.), Карл IV, прозванный Простодушным, стал управлять один. Около этого времени северные разбойники поселились в части Франции, дотоле называемой Нейстрией и теперь принявшей от них имя Нормандии. Таким образом, потомки франков, раздробленные феодализмом, претерпели ту же участь, которой предки их подвергли римлян. Король послал к вождю норманнов Рольфу (911 г.) свою дочь с приглашением принять христианство. Норманн охотно согласился, но, присягая в верности королю, он отказался исполнить обряд, заключающийся в целовании ноги у сюзерена, а поручил исполнить его одному из своих дружинников, который так грубо приступил к Карлу, что он чуть не упал назад. Это нахальное непочтение только возбудило общий хохот. Впрочем, Рольф, принявший в крещении имя Роберта, оказался превосходным государем, и Нормандия при нем расцвела. Он прежде всего издал строжайшие законы против всякого рода грабительства, и народ его усердно принялся за земледелие.

Между тем министр Карла Простодушного возбудил неу-



Людовик II
Косноязычный

довольствие вельмож (922 г.), они же выместили это неудовольствие на короле и свергли его с престола. Его место занял Роберт, граф Парижский, но был убит в сражении собственной рукой короля. В другом сражении победа осталась за Гуго, прозванным Белым, сыном Роберта; Карл бежал к одному из вельмож, который до смерти держал его у себя в плену. Гуго, имевший титул герцога французского, не пожелал принять королевский титул, а предоставил его Раулю, герцогу бургундскому, царствование которого было исполнено междоусобицами. Один могущественный вельможа вздумал, впрочем, с согласия папы, сделать пятилетнего ребенка епископом. Из-за этого дрались восемнадцать лет, епископы участвовали в этой войне, то оружием, то отлуче-



Карломан



Карл Толстый

нием от церкви. По смерти Рауля Гуго посадил на престол сына Карла Простодушного (936 г.) Людовика IV, названного *Заморским*, потому что он воспитывался в Великобритании. Молодой король хотел было освободиться от опеки своего честолюбивого пестуна, но Гуго не замедлил доказать ему, что быть королем феодальной Франции еще не значит пользоваться властью. В это время в Германии поднялся вопрос о престолонаследии, а именно: должно ли право на престол передаваться по прямой линии, так чтоб право внука устраняло право его дядей на престол? Вопрос этот был разрешен поединком. Боец прямого престолонаследия победил, и с тех пор право на престол утвердилось в прямой линии.

По смерти Людовика IV (954 г.) сын его Лотарь принял корону, с согласия Гуго Белого, который умер два года спустя, передав свою власть сыну своему, Гуго Капету. Лотарь, имевший характер более решительный, нежели его предшественники, добился некоторой власти над своими вельможами. В его царствование Лотарингия, сто лет бывшая поводом к непрерывной войне между французскими и германскими государями, досталась императору Оттону, который признал ее леном от Лотаря и присягнул ему как своему сюзерену (986 г.). За Лотарем следовал Людовик V и процарствовал всего год. Он был последним королем Каролин-

гской династии. По правилам престолонаследия преемником его должен был быть его дядя, брат Лотаря, но Гуго Капет, пользуясь своим могуществом, заставил своих вассалов и приверженцев провозгласить себя королем (987 г.). Прочие графы и герцоги, не очень дорожившие королевским достоинством, обратившимся в призрак, не препятствовали ему и не менее прежнего считали себя равными ему.

НАЧАЛО ДИНАСТИИ КАПЕТИНГОВ. ДЕСПОТИЗМ ПАП. ОПЯТЬ ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Гуго Капет был, как мы выше видели, правнук Одона, графа парижского. Этот же Одон был сын некоего Роберта Сильного, или Анжуйского, человека необыкновенно храброго, который был послан Карлом Лысым в Анжу защищать эту область от норманнов и убит в славном бою. Гуго торжественно короновался в Реймсе и с дальновидной осторожностью, свойственной всем основателям новых династий, сделал сына своего, Роберта, своим соправителем, чтобы привыкли к нему как к будущему королю. Законный претендент пытался было вооруженной рукою отстоять свое право, но был взят в плен в Лионе и умер два года спустя (996 г.). Гуго умер в Париже, оплакиваемый духовенством и военными людьми, которым он одинаково потворствовал; народ в счет не шел. Капетинги были обязаны своим возвышением феодальной анархии; вместе с Гуго феодализм взошел на престол. Он однажды послал спросить возмущившегося против него сильного вельможу: «Кто тебя сделал графом?», и тот ответил ему таким же вопросом: «Кто тебя сделал королем?»

Роберт был государь крайне благочестивый и крайне несчастный. Он чрезвычайно любил жену, но оказалось, что он приходится ей родственником в четвертом колене и с нею крестил. Папа, несмотря на разрешение, данное епископами, нашел брак этот преступным, объявил его недействительным и временно отставил епископов от должности. Тогда последние отлучили Роберта от церкви, хотя он был так набожен, что постоянно пел на клиросе. С этой минуты его по-



Гуго Капет

кинули все вельможи и слуги бегали от него как от прокаженного, боялись дотронуться до него и сжигали все, что оставалось от его стола. Для своих, ослепленных фанатизмом подданных он уже не был не только королем — даже человеком. Могло ли, при таких понятиях, существовать правильное, прочное правительство? Принужденный развестись с женою, Роберт вступил в брак во второй раз; но его вторая жена, Констанция, оказалась настоящей фурией и восстала против него его двух сыновей. Однако одного из них, Генриха, он короновал в Реймсе. В это печальное царство-



Людовик IV

вание был голод такой ужасный, что голодные ели человеческое мясо.

Генрих I, по восшествии на престол, прежде всего должен был бороться против вдовствующей королевы, которая восстановила против него брата его (1031 г.). Затем он хотел отнять Нормандию у молодого герцога, у отца которого брат его нашел убежище, но был побит. Замечательная черта этого царствования заключается в том, что при Генрихе I всемирное верховенство папской власти было торжественно провозглашено.

Лев IX созвал собор во Франции против воли короля. Когда Генрих (1059 г.) захотел короновать своего сына, он сперва созвал епископов, монахов и вельмож, чтоб его утвердили. Легаты заявили согласие от имени папы. Из этого видно, что французская корона тогда еще была в некоторой степени избирательная.

Приостановимся тут, на этой поре крайнего развития и процветания чистого феодализма, этой ужасной системы, угнетавшей Францию в продолжение трех веков и доведшей несчастный народ до последней степени нищеты и страдания. Народ весь был обращен в рабство. Состояние его мало разнилось от скотского. Каждый мог безнаказанно бить, искалечить, даже убить своего раба. Между тем многие свободные люди добровольно отказывались от свободы, чтобы вельможи не так их притесняли и грабили. Конечно, люди того времени были не хуже других, но такой уж был век. В этом хаосе приходилось быть либо притеснителем, либо притесненным. Середины не было. Духовные лица, вечно ссорясь с военными, однако обирали народ не менее усердно. Физическая сила да церковная власть — других властей не было. А от правосудия чего можно было ждать,



Лотарь

когда все распри судились оружием! Образовалась боевая конница (*gendarmerie*), явление почти неизвестное франкам; но иметь оружие и держать боевых коней было исключительным правом благородных рыцарей и вельмож. Рыцарь верхом, в железных латах, заставлял трепетать целый околородок. Простолюдины, силой уводимые на войну, сражались пешие. Подавляемые барщинами, повинностями, дорожными, мостовыми и другими пошлинами и налогами в пользу рыцарей или церковных лиц, оскорбляемые господскими правами, возмущающими природу и человеческое достоинство, они могли и умели только повиноваться, хотя этим еще крепче заковывали свои кандалы. Простолюдинов, живших в селах и деревнях, называли *виленами*, живших в городах — *мешанами* или *буржуа*. Произведения труда тех и других по праву принадлежали их господам, которые нередко жаловали к ним жить на неопределенное время со всей своей свитою.

Господа, с другой стороны, дрались между собою не на живот, а на смерть, несмотря на родство. Какая-нибудь семейная ссора на тридцать лет затопляла кровью целую область. Война была нормальным состоянием. Все замки, все аббатства были крепостями или, вернее, разбойничьими притонами. Франция обратилась в необозримое поле битвы. Наконец эта непрерывная резня наскучила даже этим свирепым людям. На одном соборе решено было постановить мир от имени самого Бога — *мир Божий*. Епископы на всех рыцарей и вельмож наложили епитимьи, посты, молитвы и покаяния, и народ на время вздохнул. Но это долго не могло продолжаться. Мир Божий заменили Божьим перемирием, т. е. запрещением сражаться — разбойничать — с вечера субботы до утра понедельника. И это уже было большим облегчением.

Перевод А. Разина



ЖЮЛЬ МИШЛЕ

21 августа 1798 г. — 9 февраля 1874 г.

Жизнь

Мишле родился в небогатой семье, которую он сам называл «крестьянской». Отец его имел типографию, но при Наполеоне издательское дело стало невыгодным, и он разорился.

На последние средства родители устроили Мишле в коллегию Шарлемана. Обучение Мишле давалось тяжело, но его тяга к знаниям победила предубеждения учителей. Они признали в нем способного ученика, особенно в литературе.

Затем Мишле закончил лицей Карла Великого.

В 1821 г., защитив докторскую диссертацию, Мишле стал учителем истории в Колледже Сент-Барба.

В 1824 г. он публикует «Очерк новой истории», в 1827 г. — свой перевод работы итальянского философа Вико «Новая наука», но в основном это был не столько перевод, сколько адаптация для французского читателя. Поэтому работа была издана под названием «Основы философии истории».

В 1827 г. Мишле получает профессорскую должность в Высшей нормальной школе, на кафедре философии и истории.

В 1831 г. выходит его первое большое историческое сочинение «История Римской республики». После Июльской революции 1830 г. Мишле получает должность заведующего историческим отделом Национального архива, что открыло ему возможность заняться вплотную историей Франции.

С 1831 г. по 1847 г. Мишле пишет и публикует «Историю Франции».

А с 1847 г. по 1853 г. — «Историю французской революции».

За отказ присягать Наполеону III Мишле потерял работу в Национальном архиве.

В 1867 г. он заканчивает «Историю Франции». В 1871 г. начинает свой новый огромный труд «История XIX века», но он успел довести изложение событий лишь до битвы при Ватерлоо (1813); смерть прервала его научную деятельность.

Похороны Мишле вылились в антиправительственную демонстрацию.

Судьба

Мишле считал главной целью научной деятельности разрешение социальных конфликтов и антагонизмов в современном французском обществе.

Прежде всего, считал он, нужно излечить души людей. Это возможно сделать в первую очередь через народную школу, которая прививала бы своим ученикам социальную любовь. В этой общей школе должны были учиться один-два года дети всех классов и любого состояния. Ребенок должен знать свое отечество, научиться видеть в нем божество, в которое он мог бы верить. С помощью усвоенной

с детства гражданской любви Мишле считал возможным достигнуть идеального государства. Эта его мечта, как указывал В. И. Герье, была частично воплощена в жизнь, но там, где Мишле наименее этого ожидал, — в стране, воплощавшей для него гордыню и эгоизм: в Англии.

Мишле, по мнению Тэна, не историк, но один из величайших поэтов Франции, его история — «лирическая эпопея Франции».

Творчество

В своих основных трудах, «История Франции» (17 томов) и «История Французской революции» (7 томов), Мишле охватил огромный период французской истории с XIII по XIX вв., который рассматривается им как единое целое.

В его работах герой исторического процесса — народ, без деления на классы. Великие люди лишь «символы» (выражение общественных идей, цивилизации), по существу, «пигмеи», вскарабкавшиеся «на послушные плечи доброго гиганта — Народа». Свою задачу историка Мишле видел в раскрытии психологии французского народа, стремился воскресить его прошлое с помощью художественных средств, основываясь на изучении природных условий родины, «этнического субстрата» — кельтов, стремясь к выявлению «народного духа» в языке, фольклоре, литературе, искусстве.

Чувство сострадания, жалости, пробудившиеся в Мишле в детстве, когда он горько сознавал свое одиночество и бедность, сохранилось в нем на всю жизнь и прорывалось наружу, как только воображение переносило его в чуждую ему эпоху. Он страдал вместе с жертвой, кто бы она ни была, и ненавидел гонителя. К самым ярким страницам французской историографии принадлежат те, где Мишле изображал муки и страдания простых людей, которые «умели страдать, умели голодать, нести неисчислимы жертвы и совершали великие дела».

В основе исторического метода Мишле лежит романтическое мировосприятие прошлого — интуиция, воображение, симпатия к изображаемым людям.

1.

**ЯКОБИНСТВО КОНЧАЕТСЯ. НАЧИНАЕТСЯ
СОЦИАЛИЗМ. БАБЁФ,
СЕН-СИМОН, ФУРЬЕ.**

То, что Камилл Демулен завидел в 1792 г., та terra incognita, которую он указал на горизонте, появляется 9 термидора. Вожди трех главных социалистических школ, Бабёф, Сен-Симон и Фурье, вышли почти в одно и то же время из темниц террора.

Сен-Симону было тридцать четыре года, Бабёфу — тридцать, Фурье — двадцать два. Сен-Симон был заключен в Люксембурге, а Бабёф — в Аббатстве. Фурье в 93 г. после осады Лиона был очень близок к эшафоту, а потом в 94 г. был арестантом в Безансоне.

Идеи их в происхождении своем ничуть не разногласны; они имеют ту же самую точку отправления; человечество, сострадание, вид крайних бедствий. Пылающим очагом был, с одной стороны, Лион, где жил Фурье, с другой — Пикардия, родина Бабёфа; и глубокий центр мира — коммуна 93 г., где Шометт, апостол его, принимал социалистов Пикардии и Лиона.

Народ умирает с голоду. Бумаги, законы, клубы оказывались недостаточными. Нужен был хлеб. Три мысли вырвались из сердца. Какого бы мнения ни держаться о трех знаменитых утопистах, должно сказать, что системы, что даже эксцентричности их вышли из сердец достойных удивления, из великодушнейшего порыва.

Бабёф, в первых трудах своих очень разумный и еще далекий от невозможности утопии, которая повела его к смерти, требовал как и Шиллер, только раздела ненаселенных земель, которых было в излишке, раздела общинных имений, чтобы сделать их производительными. *Право* было его единственной основой, всеобщее право человека на «жизнь в довольстве».

Сен-Симон хочет *Прогресса*. Для него немедленный прогресс в том, чтобы перевести землю из рук благородных и праздных в руки трудящиеся и плодотворные, разделить ее на мелкие участки и сделать ее по низкой цене доступ-



Гракс Бабёф

ной крестьянину. Отсюда спекуляции его, так бескорыстные, на национальные имущества. Отсюда также фанатизм его к науке, этой положительной религии, которая усотерит силы, орудия и средства к счастью человека.

Фурье мечтает о *Гармонии*. Родившийся у Юры, он знал скромные, но удивительные ассоциации сыроваров ее. В семнадцать лет его осенил, как видение, вид Пале-Рояля в Париже, блестящего искусствами, благородным преподаванием Цирка, и внушил ему сон о фаланстере будущего. Но ничто не действовало на него так сильно, как жгучая среда Лиона, его рабочие братства. Социализм был там у себя дома и уже старым другом у лионских ввадцев, у бедняков Лиона. Он имел свою легенду в 93 г., о которой я буду сейчас говорить. Лион более, чем что другое, создал Фурье. Он видел там крайнюю меру бедствий и там искал лекарства. Его сны о гармонии обратились к земледельческому обществу, к сельским братствам, зародыш которых он видел у Юры. Под формою причудливых вычислений он стал великим поэтом, поэтом голода. «Жизнь

довольства» Бабёфа не удовлетворила бы его. В нем был тысячелетний голод, и стол Гаргантюа был для него жалким. Он вызывает из ассоциации чуда изобилия и сажает всю землю за чудесный пир.

Земля! Но это очень мало. Надо, чтобы она была так счастлива, что счастье с нее полилось бы на все соседние планеты и на бесконечные миры, в которые мы должны перейти.

Никогда не поймут Францию 93 г., весь итог страданий ее, копившихся век за веком и надавивших тогда всю тяжестью прошлых времен, пока не напишут страшную книгу, которой недостает: *История голода*.

«Что же это значит? Или то, что говорят о прогрессе, ложно?» — возразят мне.

Нет. Но заметим две вещи.

1) Прогресс ничуть не есть прямая линия, неуклонно проведенная; эта линия спиралью, имеющая изгибы, громадные повороты около самой себя, перерывы настолько сильные, что она после них снова начинает свой путь только медленным трудом.

2) Во многих вещах там, где бедствия уменьшились, чувствительность увеличилась. Человек стал менее огрубелым, и потому он тем сильнее



Сен-Симон



Фурье



Генрих IV



Кардинал Мазарини

чувствует впечатления страданий настоящего, сожалений, забот, опасений.

Вот что я заметил в продолжение своего большого труда — истории, проходя через столько головок. По мере того как я подвигался, я видел, как развивалось одно чувство —

чувство потребностей, страданий. Да, тем более страдают, чем более подвигается время. Правда, лучше предвидят, но зато более и более становятся чутки к страданию.

Животные умирают бесшумно. Голод, часто возвращающийся, очень недостаточная пища, изнуряющая, ослабляющая пищеварительные аппараты, делает золотушными, делает чахотными, но убивает довольно медленно. Разучиваются жить. Говорят себе: «Зачем есть?» Мы это видели, немного позже 1860 г., в безмерном вымирании ткачей Нормандии. Мы поняли это из великих вымираний людей, которые с таким слабым отголоском умерли в глубине средних веков.

Около 1300 г., когда крепостной платил уже не одними припасами, но и деньгами, раны отчаяния были ужасны. Все погибло бы и без урока сатаны, который был Мальтусом того времени: «Меньше детей и больше ржи. Уничтожить бесполезные рты. Не родить более для смерти».

Людовик XII немного поднимает нас. Генрих VI немного поднимает нас. Но какое страшное падение с Тридцатилетней войной, с вампиром Мазарини. Цифра достоверная, подлинная говорит, что земля, приносившая при Генрихе IV 2 500 ливров, давала при Мазарини 400.

Было десять лет получше, с вступления Кольбера до Голландской войны (1661 — 1670). Но потом новое состояние нищеты и истощения. Буагильберг в предисловиях своих говорит мрачно: «Нет более масла в лампе». 1709 год казался годом смерти Франции. То, что рассказывает о нем Дюваль в записках своих, наводит ужас. Едва оправались, как погром Лау снова потянул нас книзу.

Недостаточная пища привела в восемнадцатом веке к тому расстройству нервов, которое видели в четырнадцатом в конвульсиях св. Медарда (пляска Витта), так близких к падушей. Насмешки англичан над французскими лягушками и худобою народа и пр. были слишком верны. В наиболее известном классе писателей мы видим невероятную нищету. Руссо, не имея пристанища, спит в пещере близ Лиона. Дидеро рассказывает, что он раз упал в обморок от голода, и пр.

Между тем зарождающаяся промышленность, лионские материи при Кольбере, при Людовике XV, мебель и те изяшные предметы роскоши — изделия Парижа, которые

тогда заполнили целую Европу, увеличивали рабочее население в больших городах. Работник трудился у себя на дому. Как? У него была комната? Мансарда была создана при Людовике XIV. Работники не были скучены вместе в нечистом беспорядке. Старому коммунизму был положен конец. Работник имел свой угол — и с этих пор жену и семью, часто множество детей.

Итак, этот нравственный прогресс был прогрессом тяготы. О, как сильнее стали чувствовать нищету в дурное время безработицы! В макабрской пляске Гольбейна смерть кажется легкой и веселой, она счастлива тем, что она не живет; но человек — семья, Боже мой, как он чувствует схватки голода! Матери... Они прошли бы через огонь и железо!.. История видела 6 октября, когда они пошли в Версаль взять посреди стражи булочника и булочницу и привести их в Париж. Это видели во все великие дни революции. Женщины, матери сделали дни эти более яростными. И когда мужчины утомились, они одни упорствовали. Были страшные дни, когда видели только одних женщин, тогда не было другого крика, кроме крика голода.

Я вполне извиняю Кэне за то, что он видел все в земле, что он из политической экономии создал как бы религию земледелия. Но все эти воззвания к земле не могли быть услышаны ею. Фиск при Людовике XIV захватил, продал, уничтожил все стада; не стало навоза. Истощение все росло. Путешественник Артур Юнг проезжал по обширным заброшенным полям. Почему они были заброшены? Одна цифра объяснит это (Doniol, 433). Половина поля каждый год должна была оставаться под паром, а другая, обработанная половина приносила всего сам-четверт. Вычтите из этого налоги, десятину, оброки землевладельцу — и ничего не останется есть. Нет никакого повода обрабатывать землю.

Но вот 89-й... Сомнения нет — мы спасены! Напротив, Франция вынесла невероятную вещь. В продолжение двух лет не пахали земли. И в естественной истории метаморфоз перемена кожи — страшный процесс. Есть отчего умирать. Этот перерыв обработки земли настал, когда земля не принадлежала уже более духовенству, эмигранту и еще не была продана крестьянину. На громадных пространствах

не было работы, было ожидание. Но жизнь не ждет. Голод, в особенности в городах, достиг крайних пределов, до каких еще никогда не доходил.

Вид этих жестоких бедствий был мукой для сердца. Голод создает болезни; но и вид голода также создал одну болезнь, новую и свойственную этому веку, — *ярость жалости*. Человечность сделала безумный призыв к самому бесчеловечию, к смерти — великому врачу, который, казалось, мог разом излечить от всех страданий мира. Марат, которому беспрестанно пускали кровь и который видел все в красном тумане, был зверским филантропом. Шалье, святой террора, который был жесток только на словах, но носил в сердце бесконечную любовь к бедным и ко всему страдающему, ужаснул Лион своим безумным бредом. Друг его, богач Бертран, роздал все и приехал в Париж, примкнул к Шометту и Бабёфу.

2.

БАБЁФ

Бертран приехал из Лиона почти в то же время, как Бабёф из Пикардии. Оба примкнули не к якобинцам, но к коммуне, к Шометту. Они застали его посреди страшного кризиса Парижа, который умирал с голоду. Каждый день Шометт должен был отвечать отчаянным толпам, которые, как слепая стихия, напирала на Грев, крича: «Хлеба! Хлеба!» Бюро продовольствия, куда стремились толпы, имело секретарем Бабёфа.

Невозмутимая кротость, изумительное терпение Шометта несколько ослабляли натиск этих человеческих волн. В продолжение трех долгих месяцев, июня, июля и августа, когда комитеты не делали ничего, он один поддерживал эти толпы. Чем? Словами, проектами, планами реформ. Он питал этот несчастный, но умный народ будущим счастьем. Регистры коммуны (см. Archives de l'Hôtel de ville) — вещи удивительные и священные. Никогда еще не было администрации, более заботившейся о благе народа, которая бы до такой степени чувствовала и предвидела все, с самого высшего до самого низшего. Начиная с реформы госпиталей и



Людовик XV

кончая музеем Лувра, музыкальной консерваторией, отеческая заботливость ее обнимает всю народную жизнь; одного только недоставало — хлеба.

Что более всего успокаивало народ, это было известное бескорыстие, баснословная трезвость правителей его. Жак Ру, член коммуны, и друзья и ученики его упорно отказывались от всякого вознаграждения, даже от того, которое выдавали за присутствие в секциях. Они постились с народом. Секретарь бюро продовольствия, Бабёф вел суровую жизнь самого строгого стойка. Жена его и сын-дитя работали и помогали отцу. Сын этот (Эмиль, воспитанный по Руссо) сохранил навсегда отпечаток этой величавой строгости, самого пламенного патриотизма. Когда чужеземец вступил во Францию, Эмиль Бабёф вошел на Вандомскую колонну и бросился вниз.

Бабёф был уроженцем полосы, которую я называю югом севера, — Пикардии, потомком пылкой расы, богатой великими сердцами (назовем Камилла Демулена, который начал революцию, и Гренвиля, который окончил ее эпопеей «Последнего человека»). Население Пикардии очень доброе. Кто, когда превзошел в доброте, милосердии и сострадании женщин Пикардии? Бабёф был заражен недугом, который погубил Шалье и так многих еще, — жалостью страстной, деятельной, которая не тратится в речах, но хочет действиями и делом водворить на земле порядок человечности и справедливости.

Он родился в Сен-Кентене. О семье его известно только, что отец его находился в иностранной службе и воспитывал филантропа Леопольда, герцога Тосканского. Значит, Леопольд от Бабёфа получил философские и экономические идеи Франции? Я так полагаю, потому что знаю, как сын его, рано осиротев, сделался человеком земли, землемером и геометром, если можно так сказать, нарезчиком участков земли. Уже с шестнадцати лет он погрузился в архивы аристократов и основательно познакомился с правительством беззакония, которое вызвало революцию.

Что более всего возмущало Бабёфа, что было нестерпимо для него, — это чудовишный способ обложения земли и распределения налогов. Оставив в стороне привилегированные земли, он обрушивался всею тяжестью на простого

земледельца. Его не призывали давать сведения, которые осыятили бы действия сборщиков податей. Сборщики освобождали свои земли, освобождали земли своих друзей и обременяли все остальные. Для проверки они собирались в местном кабаке с местными тузами и решали все посреди кружек вина (Бабёф. Кадастр 57). Бабёф в 89 г. написал первую книгу свою «Непрерывный Кадастр». Книга очень хорошая и очень умеренная.

Ничто не указывает на то, чтобы он знал Морелли. Книга его не коммунистическая, он признает везде право собственности, он объясняет цель налога. Общество, собирающее налоги, должно употреблять их на покровительство актам промышленности настоящего времени и плодам промышленности прошедшего, собиравшей капиталы. Только, говорит он, рантье должен платить вдвойне.

Труд этот, представленный учредительному собранию, был хорошо принят и одобрен. Он появился в 89 г., но, очевидно, после декретов 4 августа и отречения от прав феодальных. Это единственный пункт, в котором Бабёф действительно революционер. Он говорит об обещаниях, которые должны быть исполнены и не могут оставаться тщетными словами.

Есть очень хороший портрет его, гравированный в 1790: лицо, выражающее решительность, твердый взгляд, большой нос энергического абриса вполне отличают человека дела, который хочет осуществить право, непреклонного геометра верности и справедливости.

Он серьезно поверил законам, которые издавало собрание; он не дал лежать под сукном знаменитым декретам 4 августа. Бедный пикардийский крестьянин продолжал платить. Бабёф разъяснил ему права его. Тогда поднялось на Сомме то, что называли восстанием, но что, в сущности, было только исполнением закона. Отмена налога на соль была также, благодаря Бабёфу, исполнена буквально; сборщики были прогнаны, отсюда страшный процесс в 90 г. Бабёфа судили в Париже. Оправданный Бабёф стал популярным. Его назначили администратором Соммы 10 августа 92 г.

Но и там он сумел восстановить всех против себя. Ввиду страшной повсеместной нищеты он предлагал разделить, обработать общественные земли, ланды, которые оставляли

бесплодными. Самые бедные, ради того только, чтобы сохранить выгон для одной козы, хотели, чтобы квадратных пол-лье земли оставались жалким пастбищем, пустыней. Зажиточная часть населения подняла против него слепые массы. Ярость народа дошла до того, что назначили цену за голову его. Его бы преследовали, в него бы стреляли, его бы убили как дикого зверя.

В июне 93 г. он бежал в Париж в коммуны, где ему дали место в бюро продовольствия. Но в это время на Сомме, не предупредив его, не вызвав его, готовили ему гибель. Интриговали, подстроивали против него процесс о подлоге.

Остановимся вместе с ним в бюро продовольствия, на Гревской площади, в разгаре великой борьбы.

Коммуна была разделена. Гебер мало занимался ею, он весь ушел в свой журнал гнева и угроз, говоривший только о крови и ни об одном применимом средстве. Шометт и другие обещали народу землю, но это было еще делом будущего. Жак Ру и лионцы, которые примкнули к нему, хотели, чтобы делали как в Лионе, как в осажденном городе, т. е. принудить фермеров соседних департаментов привозить припасы и наполнять общественные магазины. Государство заплатило бы за припасы и продало бы и роздало бы их народу. Управлявшие комитеты испугались. Робеспьер объявил Ру войну, страшную, непримиримую, и приказал вычеркнуть его из списка клуба Кордельеров, натравил против него Гебера, т. е. против коммуны употребил коммуны же.

Помешав Ру действовать, он сам не делал ничего. Воздействие комитетов продолжалось три месяца. А неприятель приближался, Париж умирал. Ру пошел в собрание обличить бездействие правительства. Бюро продовольствия — Бабёф, Гарен и др., — осажденное, доведенное до крайности, приняло насильственную меру: сказать то, что говорил народ, будто комитеты и министр их хотели морить Париж голодом.

Министром был фразер Гарат, совершенный паралитик, а душою комитетов был Робеспьер, который в эту минуту лавировал и ни за что не хотел действовать.

Пробуждение настало в августе. Для важных дел, для армии взяли Карно, великого работника. Для внутренних —

Роберта Линде, который заведовал продовольствием города. Он потребовал именно того, чего требовали, — чтобы впредь Париж продовольствовался, как осажденные города, реквизициями.

Между тем голод, исступление народа заставляли опасаться резни. Нахальство уже торжествовавших роялистов раздражало. Постановили закон о подозрительных лицах, захват роялистов, который наполнил все тюрьмы, но предупредил новое 2 сентября.

Успокоив таким образом народ, комитеты могли поразить тех, кто обвинял их. Начальник комиссии, назначенный для обвинения, погиб по обвинению в *модерантизме*. Употребили против Ру и против Бабёфа средство, которое употребляется всеми полициями, — кричать: «*Это воры!*» Ру в негодование закололся. Бабёф, посаженный в Аббатство и не знавший за что, узнал, что враги его в Амьене, пользуясь отсутствием его, приговорили его за подлог.

Итак, коммуна была поражена в Ру и Бабёфе. Ее ждало новое поражение в Шометте. Уже видели, как в ноябре Робеспьер, ополчась против нее якобинским оружием, заставил постановить: первое, — что революционные комитеты секций не будут отдавать отчет коммуне в производимых ими арестах; второе, — что церкви не будут, как то постановили Камбон и Шометт, отведены для общественной филантропии, что отняло бы их у культа.

До этой оппозиции Робеспьера коммуне она хотела эксплуатировать богатый материал церквей, напр., продать громадную крышу церкви Богородицы; свинец ее пошел бы на пули или, проданный, дал бы деньги. Один человек явился, великий покупатель национальных имуществ; один, только подписался.

То был знаменитый Сен-Симон.

Перевод М. Цебриновой



ТОМАС БАБИНГТОН МАКОЛЕЙ

25 октября 1800 г. — 28 декабря 1859 г.

Жизнь

Род Макоев восходит к шотландским горцам. Отец Томаса, пресвитерианец и богатый предприниматель, сделал немало для уничтожения работорговли неграми.

Домашнее воспитание Макоея носило пресвитерианский характер. Затем он был отдан в пансион в Шелфорде, по окончании которого учился в Кембриджском университете.

Закончив университет, Томас по желанию отца записался в практическую школу юристов и в 1826 г. был принят в корпорацию адвокатов, но, не заинтересовавшись адвокат-

ской практикой, продолжил литературные занятия, начатые еще в университете.

Его блестящие речи в общественных организациях Лондона и исторические публикации в журнале «Эдинбург ревю» создали ему по всей Англии славу блестящего публициста вигского лагеря. Благодаря тому, что Маколей выступал по любому вопросу, привлекал обильный материал из истории и пропагандировал взгляды вигской партии, он становится в 1830 г. депутатом парламента. В 1833 г. его вновь избирают в парламента и предлагают занять должность члена Верховного индийского совета при вице-короле Индии.

В Индии Маколей провел ряд реформ. Были открыты средние и высшие учебные заведения для индийской молодежи, что способствовало распространению английской культуры и языка. Уравнивал в правах индийцев с европейцами перед судом. Под его руководством был составлен кодекс уголовных законов, не принесший никакой пользы на практике.

В 1838 г. Маколей возвращается из Индии и через год становится депутатом Палаты общин.

В 1839 г. назначается военным министром в вигском кабинете Мельбурна. После ухода в 1841 г. правительства в отставку он переходит в оппозицию, поддерживая, однако, премьер-министра Пилиа во всех его прогрессивных начинаниях.

В 1847 г. избиратели, состоявшие из пресвитерианцев, отказались поддержать Маколея на новых выборах в парламента. Они не могли простить ему его речь в 1845 г., в которой он ратовал за предоставление субсидий католической семинарии в Мейноте.

Оставив политическую деятельность, Маколей занялся давно задуманной идеей написать историю Англии.

В декабре 1848 г. появились первые два тома. Успех книги был громадный. Европа и Америка восторгались и зачитывались его историческим сочинением. За 25 лет в одной только Англии тираж этой книги составил 140 тыс. экземпляров.

В 1852 г. эдинбургские избиратели снова выбрали Маколея своим представителем в парламенте, где он занял старое место, привлекая всех своими речами.

В 1856 г. Маколей из-за болезни сердца отказывается от должности депутата, но продолжает писать «Историю Англии».

В 1857 г. он был возведен в звание пэра с титулом барона. 28 декабря 1859 г. Маколей умер и был торжественно похоронен в Вестминстерском аббатстве, в отделении поэтов.

Судьба

Политическая деятельность Маколей и его взгляды не были четкими и однозначными. Так, в 1842 г., при обсуждении чартистской петиции, он выступил против демократических требований рабочих, заявив, что всеобщее избирательное право «несовместимо с собственностью и цивилизацией», т. к. «учреждения чисто демократические раньше или позже должны уничтожить свободу или цивилизацию, или то и другое вместе».

Однако, с другой стороны, Маколей активно выступал против политической дискриминации религиозных и национальных меньшинств в Британии. Он требовал предоставления Ирландии самоуправления, допуска в парламент и правительство католиков и евреев. Он подчеркивал, что если у английских евреев и нет достаточного патриотизма и любви к Англии, «то это потому, что сама Англия обращалась с ними, как мачеха» и такими «их сделало правительство».

Маколей был в первую очередь политик, яркий оратор. История же стала как бы продолжением его политической и литературной деятельности. В своей статье «Об истории» Маколей утверждал, что «факты — это шлак истории, сырая груда, ожидающая руки творца». Историк, писал Маколей, не судья, который должен соблюдать беспристрастие, а адвокат, страстно заинтересованный в событиях. Его задача вовсе не в том, чтобы слепо следовать фактам.

Творчество

Как историк, Маколей владел искусством рассказа, пластикой и художественностью. Высокообразованный, замечательный знаток человеческой души и тонкий диалектик, Маколей был одним из оригинальнейших историков Англии.

Главный его труд «История Англии», от воцарения Якова II, имевший в свое время огромнейшую популярность, написан ярким, образным языком и принадлежит к лучшим образцам английской литературной прозы.

В «Истории Англии» Маколей стремился к большой точности. Однако его отказ от научной критики исторических источников и легкое обращение со многими важными фактами уменьшают чисто научную значимость труда.

Маколей представляет историю своей страны как непрерывное движение по пути прогресса под руководством партии вигов к либерализму 30-х и 50-х гг. XIX века. Важнейшим событием в истории Англии он считает «славную революцию» 1688 года, которая привлекала его отсутствием насилия и правовой резни. Для него «славная революция» — образец решения социальных и политических проблем. Маколей противопоставляет ее английской революции середины XVII в., которая, по его мнению, подорвала мощь и величие Англии.

«История Англии» пережила не только триумф, но резкие нападки со стороны как левых, так и правых. Первые критиковали его за открытую ненависть к революции. Вторые, «тори», — за восхваление либеральных идей.

Однако «История Англии» и по сей день привлекает внимание многих читателей своей оригинальностью и насыщенностью фактами.

ПРАВЛЕНИЕ КАРЛА I

Таково было положение дел в государстве, когда скончался Иаков. На престол вступил Карл I. И по качеству ума, и по силе воли, и по твердости характера он стоял гораздо выше своего отца. Он унаследовал от последнего его политические теории, но был гораздо более его склонен осуществить их практически. Подобно отцу своему, он был ревностным сторонником епископальной церкви. Но сверх того он был также ревностный арминианин, чем отец его не был никогда, и, не будучи сам папистом, в большой степени предпочитал папистов пуританам. Справедливость требует сказать, что король обладал некоторыми качествами, свой-



Королева Генриетта Мария

ственными не только хорошему, но даже великому государю. Он говорил и писал, как всякий умный и хорошо воспитанный человек, а не с педантичной точностью профессора, как отец его. У него был отличный литературный и художественный вкус; его манера держать себя была исполнена достоинства, хотя и не отличалась изяществом; в своей домашней жизни он был безукоризнен. Вероломство было главной причиной его несчастий и остается самым позорным пятном на его памяти. Он положительно страдал какою-то неизлечимой склонностью выбирать темные и извилистые пути. И как это ни странно, его совесть, довольно-таки чувствительная в случаях маловажных, оставалась равнодушна к этому



Король Карл I

крупному пороку. Правда, есть основание думать, что вероломство его было не только следствием его природы и привычки, но и делом убеждения. По-видимому, он усвоил от наиболее чтимых богословов тот взгляд, что во взаимных отношениях между ним и его подданными не было, по существу, ничего, подобного обоюдному договору, что он не имел права, если бы даже и сам хотел этого, отказаться от своей деспотической власти, что, наконец, каждое данное им обещание само собою подразумевало право нарушить обещанное в случае необходимости, а по вопросу о необходимости единственным судьей был он сам.

И вот началась та опасная игра, в которой была поставлена на карту судьба английского народа. Палата общин повела ее решительно и вместе с тем с удивительным искусством, хладнокровием и настойчивостью. Во главе этого собрания стояли великие государственные люди, которые проникали своим взором в глубь минувшего, и в даль будущего. Они решились поставить короля в такое положение, чтобы он увидел необходимость дилеммы: либо управлять страной в согласии с желаниями его парламента, либо насильственно посягнуть на самые священные начала конституции. Сообразно с этим он разрешал очень скудные денежные средства. Король понял, что он должен управлять либо в полной гармонии с палатою общин, либо попирая всякие законы. Он не замедлил сделать выбор, распустил свой первый парламент и стал собирать налоги собственною властью. Затем он созвал другой парламент, который оказался еще более несговорчивым, чем первый. Тогда он опять прибегнул к тому же средству, к распушению парламента, снова взимал налоги без малейшего законного права, а вождей оппозиции бросил в тюрьму. Одновременно была принята новая мера, которою были всего больше задеты национальные чувства и привычки английского народа, которая в глазах дальновидных людей предвешала самые опасные последствия и вызвала тотчас же взрыв общего негодования и тревоги. Солдатские роты были размещены по частным квартирам, и в некоторых местах введены в действие военные законы, взамен исконного нормального правопорядка страны.

Король созвал третий парламент, но скоро убедился, что оп-

позиция стала сильнее и энергичнее, чем когда-либо. Тогда он решился оставить прежнюю тактику. Вместо того чтобы отвечать на требования общин упрямым сопротивлением, он после долгих пререканий и уверток согласился на компромисс, путем которого удалось бы избежать целого ряда несчастий, если бы только король остался верен своему слову. Парламент разрешил значительные суммы, а король в самой торжественной форме утвердил знаменитый закон, известный под именем «Петиции права», составляющий вторую Великую хартию вольностей английского народа. Этот закон обязывал его никогда впредь не взимать налогов без согласия палаты, никогда впредь не подвергать никого аресту иначе, как с соблюдением всех предписаний закона, и никогда впредь не подчинять поданных юрисдикции военных судов.

Тот день, когда, после многих отсрочек, наконец последовала королевская санкция этого великого акта, был днем ликования и надежд. Члены палаты общин, толпившиеся у решетки палаты лордов, огласили воздух радостными восклицаниями, лишь только клерк произнес древнюю формулу, которою наши государи в течение многих веков выражали свое согласие на требования государственных чинов. На эти восклицания отзывались эхом голоса столицы и всего народа. Однако через три недели обнаружилось, что король не имел ни малейшего намерения исполнить с своей стороны заключенный договор. Разрешенные народными представителями денежные субсидии поступили в казну, а данное взамен этих субсидий обещание было нарушено. Последовал острый конфликт. Парламент был распущен со всеми нарочитыми признаками королевской немилости. Некоторые из самых выдающихся членов были посажены в тюрьмы, а один из них, Джон Элиот, после нескольких лет страданий умер в заточении.

Однако король не решился взимать произвольно налоги в достаточных для ведения войны размерах. Он поэтому поспешил заключить мир с соседями и с этих пор отдался всецело делам внутренней политики.

Теперь началась новая эпоха в политике. Не раз случалось и раньше, что тот или другой из английских королей поступал вопреки конституции, но никогда ни один из них не пы-



**Ансельм
Кентерберийский**

тался систематически стать деспотом и весь парламент свести к нулю. Такова именно была цель, которую вполне определенно поставил себе король. С марта 1629 г. до апреля 1640 г. палаты не созывались. Никогда в истории Англии не было промежутка в одиннадцать лет между одним парламентом и другим. Один только раз был промежуток, длившийся ровно вдвое меньше. Достаточно одного этого факта, чтобы опровергнуть тех, которые утверждают, будто Карл только шел по стопам Плантагенетов и Тюдоров.

Самые ревностные сторонники короля удостоверили, что за весь этот период его царствования постановления «Петиции прав» нарушались им отнюдь не случайно, а постоянно и систематически, что значительная часть государственных доходов собиралась без всякого соблюдения законного порядка и что лица, неугодные правительству, томились годами в тюрьмах и ни разу не предавались суду.

Ответственным за все это история должна признать преимущественно самого короля. Со времени своего третьего парламента он сам был собственным своим премьер-министром. Можно указать, однако, на нескольких лиц, которые

Лорд Страффорд



по своим способностям и характеру годились для его цели и стояли во главе различных отраслей управления.

Томас Вентворт, впоследствии получивший титул лорда Вентворта и графа Страффорда, человек весьма одаренный, красноречивый и смелый, но обладавший властным и жестоким характером, был самым доверенным советником по политическим и военным вопросам. Когда-то он был одним из самых видных членов оппозиции и теперь питал к своим прежним друзьям ту особенную ненависть, которая во все времена так характерна для ренегатов. Он отлично изучил настроение, ресурсы и политику той партии, к которой недавно принадлежал, и составил обширный и глубоко продуманный план, чуть было не расстроивший всю тактику

государственных людей, руководивших палатою общин. В своей секретной переписке он дал этому плану выразительное название «решительного» (thorough). Его цель была добиться в Англии всего того, чего Ришелье добивался во Франции, и даже больше того: сделать Карла самодержцем на манер любого из европейских государей, подчинить имущество и личную свободу граждан распоряжению короля, лишить суды всякой самостоятельной власти, даже в обыденных вопросах гражданского права между частными лицами, и подвергать беспощадно суровым наказаниям всех, кто осмеливался роптать на правительственные акты или прибегать к судебной защите против них, хотя бы и в самой легальной и приличной форме.

Такова была его задача, и он ясно сознавал, какие именно средства нужны для ее достижения. Все его идеи, можно сказать, были отмечены такою определенностью, отчетливостью и последовательностью, что возвели бы его имя на степень великой славы, если бы только они не служили на пагубу его родине и согражданам. Он понимал, что существует одно-единственное орудие для осуществления его обширных и смелых планов. Таким орудием была постоянная армия, и он направил всю энергию своей сильной воли на образование такой армии. В Ирландии, где он был наместником, ему фактически удалось водворить систему военного деспотизма не только над туземным населением, но и над английскими колонистами, и он имел право гордиться тем, что на этом острове король силою своей абсолютной власти не уступал ни одному государю во всем мире.

Церковная администрация находилась в это время под главным руководством Вильяма Лода, архиепископа Кентерберийского. Из всех прелатов англиканской церкви Лод отступил от начала реформации дальше всякого другого и больше, чем все они, приблизился к Риму. Его богословские принципы разнились от кальвинизма еще в большей мере, нежели учение голландских арминиан. Его страсть к церемониям, почитание праздников, канонов и священных мест, его плохо скрытое нерасположение к бракам духовных лиц, горячее и отнюдь не бескорыстное рвение, с каким он защищал притязания духовенства на уважение со стороны ми-

рян, — всего этого было достаточно, чтобы сделать его ненавистным для пуритан даже и в том случае, если он стремился к своим целям исключительно легальными и кроткими мерами. Но ему не доставало ума, и он мало знал свет и людей. Он был от природы вспыльчив и раздражителен, чересчур чувствителен ко всему, что касалось его собственного достоинства, но слишком мало чувствителен к страданиям других и впадал в ошибку, свойственную всем суеверным людям, принимая свое личное злобное брюзжание за проявление ревностного благочестия. Все уголки королевства были при нем подчинены постоянному и мелочному надзору. Всякое хотя бы небольшое собрание раскольников выслеживали и разгоняли. Даже домашние религиозные отправления между членами семьи не были скрыты от глаз его шпионов. И столько страху внушал его суровый режим, что смертельная ненависть к господствующей церкви, которою кипело бесчисленное множество сердец, была повсюду старательно скрыта под наружную маску правоверия. Уже накануне волнений, оказавшихся роковыми для него и всего его сословия, из некоторых обширных епархий епископы считали возможным рапортовать ему, что в пределах их владений нельзя найти ни одного диссентера.

Суды не оказывали никакой защиты населению против гражданской и церковной тирании того времени. Общие суды, применяющие обычное право (*common law*), члены которых назначались на должность с соизволения короля, отличались постыдным раболепством. Но при всем их раболепстве они служили в руках абсолютной власти менее послушным и могущественным орудием произвола, чем другой разряд судов, одно воспоминание о которых даже теперь, по прошествии с лишком двух веков, внушает английскому народу глубокое отвращение. Среди этих судов на первом месте по их влиянию и бесстыдству стояли Звездная палата и Верховная комиссия, первая в качестве политической, а последняя в качестве религиозной инквизиции. Ни та, ни другая не входили в состав старой английской конституции. Звездная палата была преобразована, а Верховная комиссия вновь создана Тюдорами. Уже при вступлении на престол Карла эти два учреждения обладали обширною и страш-

ною властью, но и эта власть была ничтожна в сравнении с тою, которую они теперь узурпировали. Находясь преимущественно под руководством своевольного примаса и свободные от парламентского контроля, они обнаружили столько хищничества, насилия и злобного духа, как никогда раньше. С их помощью правительство имело неограниченную возможность кого угодно штрафовать, арестовать, калечить и выставлять к позорному столбу. Особый совет, заседавший в Йорке под председательством Вентворта, вопреки закону и единственно по уполномочию короны, был снабжен почти неограниченную властью над северными графствами. Все эти судилища презирали и издевались над властью парламента и ежедневно совершали ужасы, горячо осуждаемые наиболее выдающимися роялистами. По свидетельству Кларендона, во всем государстве не было почти ни одного видного человека, который бы не испытал на себе лично жестокость и жадность Звездной палаты; Верховная комиссия вела себя так, что вряд ли имела хотя бы одного приверженца в стране, а тирания Йоркского совета, на севере от реки Трент, превратила Великую хартию в мертвую букву.

Теперь в Англии установился деспотический режим во всех отношениях такой же, как во Франции, за одним только чрезвычайно важным исключением: не доставало еще постоянной армии. Не было поэтому никакой гарантии в том, что все построенное здание тирании не рухнет в один день, а если бы по произволу короля был введен налог на содержание армии, то в стране, по всей вероятности, последовал бы внезапный и непреодолимый взрыв. Вот это-то затруднение и озабочивало больше всего Вентворта. Хранитель печати Финч, в согласии с другими юристами правительства, предложил меру, которая была тут же принята. Прежние английские короли призывали жителей смежных с Шотландией графств вооружиться и собираться в ополчения для защиты границы; иногда призывались также и приморские графства снаряжать корабли для обороны морского берега. Случалось при этом, что вместо кораблей собирали деньги. Правительство решилось теперь, после долгого перерыва, вновь прибегнуть к этим старым мероприятиям и притом расширить их. Прежние государи взымали корабельную подать то-

лько в военное время, теперь же ее потребовали во время глубокого внутреннего мира. Прежние государи взимали корабельную подать, даже в пору самых опасных войн, лишь с жителей морского побережья, а теперь ее требовали и с жителей внутренних графств. Прежде корабельная подать шла на морскую оборону страны; теперь же, как это признавали и сами роялисты, она понадобилась не на дело содержания флота, а для того, чтобы дать королю средства, которые он мог по своему произволу увеличить до какого угодно размера и израсходовать на все, что ему угодно.

Весь народ был охвачен тревогой и гневом. Джон Гемпден, богатый человек, из хорошей семьи в Бекингемшире, пользовавшийся большим уважением у себя на родине, но до сих пор вообще мало известный в стране, отважился выступить вперед на борьбу с могущественным правительством и принять на себя издержки и риск в споре против узурпированной королем прерогативы. Процесс разбирался в суде государственного казначейства. Аргументы против претензий короны были настолько сильны, что при всей угодливости и раболепии судей против Гемпдена высказалось самое слабое большинство их. Но все же это было большинство. Истолкователи закона объявили, что один большой налог, в качестве крупной статьи государственного дохода, может быть введен королевскою властью. Вентворт справедливо заметил, что основанием к подобному судебному решению послужили доводы, которые логически ведут к тому заключению, на какое судьи не имели смелости решиться. Раз признано закономерным взимать подать без согласия парламента на предмет содержания флота, то нет основания не признавать того же относительно подати, предназначенной для содержания армии.

Решение судей увеличило раздражение в народе. Сто лет тому назад и менее серьезное народное брожение в состоянии было вызвать общее восстание. Но теперь неудовольствие не так скоро, как прежде, принимало форму мятежа. В течение долгого времени народ шел по пути мирного развития и накопления богатств. С того времени, как великие северные графы подняли оружие против Елизаветы, протекло семьдесят лет, и за весь этот период не было ни од-

ной гражданской войны. Никогда, за все время существования английского народа, не было столь продолжительного периода без внутренних смут. Народ привык к мирным занятиям промышленной жизни и, несмотря на все свое раздражение, долго колебался, прежде чем взяться за оружие.

При таком положении дел вольностям английского народа угрожала величайшая опасность. Враги правительственного режима уже начали отчаиваться за судьбу своего отечества. Многие стали помышлять об американских пустынях как о единственном убежище, где можно наслаждаться гражданской и духовной свободой. Здесь, среди девственного леса, горсть смелых пуритан, которым в деле их религиозной совести не страшны были ни бурные волны океана, ни полная лишений жизнь в условиях первобытной среды, ни когти диких зверей, ни томагавки еще более диких индейцев, построила деревни, теперь превратившиеся в большие и цветущие города, но сохранившие, невзирая на все перемены, следы характера их основателей. Правительство смотрело на эти молодые колонии и пыталось насильно удержать поток эмиграции, но было бессильно остановить процесс колонизации Новой Англии отважными и богобоязненными людьми из всех углов старой Англии. Вентворт теперь ликовал, предвкушая близкое торжество своего «решительного» плана. Для полного его осуществления могло еще понадобиться всего лишь несколько лет. Если соблюдать строгую экономию, тщательно избегать всяких столкновений с иностранными державами, уплатить все долги короны — тогда окажутся налицо средства, достаточные для содержания большой армии, а с этой силой можно будет скоро сломить упрямый дух нации.

В этот критический момент один акт безумного ханжества сразу изменил все политическое положение. Будь король благоразумен, он придерживался бы в Шотландии осторожной и умиротворяющей политики до тех пор, пока не упрочится окончательно на юге, потому что именно здесь, не в пример другим его королевствам, существовала величайшая опасность, что от одной искры вспыхнет пламя и пламя превратится в пожар. Правда, ему нечего было опасаться в Эдинбурге такой же самой парламентской оппозиции, ка-

кую он встречал в Вестминстере. Шотландский парламент был совсем не похож на английский. Его организация была плохая, он пользовался недостаточным авторитетом, и никогда не налагал он сколько-нибудь серьезных ограничений на предшественников Карла. Все три сословия заседали здесь в одной палате. Представители городов считались просто ставленниками крупных дворян. Ни один акт не мог воспринять силу закона без одобрения «статейных лордов» — комитета, назначаемого, если не формально, то фактически, короной. Но хотя шотландский парламент был податлив, зато народ шотландский всегда был особенно непокорен и строптив. Этот народ зарезал своего первого Иакова в его спальне, он неоднократно поднимался с оружием в руках против Иакова II, он убил на поле сражения Иакова III, он своим непокорством сокрушил сердце Иакова V, низложил и заключил в тюрьму Марию и взял в плен ее сына. Дух этого народа был теперь так же неукротим, как и прежде; он сохранял свой старый суровый и воинственный закал. По всей южной границе, а также по всей линии между нагорною и низменною частями страны — всюду кипела непрерывная разбойничья война. Во всей стране население привыкло отвечать на обиды жестокою расправою. Лояльные чувства, которые народ искони питал к Стюартам, остыли за время их долгого отсутствия. Наибольшее влияние на общественное мнение принадлежало двум разрядам недовольных: землевладельцам и проповедникам; первые были одушевлены теми же чувствами, которые часто толкали прежних Дугласов на сопротивление династии, последние унаследовали от Нокса его республиканские идеи и неукротимый дух. Между тем удар был нанесен как национальным, так и религиозным чувствам народа. Люди всех классов скорбели о том, что их отечество, которое некогда покрыло себя славою в борьбе за независимость против самых талантливых и храбрых Плантагенетов, теперь при содействии своих же придворных государей превратилось, если не номинально, то фактически, в английскую провинцию. С другой стороны, нигде во всей Европе доктрины и церковный строй кальвинизма не укоренились так крепко, как в умах шотландцев. К Римской церкви народные массы питали,

можно сказать, какую-то свирепую ненависть, а англиканская церковь, с каждым днем склонявшаяся все ближе к Римской, вызывала к себе едва ли меньшее отвращение.

Давно уже правительство лелеяло мысль распространить по всему острову англиканскую систему вероисповедания и с этой целью уже ввело кое-какие перемены, ненавистные для каждого пресвитерианина. Однако же одно новшество, самое опасное из всех, потому что оно прямо било в глаза всей народной массе, до сих пор еще не было испытано. Общественное богослужение все еще совершалось в форме, отвечавшей народным симпатиям. Теперь же Карл и Лод решились навязать шотландцам английскую литургию, вернее сказать, такую литургию, которая, по мнению всех строгих протестантов, если в чем и отличалась от английской, то к худшему.

Этот шаг был сделан под влиянием необузданного разгула тирании, преступного игнорирования или же еще более преступного презрения к чувствам народа, и ему страна наша обязана своею свободою. При первом же публичном совершении религиозных обрядов чужого образца вспыхнул бунт. Бунт превратился быстро в революцию. Самолюбие, патриотизм, фанатизм слились в один могучий поток. Вся нация взялась за оружие. Как оказалось несколько лет спустя, Англия имела достаточно сил, чтобы обуздать Шотландию, но значительная часть английского населения симпатизировала религиозным чувствам повстанцев, а многие англичане, сами по себе равнодушные к вопросам об антифоне и коленопреклонении, об алтарях и стихарях, с удовольствием смотрели на успех восстания, которое могло привести к полному крушению абсолютистских замыслов двора и к необходимости созыва парламента.

Вентворта не приходится винить за бессмысленный каприз, породивший подобные последствия. В самом деле, этим расстроены были все его планы. Однако же посоветовать уступить было не в его характере. Была сделана попытка подавить восстание оружием, но ни военные силы короля, ни его военные таланты не соответствовали подобной задаче. Ввести новые налоги в Англии вопреки закону — это было бы при данных обстоятельствах безумием.

Не оставалось, стало быть, иного средства, как созвать парламент, и весною 1640 г. парламент был созван.

Надежда на восстановление конституционного режима и устранение злоупотреблений внесла в народ струю бодрого настроения. Новая палата общин оказалась столь умеренной и почтительной к престолу, как ни одна другая палата со времени смерти Елизаветы. Умеренный тон этого собрания удостоился величайших похвал даже со стороны самых видных роялистов и, по-видимому, причинил немало беспокойства и разочарования вождям оппозиции. Но такова уже была неизменная тактика Карла, тактика столько же не политическая, сколько и не великодушная, — до тех пор отказывать в удовлетворении народным желанием, пока эти желания не выражаются в форме угроз. Лишь только палата обнаружила намерение приступить к обсуждению тягостного положения, от которого народ страдал вот уже одиннадцать лет, король тотчас же распустил парламент с соблюдением всех признаков своего неудовольствия.

Между распушением этой недолго жившей палаты и созывом того вечно памятного собрания, которое получило кличку Долгого парламента, прошло несколько месяцев, и в это то промежуток времени висевшее над народом ярмо придавило его так крепко, как никогда раньше, между тем как гнев народа против этого ярма прорывался наружу с неслыханною раньше силою. Членов палаты общин допрашивали в Тайном совете по поводу их поведения в парламенте, и за то, что они отказывались отвечать, их бросили в тюрьму. Лорд-мэру и шерифам Лондона угрожали тюрьмою за медленный сбор платежей. Солдат вербовали насильно. Деньги на их содержание взыскивали с жителей тех графств. Пытка, всегда и раньше противозаконная, а недавно еще признанная таковою даже рептильными судьями этого времени, была в последний раз применена в Англии в мае 1640 г.

Теперь все зависело от исхода военных операций, предпринятых королем против шотландцев. В войсках было мало воодушевления тем чувством, которое отличает настоящих солдат от остальной массы народа и привязывает их к своим начальникам. Королевская армия, состоявшая большею частью из рекрутов, вздыхавших о плуге, от которого

их насильно оторвали, и зараженная господствовавшими во всей стране религиозными и политическими чувствами, — эта армия была страшна не столько неприятелю, сколько самому королю. Шотландцы, поощряемые вождями английской оппозиции и встречая со стороны английского войска слабое сопротивление, перешли через Твид и Тайн и расположились лагерем на границах Йоркшира. Тогда ропот недовольного населения превратился в народное волнение, от которого все пришли в ужас, кроме лишь одного человека: Страффорд все еще предлагал свой «решительный» план. Уже на краю пропасти он все еще проявлял столько жестокости и деспотизма, что его собственные копьеносцы готовы были растерзать его на куски.

Впрочем, оставалось еще одно последнее средство, которое, как надеялся король, могло избавить его от несчастья иметь дело с новой палатой общин. К палате лордов он не чувствовал такого отвращения. Епископы были преданы ему, а светские пэры, хотя и недовольные вообще его управлением, однако же, как класс, сильно заинтересованный в поддержании порядка и в сохранении старого режима, едва ли расположены были требовать широких реформ. Наперекор освященному веками обычаю король созвал Великий совет в составе одних только лордов. Но лорды оказались чересчур благоразумны, чтобы принять на себя предложенные им противоконституционные функции. Тогда король, без денег, без кредита, без авторитета даже в собственном своем лагере, уступил наконец силе обстоятельств. Палаты были опять созваны, и выборы показали, что со времени весны недоверие и ненависть к правительству сделали огромный шаг вперед.

В ноябре 1640 г. собрался этот знаменитый парламент, который, невзирая на отдельные промахи и неудачи, по всей справедливости стяжал себе право на уважение и благодарность всего мира, где только есть люди, наслаждающиеся благами конституционного режима.

В течение всего следующего года в палатах не возникало никаких серьезных разногласий. Гражданское и церковное управление почти целых двенадцать лет покоилось на насилии и отрицании конституции, и это имело своим послед-

ствием, что партии, вообще склонявшиеся в сторону порядка и сильной власти, теперь обнаруживали горячее стремление выступить на защиту популярных реформ и требовать предания суду приспешников тирании. Было издано постановление, что период времени между созывом одного парламента и другого никогда не должен продолжаться более трех лет, а если королевские приказы за большою печатью не будут своевременно изданы, то заведующие выборами комиссары обязаны и без подобных приказов созвать избирательные собрания для выбора депутатов. Звездная палата, Верховная комиссия и Йоркский совет уничтожены. Люди, претерпевшие жестокие телесные наказания и вслед затем брошенные в отдаленные тюрьмы, получили свободу. На главных министрах короля народ беспощадным образом выместил свой гнев. Лорд-хранитель печати, примас и лорд-наместник были обвинены в государственной измене. Финч спасся бегством. Лод был посажен в Тауэр, а Страффорд обвинен в государственной измене и на основании парламентского акта казнен. В тот самый день, когда был издан этот акт, король дал свое согласие на закон, коим он обязывался не распускать существующий парламент и не прерывать или отсрочивать его заседания без согласия самого парламента.

После десяти месяцев усердных занятий парламент в сентябре 1641 г. прекратил на короткое время свои заседания, и король посетил Шотландию. С трудом удалось ему успокоить королевство: он не только отказался от своего плана церковной реформы, но еще вынужден был скрепя сердце издать особый акт, объявляющий, что епископство противно слову Божию.

Парламентские вакансии продолжались шесть недель. День, в который палата снова собралась, отмечает собою новую замечательную эпоху в нашей истории. С этого именно дня выступают, как вполне законченные политические организации, обе великие парламентские партии, которые впредь попеременно управляли странюю. Собственно говоря, в известном смысле различие, ставшее тогда вполне наглядным, существовало всегда и раньше и будет всегда впредь существовать, потому что основание его коренится в

противоположных крайностях характера, направления ума и интересов — крайностях, которые встречаются и будут встречаться среди людей, пока над человеческим духом не перестанут тяготеть две силы, толкающие его в разные стороны: сила традиции и сила новизны. То же самое различие приходится наблюдать не в одной только политике, а и в литературе, искусстве, медицине, механике, мореплавании и земледелии, даже в математике. Везде и всюду есть люди, страстно цепляющиеся за все старое; даже убежденные неотразимыми доводами в благодетельной силе реформы, они соглашались на нее неохотно, чего-то смутно опасаясь в душе, предчувствуя что-то недоброе. Везде и всюду есть также люди, полные светлых надежд и смелых идей, всегда рвущиеся вперед, умеющие тонко подметить и уловить недостатки всего существующего, склонные не придавать большого значения риску и неудобствам, сопряженным с улучшениями, расположенные в каждой перемене видеть улучшение. Каждое из обоих этих направлений имеет свои положительные стороны, но лучших деятелей того и другого направления следует искать только недалеко от разделяющей их грани. Крайние представители людей первого рода — это сумасбродные изуверы, а крайние представители людей второго рода — это верхогляды и безрассудные эмпирики.

Не подлежит сомнению, что уже в составе наших первых парламентов можно было различить две группы членов, из коих одна стремилась удержать старое, а другая добивалась реформ. Но при кратковременном периоде сессий законодательного собрания та и другая группа не успели выработать определенные и прочные формы, сплотиться вокруг признанных лидеров, усвоить себе каждая свое партийное наименование, свой собственный девиз и боевой клич. В первые месяцы заседаний Долгого парламента негодование, порожденное бесправием и угнетением, разразилось с такою силою и с таким единодушием, что вся палата общин действовала как один человек, правительственные злоупотребления одно за другим уничтожались без всякой борьбы. Если слабое меньшинство представительного собрания и желало сохранить Звездную палату и Верховную комиссию, то, испугавшись энтузиазма, с каким подавляющее большин-

ство требовало реформ, оно ограничивалось тайными воздыханиями об учреждениях, которых нельзя было открыто защищать, хотя бы с малейшею надеждою на успех. Впоследствии роялисты нашли для себя удобным отметить задним числом время возникновения раскола между ними и оппозицией; они утверждали, будто бы акт, возбранявший королю распускать или отсрочивать парламент, акт о трехлети, обвинение министров в измене, приговор над Страффордом — будто бы все это исходило от той партии, которая позднее пошла войною на короля. На самом же деле трудно придумать более недобросовестную подтасовку фактов. Все эти сильные меры встретили деятельную защиту со стороны тех самых людей, которые впоследствии стали в ряды наиболее выдающихся «кавалеров». Ни один республиканец не говорил более резко о дурном управлении Карла, чем Кольпеппер. Самую замечательную речь в пользу билля о трехлети произнес Дигби. Обвинение в государственной измене лорда-хранителя печати выдвинул Фоклэнд. Требование о заключении в тюрьму лорда-наместника поддерживал в палате господ Гайд. Только уже когда был предложен закон об осуждении Страффорда, обнаружались признаки серьезного разногласия. Но и против этого закона — закона, продиктованного соображениями самой крайней необходимости, — вотировали всего лишь около шестидесяти членов палаты общин, причем достоверно известно, что Гайд не был в числе меньшинства, а Фоклэнд не только голосовал вместе с большинством, но еще и защищал энергично самый билль. Наконец, и те немногие члены, которые колебались объявить смертный приговор путем издания нового закона с обратным действием, сочли необходимым выразить свой глубочайший ужас перед характером Страффорда и его административною деятельностью.

Но под этим наружным согласием уже таился великий раскол, и когда в октябре 1641 г. парламент, после короткого роздыха, снова собрался, в нем выступили друг против друга две враждебные партии. По существу своему это были те же самые партии, которые, под теми или другими именами, всегда потом боролись и продолжают еще теперь бороться за управление государственными делами. Некото-

рое время их обозначали названием «кавалеров» и «круглоголовых». Впоследствии их окрестили именами ториев и виггов; по-видимому, эти последние названия еще долгое время останутся за ними.

О каждой из этих исторических партии можно бы сказать, что она заслуживает и сатиры, и панегирика, потому что ни один сколько-нибудь рассудительный и искренний человек не станет отрицать, что немало темных пятен лежит на репутации той партии, к которой он сам принадлежит, и что, наоборот, партия ему враждебная по всей справедливости может гордиться многими славными именами, многими геройскими подвигами и многими великими заслугами перед государством. Верно лишь то, что, хотя обе партии часто впадали в крупные ошибки, Англия не могла бы обойтись без той и другой. Если в ее государственных учреждениях свобода и порядок, преимущество новизны и преимущество старины сочетались в такой огромной степени, как ни в какой другой стране, то этой счастливою особенностью мы обязаны деятельному состязанию и чередующейся победе политических деятелей обеих борющихся партий — партии, защищающей авторитет и традицию, и партии, защищающей свободу и прогресс.

Следует помнить, что различие между обеими великими группами английских политиков всегда было различием скорее в степени, нежели в принципе. И на правой стороне, и на левой существовали известные границы, которые редко переступались. Кучка энтузиастов с одной стороны готова была сложить к стопам наших королей все наши законы и волюности. Кучка энтузиастов с другой стороны гналась, сквозь бесконечный ряд гражданских смут, за своим дорогим призраком республики. Но огромное большинство приверженцев короны питали отвращение к деспотизму, и огромное большинство борцов за народные права ненавидели анархию. Дважды в течение XVII века обе партии прекратили на время свои разногласия и соединили свои силы ради общего дела. Первая коалиция восстановила наследственную монархию, вторая спасла конституционную свободу.

Необходимо также заметить, что обе эти партии никогда не составляли собою весь народ и, вместе взятые, никогда

не составляли даже большинство народа. Между ними стояла всегда народная масса, которая не примыкала прочно ни к той, ни к другой, иногда оставалась нейтральной и инертной, иногда колебалась в обе стороны. В течение нескольких лет эта масса неоднократно переходила от одной крайности к другой и обратно. То она меняла свою позицию потому, что ей просто-таки надоело поддерживать одну и ту же партию, то потому, что она приходила в ужас от своего же буйного разгула, то потому, что она увлекалась несбыточными мечтами и была разочарована в своих ожиданиях. Но каждый раз, когда она всею своею тяжестью склонялась в одну сторону, всякое сопротивление становилось на время невозможным.

К тому времени, когда вполне выяснилась физиономия обеих соперничающих партий, силы их, казалось, были равны. На стороне правительства стояло огромное большинство дворянства и того класса богатых людей хорошего происхождения, который ни в чем, кроме титула, не отличался от дворян. Вместе с другим разрядом людей, зависимых от них, они представляли собою немалую силу в государстве. К тому же лагерю принадлежали крупное сословие духовенства, оба университета и все те миряне, которые питали сильную привязанность к епископальному строю и англиканскому богослужению. К этим почтенным группам населения примкнула компания союзников далеко не столь приличного сорта. Пуританская суровость привлекла в королевскую партию всех тех людей, для которых весь смысл жизни заключался в пользовании ее удовольствиями, в любовных интригах, блестящих нарядах или легком жанре искусства. Сюда же присоединились люди, избравшие своею профессией услаждать досуги других, — начиная с художника и комического поэта и кончая канатным плясуном и балаганным шутком. Все эти высшие и низшие служители искусства отлично понимали, что их собственное благополучие тесно связано с блеском и роскошью деспотического режима и что напротив суровый кодекс ригористов сулит им голодную смерть. Совершенно тождественны были интересы всех без исключения католиков, В их рядах стояла и королева-католичка, дочь Фран-

ции. Ее супруг, как известно было, питал к ней сильную привязанность и не-малую толику страха. Будучи несомненно протестантом по убеждению, он относился отнюдь не враждебно к представителям старой религии и был весьма склонен проявить к ним гораздо больше терпимости, нежели к пресвитерианам. Если бы оппозиция одержала победу, то жестокие законы, изданные в царствование Елизаветы против папистов, были бы, вероятно, строго осуществлены на практике. Таким образом, католиков побуждали самые сильные мотивы стать на защиту интересов двора. Они действовали вообще с осторожностью, навлекшею на них упрек в трусости и равнодушии, но возможно, что в своем крайне сдержанном образе действий они руководились столько же интересами короля, сколько и своими собственными: они оказали бы ему плохую услугу, если бы выступили открыто в роли его друзей.

Главные силы оппозиции состояли из мелких землевладельцев в графствах и купцов и лавочников в городах. Но во главе их стояла грозная сила в лице аристократического меньшинства, куда принадлежали богатые и могущественные графы нортумберлендские, бедфордские, варвикские, стамфордские и эсекские и некоторые другие лорды с огромными капиталами и влиянием. К их рядам примкнули все протестанты-нонконформисты, а также большинство приверженцев англиканской церкви, исповедовавших еще те самые кальвинистские убеждения, которые сорок лет назад разделялись повсюду прелатами и духовенством. Муниципальные корпорации, за немногими исключениями, принадлежали к этому же лагерю. В палате общин перевес, хотя и не очень решительный, был на стороне оппозиции.

Обе партии не имели недостатка в аргументах для подкрепления своих требований. Доводы наиболее просвещенной части роялистов можно бы резюмировать следующим образом: «Правда, до сих пор существовали крупные злоупотребления, но теперь они устранены. Правда, драгоценные права народа были нарушены, но теперь они восстановлены и обеспечены новыми гарантиями. Наперекор всем прецедентам и духу конституции, в заседаниях государственных чинов королевства произошел перерыв, длившийся-

ся одиннадцать лет, но теперь постановлено, что впредь парламент должен собираться не реже, чем раз в три года. Звездная палата, Верховная комиссия, Йоркский совет давили и грабили нас, но эти ненавистные судилища теперь не существуют более. Лорд-наместник хотел ввести систему военного деспотизма, но за эту измену вскоре он поплатился головою. Примас осквернил наше богослужение папистскими обрядами и с папистскою жестокостью карал нас за верность нашим религиозным убеждениям, но теперь он в Тауэре ожидает приговора суда пэров. Лорд-хранитель печати утвердил проект, отдававший собственность каждого англичанина на произвол короны, но он был опозорен, разорен и вынужден искать убежища за границей. Слуги тирании искупили свои преступления наказанием, а жертвы ее получили удовлетворение за свои страдания. При таких обстоятельствах было бы нецелесообразно настаивать дальше на той политике, которая представлялась правильною и необходимою тогда, когда мы впервые после долгого перерыва собрались вместе и увидели, что вся система управления есть одна сплошная масса злоупотреблений. Теперь необходимо устремить все силы на то, чтобы победа над деспотизмом не бросила нас во власть анархии. Не в нашей власти было ниспровергнуть негодные учреждения, приносившие горе нашей стране, без потрясений, расшатавших основы государственного строя. Но теперь, когда учреждения эти пали, на нашей обязанности лежит как можно скорее укрепить то самое здание, над разрушением которого мы недавно обязаны были трудиться. Вот почему мы поступим правильно, если отнесем с недоверием к планам реформы и постараемся защитить от всякого посягательства те прерогативы, которые закон предоставил королю на благо народа».

Таковы были воззрения тех людей, которые имели своим лидером такого достойного человека, как Фоклэнд. С другой стороны им возражали столь же основательно не менее способные и благородные люди, что не прикосновенность вольностей английского народа была скорее кажущаяся, нежели действительная, и что двор не замедлит вернуться к старым затеям самовластья, лишь только ослабнет бдительность общин. «Нет спора, — говорили Пим, Голлис и Гем-

пден, — что издано много хороших законов; но ведь если допустить, что достаточно издать хорошие законы для обуздания короля, то подданные его всегда имели бы мало оснований жаловаться на его управление. Ведь новые статуты по своей авторитетности, во всяком случае, не уступали Великой хартии или Петиции права. Однако же ни Великая хартия, освященная четырьмя веками благоговейной любви народа, ни Петиция права, санкционированная самим Карлом по зрелом обсуждении и ввиду весьма ценных соображений, не оказались действительными средствами для защиты народа. Раз только исчезнет узда, налагаемая страхом, раз только допустят усыпить дух оппозиций, все гарантии английской свободы сведутся немедленно к одной-единственной гарантии: королевскому слову. А уже доказано долгим и жестоким опытом, что королевскому слову верить нельзя».

Обе партии посматривали пока друг на друга с выжидающе враждебностью и не успели еще померяться силами, как вдруг пришли вести, которые сразу разожгли страсти и окончательно определили партийные лозунги, Великие вожди Ольстера, которые, после долгой борьбы, ко времени восшествия на престол Иакова подчинились власти короля, недолго сносили унижение зависимости. Они устроили заговор против английского правительства и были обвинены в измене. Их огромные имения были конфискованы в пользу короны и вскоре заселены тысячами английских и шотландских эмигрантов. Новые поселенцы по своему умственному развитию и уровню просвещения стояли гораздо выше туземного населения и иногда злоупотребляли своим превосходством. Вражда, порожденная расовым различием, увеличилась благодаря вероисповедной розни. Железная рука Вентворта сумела подавить почти всякий ропот. Но когда упразднилась система строгих репрессий, когда Шотландия подала пример успешного сопротивления, когда Англию стали раздирать внутренние распри, тогда затаенный дух яркого негодования ирландцев прорвался наружу в форме актов страшного насилия. Туземное население внезапно восстало на колонистов. Война, запечатленная особенно жестоким характером вследствие племенной и религиозной ненависти, опустошила Ольстер и распространилась на со-



Гемпден

седние провинции. Дублинскому замку грозила опасность. Каждая почта приносила в Лондон преувеличенные известия о таких жестокостях, которые даже без всяких преувеличений способны были пробудить чувство жалости и ужаса. Эти печальные известия дали сильный толчок энергии обеих великих партий, выступавших друг против друга в Вестминстере. Роялисты заговорили, что ввиду такого кризиса первый долг каждого доброго англичанина и протестанта состоит в том, чтобы увеличить материальные силы государя. Оппозиция, напротив того, находила, что именно теперь существует больше оснований, чем когда-либо, всячески про-

тиводействовать королю и обуздывать его. Государство было в опасности, и это обстоятельство, без сомнения, служило отличным предлогом к тому, чтобы предоставить широкие полномочия правительству, пользовавшемуся доверием, но оно в то же время давало повод отнять всякие полномочия у правительства, которое в душе было врагом народа. Собрать большую армию было всегда заветною мечтою короля. Теперь же именно наступила пора, когда в армии оказалась прямая потребность. Следовало опасаться, что, пока не придумано новых гарантий, военные силы, собранные для усмирения Ирландии, будут пущены в ход против вольностей английского народа. И это еще было не все. У многих возникло подозрение, пожалуй, неосновательное, но не вовсе уже нелепое. Королева была откровенная католичка; король же, преследовавший беспощадно пуритан, не был в их глазах искренним протестантом. Его двоедушие составляло факт настолько общеизвестный, что не было такого предательского поступка, на который подданные не считали его способным, да они и имели на то некоторые основания. И вот вскоре появились слухи, будто восстание католиков в Ольстере было не что иное, как осуществление части обширного дьявольского плана, задуманного в Уайтхолле.

После некоторой прелюдии, длившейся несколько недель, произошел 22 ноября 1641 г. первый великий парламентский конфликт между обеими партиями, которые с этого времени стали бороться и продолжают бороться до сих пор за управление государством. Оппозиция предложила, чтобы палата общин обратилась к королю с адресом (т. е. «ремонастрация»), в котором перечислялись все недостатки его управления с самого восшествия его на престол и выражалось недоверие народа к его политике. И то самое собрание, которое всего лишь несколько месяцев назад единодушно требовало отмены злоупотреблений, теперь раскололось на две охваченные страстью и злобою партии почти одинаковой численности.

Результат этой борьбы был крайне благоприятен для консервативной партии. Было очевидно, что только какой-либо крупный промах мог помешать этой партии в близком будущем получить преобладание в нижней палате. В верхней палате она

уже утвердила за собою господство. Для обеспечения ее дальнейших успехов недоставало только, чтобы король всем своим образом действий обнаруживал уважение к законам и вполне добросовестное отношение к подданным.

Его первые мероприятия подавали хорошие надежды. По видимому, необходимость в коренной реформе всей системы наконец проникла в его сознание, и он решился на то, что стало отныне совершенно неизбежным. Он объявил о своем решении вести дела управления в согласии с общинами и для этой цели созвать в совещательные учреждения людей, в чьих способностях и характере общины были вполне уверены. Самый выбор таких людей был сделан удачно. Фоклэнд, Гайд и Кольпеппер — все деятели, сыгравшие видную роль в уничтожении злоупотреблений и наказании негодных министров, — были приглашены в качестве доверенных советников короны и получили от Карла торжественные уверения, что он не сделает без их ведома ни одного шага, сколько-нибудь касающегося нижней палаты в парламенте.

Если бы он сдержал свои обещания, то — наверное — начавшаяся уже реакция не замедлила бы приобрести такую силу, какой только могли пожелать наиболее порядочные роялисты. Уже крайние члены оппозиции начали отчаиваться в судьбе их партии, трепетать за собственную свою безопасность и поговаривать о том, как бы распродать свои имения и выселиться в Америку. И если вдруг исчезли величественные перспективы, открывшиеся перед королем, если жизнь его сперва омрачилась горем, а потом была насильственно прекращена, то виноваты в этом его собственное вероломство и презрение к закону.

Надо полагать, что король одинаково ненавидел обе партии, на которые распалась палата общин. Да оно и не удивительно. Ведь в среде обеих партий любовь к свободе и любовь к порядку перемешивались между собою, хотя и в разных пропорциях. Советники, которых он по необходимости вынужден был пригласить к себе, были ему совсем не по душе. Они еще раньше дружными усилиями осуждали его тиранию, обуздали его произвол и предали наказанию людей, служивших орудием в его руках. Правда, теперь они старались строго легальными средствами поддерживать

его строго легальные прерогативы, но перед мыслью о воскрешении «решительных» проектов Вентворта они отступили бы с ужасом. И в глазах короля они были изменниками, отличавшимися от Пима и Гемпдена только разве в степени мятежнической преступности.

Всего через несколько дней после своего заверения перед вождями конституционных роялистов, что он не сделает без их ведома ни одного сколько-нибудь важного шага, он принял решение самое роковое во всей его жизни, тщательно скрывал его от них и выполнил его таким образом, что они поражены были ужасом и позором. По его приказанию государственный прокурор обвинил в измене Пима, Гемпдена и других членов палаты общин и поставил их перед судом палаты лордов. Не довольствуясь этим вопиющим нарушением Великой хартии и неизменного многовекового обычая, он самолично явился в здание парламента, в сопровождении вооруженного отряда людей, чтобы заарестовать лидеров оппозиции.

Попытка не удалась. Обвиняемые депутаты незадолго до появления Карла успели покинуть здание палаты. Страшный взрыв негодования мгновенно пронесся в парламенте и в стране.

Наиболее рьяные защитники короля относятся к его поступку крайне снисходительно; как они полагают, король был повинен лишь в том, что имел слабость послушаться дурных советов своей жены и придворных, чем совершил грубую ошибку. Но общий голос народа громко обвинял его в гораздо более тяжком преступлении. В тот самый момент, когда после долгого отчуждения, вызванного дурным управлением странюю, сердца его подданных обратились к нему с доверием и любовью, он замыслил нанести смертельный удар их самым драгоценным правам, привилегиям парламента и даже самой идее суда присяжных. Он доказал на деле, что считал всякую оппозицию его абсолютистским планам таким преступлением, которое можно было смыть только кровью. Он обнаружил свое вероломство не только перед Великим советом и перед своим народом, но и перед своими приверженцами. Он совершил поступок, который привел бы, вероятно, к кровопролитию у самого кресла

спикера, если бы этому не помешало непредвиденное обстоятельство. Люди, игравшие руководящую роль в нижней палате, поняли теперь, что не только их политическая сила и влияние, но также и все имущество их и самая жизнь зависят от исхода возникшей борьбы. Ослабевшая было энергия оппозиционной партии оживилась в одно мгновение. В ночь, следовавшую за преступною проделкою короля, все лондонское Сити взялось за оружие. В течение нескольких часов дороги, ведущие к столице, покрылись толпами крестьян, спешившими к Вестминстеру с эмблемами парламентских прав, запрятанными в шляпах. В палате общин оппозиция сразу получила неодолимую силу и большинством более 2/3 голосов провела небывалые по своему крайнему характеру резолюции. Сильные отряды гражданской милиции регулярно сменяли друг друга и стояли на страже вокруг Вестминстерской залы. Ворота королевского дворца осаждали толпы разъяренного народа и оглашали тронную залу бранью и проклятиями, и придворной прислуге стоило немало труда не пропускать их в королевские покои. Если бы Карл вздумал еще дольше оставаться в своей мятежной столице, то общины, по всей вероятности, нашли бы предлог арестовать его как государственного преступника, с соблюдением внешних форм почтения.

Он покинул Лондон, чтобы уже никогда больше не возвращаться сюда, пока не наступил роковой день грозного суда. Начались переговоры, длившиеся несколько месяцев. Враждебные партии не переставали осыпать друг друга взаимными упреками и обвинениями. Всякое примирение стало невозможным. Неизбежная кара, на которую обречено упрямое вероломство, наконец постигла короля. Напрасно он ручался своим королевским словом и призывал небо в свидетели искренности своих заявлений. Никакие клятвы и договоры не могли победить недоверия его противников. Они были убеждены, что только тогда будут безопасны, когда он станет совершенно бессилён. Они требовали поэтому, чтобы он отказался не только от тех прерогатив, которые узурпировал вопреки древним законам и своим же недавним обещаниям, но также и от тех, которые принадлежали английским королям неизменно с незапамятных вре-



Принц Мориц Оранский

мен, вплоть до настоящего времени. Король не должен назначать ни одного министра, не должен выбирать ни одного пэра без согласия палат. В особенности же король обязан отказаться от верховной военной власти, которая искони была нераздельна с королевским саном.

Нечего было и думать, чтобы Карл согласился на подобные требования, пока у него останется хоть какое-нибудь средство к сопротивлению. Но трудно не признать и того, что в интересах своей собственной безопасности палаты не могли сократить свои требования. Положение их было действительно весьма затруднительное. Огромное большинство



Король Иаков II

Гравюра Дж. Смита по современному портрету Кнеллера

народа было сильно привязано к наследственной монархии. Людей с республиканскими убеждениями было пока еще мало, да и те не осмеливались высказывать свои мысли вслух. Невозможно было поэтому вовсе упразднить королевскую власть. Но в то же время было совершенно ясно, что нельзя питать к королю никакого доверия. От людей, только что убедившихся, что король искал случая уничтожить их, было бы нелепо ожидать, что они удовлетворятся представлением ему новой петиции права и получением от него новых обещаний вроде тех, которые он столько уже раз давал и нарушал. Одно лишь неимение армии препятствовало ему ниспровергнуть целиком всю конституцию

страны. Как раз теперь необходимо было организовать большую регулярную армию для усмирения Ирландии, и было бы, стало быть, чистым безумием дать ему в руки всю полноту военной власти, в том размере, в каком она принадлежала его предшественникам.

Когда государство переживает состояние, подобное тому, в каком пребывала в то время Англия, когда королевская власть сама по себе пользуется любовью и уважением, а только носитель этой власти возбуждает к себе ненависть и недоверие народа, то, казалось бы, вполне ясно намечается надлежащая политика: самую власть должно сохранить, а носителя ее устранить. Так именно и поступили наши предки в 1399 и 1689 гг. Если бы в 1642 г. нашелся бы человек, занимающий приблизительно такое же положение, какое занимал Генрих Ланкастерский в эпоху свержения Ричарда II или принц Оранский в эпоху свержения Иакова II, то палаты, по всей вероятности, переменили бы династию, оставив формальную конституцию без всяких изменений. Новый король, который в этом случае занял бы престол по их избранию и был бы зависим от их поддержки, очутился бы в необходимости управлять страной согласно с их желаниями и взглядами. Но среди членов парламентской партии не было принца королевской крови, и хотя находилось много людей из высшего класса и много людей с выдающимися способностями, недоставало, однако, такого человека, который бы настолько высоко поднимался над другими, что мог бы быть предложен кандидатом на корону. Так как обойтись без короля нельзя было, а нового короля негде было взять, то пришлось по необходимости оставить королевский титул за Карлом. Итак, оставалось лишь одно средство: отделить титул короля от его прерогатив.

Предположенная палатами реформа наших государственных учреждений, будь она точно формулирована и разбита на статьи договора, могла бы показаться чересчур радикальною; на самом же деле она содержала в себе немного больше той реформы, которая в следующем поколении была осуществлена революцией. Правда, революция не отменила законом право государя назначать своих министров; но справедливо и то, что со времени революции ни одно министерство не оказалось в

состоянии удержаться более шести месяцев в оппозиции с настроением палаты общин. Правда также, что и теперь еще за королем остается власть свободно назначать пэров и — что еще важнее — право войны и мира, но зато со времени революции король постоянно осуществлял эти права свои под руководством таких советников, которые пользовались доверием представителей нации. По существу дела лидеры партии круглоголовых в 1642 г. и те государственные люди, которые, почти полвека позже, произвели революцию, преследовали совершенно одинаковую цель. И эта цель состояла в том, чтобы ввести в определенные границы борьбу короны с парламентом, предоставив последнему высший контроль над исполнительной властью. Государственные деятели революции достигли этой цели косвенным путем, посредством перемены династии; круглоголовые 1642 г., будучи не в силах переменить династию, были вынуждены избрать прямой путь к достижению своей цели.

Не следует удивляться тому, что требования оппозиции, клонившиеся к полной и формальной передаче парламенту прав, всегда принадлежавших короне, возмутили чувства другой великой партии, отличительные черты которой составляют уважение к установленной власти и страх перед насильственными переворотами. Еще недавно эта партия лелеяла надежду мирными средствами достигнуть преобладания в палате общин; но теперь всякая надежда на это погибла. Двоедушие Карла сделало его старых врагов непримиримыми, толкнуло в ряды недовольных множество умеренных людей, уже совсем было готовых перейти на его сторону, и настолько глубоко опечалило его наилучших друзей, что некоторое время они молча держались в стороне, испытывая стыд и досаду. Наконец конституционным роялистам пришлось сделать выбор между опасностями, и они сочли своим долгом лучше соединиться вокруг государя, прежний образ действий которого они осуждали и слову которого придавали мало веры, нежели допустить унижение королевского сана и коренную ломку существующего государственного строя. С такими-то чувствами многие люди, чьи выдающиеся способности и достоинства сделали бы честь любому политическому движению, сгруппировались вокруг короля.



АЛЕКСИС де ТОКВИЛЬ

29 июля 1805 г. — 16 апреля 1859 г.

Жизнь

Токвиль происходит из французской аристократической семьи. Его отец при якобинцах был заточен в тюрьму, где чуть не погиб.

Токвиль получил юридическое образование.

В 1827 г. он был назначен секретарем судьи в Версале.

В 1831 — 1832 гг. Токвиль был отправлен в США для изучения тюремно-исправительной системы и пришел к выводу, что наиболее благоприятная форма содержания для заключенного — одиночное.

Однако наиболее важное значение для Токвиля имело изучение политической системы США. Итогом стала книга «Демократия в Америке», вышедшая в 1835 г. Успех ее был

огромен как во Франции, так и по всей Европе. Либеральная позиция автора не могла не взволновать европейскую общественность.

В 1836 г. Токвиль был избран в Академию моральных и политических наук.

В 1837 г. — выставил свою кандидатуру в депутаты, но потерпел неудачу, отказавшись от поддержки правительства, и только в 1839 г. он становится депутатом парламента.

В 1841 г. Токвиль избирается членом Французской академии наук.

В 1848 г. он приветствовал Февральскую революцию и был избран в Учредительное собрание, где примкнул к правым — к Партии порядка. Он поддержал кандидатуру генерала Кавеньяка в президенты Франции.

В 1849 г. Токвиль был избран в Законодательное собрание. В том же году назначен на пост министра иностранных дел Франции (июнь — октябрь). На этой должности Токвиль отстаивал идею присутствия вооруженных сил Франции в Италии для борьбы с Римской республикой (1849 г.). В результате он добился для Папской области необходимых внутренних реформ и сохранения независимости для папского престола.

В 1854 г. Токвиль издал свои «Воспоминания» о революции во Франции в 1848 г.

В 1856 г., незадолго до своей смерти, он издает первый том знаменитого исторического труда «Старый порядок и революция», посвященный Великой французской революции. Но до конца осуществить свой замысел Токвилю не удалось. Он умер при написании второго тома. Всего их намечалось три.

Судьба

Активно занимаясь политической деятельностью в парламенте, Токвиль не стал политическим лидером. Он не годился в парламентские вожди, так как был человеком мысли, а не практики. Главным образом он работал в комиссиях и редко появлялся на трибуне.

До 1848 г. он чаще примыкал к левой «конституционной» оппозиции, выступавший против правительства Гизо, но в

реальности Токвиль стоял в стороне от всех партий. Политическая дальновидность и аристократический склад характера отталкивали его от мелочных, будничных интересов тогдашних партий, представлявших в парламенте только буржуазию. Токвиль в этот период не раз указывал на неизбежность демократической революции, если правительство не изменит своей узкобуржуазной политики.

И хотя он считал конституционную монархию наилучшей формой правления для Франции, после Февральской революции 1848 г. признал республику как последнее средство сохранить свободу.

Избранный в Учредительное собрание, Токвиль примкнул к правым и вступил в борьбу с социализмом. В нападках левых на право собственности Токвиль видел подрыв устоев нормального демократического общества, в общественной организации труда — ограничение свободного развития экономики страны, в расширении функций государства — посягательство на великий принцип свободы личности.

Экономические отношения вообще были слабой стороной Токвиля: не поняв до конца сути Февральской революции, он защищал до конца жизни ту самую буржуазию, с которой боролся до того времени.

Творчество

Токвиль был великим либеральным мыслителем XIX в., что нашло непосредственное отражение в его творчестве.

Первый его труд — «Демократия в Америке» — был по характеру чисто политологической работой, оказавшей значительное влияние на его историческую концепцию. Он считал, что от тирании большинства до единоличного деспотизма — один шаг. Талантливый полководец всегда может, при помощи армии, захватить власть, и народ, привыкший повиноваться центральному правительству, охотно откажется от участия в правлении, лишь бы его новый господин обеспечил порядок и покровительствовал обогащению. Единственное средство, которое может предотвратить такой исход, — сама свобода. Она дает людям больше, чем только удовлетворение материальных



Алексис де Токвиль

интересов. Свобода соединяет и сближает их, ослабляет человеческий эгоизм. Одной конституции и бюрократического государства недостаточно: это только «прикручивание головы свободы к телу раба». Необходима широкая децентрализация власти, подчеркивал Токвиль, при сохранении у центрального правительства минимума прав. Большое государство не может существовать без федеративного устройства. Местное самоуправление — это школа политического воспитания народа. А свобода печати и организаций является лучшей гарантией против тирании большинства.

«Старый порядок и революция» — работа, в которой Ток-

виль продолжил свои политические размышления, но уже на историческом материале. Он был первым историком, обратившимся к архивным источникам дореволюционного периода и эпохи Великой французской революции (протоколы Генеральных штатов и провинциальных собраний, указы и т. д.).

Главной идеей работы было то, что в недрах «старой» Франции до 1789 г. уже существовали корни нового, из которых могло бы вырасти «новое общество» мирным путем, без революции. Это был период экономического подъема, когда дворянство и буржуазия процветали, а крестьянство, задолго до революции, стало собственником земли и постепенно граждане перед лицом монарха уравнивались в правах. Между тем от политической свободы французское общество давно отвыкло. Генеральные штаты не собирались с начала XVII в. Разрушая феодальные учреждения, короли заменяли их бюрократией — жестко централизованным государством. Местное самоуправление было уничтожено. Правительство искусственно поддерживало существование сословий, а само общество держало под постоянной опекой. Если и сохранился еще дух независимости, проявлявшийся в борьбе парламентов с королями, то он был способен только на свержение деспотизма, но не для мирного пользования свободой. В 1789 г. французы свергли «старый строй», но любовь к свободе, возникшая незадолго до революции, скоро исчезла под давлением революционной анархии. Страсть к обогащению, необходимость сильной власти в условиях непрерывных войн и страх перед установлением сословного строя привели к установлению диктатуры. Наполеон консолидировал в единое общество французские сословия, но вместе с тем восстановил бюрократическое централизованное государство «старого порядка». После падения власти Наполеона у французов несколько раз вспыхивало стремление к свободе, но свобода всегда гибла от сохранявшегося наполеоновского порядка — централизации и бюрократической опеки.

Токвиль первым среди историков связал историю дореволюционной и послереволюционной Франции в единую систему. Многие его идеи и сегодня вызывают большой интерес у историков и читателей.

Глава вторая

**О ТОМ, ЧТО АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
ЕСТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАРОГО ПОРЯДКА,
А НЕ СОЗДАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ ИЛИ ИМПЕРИИ,
КАК ЭТО ГОВОРЯТ.**

Некогда, в те времена, когда у нас, во Франции, существовали политические собрания, мне случилось слышать оратора, который, говоря об административной централизации, назвал ее «прекрасным завоеванием Революции, в котором нам завидует Европа». Я допускаю, что централизация — прекрасное завоевание; я готов согласиться, что Европа нам завидует; но я утверждаю, что централизация — не завоевание Революции. Напротив, это — продукт Старого порядка и, вдобавок, единственная часть политических учреждений Старого порядка, пережившая Революцию благодаря тому, что могла приспособиться к новому общественному строю, созданному этою революцией. Читатель, который будет иметь терпение внимательно прочесть настоящую главу, найдет, может быть, что я снабдил свое положение слишком обильными доказательствами.

Я прошу позволения выделить предварительно так называемые *paus d'état*, т. е. те провинции, которые отчасти сами управляли собою или, вернее, казались самоуправляющимися.

Paus d'état, расположенные на окраинах королевства, заключали в себе не больше одной четверти всего населения Франции, и между этими провинциями было только две таких, в которых провинциальные вольности были действительно живы. Позднее я возвращусь к *paus d'état* и тогда покажу, до какой степени центральная власть даже их успела подчинить общим законам.

Здесь я хочу преимущественно заняться тем, что на административном языке того времени называлось *paus d'élection* (дословно «избирательные провинции»), хотя избирательного в них было меньше, чем где бы то ни было. Эти провинции окружали Париж со всех сторон, держались все вместе и представляли собою сердце и лучшую часть тела Франции.

При первом взгляде на старую администрацию королевства все в ней кажется смесью разнородных правил и путаницей властей. Франция покрыта сетью административных коллегий или отдельных чиновников, независимых друг от друга и участвующих в управлении в силу права, которое купили и которое не может быть отнято у них. Часто их ведомства так смешаны и так близко соприкасаются между собою, что они теснятся и сталкиваются в кругу одних и тех же дел.

Судебные учреждения косвенно участвуют в законодательной власти; они имеют право издавать административные постановления, обязательные в пределах их ведомства. Часто они перечат администрации в собственном смысле, шумно порицают ее мероприятия и арестуют ее агентов. Простые судьи издают полицейские правила в городах и местечках, где занимают должность.

Города имеют весьма различное устройство. Их должностные лица носят разные названия и черпают свои полномочия из разных источников: здесь это мэр, там — консулы, еще в другом месте — синдики. Некоторые назначены королем, другие — прежним помещиком или даже старинным владетельным князем; есть между ними такие, которые избраны на год своими согражданами; другие купили себе право управлять последними на вечные времена.

Все это обломки старых политических сил; но мало-помалу среди них возникло нечто сравнительно новое или видоизмененное, что мне и остается описать.

В центре королевства и вблизи трона образовалась административная коллегия, обладающая своеобразным могуществом и в которой все виды власти совмещаются на новый лад, а именно *королевский совет* (*conseil du roi*).

Это — коллегия старинного происхождения; небольшая часть ее функций возникла недавно. В Совете соединяется все: верховное судилище, потому что оно имеет право кассировать решения общих судов; высший административный суд, потому что ему в последней инстанции подведомственны все специальные юрисдикции. Как правительственный совет, он, сверх того, обладает, с соизволения короля, законодательною властью, обсуждает и предлагает большую часть законов, устанавливает и раскладывает налоги. Как



Наполеон I

верховный административный совет, он уполномочен издавать общие правила в руководство правительственным агентам. Он же решает все особо важные дела и наблюдает над деятельностью подчиненных властей. Все сходится в нем, и от него исходит движение, сообщающееся всему. Между тем он вовсе не имеет собственной юрисдикции. Решает один король, даже когда совет, по-видимому, постановляет приговоры. Даже отправляя, по-видимому, правосудие, члены совета являются простыми «подавателями мнений», как выражается в одном из своих представлений Парламент.

Этот совет состоит вовсе не из вельмож, а из людей среднего или низкого происхождения — из интендантов и других лиц, приобретших опытность в деловой практике, — и все его члены могут быть отрешены от должности.

Действует он обыкновенно скромно и без шума, всегда обнаруживая меньше притязаний, чем могущества. Поэтому сам по себе он лишен всякого блеска, или, вернее, он исчезает в блеске трона, к которому близок; он так могуществен, что соприкасается со всем, и в то же время так невзрачен, что история едва замечает его.

Как вся администрация страны направляется одною коллегиею, точно так же руководство внутренними делами почти всецело вверено попечению одного агента — *генерального контролера (contrôleur général)*.

Раскрыв какой-либо из альманахов Старого порядка, вы найдете в нем, что каждая провинция имела своего особого министра. Но кто изучает администрацию по документам ее дел, тот скоро заметит, что министру провинции предоставлялись лишь немногочисленные и маловажные поводы к деятельности. Обыкновенный ход дел направляется генеральным контролером. Этот последний мало-помалу стягивает к себе все дела, при которых возникают денежные вопросы, т. е. почти всю государственную администрацию. Он является последовательно в роли министра финансов, министра внутренних дел, министра общественных работ и министра торговли.

Как в Париже центральная администрация имеет, собственно говоря, только одного агента, точно так же она



Третье сословие одно несет все бремя королевства

имеет лишь по одному агенту в каждой провинции. В XVII веке еще встречаются крупные помещики, носящие название губернаторов провинции. Это старинные, часто наследственные представители королевской власти феодального периода. Им еще оказывают почести, но они уже совершенно не имеют власти. Действительная правительственная власть всецело принадлежит интенданту.

Это человек незнатного происхождения, всегда чужой в провинции, молодой и только начинающий свою карьеру. Он отправляет свои полномочия не по праву избрания, рождения или покупки должностей: он назначен правительством из числа младших членов королевского совета и всегда может быть отрешен от должности. Вдали от этой колле-

гии он является ее представителем, и вот почему на административном языке того времени его называют *местным комиссаром совета* (commissaire départi). В его руках сосредоточиваются все полномочия, какими обладает сам совет; он выполняет их все в первой инстанции. Подобно этому совету, он в одно и то же время администратор и судья. Интендант сносится со всеми министрами; в провинции он единственный проводник всех желаний правительства.

Ниже его, и по его назначению, стоит в каждом округе чиновник, во всякое время подлежащий отрешению от должности, — *субделегат* (subdélégué). Интендант, обыкновенно, — новопожалованный дворянин; субделегат — всегда разночинец. Тем не менее он представляет всю совокупность правительства в маленьком, вверенном ему округе, как интендант — в целой губернии (généralité). Он подчинен интенданту так же, как последний — министру.

Маркиз д'Аржансон рассказывает в своих мемуарах, что однажды Лоу ему сказал: «Никогда не поверил бы я тому, что я увидел, когда был контролером финансов. Знайте, что французское королевство управляется тридцатью интендантами. У вас нет ни парламента, ни штатов, ни губернаторов: от тридцати рекетмейстеров, поставленных во главе провинций, зависит счастье или несчастье этих провинций, их благосостояние или нищета».

Эти чиновники, обладавшие таким могуществом, тем не менее затмевались остатками старой феодальной аристократии и как бы исчезали в блеске, еще окружавшем ее. Вот почему даже в то время они едва были заметны, хотя их рука уже чувствовалась везде. В свете дворяне имели над ними преимущества знатности, богатства и почета, всегда связанного с стариной. В правительстве дворянство окружало государя и составляло его двор; оно командовало флотом и начальствовало над войсками; одним словом, оно делало то, что всего более бросается в глаза современникам и слишком часто останавливает на себе также взоры потомства. Предложить вельможе занять должность интенданта значило бы его оскорбить; самый мелкий столбовой дворянин в большинстве случаев с пренебрежением отказался бы от этой должности. Интенданты, в его глазах, — люди,

втершиеся в правительство, выскочки, поставленные в начальники над горожанами и крестьянами, а в остальном — совсем мелкие людишки. Однако же эти люди управляли Францией, как сказал Лоу и как мы увидим ниже.

Начнем с налогового права, в известном смысле заключающего в себе все остальные права.

Известно, что часть налогов сдавалась на откуп: относительно этой части в соглашения с финансовыми компаниями вступал королевский совет; он устанавливал условия контракта и определял способ взимания. Все остальные налоги, как, напр., талья (taille), поголовная подать (capitation) и пятипроцентный сбор (les vingtièmes), устанавливались и взимались или непосредственно агентами центральной власти, или под их всемогущим контролем.

Королевский совет ежегодно, негласным определением, устанавливал размер тальи и многочисленных добавочных к ней сборов, а также раскладку ее между отдельными провинциями. Таким образом, талья из года в год росла без всяких предуведомлений и без шума.

Так как талья была налогом старым, то ее раскладка и взимание некогда были вверены местным агентам, которые все более или менее были независимы от правительства и управляли свои полномочия по праву рождения, избрания или в силу покупки должности. Такими агентами были: помещик, приходской сборщик (collecteur), казначеи Франции (trésoriers de France) и выборные (élus). Эти власти еще существовали в XVIII в., но одни из них совершенно перестали заниматься сбором тальи, другие же если и занимались им, то роль их при этом была весьма второстепенной и вполне подчиненною. Даже здесь вся власть находилась в руках интенданта и его агентов: в действительности он один раскладывал талью между приходами, руководил сборщиками и наблюдал над ними, разрешал отсрочки и облегчения.

Так как другие налоги, как, напр., capitation, были нового происхождения, то в них правительство уже не было стеснено обломками старых политических сил; здесь оно действовало самостоятельно, без всякого вмешательства со стороны управляемых. Генеральный контролер, интендант и королевский совет определяли размер каждой доли.

От денег перейдем к людям.

Иногда высказывается удивление по поводу того, что французы так терпеливо несли иго военных наборов в эпоху революции и позднее; но следует хорошо помнить, что к этому они были приучены с давних пор. Рекрутчине предшествовало народное ополчение (*milice*), повинность более тягостная, хотя и требовавшая меньших контингентов. От времени до времени сельскую молодежь заставляли тянуть жребий и брали из ее среды определенное число солдат, составлявших полки милиции, в которых служба продолжалась шесть лет.

Так как ополчение было учреждением сравнительно новым, то ни одна из средневековых политических сил не имела к нему отношения; все дело было вверено исключительно агентам центральной власти. Совет устанавливал общий контингент и долю каждой провинции. Интендант определял число лиц, которое должен был выставить каждый приход. Его субделегат председательствовал при жеребьевке решал случаи увольнения от повинности, определял, кто из ополченцев может оставаться дома, кто подлежит отправке в другое место, и, наконец, передавал последних в руки военной власти. Жалобы могли быть приносимы только на имя интенданта или совета.

Равным образом можно сказать, что вне *pays d'état* все общественные работы, не исключая и тех, которые имели наиболее местное значение, значились и велись только агентами центральной власти.

Существовали, правда, другие, местные и независимые власти, как помещик, финансовые бюро (*bureaux de finances*), главные смотрители (*grands voyers*), которые могли участвовать в этой отрасли государственной администрации. Но почти все эти старые власти действовали мало или вовсе перестали действовать: самое легкое исследование административных документов того времени доказывает это. Все большие дороги и даже дороги, ведущие от одного города к другому, мостились и содержались из сумм, доставляемых общими налогами. Совет утверждал план и назначал торги. Интендант руководил работами инженеров, субделегат созывал барщину для выполнения их. Попечению старых властей предоставлялись одни проселочные до-



Прошлые времена

роги, которые по тому самому оставались непроездными.

Главным агентом центрального правительства в области общественных работ был, как и в наши дни, корпус путей сообщения (*corps des ponts et chaussés*). Здесь все до странности схоже, несмотря на разность времени. Администрация путей сообщения имеет свой совет и свое училище; имеет инспекторов, ежегодно объезжающих всю Францию, имеет инженеров, живущих на местах и обязанных, по указанию

интенданта, руководить в этих местах всеми работами. Учреждения Старого порядка были перенесены в новое общество в гораздо большем количестве, чем это предполагают; при этом переносе они обыкновенно теряли свои прежние названия, даже когда сохраняли прежние формы; но это учреждение сохранило и то, и другое — явление редкое.

Центральное правительство брало на себя одного, при посредстве своих агентов, поддержание общественного порядка в провинциях. Дозорные команды (*la maréchaussée*) были распределены небольшими бригадами по всей поверхности королевства и везде отданы в распоряжение интендантов. С помощью этих солдат, а в случае надобности — и армии, интендант отражал все непредвиденные опасности, задерживал бродяг, преследовал нищенство и подавлял восстания, которые беспрестанно происходили вследствие высоких цен на хлеб. Никогда не случалось, чтобы управляемые, как в старину, были призваны на помощь правительству в этой части его задачи: исключение составляли города, где обыкновенно существовала городская гвардия, солдаты и офицеры которой назначались интендантом.

Судебные коллегии сохраняли право издавать полицейские правила и часто пользовались им; но эти правила имели силу только для части территории, чаще всего — только для определенной местности. Совет всегда мог их отменить и отменял постоянно, когда речь шла о низших юрисдикциях. Со своей стороны он ежедневно издавал общие правила, одинаково применимые во всем королевстве, как по предметам, отличным от тех, которые определялись судебными учреждениями, так и по тем же предметам, которые иначе регламентировались ими. Число этих правил, или, как говорилось в то время, «*постановлений совета*» (*arrêts du conseil*), громадно и не перестает возрастать по мере приближения к Революции. Нет почти ни одной отрасли общественной экономии или политической организации, которой бы не перебрали постановления совета в течение предшествующих Революции сорока лет.

Если в старом феодальном обществе помещик обладал большими правами, то у него были и большие обязанности. На нем лежит забота о бедных в пределах его владений.

Последнюю черту этого старого законодательства Европы мы находим в прусском кодексе 1795 г., где сказано: «Помещик должен следить за тем, чтобы бедные крестьяне получали воспитание. Он должен, насколько это возможно, доставлять средства к жизни тем из своих вассалов, которые не имеют земли. Тем из них, которые впадут в нужду, он обязан подавать помощь».

Но ни одного подобного закона давно уже не существовало во Франции. Когда у помещика были отняты его старые права, он отстранился также и от своих старых обязанностей. Ни одна из местных властей, никакой совет, никакая провинциальная или приходская ассоциация не стали на его место. Никто более не обязывался законом заботиться о бедных в селах; центральное правительство смело брало на себя одного удовлетворение их нужд.

Совет ежегодно ассигновал каждой провинции, из общих сумм налогов, известные фонды, из которых интендант раздавал пособия в приходах. К нему должен был обращаться нуждающийся земледелец. В неурожайные годы по поручению интенданта раздавались народу хлеб и рис. Совет ежегодно издавал приказы, повелевавшие учреждать в известных, им же указываемых, местах благотворительные мастерские, где наиболее бедные крестьяне могли работать за небольшую плату. Легко догадаться, что благотворительность, оказываемая на таком далеком расстоянии, часто бывала слепа или капризна и всегда — очень недостаточна.

Центральное правительство не довольствовалось тем, что помогало крестьянам в их нуждах: оно бралось указывать им средства к обогащению, помогать им в этом, а в случае надобности — и принуждать. С этой целью оно от времени до времени поручало интендантам и их субделегатам распространять маленькие сочинения о землевладельческом искусстве, основывало сельскохозяйственные общества, назначало премии, делало большие затраты на содержание питомников и раздавало населению произведения последних. Кажется, целесообразнее было бы облегчить бремя и уменьшить неравенство повинностей, в то время угнетавших земледелие; но об этом правительство, по-видимому, никогда не помышляло.



Король Людовик XI

Иногда совет имел в виду заставить частных лиц благоденствовать во что бы то ни стало. Повеления, обязывающие ремесленников пользоваться определенными способами производства и выделывать определенного рода товары, бесчисленны; и так как одних интендантов было недостаточно для надзора за соблюдением всех этих правил, то существовали особые генеральные инспектора промышленности (*inspecteurs généraux de l'industrie*), объезжавшие провинции с целью наблюдать за исполнением этих предписаний.

Есть постановления совета, воспрещающие разведение известных растений на землях, которые совет считает мало



Король Людовик XIV

пригодными к тому. Есть другие повеления, в которых совет приказывает выкапывать виноградные лозы, посаженные, по его мнению, на дурной почве. Настолько успело уже правительство из роли государя перейти в роль опекуна.

Глава третья

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОПЕКА ЕСТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАРОГО ПОРЯДКА

Во Франции муниципальная свобода пережила феодализм. Когда помещики уже более не управляли селами, города еще сохраняли право заведования своими делами. Вплоть до конца XVII в. встречаются города, все еще представляющие собою как бы маленькие демократические республики, где должностные лица свободно избираются всем народом и ответственны перед ним, где деятельна муниципальная и общественная жизнь, где община еще гордится своими правами и очень ревниво оберегает свою независимость.

В первый раз выборы повсеместно были отменены лишь в 1692 г. Муниципальные должности были тогда обращены в оффиции (*offices*), т. е. король в каждом городе продавал известному числу жителей право на вечные времена управлять всеми остальными обывателями.

Это значило пожертвовать, вместе с вольностями городов, и их благосостоянием; потому что, если обращение общественных должностей в оффиции часто имело полезные последствия, когда дело касалось судов, так как первое условие справедливого суда есть полная независимость судьи, то оно оказывалось пагубным каждый раз, когда речь шла об управлении в собственном смысле, где особенно необходимы ответственность, повиновение и усердие. Правительство старой монархии не обманывало себя на этот счет: оно никогда не применяло к самому себе того режима, которому подчинило города, и ни в каком случае не обратило бы в оффиции должности субделегатов или интендантов.

И, что вполне заслуживает всего презрения истории, этот громадный переворот был совершен без всяких политических видов. Людовик XI ограничил муниципальные вольнос-

ти потому, что их демократический характер пугал его. Людовик XIV уничтожил эти вольности, не боясь их. Это доказывается тем, что он возвратил их всем городам, которые были в состоянии их выкупить. В действительности он не столько хотел их отменить, сколько желал пустить их в выгодный оборот, и если действительно их уничтожил, то сделал это, так сказать, не думая, единственно вследствие финансового затруднения; и — странное дело! — та же игра продолжается в течение восьмидесяти лет. В этот промежуток времени городам семь раз продают право избирать своих должностных лиц и, не успеют они снова вкушать сладость этого права, его у них опять отнимают для того, чтобы снова продать. Мотив этой меры всегда один и тот же, и правительство часто прямо его высказывает. «Нужды наших финансов, — сказано во вступлении к эдикту 1722 г., заставляют нас искать наиболее верные средства к их облегчению». Средство было верно, но разорительно для тех, на кого падал этот страшный налог. «Меня поражает громадность тех сумм, которые во все времена были уплачиваемы для выкупа муниципальных оффиций», — пишет генеральному контролеру один интендант в 1764 г. — Все эти суммы, будучи употреблены на полезные предприятия, обратились бы к выгоде города, который, напротив, чувствовал только тягость власти и привилегий, принадлежавших этим оффициям». Я не нахожу более позорной черты во всей физиономии Старого порядка.

В настоящее время представляется трудным сказать определенно, как управлялись города в XVIII в., потому что источник муниципальных властей, как только что было указано, непрерывно изменяется и, кроме того, каждый город сохраняет еще некоторые обрывки своего старого устройства и имеет свои особые обычаи. Не может быть двух городов во Франции, совершенно похожих друг на друга; но это обманчивое разнообразие, за которым скрывается полное сходство.

В 1764 г. правительство предприняло издание общего закона об управлении городами. Оно велело своим интендантам прислать ему записки о том, как шли в то время дела в каждом городе. Часть этого расследования я нашел и, читая ее, окончательно убедился в том, что муниципальные дела

велись почти везде одинаково. Остались лишь поверхностные и кажущиеся различия; сущность везде одна и та же.

Чаще всего городское управление вверено двум собраниям. Это относится ко всем большим городам и к большинству малых.

Первое собрание состоит из муниципальных должностных лиц, более или менее многочисленных, смотря по местности: это исполнительная власть общины, *городская коллегия* (*corps de ville*), как говорилось в то время. Его членам принадлежит власть, ограниченная определенным сроком; они избраны, если избрание должностных лиц установлено королем или если город мог выкупить оффиции. Они исполняют свои обязанности бессрочно, купив это право за деньги, если король восстановил оффиции и если ему удалось их продать, что бывает не всегда, потому что этот товар все более и более обесценивается по мере того, как муниципальная власть все более подчиняется центральному правительству. В обоих случаях муниципальные должностные лица не получают жалованья, но они всегда пользуются привилегиями и податными изъятиями. Иерархического порядка среди них нет никакого; управление коллективно; не видно, чтобы какое-либо должностное лицо в частности руководило управлением и несло за него ответственность. Мэр — председатель городской коллегии, но не администратор общины.

Второе собрание, называемое *общим собранием* (*assemblée générale*) избирает городскую коллегия в тех местах, где избрание еще не имело места, и везде продолжает принимать участие в важнейших делах.

В XV в. общее собрание часто состояло из всего народа. «Этот обычай, — гласит одна из записок правительственного расследования, — согласовался с демократическим духом наших предков». Муниципальных должностных лиц избирал в то время весь народ; с ним иногда совещались; ему отдавали отчет. В конце XVII в. это иногда встречается.

В XVIII в. уже не сам народ в полном составе образует общее собрание. Последнее почти всегда носит представительный характер. Но особенно следует заметить, что оно нигде более не избирается массой народа и не вдохновляется ею. Оно везде состоит из *нотаблей*, из которых неко-

торые появляются в нем в силу права, принадлежащего им лично; другие посылаются в это собрание корпорациями или компаниями, и каждый в нем действует по определенному наказу (*mandat impératif*), данному этим маленьким отдельным обществом.

Чем далее от начала столетия, тем число нотаблей в составе этого собрания становится больше; депутаты промышленных корпораций делаются малочисленнее или вовсе перестают появляться. В составе собрания встречаются уже только депутаты от обществ (*corps*); это значит, что собрание содержит в себе только горожан (*bourgeois*) и почти совсем не принимает более ремесленников. Тогда народ, который вовсе не так легко обмануть пустыми призраками свободы, повсюду перестает интересоваться делами общины и замыкается в своих четырех стенах, становится как бы иностранцем. Напрасно магистрат пытается время от времени пробудить в нем тот муниципальный патриотизм, который совершил столько чудес в средние века: народ остается глух к этим попыткам. Самые важные интересы города, по-видимому, не затрагивают его более. Иногда магистрату кажется нужным соблюсти пустую внешность свободного избрания, и ему хочется, чтобы народ принял участие в подаче голосов: народ упрямо отказывается. В истории нет ничего обыкновеннее такого зрелища. Почти все государи, уничтожившие свободу, вначале пытались поддержать ее внешние формы: это наблюдалось от Августа и до наших дней; таким путем они надеялись совместить нравственную силу, которую всегда дает одобрение общества, с теми удобствами, которые может представить одна абсолютная власть. Почти все они потерпели неудачу в этом предприятии и не замедлили убедиться, что невозможно поддержать эту лживую внешность там, где исчезли действительные отношения.

Итак, в XVIII в. муниципальное правительство городов повсюду выродилось в маленькую олигархию. Несколько семейств вели в них все дела сообразно своим частным интересам, невидимо для общества и не неся никакой ответственности перед ним: это болезнь, которую поражена администрация Франции. Все интенданты указывают на нее.

Но единственное лекарство, которое им приходит в голову, это все большее и большее подчинение местных властей центральному правительству.

Между тем в этом направлении трудно было сделать больше того, что уже было сделано; независимо от эдиктов, время от времени видоизменяющих управление всех городов, местные законы каждого из них часто переделываются регламентами королевского совета, не зарегистрированными парламентом, изданными по представлениям интендантов, без предварительного расследования и часто без ведома самих жителей города.

«Эта мера, — говорят жители одного города, испытавшего на себе действие подобного повеления, — удивила все сословия города, которые ничего подобного не ожидали».

Города не могут ни установить у себя пошлину на ввоз съестных припасов, ни собрать налог, ни закладывать, ни продавать, ни вчинять исков, ни отдавать в аренду свои имущества, ни управлять ими, ни расходовать излишков своих поступлений без постановления совета по представлению интенданта. Все городские работы исполняются по планам и согласно сметам, одобренным постановлениями совета. Отдача с торгов происходит в присутствии интенданта или его субделегатов, ведутся же работы обыкновенно правительственным инженером или архитектором. Это обстоятельство сильно удивит тех, кто думает, что все, что мы видим теперь во Франции, ново.

Но вмешательство центрального правительства в городские дела идет еще дальше, чем указывает приведенное правило; его власть в них гораздо шире его прав.

В одном циркуляре генерального контролера середины XVII в. ко всем интендантам я читаю следующее: «Обратите особенное внимание на все, что происходит в муниципальных собраниях. Потребуйте, чтобы вам были представлены самые подробные отчеты с изложением всех принятых решений для немедленной высылки мне вместе с вашим заключением».

Действительно, из переписки интенданта с его субделегатами видно, что правительство следит за всеми городскими делами, за самыми мелкими так же, как за наиболее важными. Его запрашивают обо всем, и оно обо всем имеет реше-

тельное мнение; оно определяет все, даже праздники. Оно предписывает в известных случаях изъясления общественной радости, заставляет зажигать фейерверк и иллюминировать дома. Мы находим интенданта, который подвергает пене в двадцать ливров членов городской гвардии, не явившихся в церковь к молебну.

У муниципальных должностных лиц есть и приличествующее им сознание своего ничтожества.

«Мы униженнейше просим вас, монсеньер, — пишут некоторые из них интенданту, — даровать нам ваше благоволение и покровительство. Мы постараемся их оправдать, подчиняясь всем приказаниям вашего вельможества (*Votre Grandeur*)». — «Мы никогда не противились вашим желаниям, монсеньер», пишут другие, еще величающие себя пышным титулом *пэров города*.

Так готовится городское сословие к управлению государством, а народ — к свободе.

Если бы по крайней мере эта строгая зависимость городов сберегла их финансы; но и этого не было. Утверждают, что, если бы не централизация, города разорились бы немедленно. Не знаю. Но достоверно то, что в XVIII в. централизация не помешала им разориться. Вся административная история этого времени полна беспорядка в их делах.

Перейдя от городов к селам, мы находим иные власти, иные формы, но ту же зависимость.

Я хорошо вижу признаки, указывающие на то, что в средние века жители каждого села составляли общину, отдельную от помещика. Последний ею пользовался, надзирал над нею, управлял ею; но в общем владении ее членов находились известные имущества, на которые ей принадлежало право полной собственности; она избирала старшин и управляла собою сама демократически.

Это старое устройство прихода встречается у всех наций, переживших феодальный строй, и во всех тех странах, куда эти нации занесли обломки своих законов. Следы этого устройства видели повсюду в Англии, а шестьдесят лет тому назад оно было еще совершенно живо и в Германии, в чем можно убедиться, читая кодекс Фридриха Великого. Даже во Франции в XVIII в. существуют еще некоторые следы его.

Я помню, что, когда я разыскивал в первый раз в архивах одного интендантства, что представлял собою приход старого порядка, я был удивлен, встретив в этой бедной и порабощенной общине многие из тех черт, которые некогда поразили меня в сельской общине Америки и в то время ошибочно были приняты мною за исключительную особенность Нового Света. Ни та, ни другая не имеет постоянно-го представительства, муниципальной коллегии в собственном смысле; обе управляются должностными лицами, действующими каждое отдельно, под руководством всей общины. В обеих время от времени происходят общие собрания, где все жители, соединившись в одно нераздельное целое, избирают своих должностных лиц и решают важнейшие дела. Одним словом, эти две общины похожи друг на друга настолько, насколько то, что живо, может походить на мертвеца.

Оба эти существа, столь различные по своим судьбам, имели в действительности одинаковое происхождение.

Сразу перенесенный на далекое расстояние от феодализма и будучи полным господином над собою, сельский приход средних веков сделался городской общиной (township) Новой Англии. Отделенный от помещика, но сжатый в мощной руке государства, он стал во Франции тем, о чем мы сейчас скажем.

В XVIII в. названия и число приходских должностных лиц видоизменяются сообразно провинциям. Из старых документов видно, что эти должностные лица были многочисленнее, когда местная жизнь была более деятельна; их число уменьшалось по мере того, как она цепенела. В большей части приходов XVIII в. их уже только два; один называется *сборщиком* (collecteur), другой — *синдиком* (syndic). Обыкновенно эти муниципальные должностные лица еще избираются или считаются избираемыми; но они повсюду сделались орудиями государства больше, чем представителями общины. Сборщик собирает талью под непосредственным начальством интенданта. Синдик, поставленный под ежедневное руководство подчиненного интенданту субделегата, представляет лицо последнего во всех действиях, относящихся к общественному порядку или к государственному

управлению. Он — главный агент субделегата, когда дело касается ополчения, государственных работ, исполнения всех общих законов.

Помещик, как мы уже видели, остается чужд всем этим подробностям управления; он даже не надзирает над ними и не помогает в них; мало того, эти заботы, некогда поддерживавшие его могущество, начинают ему казаться недостойными его, по мере того как самое его могущество все более разрушается. Теперь предложить ему заняться ими значило бы уже оскорбить его гордость. Он более не управляет; но его присутствие в приходе и его привилегии мешают хорошему приходскому управлению утвердиться на его месте. Частное лицо, так резко отличающееся от всех прочих, до такой степени независимое и пользующееся таким сильным покровительством, уничтожает или ослабляет в приходе значение всех установленных правил.

Столкновения с ним, как будет показано ниже, заставили бежать в город одного за другим почти всех жителей, обладавших зажиточностью или образованием; поэтому в приходе, кроме помещика, остается еще только толпа невежественных и грубых крестьян, неспособных руководить обширным управлением. «Приход, — справедливо сказал Тюрго, — представляет собою скопление хижин и жителей, столь же пассивных, как эти хижины».

Административные документы XVII в. наполнены жалобами на неспособность, бездеятельность и невежество приходских сборщиков и синдиков. Министры, интенданты, субделегаты, даже дворяне, — все жалуются беспрестанно; но никто не восходит к причинам.

Вплоть до Революции сельский приход во Франции сохраняет в своем управлении нечто, напоминающее тот демократический вид, который оно имело в средние века. Нужно ли избрать муниципальных должностных лиц или обсудить какие-либо общественные дела — колокол сельской церкви созывает крестьян на церковную паперть; туда имеет право являться бедняк так же, как и богач. Правда, на этом сходе не бывает ни обсуждения в собственном смысле, ни подачи голосов; но каждый может высказывать свое мнение, и нотариус, приглашенный на этот случай и состав-

ляющий свой журнал под открытым небом, собирает различные мнения и вносит их в протокол.

Сопоставление этих бессодержательных призраков свободы и соединенного с ними действительного бессилия в малых размерах уже обнаруживает, как наиболее абсолютное правительство может сочетаться с некоторыми из форм самой крайней демократии, так что угнетаемые еще становятся смешны тем, что как будто не сознают своей угнетенности. Этот демократический приходской сход мог высказывать всякие пожелания, но осуществить свою волю он имел так же мало права, как и городской муниципальный совет. Даже говорить он имел право только тогда, когда ему открывали рот, потому что собраться он мог не иначе, как испросив особое разрешение интенданта и *не выходя из его воли*, как выражались в то время, называя вещь ее именем. Придя к единогласному решению, он все-таки не мог ни обложить себя налогом, ни продать, ни купить, ни заключить договор найма, ни начать иск без разрешения королевского совета. Чтобы починить церковную кровлю, только что попорченную ветром, или разрушающуюся стену в доме священника, необходимо было испросить повеление того же совета. Наиболее отдаленный от Парижа сельский приход был подчинен этому правилу наравне с самым близким. Я встречал приходы, просившие совет о разрешении израсходовать двадцать пять ливров.

Правда, жители обыкновенно сохраняли право сообща всем приходом избирать своих должностных лиц. Но часто случалось, что интендант предлагал этой маленькой избирательной коллегии кандидата, который неизбежно и оказывался избранным единогласно. В других случаях он кассировал выборы, сделанные самовольно, сам назначал сборщика и синдика и впредь бессрочно приостанавливал всякие новые выборы. Я видел сотни подобных примеров.

Нельзя себе представить ничего ужаснее участи этих общинных должностных лиц. Последний агент центрального правительства, субделегат, заставлял их подчиняться малейшим своим капризам. Часто он приговаривал их к пене, иногда сажал в тюрьму, потому что гарантии, еще защищавшие прочих граждан от произвола, в этом случае не сущес-

твовали. «Я посадил в тюрьму, — говорит один интендант 1750 г., — нескольких старшин в общинах, которые роптали, и заставил эти общины заплатить за проезд дозорной команды. Таким путем они легко были усмирены». Вот почему приходские должности считались не столько почестью, сколько повинностью, от которой старались избавиться с помощью всевозможных уловок.

И при всем том эти последние обломки старого приходского управления еще были дороги крестьянам, и даже в настоящее время единственная из всех общественных вольностей, которую они хорошо понимают, — это независимость приходов. Это единственное общественное дело, действительно интересующее их. Тем самым люди, которые охотно оставляют управление всею нацией в руках одного хозяина, возмущаются при мысли о том, что они не имеют голоса в управлении своею деревней. Столько остается еще силы в самых пустых формах!

То, что я сказал о городах и приходках, должно быть распространено почти на все корпорации, имевшие отдельное существование и коллективную собственность.

При Старом порядке, как и в наши дни, во Франции не было города, местечка, села, даже самой маленькой деревушки, больницы, фабрики, монастыря или гимназии, которые смели бы иметь независимую волю в своих частных делах или управлять по своему желанию своим собственным имуществом. Итак, тогда, как и теперь, администрация держала всех французов под опекой; и если еще не было произнесено это дерзкое слово, то по крайней мере соответствующий факт уже существовал.

Глава четвертая

О ТОМ, ЧТО АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ И СУДЕБНЫЕ ИЗЪЯТИЯ В ПОЛЬЗУ ЧИНОВНИКОВ СУТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ СТАРОГО ПОРЯДКА

В Европе не было страны, в которой общие суды меньше зависели бы от правительства, чем во Франции; но в то же время не существовало страны, где бы исключительные су-

ды были в большем употреблении. Эти два явления были связаны между собою теснее, чем думают обыкновенно. Так как во Франции король почти совсем не имел власти над судьбою судей; так как он не мог ни отрешить судью от должности, ни перевести его в другое место, ни даже, в большинстве случаев, повысить его в степени; так как, одним словом, он не мог действовать на судей ни возбуждением честолюбия, ни страхом, — он скоро почувствовал себя стесненным этою их независимостью. Это обстоятельство более, чем где-либо, побудило его изъять из их ведения те дела, в которых непосредственно была заинтересована его власть, и рядом с ними, для собственного употребления, создать род зависимого суда, по внешности представлявшего подданным известные черты справедливости, но в действительности безопасного с этой стороны.

В тех странах, где, как в некоторых частях Германии, общие суды никогда не были так независимы от правительства, как французские суды того времени, подобная предосторожность не была принята, и административной юстиции не существовало. Там государь настолько чувствовал себя господином судей, что не нуждался в комиссарах.

Кто пожелает внимательно прочесть королевские эдикты и декларации, обнародованные в течение последнего века монархии, а также постановления совета, изданные в этот же период времени, найдет между ними мало таких, в которых правительство, приняв какую-либо меру, забыло бы прибавить, что могущие из нее возникнуть споры и тяжбы должны быть разбираемы исключительно интендантом и советом. «Сверх того повелевает Его Величество, чтобы все споры, могущие возникнуть при исполнении настоящего приказа, со всеми принадлежностями, были представляемы на рассмотрение интенданту, причем предоставляется право обжалования в совет. Воспрещаем нашим судам и трибуналам рассматривать такие дела». Это обычная формула.

В дела, предусмотренные старыми законами или обычаями, в которых эта предосторожность не была принята, совет постоянно вмешивается путем эвокации: он извлекает из рук общих судей всякое дело, в котором заинтересована администрация, и переносит его к себе. Реестры совета на-

полнены такого рода постановлениями об эвокации. Мало-помалу исключение становится общим правилом, факт преобразуется в теорию. Если не в законах, то в уме тех, кто их применяет, утверждается, как государственный принцип, то положение, что все процессы, в которых замешан какой-либо публичный интерес или которые возникают из толкования какого-либо административного акта, отнюдь не входят в ведение общих судов, единственное назначение которых — разбирать столкновения частных интересов. Здесь мы только отыскали формулу: содержащаяся в ней идея принадлежит Старому порядку.

С этой поры большая часть спорных вопросов, возникающая по поводу взимания налогов, подлежит исключительно ведению интенданта и совета. То же самое относится ко всему, что касается полиции передвижения и общественных экипажей, высшего дорожного управления (*La grande voirie*), речного судоходства и т. д.; вообще, в административных судах разбираются все процессы, в которых заинтересована государственная власть.

Интенданты очень тщательно заботятся о том, чтобы эта исключительная юрисдикция непрерывно расширялась; они предостерегают генерального контролера и подстрекают совет. Довод, приводимый одним из этих чиновников для испрошения эвокации, заслуживает того, чтобы мы его сохранили. «Общие суды, — говорит он, — подчинены неподвижным правилам, обязывающим их подавлять действия, противные закону; но совет всегда может нарушить закон ради полезной цели».

Следуя этому принципу, интендант или совет часто переносит к себе и такие дела, которые связаны с государственною администрациею почти невидимыми нитями или видимым образом вовсе не связаны с нею. Дворянин, поссорившийся с соседом и недовольный приговором своих судей, требует у совета эвокации своего дела. Интендант на сделанный ему запрос отвечает: «Хотя здесь речь идет только о частных правах, ведение которых принадлежит судам, однако Его Величество может всегда, когда пожелает, предоставить себе рассмотрение всякого рода дел, никому не отдавая отчета в своих мотивах».

Всякий простолюдин, которому случилось нарушить порядок каким-либо насильственным поступком, обыкновенно отдается на суд интенданта или старшины дозорной команды (*prévot de la maréchaussée*) в порядке эвокации. Большая часть возмущений, так часто поражаемых дороговизною хлеба, дают повод к эвокациям этого рода. В таких случаях интендант назначает себе в товарищи известное число лиц, обладающих ученою степенью, — нечто вроде импровизированного совета префектуры, им же избранного, — и судит в уголовном порядке. Среди постановленных таким образом приговоров мне встречались такие, которые присуждали людей к каторге и даже к смерти. Уголовные процессы, судимые интендантами, часты еще в конце XVII в.

Современные специалисты в области административного права уверяют, что со времен Революции мы далеко ушли вперед: «Прежде судебная и административная власти были смешаны, — говорят они, — впоследствии их разделили и каждую из них возвратили на ее место». Чтобы правильно оценить прогресс, о котором здесь идет речь, никогда не следует забывать, что если, с одной стороны, судебная власть при Старом порядке постоянно выступала за пределы своей естественной области, то, с другой стороны, она никогда не наполняла ее всю. Кто видит только одну сторону предмета и не видит другую, тот имеет о самом предмете неполное и ложное представление. Судам то позволяли издавать правила, касавшиеся государственной администрации, что явным образом лежало за пределами их ведомства; то запрещали им разбирать настоящие процессы, что значило вытеснять их из принадлежащей им области. Правда, мы изгнали суд из административной сферы, куда Старый порядок дозволил ему проникнуть совершенно незаконным образом; но в то же время, как показано было выше, правительство беспрестанно вторгалось в естественную сферу суда, и мы его оставили в ней, как будто смешение властей не представляет столько же опасности с этой стороны, как и с другой, и даже больше, чем с другой, потому что вмешательство суда в управление вредит только делам, тогда как вмешательство администрации в область суда развращает

людей и развивает в них одновременно склонность к переворотам и раболепство.

В числе девяти или десяти конституций, утвержденных во Франции на вечные времена в течение последних шестидесяти лет, есть одна, в которой положительно высказано, что ни один агент администрации не может быть преследуем в общих судах иначе, как с предварительного разрешения со стороны правительства. Эта статья оказалась придуманною так удачно, что при разрушении конституции, часть которой она составляла, она заботливо была извлечена из развалин и с тех пор всегда столь же заботливо охранялась от посягательств революций. Чиновники все еще имеют обыкновение привилегию, дарованную им этой статьей, называть одним из великих завоеваний 89 года; но в этом они ошибаются, потому что при старой монархии правительство едва ли с меньшим тщанием, чем в наши дни, оберегало чиновников от неприятной необходимости делать признания перед судом, подобно простым гражданам. Единственное существенное различие между обеими эпохами состоит в следующем: до Революции правительство могло прикрывать своих агентов лишь с помощью исключительных и произвольных мер, тогда как со времени ее оно могло на законном основании дозволять им нарушать законы.

Когда суды Старого порядка возбуждали преследование против кого-либо из агентов центральной власти, обыкновенно являлось постановление совета (*arrêt du conseil*), освобождавшее обвиняемого из рук его судей и ставившее его на суд комиссаров, назначенных советом; потому что, как пишет один государственный советник того времени, чиновник, подвергшийся такому нападению, в общих судах встретил бы предупреждение со стороны судей, вследствие чего пострадал бы королевский авторитет. Такого рода эвокации происходили не только часто, но ежедневно; не только для главных агентов правительства, но и для самых незначительных. Кто хотя бы самую тонкую нитью был связан с администрацией, тот мог уже никого не бояться, кроме нее. Объездчик путей сообщения, надзирающий над баршиной, привлекается к суду по жалобе побитого им крестьянина. Совет эвокирует дело, а главный инженер в конфи-

денциальном письме к интенданту говорит по этому поводу: «Собственно говоря, объездчик весьма заслуживает порицания: но это еще не основание, чтобы предоставить дело обычному ходу, потому что для управления путей сообщения в высшей степени важно, чтобы общие суды не разбирали и не принимали жалоб на объездчиков со стороны отбывающих барщину крестьян. Если бы такой пример встретил подражание, то работы задерживались бы постоянными тяжбами, которые порождали бы враждебность общества к этим служащим».

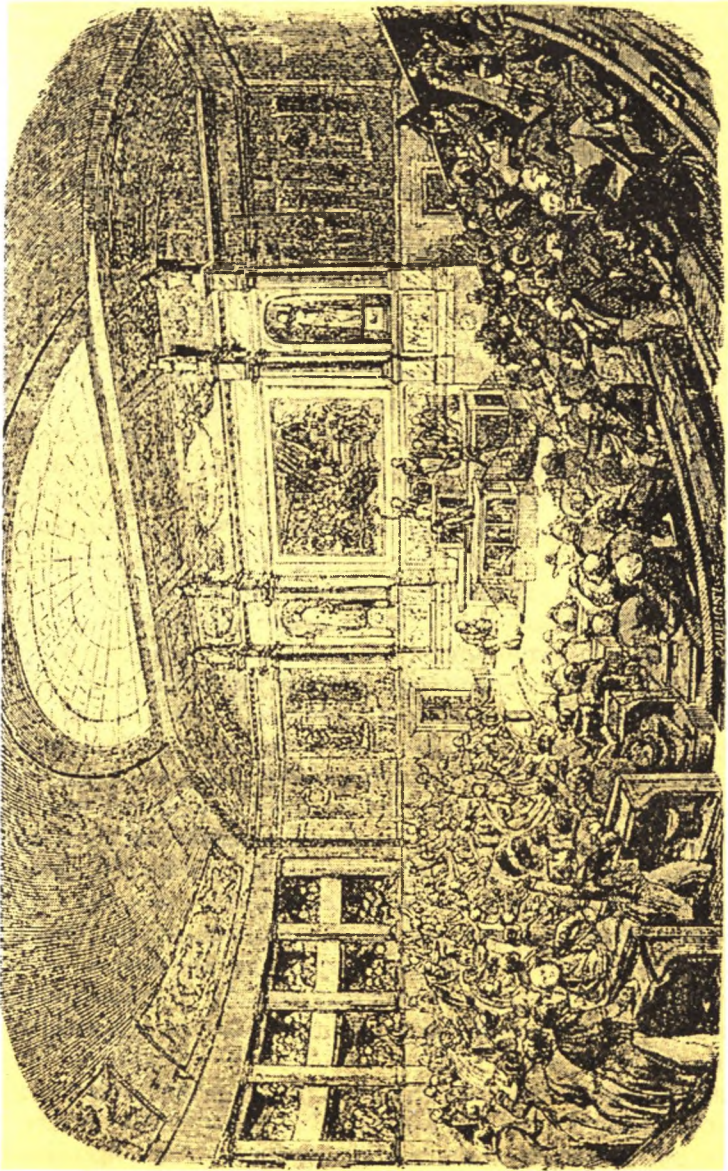
В другом случае сам интендант докладывает генеральному контролеру по поводу одного казенного подрядчика, взявшего нужные ему материалы с поля своего соседа: «Я не могу достаточно настоятельно представить вам, как вредно было бы для интересов правительства дозволить общим судам судить его подрядчиков: принципы, которыми руководствуются суды, никогда не могут быть согласованы его принципами».

Ровно сто лет прошло с тех пор, как написаны эти строки, а между тем можно подумать, что писавшие их администраторы — наши современники.

Глава пятая

КАК МОГЛА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОНИКНУТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ В СРЕДУ СТАРЫХ ВЛАСТЕЙ И ЗАНЯТЬ ИХ МЕСТО, НЕ РАЗРУШИВ ИХ

Теперь повторим в немногих словах все изложенное в предшествующих трех главах: одна коллегия, помещенная в центре королевства, направляет государственную администрацию во всей стране; один и тот же министр управляет почти всеми внутренними делами; в каждой провинции один агент руководит всеми подробностями их; нет никаких подчиненных административных коллегий или есть только такие, которые могут действовать лишь с предварительного разрешения; исключительные суды разбирают дела, в которых заинтересована администрация, и прикрывают всех ее агентов, — что это, как не централизация, кото-



Палата депутатов

рую мы знаем? Ее формы менее ясно выражены, чем в настоящее время, ее проявления менее правильны, ее существование более тревожно. Но это — то же самое существо; в его основах нечего было переделывать — ни прибавлять, ни убавлять. Достаточно было сломить все, что возвышалось вокруг нее, для того, чтобы она явилась такою, как мы ее видим.

Большая часть тех учреждений, которые только что были описаны, послужили впоследствии предметом подражания во множестве различных мест; но тогда они были особенностью Франции, и мы вскоре увидим, как велико было влияние, оказанное ими на Французскую революцию и на ее последствия.

Но каким образом эти новые учреждения могли утвердиться во Франции среди обломков старого общества?

Это в большей степени было делом терпения, ловкости и времени, чем результатом силы и полноты власти. В момент, когда наступила Революция, почти ничто не было еще разрушено в старом административном здании Франции; под него только подвели, так сказать, новый фундамент.

Нет никаких указаний на то, чтобы при выполнении этой трудной работы правительство Старого порядка следовало плану, глубоко обдуманному заранее. Оно только отдалось инстинкту, по которому каждое правительство стремится самостоятельно вести все дела; инстинкт этот остался неизменным при всем разнообразии правительственных агентов. Оно оставило старым политическим силам их древнее имя и почести, но мало-помалу отняло у них всю власть. Оно не прогнало, но вежливо выпроводило их из их владений. Пользуясь бездеятельностью одних, эгоизмом других для того, чтобы занять их место, пользуясь всеми их пороками и никогда не делая попыток к их исправлению, правительство старалось только вытеснить их и кончило тем, что действительно почти всех заменило одним агентом — интендантом, само имя которого было неизвестно, когда они появились на свет.

Одна судебная власть стесняла правительство в этом обширном предприятии. Но даже и здесь оно успело захватить в свои руки всю сущность власти, оставив своим противни-

кам только тень ее. Не исключая прямо парламентов из административной сферы, оно постепенно само распространилось в ней так, что наполнило ее почти всю. При некоторых чрезвычайных и преходящих обстоятельствах, напр., в голодные годы, когда народные страсти доставляли точку опоры честолюбию магистратов, центральное правительство временно позволяло парламентам управлять и не мешало им производить шум, который часто находил отклик в истории; но вскоре оно, молча, опять становилось на свое место и в тишине снова налагало свою руку на всех и на все.

Кто пожелает внимательно присмотреться к борьбе парламентов с королевскою властью, тот увидит, что почти всегда столкновения происходят на почве политики, а не администрации. Споры возникают обыкновенно по поводу новых налогов, т. е. противники оспаривают друг у друга не административную, а законодательную власть, которую оба они одинаково не в праве были присваивать себе.

Это явление наблюдается вплоть до самой Революции и принимает все более широкие размеры. По мере того, как разгораются народные страсти, парламент начинает все больше вмешиваться в политику; и в то время, как центральная власть и ее агенты приобретают все больше опытности и ловкости, тот же парламент все меньше и меньше занимается административными делами в собственном смысле; с каждым днем он становится все менее администратором и все более трибуном.

Сверх того, время беспрестанно открывает для деятельности центрального правительства все новые поприща, куда суды, по своей неповоротливости, не могут следовать за ним, потому что на сцену являются новые дела, для которых суды не имеют прецедентов и которые чужды их рутине. Быстрое поступательное движение общества ежечасно рождает новые запросы, и каждый из них служит правительству новым источником власти, потому что оно одно может их удовлетворить. Тогда как административная сфера судов остается неизменною, у правительства она подвижна и не перестает расширяться вместе с самою цивилизацией.

Приближающаяся Революция начинает волновать умы всех французов и внушает им сотни новых идей, которые

одно правительство может осуществить; прежде, чем его низвергнуть, она развивает его. Даже правительство совершенствуется, как и все остальное. Это обстоятельство своеобразно поражает нас при изучении правительственных архивов. Генеральный контролер и интендант 1790 г. уже не походят на генерального контролера и интенданта 1740 г.; администрация преобразилась. Ее агенты — те же, но они проникнуты иным духом. Расчленившись и расширившись, администрация вместе с тем приобрела больше правильности и больше знаний; завладев всем, она стала умереннее: она меньше угнетает и в большей степени руководит.

Первые усилия Революции разрушили великое учреждение монархии; она была восстановлена в 1800 г. В эту эпоху и позднее в вопросах государственного управления восторжествовали не принципы 1789 г., как это высказывалось столько раз, а наоборот, принципы Старого порядка, которые все были восстановлены и с тех пор оставались в силе.

Если меня спросят, каким образом эта часть Старого порядка могла целиком перейти в новое общество и так прочно утвердиться в нем, я отвечу, что централизация не погибла в Революции благодаря тому, что она сама была началом этой революции и признаком ее; я прибавлю, что, раз народ уничтожил в своей среде аристократию, он как бы сам собою стремится к централизации. Тогда гораздо легче помчатъ его вниз по этой наклонной плоскости, чем удержать на ней. В его среде все виды власти естественно стремятся к единству, и требуется большое искусство для того, чтобы воспрепятствовать их слиянию.

Итак, демократической революции, разрушившей столько учреждений Старого порядка, суждено было упрочить централизацию; и централизация так естественно находила свое место в обществе, созданном этою революцией, что ее легко можно было принять за одно из созданий последней.

Перевод П.Г. Виноградова



ТЕОДОР МОММЗЕН

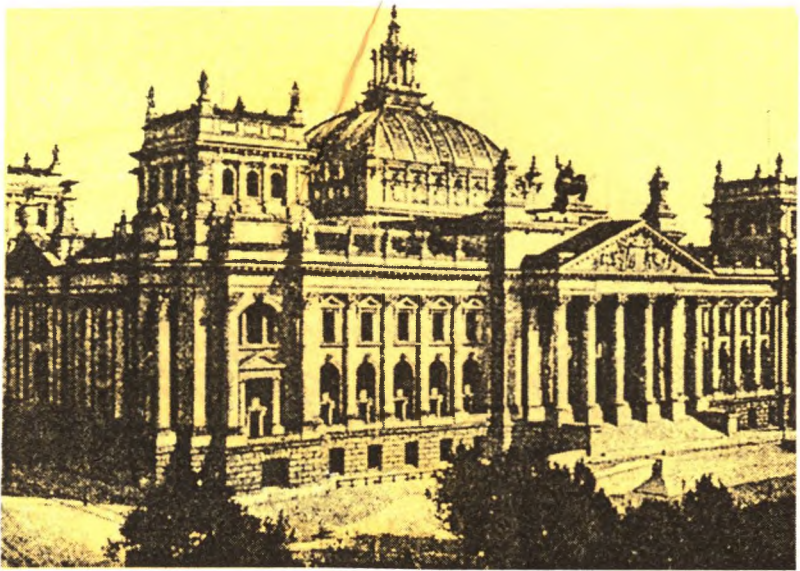
30 февраля 1817 г. — 1 февраля 1903 г.

Жизнь

Моммзен родился в семье священника в Гардинге (в Дании). Учился на юридическом факультете Кильского университета. Там же защитил диссертацию на доктора права.

В 1844 — 1849 гг. совершил путешествие по Италии, где с особым интересом занимался изучением латинских надписей. Тогда же он опубликовал первые итоги своего путешествия по Италии и Германии в виде различных филологических и археологических статей.

В 1848 г. Моммзен был приглашен в Лейпцигский университет на юридическую кафедру, однако вскоре за активное участие в Германской революции (1848 — 1849) ему было отказано в профессуре.



Германский рейхстаг

Во время революции он примкнул к левому крылу политического движения немецкой буржуазии. Моммзен активно выступал за присоединение Шлезвига (тогдашняя территория Дании) к Пруссии, редактировал печатный орган временного правительства Шлезвиг-Гольштейна.

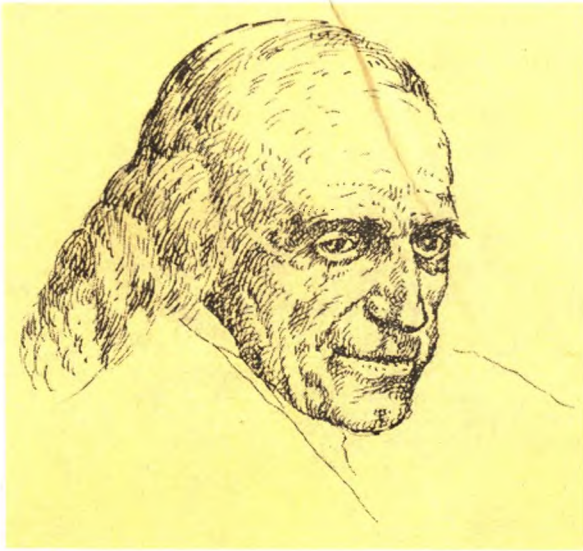
В 1852 г. Моммзен получил кафедру ординарного профессора римского права в Цюрихе, откуда в 1854 г. перешел в ту же кафедру в Бреслау (совр. г. Вроцлав).

В 1854 — 1856 гг. Моммзен публикует первый трехтомник «Римской истории», которая принесла ему всемирную славу.

В 1857 г. он был приглашен профессором древней истории в Берлинский университет, где преподавал до конца своей жизни. Позже он был принят в Берлинскую академию наук.

В 1902 г. ему была присуждена Нобелевская премия.

Параллельно с научной деятельностью Моммзен продолжал принимать активное участие в политической жизни



Теодор Моммзен

Германии. В 1863 — 1866 гг. и 1873 — 1879 гг. он был депутатом прусского ландтага от партии прогрессистов (немецких национал-либералов), а в 1881 — 1884 гг. — депутатом германского рейхстага от той же партии.

Судьба

Постоянно стремясь к политическому объединению Германии, Моммзен полностью одобрял войны Пруссии с Данией, Австрией и Францией. Особым имперским характером отличались его антифранцузские выступления. Он стремился настроить против Франции общественное мнение и соседних стран, особенно Италии. В одной из миланских газет было помещено его письмо, нашумевшее своими резкими антифранцузскими призывами. Моммзен включил свое имя в список лиц, требовавших бомбардировки Пари-



Самоубийство Гая Гракха

жа, несмотря на то, что во время многократных поездок в столицу Франции он всегда пользовался там гостеприимством и большим вниманием ученых и числился с 1860 г. членом-корреспондентом Академии надписей и изящной словесности.

Моммзен также оправдывал репрессии в Австро-Венгрии против славянского населения. Вместе с тем он энергично протестовал против преследований евреев.

Однако его политическая деятельность имела лишь второстепенное значение. Он был в первую очередь ученым,



Переход Ганнибала через Альпы

обогатившим историческую, филологическую и юридическую науки.

Составленный Цангейстером к 70-летию Моммзена (1887 г.) полный список его трудов составил 64 страницы и 949 наименований статей и монографий. К концу его жизни количество работ составило около полутора тысяч.

А к 50-летию докторской степени Моммзена (1893 г.) Берлинская академия наук должна была признать, что не в состоянии дать полную оценку научной деятельности юбиляра.

Творчество

Всемирную славу Моммзену принесла «Римская история». Написанная под влиянием революции 1848 г., она выразила чаяния и надежды немецкой общественности 50-х гг. XIX в., жаждавшей уничтожения старых социально-политических и экономических институтов раздробленной Германии и проведения буржуазных преобразований.

В «Римской истории» он обосновал и развил идею «демократической монархии», видя ее воплощение в диктатуре Юлия Цезаря. Подчинив изложение материала в 1—3-м томах главной цели — показать «демократическую монархию» Цезаря как явление закономерное, порожденное всем ходом развития римской истории, Моммзен так и не написал 4-го тома и ограничил изложение событий 46-м годом до н. э. неслучайно: писать дальше значило дать историю развития «демократической монархии», которая уже при преемнике Цезаря Августе стала превращаться в деспотию. «Сильная власть», по мнению Моммзена, — грубый произвол. 5-й том был написан лишь в 1885 г. и совершенно выпадает из общего контекста «Римской истории». В нем дан обзор римских провинций в императорскую эпоху.

Большим достоинством «Римской истории» является то, что она написана популярно, ярко и занимательно и содержит много фактического материала. Моммзен в основном излагал военно-политическую историю с элементами социальной. Исключительное значение он придает великим лю-



Феодосий Великий

дям, таким, как Александр Македонский, Ганнибал, Гай Гракх, Серторий, Цезарь и другие, которые, по его мнению, могут повести историю в желательном направлении.

Хотя проблемы экономики в истории носили для Моммзена второстепенный характер, они оказались под влиянием политических и экономических требований немецкой буржуазии: он находил признаки капитализма в истории Рима, по поводу чего К. Маркс заметил, что Моммзен, который в своей «Римской истории» говорит о капитале и о господстве капитала, не имеет о нем ни малейшего представления.

Однако экономическая модернизация истории Моммзеном не осталась забытой исторической наукой. Идея о существовании «капитала» в античности стала основой теорий современного модернизма, циклизма и гиперкритицизма,

обоснованных в работах Эд. Мейером, Э. Пайсом, Арн. Тойнби и другими.

Научное наследие Моммзена поистине необъятно — 1513 наименований работ почти по всем вопросам римской истории: государственному праву, нумизматике, эпиграфике, хронологии, метрологии, литературе, лингвистике. Моммзен один из первых понял значение монет и папирусов как важных исторических источников. Ему принадлежат образцовые издания источников (с комментариями): заветания императора Августа, хроники Кассиодора, «Истории готов» Иордана, кодекса Феодосия.

Работы Моммзена заложили основы научной истории Древнего Рима.

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕМЕНИ ИТАЛИЙЦЕВ, ИХ РОДСТВО С ЭЛИНАМИ

Италия, так же как Греция, — благодатная страна, с мягким, умеренным климатом, которая требует от человека постоянного труда для удобного существования, но щедро вознаграждает за труд. Береговая линия Италии развита значительно менее, чем в Греции, и рядом с материком нет усеянного островами моря, поэтому мореплавание не развилось здесь так, как в Греции. Зато Италия удобнее для земледелия и скотоводства и обширнее.

Долгое время историческая жизнь италийских племен совершалась не на всем протяжении полуострова, не до Альп и реки По, а в средней и южной его части, в том пространстве, которое ограничено с севера Апенниннами. Настоящею сердцевиною Италийской земли была средняя часть этого пространства, там, где лежат Этрурия, Кампания и Лациум. Эти области смотрят на запад, в то время как в Греции к востоку обращены Аттика и Македония — те области, которые явились главными деятелями в истории Греции. Так самую природою указано коренное различие исторической роли Греции и Италии: первая бросила семена своей цивилизации и наложила свою тень на восток, вторая — на запад.

О первом переселении людей в Италию, конечно, не сохранилось никаких сведений. В древности было всеобщим убеждением, что там, как и всюду, первые жители на месте и произошли. Устанавливать происхождение человеческих рас и племен дело не историка, а антрополога. Дело же историка — проследить постепенное наслоение народностей в стране и смену одной культуры другою.

В большей части Европы арийскому населению предшествовало, как доказывают археологические изыскания, какое-то полностью исчезнувшее племя, стоявшее на весьма низком уровне развития. В Италии следов существования такого народа не найдено. В те времена, о которых можно судить уже с достаточными основаниями, на Апеннинском полуострове находились племена япигское, этрусское и итальянское, последнее делилось на две ветви: к одной принадлежали латины, к другой — умбры, марсы, вольски, самниты.

Япиги — племя, родственное эллинам. Они были, по-видимому, древнейшими поселенцами на полуострове. Жили они на крайней южной его оконечности, оттесненные туда позже пришедшими. В течение исторического периода существования итальянских народностей япиги являются племенем слабым, вымирающим, и с течением времени они совершенно растворились в других племенах.

Итальянцы ближе, чем какой-либо другой народ, родственны эллинам. Лингвистические исследования, которые вообще дают самые надежные выводы о древнейшем, доисторическом периоде жизни народов, свидетельствуют неоспоримо, что когда-то, в глубочайшей древности, от общей массы арийцев отделилось какое-то племя, которое долгое время жило совместно, нераздельно, а затем распалось на две группы — одна из них дала впоследствии эллинов с их различными подразделениями, а другая — итальянцев, которые также разделились на латинов и умбров, а затем и на другие, более мелкие этнографические величины, как эллины на ионян, дорян и пр.

Если выделить корни, общие всем арийским языкам, то определяются приблизительно те слова, которыми располагали индоевропейцы уже в ту отдаленнейшую эпоху, когда

они составляли еще один народ, когда в их среде еще не обособилось определенно ни одно племя. Эти слова укажут нам и те понятия, которыми люди тогда располагали, ту степень культуры, которой они достигли. Такое изучение показывает, что индоевропейцы еще до своего разделения прошли уже стадии быта звероловного и рыболовного, что они были народом пастушеским, приручили уже быка, овцу, собаку, свинью, некоторых домашних птиц и даже начали обрабатывать землю, они уже знали соль, виноградный сок, имели жилища, употребляли одежду, умели даже устраивать примитивные повозки и весельные лодки. У них сознавались уже ближайшие степени родственных отношений, они умели считать до ста, отличали светила небесные и имели не только первоначальные представления о божестве как о какой-то высшей силе, но и некоторые общие мнения о загробной жизни. Данные же языка доказывают, что то племя, которое впоследствии распалось на эллинов и италийцев, долго жило общею жизнью после выделения из общей массы арийцев. Данные языка и некоторые древнейшие обычаи доказывают, что еще до разделения этого племени на две главные его ветви выработались уже важнейшие приемы земледелия, способы измерения земель, устройство дома, подробности вооружения, что племя это еще за время нераздельного существования стало почитать божество домашнего очага, единственное божество, общее грекам и италийцам и вместе с тем не существующее в древнейшей мифологии всех индоевропейцев. Наконец, способ добывания огня трением одного куска дерева о другой и самые названия того и другого куска у эллинов и италийцев были одинаковы, и, значит, способ был найден еще в эпоху их нераздельного существования.

В отношении внешнего быта вообще эллины и италийцы выступают на историческое поприще в условиях довольно близких. Не то было в области духовной жизни. Великая задача, предлежащая человеку, — жить в сознательной гармонии с самим собой, с себе подобными и с целым — допускает столько решений, сколько «обитателей в доме Отца», и в области духовной жизни всего резче различаются и отдельные люди, и отдельные народы. В этом отношении

эллины и италийцы так различны между собою, так своеобразны у тех и у других семья и государство, религия и искусство, что почти невозможно ясно представить тот умственный строй, то миросозерцание, в котором такие противоположности могли объединяться.

Эллины всегда приносили общее в жертву частному, нацией жертвовали для общин, а общинами — для отдельных лиц. Их идеалом была созерцательная жизнь, без труда, часто переходившая в праздность. Политическое развитие у них выразилось в усилении первоначального партикуляризма отдельных племен, а затем в разрушении общественных связей и в отдельных общинах. В религиозном отношении сначала низвергли богов до человека, а затем и вовсе отвергли. Они любили зрелище борьбы обнаженных юношей и предоставляли полный простор человеческой мысли во всем его страшном великолепии. А римляне воспитывали детей в почтении к отцу, граждан — в почтении к государству, и всех — в почтении к богам. Они ничего не спрашивали и ничего не уважали, кроме полезной деятельности, и требовали, чтобы каждый миг своей короткой жизни человек отдавал труду, у них даже дети должны были скромно завертываться в свое платье, у них считался худым гражданином тот, кто хотел жить не так, как другие, и из отвлеченных идеалов только стремление к величю родины не считалось пустым. При таком коренном, глубоком различии миросозерцания эллинов и латинов у племени, когда-то объединявшего их, мы можем определить лишь самые общие черты семейного и общественного быта и религии и чаще должны будем указывать отличия, чем пункты сходства.

Супружеский союз, эта основа всякого общежития, у эллинов и италийцев был одинаково отмечен нравственным и благопристойным характером, одинаково требовалось единоженство и единомужие. Но у италийцев власть мужа, и особенно отца, получила несравненно более сильное развитие, чем у эллинов. Род, т. е. союз потомков одного и того же родоначальника, у эллинов получил сильное значение по отношению к государству и имел очень мало власти и влияния на каждого отдельного члена. У италийцев, осо-

бенно у римлян, наоборот: пред сильно развившеюся идеею государства роды совершенно не сохранили своего значения, но в полной степени сохранили его по отношению к отдельным лицам. Это выразилось, между прочим, и в том, что у римлян родовое имя осталось главным, наиболее употребительным, и рядом с ним личные имена имели мало значения, были очень малочисленны и просты, иногда и вовсе не употреблялись в общежитии. У эллинов же, наоборот, личные имена пышны, громки, разнообразны, а родовые рано вышли из употребления. В отношении к рабам римляне сурово проводили принцип их бесправия, а греки рано внесли в рабство смягчения. Формы суда и наказания были, по-видимому, одинаковы в общий греко-италийский период, равно как и основы государственного устройства. И тут и там видим царя, сенат и народное собрание, имевшее власть только принимать или не принимать внесенные царем предложения, — древнейшее устройство критских общин, описанное Аристотелем, до мелочей сходно с устройством Рима времен царей. Общими были эллинам и латинам и разнообразные соединения отдельных племен в союзы, у германцев и кельтов вовсе не встречавшиеся.

В области религии общие в своей основе верования у эллинов и у латинов развились совершенно самостоятельно. У эллинов — царство живых образов, олицетворенные боги, у римлян — одна отвлеченность, одна идея, зато эта идея признавалась почти во всем, почти повсюду. Не только одни крупные явления или великие силы природы обожествлялись для римлян: римлянин чтит все, что духовно, и всякому бытию, и человеку, и лесу, и реке, и государству, даже таким действиям, как пахание, ограждение границ, заложение города и т. п., он придавал как бы душу и чтит ее. И такого рода религиозность надолго овладевала умами, как свидетельствует вся история Рима, с силою еще большею, чем почтение к человекоподобным богам у греков.

В развитии искусства особенно далеко разошлись эти два родственные племени. У латинов искусство долго оставалось на такой низкой ступени, как у народов, не имеющих никакой культуры, — у эллинов же поэзия и ваяние быстро достигли такой высоты, какой никогда уже более не дости-

гали: эллины научились рано ценить вдохновляющее могущество красоты и пользовались им, в Лациуме же не сознавали и не признавали другого могущества, кроме могущества силы.

Таким образом, две родственные нации развились в двух совершенно противоположных направлениях, и обе развились вполне, потому что развились односторонне. Идеальный мир прекрасного был для эллина дороже и выше всего, в наслаждении им он забывал и личные печали, и недостатки своего государственного и общественного быта. Преимущества эллинов более яркие и более бросаются в глаза. Но дарования итальянцев глубже, драгоценные их свойства — понимание того всеобщего, что рассеяно в частных явлениях, их покорность и способность к самопожертвованию, серьезная вера в своих богов. Отдельные личности могли страдать в таком народе, могли быть заглушаемы в людях их лучшие природные задатки, но отечество этих людей и их чувства к этому отечеству были таковы, каких не знал грек, и при государственном устройстве, основанном на самоуправлении, латины так развили свою национальность и вместе с этим достигли такого могущества, что им подчинились и эллинская нация, и весь мир.

Глава третья

ПОСЕЛЕНИЯ ЛАТИНОВ. ЗАЧАТКИ РИМА

Расселение латинов родами и общинами. Союз этих общин. Географическое преимущество Рима.

Италийцы пришли на полуостров сухим путем, с севера: по-видимому, первоначально продвинулись латины и заняли равнину по берегу моря. За ними уже двигались умбры и сабелы и должны были удовольствоваться более суровой, гористой местностью. Область, занятая латинами, ограничивалась с запада морем, с юга и востока — горными цепями, а на севере переходила в обширную равнину. Почти вплоть до Тибра с севера продвигались разные умбро-сабельские племена. Местность эта не отличается здоровым климатом: летом здесь сви-

репствуют лихорадки. Но для земледелия почва благодатна, и первоначальные поселенцы мирились с климатическими неудобствами — отчасти, быть может, потому, что были менее чувствительны к ним, отчасти потому, что боролись с ними не без успеха: римские поселения долгие века сохраняли древний обычай следить, чтобы в жилище никогда не угасал огонь, а пылающий огонь, как доказано опытом, отлично предохраняет от заболеваний лихорадкою.

Древнейшие названия земельных участков в Лациуме почти сплошь являются родовыми прозвищами, из чего можно с уверенностью заключать, что латины селились здесь родами, но о внутренних отношениях в родах мы ничего не знаем. Отдельные общины были объединены между собою в своего рода союз, он связан был единством происхождения, языка и нравов и действовал сообща в случае войны наступательной или оборонительной. Отдельные роды имели небольшие укрепленные пункты. Волости, или соединения родов, имели такие же центральные укрепленные пункты, но более значительные, и еще во время империи так жили поселяне в наиболее глухих местах полуострова, а заброшенные остатки когда-то укрепленных пунктов встречались повсеместно.

Древнейшие волости возникли, по-видимому, между Альбанским озером и Альбанской горой: здесь была отличная земля, отличная вода. Здесь лежала и Альба, почитавшаяся с древнейших времен матерью Рима и других древнелатинских общин. Здесь лежали древнейшие латинские города Ланувий, Ариция, Тускулум. Здесь находились остатки древнейших сооружений. Тибур, Пренеста, Габин, Рим, Лаврент, Лавиний тоже принадлежали к числу древнейших общин, общее число их было, по-видимому, тридцать; этим числом чаще всего и в Италии, и в Греции определялось число составных частей общественных организаций. На Альбанской горе ежегодно справлялся «латинский праздник», сохранявшийся долго и в исторические времена. Этот праздник, как у греков Панионии и Панбеотии, служил выражением единства латинского союза, существование которого несомненно, хотя подробности его устройства почти неизвестны.

Приблизительно в расстоянии 25 верст от моря по течению Тибра начинаются холмы, более высокие на правом, чем на левом, берегу. Здесь издревле обитали общины рамнов, луцеров и тициев. Имя Ramnes есть древнейшая форма имени Romani: слова эти родственны так же, как *past* и *portio*, *Mars* и *mors*. Изменение «а» на «о», рано прекратившееся в латинском языке, свидетельствует о глубокой древности названия. Рамны и луцеры были, несомненно, латинского происхождения. Тиции же, по-видимому, — сабинского: с их именем предание всегда связывало сохранение в римском культе сабельских элементов. Возможно, что совместное жительство этих трех общин началось еще в то время, когда латины и сабелы не резко различались между собой. Из поселений этих общин возник Рим.

Конечно, нельзя говорить об основании Рима в том смысле, какой придает ему общеизвестная легенда. Рим построен не в один день. Поселки, существовавшие на месте его возникновения, развились в крупный центр, без сомнения, в силу важных причин — и их можно раскрыть, внимательно обсудив положение Рима. Вся область, где он лежит, с юга, востока и севера, на недалеком от города расстоянии, ограничена землями других общин, но к западу, к морю, пространство было совершенно свободно — и вот Рим получил первое значение потому, что представлял исключительные выгоды в качестве складочного места для торговли и в качестве пограничной крепости Лациума.

Древнейшая торговля Рима засвидетельствована несомненными данными. Со своей крепкой позиции он господствовал над обоими берегами реки до ее устья, его положение одинаково удобно и для тех, кто спускался на лодках сверху по течению Тибра, и для мореплавателей: небольшие суда, в каких совершались в то время и морские переезды, могли подниматься по реке до Рима. Вместе с тем некоторое отдаление от моря доставляло большую безопасность от морских разбойников. В Риме, наконец, издревле был мост через реку, опорой для которого служил лежащий посреди Тибра остров, мост же в те времена представлялся сооружением чрезвычайно важным. Была еще причина, которая способствовала росту города Рима: нездоро-

вый воздух лежащей около него низменности побуждал население жить преимущественно на высоких холмах, сгруппированных на месте Рима. Благодаря всему этому Рим стал значительно населенным городом уже в то время, когда большинство латинов жило еще по селам. Городская организация Рима и обусловленный этим дух его учреждений и дали ему возможность быстро и значительно выдвинуться среди латинской сельской организации. Первоначально укрепленный пункт, который доставлял ближайшим жителям убежище в случае нужды, находился на Палатинском холме. Другое укрепление находилось на Квиринальском холме. До позднейшего времени жители ближайших к Палатину поселков именовались «жителями горы», а жители ближайших к Квириналу — «жителями холма», хотя Квиринал не только не ниже, а даже несколько выше Палатина. С течением времени поселение разрасталось, а с тем вместе приходилось увеличивать и стену. К эпохе Сервия Туллия явились и потребность, и средства соорудить величественную стену, окружившую тот Рим, который знает история, но к этому времени положение Рима среди окрестных поселений изменилось уже коренным образом.

Глава четвертая

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РИМА И ДРЕВНЕЙШИЕ РЕФОРМЫ В НЕМ. ГЕГЕМОНИЯ РИМА В ЛАЦИУМЕ

Государственное устройство у римлян развилось на тех самых основах, как семейный их быт.

Иметь собственный дом и детей признавалось у римлян за цель и главную суть жизни гражданина. Смерть не почиталась несчастием, потому что она неизбежна, но вымирание семьи, тем более целого рода, считалось бедствием, и рано выработаны были способы усыновления чужих детей, чтобы существование рода поддержать.

Семейные отношения у римлян были строгим проведением начал, намеченных самою природою. Семья, по римским понятиям, должна была составлять нечто вполне единое, а

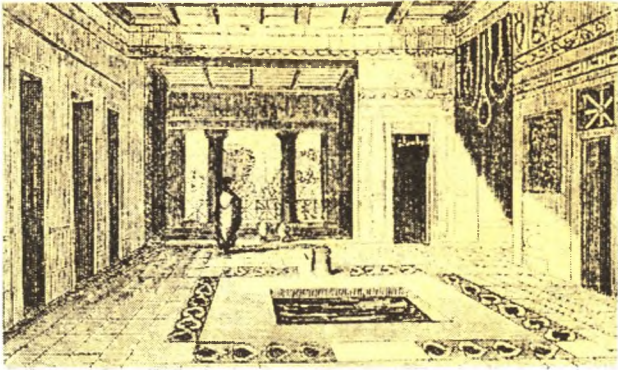
потому и управляться она должна была одним полноправным — за смертью своего отца — представителем — мужем, отцом. Его жена, их сыновья и внуки со своими женами, их незамужние дочери — все это одинаково входило в состав неразрывной семьи и пред ее главою было так же бесправно, как вол или раб. Все безусловно подчинялось главе семейства: он судил членов своей семьи и определял им наказание вплоть до смертной казни. Не закон, а только религиозные обычаи и нравы полагали тут границы воле отца, только они, а не закон запрещали отцу кидать своих новорожденных детей. Освобождение взрослого сына от отцовской власти во всей ее полноте было выработано позднее и обставлено большими затруднениями, чем отпущение на волю раба. Сыновья были гражданами и имели свои права, только при жизни отца некоторые их права не применялись, но со смертью отца все его сыновья сразу делались полноправными гражданами и становились главами своих семейств.

Женщина всегда была в положении подчиненном у мужчины, потому что она принадлежала только семье и не существовала для общины. Зато в семье женщина занимала почетное положение, не несла тяжелых работ, лежавших на рабах, а только надзирала и занималась пряжею — почетным и почти обязательным для нее делом.

Семьи братьев не теряли связи окончательно. В некоторых случаях обычай требовал, чтобы глава семейства совещался со своими ближайшими взрослыми родственниками. Происходившие от одного родоначальника признавали себя членами одного рода и по имени своего родоначальника и именовались.

Около самостоятельных семей группировались люди полусвободные-полузависимые, так называемые клиенты. Это были чужеземцы, принятые под свое покровительство в общине кем-либо из граждан, и их потомки, а также отпущенные на свободу рабы и их потомки. Юридически клиенты почти не отличались от рабов, но по обычаю и фактически пользовались значительно большею независимостью.

Соединением родов составилось государство, из их земельных участков образовалась его территория. Каждый за-



Атриум

конный потомок одного из родоначальников был гражданином этого государства, они и именовались «отцовыми детьми». Пред общиною все ее члены были равноправны, хотя внутри семей взрослые сыновья и подчинялись вполне воле отца. Клиенты же и другие домочадцы пользовались покровительством общины, но не имели всех прав, не несли зато и всех обязанностей.

Государственное устройство было повторением — в более широкой сфере — семейных отношений. По римским понятиям, государство так же нуждалось в полноправном главе, как и семья, а так как между свободными и равноправными гражданами не было прирожденного главы, то из среды полноправных и способных носить оружие граждан избирался пожизненно царь, правитель, который и имел все признаки власти отца в семье. Воля его законно ничем не была ограничена. Он безапелляционно судил и налагал наказания. Приговорив кого-либо даже к смерти, он мог, но не был обязан допустить обращение к народу с просьбою о помиловании. Он принимал за всю общину обязательства — заключал мир и объявлял войну, он назначал отрядных начальников во время войны и градоправителя на время своего отсутствия, и эти лица были просто его уполномоченными, а не должностными лицами в нашем смысле слова. Единственное легальное ограничение власти царя состояло в том, что он мог лишь применять законы, а не из-



Вестибюль дома римского патриция

менять их. Распоряжение его в последнем смысле было бы просто почтено за незаконное и не было бы исполнено, а если бы царь стал слишком часто рисковать такими распоряжениями, то потерял бы власть: ему повиновались не как высшему существу, а лишь потому, что для общины считалось наиболее удобным иметь полноправного главу. Царь имел право и, пожалуй, был даже обязан назначить себе преемника; если же он почему-либо этого не сделал, то коллегия отцов предлагала гражданству царя, и, если община принимала его, он становился царем.

Граждане были между собой вполне равноправны, сос-



Цинцинат

ловных различий не было. Это было особенностью латинской нации и объясняется, вероятно, тем, что на месте своего поселения латины не нашли никакого другого населения и не подчинили себе никакой другой расы. Неграждане были в римской общине вполне бесправны.

Государственное устройство опиралось только на граждан: все граждане поголовно должны были в случае нужды выступать воинами, несли обязанности по сооружению стен и общественных построек. Денежных податей граждане не платили. Неграждане уплачивали в распоряжение царя денежные сборы как бы за свою охрану. Другие доходы, которыми вообще распоряжался царь, составлялись из таможенных сборов и платы за пользование участками общественной земли. Расходы государства были очень невелики, потому что услуги общине не оплачивались.

Граждане участвовали в народных собраниях, которые созывались царем не реже двух раз в год. На этих собраниях народ только давал согласие на предложения, делаемые царем, или отвергал их, но не мог ни обсуждать их, ни делать своих предложений. Согласие народа требовалось для



Харчевня около римского Форума

наступательной войны и на всякое изменение закона. Пока не возникло мысли об изменении закона, народное собрание не вступало в дело управления: тогда управляли законы под наблюдением царя. С глубокой древности каждая из трех первоначальных римских общин делилась на 10 курий, имевших каждая особых попечителей и особых жрецов. По куриям собирались рекруты, происходили сходы и обсуждение дел; с древности считалось в Риме 300 родов и было 300 сенаторов, 300 всадников и 3000 пехотинцев.

Рядом с царем и народным собранием стоял сенат — собрание старейшин. По идее сенат был составлен из родоначальников тех 300 родов, которые положили основание Римского государства, поэтому сенаторы назывались «отцами» и число их было 300. Так как государство должно быть организовано и управляемо по образцу семей, то в случае смерти царя без преемника власть переходила в руки сена-

та. Из числа сенаторов выбирался по жребию временный царь. Если в течение пяти дней он не успевал подыскать человека, которого можно было бы предложить в цари, то сам назначал нового временного царя, и этот поступал так же, пока не был избран царь. Сенат являлся вообще сотрудником царя, из его среды царь по преимуществу избирал своих помощников. Главное же значение сената состояло в том, что он был охранителем законности и от царя, и от самой общины: сенат мог отказать в утверждении всякому постановлению общины, если находил, что оно нарушает обязанности к богам или к другим государствам или органические законы самой общины. Отсюда для царей возникла почти необходимость узнать предварительно мнение сената о всякой мере, которую они желали предложить общине. Но не закон, а соображения удобства предписывали это царю, и они же подсказывали сенату, когда было бы неблагоприятно пользоваться этим правом. И всего более политическая мудрость сената создала такое положение, что при обширнейшей власти общины над каждым своим членом, при обширнейших полномочиях царя и его доверенных лиц римский гражданин, который не нарушал законов, чувствовал себя совершенно обеспеченным во всех своих правах.

В глубокой древности совершилось соединение «горных» и «холмовых» римлян или, точнее, подчинение вторых первым. С этих пор войска стало собираться вдвое больше, но число сенаторов осталось прежним. Богослужebные учреждения «холмовых» римлян сохранились, и с этих пор в Риме число жрецов и жриц всегда бывало четным. Вновь присоединившиеся граждане были расписаны по существовавшим уже куриям — слияние двух общин было скорее количественным приращением, чем внутренним преобразованием.

Рядом с гражданами в Риме собралось мало-помалу и очень значительное число неграждан, к числу их принадлежали помимо вольноотпущенников и их потомков, уже огражденных законами от всяких покушений на их свободу, еще и бывшие граждане других, покоренных Римом, общин, а также и члены других общин, селившиеся в Риме для торговли. В таком оживленном торговом пункте, как

Рим, число их быстро достигло значительных размеров. Из таких людей довольно рано создалась «толпа» — группа населения, значительная количественно, вовсе не стоявшая в приниженном положении и экономически, но не имевшая законом обеспеченных прав. По-прежнему эти люди могли действовать пред судом только через посредство какого-нибудь гражданина. Граждане, в свою очередь, начинали чувствовать тягость того, что они одни исполняли военную службу и несли потери на войнах. Само число их только что не уменьшалось, но никак не увеличивалось в уровень с увеличением числа неграждан. Возникавшие из таких отношений неудобства были в значительной степени отвращены реформой, которая произведена была в глубокой древности и которую предание связывает с именем царя Сервия Туллия.

По вновь введенному порядку воинскою повинностью были обязаны жители Рима уже не по происхождению, а по владению землею. Все, кто имел землю, должны были нести военную службу. Имевшие участок земли, достаточный для работы на нем с одною плуговою упряжкой и больше, должны были доставлять по воину с участка; имевшие доли полных участков доставляли воинов по расчету количества земли, принадлежавшего им. По произведенному тогда подсчету выходило, что на каждых 80 пехотинцев, выставленных владельцами полных участков, владельцы трех четвертей участка, половины и четверти участка должны были выставить по 20 чел., всего, следовательно, 60 чел., а владельцы одной восьмой — 28 чел. Конную службу несли самые состоятельные, всадников собиралось приблизительно в 9 раз меньше, чем пехотинцев. Не имевшие собственности, пролетарии (буквально: имевшие только потомство), доставляли для армии работников. Собирались воины по призывным округам (трибам), которых было установлено четыре, причем на прежнее деление по куриям не было обращено никакого внимания — по-видимому, для того, чтобы помимо всяких прежних родовых различий теснее слить войско воедино. Военною службою были обязаны все от 18 до 60 лет. Боевою единицею был легион, делившийся на 84 центурии и состоявший из 8 400

чел. — в том числе 4 000 тяжеловооруженных, 2 000 легковооруженных и 2 400 неграждан, сопровождавших войско в качестве носильщиков и вступавших в ряды в случае значительных потерь воинами. Всего было 2 легиона и 1 800 всадников, следовательно, в общем до 20 000, — по-видимому, таково было число способных носить оружие римлян в то время, когда реформа вводилась. Для целей военной службы тогда же установлен ценз — периодические переписи земельного имущества.

Эта реформа имела большие последствия: кто служит солдатом, тот должен иметь право и повышаться — и действительно, с этого времени стали достигать высших должностей и плебеи. Старое гражданство, сохранявшее прежнее деление по куриям, сохранило и свои привилегии утверждать или принимать законы, но те решения, которые касались военной силы, например вопрос о наступательной войне, перешли уже к центуриям — т. е. к собраниям людей, несших военную службу. С течением времени эти собрания по центуриям стали все более претендовать на участие и в других общественных делах. Все, кто должен был нести военную службу и, следовательно, записан был в трибы, избавлены были от всяких денежных сборов — теперь их вносили почти только одни иноземцы, не числившиеся в трибах.

Сколько-нибудь точно определить время этой реформы невозможно. Бесспорно, что она могла быть проведена только тогда уже, когда римская община присоединила к себе многие соседние общины, — при двадцати приблизительно тысячах способных носить оружие общее число жителей должно было достигать почти 100 000 человек. Греческие государства, находившиеся в Италии, ввели у себя подобные реформы приблизительно за 550 лет до Р. Х. — вероятно, около этого же времени введено было это устройство и в Риме.

Еще в очень отдаленное время, от которого не дошло до нас сколько-нибудь достоверных подробностей, римляне постепенно покорили целый ряд ближайших поселений и наконец взяли и разрушили самую Альбу, которая почиталась главою латинских общин. Территория покоренных общин присоединялась к римской, центральный укрепленный пункт разрушался, а жители, получая права клиентов рим-

ской общины, частью переселялись в Рим, частью были оставляемы на прежней территории, но должны были жить в неукрепленных городах. Самым выдающимся лицам или родам покоренной области иногда предоставлялись права римского гражданства — так, например, роды Юлиев, Сервилиев, Квинтилиев и др. происходили из Альбы. Латины вообще держались правила, что в области не должны существовать другие самостоятельные и укрепленные пункты, кроме столицы. Римляне же с особою строгостью проводили этот принцип и, в противоположность финикийцам и грекам, не выводили и не основывали колоний вне Италии: они стремились постоянно к упрочению твердого национального единства.

С разрушением Альбы возник вопрос об отношении Рима к союзу, главою которого была Альба: Рим заявил теперь претензии на первенство в союзе. Установившиеся затем отношения можно характеризовать так: между Римом — с одной стороны — и всеми латинскими общинами — с другой — был установлен равноправный союз. Все наступательные и оборонительные войны должны были быть ведены сообща, внутри же союза войн не допускалось. Во внутренних своих делах и распорядках каждая община сохраняла самостоятельность. Гражданское право тоже долгое время сохранялось у разных общин различное, и если сближалось постепенно, то лишь постольку, поскольку это оказывалось нужным при частых торговых и других сношениях.

На всем протяжении союзных земель гражданин не мог быть обращаем в рабство; все граждане союза получили право заключать законные браки на всем его протяжении; граждане всякой общины получали право свободно избирать себе место жительства — естественным путем, это право обратилось в пользу столицы. Военная сила составлялась из двух приблизительно равных частей, римской и латинской. Начальствование над всею армиею принадлежало вождю, выбираемому на год поочередно то римлянами, то латинскими союзниками. Союз представлял обеим сторонам равные права, но фактически преобладание в нем скоро окончательно перешло на сторону Рима — всегда и всюду при постоянной политической связи союза государств с

одним крепко сплоченным государством перевес оказывается на стороне последнего.

Подробности и точные даты этих событий восстановить невозможно, но несомненно, что с этого времени Рим стал расти и развиваться особенно быстро. Явились потребность и средства создать новую обширнейшую стену, которая обняла все шесть холмов, находившихся на левом, южном берегу Тибра, — Палатин, Авентин, Целий, Эсквилин, Виминал и Квиринал; на Яникуле, за Тибром, устроено было твердое мостовое прикрытие. На Палатине был построен новый крепкий замок с казнохранилищем и древнейшим местом народных сходок. Несомненно, к древнейшему же времени относится по крайней мере начало тех грандиозных сооружений, которыми были осушены обширные площади в самом Риме, прежде страдавшие от наводнений, а теперь сделавшиеся удобными местами для жилищ. Были построены здания для сената, судебных заседаний, кафедра для ораторов, новый рынок, наконец, царский дворец, место для игр, несколько храмов. Предание связывает разные эти сооружения с именами разных царей — это недостоверно, достоверно лишь то, что возникли эти здания в глубокой древности, и вскоре после того, как Рим занял первенствующее положение в латинском союзе.

Глава пятая

УМБРО-САБЕЛЬСКИЕ ПЛЕМЕНА. ЭЛЛИНЫ В ИТАЛИИ. МОРСКИЕ ДЕРЖАВЫ

Умбро-сабельские племена двинулись на полуостров позднее латинов. Географические названия свидетельствуют, что некогда эти племена занимали всю Северную Италию до реки По. Затем они были частью вытеснены отсюда этрусками, частью покорены: чрезвычайно быстрая латинизация южных областей Этрурии после покорения римлянами объясняется, конечно, присутствием тут умброского, родственного латинам, населения. Сабины, часть умбров, теснимые этрусками, двинулись к югу, но при этом могли занимать только гористые местности, так как более удобные



Тарквиний Гордый

равнины были раньше заняты латинами. Неизбежные столкновения с этими соседями значительно ослабляли сабинов. Другая часть умбрского племени двинулась к востоку и заняла гористую область абруццов. Как всегда бывает в горных местностях, и эти поселенцы разделились на несколько племен — самнитов, пицентов, гирпинов, марсов и др., но свое близкое племенное родство все они отлично сознавали и чувствовали. Удаленные от сильных соседей, эти племена вели спокойную жизнь и сохранили свои силы. Политическая жизнь у них развивалась слабо, и в исторических событиях на полуострове они принимали вообще сравнительно малое участие. Только самниты впоследствии выдер-

жали серьезную борьбу с Римом, но и они лишь оборонялись — отдельные их общины были сплочены слабо, оставались почти самостоятельными и не могли устоять против сил Лациума, твердо руководимых Римом.

Ближайшие соседи с севера, этруски, или разенны, как они сами себя называли, были индоевропейцы — и это все, что можно сказать о них положительно. По внешнему своему облику, по языку и по религии они стоят совершенно особняком среди других отраслей индоевропейского племени. На полуостров они явились сухим путем и долго жили в области Ретийских Альп в долине По. Потесненные затем кельтами, они спустились южнее и заняли область между реками Арно и Тибром, частью вытеснив умбров.

Первоначально этруски жили общинами, как греки и латины. Затем появились у них города, управляемые царями и объединенные в слабо связанные союзы, состоявшие обыкновенно из двенадцати городов. Этруски имели мало склонности к военному делу и гораздо больше к торговле. С римлянами они долго имели сношения по преимуществу торговые и, вообще говоря, мирные: отдельные лица и целые семейства их рано стали переселяться в Рим, и последний римский царь Тарквиний был, несомненно, этрусского происхождения, что доказывается именами всех членов его семьи и открытым в Цере семейным склепом его рода. Но вообще Этрурия не имела сколько-нибудь значительного влияния на Рим.

Новые народы являлись в Италию сухим путем, и тем же путем долго шли торговые сношения — например, к устью По с севера доставлялся янтарь, и в греческих сагах По является его родиной, — но все элементы чужеземной культуры были ввезены в Италию морем. Раньше других народов завели мореходство по Средиземному морю финикияне, а так как в те времена плавали почти исключительно вдоль берегов, то Италия была для финикийян почти что самою отдаленною странюю, и к тому времени, когда они ее достигли, там уже прочно утвердили свои торговые связи греки. Что римляне узнали финикийцев позже, чем греков, и через их посредство — видно и из того, что они называли их тем же именем пунийцев, которым звали их и греки. Из эллинов прежде других проникли в Италию, по-видимому, ма-

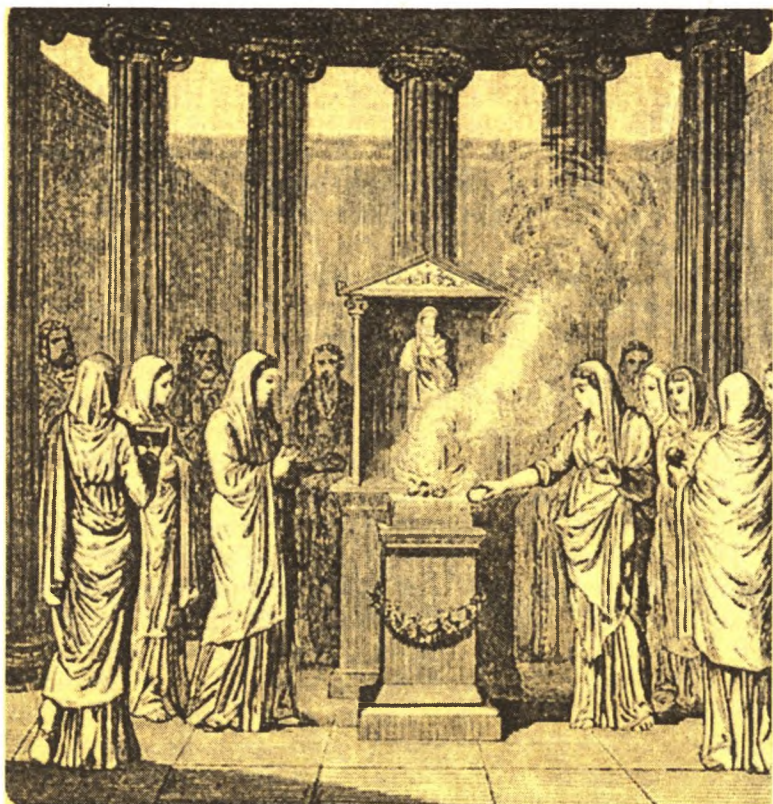
лоазиатские ионийцы. За ними последовали представители и всех прочих греческих племен.

В Италии греки чувствовали себя приблизительно так же, как европейцы в Америке: на новой родине, среди чужих, представители разных греческих племен яснее сознавали свое родство и легче смешивались между собою. Но можно все-таки видеть, что Кумы и Регион в Италии, Занкла (Мессана), Катана, Накс, Леонтина и Гимера в Сицилии были заселены по преимуществу ионянами, Сиракузы и другие колонии в Сицилии и Тарент в Италии — дорянами, Сибарис и другие города так называемой Великой Греции — ахейцами (ок. 800 — 850 гг. до н.э.). Каждая из этих трех групп городов придерживалась, между прочим, и той монетной системы, какая существовала у нее на родине.

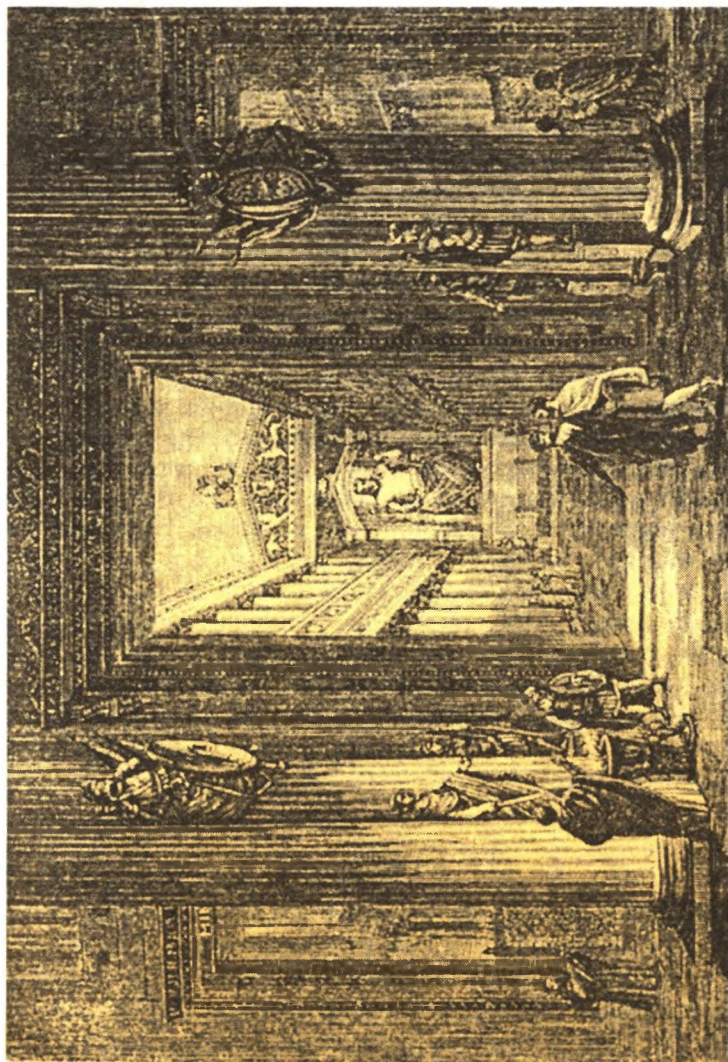
Время греческих поселений определяется тем, что в песнях Гомера о западной части Средиземного моря нет сколько-нибудь точных сведений, Гесиод же знает уже Сицилию, но Италию считает островом, а римляне знали эллинов под тем именем — греков, — которое еще употребляет Гесиод, но которое вскоре после него вышло в Элладе из употребления. Древнейшим поселением греков в Италии были, по-видимому, Кумы в Неаполитанском заливе — так можно думать потому, что греки долго звали всех италийцев опиками, по имени небольшого племени, жившего по соседству с Кумами. Итальянские греки поддерживали тесные связи со своею родиною и постоянно чувствовали себя эллинами.

Из колоний ранее других достигли процветания ахейские, среди которых наиболее значительным был город Сибарис. Эти колонии возникли в чрезвычайно плодородной местности, и жители их, закабалив туземцев, пользовались полным благосостоянием. Они даже и торговлей почти не занимались, и в беззаботном существовании, почти не требовавшем труда, греки утратили здесь лучшие стороны своего духовного строя. Государственное устройство этих колоний вылилось в формы ужаснейшей олигархии, которая вызвала вспышки яркой реакции, после чего колонии эти утратили почти всякое значение, влияния на ближайшие области они вообще почти не имели.

Все другие греческие колонии в Италии были основаны с

**Римские весталки**

целями торговыми, земледелие стояло в них на втором плане. Наибольшего торгового и промышленного процветания достиг Тарент — его монеты встречаются на самом широком пространстве и чаще, чем монеты какой-либо другой греческой колонии в Италии. Тарент был лучшею из числа немногих гаваней Италии на Адриатическом море. Несмотря на относительную близость восточного берега Италии, сношения греков с западным ее берегом были живее: Тирренское море известно было уже Гомеру — сюда помешала сага приключения Одиссея; поселения греков здесь встречаются по всему побережью вплоть до острова Эльба. Но



Статуя Юпитера в римском храме

здесь, на почве латинов, греки не поработили туземцев, а сделались, быть может и против желания, их учителями в деле мореходства и торговли. В общем, у греков с латинами установились дружелюбные отношения — не так, как с этрусками, имя которых у греков долго служило синонимом жестокости и враждебности: этруски боролись с греками, потому что сами вели значительную морскую торговлю и занимались пиратством. Обширная торговля и смелое каперство и доставили этрускам то богатство и ту роскошь, в которых скоро истошились силы нации.

Мы уже сказали, что эллины ранее финикийцев установили прочные торговые связи с Италией, они захватили в свои руки всю торговлю в восточной части Средиземного моря вообще и вытеснили оттуда финикийцев. Но далее финикийцы их не пустили. Невозможность находить новые рынки заставила наконец и не любивших войну пунийцев взяться за оружие, а Карфаген достиг к этому времени такого могущества, что, заключив союз с этрусками, мог уже задержать греков: в 579 и 537 гг. до н.э. финикийцы и этруски отразили попытки эллинов основать колонии в центре финикийских владений на Сицилии и Корсике, вблизи Этрурии, после этого греки уже не могли двигаться на запад, они основали только Липару на островах между Италией и Сицилией, и из западных их колоний процветала Массалия. Господство в западной части Средиземного моря твердо держали в своих руках союзники карфагеняне и этруски, но союз их был лишен внутренней прочности, так как союзники друг другу не доверяли и соперничали между собою.

Глава шестая

ЗАКОНЫ. РЕЛИГИЯ. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РЕМЕСЛА. НАЧАТКИ НАУК И ИСКУССТВ

Римское право в древнейшей своей кодификации, составленной приблизительно через 300 лет после основания Рима, является законодательством значительно развитого земледельческого и торгового города. Следы многих древнейших институтов, например кровавой родовой мести, кото-

рые у других народов существовали еще на глазах истории, в римских законах сохранились лишь в самой слабой степени: латины вообще выступают на историческое поприще уже в более позднем периоде цивилизации, чем, например, греки или германцы.

Основанием права является государство. Свобода гражданина — это есть определение, только другими словами, обязанностей, которые несет гражданин перед государством. Общественное, государственное право и частное право определено разграничены. Преступления против первого — измена, убийство, поджог, похищение хлеба с полей и некоторые оскорбления нравственности — судились по почину общинной власти и обыкновенно наказывались смертью. Преступления частного характера — в число их включалась и кража — судились только по жалобе пострадавшего, могли ограничиваться примирением, наказывались штрафами или розгами, и в крайнем случае обидчик, если он не был в состоянии своим имуществом возместить причиненный им вред, выдавался во власть обиженного.

В римском праве постановления просты, ясны, точны. В договорах принимается только ясно определенное выражение воли. Всякий символизм, играющий большую роль в древнейшем законодательстве многих народов, римскому праву совершенно чужд. Вообще римское право очень сурово, но нельзя не подчеркнуть, что в нем с древнейших уже времен не существовало пыток, тогда как в праве других народов они держались долго и были устранены только после продолжительной борьбы. Вся судебная власть принадлежала общине, суд производился царем, который, если хотел, для производства следствия и постановляя приговор, пользовался советниками из числа сенаторов.

С римскою религиею в ее древнейшем виде мы знакомимся по списку праздников, который составлен был еще в то время, когда ни одно греческое божество не получило места среди римских. Первое место занимают в нем праздники Юпитера и Марса, затем идут праздники земледельческие и винодельческие, за ними уже пастушеские: приносились жертвы кормилице-земле, богине плодородия Церере, богине размножения стад, божеству изобилия, Юпитеру как

покровителю виноделия, покровителю стад, совершались праздники в честь морских богов, в честь Тибра, в честь бога огня Вулкана, наконец, справлялся ряд домашних праздников: богини дома Весты, Пенатов, умерших и т. д.

В то время как греки представляли себе всякое божество личностью, наделяли его ярко определенной индивидуальностью и около каждого бога создавали целый цикл глубоких и поэтических мифов, римляне старались выяснить себе все сколько-нибудь значительные явления, действия, свойства и затем, признав за каждым из них своего бога, стремились только узнать, как именно к этому богу обращаться, чтобы вернее и легче склонить его на свою сторону. Римская религия была отмечена характером задушевности и искренности, но не отличалась возвышенностью, идеальных элементов в ней немного, совершенно чуждо римлянам и обожествление героев. Идея, что земные преступления суть проступки пред божеством и что божество примиряется только с наказанием преступника, была распространена и у римлян, но человеческих жертвоприношений, общих другим народам, у них не было — только слабые следы таких жертвоприношений можно видеть в некоторых примерах казни уже обвиненных преступников и в тех случаях, когда в битве какой-нибудь великодушный человек бросался на верную смерть, которая должна была привлечь на сторону его войска милость богов.

Римская религия была основана главным образом на привязанности к земным благам и уже в гораздо меньшей степени на страхе перед грозными силами природы. Боги внушали римлянину и страх, но не тот, который охватывает душу при мысли о всемогущей природе или вседержашем божестве. Римлянин искал от своих богов помощи, но прежде всего помощи в своей действительной, трудовой жизни. Римлянин как бы вступал в договор с божеством и ждал, что боги будут к нему благосклонны в каждом случае, когда он со своей стороны точно и добросовестно исполнит пред ними свои обещания и обязательства. Римлянин и старался их исполнить, но и тут он оставался точным и деловитым: ни излишняя роскошь богослужения и жертвоприношений, ни излишняя фантазия в поклонении не были в духе римлян.

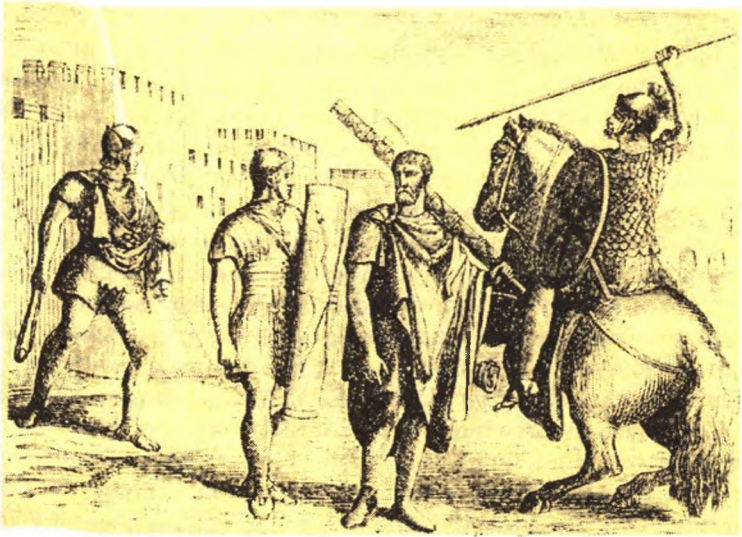
Для исполнения всего нужного по отношению к богам у римлян издревле существовали жрецы и особые их коллегии для служения Марсу и Юпитеру — «Марсов возжигатель», «скакуны», «куриальные возжигатели» и «возжигатели Юпитера», получившие впоследствии первое место. Наряду с жрецами у римлян существовали еще авгуры, понтифики, фециалы: это были совершенно самобытные латинские учреждения, представлявшие собою коллегии сведущих людей, специально занятых общими богослужебными порядками, изучением способов, как лучше всего сноситься с богами, понимать их волю и знамения. Эти люди не служили богам, не приносили жертв, но они учились истолковывать, что предвешают те или другие явления, наблюдавшиеся при жертвоприношении; когда угодно божеству начало того или другого предприятия. В частности, авгуры занимались гаданием по полету птиц; понтифики были хранителями точных знаний — мер, весов, счисления времени, почему впоследствии на их обязанность было возложено вообще наблюдение за богослужебными порядками; фециалы хранили международные договоры и законы. Ни один жрец, ни один понтифик не мог никогда претендовать на какое-либо значение в делах управления, они могли советовать лишь тогда, когда их спрашивали, и были обязаны наравне со всеми гражданами повиноваться должностным лицам.

Римская религия, в противоположность греческой, не только не содействовала развитию художественной и философской деятельности, но подавляла их. Неолицетворенные римские боги не нуждались в художественных изображениях, и когда такие изображения появились, они были встречены первое время с осуждением. Отсутствие всякого творчества, всякой фантазии в сфере религиозной было причиною, что и впоследствии фантазия не развивалась и римская поэзия и римская философия никогда не поднялись над уровнем посредственности. Но римская религия именно потому, что была низведена к обыденным понятиям, была для всякого понятна и доступна. Она удовлетворяла глубоким духовным потребностям простых людей и благодаря своей простоте и наивности держалась твердо даже и тогда, когда греки утратили всякую веру, разрушенную тем самым развити-



Обучение рекрутов

ем наук, искусств и философии, которое было призвано к жизни прежде всего творчеством в области религии. Насколько греки остаются недостижимым образцом всестороннего развития человеческого духа — настолько римляне велики строго самобытным развитием своего духовного уклада. Римская религия не была исключительна и не препятствовала усвоению и чужих богов: уже в самой глубокой древности у римлян распространилось поклонение разным латинским богам, а затем и греческим — Аполлону, Гермесу, Геркулесу, Асклепию, Диане. Религия же этрусков, несмотря на близкое соседство, не прививалась в Риме: со своими мрачными и злобными богами, подчиненными еще каким-то другим, высшим, со своими запутанными, натянутыми толкованиями числовых сочетаний, она стояла слишком далеко от латинских воззрений. Как ни недостаточны сведения наши о религии этрусков, несомненно отсутствие в римской религии каких-либо заимствований из нее.



Военная форма римской армии:

легкий пехотинец, легионер, линкор, кавалерист

В нескольких хотя бы словах мы должны сказать и о земледелии, ремеслах и торговле римской общины, а также о состоянии в ней первоначальных знаний — о письме, счислении времени, потому что земледелие и торговля тесно связаны с внутренним устройством государства и его историей, а состояние знаний и искусства яснее всего определяет уровень умственного развития общества.

Италийцы поселились на полуострове уже земледельцами. Сельское население считалось у них исконною опорой государства, и основное звено общины составляли хозяева земельных участков. Когда с течением времени прямые потомки первых жителей Рима утратили большую часть земли, первоначально им принадлежавшей, все жители Рима по Сервиевой реформе поделены были, без различия происхождения, на оседлых хозяев и пролетариев, и только на первых были возложены все общинные повинности, взамен чего только им же даны были и полные права.

Всякий раз, когда римляне войною приобретали какую-нибудь область, они, можно сказать, вторично завоевывали

ее плугом: или они прямо принуждали жителей слиться со своей общиной, или брали часть земли, приблизительно треть, и заселяли ее своими колонистами; других даней или контрибуций они не брали. Такие завоевания плугом оказывались особенно прочными, римляне никогда не заключали мира с территориальными уступками именно потому, что земледельцы были чрезвычайно привязаны к своей земле. История Рима доказывает как нельзя лучше, что сила и государства, и частных лиц всего более основывается на господстве над землею. Величие и сила Рима объясняются непосредственным владычеством его граждан над землею.

Первоначально земля находилась в общинном владении родов, частная собственность состояла в движимости и в скоте, но уже ко временам Сервия и земля находилась в частном владении, преимущественно участками средней величины. Собственник по закону не был ограничен в распоряжении своею землею, но обычай и мудрость народная полагали благоразумные пределы дроблению земельной собственности. В случае значительного увеличения мужского населения общины дальнейшего дробления участков избегали тем, что выводили колонии на вновь приобретенные участки. Земля обрабатывалась преимущественно для разведения полбы. В глубокой древности занимались римляне и виноделием. Разведение маслины началось уже позже — и в религиозных обрядах масло и масличная ветвь играли гораздо меньшую роль, чем вино и виноградная лоза.

Так как возможно было дробление участков, то, естественно, являлось возможным и скопление их в одних руках: сравнительно большие земельные имущества встречались уже в древнейшее время. В таком случае собственники обыкновенно обрабатывали их не руками рабов, как бывало впоследствии, а раздавали мелкими участками в пользование бедным свободным земледельцам, а иногда и рабам. Закон в эти отношения не вмешивался, и они сложились на нравственной основе. Рабы-арендаторы находились далеко не в том положении, в каком были впоследствии рабы-дворовые, которые к тому же были обыкновенно другого племени. Рабы-арендаторы приближались по своему положению к свободным, и среди них вырабатывались люди с такими при-

вычками и склонностями, что доставляли превосходный материал для основания колоний. Простейшие ремесла известны были в Риме с самой глубокой древности: еще ко временам Нумы относилось начало восьми цехов наиболее необходимых ремесленников. В древности положение ремесленников в Риме было несравненно почетнее, чем впоследствии, когда в число их вошла масса рабов. Оно стало ухудшаться уже с Сервиевой реформы, по которой полноправными признаны были только землевладельцы.

Торговля римлян первоначально ограничивалась пределами Италии и производилась на ярмарках, из которых главная собиралась у горы Соракта. Орудием обмена были быки и бараны, 10 баранов приравнивались одному быку, но уже издревле стала орудием обмена и медь. И заморская торговля началась очень рано, на почве Италии найдено множество предметов древнейшей промышленности Греции и Малой Азии. Отношения с заморскими странами отразились и в языке: названия некоторых предметов домашней утвари, некоторых лакомств, некоторых мер, весов, письма несомненно заимствованы из греческого языка. Всевозможные привозные предметы найдены в наибольшем количестве в Этрурии, значит, Этрурия вела наиболее оживленную торговлю и, по-видимому, с Аттикой: в этрусском языке многие собственные имена встречаются именно в таких формах, какие они имели в аттическом наречии.

Подобного же рода факты свидетельствуют, что Лациум по преимуществу торговал с дорийцами и, несомненно, в сицилийских их колониях: в Сицилии среди населения, говорившего по-гречески, было распространено латинское название меди и торговой ссуды. Очевидно, что латинские купцы появлялись часто на острове, иначе такое заимствование не могло бы привиться. Торговую гавань Лациума был Рим — он и занял исключительное положение потому, что был средоточием деятельной земледельческой общины и оживленным торговым пунктом.

Мы уже говорили, что итальянцы знали десятичную систему счисления до разделения с греками. Рядом существовал и счет дюжинами, по двенадцати, вероятно, в зависимости от сравнения лунного года с солнечным. Меры емкости,

употребление которых необходимо при торговле, рано подверглись в Италии греческому влиянию: римский вес был приведен в полное соответствие с аттическим, преобладавшим в Сицилии. У греков же заимствовали латины знаки для 50, 100 и 1000 — прежде они довольствовались знаками для 1, 5 и 10 (I, V, X), комбинацией которых они выражали и все другие числа.

Способы счисления времени только впоследствии были согласованы с греческими, первоначально же они развивались совершенно самостоятельно: счет вели по дням лунных фазисов, и отсчитывали не число дней, прошедших от последнего фазиса, а число дней, остающихся до ближайшего нового. Долгое время день был наименьшею единицею времени. Соседственные племена латинов началом дня считали то полночь, то полдень, следовательно, деление дня на части явилось уже позже. Наибольшею единицею времени долго служил месяц. Названия месяцев у римлян совершенно самостоятельны сравнительно с греческими их наименованиями, но в более точную систему измерение времени приведено было уже под греческим влиянием, причем были согласованы периоды лунный и солнечный, хотя крайне несовершенно. Начинался римский год с весны, и первый месяц назывался по имени бога Марса, имя второго месяца этимологически означает появление молодых растений, имя третьего — их возрастание, четвертого — цветение, следующие шесть месяцев назывались первоначально по порядку — пятый, шестой и т. д. до десятого, название одиннадцатого месяца — *ianuarius* — этимологически связано с корнем, значащим «начинать», и обозначало, вероятно, время приготовлений к возобновлению полевых работ, имя двенадцатого месяца — *februius* — имеет корень, значащий «очищать». Месяцы были: четыре по 31 день, семь по 29 и один в 28, всего в 12 месяцах 355 дней; через каждые три года прибавлялся еще один день в феврале, и через каждый год вставлялся еще один месяц в 27 дней. Путем таких сложных добавлений римский год — или, точнее, четырехлетний период — приближался к истинному, но все же очень несовершенно. Месяцы делились на 4 части, тоже неравной величины, обозначавшиеся по имени первого дня

первой, второй, и третьей недели. У других италийцев календарь был еще сложнее и еще менее точен — в Альбе, например, длина месяца колебалась от 16 до 36 дней.

Одно из величайших изобретений человека — умение записывать звуки речи — было плодом совокупных усилий семитов и индоевропейцев: семиты ранее стали употреблять азбуку, но они записывали только согласные звуки, а гласных не писали. Знаки для гласных были добавлены — независимо друг от друга — индусами и греками. От греков переняли азбуку и этруски, и латины — последние позже, но тоже непосредственно от эллинов. Это совершилось еще до эпохи царей, существование письменности при царях уже несомненно.

К изящным искусствам латины были способны несравненно менее, чем эллины. Конечно, уже в древнейшую эпоху была известна у латинов пляска и сопровождавшая ее музыка, рано стала применяться и размеренная речь — прежде всего в гаданиях, в передаче велений бога, которые слышались жрецами в шелесте листьев священного дерева. Рано слагались песни хвалебные — для пиршеств и погребений — и сатирические. В веселом «празднике сытых» создались зачатки народной комедии.

У латинов были, таким образом, зародыши всех тех искусств, которые расцвели у эллинов таким пышным цветом, но у латинов они заглохли в силу особенностей духовного их склада. Эллинское влияние, издавна замечаемое у латинов, оказалось бессильно тут что-нибудь изменить, и в то время, как в Элладе изящные искусства приобретали значение драгоценнейшего и общего достояния всех эллинов, в Риме они стали делом ремесленников и несвободных людей. Только в области зодчества латины могут быть названы лучшими учениками эллинов, через них это искусство затем перешло и к другим народам Европы. Во всяком случае, только у эллинов, и непосредственно у них, заимствовали латины начатки искусств, о финикийском же или этрусском влиянии не может быть и речи, у финикийцев и у этрусков латины кое-что покупали, но учились они только у эллинов.

Перевод А.Н. Веселовского



ЯКОБ КРИСТОФОР БУРКХАРДТ

1818 — 1897

Жизнь

Родился 25 мая 1818 г. в г. Базель.

С 1837 по 1839 г. изучал теологию в Базельском университете у В. М. Де Ветте, затем историю и историю искусств в Берлине у Л. Ранке и Ф. Куглера.

Для Буркхардта оказалась чужда собственно историческая наука, а прослушанный в Берлинском университете курс лекций Шеллинга навсегда отбил у него желание заниматься философией.

В 1844 г. он защищает докторскую диссертацию в Базеле.

С 1845 по 1855 г. преподает в Базельском университете.

В 1846 — 1847 гг. живет в Риме.

С 1855 по 1858 г. профессор истории и истории искусств Цюрихского «Политехникума». С 1858 по 1893 г., в тот



Фридрих Нише
Фотография 1892 г.

же период, что и Ф. Ницше, профессор Базельского университета.

Ф. Ницше писал о Буркхардте: «Где историки, которые видят вещи, не поддавшись общему обману? Я вижу только одного Буркхардта».

Я. Буркхардт с уважением отзывался о работах Ницше («Человеческое, слишком человеческое»): «Державная книга, увеличившая независимость в мире».

Буркхардт и Ницше были мыслителями, осознававшими ограниченность историзма и стремившимися — разными путями и разными средствами — ее преодолеть.

Я. Буркхардт умер в Базеле 8 августа 1897 г.

Судьба

Г. Вельорлин писал о Буркхардте: «Все знали, что он труднодоступен и что попытки потревожить его дома или в колледже приводили к неприятным сценам».

Для Я. Буркхардта обращение к итальянской культуре XIV—XV веков заключало в себе элемент эскапизма, дистанцирование от современной ему социально-политической реальности, ухода из раздираемой противоречиями Европы середины XIX века в изысканный мир ренессансной Италии.

Буркхардт писал: «Мы имеем здесь дело с великими людьми. При этом мы осознаем всю спорность понятия о величии; нам необходимо будет отказаться от всего систематически-научного».

«В нашем цивилизованном мире мы привыкли иметь дело почти с одними лишь удрученными преступниками, которые под бременем общественного проклятия и презрения не доверяют сами себе, преуменьшая и дискредитируя собственные поступки... и мы противимся представлению, что все великие люди были преступниками (только в большом, а не жалостливом стиле), что преступление неотделимо от величия...»

«Дух есть сила, позволяющая познать все временное в идеальном аспекте. Он по природе своей идеален, вещи же в их внешнем облике таковыми не являются».

Э. М. Янсен писал: «Известная двусмысленность или ам-

бивалентность все же есть в том, что Буркхардт, с одной стороны, представил эпоху Ренессанса как период почти абсолютного расцвета, или «акме», истории европейской культуры, а с другой — положил ее у истоков того развития, которое ведет к «безнадежности» современного мира XIX столетия», то есть Ренессанс — и начало, и высший расцвет (т. е. конец).

Тень Буркхардта в XX веке не раз призывали там, где требовалось противостоять радикализму — будь то радикализм ниспровергателей или радикализм охранителей.

Буркхардт — единственный историк XIX столетия, история которого надисторична. Он отказался от основополагающих понятий и предубеждений исторической науки: «мирового процесса», «прогресса» и даже от «развития», поскольку его интересовали не «временности», но «вечности».

После выхода в свет книги Буркхардта написана масса исследований, пытающихся продолжить и развить идеи мэтра, а также заполнить пробелы его монографии. Примером развития идей Буркхардта может служить одна из наиболее значительных книг Андре Шастля — «Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного» (1959 г.).

Творчество

Я. Буркхардт — зачинатель так называемой «культурно-исторической школы» в историографии, выдвигавшей на первый план историю духовной культуры.

Его труды посвящены истории греческой культуры и культуре Италии в эпоху Возрождения. Самая значительная работа Я. Буркхардта — «Культура Италии в эпоху Возрождения».

В этом труде Буркхардт описывает общественную и религиозную, а также духовную и культурную жизнь Италии в период с XII по XVI века.

Он сравнивал свои исторические работы с занятиями поэзией и не раз подчеркивал «ненаучность», «асистемность» своего мышления. Новеллистический вкус к «расска-

званию случаев», чувство яркой детали небезуспешно заменяют у Буркхардта глобальные обобщения. «Культура Италии в эпоху Возрождения», изданная в 1860 г., выдержала всю выпавшую на ее долю критику и продолжает пересматриваться и переиздаваться.

Критика труда Я. Буркхардта нередко оборачивается зависимостью от его идей и подчас «неосознанно ведется с его позиций».

«Культура Италии в эпоху Возрождения» продолжает оставаться авторитетным источником даже и для тех исследователей, которые считают Ренессанс никогда не состоявшимся.

Государство как произведение искусства

Высшей же и самой удивительной из всех форм государственной незаконности в XV столетии является кондотьер, который — каково бы ни было его происхождение — прибирает к рукам княжество. В сущности, уже овладение норманнами Нижней Италией в XI веке происходило точно так же; но именно теперь подобные проекты стали держать полуостров в состоянии постоянного беспокойства.

Утверждение военачальника в роли землевладельца могло происходить и без узурпации, когда безденежный хозяин был вынужден расплачиваться с ним землей и людьми, во всяком случае, кондотьер, даже в ту минуту, когда распускал основные свои войска, все же нуждался в месте, где бы мог найти зимнюю квартиру и сделать необходимые запасы.

Первый пример таким образом награжденного военачальника мы видим в Джоне Хоквуде (Hawkwood), который получил от папы Григория XI области Котиньола и Баньякавалло. Но когда, вместе с Альберико да Барбиано, на сцену выступили итальянские войска и их предводители, то возможность приобрести княжество или — если кондотьер уже кое-что имел — расширить старые владения стала гораздо более реальной. Первая вакханалия солдатского властолюбия была отпразднована в миланском герцогстве, после смерти Джан Галеаццо, в 1402 году. Правление его



Папа Сикст IV

сыновей свелось в основном к истреблению этих мелких воинственных тиранов, при этом наследство крупнейшего из них, Фачино Кане, включая его вдову, целый ряд городов и 400 000 золотых, влилось в герцогские, фамильные миланские владения. Кроме того, Беатриче ди Тенда переманила на свою сторону солдат первого мужа.

С этого времени между кондотьерами и их правительствами образовались в высшей степени безнравственные, особенно характеристичные для XV века отношения. Старинный анекдот, из тех, которым и можно, и нельзя доверяться, рассказывает следующее. Жители какого-то города (подразумевается Сиена) были спасены от неприятельского нашествия мужеством своего полководца. Денно и ношно совещались они, чем бы его наградить, и нашли, что все то, что могло бы служить выражением их признательности, — даже если бы они предложили ему власть над городом, — было бы слишком ничтожно ввиду его заслуги. Наконец один из граждан встал и сказал: «Убьем его и будем молиться ему, как святому нашего города». Затем с храбрым полководцем действительно поступили так, как поступил некогда римский сенат с Ромулом. В сущности, никто не был так опасен для кондотьеров, как их работодатели: если кондотьеры оставались победителями, их начинали бояться и ста-

**Папа Иннокентий VIII**

рались сжить со света — так, например, Роберто Малатеста был убит тотчас же после победы, одержанной им для Сикста IV, в 1482 году; за первую же неудачу им жестоко мстили, как, например, венецианцы Карманьоле, в 1432 году. Положение вещей в нравственном плане хорошо характеризуется тем, что кондотьеры часто должны были оставлять в заклад своих жен и детей, но и несмотря на это они не пользовались вполне доверием государей, да и сами не могли им доверяться. Кондотьеры были бы героями-бессребрениками вроде пресловутого Велизария, если бы не накапливавшаяся в их душах глубокая ненависть; только совершеннейшие моральные достоинства могли бы удержать их от превращения в абсолютных злодеев. Мы видим их богохульниками в отношении к святыням, жестокими изменниками в отношении ближних и порой — почти честными людьми, для которых, однако, ничего не значило умереть под папской анафемой. Вместе с тем у многих из них развивается личность, талант, поднимающийся до степени высочайшей виртуозности, что возбуждает удивление и восхищение солдат. Их армии — первые известные в новой истории, где душой дела служит полное доверие к личности предводителя, как это видно особенно ясно из жизни Франческо Сфорца. Никакие сословные предрассудки не могли помешать ему завоевать себе личную популярность у каждого и уметь ею воспользоваться надлежащим образом в трудную



Карл VIII — король Франции

минуту. Случалось, что неприятели при виде его откладывали оружие и, обнажив головы, почтительно преклонялись перед ним как перед общим «отцом всякого воинства».

Вообще дом Сфорца тем возбуждает интерес, что с самого начала в нем видны приготовления к основанию прочного государства. Этому намерению способствовала необыкновенная многочисленность семейства Сфорца. Отец Франческо, уже знаменитый Якопо, имел двадцать братьев и сестер. Все они жили в Котиньола, близ Фазнцы, и получили суровое воспитание в атмосфере постоянной вендетты между их домом и домом Пазолини. Женщины в этом семействе отличались таким же воинственным духом, а жилище походило на смесь арсенала и кордегардии. Тринадцати лет Якопо тайно уехал из родительского дома, сначала в Панекале, к папскому кондотьеру Больдрино — тому самому, который и посмертно продолжал предводительствовать войском: пока не нашелся ему достойный преемник, приказы по войску давались из обставленной флагами палатки, в которой лежало его набальзамированное тело.

Якопо, постепенно возвышаясь по службе, призвал к себе свое семейство и извлекал из него те самые преимущества, какие многочисленная династия может доставить государю. Его родственники поддерживали порядок в армии, когда он больной лежал в Неаполе, в Кастель-Нуово; его сестра лично взяла в плен королевских посланников и этими заложниками спасла его от смерти. О весьма далеко идущих планах свидетельствуют и надежность, проявляемая Якопо в денежных делах, — благодаря ей он и после поражений мог пользоваться услугами знакомых банкиров, — и его решимость всегда защищать крестьян от насилия солдат, и его нелюбовь к разорению покоряемых городов, и, наконец, то обстоятельство, что свою знаменитую фаворитку Лючию (мать Франческо) он выдал замуж, чтобы самому остаться свободным для вступления в более достойный владетельного государя брак. Даже женитьбы его родственников подчинялись известному плану.

От безбожной и разгульной жизни своих товарищей по оружию Якопо по возможности удалялся. Три заповеди, с которыми он отпускал в свет своего сына Франческо, были



Папа Александр VI

следующие: не трогай чужой жены, не бей своих людей, а если это случится, то немедленно отсылай побитого, и не бери себе легко теряющего подковы или тугоузлого коня. Если Якопо не был великим полководцем, то, во всяком случае, был отличным солдатом, с могучим, разносторонне развитым телом, простонародной наружностью и необыкновенной памятью, позволявшей ему знать и помнить в течение многих лет имена всех своих солдат, лошадей и вообще отлично знать все частные подробности солдатской жизни. Его образование было только итальянское, но все-таки он посвящал все свои досуги изучению истории и любил читать нарочито для него переведенных греческих и латинских авторов.

Франческо, его еще более знаменитый сын, с самого начала стремился к расширению своих владений. При помощи блистательного знания военного дела и невероятного коварства он завладел могущественным Миланом (1447 — 1450).

Глава 1

Его пример был соблазнителен. Энео Сильвио писал в то время: «В нашей непостоянной Италии, где ничто не прочно, где установившееся господство не может сущес-

твовать, рабы могут легко делаться государями». В то время внимание всей Италии было поглощено человеком, называвшим себя «человеком фортуны»: это Джакомо Пиччинино, сын Никколо. Удастся ли ему основать государство или нет? — вот какой жгучий вопрос занимал умы. Более крупные государства имели очевидный интерес не допустить этого, и даже Франческо Сфорца находил более выгодным для себя, чтобы ряд воцарившихся кондотьеров закончился на нем самом. Но наемные войска и их начальники, посланные против Пиччинино, когда тот решил, к примеру, захватить Сиену, осознали, что им выгоднее поддерживать его.

«Если он погибнет, то нам придется вернуться к сохе», — говорили они. Осаждая его в Орбетелло, они сами же снабжали его всеми припасами, так что ему легко было с честью выдержать осаду. Но судьбы своей ему все-таки не удалось избежать. Вся Италия гадала, чем окончится поездка Пиччинино, когда он, посетив Сфорца в Миллане (1465), поехал в Неаполь к королю Ферранте. Несмотря на все связи и ручательства, он был убит в Капель-Нуово. И кондотьеры, владевшие уже наследственными областями, не чувствовали себя в большей безопасности; когда, в 1482 году, умерли в один день тираны Роберто Малатеста и Федерико Урбинский, один в Риме, другой в Болонье, оказалось, что, умирая, они завещали друг другу свои области!

Все, кажется, было позволительно в отношении сословия, которое в свою очередь многое себе позволяло. Франческо Сфорца женился очень молодым на богатой калабрской наследнице, Поликсене Руффа, графине Монтальто, которая родила ему дочку; но тетка отравила его жену и дочь, чтобы воспользоваться наследством.

После смерти Пиччинино основание новых государств кондотьерами стало считаться нетерпимым скандалом. Четыре «великих государства» — Неаполь, Милан, Венеция и Церковная Область — составили как бы систему равновесия и не допускали более нарушений. В Церковной Области, кишевшей мелкими тиранами, которые некогда были или все еще оставались кондотьерами, nepoты, начиная с правления Сикста IV, присвоили себе исключительное пра-



Рафаэль

во на подобные предприятия. Но как только порядок где-нибудь нарушался, кондотьеры тотчас давали о себе знать. Во время жалкого правления Иннокентия VIII дошло до того, что бывший бургундский капитан, Бокколино, чуть не передался туркам вместе с захваченным им городом Озимо, лишь благодаря вмешательству Лоренцо Великолепного он согласился отказаться от своих намерений, получив за это

порядочную сумму денег. В 1495 году, при нарушении общего спокойствия по случаю войны с Карлом VIII, кондотьер Бидоверо Брежанский попробовал свои силы. Незадолго до этого ему удалось, посредством убийства знатных лиц и горожан, завладеть городом Чезена, но крепость не сдалась — и он был принужден удалиться. Теперь же, при помощи войска (доставленного ему другим мошенником, Пандольфо Малатеста из Римини, сыном вышеупомянутого Роберта и венецианским кондотьером), он отнял у равеннского архиепископа город Каstell-Нуово. Венецианцы, занятые в эту минуту более важными для них притеснениями папы, «доброжелательно» приказали Пандольфо при случае арестовать своего друга; тот подчинился, хотя и с «прискорбием», после чего последовал приказ друга повесить. Пандольфо проявил осмотрительность и задушил его в тюрьме, а лишь затем показал народу тело. Последний пример такой узурпации — знаменитый кастеллан замка Муссо, который, воспользовавшись происшедшим в Милане замешательством после битвы при Павии в 1525 году, симпровизировал комедию своей независимости и власти на озере Комо.

Вообще же о тирании XV века можно сказать, что наибольшее их зло сосредоточивалось в наименьших владениях. Здесь ссоры из-за наследства в огромных семьях, все члены которых хотели жить по-царски, были неизбежны. Берардо Верано, тиран Камеринский, убил в 1434 году своих двух братьев, потому что его сыновья желали получить их наследство. Если же тиран отличался практичным, умеренным, мирным образом правления и влечением к культуре, то можно было не сомневаться что он или принадлежал к большому владетельному дому, или находился в зависимости от его политики. Таков был, например, Алессандро Сфорца, князь Пезаро, брат великого Франческо и тесть Федерико Урбинского († 1473). Как разумный правитель, как справедливый и доступный всем государь, он наслаждался покойным правлением после продолжительных войн. Он собрал богатую библиотеку и посвящал свои досуги беседам с набожными и учеными людьми. К нему можно присоединить и Джованни II Бентивольо, синьора Бо-

Папа Лев X



лонского (1443 — 1508), политика которого зависела от домов Эсте и Сфорца. Но зато какое кровавое одичание находим мы в семействах Варани из Камерино, Малатеста из Римини, Манфредди из Фазэнцы и особенно в доме Бальони из Перуджи! О событиях в доме последних, в конце XV века, мы многое знаем из отличных исторических источников, каковы хроники Грациани и Матараччо.

Дом Бальони был одним из тех, чье господство проявилось не в создании государства в точном смысле слова, но во всеобъемлющем влиянии на все два города, обусловленном родовыми богатствами и контролем над распределением должностей и в городском управлении. Один из членов семьи признавался за общего главу, что не мешало глубокой ненависти между членами разных ветвей дома. Бальони противодействовала сильная партия знатных лиц под предводительством Одди. В 1487 году дело дошло до оружия; дома соперников наполнились наемными убийцами — брави; насилия совершались ежедневно; на похоронах одного убитого немецкого студента две партии стали друг против друга с оружием в руках. По временам случалось, что бра-

ви, принадлежащие к различным домам, устраивали побоища на площади.

Тщетно жаловались купцы и ремесленники; папские губернаторы и неpotы или молчали, или быстро удирали из города. Наконец Одди были вынуждены оставить Перуджу в жертву деспотическому правлению Бальони, при которых город превратился в осажденную крепость, а собор использовался как казарма. Неудавшиеся заговоры и нападения сопровождались страшным мшением. После того как (в 1491) ворвавшийся в город отряд из 130 человек был разгромлен, а нападавшие повешены перед ратушей, на главной площади соорудили 35 алтарей и в течение трех дней служили мессы и устраивали крестные ходы, чтобы снять проклятие с города. Один из nepотов Иннокентия VIII был зарезан на улице среди бела дня; другой, посланный Александром VI для водворения порядка, подвергся открытым насмешкам. В то же время главы владетельного дома Гвидо и Ридольфо часто беседовали со святой, известной своими чудесами, монахиней доминиканского монастыря, сестрой Коломбой ди Риети, которая, под страхом будущих великих несчастий, советовала им — но, конечно, тщетно — прекратить войну. При этом историк обращает внимание на набожность и благочестие в эти ужасные годы некоторых лучших горожан Перуджи. В 1494 году, во время нашествия Карла VIII, Бальони вели такую ожесточенную войну с изгнанниками, расположившимися в Ассизи, что все постройки в долине были уничтожены, поля оставались необработанными, крестьяне превратились в опасных разбойников и убийц, и в запущенных густых кустарниках завелись олени и волки, где последние питались «христианским мясом», т. е. телами убитых.

Когда Александр VI бежал в Умбрию от возвращающегося из Неаполя Карла VIII, то в Перудже ему пришло в голову, что теперь он легко может навсегда избавиться от дома Бальони. Он предложил одному из них, Гвидо, устроить какой-то праздник, или турнир, или что-то в этом роде, для того только, чтобы собрать всех членов этого дома вместе; но Гвидо придерживался мнения, что «наилучшим зрелищем был бы сбор всего вооруженного войска Перуджи». На

этом непредвиденном обстоятельстве план папы и разрушился. Вслед за тем изгнанники еще раз напали на Перуджу, но были побеждены только благодаря личному героизму Бальони. Восемнадцатилетний Симонетто Бальони, с горсткой людей, завязал бой на ратушной площади города против нескольких сот неприятелей. Он упал, сраженный двадцатью ударами, но привстал, увидев спешившего к нему на помощь Асторре Бальони, высившегося на коне, в позолоченных латах, с соколом на шлеме: «на вид подобный Марсу, на деле же он бросился в гущу боя».

Тогда Рафаэль был еще двенадцатилетним мальчиком в учении у Пьетро Перуджино. Быть может, впечатление этого дня увековечилось в его ранних небольших изображениях св. Георгия и св. Михаила; возможно, оно хотя бы отчасти оживает и в большой картине, посвященной св. Михаилу, а если Асторре Бальони и обрел где-нибудь свое просветленное преображение, то в образе небесного всадника, изгоняющего Элиодора.

Неприятели были частью разбиты, частью обращены в паническое бегство и надолго потеряли способность к нападениям такого рода. Через некоторое время последовало частичное примирение и возвращение изгнанников в отечество. Но Перуджа не успокоилась; раскол внутри владетельного дома проявился в ужасных деяниях. Против Гвидо, Ридольфо и их сыновей — Джанпаоло, Симонетто, Асторре, Джисмондо, Джентиле, Марк Антонио и пр. — соединились два внучатых племянника — Грифоне и Карло Барчилья (последний был к тому же племянником Варано Камеринского и зятем одного из прежних изгнанников, Джеронимо делла Пенна). Напрасно Симонетто, имевший самые дурные предчувствия, на коленях молил своего дядю позволить ему убить Пенна: Гвидо решительно отказал ему. Заговор разом созрел на свадьбе Асторре Бальони с Лавинией Колонна, летом 1500 года. Празднества начались и продолжались несколько дней при самых мрачных предзнаменованиях, нарастание которых особенно хорошо передано у Матараччо.

Возникла вполне легендарная предыстория рода Бальони, которая на самом деле является лишь отблеском опи-

санного кровопролития: якобы издавна члены этой семьи умирали дурной смертью, а однажды умерли 27 человек сразу; дома их однажды были сровнены с землей, а кирпичами вымощены улицы и т. п. При Павле III дворцы действительно были разрушены.

Тем временем Бальони, по-видимому, образумились, навели порядок в своей партии и стали защищать городских чиновников от знатных злодеев. Но тяготевшее над ними проклятие вновь, как огонь, какое-то время незаметно тлевший в глубине, вырвалось наружу: Джанпаоло в 1520 году был заманен Львом X в Рим и там обезглавлен. Один из его сыновей, Орацио, которому Перуджа повиновалась недолго и лишь как сообщнику притесненного папой Урбинского герцога, жестоко тиранствовал в своем семействе. Он убил дядю и трех двоюродных братьев, после чего герцог соблаговолил сказать ему, что этого достаточно. Его брат, Малатеста Бальони, был тот самый флорентийский полководец, который обессмертил себя памятной изменой 1530 года, а сын его, Малатеста Ридольфо, захвативший Перуджу благодаря убийству папского легата и его спутников, в 1534 году недолго, но жестоко правил городом. Он был последним государем этого дома.

Перевод А.Е.Махова



ГЕНРИ ТОМАС БОКЛЬ

24 ноября 1821 г. — 29 мая 1862 г.

Жизнь

Родился в семье богатого лондонского купца. Своим развитием, любовью к поэзии и вере в прогресс всецело обязан матери.

Отличался слабым здоровьем.

В 14 лет поражал успехами в математике и на вопрос отца, какой награды он желает, попросил позволения оставить школу и заняться самообразованием.

Отец не отрывал сына от ученых занятий и не требовал от него ведения торговых дел.

В течение 17 лет Бокль тратил 10 часов в день на научные занятия.

В 1840 г. отец умер, Бокль стал владельцем большого



Лондон. XVIII в.

состояния, употребив его на собрание обширной библиотеки.

Несмотря на принятое решение ничего не печатать, пока не будет готов главный труд его жизни, он обратил на себя внимание таких людей, как Буазен и Галлам.

В 1858 г. появился первый том «Истории цивилизации в Англии». Несмотря на неблагоприятные отзывы критиков, книга имела большой успех.

19 марта 1858 г. Бокль прочитал в Королевском институте лекцию «О влиянии женщин на прогресс знаний». Целью этой единственной лекции было доказать, что, поощряя в мужчинах дедуктивный метод мышления, женщины бессознательно оказывают громадную услугу науке.

1 апреля 1859 г. Бокль был страшно потрясен смертью матери. Под впечатлением этой потери в одной из статей



Г. Т. Бокль

он выразил веру в бессмертие души, так как не чувствовал себя в силах жить с уверенностью в том, что разлука с матерью будет вечной.

В 1861 г. вышел второй том «Истории цивилизации в Англии», успех которого не уступал успеху первого.

В октябре 1861 г. Бокль оставил Англию и отправился на Восток для отдыха. Когда здоровье его несколько поправилось, он предпринял поездку верхом по Палестине.

В Дамаске Бокль серьезно заболел и умер 29. 5. 1862 г.

Судьба

Прежде чем вступить на литературное поприще, Бокль создал себе имя в качестве блестящего шахматного игрока.

В 18 лет он задумал написать историю цивилизации, но впоследствии, видя неисполнимость плана при существующих источниках, решил ограничиться историей цивилизации в Англии.

Главная цель Бокля — сделать историю наукой в полном смысле слова, отыскать общие законы развития человеческого рода.

Перед смертью, в бреду, Бокль постоянно повторял: «Книга! Моя книга! Я никогда не кончу моей книги!»

В 60—70-х г. XIX века труд Бокля был переведен почти на все европейские языки и снискал популярность в кругах передовой интеллигенции всех стран.

Творчество

Бокль планировал создать исследование общим объемом в 15 томов, изучал многочисленные языки, собрал и обработал огромный материал.

Ранняя смерть помешала исполнить задуманное. Опубликованное двухтомное произведение «История цивилизации в Англии» является лишь введением к основному труду.

Первый том представляет собой очерк умственного развития Англии с XVI по XVIII век и более подробное изложение духовного развития Франции за тот же период.

Второй том посвящен духовному развитию Испании и Шотландии.

В 1872 г. мисс Тейлор издает «Разные посмертные сочинения» Бокля, которые наследники не решались издать.

В своих работах Бокль обращает внимание на изучение природной среды, движение населения, распределение имущества, рост просвещения.

Бокль выводил развитие сознания из условий среды, а накопление знаний считал причиной изменений в политическом и экономическом строе.

В основании всех его трудов лежит убеждение, что историей развития человечества управляют такие же неизменные законы, как и в физическом мире.



ЖОЗЕФ ЭРНЕСТ РЕНАН

1823 — 1892

Жизнь

Известный французский историк религии, филолог и философ Жозеф Эрнест Ренан родился в небольшом городке провинции Бретань 27 февраля 1823 г. Его отец, моряк, умер, когда Ренану было всего 5 лет. Мать, желая для сына церковной карьеры, отдала его в местную духовную семинарию, откуда он в 1838 г. перешел в Парижскую семинарию св. Николая, а затем, в 1842 г., — в Исси, отделение большой семинарии св. Сульпиция.

Собираясь стать священником, Ренан в 1843 г. поступил для изучения богословия в саму семинарию св. Сульпиция, где увлекся изучением древнееврейского языка. Уже со следующего года Ренан сам занялся преподаванием этого языка, положившего начало его научной карьере.



**Раскопки синагоги
в период Римского правления в Палестине IV в.**

Решив для себя, что его будущее не в церковной иерархии, а в науке, Ренан покидает семинарию. Чтобы обеспечить себя материально, он становится репетитором в иезуитской подготовительной школе св. Станислава, а затем — в пансионе Крузэ, где, несмотря на напряженный график занятий, продолжает изучение восточных языков. В 1847 г. Ренан сдает все университетские экзамены и получает место профессора философии в Версальском лицее. В этом же году Ренан завершил написание своего первого капитального научного труда — «Истории семитских языков». В то время Эрнесту Ренану было всего 24 года.

Защитив в 1852 году докторскую диссертацию, Эрнест Ренан получает место при Национальной библиотеке. Он издает свою «Историю семитских языков», публикует статьи

по истории религии и морали, создавшие ему репутацию либерального философа.

В конце 1850 года Ренан женится на племяннице известного художника Анри Шеффера и, кроме научной работы, занимается журналистикой. В этот период Ренан публикует переводы отдельных библейских книг, снабжая их научными комментариями.

В 1860 — 1861 гг. Ренана направляют в научную командировку на Ближний Восток, где он руководит археологическими раскопками древней Финикии. Тогда же ученый посетил и Палестину.

По возвращении в Париж Ренан был назначен профессором в Коллеж де Франс, но уже после вступительной лекции, на которой он проявил себя, с точки зрения клерикалов, отъявленным еретиком, его отстранили от чтения лекционного курса, а в 1864 г. императорским декретом лишили кафедры. Именно в этот период начинается публикация его трудов по истории раннего христианства, принесшая ему широкую популярность.

С конца 1860 года Ренан начинает активную политическую деятельность, выдвинув в 1869 г. свою кандидатуру в Законодательный корпус.

Вернувшись на кафедру в Коллеж де Франс, Ренан еще интенсивнее занимается историей древних евреев, резуль-



Э. Ренан

татом чего становится книга «История народа израильского» (1893 г.).

В 1879 г. Ренан был избран членом Французской академии, в 1862 г. — президентом Азиатского общества, в 1884 г. — администратором Коллеж де Франс.

Умер Эрнст Ренан 2 октября 1892 г.

Судьба

Впервые со светской литературой Ренан познакомился, будучи слушателем семинарии св. Николая в Париже. Особенно сильное впечатление на него произвели Мишле, В. Гюго и Ламартин. В Исси Ренан уже с интересом читал произведения немецкой классической философии, которые нанесли сильный удар по его прежним ортодоксально-католическим убеждениям, а знакомство с библейской критикой во время обучения в семинарии св. Сульпиция приводит к его разрыву с церковью. «Я не из тех, — пишет он в тот период, — которые решились никогда не изменять раз принятых воззрений, к какому бы научному результату они ни пришли... Но в настоящее время я не могу верить в переворот, по крайней мере настолько сильный, чтобы привести меня к католической и священнической ортодоксальности».

Французская революция 1848 г. не вызвала в молодом ученом симпатий к своим идеалам, но пробудила в нем интерес к сознательной политической жизни. В книге «Будущее науки» (1848 — 1849) Ренан указывает на опасность прихода к власти униженного и безграмотного народа. Но поскольку народ силен, то крайне необходимо приложить все усилия для того, чтобы просветить его.

В ходе безуспешной попытки попасть в Законодательный корпус на выборах 1869 г. Ренан предстает как сторонник империи и в то же время как либерал. Свое кредо он выразил словами: «Свобода, прогресс без революции и без войны», в духе своего друга принца Наполеона.

Франко-прусская война 1870 г. нанесла тяжелый удар Э. Ренану, всегда симпатизировавшему Германии. В ходе войны Ренан призывал немцев отказаться от антифранцузской

политики, настаивал на необходимости совместных действий против «общего врага» — России. Столкнувшись с враждебным непониманием немецких коллег, он радикально пересмотрел свои взгляды на немцев и русских.

Парижская коммуна усилила в Ренане нелюбовь к демократии. В «Философских диалогах» ученый выражает презрение к толпе и ратует за «господство избранных». С демократией Ренан примирился только к концу своей жизни.

Творчество

В атеистической научной литературе об Иисусе Христе существуют два главных направления — «мифологическое» и «историческое».

Получившее в свое время распространение «мифологическое» направление рассматривает историю жизни Иисуса Христа как некий собирательный мифологизированный образ, созданный на основе более примитивных культов. Представители же «исторической» школы полагают, что в основе более или менее мифологизированного образа Иисуса Христа лежит реально живший в Галилее проповедник — основатель христианского вероучения. Видным представителем «исторической» школы и был Эрнест Ренан.

Впервые к мысли о необходимости критического исследования истории происхождения христианства Ренан пришел в конце 1840 года. «Самая важная книга XIX столетия, — пишет он в этот период, — будет озаглавлена: «Критическая история начала христианства». Удивительный труд! Я завидую тому, кто его выполнит. Такая книга будет трудом и моего зрелого возраста, если только не помешает смерть или роковые внешние обстоятельства».

Выполнять поставленную задачу Ренан начал в 1860 — 1861 гг. во время своей командировки на Ближний Восток. Там, пользуясь в качестве источников только Новым заветом и трудами Иосифа Флавия, Ренан под впечатлением от путешествия по Палестине написал первоначальный вариант «Жизни Иисуса». «Когда в Галилее я читал Евангелие, — писал Ренан, — образ великого Основателя представился мне



Бейт-Лехем (Вифлеем)

Старинная гравюра, фрагмент

особенно ярко...» Ренан был восхищен образом Христа, основателя «религии, доступной всем расам, стоящей выше всяких каст, религии вечной и безусловной», — и в то же время сам не относился к приверженцам этой религии, не признавал божественной сущности Христа.

Главный труд своей жизни, наполовину монографию, наполовину роман — «Жизнь Христа», Ренан посвятил своей сестре Генриетте, сопровождавшей его в поездке на Ближний Восток и умершей там от лихорадки.

Произведения Э.Ренана исключительно субъективны. Опираясь на психологию современного ему Верующего,



Распятие в Нартексе

Мозанка. Храм Св. Луки. Греция.

современные ему нравы и обычаи Палестины, Ренан пытается воссоздать живые картины эпохи Иисуса и первых христиан. Это, с одной стороны, делает его книги очень увлекательными, а с другой — понижает их научную значимость: прошлому приписываются черты, характерные для настоящего.

Особенности взглядов и творчества Э. Ренана отразились на восприятии его фигуры современниками. Им то восхищались, то проклинали. Это, однако, только усиливает интерес к его 40-томному наследию.

Взгляды современников на Ренана как нельзя лучше отразились в обстоятельствах назначения его профессором в Коллеж де Франс. По словам М. Корелина, «товарищи-специалисты считали его более литератором, нежели ученым, двор и церковь — еретиком, либералы — отступником, продавшимся Наполеону III. Его вступительная лекция была встречена враждебными возгласами, но окончилась шумной дружественной манифестацией слушателей...

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ИИСУСА О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ

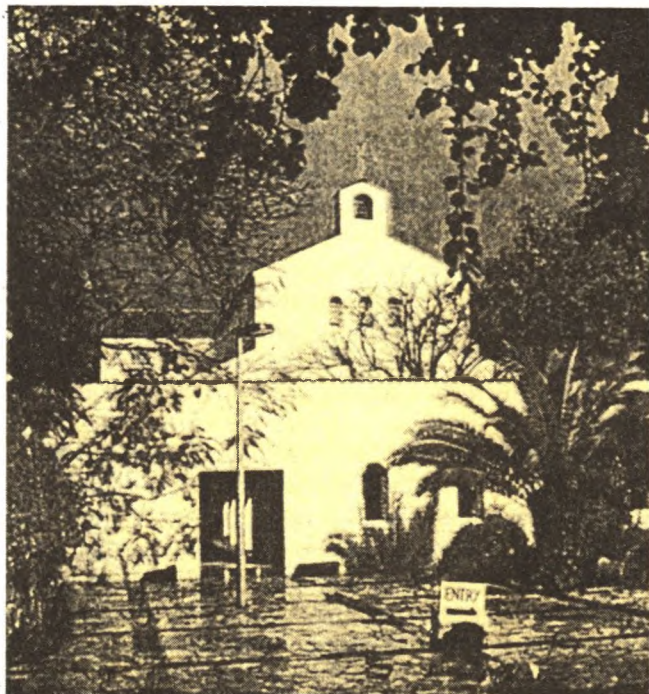
До заключения Иоанна, которое мы приурочиваем приблизительно к лету 29 года, Иисус не покидал окрестностей Мертвого моря и Иордана. На пребывание в иудейской пустыне он обыкновенно смотрел как на приготовление к великим подвигам, как на уединение накануне общественных деяний. Иисус, подражая примеру своих предшественников, провел там 40 дней без общества, кроме общества диких зверей, соблюдая строгий пост. Над этим пребыванием сильно поработало воображение его учеников. Пустыня считалась в народных поверьях жилищем демонов. Мало найдется на свете областей, более печальных, покинутых Богом, более отгороженных от жизни, чем утесистый склон западного берега Мертвого моря. Рассказывали, что во время, проведенное Иисусом в этом ужасном краю, он испытывал страшные искушения, что сатана пугал его ложными видениями, убаюкивал соблазнительными обещаниями и что затем ангелы явились служить ему, чтобы воздать ему за победу.

Вероятно, лишь по выходе из пустыни Иисус узнал о заключении Крестителя. У него не было более причин оставаться в стране, которая была для него наполовину чужая. Может быть, он боялся подвергнуться тем же строгим

мерам, которые были приняты по отношению к Иоанну, и не желал выставляться, когда еще не был известен и его смерть ничем не содействовала бы торжеству его идей. Он вернулся в Галилею, свою настоящую родину, созрев серьезным опытом и вынося сознание своей собственной оригинальности из отношений с великим, хотя и отличным от него человеком. В общем влияние Иоанна на Иисуса было для него скорее вредным, чем полезным: оно было остановкой в его развитии; все заставляет предположить, что, когда он спустился к Иордану, его идеи были выше Иоанновых и что если он временно склонился к баптизму, то это было своего рода уступкой; может быть, если бы Креститель, от авторитета которого ему трудно было освободиться, остался на свободе, Иисус не сумел бы сбросить с себя иго обрядности и материальных церемоний, и тогда он, несомненно, остался бы безвестным иудейским сектатором, ибо общество не отстало бы от одних обрядов, чтобы принять другие. Именно привлекательностью религии, свободной от всякой внешней формы, христианство и увлекло высоконастроенные души. С заключением Крестителя его школа значительно уменьшилась, и Иисус был предоставлен своим собственным влечениям. Единственно, чем он обязан Иоанну, это в известной мере уроками проповеди и народного прозелитства. И в самом деле, с этой поры его проповедь приобретает большие силы и авторитетно действует на толпу.

Кажется также, что его пребывание с Иоанном дало в нем созреть идеям Царства Небесного, и не столько деятельностью Крестителя, сколько естественным ходом его собственной мысли. Отныне его лозунг — «благая весть», возвешение, что Царство Божие близко. Иисус станет не только очаровательным моралистом, умеющим заключить высокие истины в несколько метких и кратких изречений, но и решительным революционером, пытающимся обновить мир в его собственных основаниях и воплотить на земле взлелеянный им идеал. «Ждать Царства Божьего» будет означать то же, что стать учеником Иисуса.

Слово «Царство Божие», или «Царство Небесное», было, как мы уже сказали, давно знакомо иудеям, но Иисус дал



Церковь Хлебов и Рыб
IV в. Табха

ему нравственный смысл, общественное содержание, которое едва прозрел в своем апокалиптическом энтузиазме даже автор Книги Даниила.

В мире, каков он есть, царствует зло. «Сатана — царь этого мира», и все ему повинуется. Цари убивают пророков, священники и книжники не поступают так, как велят поступать другим. Праведные преследуются, и единственная доля добрых — слезы. Таким образом, «мир» — враг Бога и его святых, но Господь проснется и отмстит за своих святых. Близок день, и мерзость достигла высшей степени, теперь очередь за царством добра. Пришествие этого царства добра будет внезапным переворотом, мир как бы перевернется: так как нынешнее его состояние дурно, то,



Мозаичный пол с изображением хлебов и рыб
Табха

чтобы представить себе будущее, достаточно вообразить себе противоположное тому, что существует. Первые будут последними. Новый порядок водворится в человечестве. Теперь добро и зло смешаны, как плевелы и пшеница в поле. Хозяин позволяет им расти вместе, но настанет час насильственного разъединения. Царство Божие будет как большой захват невода, приносящий хорошую и худую рыбу. Хорошую складывают в сосуды, а остальную бросают. Начала этого великого переворота нельзя будет распознать: оно будет как горчичное зерно, самое малое из всех семян, которое, брошенное в землю, обращается в дерево, под листвою которого собираются на отдых птицы, или оно будет как закваска, которая, вложенная в тесто, заставляет его закисать. Целый ряд иносказаний, нередко темных, предназначался для выражения неожиданности этого внезапного пришествия, его кажущейся несправедливости, его неизбежности и рокового характера.

Кто оснует это Царство Божие? Припомним, что первая идея Иисуса, столь в нем глубокая, что, вероятно, ей не было и начала и она коренилась во всем его существе, — это идея о том, что он — Сын Божий, близкий Отцу, исполнитель его воли. Ответ Иисуса на этот вопрос не мог быть сомнительным. Уверенность, что он водворит Царство Божие, безусловно овладела его душой. Он взирал на себя как на всемирного реформатора. Небо, земля, природа в ее целом, сумасшествие, болезнь и смерть — все это стало для него орудиями. В приливе героической воли он считает себя всемогущим. Если земля не поддается этому последнему преобразованию, она будет стерта и очищена пламенем и дыханием Бога. Новые небеса создадутся, и весь мир будет населен ангелами Господними.

Радикальный переворот, захватывающий даже самую природу, — вот в чем заключалась основная мысль Иисуса. С тех пор он, несомненно, отказался от политики. Пример Иуды Гавлонита указал ему всю бесполезность народных мятежей. Ему никогда не приходила мысль возмутиться против римлян и тетрархов. Необузданный и анархический принцип Гавлонита не был его принципом. Его подчинение преобладающим властям, в глубине полное насмешки, было

безупречно по внешности. Он платил дань Кесарю, чтобы не возбуждать скандала. Свобода и право не от мира сего — зачем же смущать жизнь шекотливыми пустяками? Презируя землю, убежденный в том, что окружающий мир не заслуживает внимания, он спасался в свое идеальное царство и полагал основание великому учению трансцендентного презрения, истинной доктрине душевной свободы, которая одна дает мир. Много неясного еще примешивалось к его наиболее верным взглядам. Порою странные искушения посещали его ум. В иудейской пустыне сатана предлагал ему царства земные. Не зная сил Римской империи, при том запасы энтузиазма, который существовал в Иудее и позже дошел до страшного военного сопротивления, он мог надеяться основать царство при смелости и многочисленности своих последователей. Перед ним, быть может, часто возникал великий вопрос: осуществится ли Царство Божие силой или кротостью, мятежом или терпением? Говорят, однажды простецы из Галилеи хотели похитить его и поставить царем. Иисус бежал в горы и на некоторое время остался там один. Его дивная природа предохранила его от ошибки, которая сделала бы его мятежником или главарем восставших, вроде Теудаса или Баркокебы (Бар-Кохбы). Переворот, о котором он мечтал, был переворот нравственный, но пока он еще не дошел до того, чтобы предоставить исполнение его ангелам и трубе Судного дня. На людей и при посредстве людей хотел он действовать. Мечтатель, у которого не было бы другой идеи, кроме близости Страшного суда, не стал бы так заботиться об улучшении душ и не создал бы самого прекрасного практического учения, которое когда-либо давалось человечеству. Без сомнения, много неясного еще оставалось в его мысли, и скорее благородное чувство, чем какой-либо определенный план, двигало его к великому творчеству, которое осуществлено им, хотя и совсем не тем способом, как он воображал.

И в самом деле, он основывал Царство Божие, я сказал бы — царство духа, и, если из лона Отца Иисус видит в истории плоды своего делания, он воистину может сказать: «Вот, я желал». Что основал Иисус и что вечно от него ос-

танется, если принять в соображение несовершенства, при-
мешивающиеся ко всему, что осуществляет человечество, —
это учение о свободе души. Уже Греция питала подобные
высокие мысли. Некоторые стоики находили возможным
быть свободными при тиранах, но в общем древний мир
представлял себе свободу приуроченной к известным поли-
тическим формам; либералы носили тогда имена Гармония
и Аристокитона, Брута и Кассия. Настоящий христианин
гораздо свободнее от всяких цепей: здесь он изгнанник —
какое ему дело до временного владыки на этой земле, не
его родине? Свобода для него — истина. Иисус недостаточ-
но знал историю, чтобы понять, насколько такая доктрина
была своевременна в момент, когда кончались республи-
канские свободы и мелкие муниципальные учреждения
древности угасали в единстве Римской империи. Но его
превосходный здравый смысл и действительно пророческое
чутье своего призвания руководили им поразительно вер-
но. Словами «отдайте Кесарево Кесарю и Божие — Бого-
ви» он создал нечто чуждое политике, пристанище для душ
среди царства грубой силы. Разумеется, такое учение пред-
ставляло опасности. Установить в принципе, что для при-
знания законной власти достаточно взглянуть на монету,
провозгласить, что совершенный человек платит подать с
презрением, не споря, значило уничтожать республику
древнего образца и потворствовать всем тираниям. В этом
смысле христианство много содействовало ослаблению
гражданского правового сознания и отдавало мир в безот-
четную власть совершившихся фактов. Но, создавая гран-
диозный свободный союз, который в продолжение трехсот
лет сумел обойтись без политики, христианство широко
возместило вред, нанесенный им гражданским доблестям.
Благодаря ему власть государства ограничилась земными
делами, дух был освобожден или по крайней мере страш-
ная секира римского всемогущества была сломлена раз и
навсегда. Человек, занятый главным образом обязанностями
общественной жизни, не прощает тем, кто ставит что-ли-
бо выше ссор его партии. Он порицает тех, кто подчиняет
вопросам социальным — политические и обнаруживает к
последним некоторое равнодушие. В одном смысле он

прав, потому что всякая деятельность, стремящаяся исключить другие, вредна для правильного хода человеческих дел. Но какой шаг вперед в смысле общечеловеческой морали заставили сделать эти партии? Если бы вместо того, чтобы созидать Небесное Царство, Иисус отправился в Рим, потратил бы свои силы на заговор против Тиберия или на оплакивание Германика, что стало бы с миром? Строгий республиканец, ревностный патриот, он не остановил бы великого течения своего века, между тем как, объявив политику ничтожной, он открыл миру ту истину, что родина — еще не все и что человек старше и выше гражданина. Нас, с нашими принципами положительной философии, неприятно поражает та доля грез, содержащаяся в программе Иисуса. Нам знакома история земли: переворот, который ожидался Иисусом, совершается лишь по геологическим или астрономическим причинам, связи которых с моральным порядком еще никто не доказал. Но, чтобы быть справедливыми к великим творцам, не следует оттаивать на предрассудках, которые они разделяли. Колумб открыл Америку, исходя из совершенно ложных построений. Ньютон считал свое безумное толкование Апокалипсиса таким же точным, как и свой закон тяготения. Поставим ли мы среднего человека нашего времени выше Франсиска Ассизского, св. Бернарда, Жанны д'Арк или Лютера, потому что он свободен от заблуждений, которые они исповедовали? Можно ли оценивать людей по точности их знаний по физике или более или менее правильному пониманию ими настоящей системы мира? Постараемся лучше понять положение Иисуса и то, что составляло его силу. Деизм XVIII века и протестантство известного рода приучили нас смотреть на основателя христианской религии только как на великого моралиста, благодетеля человечества. Мы видим в Евангелии одни хорошие поучения и мудро набрасываем покрывало на странное состояние умов, среди которых оно зародилось. Есть люди, жалеющие о том, что и французская революция не раз отходила от своих принципов и что ее не совершили люди умные и умеренные. Не будем прилагать наши мелкие, благоразумно-буржуазные программы к этим необычайным движениям, кото-



**Кумран – место, где были найдены Кумранские рукописи
(Свитки Мертвого моря)**



Тайная Вечеря. Христос и Его ученики
 Стенная роспись. Крипта. Храм св. Луки. Греция

рые нас так перерастают. Будем восхищаться евангельской моралью, уничтожим в нашем религиозном обучении мечту, составлявшую его душу, но не станем уверять, что можно поднять мир простейшими идеями счастья и индивидуальной морали. Идея Иисуса была гораздо глубже, идея, более революционная, чем какая-либо, возникавшая в человеческом уме: историк обязан принять ее в целом, а не с теми робкими умолчаниями, которые отнимают у нее именно то, что объясняет ее влияние на возрождение человечества.

В сущности, идеал — всегда утопия. Если теперь мы захотим представить себе Иисуса, как он отразился и в новейшем сознании, Иисуса-утешителя, судью нового времени, что мы делаем? То же, что сделал сам Иисус 1830 лет тому

назад. Мы представляем себе состояние мира совсем не так, как оно есть, живописуем себе нравственного освободителя без оружия, сокрушающего цепи негра, улучшающего положение пролетариата, освобождающего угнетенные народы. Мы забываем, что все это предполагает мир наизнанку, что климат Виргинии и Конго изменился, что в миллионах людей кровь и раса стали другими, что наши запутанные общественные отношения дошли до химерической простоты, что политические наслоения Европы изменили своему естественному порядку. Преобразование всего сущего, которого желал Иисус, было не более трудным делом. Эта новая земля, это новое небо, новый Иерусалим, спускающийся с неба, возглас: «се творю все новое» — все это черты, общие всем преобразователям. Противоречие идеала с печальной действительностью всегда будет вызывать в человечестве это возмущение против холодного разума, которое посредственные умы считают безумием, пока оно восторжествует, и те самые, которые боролись против него, не признают первые его высокую разумность.

Никто не станет отрицать противоречия между верованием в близкий конец мира и обычной моралью Иисуса, отвечавшей покойным устоям человечества, сходным с существующими и поныне. Именно это противоречие и обеспечило успех его дела. Милленарист сам по себе не совершил бы ничего прочного, моралист не сделал бы ничего сильного. Милленаризм дал толчок, мораль обеспечила будущее. Таким образом, христианство соединило два условия всех великих успехов в мире: революционную точку отправления и — возможность существования. Все, что назначено к преуспеянию, должно ответить этим двум требованиям, ибо мир хочет в одно и то же время и изменяться, и продолжать жить. Иисус одновременно возвещал невиданный переворот в человеческих отношениях и вместе с тем провозглашал принципы, на которых общество покоится вот уже 18 веков.

И в самом деле, что отличает Иисуса от агитаторов его времени и всех веков, — это его полнейший идеализм. В некоторых отношениях он анархист, ибо у него нет никакого представления о гражданском государстве. Это государство представлялось ему в полной мере злоупотреблением;

он говорит о нем общими местами, как говорил бы человек из народа, не имеющий никакого понятия о политике. Всякий правитель казался ему естественным врагом людей Божьих. Он пророчит своим ученикам их столкновение с блюстителями закона, ни минуты не задумываясь над тем, что в этом постыдного. Но нигде он не обнаруживает желания стать на место людей властных и богатых. Он хочет уничтожить богатство и власть, не обладать ими, вешает своим ученикам преследования и мучения, но ни разу не видно мысли о вооруженном сопротивлении. Идея, что страдание и самоотречение делают всемогущим, что можно победить силу чистотой сердца, — вот идея, свойственная Иисусу. Он не спиритуалист, потому что все кончается для него осязаемым осуществлением; он полнейший идеалист, материя для него — лишь знамение идеи, реальность — живое выражение того, что невидимо.

К кому обратиться, у кого просить помощи для создания Царства Божия? На этот счет Иисус никогда не колебался. Что ценится людьми, то презренно в глазах Божиих. Основателями Царства Божия будут простецы, не богатые, не ученые, не священники, а женщины, люди из народа, смиренные, малые. Великое знамение Мессии — это «благая весть», возведенная нищим. В этом случае идиллическая и кроткая натура Иисуса брала в нем верх.

Великий общественный переворот, где положения будут переставлены, где все официальное в мире будет принижено, — вот его греза. Мир не поверует в него, мир его убьет, но его ученики будут не от мира сего, небольшая кучка людей, смиренных и простых, которые будут побеждать своей кротостью. Сознание противоречия между «мирским» и «христианским» получает в мысли учителя полнейшее оправдание.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ИДЕЙ ИИСУСА О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ

Мы предполагаем, что эта последняя пора деятельности Иисуса продолжалась около 18 месяцев со времени возвращения из странствия к Пасхе 31 года до его путешествия к

празднику Кушей 32 года. В этот промежуток времени мысль Иисуса не обогатилась никакими новыми планами, но то, что в нем было, выразилось с возрастающей степенью силы и смелости.

Основной идеей Иисуса было с первого дня установление Царствия Божия. Но, как мы уже сказали, Иисус понимал его, по-видимому, в различных значениях. Порой его можно было принять за демократического вождя, желающего только водворить царство бедных и обездоленных. В другой раз это царство — точное исполнение апокалиптических видений, касающихся Мессии; наконец, и часто, это царство душ и грядущее освобождение будет освобождение духом. Переворот, тогда желанный Иисусу, был именно тот, который и совершился в самом деле: учреждение нового культа, более чистого, чем Моисеев. Конечно, все эти мысли существовали совместно в сознании Иисуса. Впрочем, идея политического переворота, по-видимому, не особенно занимала его. Иисус никогда не смотрел на землю, на земные сокровища и светскую власть как на что-то, чем стоило бы заниматься. У него не было мирского честолюбия. Иногда, по естественной связи, его великое религиозное значение могло бы, казалось, стать значением общественным; к нему приходили просить, чтобы он стал судьей и вершителем деловых вопросов; Иисус гордо отказывался от таких предложений, точно они оскорбляли его. Полный своего небесного идеала, он никогда не выходил из своей горделивой бедности. Что касается двух других его представлений о Царствии Божием, то он, конечно, всегда совмешал их. Будь он только энтузиастом, увлеченным апокалипсисами, которыми питалось народное воображение, он остался бы безвестным сектатором, ниже тех, идеям которых он следовал. Будь он просто пуританин, чем-нибудь вроде Чаннинга или «Савойского викария», он, несомненно, не имел бы никакого успеха. Обе части его системы или, лучше, два представления о Царствии Божием поддерживали друг друга, и эта взаимная опора создала его беспримерный успех. Первые христиане — мечтатели, вращающиеся в круге идей, которые мы назвали бы грезами, а вместе с тем они — герои социальной борьбы, приведшей к

освобождению сознания и утверждению религии, из которой понемногу разовьется наконец чистый культ, предвозвешенный его основателем.

Апокалиптические представления Иисуса в их наиболее полной форме могут быть сведены к следующему.

Настоящее состояние человечества приходит к своему концу. Концом этим будет великий переворот, «томительное страдание», похожее на муки родин, палингенезис или возрождение (по слову самого Иисуса), предшествуемое мрачными бедствиями и возведенное необычайными явлениями. Среди бела дня внезапно явится на небе знамение Сына Человеческого; то будет шумное светлое видение, подобное бывшему на Синае: великая буря разверзнет облако, огненная струя мгновенно пронесется с востока на запад, и Мессия предстанет в облаках, облеченный славой и величием, при звуке труб, окруженный ангелами, и ученики будут восседать возле него на престолах. Тогда воскреснут мертвые и Мессия приступит к суду.

На этом суде люди поделены будут на две части, по делам их. Ангелы будут исполнителями решений. Избранники войдут в прелестное местопребывание, уготованное им от начала света: там, одетые светом, они будут возлежать на пиршестве, во главе его Авраам, патриархи и пророки. То будут «немногие». Другие пойдут в Геенну. Геенной звалась долина на западе от Иерусалима; в разное время огнепоклонники отправляли там свои обряды, и вся местность обратилась в какую-то клоаку. Итак, в представлении Иисуса Геенна была мрачной долиной, полной скверны, подземной пропастью, исполненной огня. Исключенные из Царствия будут там гореть, и их будут поедать черви, вместе с сатаной и мятежными ангелами. Там будет плач и скрежет зубовый. Царствие Божие будет как бы затворенным, светлым внутри покоем среди этого мира мрака и мучений.

Этот новый порядок вещей будет вечным. Рай и Геенна не знают конца, непроходимая пропасть отделяет их друг от друга. Восседая одесную Отца, Сын Человеческий будет властвовать в этом конечном периоде мира и человечества.

Что все это порой понималось дословно и учениками, и самим учителем, это сказывается с полной очевидностью в



Крещение. Слева – два ангела, справа – св. Иоанн Креститель
 Мозанка. Храм св. Луки. Грешня

писаниях того времени. Если в первом христианском поколении была глубокая, твердая вера, то эта вера — что мир близится к концу и вскоре исполнится великое «откровение» Христово. Страстный возглас в начале и конце Апокалипсиса: «Время близко!», этот постоянно повторяющийся призыв: «Имеющий уши да слышит!» — это вопли надежды и лозунги всего апостольского века. Сирийское выражение: «Maran atha» — «Господи, прииди», — стало условным среди верующих, укрепляя их в их вере и надеждах. Апокалипсис, написанный в 68 году нашей эры, определяет срок исполнения в три с половиной года. «Вознесение Исаии» подходит очень близко к этому расчету.



Введение Христа во храм

Справа - Иосиф и Мария с младенцем Христом, слева - праведный Симеон и пророчица Анна.

Мозаика Храм Св. Луки. Греция

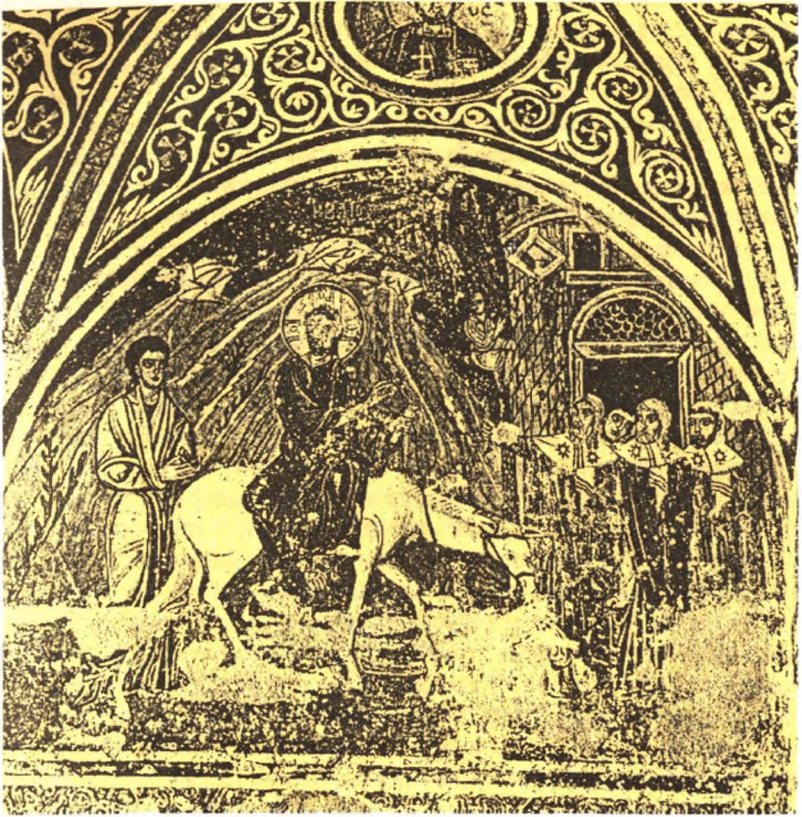
Иисус никогда не выражался так определенно. Когда его спрашивали о времени его пришествия, он всегда отказывался отвечать; однажды он даже заявил, что о наступлении великого дня знает лишь Отец, не открывший его ни сыну, ни ангелам. Он говорил, что время, когда с тревожным любопытством станут ожидать Царствия Божия, будет именно то, когда оно не явится. Беспреданно повторял он, что оно будет такой же нечаянностью, как во времена Ноя и Лота; что следует быть настороже, всегда готовым в путь; что всякий должен бодрствовать с зажженным свечом, как бы для брачного поезда, который явится неожиданно, что Сын Человеческий придет, как таковой, в час, когда его не

ожидают, что он будет как молния, пронсящаяся с одного края неба до другого. Но его заявление о близости катастрофы не дает повода ни к каким сомнениям. «Не пройдет род сей, как все сие будет, — говорил он. — Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии своем». Он упрекает неверующих в него, что они не в состоянии уразуметь предзнаменования будущего Царствия.

«Вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно, — говорил он, — а по утру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». По иллюзии, свойственной всем преобразователям, Иисус представлял себе цель ближе, чем она была на самом деле, не принимал в расчет медленное движение человечества, думал осуществить в один день то, что тысячу восьмьсот лет спустя не могло быть окончательно осуществлено.

Эти столь определенные заявления озабочивали христианскую общину в течение почти 70 лет. Веровали, что некоторые из его учеников узрят день его последнего откровения и не умрут до него; особенно об Иоанне говорили, что он будет в их числе. Многие верили, что он никогда не умрет, но, быть может, это мнение сложилось лишь позже, к концу первого века, в связи с преклонным возрастом, которого, по-видимому, достиг Иоанн, что дало повод к представлению, будто Господу угодно было сохранить его на неопределенное время, до великого дня, дабы оправдать слова Иисуса. Когда и ему пришла пора умирать, многие поколебались в вере, и его ученики дали пророчеству Христа более свободное толкование.

Допуская целиком апокалиптические верования, какие он находил в еврейских апокрифических книгах, Иисус допустил и догмат, служивший дополнением к ним, скорее обуславливающий их: воскресение мертвых. Как мы уже сказали, это учение явилось в Израиль очень недавно, многие не знали или не принимали его, оно было догматом для фарисеев и ревностных сторонников мессеианских идей. Иисус принял его безусловно, но только в самом идеальном его значении.



Вход Господен в Иерусалим

Стенная роспись

Многие представляли себе, что в мире воскресших будут есть и пить и сочетаться браком. И Иисус допускал, что в его Царстве будет пасха новая, новая трапеза и новое вино, но он решительно исключает из него брак. Саддукеи приводили по этому вопросу довод, по-видимому, грубый, но по существу очень соответствовавший старой теологии. Припомним, что, по мнению древних мудрецов, человек переживает себя лишь в своих детях; закон Моисея освятил

это воззрение странным институтом левирата. Из него-то саддукеи выводили хитроумно последствия, говорившие против воскресения; Иисус выходил из затруднения, решительно заявляя, что в жизни вечной не будет больше различия полов и человек уподобится ангелам. Порой он как будто обещал воскресение только праведным, наказание же неправедных в том, что их смерть будет полная и они обратятся в ничто, но чаще он распространяет воскресение и на грешников, к их вечному посрамлению.

Как видно, во всех этих теориях не было ничего безусловно нового. Евангелие и писания апостольские не содержат, в смысле апокалиптических учений, ничего такого, чего бы не было уже у Даниила, в Енохе, Сивиллиных пророчествах, в Вознесении Моисея, книгах еврейского происхождения. Иисус принял эти воззрения, обычные и распространенные среди его современников. Они стали для него точкой опоры, скорее, одной из опор, потому что в нем слишком глубоко было познание своего настоящего дела, чтобы он мог построить его на столь шатких основаниях, так подверженных грозному опровержению фактов.

И в самом деле очевидно, что такая доктрина, взятая сама по себе и дословно, не могла рассчитывать на будущее. Если бы свет продолжал существовать, он уличал ее в неправде. Она могла рассчитывать разве на предел человеческой жизни; могла объяснять веру первого христианского поколения, веру второго не объяснишь. По смерти Иоанна или еще кого-то, последнего из кружка людей, видевших учителя, учение его могло быть признано ложным. Если бы учение Иисуса было исключительно верованием в близкий конец мира, оно, наверное, предано было бы теперь забвению. Что же спасло его? Великая широта евангельских воззрений, дозволившая видеть в одном и том же символе выражение идей, отвечавших весьма различным умственным настроениям. Мир не кончился, как то возвещал Иисус, как верили его ученики, но он обновился, и в известном смысле обновился, как того желал Иисус. Именно потому, что его мысль была двусторонняя, она и оказалась плодотворной. Его грезы не испытали участи других, посещавших людские умы, потому что заключали жизненный зародыш,

который, внесенный в оболочке богословия в лоно человечества, дал вечные плоды.

Не говорите, что толкование это благосклонное, придуманное, чтобы поставить славу нашего великого учителя в стороне от поражения, какое действительность нанесла его грезам. Нет! Истинное Царствие Божие — это царство духа, где каждый человек — царь и священник; это царство, как горчичное зерно, вырастет деревом, которое осенит мир, под ветвями которого гнездятся птицы, вот царство, которое разумел Иисус, которого он желал, которое основал. Рядом с ложным, холодным, несбыточным представлением о торжественном пришествии он постиг идею действительного града Божия, истинное возрождение, дал Нагорную проповедь, апофеоз слабого, постиг любовь к народу, симпатию к бедняку, восстановление всего приниженого, истинно простодушного. Это восстановление он выразил, как несравненный художник, в чертах, которые будут жить вечно. Каждый из нас обязан ему тем, что в нем лучшего. Простим ему надежду на суетное откровение, на торжественное явление на облаках небесных. Быть может, то было заблуждение скорее других, чем его собственное; если правда, что он причастен был общей иллюзии, то можно ли считаться с этим, если его мечта дала ему силу против смерти и поддержала в борьбе, в которой иначе он, быть может, оказался бы неравным?

Итак, следует допустить несколько значений для Царствия Божия, как представлял его себе Иисус. Если бы его единственной мыслью было, что близок конец времен, что надо готовиться к нему, он бы не пошёл далее Иоанна Крестителя. Отречься от мира, готового погибнуть, отказаться мало-помалу от настоящей жизни, возделеть Царствие, имеющее наступить, — такова была бы сущность его проповеди. Учение Иисуса всегда преследовало более широкие цели. Он намеревался создать для человечества новый порядок, а не только приготовить гибель существующего. Если бы Илия и Иеремия явились вновь, чтобы подготовить людей к последнему перевороту, их проповедь была бы не такой.

Это так верно, что так называемая мораль последних дней оказалась вечной, спасла человечество. Сам Иисус во

многих случаях пользуется оборотами речи, вовсе не входившими в его апокалиптическую теорию. Он часто заявляет, что Царствие Божие уже наступило, что всякий носит его в себе, может насладиться им; если его достоин, создаст его в тишине искренним обращением сердца. В таком случае Царствие Божие не что иное, как благо, порядок вещей лучший, чем существующий, царство справедливости, в создании которого обязан участвовать по мере возможности, всякий верующий; или это — свобода души, нечто подобное буддистскому «освобождению», плод самоотречения. Все эти истины, для нас часто отвлеченные, были для Иисуса живой существенностью. В его мысли все существенно и предметно: Иисус — человек, всего страстнее веровавший в реальность идеала.

Воспринимая утопии своего времени и расы, Иисус таким образом сумел пересоздать их, по плодотворному недоразумению, в великие истины. Его Царствие Божие — несомненно, откровение, которое должно было вскоре развернуться в небе, но, вероятно, это было преимущественно царство души, созданное свободой и сыновним чувством, которое испытывает добродетельный на лоне Божиим. То была чистая религия, без обрядов, без храма и священника; нравственный суд над миром, предоставленный совести справедливого человека и исполнению народа. Вот что предназначено было жить, и вот что жило. Когда после стольких тщетных ожиданий исчерпалась материалистическая надежда на конец мира, истинное Царствие Божие начинает выясняться.

Благожелательные толкования набрасывают завесу на реальное царство, которое медлит своим водворением; людей упрямых, державшихся, как Папий, буквального смысла слов Иисуса, считают узкими, отсталыми. Апокалипсис Иоанна, в сущности, первая книга Нового завета, слишком откровенно зараженная идеей неминуемой катастрофы, отодвинута на второй план, ее считают непонятной, толкуют на все лады, почти отвергают. В крайнем случае отодвигают осуществление до неопределенного будущего. Несколько отсталых бедняков, еще сохранивших в эпоху полной рассудочности надежды первых учеников, становятся

еретиками (эбионитами), милленариями, затерявшимися в низких слоях христианства. Человечество перешло в другое Царствие Божие: доля истины, содержащаяся в мысли Иисуса, восторжествовала над затемнившей ее химерой.

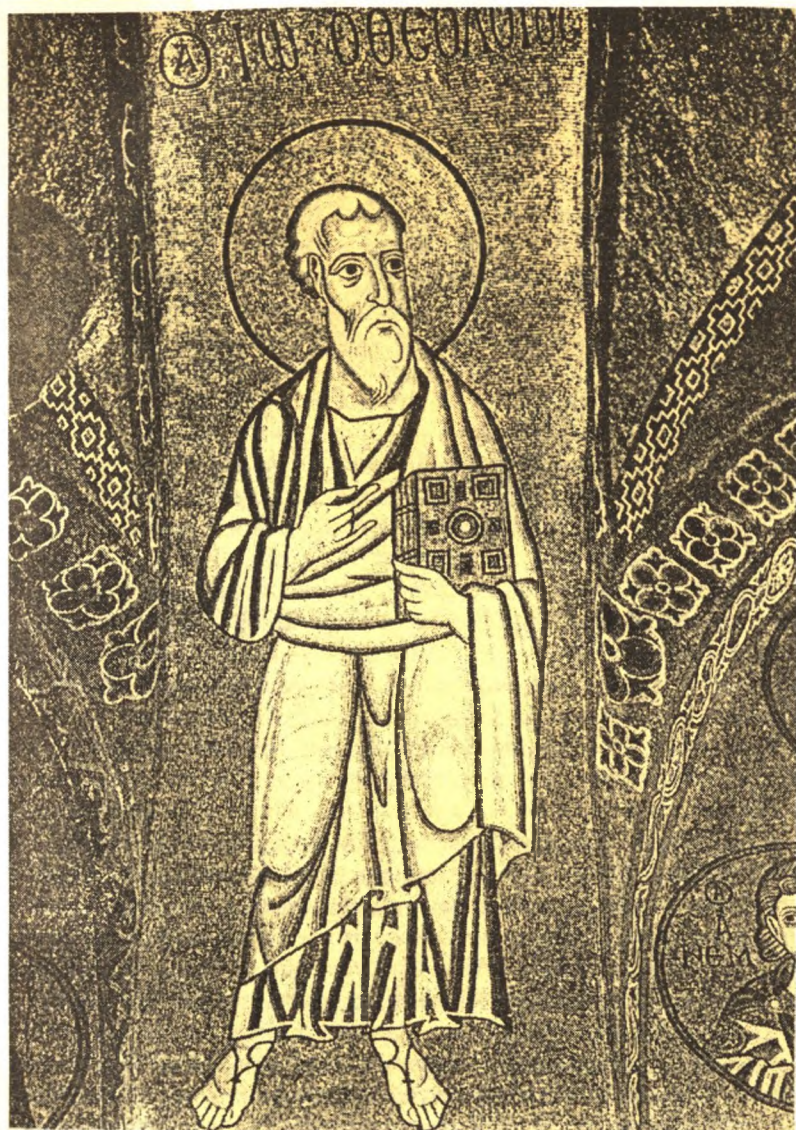
Не станем относиться к ней с пренебрежением: она была грубой корой священного ядра, которым мы живы. Этот призрак Царствия Небесного, это неустанное искание Царствия Божия, всегда занимавшее христианство в его долгом существовании, породило тот великий инстинкт будущего который вдохновлял всех преобразователей, упорных учеников Апокалипсиса, от Иоахима Флорского и до современного протестантского сектатора.

Бессильные попытки создать совершенное общество были источником той необычайной напряженности, которая всегда делала христианина атлетом в борьбе с настоящим. Таким образом, Царствие Божие и Апокалипсис, в полноте отражающий его образ, являются в известном смысле самым возвышенным и поэтическим выражением человеческого прогресса. Разумеется, они передали и всякие заблуждения. Кончина мира, висевшая над человечеством как постоянная угроза, заставляя периодически трепетать в течение веков, много повредила светскому развитию; общество, не уверенное в своем существовании, приобрело ту склонность содрогаться и те привычки смиренного унижения, которые ставят средние века столь ниже древнего и нового времени. Впрочем, во взглядах на пришествие Христова произошло глубокое изменение. Когда в первый раз возвестили людям, что земле настал конец, они более, чем когда-либо, испытали живое чувство радости, как дитя встречает смерть улыбкой. Старея, мир привязался к жизни. День благодати, которого так долго ждали чистые галилейские души, стал для железных веков днем гнева: *Dies irae, dies illa!* Но и в варварской среде идея Царствия Божия осталась плодотворной.

Некоторые из актов первой половины средних веков, начинающиеся формулой: «С приближением вечера мира...» — касаются отпущения на волю. Невзирая на феодальную церковь, секты, духовные ордены, святые люди продолжали восставать во имя Евангелия на неправду света. Даже в наши дни, дни смутные, когда у Иисуса нет более истинных



Апостол Павел
Мозаика



Иоанн Богослов
Мозаика

последователей, кроме тех, которые, по-видимому, его отрицают, мечты об идеальном устройстве общества, представляющие столько сходства со стремлениями первых христианских сект, — эти мечты являются в известном смысле развитием той же идеи, одной из ветвей величавого дерева, в котором таится в зародыше всякая мысль будущего, ствол и корень которого вечно будет Царствие Божие. Все общественные перевороты человечества привьются к этому слову, а социалистические попытки нашего времени, запятнанные грубым материализмом, стремящиеся к невозможному, то есть к созданию общего благоденствия политическими и экономическими мерами, будут бесплодны, пока не примут в руководство истинный дух Иисуса, я хочу сказать: абсолютный идеализм не усвоит того начала, что, дабы обладать землею, надо от нее отречься. Слова «Царствие Божие» выражают, с другой стороны, и крайне удачно, потребность, ощущенную душой, в восполнении своей доли, в возмещении за настоящую жизнь. Кто не склонен понимать человека как состав из двух субстанций, кто находит, что деистическое учение о бессмертии души противоречит физиологии, тот любит успокаиваться надеждой на конечное возмездие, которое, неизвестным нам образом, удовлетворит потребностям человеческого сердца.

Кто знает, не приведет ли последний предел прогресса через миллионы веков к абсолютному мировому сознанию и не разбудит ли в этом сознании все, что жило? Сон миллионов лет не дольше сна одного часа. При этой гипотезе св. Павел имел право сказать: «В мгновение ока!» Верно то, что нравственные и добродетельные люди получают воздаяние, что настанет день, когда чувство честного бедняка будет судить мир, и что идеальный образ Иисуса явится тогда на смущение человеку суетному, не верившему в добродетель, эгоисту, не сумевшему достичь ее. Таким образом, любимое изречение Иисуса останется полным вечной прелести. Как будто какое-то грандиозное прозрение руководило несравненным учителем, подымая его на высоту той беспредельности, откуда он мог разом обнять всякие роды истин.

Перевод А.С. Усовой



ГЕНРИ ЧАРЛЬЗ ЛИ

19 сентября 1825 г. — 24 октября 1909 г.

Жизнь

Ли родился в богатой американской семье, которой принадлежала крупная издательская фирма в США. Отец Ли, Исаак, был известным американским зоологом, а дядя (по матери), Генри Кери, — первым крупным американским социологом.

Родители Ли решили дать своим детям самое лучшее воспитание, поэтому не послали их в обычную школу, а наняли учителей. Особое внимание уделялось языкам, литературе и математике. Ли в совершенстве овладел древними языками, итальянским и французским. Уже в 15 лет (в 1841 г.) Генри Ли опубликовал в американском журнале «Науки и искусства» работу об окаменелых раковинах, за которой вскоре последовала статья по химии.



Г. Ч. Ли

В 1843 г. Генри Ли стал редактором издательства отца и быстро достиг в этом деле мастерства; работа занимала целый день, так что для собственных исследований оставались только вечера и ранее утро.

В 1844 г. во время антикатолических погромов Ли с оружием в руках защищал ближайшую католическую церковь.

В 1847 г. Ли заболел от переутомления. Для отдыха было выбрано путешествие по Европе. В это время он увлекся мемуарной литературой XVI — XVII веков. Особенно большое впечатление произвела на него хроника француза Фруассара (XIV в.), поражавшая тщательностью описаний событий того времени. С этого момента Генри Ли начинает систематически заниматься европейской историей и публиковать в американских изданиях отдельные статьи.



Война между южанами и северянами в Америке

В 1850 г. он женится на своей двоюродной сестре Анне Каролине Жудон, среди предков которой были французские гугеноты, что вызвало у Ли особый интерес к истории церкви.

В 1867 г. он опубликовал «Исторический очерк о безбрачии духовенства», а в 1869-м — «Исследования по истории церкви».

С 60-х гг. Генри Ли начинает собирать библиотеку по истории церкви. Постепенно он собрал крупнейшую библиотеку в мире по данной теме. Благодаря миллионному состоянию все цитировавшиеся Ли книги имелись у него.

На 60-е гг. пришлось и события, потрясшие американскую нацию, — Гражданская война, в которой Генри Ли принял активное участие. Он работал в военном, финансовом и исполнительных комитетах, в комитете по вербовке цветного населения, набрав в итоге несколько полков. Удачные боевые действия чернокожих солдат не только способствовали победе северян, но помогли сломить предубеждения относительно их боевых качеств и дисциплинированности.

Во время войны и сразу после нее Ли был пламенным республиканцем, но, став свидетелем всплеска партийной коррупции, достигшей кульминации в Филадельфии при создании комиссии по общественному строительству, отбросил партийную солидарность, организовал ассоциацию муниципальных реформ и был ее президентом в течение нескольких лет.

В 1880 г. Генри был активным членом Комитета сотни, образованного для нравственного контроля за политикой, а также президентом Клуба реформ. Одним из первых он поддержал реформу гражданской службы, помогая делу денежными пожертвованиями и своими публицистическими статьями. Он был одним из авторов акта по защите авторских прав, всю свою жизнь интересовался делами управления в городе, штате и федерации и, как только осознавал, что может принять участие в справедливом решении какой-либо общественной проблемы, писал редакционные дискуссионные статьи и памфлеты.

Последние двадцать лет жизни (с конца 80-х гг. XIX в.) внимание Генри Ли было сосредоточено в основном на ис-

следованиях и сочинениях в области средневековой истории. Самыми крупными его трудами в этот период стали: «История инквизиции в средние века» (1888 г., в 3-х тт.); «История индивидуальной исповеди и отпущение грехов» (1896 г., в 3-х тт.); «История инквизиции в Испании» (1906 г., в 4-х тт.), «Инквизиция в испанских доминионах» (1908 г.).

В конце жизни Генри Ли увлекся историей колдовства. Эта работа — «Материальная сторона истории колдовства» — была опубликована по заметкам автора в 1939 г.

Благодаря фундаментальным историческим трудам имя «великого старца Ли» стало очень популярно, в особенности в Европе. Генри Ли получил докторские степени Гарварда, Пенсильвании, Принстона. Он удостоился степени доктора теологии Гессенского университета, стал членом Московского Императорского университета и почетным членом многих ученых обществ Германии, Италии и Великобритании.

Судьба

Работам Генри Чарльза Ли суждено было стать больше чем историческими исследованиями. В 1899 году во время процесса над Дрейфусом и вспышки антисемитизма во Франции либералы этой страны решили издать ряд работ по проблемам веротерпимости и еврейскому вопросу. Известный французский археолог Соломон Рейнак (по происхождению еврей), по совету Огюста Молинье (французского историка), отдал предпочтение переводу «Истории средневековой инквизиции». По договоренности с Рейнаком Ли значительно переработал текст первого издания, поэтому французская версия считалась лучше издания 1888 года. Книга была выпущена большим тиражом в дешевом исполнении, с тем чтобы быть доступной массовому читателю, и оказала значительное влияние на французское общество и борьбу церкви с государством. Главы ее были напечатаны так, что их можно было покупать отдельно по цене 40 сантимов, и читатели в соответствии со своими финансовыми возможностями сами формировали книгу. Это издание получило

популярность не только во Франции, оно имелось во многих библиотеках Испании и Бельгии. Все это способствовало укреплению веротерпимости среди простых граждан.

Творчество

Первоначально внимание Ли было обращено на эволюцию правовых установлений в различных государствах. Его первый сборник — «Суеверие и насилие» — включил в себя статьи, в которых поднимались вопросы о судебных ордалиях средневековья, правовых оправданиях, судебных дуэлях и пытках. В них Ли попытался пересмотреть значимость юридических документов в исторических исследованиях. Он считал, что «история юриспруденции — это история цивилизации. Труды законодателя воплощают в себе не только нравы и обычаи своего времени, но также и сокровенные помыслы и верования, вскрывая для нашего изучения то, что нельзя утаить. Они позволяют наиточнейшим образом передать подлинную картину прошлого, ибо добавляют детали к свидетельствам хроникеров».

Генри Ли также произвел переоценку роли религиозных и культурных феноменов в истории, не акцентируя особого внимания на конфессиональных различиях. «У нас имеется достаточно хроникеров политических интриг и военных достижений, — писал Генри Ли, — тогда как та история, что организует внутреннюю жизнь народа и из которой мы выводим уроки прошлого и составляем руководство к будущему, до сих пор пребывает в небрежении».

При написании своей знаменитой «Истории инквизиции» Генри Ли переработал огромное количество литературы и источников (как опубликованных, так и архивных). При этом он ставил перед собой задачу передачи исторических фактов в том виде, в каком нашел их в ходе анализа современных событий и документов. «Факты должны говорить сами за себя». Вместе с тем Ли полагал, что история должна быть педагогом для человечества, способствовать улучшению нравов, демонстрировать торжество добра. Так, в «Истории инквизиции в Испании» он попытался показать, что

«попытка человека контролировать сознание ближних обращается против него самого».

Основной заслугой Ли является то, что он предпринял успешную попытку развенчать миф католической церкви о положительной роли инквизиции в истории, с помощью которого многие священники стремились контролировать свою паству, ведший к консервации социальной нетерпимости к другим верам. Антиклерикальная направленность исследований Генри Ли подверглась резкой критике со стороны некоторых католиков в США, однако его исторические труды были высоко оценены католической критикой за беспристрастность.

ИСТОРИЯ ИНКВИЗИЦИИ

Церковь далеко не всегда считала своею первою обязанностью бороться силою против несогласных с нею и накладывать на них молчание во что бы то ни стало. В простых общинах апостольских времен верные были связаны между собою узами любви; дух учения того времени прекрасно выразился в обращении апостола Павла к Галатам: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните Закон Христов».

Иисус заповедал своим ученикам прощать их братьям семьдесят раз семь, и в то время, когда писал апостол Павел, учение Христа было еще настолько свежо, что не могло быть погребено под массой обрядов и догматов, в которых мертвящая буква душил живой смысл. Великие вечные идеи христианства удовлетворяли горячее чувство верных. Догматическое богословие со своими бесконечными хитросплетениями и метафизическими тонкостями еще не родилось; не была еще создана даже его терминология. Надо было еще извлечь путем индукции из выражений, проскользнувших у писателей, трактовавших о совсем других предметах, те бесчисленные догматы веры, которые провозглашала догматика; надо было еще создать их путем дословного толкования поэтических метафор Священного Писания.

Испытываешь чувство истинного облегчения, когда от тон-

костей, почти недоступных человеческому разумению, обращаешься к полным глубокого смысла словам апостола Павла к Тимофею: «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, чем Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры». Тех, кто находил удовольствие в этих бесконечных спорах, апостол Павел называет «желающими быть законоучителями, но не понимающими ни того, что говорят, ни того, что утверждают», и дает следующий совет своему любимому ученику: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рожают ссоры». И часть Эбионистов была согласна с апостолом Павлом, говоря: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призи́рять сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».

Но уже было брошено семя, которое должно было дать богатую жатву злых дел и бедствий. Сам апостол Павел не допускает уже, чтобы отклонялись от учения, приносимого им: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». В другом месте апостол Павел говорит, что он придал Сатане Именея и Александра, «дабы они научились не богохульствовать». Быстрое развитие религиозной нетерпимости уже ясно видно в угрозах Апокалипсиса, направленных против вероотступников и еретиков Семи Церквей. Богословие не могло создаться без того, чтобы не выдвинуть целого ряда вопросов, на которые у евангелистов не дано ответа. В пылу спора богословы до того преувеличивали рассматриваемые ими вопросы, что ставили в зависимость от них даже самое существование христианства. Люди стали искренне верить, что их противники не могут считаться христианами, так как они расходятся с ними в некоторых второстепенных вопросах, касающихся обрядности или учения, или в некоторых догматических тонкостях, уловить которые мог только изощренный ум схоластика. Когда Квинтилла начал учить, что крещение можно совершать и без воды, то Тертуллиан воскликнул, что отныне между ними нет ничего общего, что они поклоняются разным Богам и Христос их не оди-



Святые первоверховные апостолы Петр и Павел

наков. Ересь донатистов, причинившая так много несчастий, была вызвана вопросом об избираемости одного только епископа. Когда Евтихий в пылу обличений учений Нестория дошел до смешения двух естеств в Иисусе Христе, уверенный, что он поддерживает учение друга своего св. Кирилла, он неожиданно для себя был уличен в предосудительной ереси. Его возражения против тонкой риторики Евсевия из Дорилеи показывают, что он не понимал тонкого различия между *substantia* и *subsistentia* — роковая ошибка, стоившая жизни тысячам людей. Таким образом, в течение первых шести веков в то время, когда человеческая пытливость разбирала бесконечные

проблемы о земной жизни и о жизни будущего века, беспрерывно возникали новые вопросы, вызывавшие ожесточенные споры. Люди, занимавшие высокое положение в Церкви, могли давать силу закона своим мнениям и оставались, конечно, вполне верными католичеству; менее же сильные были объявлены отпавшими от католичества, и деление между верными и еретиками с каждым веком становилось заметнее.

И не только богословская нетерпимость, не только гордость человеческой мысли или ревность по чистоте веры возбуждали эти пагубные страсти. Богатство и власть имели обаяние в глазах даже епископа и священника, и чем шире с течением времени распространялись пределы Церкви, тем более ее богатство и сила становились в зависимость от послушания стада. Самым опасным мятежником является пылкий теоретик, высказывавший сомнения относительно догматической правильности мнений лица высшего, чем он, в церковной иерархии; и если ему удавалось собрать около себя учеников, то он становился душою восстания, которое легко могло превратиться в настоящую революцию. Там, где еретиков было достаточно много, чтобы образовать свою особую общину, они не обращали никакого внимания на то, что их отсекали от Церкви; решения духовных судов были бессильны против убеждений изуверов. Результатом было то, что этих сектантов стали преследовать с большей жестокостью, чем самых закоренелых преступников. Как бы ни была ничтожна первоначальная причина раскола, как бы ни была чиста и горяча вера разошедшихся с Церковью, уже одно то, что они отказались склониться перед признанным авторитетом, являлось таким крупным преступлением, перед которым казались ничтожными все другие грехи и которое, так сказать, сводило к нулю все добродетели и все благочестие, которые могли проявить виновные. Даже сам св. Августин в той горячей восторженности, с которой донатисты переносили мученическую смерть и даже искали ее, не находил ничего такого, что могло бы смягчить его отвращение к ним. Если бы они имели в своем сердце Христа, то их самоотречение заслуживало бы похвалы; но они действовали по внушению Сатаны, как евангелистские свиньи, которых нечистый дух увлек на дно озера. Даже мученический венец, принятый во имя Христа, не может спасти схизматиков и ере-

тиков от вечного огня, где они будут жариться вместе с Сатаной.

Однако дух преследования так сильно противоречил учению Христа, что он не мог восторжествовать без предварительной долгой и сильной борьбы, следы которой мы находим в творениях первых отцов Церкви. Тертуллиан горячо защищает свободу совести: «Навязывать религию, — пишет он, — дело, совершенно противоречащее религии; никто не добивается вынужденных силой выражений преданности, и Бог любит только тех, кто ищет Его от чистого сердца». Но когда споры с гностиками возбуждали воинственный пыл Тертуллиана, ему не трудно было находить во Второзаконии и Числах подходящие тексты в подтверждение того положения, что упорство должно быть побеждаемо не словом убеждения, а силой оружия. Святой Киприан учит, что мы должны стараться сделаться пшеничными колосьями, а плевелы мы должны оставлять на волю Бога, и он приравнивает к святотатству того, кто, присваивая права Бога, разыскивает и вырывает плевелы; но в то же время сам Киприан, не задумываясь, отсекал от Церкви всех несогласных с ним и обрекал их на вечную гибель; другими словами, применял к ним единственную форму преследования, практиковавшуюся в его время. В сущности, было вполне естественно, что Церковь, сама еще гонимая, защищала принципы веротерпимости, а тот факт, что даже и тогда дух нетерпимости стремился пробиться наружу, мог бы заранее показать миру, чего ждать ему от Церкви, когда она получит материальную возможность навязывать свое учение сопротивляющимся. Но, однако, Лактанций, последний еще из отцов гонимой Церкви, говорил, что вера не должна быть навязываема силою, что убийства и благочестие не имеют ничего общего между собой. Она добавляет, что никого не следует принуждать силою оставаться в лоне Церкви, так как Богу не нужны те, в ком нет истинного благочестия.

Торжество нетерпимости стало неизбежным с того дня, когда христианство сделалось государственной религией; но дух нетерпимости, однако, развивался медленно, и мы вправе заключить отсюда, что сильно еще чувствовалось противоречие между духом Евангелия и духом преследования. Как только

догматы православия были утверждены на Никейском соборе, Константин сейчас же пустил в ход авторитет государства, чтобы установить единство учения. Все священники еретиков и схизматиков были лишены преимуществ и неприкосновенности, которыми пользовалось духовенство; места их собрания были отобраны в пользу Церкви, и им были запрещены как публичные, так и частные собрания. Интересно отметить, что эти распоряжения исполнялись с самой неутомимой энергией в то время, когда свободно существовали по всей Империи языческие храмы и когда беспрепятственно отправлялось языческое богослужение. Хотя учителя Церкви и думали что их главная обязанность заключается в том, чтобы не допускать распространения учений, казавшихся гибельными для Церкви, они все же не решались доводить нетерпимость до крайних ее логических выводов и добиваться единства Церкви ценою крови. Но, по-видимому, они уже подумывали об этом, так как император Юлиан прямо заявляет, что он никогда не видал диких зверей, которые были бы столь кровожадны, как большинство христиан в отношении своих единоверцев. Константин под страхом смерти предписал выдачу всех арианских книг, но, по-видимому, никто не был приговорен за это к смерти. В конце концов император, утомленный постоянными спорами, приказал св. Афанасию допускать всех христиан, без различия сект, до посещения храмов; но старания императора-миротворца были бессильны против возрастающей бури догматических споров. Сообщают, что Валенций в 370 г. предал смерти восемьдесят духовных лиц православного исповедания, пожаловавшихся ему на насилие ариан; правда, это не было казнью по суду, но префекту Модесту было дано тайное приказание заманить указанных лиц на корабль и сжечь его в открытом море.

Впервые применение смертной казни за принадлежность к ереси произошло в 385 г., и вызванный этим повсюду ужас показывает, что все отнеслись к казни как к отвратительному новшеству. Приписанные Присциллиану гностические и манихейские умозрения вызвали то исключительное отвращение, которое Церковь всегда питала к ересям этого рода; но, когда он, осужденный тираном Максимом в Трире, был подвергнут пытке и предан казни с шестью своими учениками, остальные были сосланы на острова по ту сторону Бре-

тани, то по всей Европе раздался громкий крик негодования. Из двух епископов, преследовавших Присциллиана, Итация и Идация, один был прогнан с своей кафедры, а другой сам удалился на покой. Святой Мартин Турский, сделавший все зависевшее от него, чтобы помешать этому жестокому решению, отказался иметь общение не только с этими епископами, но и с теми, кто находился с ними в сношениях. Хотя он, в конце концов, и уступил, чтобы испросить помилование для нескольких людей, за которых он просил у Максима, а также для того чтобы помешать тирану преследовать последователей Присциллиана в Испании, все же он, несмотря на то, что к нему сходил ангел-утешитель, был страшно огорчен и даже утверждал, что на некоторое время лишился силы изгонять бесов и излечивать недужных.

Если Церковь не решалась еще проливать кровь, то она уже не стеснялась прибегать ко всем другим средствам, чтобы доставить торжество установленной религии. В начале V века святой Иоанн Златоуст учит, что ересь должна быть подавляема, что на уста еретиков должно быть накладываемо молчание, что они должны быть поставлены в такое положение, чтобы не могли совращать других, и что, наконец, их тайные сборища не должны быть допускаемы; но при всем том он добавляет, что к ним не следует применять смертной казни. Около того же времени святой Августин умоляет префекта Африки не придавать донатистов смертной казни; ибо, говорит он, если будут преследования, то ни один священник не решится выдать донатиста, так как он предпочтет умереть сам, чем быть причиной смерти другого. Однако Августин одобрил императорские законы, согласно которым донатисты изгонялись, подвергались штрафам, лишались церкви и права делать духовные завешания; в утешение их он говорил им, что Богу не угодно, чтобы они умерли в несогласии с единою католическою Церковью. «Если, — говорил он, — принуждают человека удалиться от зла и сотворить благо, то это не принуждение, а проявление христианской любви», а когда несчастные схизматики возражали, что вера не должна быть никому навязываема, то он заявлял что это верно в принципе, но что грех и неверие должны быть наказуемы.



Августин Аврелий

Фрагмент росписи алтаря. Дийон, муниципальный музей



„Видение Блаженного Августина”

Худ. Фра Филиппо Липпи

Мало-помалу все сомнения были устранены, и люди нашли нарочитые доводы, чтобы дать свободу своей ненависти и злобе. Пылкий святой Иероним, когда гнев его был возбужден Вигилансом, отрицавшим поклонение мошам, выразил свое удивление, что епископ не сокрушил тела этого дерзкого еретика, чтобы спасти его душу, и утверждал, что благочестие и ревность во славу Бога ни в коем случае не могут считаться жестокостью. В другом месте он говорит, что строгость есть только известная форма самой искренней любви к ближнему, так как, наказуя тело, мы спасаем душу от вечной гибели. Через шестьдесят два года после казни Присциллиана и его единомышленников, вызвавшей такое содрогание, папа Лев I, когда ересь снова проявилась в 447 г., не только одобрил действия тирана Максима, но даже объявил, что если сохранять жизнь последователям подобной, достойной осуждения, ереси, то это будет нарушением божеских и человеческих законов. Таким образом, решительный шаг был сделан, и Церковь окончательно была призвана всеми средствами искоренять ересь. Нельзя не видеть влияния духовенства в появлении целого ряда императорских указов, начиная с эпохи Феодосия Великого, которыми упорство в ереси наказуется смертью.

Эволюции, поворотные пункты которой мы отмечаем, в зна-

чительной степени благоприятствовала ответственность, которая падала на Церковь вследствие ее тесных связей с государством. Когда она смогла добиться от монарха издания указов, осуждающих еретиков на изгнание, ссылку, каторгу и смерть, она думала, что Бог дал в ее руки силу, которою отнюдь не следует пренебрегать. В то же время она с последовательностью, свойственной человеку, утверждала, что не является ответственной за казни, назначаемые законом, и что руки ее никогда не обагрятся кровью. Епископ Итаций отказался сам выступить в деле Присциллиана в качестве обвинителя, а выставил вместо себя одно светское лицо; ниже мы увидим, что к подобным же уверткам прибегала и Инквизиция, но неискренность в этом случае очевидна для всякого. В обширном сборнике императорских указов, присуждающих еретиков ко всевозможным лишениям прав и к разным наказаниям, ревностное духовенство могло находить доказательство того, что государство само считало своим первым долгом заботу о сохранении веры в ее чистоте. Но если только государство или кто-либо из представителей власти проявляли хотя бы незначительное послабление в отношении еретиков, то немедленно выступала на сцену Церковь и показывала свое жало. Так, напр., африканская церковь неоднократно требовала вмешательства светской власти для уничтожения донатизма; Лев Великий настоятельно требовал от императрицы Пульхерии уничтожения последователей учения Евтихия; Пелагий I, понуждая Нарцисса силою подавить ересь, счел нужным успокоить честного солдата, доказывая ему, что предупреждение или наказание греха не есть преследование, а проявление любви. Это стало общим учением Церкви, и св. Исидор Севильский ясно формулировал его, сказав, что долг князей не только в том, чтобы быть самым верными Церкви, но и в том, чтобы поддерживать веру в ее чистоте, применяя к еретикам все средства, доступные им. Печальные результаты этого учения, постоянно повторяемого, проходят красною нитью через всю историю Церкви занимающей нас эпохи. Ереси уничтожались одна за другой без всякого снисхождения, включительно до костра, который был принят на Константинопольском соборе, при патриархе Михаиле Оксиде, как мера наказания для богомилов.

Нужно, однако, сказать, что и сами еретики, когда им



Император Феодосий Великий

представлялся к этому случай, также применяли приемы своих противников. Преследование верных Церкви вандалов арийцами в Африке при Гензерихе было вполне достойно господствующей Церкви; а когда Гуннерих наследовал своему отцу и император Зенон отверг его предложения относительно взаимной веротерпимости, король вандалов довел свою ревность к вере до самых ужасных пределов. Было также непродолжительное преследование арианами верных Церкви и в Аквитании при Еврике, короле визиготском. Но все же нужно сказать, что вообще ариане, готы и бургунды, давали достойный подражания пример веротерпимости. Обращение этих народов отмечено немногими случаями жестокости, если не считать мимолетного восстания, происшедшего в Испании при Левицильде в 585 г.; но это восстание носило скорее политический, чем религиозный характер. Последующие же католические монархи издавали законы, карающие изгнанием и конфискацией за каждое уклонение от Церкви; у варваров мы находим один только пример подобного законодательства. Французские Меровинги, по-видимому, никогда не преследовали своих подданных ариан, которых было много в Бургундии и Аквитании; обращение их происходило последовательно и, судя по всему, мирным путем.

До этого времени латинская Церковь принимала слабое участие в преследовании, так как население запада было менее, чем население востока, восприимчиво к изобретению и усвоению еретических учений. После падения Западной Империи латинская Церковь предприняла крупную работу, которая надолго поглотила всю ее энергию и за которую она заслуживает признательность всего мира: она направила свои силы на обращение и просвещение варваров. Вновь обращенные не были такими людьми, чтобы пускаться в туманные умозрения; они принимали религию, которую им принесли, признавали без всяких рассуждений все догматы и, несмотря на свою грубость и дикость, доставляли немного забот охранителям истинной веры. Вполне естественно, что при подобных условиях дух преследования угас. Клавдий Туринский, уничтоживший в своей епархии все иконы, не подвергся наказанию за свое иконоборство. Феликсу Ургельскому простили адоптианизм, и, несмотря на его явную неискренность, его снова присоединили к Церкви; правда, ему не дали уже его старой епископской кафедры, но он мог спокойно жить в Лионе целых пятнадцать или двадцать лет; тайно он оставался при своих убеждениях, и после его смерти в его бумагах нашли полное изложение еретического учения. Не видим мы также, чтобы прибегали к насилию, когда архиепископ Лейдрад обратил двадцать тысяч каталонских учеников Феликса; главный среди них Елипанд, архиепископ Толедский, сохранил даже свою кафедру, хотя ничто не показывает, чтобы он отрекся от своих заблуждений. Когда монах Готшальк открыто проповедовал в Италии, Далмации, Австрии и Баварии свое еретическое учение о предопределении, то Рабан Майнцский ограничился тем, что созвал собор, который в присутствии Людовика Германика осудил его учение. Но собор не наложил на него никакого наказания, а отправил его к его епископу, Гинкмару Реймскому, который, с согласия Карла Лысого, признал Готшалька на соборе в Чьерси в 849 г. неисправимым еретиком. В то время настолько не привыкли еще присуждать еретиков к телесным наказаниям, что собор, приговорив Готшалька к розгам, счел нужным объяснить, что это не что иное, как простое бичевание, установленное Агдским собором для тех мо-

нахов, которые нарушили бы устав св. Бенедикта, отправившись странствовать без разрешительных грамот своего епископа. Если Готшалка заключили в тюрьму, то это только для того, как было сказано, чтобы он не распространял своей ереси. Законы Карловингов были весьма мягки к еретикам: их только приравнивали к язычникам, к евреям и к обесчещенным людям и подвергали известным, предусмотренным законом, ограничениям.

В X веке Западная Европа находилась как бы в умственном оцепенении, что, конечно, мало благоприятствовало развитию ересей, требующему известного напряжения умственных сил. Церковь, единолично господствуя над спящею совестью, сложила заржавленное оружие преследования и разучилась владеть им. В 1018 г. епископ Бурхардт составил свой сборник канонического права, и в нем нет даже упоминаний о еретических мнениях и о наказаниях за них, если не считать нескольких забытых канонов, опубликованных еще в 305 г. Ельвирским собором относительно вероотступников, вернувшихся в идолопоклонство. Даже введение догмата о пресуществлении было встречено совершенно безучастно; только через двести лет после Готшалка Беранже Турский подверг это учение сомнению, но так как он не был создан для мученического венца, то легко уступил и отказался от своих взглядов. Более горячая вера катаров, начавших в XI столетии возмущать стоячие воды католической религии, потребовала более решительных действий; но даже и в отношении этих, внушавших отвращение, еретиков Церковь с трудом только согласилась прибегнуть к строгости. Это было для нее совершенно новое дело; она боялась стать в противоречие со своим собственным учением, которое проповедовало кротость и любовь к ближнему, и нужно было проявление народного фанатизма, чтобы пробудить ее от бездеятельности. Преследование, имевшее место в Орлеане в 1017 г., не было делом Церкви, а короля Роберта Благочестивого; немного позднее были зажжены костры в Милане, но народом, и даже против воли архиепископа. Церковь так мало была подготовлена к своим новым и ужасным обязанностям, что, когда в 1045 г. были открыты в Шалоне несколько манихеев, то епископ Роже обратился к

Льежскому епископу Вазо с запросом, что с ними делать и нужно ли предать их в руки светской власти для наложения для них наказания; добродушный Вазо ответил на это, что не следует лишать их жизни, так как Бог, их Создатель и Хранитель, проявил к ним Свое долготерпение и милость. Биограф Вазо, каноник Ансельм, горячо осуждает казни, бывшие в Госларе в 1052 г. при Генрихе III, говоря, что, если бы Вазо был там, он восстал бы против этого, подобно св. Мартину в деле Присциллиана. Той же кротостью отличалось поведение св. Арнольда Кёльнского около 1060 г. : несколько человек, несмотря на неоднократные приказания, продолжали есть Великим постом молоко, масло и сыр; архиепископ разрешил им действовать по их усмотрению, добавив, что истинно твердые в вере не могут духовно оскорбляться различием в пище. Еще в 1144 г. Льежская Церковь радовалась, что ей с Божьей помощью удалось вырвать большую часть уличенных и осужденных катаров из рук неистовствовавшей толпы, которая хотела их сжечь. Спасенных разместили по городским монастырям и послали к папе Луцию II запрос, как поступить с ними.

Мы не станем останавливаться на случаях, приведенных в предшествующей главе, которые показывают, насколько колеблющимся было в эту эпоху отношение Церкви к ереси; не было ни определенного взгляда, ни установившегося правила; то строго преследовали еретиков, то относились к ним снисходительно; все зависело от характера прелата, ведшего дело. Теодвин, преемник Вазо по кафедре в Льеже, писал в 1050 г. французскому королю Генриху I, убеждая его наказать всех единомышленников Беранже Турского и не слушать их объяснений. Эти колебания от строгости к прощению отразились в замечаниях св. Бернара, сделанных им по поводу событий в Кёльне в 1145 г., когда чернь, увлеченная ревностью к вере, несмотря на сопротивление духовенства, схватила катаров и сожгла их живыми. Он утверждает, что еретики должны быть обрашаемы убеждениями, а не силой; если же они продолжают упорствовать, то нужно прекратить с ними всякое общение; одобряя ревность жителей Кёльна, он не хвалит их поступка; но он допускает, что светская власть обязана мстить за оскорбле-



Король Роберт II Благочестивый

ния, наносимые Богу ересью, и, забывая, какой опасности подвергается человек, когда он начинает считать себя орудием Божьего гнева, он приводит следующие слова апостола Павла: «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро; если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч:

он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое».

Папа Александр III явно склонялся к прощению, когда в 1162 г. отказался судить присланных к нему Реймским архиепископом катаров, сказав, что лучше простить виновных, чем предать смерти невиновных. Даже еще в конце XII столетия Петр Кантор утверждал, что апостол приказал избегать еретиков, а не убивать их, и он указывал, как непоследовательно строго карать самые незначительные отступления от веры и оставлять безнаказанными самые возмутительные преступления против нравственности.

Также неопределенным был взгляд на вопрос о том, каким наказаниям подвергать еретиков; мы уже неоднократно видели примеры того, что еретиков то сжигали живыми, то приговаривали к тюремному заключению; потребовалось много времени, чтобы на этот счет были выработаны точные и определенные правила. Даже в 1163 г. Александр III, стараясь на Турском соборе остановить грозные успехи манихеизма в Лангедоке, ограничился лишь тем, что предложил светским князьям заключать еретиков в тюрьму, а их имущество подвергать конфискации; и, однако, в Кельне в том же году катары были приговорены к сожжению на костре специально посланными судьями. В 1157 г. Реймский собор постановил клеймить еретикам лица раскаленным железом; то же наказание определил в 1166 г. и Оксфордский собор. Первые мероприятия Иннокентия III против альбигойцев в 1199 г. ограничивались изгнанием и конфискацией; он ни словом не намекает на более тяжелые наказания; да и указанные им могли заменяться такою легкой епитимьею, как путешествие на поклонение святыням Рима или Компостеллы.

Но по мере того, как разгоралась борьба, наказания становились более жестокими; однако даже сам Симон де Монфор в кодексе, опубликованном в Памье 1 декабря 1212 г., не присуждает еще еретиков к сожжению, хотя в этом же году в Страсбурге было сожжено восемьдесят еретиков. Мы уже упоминали, что Петр II Арагонский, к стыду своему, первый ввел в свод законов эдиктом 1197 г. эту варварскую форму наказания. Пример его не скоро нашел подражателей. Оттон I в своей конституции 1210 г. ограничивает наказание еретиков изгнанием их из империи, конфискацией

их имущества и разрушением их домов. Фридрих II в своем знаменитом статуте 22 ноября 1220 г., которым преследование еретиков было введено в государственное право Европы, ограничился по отношению к ним конфискацией имущества и признанием их вне закона; последнее, впрочем, равнялось, в сущности, смертной казни, так как ставило жизнь еретика в зависимость от каприза первого встречного. В своей конституции марта 1224 г. он пошел дальше и постановил, чтобы еретики предавались смертной казни или через сожжение, или через вырывание языка, предоставив суду право выбора того или другого наказания. И только в своей Сицилийской конституции 1231 г. Фридрих сделал обязательным сожжение на костре; этот вид казни особенно часто практиковался в неаполитанских владениях императора. Равеннский Эдикт, изданный в марте 1232 г., определяет смертную казнь за принадлежность к ереси, но не указывает ее вида; зато Кремонский эдикт, изданный в мае 1238 г., распространил сицилийский закон на всю империю и сделал, таким образом, костер законным наказанием за ересь по



Оттон I

всей империи. Позднее такое же постановление мы находим в *Sachsenspiegel* и в *Schwabenspiegel*, в муниципальных законах северной и южной Германии. В Венеции с 1249 г. дож, вступая в управление, давал присягу сожигать всех еретиков. В 1255 г. король Кастильский, Альфонс Мудрый, назначил сожжение на костре за переход из христианства в магометанство или иудейство. Во Франции законодательство, принятое Людовиком Святым и Раймундом Тулузским для выполнения постановлений договора 1229 г., хранит глубокое молчание относительно рода наказания, хотя в это время костер уже вошел во всеобщее употребление. И только в 1270 г., когда Людовик Святой издал свои *E t a b l i s s e m e n t s*, мы находим впервые прямую статью, осуждавшую еретиков на сожжение живыми, хотя выражения, в которых упоминает о ней Бомануар, показывают, что этот обычай уже издавна вошел в употребление. Англия, которая почти не знала ереси, зажгла костры позднее: статья *de haeretico Comburendo* была установлена статусом только в 1401 г., когда восстание лоллардов причинило беспокойство одновременно и Церкви, и государству.

Однако этот жестокий обычай — сжигать еретиков живыми — не был создан положительным законом; законодатель принял только ту форму мщения, в которой в ту эпоху народная грубость находила себе удовлетворение; примеры этого приведены нами в предшествующей главе. Еще в 1219 г. в Труа был схвачен чернью сумасшедший, утверждавший, что он Святой Дух; его увязали в ивовую корзину, обложили хворостом и сожгли. Нелегко определить происхождение этой казни; быть может, его надо искать в языческом законодательстве Диоклетиана, осудившего манихеев на сожжение. Ужасная смерть мучеников в эпоху преследования христианства, по-видимому, внушала, если не оправдывала, применение подобных же наказаний в отношении еретиков; нередко сжигали колдунов в силу императорских указов, и Григорий Великий приводит случай, когда толпа, ослепленная религиозной ревностью, сожгла одного такого несчастного. Так как ересь считалась одним из наиболее тяжелых преступлений, то желание, общее и духовным и мирянам, покарать ее казнью как можно более строгой и ужасной нашло подходящим костер. К тому же при

существовавшем тогда способе толкования Священного Писания не трудно было найти в нем указание на казнь через сожжение. В Евангелии Иоанна мы читаем: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь; и они сгорают». Буквальное толкование текстов Священного Писания было таким частым источником заблуждений и преступлений, что нечего удивляться и подобному толкованию данного места. Толкование, подтвержденное декретом Луция III, предписавшего отдавать еретиков в руки светской власти для наложения на них наказания, ссылается на текст из Евангелия Иоанна и на императорское законодательство, а затем торжественно заключает, что смерть на костре является наказанием, вполне подходящим еретикам и «согласным с божескими и человеческими законами, а также с общепринятой практикой». И не следует думать, что из жалости еретиков удушали раньше чем сжигали; люди, посвятившие свою жизнь на служение Инквизиции, категорически заявляют, что виновный должен быть сожжен живым в присутствии народа; они добавляют, что можно сжечь население целого города, если он является притоном еретиков.

Как ни были неопределенны в продолжение XI и XII веков отношения Церкви к ереси, Церковь никогда не сомневалась в том, как должна относиться к ней светская власть. Очень древний обычай, основанный на идее благоприличия, запрещал духовному лицу принимать участие в приговоре, влекущем за собой смерть или увечье; духовное лицо не должно было даже присутствовать в комнате пыток, где осужденных клали на кобылу. Это отвращение к крови и к страданиям было доведено до крайних пределов в эпоху самых кровавых преследований. В то время, когда тысячи людей были преданы смерти в Лангедоке, Латеранский собор 1216 г. восстановил старые каноны, запрещавшие духовным лицам произносить смертные приговоры или присутствовать при казнях. Они не имели права даже делать ни одной хирургической операции, требовавшей применения огня или железа. В 1255 г. собор в Бордо запретил им даже писать или диктовать бумаги, относящиеся до смертных приговоров. Церковь так глубоко чувствовала, какое сильное пятно наносит пролитие крови, что предписывала подвергать осо-



Король Людовик Святой

бому обряду очищения храм или кладбище, где случайно была пролита кровь; в этом отношении шли так далеко, что священники не должны были допускать заседаний судов в церквях, так как судьи могли вынести смертный приговор. Если бы опасение принимать участие в составлении приговоров,

осуждавших на смерть и пытки, было искренне, то Церковь заслуживала бы от нас глубокого уважения, но это было только хитрой уловкой, чтобы снять с себя ответственность за известные поступки. При преследовании ереси духовный суд не выносил смертных приговоров; он ограничивался признанием обвиненного еретиком, после чего он его о т п у с к а л, т. е. предавал в руки светской власти, лицемерно при этом заклиная ее отнестись к нему снисходительно, пощадить его жизнь и не проливать его крови. Чтобы понять это воззвание к милосердию и снисхождению, нужно вспомнить, как смотрела Церковь на обязанности светской власти. Инквизиторы облекли в форму закона, что всякий, даже только подозреваемый в недостаточно энергичном преследовании преступлений, касающихся вопросов внутреннего убеждения, сам совершал преступление, равное ереси, и заслуживал такого же наказания.

Как только успехи ереси приняли угрожающие размеры, были возобновлены указы Льва и Пелагия. Уже в начале XII столетия Гонорий Отенский провозгласил, что необходимо прибегать к мечу светских властей в отношении тех, кто, противясь слову Божию, будет упорно отказываться слушаться Церкви. В сборниках канонического права Ивеса и Грациана указания на отношения Церкви к еретикам очень малочисленны, но зато очень много положений об обязанностях светского монарха в деле искоренения ереси и о послушании его в этом отношении предписаниям Церкви. Фридрих Барбаросса подтвердил это учение, заявив, что меч дан ему для того, чтобы он поражал им врагов Христа; он сослался на это в 1159 г., чтобы оправдать свои враждебные отношения к Александру III и свою помощь антипапе Виктору IV. Второй Латеранский собор 1139 г. предписывает всем владетельным лицам приводить еретиков к послушанию; а третий Латеранский собор 1179 г. набожно заявляет, что Церковь не жаждет крови, но что она обращается за помощью к светской власти, потому что люди, чтобы избежать телесных наказаний, готовы принять исцеление души. Мы уже видели, что первоначально все эти воззвания не производили большого впечатления. Позднее, отчаявшись добиться от светских князей добровольной помо-

ши, Церковь сделала шаг вперед и взяла на себя всю ответственность за наказания, как телесные, так и духовные, признанные необходимыми для подавления ереси. Декрет Луция III, изданный на так называемом Веронском соборе 1184 г., обязывал всех светских суверенов давать в присутствии епископа присягу, что они точно и пунктуально будут исполнять все духовные и гражданские законы против ереси. Всякий отказ, даже всякое упущение должны быть наказуемы отлучением от Церкви, потерей власти или ограничением ее; если же вопрос шел о городах, то они должны были быть изолированы и лишены всякого общения с другими.

Таким образом, Церковь силою старалась заставить светских князей выступить на путь преследования, и, раз приняв подобное решение, она стала неумолимой. Всякая нерешительность в деле преследования влекла за собою отлучение от Церкви, а если это не действовало, то Церковь не задумывалась предоставлять первому встречному авантюристу владения не покоряющегося ей князя. Неужели подобное чудовищное вмешательство духовной власти должно было сделаться государственным законом? Вот вопрос, возникший в эпоху крестовых походов против альбигойцев. Как разрешили его, мы уже знаем. Раймунд лишился своих владений только потому, что он не желал строго поступать с еретиками; а сын его получил те земли, которые еще у него оставались, как новую инвеституру. Торжество Церкви и нового учения было полное.

Церковь дала почувствовать всем облеченным властью, без различия их социального положения, что занимаемые ими места были, в сущности, должностями всемирной теократии, в которой все интересы были подчинены одной главной обязанности — поддерживать чистоту веры. Гегемония Европы принадлежала Священной Римской империи, где император при короновании посвящался в низший разряд священнослужителей и обязывался предавать анафеме всякую ересь, которая могла бы угрожать Церкви. Давая ему кольцо, папа говорил ему, что это символ возлагаемой на него обязанности уничтожать ересь; опоясывая его мечом, папа говорил, что меч этот вручается ему на избивание врагов Церкви. Фридрих II заявлял, что он получил императорское

достоинство для того, чтобы поддерживать и распространять веру. В булле Климента VI, подтверждающей избрание Карла IV, при перечислении обязанностей императора на первом месте стоят распространение веры и уничтожение ереси: небрежность короля Венцеслава в подавлении ереси Виклефа была признана достаточным основанием для его низложения. Богословы утверждали как непреложную истину, что императорская власть перешла от греков к немцам единственно для того, чтобы дать в руки Церкви могущественное оружие. Принципы, примененные в деле Раймунда Тулузского, были внесены в каноническое право, и всякий суверен, князь или сеньор, должен был знать, что его земли будут отданы на разграбление, если он, несмотря на напоминания, будет колебаться преследовать ересь. В таком же положении были и все светские должностные лица. Тулузский собор 1229 г. постановил, что всякий балый, проявивший недостаточно рвения в преследовании ереси, должен быть лишен имущества и права избрания на общественные должности. В 1244 г. Нарбоннский собор объявил, что если кто-либо из светских судей промедлит в деле подавления ереси, то он должен считаться единомышленником еретиков и подвергнуться равному с ними наказанию; это постановление было распространено и на тех, кто упустит благоприятный случай схватить еретика или только не придет на помощь задержавшим его. Обязанность преследовать еретиков была возложена на всех, начиная от императора и кончая последним крестьянином, под угрозой всех духовных и телесных кар, какими располагала Церковь XIII века.

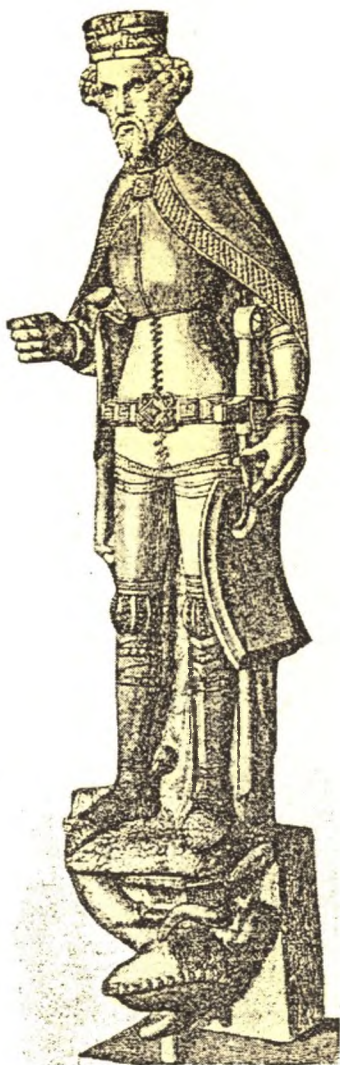
Эти идеи, прямо или замаскированно, были введены в государственное право Европы. Фридрих II принял их в своих жестких указах против ереси, откуда они проникли в сборники гражданского и феодального права и даже в местное законодательство. Так, напр., в 1228 г., согласно Веронским статутам, всякий начальник города при своем вступлении в должность дает присягу изгонять из города всех еретиков; в Schwabenspiegel, кодексе, имевшем значение во всей южной Германии, говорится, что суверен, если он окажется небрежным в преследовании еретиков, должен быть лишен всех своих владений и что если он не предаст сожжению всех тех, кого пе-

**Фридрих II***Миниатюра XIII в.*

редаст ему духовный суд, как еретиков, то он должен быть сам наказан за ересь.

Церковь зорко наблюдала за тем, чтобы это указание не оставалось мертвою буквою. Она настояла на том, чтобы жестокие указы Фридриха читались и объяснялись в высшей юридической школе в Болонье как основное положение законоведения и чтобы они были внесены в каноническое право. Ниже мы увидим, что папы неоднократно приказывали вносить эти указы в сборники законов городов и государств; на обязанности инквизитора лежало требовать их исполнения от всех должностных лиц под страхом отлучения нерадивых от Церкви. Но даже и само отлучение, лишавшее су-

дью власти и компетенции, не избавляло его от обязанности наказывать еретиков по требованию епископа или инквизитора. Раз это так, то ясно, что просьба инквизиторов перед светскими судьями о снисхождении к жертвам, передаваемым светской власти и обреченным на костер, была пустою формальностью, порожденною желанием духовенства не принимать открыто участия в произнесении смертных приговоров. Но с течением времени это лицемерие было несколько забыто; так, напр., в феврале 1418 г. Констанцский собор постановил, что все, кто будет отстаивать гуситизм или считать Яна Гуса и Иеронима Пражского за святых, должны быть причислены к еретикам и сожжены живыми — *puniantur ad ignem*. Утверждать, что обращения инквизиторов к снисхождению светских властей были искренни, что вся ответственность за смерть еретика падала на судью, а не на инквизитора, как это делают современные защитники Инквизиции, значить исказить историю и подтасовывать факты. Мы живо представляем себе, с какой улыбкой удивления услышали бы Григорий IX или Григорий XI рассуждения графа Жозефа



Карл IV

де Местра, утверждающего, что ошибочно думать, чтобы когда-нибудь какой-либо католический священник был причиной смерти одного из своих ближних.

И не только внушали христианам, что их главная обязанность способствовать уничтожению ереси, но даже их заставляли без всякого зазрения совести доносить на еретиков властям, вопреки всяким божеским и человеческим побуждениям. Узы крови не служили оправданием тому, кто скрывал еретика: сын должен был доносить на отца; муж являлся виноватым, если не выдавал жены на ужасную смерть. Преступная принадлежность к ереси уничтожала все узы, соединяющие людей; детям внушали, что они должны покидать своих родителей; даже таинство брака не могло соединить верную католичеству женщину с мужем-еретиком. Не больше значения имели и частные обязательства. Иннокентий III напыщенно объявляет, что согласно канонам не надо соблюдать слова, данного тому, кто сам не соблюдает верности Богу. Никакая клятва молчания не имела значения, если дело касалось ереси, ибо «тот, кто верен в отношении еретика, не верен в отношении Бога». Вероотступничество, говорит епископ Лука Тудельский, — величайшее преступление; вследствие этого, если кто клятвенно обещал не выдавать этого ужасного проступка, то он все же должен объявить об ереси и покаяться в клятвopреступлении, уверенный, что ему будет дано прощение греха в виду его ревности к вере.

Таким образом, колебание в вопросе об отношениях Церкви к еретикам, проявленное ею в XI и XII веках, совершенно пропало в XIII веке, когда Церковь вступила с еретиками и сектантами в смертельную борьбу. Нет более речи ни о снисхождении, ни о милосердии. Святой Раймунд Пеннафортский, компилятор декреталий Григория IX, высший авторитет своего времени, допускает в принципе, что еретик должен быть отлучен от Церкви, а имущество его конфисковано, но если этого окажется недостаточно, то к нему должны быть применены самые суровые наказания, какими только располагает светская власть. Всякий, вера которого покажется сомнительной, должен считаться еретиком; то же относится и к схизматикам, которые, принимая все догматы религии, не оказывают римской Церкви

должного повиновения. И те и другие должны быть силою приведены в лоно католической Церкви; в оправдание применения к упорствующим смертной казни приводится библейский рассказ о Коре, Дафане и Авироне.

Святой Фома Аквинат, высокий авторитет которого затмил всех его предшественников, с неумолимою точностью устанавливает следующие правила. Еретикам не должно быть оказываемо никакого снисхождения. Церковь в своем милосердии дважды обращается к ним с увещаниями; если они и после этого продолжают упорствовать, то они должны быть выданы светской власти и изъяты из общества людей посредством смертной казни. В этом проявляется даже бесконечное милосердие Церкви, ибо изменить веру, от которой зависит жизнь души, гораздо большее преступление, чем делать фальшивые монеты; и если фальшивых монетчиков приговаривают к смерти, то гораздо больше оснований казнить еретика, раз только он уличен в своем преступлении.

Однако Церковь в своем милосердии всегда готова принять с распростертыми объятиями еретика, даже много раз изменявшего вере; она готова наложить на него покаяние, чтобы дать ему таким образом возможность снискать жизнь вечную; но кротость к одним не должна исключать строгость к другим. Так, всякий еретик, кающийся в своих заблуждениях и отрекающийся от них в первый раз, должен быть подвергнут покаянию, и ему должна быть оставлена жизнь; но если он снова впадет в ересь, то хотя на него и можно наложить покаяние, чтобы спасти его душу, но он тем не менее должен быть казнен смертью. Вот прямое и откровенное изложение политики Церкви, которой она следовала всегда и неуклонно.

Но не одни живые чувствовали на себе тяжелую руку Церкви; не избегали ее гнева также и мертвые. Не могли допустить мысли, чтобы человек, скрывший свое беззаконие и умерший смертью христианина, спал могильным сном на освященной земле и чтобы за него возносились молитвы верных; он не только избежал заслуженного наказания, но его имущество, подлежавшее конфискации в пользу Церкви и государства, незаконно перешло к его наследникам, и его следовало отобрать от них. Для возбуждения загробных процессов имелись превос-



"... душа бессмертна" - говорил Фома из Аквино



Фома Аквинский

ходные основания. В предшествующую эпоху в Церкви часто поднимался вопрос, можно ли предавать отлучению от Церкви души умерших со всеми последствиями, которые это наказание влекло за собой в земной и в загробной жизни. С эпохи св. Киприана обычай отлучать мертвых от Церкви сделался всеобщим, и в 382 г. св. Иоанн Златоуст выступил против частого применения этого наказания, видя в этом безрассудное вмешательство человека в суд Божий. В 432 г. Лев I стал на точку зрения св. Иоанна Златоуста, а в конце V столетия Геласий I и римский собор санкционировали это мнение; но этот вопрос был снова поднят на пятом Вселенском соборе 553 г. в Константинополе; нужно было выяснить, могла ли Церковь предать анафеме Феодорита Кирского, Ибаса Едесского и Феодора Мопсуестского, умерших за сто лет перед этим; большинство отцов собора не соглашалось с этим; тогда Евтихий, человек очень начитанный в Священном Писании, напомнил, что благочестивый царь Иосия не только предал смерти бывших в живых языческих жрецов, но и вырыл кости умерших раньше.

Этот довод был признан неопровержимым, и анафема была произнесена, несмотря на протесты папы Вигилия, который упорно оставался при своем мнении. Остроумная ссылка Евтихия, до того времени совершенно неизвестного, была принята Константинопольским патриархом, и Вигилий был принужден подписаться под анафемой. В 618 г. Севильский собор признал, что Церковь не имеет права осуждать мертвых, но в 680 г. шестой Вселенский собор в Константинополе широко предавал анафеме всех, и мертвых, и живых, раз только он признавал их еретиками.

В 897 г. Стефан VII счел себя вправе вырыть тело своего предшественника папы Формоза, умершего за семь месяцев перед этим; тело покойного приташили за ноги и посадили перед собранием, созванным для суда над ним; так как он был признан виновным, то у трупа отрезали два пальца правой руки и бросили его в Тибр, откуда он был случайно выловлен и снова погребен. В следующем году новый папа, Иоанн IX, отменил весь этот суд и объявил, что никто не должен быть судим после смерти, так как всякому обвиняемому должна быть предоставлена возможность говорить в свое оправдание. Но это не помешало в 905 г. Сергию III снова вырыть из земли тело Формоза, велеть облачить его в папские одежды и посадить на трон. После нового и торжественного обвинения несчастный труп был обезглавлен, у него были отрезаны три остальных пальца правой руки, и он был брошен в Тибр. Но несправедливость этого мщения стала очевидной для всех, когда плававшие по волнам Тибра останки папы были выловлены какими-то рыбаками и перенесены в собор св. Петра, причем статуи святых склонились и приветствовали их.

Около 1100 г. Ивон Шартрский, первый канонист своего времени, категорически заявил, что власть Церкви вязать и разрешать ограничена пределами этого мира; что мертвые, находясь вне человеческого суда, не могут быть осуждаемы и что не могут быть лишаемы погребения те, кто не был осужден при жизни. Но по мере того, как ереси множились, и по мере того, как разгоралась страстная ненависть, возбуждаемая упорством еретиков, духовенство содрогалось от мысли, что кости еретиков могут осквернять цер-



Никифор III Вотаниат и Иоанн Златоуст

Книжная миниатюра

ковную ограду и кладбище и что они, вознося молитвы за умерших, невольно предстательствуют и за виновных. Был найден ловкий выход. Веронский собор 1184 г., которому следовали многие папы и соборы, официально отлучил от Церкви всех еретиков; а по старому учению Церкви всякий отлученный, если он не попросит отпущения грехов в течение года, осуждался бесповоротно; следовательно, все еретики, которые умерли без последнего напутствия и не отреклись от ереси, уже сами себя осудили и не имели права на погребение на освященной земле. Хотя их и нельзя было отлучить от Церкви — так как это было уже *ipso facto*, — однако их можно было предать анафеме. Если же, по недо-

разумению, они были погребены как христиане, то, как только обнаружилась ошибка, их следовало вырыть и сжечь; следствие, устанавливавшее их виновность, было простым расследованием их поступков, а не обвинением; а карательные меры вытекали сами собою. Это правило было введено не без борьбы, как это видно, между прочим, из послания Иннокентия III от 1207 г. к аббату и монахам монастыря св. Ипполита в Фаенце, которые, несмотря на приказание легата, отказались вырыть тело известного еретика Оттона, погребенного на монастырском кладбище, и не обратили внимания на наложенный на них интердикт. Чтобы привести их к повиновению, Иннокентий был вынужден пригрозить им более строгими мерами наказания. Но с течением времени обычай вырывать тело еретика вошел во всеобщее употребление; было признано, что великий грех предать погребению тело еретика или его покровителя, столь великий, что даже невольный виновный в нем мог получить прощение только в том случае, если собственноручно выроет тело. Ниже мы увидим, что дела о мертвых играли видную роль в деятельности Инквизиции.

Влияние этого учения и его применения на практике ясно отразилось на императоре Фридрихе II. Полуитальянец по происхождению и итальянец до мозга костей по воспитанию, он был свободомыслящим философом. Обвинение Григория IX, что Фридрих был тайным последователем Магомета, и предание, что он в тесном кружке называл Моисея, Иисуса и Магомета тремя лжеучителями, явно противоречат одно другому, но они показывают, что Фридрих давал повод к подобным нареканиям. В то же время этот человек, который, по словам папы Григория, причащался только для того, чтобы показать свое пренебрежение к отлучению от Церкви, был настолько умным политиком, что не мог не понимать, что нельзя царствовать над христианским народом, не выказывая горячей ревности в деле истребления еретиков. Он добился коронации в соборе Св. Петра 22 ноября 1220 г. ценою указа, составившего эпоху в истории преследований. Во время торжественного коронавания Гонорий прервал обедню, чтобы провозгласить анафему на все ереси и на всех еретиков, подразумевая при этом и монархов, за-

коны которых затрудняли уничтожение еретиков. Фридрих всегда оставался верным принятой им на себя таким образом, миссии и, быть может, тем более верным, что, убежденный в необходимости церковной реформы, он лелеял мечту о чем-то вроде Калифата, где духовный и светский мечи будут оба в его руках. Но, как бы то ни было, он, несмотря на его ссоры с папами, наполнявшие все его царствование, делался еще более неумолимым по отношению к еретикам; как раз в то время, когда Генрих IX трудился над учреждением Инквизиции, Фридрих имел смелость убеждать его проявить больше рвения в деле защиты веры и указывал ему на себя как на пример, достойный подражания!

Ужасная жестокость и дикая ревность, причинявшие в течение нескольких веков, во имя Иисуса Христа, невероятные несчастья всему человечеству, были объясняемы и оправдываемы довольно различно. Известные фанатики вольнодумства видели в этом только жажду крови или самолюбивое стремление к господству; философы искали этому объяснение в учении об исключительном спасении; по их учению, лица, пользующиеся авторитетом, имели право преследовать упорствующих в их собственных интересах и препятствовать им увлекать других на путь вечной гибели. По учению другой школы, все объясняется пережитком очень древнего понятия о круговой ответственности членов рода; это понятие, перейдя в христианское учение, раскладывало на всех часть прегрешения перед Богом за то, что они не старались истребить виновных. Но побудительные причины, заставляющие людей действовать, очень сложны, и их нельзя объяснять каким-либо одним предположением; если это верно в применении к отдельной личности, то тем более это верно в данном случае, когда речь идет о всем христианском обществе — о духовенстве и мирянах. Не подлежит сомнению, что народ не менее своих духовных пастырей горел желанием возвести еретика на костер; в равной степени не подлежит сомнению, что люди самой святой доброты, самого высокого ума, одушевленные самым чистым желанием добра ближнему, исповедующие религию любви и милосердия, проявляли страшную жестокость, когда дело касалось ереси, и были готовы подавить

ее самыми бесчеловечными наказаниями. Святой Доминик и святой Франциск, святой Бонавентура и святой Фома Аквинат, Иннокентий III и Людовик Святой были, каждый в своем роде, людьми, которыми человечество может гордиться; и между тем они столько же щадили еретиков, сколько Эццелино да Романо — кровь своих личных врагов. Подобными людьми не руководили ни желание выгоды, ни жажда крови, ни стремление к власти, но одно только желание выполнить свой долг; выполняя его в той форме, какую мы видим, они являлись лишь выразителями общественного мнения, как оно проявлялось с XIII по XVII век.

Чтобы это понять, мы должны помнить, что цивилизация той жестокой эпохи во многом отличалась от современной. Страсти были более сильны, убеждения — более пылки, пороки и добродетели — более рельефны. Воинственный дух господствовал повсюду; люди полагались более на силу руки, чем на силу слова, и обыкновенно хладнокровно смотрели на страдания им подобных. Дух промышленности, который оказал такое сильное влияние на смягчение современных нравов, был еще только в зародыше. Суровые уголовные законы средних веков показывают, как мало у человека того времени было развито чувство жалости. Колесование, четвертование, котел с кипятком, костер, зарывание живых в землю, сдирание кожи — вот обыкновенные приемы, с помощью которых криминалисты того времени старались предотвратить повторение преступлений; видом ужасных мучений они рассчитывали обуздать население, еще мало доступное внутренним движениям. По англо-саксонскому закону полагалось, что если женщина-рабыня будет поймана в воровстве, то восемьдесят рабынь должны принести каждая по три полена и сжечь виновную; сверх того, они должны были заплатить штраф. Во всей средневековой Англии костер был обычным наказанием за покушение на жизнь феодального владельца. В «*Coutumes d' Arques*», дарованных С. Бертенским аббатством в 1231 г., говорится, что если сообщницей вора была его любовница, то она должна быть зарыта в землю живую; в случае же ее беременности казнь откладывалась до ее разрешения от бремени. Император Фридрих II, самый блестящий монарх своего времени, приказал сжечь



Император Карл V на 31 году жизни
Гравир. на меди Бартелем Бэгамом в 1531 г.

живыми в своем присутствии взятых в плен мятежников, и говорят даже, что он приказал заключить их в железные сундуки, чтобы продлить их мучения. В 1261 г. Людовик Святой отменил применение статьи Турэнского обычного права, по которому отрубали руку слуге, укравшему у своего господина хлеб или горшок вина. В Фрисландии поджигатель, совершивший свое преступление ночью, сжигался живым; по древнегерманскому праву убийцу и поджигателя колесовали. Во Франции женщин часто сжигали или зарывали живыми за самые ничтожные преступления; евреев же вешали за ноги между двух диких собак, а фальшивых монетчиков бросали в котел с кипятком. В Милане итальянская изобретательность придумала тысячи способов разнообразить и протягивать пытки. Carolina, или уголовный кодекс Карла V, опубликованный в 1530 г., представляет отвратительный сборник казней, в котором говорится об ослепленных, искалеченных, исколесованных, разорванных раскаленными шипцами и о сожженных живыми. В Англии вплоть до 1542 г. отравителей бросали в котел с кипятком, как это видно из дела Руса и Маргариты Дэви; государственная измена каралась повешением и четвертованием, а домашняя — костром; последнему наказанию подверглась в 1726 г. в Тибурне Екатерина Гайес за убийство мужа. По закону Христиана V Датского, опубликованному в 1683 г., виновным в богохульстве вырезывали язык, а затем их обезглавливали. Еще в 1706 г. в Ганновере сожгли живым пастуха по имени Захарий-Георг Флагге за делание фальшивых денег. Снисхождение нашего времени к преступникам, достигающее иногда до слабости, — явление весьма недавнее. Законодатели прежнего времени так мало в общем занимались вопросом о страданиях человека, что вырезыванием языка или выкалыванием глаз было квалифицировано *félonie* в Англии только в XV в., а с другой стороны, уголовный закон был настолько суров, что еще в царствование Елизаветы кража гнезда соколов считалась как *félonie*. Недавно еще, в 1833 г., один девятилетний ребенок был приговорен к повешению за то, что, разбив оконное стекло, украл на четыре су красок. Я думаю, из приведенных мною примеров ясно видно, что строгость наказаний возрастала начиная с XIII века,



“Ад”

Художник XV в. Дирк Баугс

и этот регресс цивилизации я склонен приписать пагубному влиянию Инквизиции на уголовный суд Европы.

Привыкшие, таким образом, к зрелищу самых зверских казней, люди вдобавок смотрели на ересь не только как на преступление, а как на мать всех преступлений. Ересь, говорит епископ Лука Тудельский оправдывает, если проводить между ними параллель, неверие евреев; скверна ее очищает мерзкое безумие Магомета; грязь ее делает невинными даже Содом и Гоморру. Все, что есть наиболее худшего в каком-либо преступлении, кажется невинным в сравнении с мерзостью ереси. Менее витиеватый, но одинаково напыщенный, Фома Аквинат со свойственной ему поразительной логикой доказывает, что ересь более всех преступлений отделяет человека от Бога, что она — преступление по преимуществу и наказания за нее должны быть самые тяжелые. В конце концов духовенство стало так чувствительно к малейшей тени ереси, что Стефан Палеч Пражский перед Констанцским собором объявил, что верование, в тысяче пунктов католическое и в одном пункте ложное, должно считаться еретическим. Человек, уличенный в ереси и распространявший ее, казался самим дьяволом, уловляющим души людей, чтобы погубить их вместе с своей, и ни один католик не сомневался, что еретик был непосредственным и действительным орудием Сатаны в его вечной борьбе против Бога. Ужас, какой вызывало все это в умах людей, мы можем представить себе только тогда, когда дадим себе отчет в силе влияния, производимого на человека страшным средневековым эсхатологизмом с его ужасными картинами вечных мучений и казней.

Мы уже видели, что Церковь колебалась, что она не сразу пришла к заключению, которое возобладало в XIII веке; и это может служить нам доказательством, что одной идеи о круговой поруке, об ответственности всех за одного перед Богом недостаточно для объяснения развития духа преследований. Несомненно, чернь, вырывая еретиков из рук священников и бросая их в огонь, действовала под влиянием этой идеи; но само духовенство действовало под влиянием других стимулов. Если оно сделалось безжалостным, то только благодаря успехам и упорству еретиков. В тот момент.

когда явилось опасение, что Церковь может пасть перед тайными сборищами Сатаны, народы и священники поняли, что им, как на войне, нужно защищаться от легионов Ада. Чудесным образом Бог приготовил Церковь к этой великой задаче: она получила верховную власть над светскими князьями и могла рассчитывать на их повиновение. Ответственность ее возросла одновременно с ростом ее могущества; она была ответственна не только за настоящее, но и за души бесчисленных поколений будущего. В сравнении с ужасными последствиями, к которым вела ее кротость, какое значение могли иметь страдания нескольких тысяч упрямцев, которые, глухие к проповеди покаяния, шли соединиться со своим повелителем Дьяволом несколько раньше срока?

Мы должны также иметь в виду характер, какой принимало христианство по мере последовательного развития своего богословия. Ловкие вожди Церкви знали слова Спасителя: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, а исполнить». Они также знали из Священного Писания, что Иегова радовался уничтожению врагов своих; они читали, как Саул, избранный Израилем в цари, был наказан Богом за то, что пошадил Агага Амаликитянина, и что пророк Самуил разрубил Агага в куски перед Вечным; они читали, что Бог приказал вырезать всех идолопоклонников хананеян и что это было исполнено без всякого милосердия; читали они, что Бог повелел Илии убить четыреста пятьдесят служителей Ваала, и многое тому подобное. Они не могли понять, чтобы кротость по отношению к отрицающим истинную веру не была открытым неповиновением Богу. В их глазах Иегова был Богом, которого можно было умилостивить только жертвами. Само учение об Искуплении вытекало из той идеи, что род человеческий мог быть спасен лишь ценою самой ужасной жертвы, какую мог только придумать ум человеческий, ценою казни одного из лиц Святой Троицы. Христиане поклонялись Богу, который добровольно подверг Себя самой мучительной и позорной казни, и во всем христианском мире спасение душ зависело от ежедневного вспоминания этой жертвы во время обедни. Людям, впитавшим в себя подобные верования, легко могло казаться, что самые жестокие наказания, наложенные на

врагов Божьей Церкви, были ничто сами по себе и что кровь жертв с радостью принималась Тем, Кто приказал избить всех хананеян без различия пола и возраста.

Это направление еще более увеличилось с развитием аскетизма. Вся агиология поучала, что земную жизнь следует презирать, что небесной жизни можно достигнуть презрением удовольствий и подавлением всех телесных потребностей человека. Изнурение и умерщвление плоти было самым верным путем в рай, и всякий грех должен быть искуплен добровольно наложенным покаянием. Это учение приводило к двум последствиям. С одной стороны, обеты фанатиков — целомудрие, пост, отшельничество — доводили прямо до сумасшествия, как это показывают частые случаи самоубийства в строгих монастырях и одержания бесами, носившие эпидемический характер. Когда читаешь рассказы об аскетических подвигах святого мученика Петра, о его постах, бдениях, самобичеваниях и т. п., то невольно приходишь к мысли, что он был сумасшедший; в нем ясно видны признаки умственной ненормальности, и из него должен был сделаться опасный маньяк, когда чувства его были возбуждаемы каким-либо религиозным вопросом. С другой стороны, люди, которые обуздывали таким образом обуревавшие их страсти и суровыми мерами заставляли молчать свою мятушуюся плоть, не были способны живо чувствовать мучения тех, кто отдавал себя во власть Сатаны и кого только костром можно было спасти от вечного огня адского. Если же случайно в сердцах их сохранялось еще чувство жалости и они страдали при виде мучений своих жертв, то они могли думать, что они совершают подвиг аскетизма и покаяния, подавляя в себе чувства, порожденные человеческой слабостью. В глазах всех людей жизнь была мгновением в сравнении с вечностью, и все человеческие интересы меркли перед главной обязанностью — спасти стадо и не допускать зараженных овец до общения с другими. Сама любовь к ближним побуждала без всякого колебания прибегать к крайним мерам, чтобы выполнить дело спасения, выпавшее на ее долю.

Искренность людей, бывших орудием Инквизиции, и их глубокое убеждение, что они трудились во славу Бога, подтвер-

ждаются, между прочим, тем, что обыкновенно их поощряли к деятельности дарованием индульгенций, как за паломничество в Святую Землю. Кроме нравственного удовлетворения по поводу исполненного долга, это была единственная награда их за их тяжелый труд, и они вполне удовлетворялись ею.

Если же мы хотим убедиться, что жестокость к еретикам могла уживаться в сердце человека с безграничной любовью к людям, то нам достаточно вспомнить доминиканского монаха Фра Джованни Скио де Виченца. Глубоко пораженный ужасным положением северной Италии, которую раздирали не только междоусобные распри одного города с другим и дворян с горожанами, но и раздоры между членами одного и того же семейства — гвельфами и гибеллинами, он всецело отдался проповеди мира. В 1233 г. благодаря его красноречию враждовавшие партии в Болонье сложили оружие, и вчерашние враги в каком-то радостном экстазе всепрощения простили друг другу все обиды. Впечатление, произведенное его речью, было настолько сильно, что городской совет просил его исправить по своему усмотрению городские законы. Не меньше успеха имел он в Падуе, Тревизе, Фельтре и Беллуэне. Сеньоры Камино, Романо, Канильяно, Сан-Бонифачио, республики Брешии, Виченцы и Мантуи избрали его третьейским судьей и поручили ему пересмотреть их законы. В долину Пакара, близ Вероны, созвал он огромное собрание народов Ломбардии, и вся толпа, увлеченная его вдохновенным словом, как голосом с неба, провозгласила общий мир. А между тем этот самый человек, достойный ученик Великого Учителя Божественной любви, не задумался, получив в свои руки власть в Вероне, сжечь на городской площади шестьдесят мужчин и женщин, принадлежавших к лучшим фамилиям города, которых он осудил как еретиков. Спустя двадцать лет мы находим его во главе болонского отряда в крестовом походе, поднятом Александром IV против Эццелино да Романо.

При таком настроении умов фанатиков, даже более кротких и любящих, невозможно было требовать от них большего сострадания к мучениям еретиков, чем к мучениям Сатаны и его демонов, осужденных на вечные муки ада. Если справедливый и всемогущий Бог жестоко отомстил тем из

своих творений, которые осквернили Его, то не человеку осуждать божеское правосудие; наоборот, он должен смиренно следовать примеру своего Создателя и радоваться, если представляется случай пойти по Его стопам. Суровые моралисты той эпохи утверждали, что христианин должен находить удовольствие в созерцании мучений грешника. Пятьсот лет перед этим Григорий Великий подтвердил, что счастье избранных в райских селениях было бы неполно, если бы они не могли бросать своих взоров за пределы рая и радоваться при виде страданий их братьев, пожираемых вечным огнем. Это представление о блаженстве избранных было общераспространенным, и Церковь старалась поддерживать его. Петр Ломбардский, «Мысли» (Sententiae) которого, опубликованные в половине XII века, были приняты в школах как высший авторитет, цитируя св. Григория, останавливается на том счастье, которое должны испытывать избранные при виде несказанных бедствий осужденных. Даже кроткий мистицизм св. Бонавентуры не мешает ему разделять этот дикий взгляд. Легко понять, что в эпоху, когда все мыслящие люди были воспитаны в подобных понятиях и считали своим долгом распространять их среди народа, никакое чувство сострадания к жертвам не могло отратить даже наиболее сострадательных от самых ужасных кар правосудия. Уничтожение еретиков было делом, которое не могло не радовать верных, хотя бы они оставались простыми зрителями, и тем более должны были они радоваться, если их внутреннее убеждение или общественное положение налагало на них высокий долг преследования. Если же, несмотря на все это, в души их закрадывалось сомнение, то схоластическое богословие быстро уничтожало его, поучая, что преследование есть проявление любви к ближнему и чрезвычайно полезно для тех, против кого оно возбуждается.

Правда, не все папы были похожи на Иннокентия III, не все инквизиторы — на Фра Джованни. Очень часто играли здесь видную роль эгоистические и корыстные мотивы, подобно тому, как играют они во всех делах человеческих; и действия даже лучших из них, несомненно, внушались, сознательно или нет, гордостью и честолюбием не менее, чем



Иоанн VI Кантакузин председательствует на церковном соборе
Книжная миниатюра

чувством долга перед Богом и людьми. Не нужно также упускать из виду, что религиозное восстание угрожало мирским благам Церкви и привилегиям ее членов; сопротивление, которое встречало всякое новшество, до известной степени по крайней мере, объясняется желанием удержать эти преимущества. Конечно, это желание низменно и эгоистично, но не надо забывать, что в XIII веке могущество и богатство церковной епархии были уже издавна признаны государственным правом Европы. Вожди Церкви считали своей священной обязанностью сохранять унаследованные ими права и бороться за их удержание против смелых врагов, учение которых стремилось ниспровергнуть то, что они считали основанием социального строя. Какую бы сим-

патию ни чувствовали мы к претерпевшим страшные мучения вальденцам и катарам, мы должны признать, что падение их было неизбежно; оставаясь беспристрастными, мы должны одинаково оплакивать ослепление преследователей и мучения преследуемых.

Мы не можем умолчать еще об одном мотиве, более низменном и грязном, который возбуждал деятельность Инквизиции и зажигал дикий фанатизм; я говорю о конфискациях имущества, которые повсюду были обычным наказанием еретиков. К этому вопросу мы вернемся ниже, не останавливаясь на нем в настоящей главе.

Редко человек остается верен до конца своим принципам, и преследователи XIII века сделали уступку человеколюбию и здравому смыслу, оказавшуюся роковой для вдохновлявшей их теории. Для полного оправдания своей теории они должны были бы распространять свой неумолимый прозелитизм и на всех нехристиан, которых отдавала им в руки судьба; однако неверные, не просвещенные светом истины, как, напр., евреи и сарацины, не были принуждаемы переходить в христианство; даже детей их нельзя было крестить без согласия родителей, так как это казалось противоречащим элементарной справедливости и опасным для чистоты веры. Конечно, часто в пылу гонений, воздвигаемых против евреев, упускали из виду этот принцип, как, напр., во время резни 1391 г., когда тысячам евреев был предложен выбор между смертью и купелью. Верно также, что благодаря новой непоследовательности эти вынужденные обращения, как мы увидим ниже, имели в виду сделать жертвы подсудными Церкви, которая могла судить только присоединенных к ней через таинство крещения.

Перевод С.Г. Башкирова



ИППОЛИТ ТЭН

21 июня 1828 г. — 5 марта 1893 г.

Жизнь

Отец Тэна был секретарем в провинциальной администрации.

Несколько лет Тэн учился в интернате.

В 1842 г., после смерти отца, он переехал с матерью в Париж, где продолжил свое обучение в Бурбонском коллеже. С раннего детства Тэн уже был знаком с латынью и английским языком, увлекался философией Спинозы. В более старшем возрасте полюбил Гегеля.

В 1848 г. Тэн поступил в одно из парижских высших учебных заведений, в котором учились Прево-Парадаль, Шаллемель-Лакур, Абу, Вейс и Фюстель де Куланж.

С 1851 г. Тэн работает над докторской диссертацией «Философский анализ басен Лафонтена» и в 1853 г. полу-

чает докторскую степень.

Однако должность профессора получить не удалось, и долгие годы он пишет философские и литературоведческие статьи и монографии.

В 1856 г. выходит его историографическая статья «Опыт о Тите Ливии».

В 1864 г. Тэн получает должность профессора истории искусств в Школе изящных искусств в Париже, которую занимал до 1884 г.

С 1870-х гг. Тэн обращается к истории Франции, что было реакцией на политические события в стране в этот период: Франко-прусская война, свержение монархии, Парижская коммуна.

С 1876 г. Тэн публикует по частям свое знаменитое историческое сочинение «Происхождение современной Франции».

В 1878 г. он был избран членом Французской академии наук.

Судьба

Тэн был родом из Арденн, составлявших «географическое и геологическое продолжение Германии», что в связи с протестантизмом Тэна вызвало желание у некоторых его знакомых искать в нем проявление немецкой национальности. На это он вполне справедливо отвечал: «Склад моего ума французский и латинский». Однако, говоря о своих философских изысканиях, Тэн не удерживался, чтобы не заметить, что его интеллектуальная самобытность связана с географическим местом рождения. «Не в свойствах французских философов, — писал он, — овладеть сразу цельными представлениями. Они продвигаются вперед шаг за шагом, исходя от конкретного и восходя к отвлеченному». Он гордился, что в отличие от французских философов идет в своих исследованиях также обратным путем: от общего к частному, что было характерно для немецкой философии. При этом Тэн добавлял: «Я нахожу у немцев идеи, которых хватит на целый век».



Луи Наполеон Бонапарт

По литографии работы Лафосса (1848 г.)

Тэн находился в Германии, когда началась Франко-прусская война. Весну 1871 г. он провел в Оксфорде, куда его пригласили читать лекции. По возвращении в Париж он нашел французское общество политически взволнованным войной и Коммуной. Франция жила новыми политическими надеждами и ожиданиями. Однако Тэн не раз признавался, что он не любит политику. В ранней молодости он был увлечен наукой, а при Наполеоне III ему только и оставалось заниматься наукой. Теперь обстоятельства натолкнули его на политические вопросы: он написал статью об условиях мира с Германией, брошюру о лучшей системе реализации всеобщего избирательного права, патриотическую статью об уплате военной контрибуции и др. Но реальной политической деятельностью Тэн не решился заняться. Он нашел лучший

способ влиять на политическую жизнь Франции — через исторические работы. «Я весьма не люблю политику, но очень люблю историю», — говорил он.

Творчество

Тэн был представителем культурно-исторической школы в литературоведении. Исходя из методологии позитивизма, он попытался дать причинное объяснение явлений художественной жизни. Наибольшее значение Тэн придавал общественной психологии, которая, в свою очередь, определяется тремя основными факторами: «расой» (т. е. врожденными национальными особенностями), «средой» (климатом, а также политическими и социальными обстоятельствами) и историческим «моментом» (влиянием традиции).

Свой «психологический метод» Тэн применил и в основном своем историческом труде — «Происхождение современной Франции», посвященном Великой французской революции.

Свое исследование Тэн начинает с изучения предреволюционной Франции. Вопреки традициям, он уделяет больше внимания французскому обществу, чем государству, и выводит старый строй из общественных потребностей средневековья, а затем показывает причины превращения этого строя в источник привилегий и злоупотреблений, мастерски демонстрируя контраст между аристократическими салонами и задавленными налогами низами.

В изображении самой революции Тэн также отошел от традиционной французской историографии — «патриотической» (апологии всех революций или одной из политических партий). Он критиковал членов Учредительного собрания за то, что те, не дав Франции конституции, начали с составления Декларации прав человека и гражданина. Они не поняли, что свободы без обязанностей не бывает. Отменив прежнее правительство (монархию), новое правительство увлеклось теоретическими спорами, что породило в стране «безначалие». Событие (взятие Бастилии), послужившее началом этой анархии, прежними историками рассматривалось как патриотический подвиг. Для Тэна это толчок,

создавший благоприятную почву для зарождения нового политического типа (якобинца) и захвата им власти. И хотя Тэн считал якобинских вождей «посредственностью», это не помешало ему защищать их перед английским историком Карлейлем: «Они были преданы отвлеченной истине, как ваши пуритане — божественной; они следовали философии, как ваши пуритане — религии; они ставили себе целью всеобщее спасение, как ваши пуритане — свое личное». При этом в якобинстве Тэн видел «зловредный политический тип», происшедший от «властолюбия, вскормленного догмой о всемогуществе государства, на благоприятной для того почве анархии, созданной революцией».

Критика Тэном якобинцев в итоге переросла в критику революционных методов преобразований в обществе и в критику сильного государства, подавляющего свободу личности. Поэтому «Происхождение современной Франции» подверглось яркой критике, как со стороны ультраправых, так и ультралевых, заинтересованных в существовании авторитарных режимов. Однако его сочинение получило всеобщее признание во многих странах, выдержав множество изданий.

Происхождение современной Франции

В 1789 г. три сорта людей: духовенство, дворяне и король — занимали в государстве выдающееся место, пользуясь всеми преимуществами, которые это влечет за собой, а именно: властью, богатством, почестями или, во всяком случае, особыми привилегиями, исключениями, милостями, пенсиями, преимуществами и всем остальным. Но если эти люди и занимали долгое время такое место, то это было потому, что действительно они его заслуживали в течение такого же долгого времени. Ведь это они, своими огромными и вековыми усилиями, соорудили три главных ряда устоев, на которых покоится все современное общество!



Ламартин на крыльце ратуши



Убитых на бульваре
Капуцинов возят по Парижу

1.

Из этих трех рядов устоев современного общества, расположенных один на другом, самый древний и самый глубокий был построен духовенством. В течение ста лет и более духовенство работало над закладкою этого ряда, как архитектор и как рабочий, сначала совсем в одиночку, а потом — почти что в одиночку. Вначале, в течение первых четырех веков, оно создавало религию и церковь. Взвесим эти два слова, чтобы понять все их значение. С одной стороны, в мире основанном на завоевании, холодном и жестоким, как стальная машина, и осужденном, по самому своему устройству, уничтожать у своих подданных всякое желание действовать и охоту жить, духовенство возвестило «благую весть»: обещало «царство Божие», проповедовало покорность и обращение к Отцу Небесному, внушало терпение, кротость, смирение, самоотречение, милосердие и открывало единственные отдушины, через которые человек, задыхающийся в римской темнице, мог вдыхать свежий воздух и видеть дневной свет. Вот чем была религия! С другой же стороны, в государстве, которое мало-помалу пустело, разлагалось и становилось роковым образом, добычей других, духовенство создало живое общество, руководимое известной дисциплиной и законами, сплотившееся около известной цели и известного учения, поддерживаемое преданностью своих вождей и послушанием верных и одно только оказавшееся способным устоять против потока варваров, врывавшегося через все бреши, образовавшиеся вследствие разрушения империи. Вот чем была церковь! На этих двух первых фундаментах духовенство продолжало строить далее, и начиная с момента нашествия варваров, в течение более пятисот лет, оно спасало то, что еще можно было спасти из человеческой культуры. Оно или само отправлялось навстречу варварам, или же старалось сразу расположить их к себе, как только они являлись. Как велика была эта заслуга, можно судить уже по следующему одному факту: в Великобритании, ставшей латинской страной, как и Галлия, но завоеватели которой остались язык-

никами в течение полутора века, все было истреблено: искусства, промышленность, общество, язык. Из всего народа, подвергавшегося избиению или разбежавшегося, остались только рабы, да и о тех можно лишь догадываться по некоторым следам, так как, обращенные в рабочий скот, они исчезают из истории. Такова была бы судьба и всей Европы, если б духовенство не постаралось поскорее очаровать свирепых дикарей, во власти которых оно очутилось.

Перед епископом в позолоченной ризе, перед монахом, облаченным в звериные шкуры, худым, «изможденным» и «более покрытым грязью и пятнами, чем хамелеон», новообращенный в христианство германец испытывал такой же страх, как и перед колдуном. В часы отдохновения, после охоты или пьянства, в душе германца возникает смутное предчувствие чего-то неизвестного, таинственного, грандиозного, неясное сознание какого-то неведомого правосудия, зачатки которого были у него уже тогда, когда он находился в своих лесах по ту сторону Рейна и которое теперь выражается у него внезапною тревогой и угрожающими полувидениями. В тот момент, когда он собирался осквернить святилище, он вдруг спрашивал себя, не падет ли он на его пороге, пораженный головокружением и со скрученной шеей? Убежденный в этом своим собственным смущением и напуганный этой мыслью, он останавливается на пороге, и, таким образом, земля, деревня, город, состоящие под охраною священника, получают от него пощаду. Если же животная ярость гнева дикаря или его первобытная алчность и толкают его на убийства и грабежи, то потом, после удовлетворения этих инстинктов, в дни бедствий или болезни, он начинает раскаиваться и по совету своей жены или любовницы возвращает церкви награбленное добро вдвойне, вдесятеро и даже во сто раз и одаряет духовенство подарками и льготами; таким образом, по всей территории, духовенство оберегает и расширяет свои убежища для побежденных и угнетенных, и вот наступает время, когда среди военных вождей с длинными волосами рядом с королями, облаченными в меха, восседают в собраниях и епископ в митре, и аббат с бритым теменем, так как только они одни умеют держать перо в руках и рассуждать.

В качестве секретарей, советников, богословов они участвуют в издании королевских указов, в управлении и через посредство самого правительства стараются ввести немного порядка в существующий громадный беспорядок, сделать законы более разумными и более человечными; восстановить и поддержать благочестие, образование, правосудие, собственность и, в особенности, брак. Без сомнения, их влиянию мы обязаны существованием той политики, хотя и несовершенной и непостоянной, которая не допустила все-таки Европу превратиться в монгольскую анархию. Если духовенство и оказывает свое давление на принцев до самого конца XII века, то лишь для того, чтобы обуздать в них и в низших народных классах зверские аппетиты, возмущения плоти и крови, возвращение к приступам неудержимой ярости, которые разрушают общество. В своих же церквях и в своих монастырях духовенство сохраняло все старинные приобретения человеческого рода: латинский язык, христианскую литературу и богословскую науку, часть языческой литературы и науки, архитектуру, скульптуру, живопись, искусства и промышленность и наиболее драгоценные из ремесел, доставляющих человеку хлеб, одежду и жилище, и главным образом то, что составляет самое лучшее из человеческих приобретений, всего более противоречащее бродячим инстинктам варвара, склонного к грабегам и ленивого, а именно: привычка и любовь к труду. В обезлюдивших деревнях, вследствие поборов римских начальников, восстаний, нашествия германцев и набегов разбойников, бенедиктинский монах строит свою хижину из ветвей среди кустов ежевики и терновника, а вокруг нее огромные пространства некогда возделанной земли представляют не более как пустынные заросли. С помощью своих спутников монах расчищает лес и строит жилище; приручает полудиких животных, устраивает ферму, мельницу, кузницу, печь для хлебов и мастерские для изготовления обуви и одежды. Согласно своему правилу, он каждый день читает в течение двух часов; семь часов он занимается ручным трудом и ест и пьет не более того, что строго необходимо для поддержания его жизни. Своим разумным, добровольным и сознательно исполненным трудом, с расчетом на будущее, он де-

дает большее, нежели мирянин. Вследствие же своего умеренного, строго обдуманного и бережливого образа жизни он потребляет меньше мирянина. Вот почему там, где мирянин терпел неудачу, монах преуспевает и даже благоденствует. Монах давал пристанище несчастным, кормил их, доставлял им занятие и соединял их браком. Нищие, бродяги, богатые крестьяне стекались к его святилищу. Постепенно их становище превращалось в деревню, затем в посад. Человек начинает возделывать землю, как только у него являются надежды на жатву; он становится отцом семейства, как только у него возникает уверенность, что он может прокормить своих детей. Таким путем образуются новые центры земледелия и промышленности, которые становятся также и новыми центрами населения.

Но к телесной пище надо присоединить еще и духовную, не менее необходимую человеку, так как вместе с пищей ему надо было внушить желание жить или по крайней мере внушить покорность судьбе, которая дала бы ему силы переносить жизнь. Для этого надо было дать человеку трогательную и поэтическую мечту, которая заменила бы ему отсутствующее счастье. До половины тринадцатого века только духовенство в состоянии было доставить все это. Посредством своих бесчисленных легенд о святых, соборов с их устройством, своих статуй и всем тем, что выражается в их богослужении и в чем заключается смысл обрядов, который тогда был еще понятен, духовенство сделало осязательным «Царство Божие» и воздвигло идеальный мир на конце реального мира, словно великолепный золотой павильон в конце грязного двора. В этом-то мире, таинственном и божественном, ищет и находит убежище опечаленное сердце, жаждущее ласки и кротости. Там, на пороге этого мира, преследователи в момент нанесения удара сами падают, сраженные невидимой рукой. Дикие звери становятся послушными, лесные олени сами являются по утрам и впрягаются в плуг святых, земля цветет для них, как новый рай, и они умирают только тогда, когда сами захотят этого. Они же являются утешителями людей; доброта, благочестие, прощение истекают из их уст с неизреченною сладостью. Подняв глаза к небу, они видят Бога, и без всяких усилий, как во сне, они

возносятся к нему в лучах света и садятся одесную его. Божественная легенда имеет неизмеримое значение в этом царстве грубой силы, так как, чтобы быть в состоянии переносить эту жизнь, надо было придумать другую, и притом сделать эту вторую жизнь столь же доступною духовным взорам, как доступна была первая телесным очам. В течение более чем двенадцати веков духовенство питало людей этой легендой, и по величине вознаграждения, полученного духовенством, можно теперь судить о глубине человеческой благодарности. Папы ведь были в течении двухсот лет диктаторами Европы. Духовенство устраивало крестовые походы, смешало королей, раздавало государство. Его епископы и аббаты сделались, в одних местах владетельными князьями, в других — покровителями и настоящими основателями династий. Духовенство держало в своих руках треть земель, половину доходов и две трети капиталов Европы. Не следует думать, однако, что эта признательность людей была неосновательна и что они давали без законных причин; человек слишком эгоистичен и слишком завистлив, чтобы так поступать. Каково бы ни было учреждение, светское или духовное, каково бы ни было духовенство, христианское или буддийское, но современники, наблюдавшие его в течение сорока поколений, конечно, не могут считаться плохими судьями, и если они отдают ему свою волю и свое имущество, то делают это лишь пропорционально его услугам, и избыток их преданности может служить мерилom громадности благодетельной духовенства.

2.

До сих пор против силы бердышей и мечей духовенство прибегало только к помощи убеждения и терпения. Государства, которые, по примеру древней Империи, пытались возвыситься в виде сплоченных зданий и создать плотину против непрерывных нашествий, не могли удержаться на зыбкой почве. После Карла Великого все рушилось. Нет более настоящих воинов, со времени битвы при Фонтанэ и в течение почти столетия шайки разбойников в четыреста-пятьсот человек безнаказанно убивали, сжигали и опустошали всю страну.

Но в то же самое время разложение государства вызывает к жизни военное поколение, которое является последствием такого состояния. Каждый мелкий вождь непременно старается прочно укрепиться на той земле, которую он занял или которою завладел. Он не получил ее в свое пользование только на время или как бы займы, но она уже представляет его собственность и составляет его наследство. Это его земля, его посад, его графство, а не земля короля, и он уже идет сражаться, чтобы защищать свою собственность. В подобные моменты благодетелем, спасителем должен быть именно такой человек, который умеет сражаться и защищать других, и таковым был в действительности новый класс, который тогда образовался. На языке того времени, дворянин — непременно военный, солдат, и он то и положил второй ряд устоев, на которых зиждется современное общество.

В десятом веке происхождению воина еще не придается значения. Таким воином может быть карловингский граф, или владелец пожалованной королем бенефиции, или же смелый обладатель одной из последних свободных земель. Иногда это воинственный епископ, храбрый аббат, в другом месте это обращенный в христианство язычник, бандит, сделавшийся оседлым, авантюрист, достигший благоденствия, суровый охотник, который в течение долгого времени питался лишь добычей от своей охоты и дикими плодами. Предки Роберта Сильного неизвестны, а про Капетингов впоследствии рассказывали, что они произошли от одного парижского мясника. Во всяком случае, дворянин тех времен должен быть непременно храбрым, сильным и опытным в искусстве владеть оружием. Находясь во главе отряда и столкнувшись с врагом, вместо того чтобы бежать или платить выкуп, подставлял свою грудь и крепко держался на ногах, охраняя шпагой свой уголок земли. Для такого дела он не нуждался в предках, ему надо было только иметь мужественное сердце, и он сам становился собственным предком! Спасение, которое он приносил своею храбростью, доставляло такое счастье, что ни у кого не являлось желания придирааться к его происхождению, но после многих веков в каждом кантоне уже были вооруженные си-

лы, было постоянное войско, способное противостоять нашествию кочевников, и, таким образом, жители этого кантона перестают быть добычей чужеземцев. К концу века Европа, которую грабили флотилии двухпарусных лодок, сама уже высаживает в Азии двести тысяч вооруженных людей, и с тех пор, на севере, на юге, перед лицом мусульман и перед лицом язычников, Европа, вместо того чтобы быть побежденной, сама побеждает. Появляется новый идеальный образ после образа святого — это образ героя, и новое чувство, столь же действительное, как и старое, группирует людей, образуя из них стойкое общество. Это общество — не что иное, как постоянная жандармерия, где каждый, от отца к сыну, — непременно жандарм. Каждый в этом обществе уже от рождения имеет наследственный чин, занимает военный пост, получает жалованье в виде поземельного владения и может быть уверен, что его наследственный вождь никогда не оставит его, но зато и он сам должен быть готов во всякое время положить свою голову за своего вождя. В те времена, когда война никогда не прекращалась совсем, только один общественный строй мог считаться хорошим — это строй войска перед лицом неприятеля, и таковым был феодальный режим. Уже по этому одному можно судить о тех опасностях, от которых он должен был ограждать, и о той службе, к которой он приневоливал. «В то время, — гласит одна испанская хроника, — короли, графы, дворяне и все рыцари, чтобы быть готовыми во всякую минуту, держали своих лошадей в зале, где они спали вместе со своими женами». Виконт, сидящий в башне и защищающий вход в долину или брод, маркиз, заброшенный, словно потерявшийся ребенок, на границе, спали, всегда положив руку на свое оружие, совершенно так же, как американский воин в блокаде Дальнего Запада, среди племени сиу. Его дом был не чем иным, как военным лагерем и укрепленным убежищем, где в большой зале была положена на полу солома и сухие листья; там он ложился со своими товарищами, снимая только одни шпоры, когда у него была возможность поспать. Бойницы пропускают лишь немного света, но иначе устроить было нельзя, потому что надо было прежде всего оградить себя от стрел. Все вкусы,

все чувства подчинялись службе, и на европейской границе были такие места, где ребенок четырнадцати лет уже обязан был ходить в походы, а вдова до шестидесятилетнего возраста обязана была снова выходить замуж. Надо людей, чтобы заполнить пустые места, образующиеся в рядах войска: надо людей для служебных постов, чтобы стоять на страже! — вот крик, который раздавался повсюду, из всех учреждений, как колокольный призыв. Благодаря этим храбрецам крестьянин мог быть спокоен: его не будут больше убивать, не будут уводить в плен, вместе с его семьей, словно стадо, с рогатками на шее! И благодаря им он осмеливался возделывать землю, сеять, надеяться на свою жатву, а в случае опасности он знал, что найдет убежище для себя, своих хлебных запасов и для своего скота у подножия крепости, внутри ограды. Постепенно между военным главою замка и старинными поселенцами, живущими в незащищенной местности, устанавливается, под влиянием необходимости, безмолвный договор, который превращается в почитаемый всеми обычай. Жители работают для военного предводителя, возделывают его земли, служат ему своими подводками, платят ему оброки. (Столько-то с каждого дома, столько-то с каждой головы скота и столько-то за право наследства или продажи — ведь надо же ему кормить свое войско!) Но он будет не прав, если из гордости или алчности отнимет от них еще что-нибудь, после того, как они выплатили ему все что следует. Что же касается бр-одяг и бедняков, вынужденных, вследствие беспорядка и всеобщего опустошения, искать у него убежища, то их положение бывает более тяжкое, так как земля принадлежит ему и без него она была бы необитаема. Он может уделить им частицу земли или позволить хотя бы только расположиться станом на своей земле, и может дать им, кроме того, еще и работу или семена для посева, но при этом он может поставить им такие условия, какие ему захочется. Они становятся тогда его крепостными, его наследственным достоянием. Он имеет право вернуть их, куда бы они ни направились, и они становятся из поколения в поколение его прирожденными слугами, которых он может заставить исполнять такое ремесло, какое ему вздумается, может по произволу обла-

гать повинностями и барщиной, а они сами ничего не могут передать по наследству своим детям, кроме одной только обязанности: продолжать службу родителей после их смерти. «Не быть убитым, — говорит Стендаль, — иметь зимой хорошую меховую одежду — таков был высший идеал счастья для огромного числа людей в десятом веке!» Прибавим к этому, что для женщины составляло, кроме того, высшее счастье, если она избегала участи быть изнасилованной целой бандой. Если представить себе, более или менее ясно, те условия, в которых находились люди в те времена, то станет понятно, почему они так охотно подчинялись самому тяжелому феодальному игу, — ведь то, что приходилось им испытывать ежедневно, было еще хуже. Доказательством может служить то, что все сбегались в феодальное укрепление, как только оно было выстроено. В Нормандии, напр., как только Роллан размежевал земли шнурком и перевешал всех воров, обитатели соседних провинций нахлынули к нему и поселились в его владениях. Достаточно было небольшой доли безопасности, чтобы страна заселилась.

Итак, люди живут, или, вернее, снова начинают жить, под охраною грубой руки, одетой в железную перчатку, которая сурово обращается с ними, но в то же время и оберегает их. Как верховный повелитель и владелец, феодальный глава оставляет для себя, в силу этого двойного права, все пустыри, реки, лес и всю охоту. Зло не велико, так как страна наполовину пустынна, и он тратит все свое свободное время на истребление крупных диких зверей. Имея в своих руках средства, он один только может построить мельницу, печь для хлебов, пресс для выжимания масла, устроить паром, мост или дорогу, запрудить пруд, воспитать или приобрести быка. Чтобы вознаградить себя за все эти затраты, он облагает пошлиной все свои учреждения и насильственно заставляет жителей пользоваться ими. Если он умен и, кроме того, хороший сельский хозяин и если он хочет извлечь наилучшие выгоды из своей земли, то сам постепенно ослабляет или дозволяет ослабить петли той сети, которая так стесняет его крепостных и вынуждает их плохо работать, потому что им слишком тесно в ней. Привычка, необходимость, добровольное или насильственное приспособление оказывают тут

свое действие, и в конце концов господа, мужики, крепостные и буржуа, приспособившиеся к своим условиям и связанные общим интересом, образуют вместе общество — настоящий общественный организм. Поместье владельца, графство, герцогство становятся для них отечеством, которое они любят, повинуюсь слепому инстинкту, и за которое готовы жертвовать собой. Отечество сливается с образом владельца и его семьи, и на этом основании им гордятся, считают его победы, приветствуют его, когда он, с кавалькадой, проезжает по улице, и радуются окружающей его пышности вследствие чувства симпатии к нему. Если он вдов и не имеет детей, к нему отряжают депутацию, которая убеждает его жениться, чтобы его смерть не сделала страну предметом раздоров между претендентами и не отдала бы ее на жертву алчности соседей. Таким образом, спустя тысячу лет снова возрождается самое могучее и самое живучее из всех чувств, поддерживающих человеческое общество. Это чувство тем более драгоценно, что оно имеет способность расширяться, и для того, чтобы маленькая феодальная родина превратилась в большую национальную родину, достаточно только соединения всех отдельных феодальных владений под властью одного владельца, и тогда король — глава дворянства — закладывает третий ряд устоев Франции, укрепив его на создании рук этого же самого дворянства.

3.

Король воздвиг весь этот третий ряд устоев, камень за камнем. Гуго Капет положил первый камень; до него королевский титул не доставлял королю ни одной провинции, и он первый присоединил к титулу земельное владение. В течение восьмисот лет, посредством браков, завоеваний, хитрости, наследства, короли продолжали приумножать свои владения, и даже при Людовике XV Франция увеличивается посредством присоединения Лотарингии и Корсики. Вышедшему из ничтожества королю удалось создать сплоченное государство, с двадцатью шестью миллионами обитателей, наиболее могущественное в тогдашней Европе. В продолжение всего этого периода король стоял во главе обществен-



Король Людовик XV



Король Людовик XIII



Король Людовик XIV

ной обороны, он был освободителем страны от иноземцев: от папы — в четырнадцатом веке, от англичан — в пятнадцатом, от испанцев — в шестнадцатом. Внутри же страны начиная с XII века он творит правосудие, не снимая военной каски с головы и находясь постоянно в разъездах. Он разрушает башни феодальных разбойников, умеряет излишества сильных, покровительствует угнетенным, улаживает частные распри и восстанавливает мир и порядок. Этот гигантский труд королей продолжается без перерыва, от Людовика Толстого до Людовика Святого, от Филиппа Прекрасного до Карла VII и Людовика XI, от Генриха IV до Людовика XIII и XIV, вплоть до половины семнадцатого века, выражаясь изданием Эдикта против дуэлей и заседаниями королевского суда. Между тем все полезные вещи, исполненные по приказанию короля или же развившиеся под его покровительством: дороги, пристани, каналы, приюты, университеты, академии, благотворительные учреждения, богадельни, воспитательные, научные, промышленные и торговые заведения — все это носило на себе отпечаток его величия и представляло его благодетелем общества. Подобные услуги, конечно, требовали и соответствующего вознаграждения, и поэтому всеми было признано, что король от отца к сыну вступает как бы в брак с Францией и что она действует только через него, а он действует для нее. Как воспоминания древности, так и интересы настоящего только способствовали утверждению этого союза. Церковь освящает его в Реймсе, во время коронации, причем устанавливается нечто вроде восьмого таинства, сопровождаемого легендами и чудесами, и король делается помазанником Божиим. Дворяне, под влиянием древнего инстинкта военной верности, стали смотреть на себя как на стражу короля, и поэтому-то 10 августа они ради него отправились на смерть на лестнице его дворца. Король, следовательно, является их природным главнокомандующим, а народ до 1789 года будет видеть в нем защитника угнетенных, охранителя прав, покровителя слабых, первосвященника и прибежище всех. В начале царствования Людовика XVI крики: «Да здравствует король!», начинавшиеся в шесть часов утра, почти не прерывались до самого вечера. Когда родился дофин (наследник престола),

то радость Франции была настоящею семейною радостью, «незнакомые люди останавливались на улицах и разговаривали друг с другом, а знакомые обнимались». Все, под впечатлением смутной традиции и почтения, существующего с незапамятных времен, чувствовали, что Франция представляет корабль, выстроенный руками королей и их предков, и на этом основании король мог считать Францию своею принадлежностью и иметь на нее такие же права, какие имеет пассажир корабля на свой багаж. Долг каждого на этом корабле заключается в том, чтобы осторожно и внимательно вести его по морю, так как на этом великолепном судне находится, под флагом короля, все общественное достояние. Под влиянием такой идеи королю было предоставлено все; прежние же властители, подчиняясь его силе или же по доброй воле, превратились в обломок, в призрак былого величия или даже простое воспоминание. Дворяне сделались его офицерами и придворными. После конкордата (соглашения с папой) он уже сам стал назначать чинов церкви. Генеральные штаты не созывались в течение ста семидесяти пяти лет; провинциальные же существовали только для распределения налогов, а парламенты подвергались изгнанию, лишь только они осмеливались делать какие-либо заявления. Посредством своего совета, своих интендантов, своих субделегатов король вмешивался во все мельчайшие местные дела. У короля было 477 миллионов дохода. Он распределял также половину доходов духовенства. В конце концов он стал неограниченным хозяином страны и сам заявлял это. Поместья, освобождение от налогов, удовлетворение честолюбия и остатки юридических прав и местной власти — вот все, что осталось у прежних соперников короля, но взамен того они стали пользоваться его предпочтением и его милостями. Такова вкратце история привилегированных господ духовенства, дворянства и короля. Надо ее вспомнить, чтобы понять положение этих классов в момент их падения. Создав Францию, они и пользовались ею вволю. Посмотрим же теперь поближе, чем они стали к концу XVIII века, какую часть своих преимуществ они сохранили, какие услуги они еще продолжают оказывать и каких они больше не оказывают.

Глава вторая

1.

Привилегированных насчитывается около 270 000: дворянство — 140 000, духовенство — 130 000. В это число надо включить от 25 000 до 30 000 дворянских семейств, 23 000 монахов, живущих в 2 500 монастырях, 37 000 монахинь — в 1 500 монастырях, 60 000 священников и викариев в различных церквях и часовнях. Чтобы яснее представить себе это, надо вообразить, что на каждую квадратную милю земли и на каждую тысячу обитателей приходится по одному дворянскому семейству, с его домом, украшенным флюгером, а в каждой деревне есть священник и его церковь, и через каждые же шесть или семь миль имеется мужская или женская монашеская община. Все это — древние вожди и создатели Франции, и на этом основании они продолжают еще пользоваться многими правами и обладают большим имуществом.

2.

Будем всегда помнить, чем они были прежде, для того чтобы понять, что они представляют еще и теперь! Как ни велики их преимущества, но, в сущности, они являются лишь остатками прежних, еще больших преимуществ.

Епископ или аббат, граф или герцог, преемники которых приходили на поклон в Версаль, некогда считались ровнями королей, Каролингов и первых Капетингов. Владелец Монтлиери держал в страхе короля Филиппа I. Аббат из Сен Жермен де Пре обладал 430 000 гектарами земли — пространство, почти равняющееся целому департаменту. Не следует удивляться тому, что они остались сильными и в особенности богатыми, — ничто не бывает так устойчиво, как форма общества! По прошествии восьмисот лет и множества ударов королевского топора, а также громадных перемен социальной культуры, старый феодальный корень все еще держится и прозябает. Прежде всего это можно заметить на распределении собственности. Одна пятая часть земли при-

надлежит короне и общинам, другая — среднему сословию, третья — народонаселению деревень, четвертая — дворянству и пятая — духовенству. Таким образом, если исключить общественные земли, то окажется, что привилегированные владеют половиною королевства. Это большая доля, в то же время и самая богатая, потому что она заключает в себе самые большие и прекрасные здания, дворцы, замки, монастыри, соборы и почти всю драгоценную движимость, мебель, посуду и произведения искусства, накопленные в течение веков. Об этом можно судить по оценке той доли, которая принадлежала духовенству. Владения духовенства представляют капитал около четырех миллиардов, доход, приносимый ими, равняется 80 — 100 миллионам, но к этому надо еще прибавить десятину — 123 миллиона в год, в общем, что в настоящее время равняется вдвое большей сумме. Кроме того, существовали еще и случайные доходы и сборы. Чтобы лучше представить себе эту могучую золотую реку, вливающуюся в карманы духовенства, рассмотрим некоторые из ее притоков. 399 монахов Премонстрэ исчисляли свой доход в один миллион, а свой капитал — в 45 миллионов. Начальник доминиканцев в Тулузе заявляет, что на его 236 монахов приходится чистого дохода более 200 000 ливров, не считая монастырей с их усадьбами, недвижимого имущества в колониях, негров-рабов и других предметов, оцениваемых в несколько миллионов».

Бенедиктинцы из Ключи, числом 298, имели доход в 1 800 000 ливров; из Сени Мора, — числом 1 672 — оценивали свое церковное и домашнее имущество в 29 миллионов, приносящих восемь миллионов чистого дохода, «не считая того, что приходится на долю аббатов и приоров», т. е. столько же, а может быть, и больше. Дом Рокур, аббат Клэрво, имеет от 300 000 до 400 000 ливров годового дохода; кардинал де Роган, страсбургский епископ, — более миллиона. Во Франшконте, Эльзасе и Руссильоне духовенство владеет половиною земель, в Гено и Артуа — тремя четвертями; в Камбрезисе — 1400 из 1700 земельных участков. Каноники Сен Клода в Юре владеют 12 000 крепостных или прикрепленных к земле. По этому богатству первого сословия мы можем составить себе понятие о



Король Филипп I

втором. Так как, кроме дворян, к нему принадлежат и лица, возведенные в дворянское достоинство, и так как два века тому назад судьи, а лет сто назад — финансисты стали приобретать или покупать дворянские титулы, то ясно, что в этом сословии сосредоточились почти все крупные богатства Франции, старинные и новые, полученные по наследству или по милости двора и приобретенные в делах. Когда какой-нибудь класс находится на вершине, то ряды его пополняются всеми, кто возвышается или карабкается наверх. Там точно так же бывают сосредоточены колоссальные богатства. Вычислено, что уделы принцев королевского дома, графов д'Артуа и Прованса, герцогов Орлеанских и Пентьевр, покрывали седьмую часть территории. Принцы крови

обладали, все вместе, доходом в 24 — 25 миллионов, и только один герцог Орлеанский имел 11 500 000 ливров дохода. Это были все остатки феодального режима; их можно найти в настоящее время в Англии, Австрии, Пруссии и России. В самом деле, собственность надолго переживает те условия, которые вызвали ее образование. Ее создала верховная власть; отделенная от этой верховной власти, она еще долго оставалась в тех самых руках, которые некогда держали эту власть. В епископе, аббате или графе король желал уничтожить своего соперника, но уважал в них собственника. По многим признакам мы можем и теперь еще угадать таких владельцев, верховная власть которых была или уничтожена, или же сокращена королем.

3.

Так же точно совершалось частное или полное освобождение от податей. Сборщики не переступали границы феодальной собственности, так как король сам сознавал, что эта собственность имеет такое же происхождение, как и та, которую он сам владеет. Если королевство является привилегией, то и феодальное владение также составляет привилегию. Король сам — не более как привилегированный из привилегированных. Самый абсолютный и наиболее проникнутый своими правами король, Людовик XIV, почувствовал, однако, смущение, когда крайняя необходимость заставила его разложить десятинный налог на всех без исключения. Договоры, прецеденты, незапамятный обычай, воспоминание о древнем праве все еще продолжают сдерживать руку фиска. Чем больше собственник похож на древнего независимого верховного владельца, тем шире льготы, которыми он пользуется. Иной раз эти льготы обеспечиваются ему последним договором или же тем, что он считается иностранцем, а иногда ему дает их его почти королевское происхождение. «В Эльзасе иностранные владельческие принцы, Мальтийский и Тевтонский ордены пользуются льготой и освобождены от всякого обложения личного и имущественного». «В Лотарингии капитул в Ремиремонсе пользуется привилегией самому назначать цифру своего взноса во всех го-

сударственных налогах». Иногда эти льготы обеспечивались тем, что дворянское достоинство соединялось с земельным владением. В Лангедоке и Бретани только с владений разночинцев взималась подать. Везде, впрочем, дворянское достоинство охраняло от уплаты податей не только владельца, но и его замок со всеми службами; ему приходилось платить только в лице своих фермеров. Еще лучше: достаточно было ему самому или через управителя эксплуатировать собственную землю, чтобы она уже освобождалась, так же как и он сам, от уплаты всяких налогов. Стоило ему вступить на землю самому или через своего приказчика, и он своею неприкосновенностью прикрывал те самые десятины, которые в руках другого были обложены податью. Кроме того, он мог освободить таким образом от подати все свои леса, луга, виноградники, пруды, усадебные земли, прилегающие к замку, каково бы ни было их протяжение. Вследствие этого в Лимузене и др. местах, где главное производство составляют луга и виноградники, помещик всегда стремился сам или же через своего управителя, управлять значительною частью своих владений и таким путем ограждать их от сборщика податей. Но этого мало: в Эльзасе, по специальному соглашению, помещик не платил ни одного су налога. Таким образом, несмотря на все свои посягательства, продолжавшиеся 450 лет, учреждение подати — это могучее орудие казны, самое тяжелое из всех, — оставило почти неприкосновенной феодальную собственность.

Два новых орудия казны, действовавшие в течение века: подушные подати и взимание двадцатой части казались более действительными, но, в сущности, и они не были такими. Прежде всего, духовенство, посредством образцовой духовной дипломатии, отстранило и смягчило этот удар. Так как оно составляет корпорацию и пользуется правом собраний, то ему можно было вступать в переговоры с королем, откупаться, избегать обложения другими лицами и самому определять размеры своего платежа, да еще, кроме того, оно сумело добиться, чтобы его взносы не считались принудительным платежом, но признавались как бы «добровольным даром». Взамен оно сумело получить массу уступок; оно могло уменьшить этот дар, а иногда и совсем не

делать его и, во всяком случае, сократить его до 16 миллионов за каждое пятилетие, что составляет немного более трех миллионов в год. В 1788 г. духовенство платило только 1 800 000 ливров, а в 1789 г. и совсем отказалось платить. Еще лучше: так как для уплаты «дара» духовенство прибегло к займу, и так как получаемые им десятины в его владении были недостаточны для погашения капитала и уплаты процентов по займу, то оно очень искусно добилось того, что король из своей казны стал выдавать ему ежегодно 2 500 000 ливров, так что, вместо того чтобы платить, оно еще получало с казны и в 1787 году положило в карманы таким образом, 1 500 000 ливров.

Что касается дворян, то они, не имея возможности собираться, иметь своих представителей и действовать через общественные пути, обратились к частным путям и действовали через министров, интендантов, субделегатов, генеральных откупщиков и всех лиц, облеченных властью. Дворянское звание внушало почтение, и поэтому им оказывалось снисхождение и разные любезности и льготы. Прежде всего, это звание избавляло их самих, их служащих и слуг этих служащих от вынимания жребия в милицию, от постоя, от дорожной повинности; затем, так как подушная подать определяется по налогу с имущества, то они и платили мало, потому что их обложение было ничтожно. Кроме того, каждый из них пускал в ход все средства, чтобы избавиться от платежа. «Ваше чувствительное сердце, — пишет один из них интенданту, — конечно, не допустит, чтобы человек из моего сословия был бы обложен такими же строгими платежами двадцатой доли, как и человек из простонародья». С другой стороны, так как плательщик вносит подушную подать в месте своего действительного жительства, зачастую очень далеко от своих имений, и так как о его доходах с движимого имущества ничего неизвестно, то он может платить, сколько ему вздумается. Никакие розыски относительно его не допускаются, если он дворянин. «С людьми высокого ранга всегда соблюдают бесконечные предосторожности, — говорит Тюрго. — Подушная подать с привилегированных лиц была низведена до очень скромных размеров, между тем как подушная подать с лиц, платящих уже другие налоги, почти

равнялась по размерам главнейшему налогу». Притом же «сборщики считают своею обязанностью щадить привилегированных даже тогда, когда за ними имеются недоимки», вследствие чего, как говорит Неккер, за ними накопилось много очень давних и много слишком значительных недоимок. Итак, не имея возможности отразить с фронта нападение казны, они старались его избежать или так ослабить, чтобы оно сделалось совершенно безвредным. В Шампани «из суммы в почти 1 500 000 ливров, доставляемых подушною пошлиной, они платили только 14 000 ливров», т. е. «два су и два динария за тот же самый предмет, за который податному сословию приходилось платить 12 су с одного ливра». По словам Калонна, «если бы уничтожили льготы и привилегии, то налоги приносили бы вдвое больше». — «Но самые богатые всегда были и самыми искусными в защите своих привилегий!» — «С интендантами, — говорит герцог Орлеанский, — я всегда могу поладить, так как я плачу им приблизительно только то, что хочу». — И он высчитывал, что если бы провинциальная администрация обложила его налогом с должною строгостью, то он бы потерял 300 000 ливров дохода. Было доказано, что принцы крови уплачивали вместо 2 400 000 всего 188 000 ливров. Но, в сущности, освобождение от налога является в этом режиме лишь последними обрывками верховных прав или по крайней мере, обломком независимости. Привилегированный избегает или отклоняет от себя обязанность платить налог не только потому, что это для него разорительно, но и по той причине, что это его унижает. Подать — это признак недворянского звания, т. е. бывшего состояния рабства, и поэтому-то привилегированные сопротивляются ей столько же из личного интереса, сколько и из гордости.

4.

Последуем теперь за привилегированным в его владения. Епископ, аббат, монашеский капитул, аббатиса имеют каждый свои поместья, как и светский владелец, так как в прежние времена монастырь и церковь были маленькими государствами, подобно графству и герцогству. Нетронутое по ту

сторону Рейна, но почти разрушенное во Франции, феодальное здание везде указывает на один и тот же план. В некоторых местах, лучше защищенных или меньше подвергавшихся нападениям, это здание сохранило свой прежний внешний вид. В Кагоре граф-епископ города имеет право, когда он совершает торжественное богослужение, «класть на престол каску, кирасу, перчатки, и шпагу». В Безансоне принц-архиепископ имеет шесть главных офицеров, которые обязаны приносить ему в дар свои уделы, присутствовать при его вступлении на престол и быть на его похоронах. В Манде епископ, сюзерен Жеводана, с XI века «выбирал советников, судей, комиссаров и синдиков страны, располагал всеми должностями муниципальными и судебными», и, когда его пригласили принять участие в собрании трех сословий провинции, то он отвечал, что его место, его владения и его ранг ставят его выше всех частных лиц его прихода; он не может находиться под председательством никого другого и, будучи сюзеренным владельцем всех земель, и в особенности баронств, он не может уступить первенство своим вассалам и вассалам своих вассалов». Одним словом, в своей провинции он был королем или почти королем. В Ремиромонсе благородный капитул канонисс держал в своих руках все низшее, высшее и среднее правосудие в 52-х призывных округах своих ленных владений; он представляет своих кандидатов на 64 должности священников, имеет в своем распоряжении десять мест каноников, назначает в городе муниципальных чиновников и, кроме того, еще располагает тремя судами первой инстанции и апелляционными судами и повсюду может назначать чиновников лесного ведомства. Тридцать два епископа, не считая капитулов, являются, таким образом, светскими властителями во всех направлениях или же владеют только частью своих епископских городов, а иногда и окружающего округа. Иной раз, как, напр., епископ Сен-Клод, они становятся властителями всей области. В таких местах феодальное здание еще сохранилось; в других же оно восстанавливается заново, а именно в удельных владениях. В этих владениях, куда входят более двенадцати наших департаментов, принцы крови назначают на судебные должности и раздают приходы; заняв место ко-

роля, они получали и его выгодные и почетные права. Они стали почти пожизненными королями, так как получали не только то, что получал король, как ленный владделец, но еще и часть того, что он должен был получить как монарх. Например, Орлеанский дом взимал вспомогательные налоги, т. е. налоги на спиртные напитки, на золотые, серебряные изделия, на производство железа, стали, карт, бумаги и крахмала — словом, он берет себе всю сумму одного из самых обременительных косвенных налогов. Ничего нет удивительного, что, находясь в положении верховного лица, Орлеанские принцы, как государи, имели свой совет, своего канцлера, свой государственный долг, свой двор и придворный церемониал, и в их руках феодальное здание получало такую же пышную внешность и было организовано так же, как и в руках короля.

Перейдем теперь к менее значительным лицам, к помещику средней руки, живущему в своих владениях, обнимающих квадратную милю, среди тысячи жителей, которые некогда были его крестьянами или крепостными, и рядом с монастырем, капитулом или епископом, права которых смешиваются с его правами. Но, что бы ни делалось, чтобы унижить его положение, оно все-таки остается довольно высоким. Он все еще, как говорят интенданты, «первый из жителей» — это принц, которого мало-помалу лишили его прежних общественных должностей, оставив ему только его почетные и доходные права, но тем не менее он все-таки остается принцем. В церкви у него есть своя скамья, и он пользуется правом погребения возле клироса. Драпировки в церкви украшены его гербами, ему кадят и подносят святую воду с особым почетом. Часто, основав церковь, он становится ее покровителем, выбирает священника и желает руководить им. В деревнях он изменяет часы церковной службы, назначает их раньше или позже, по своему усмотрению. Если он имеет титул, то пользуется правами верховного судьи, и существуют целые провинции, например Мэн и Анжу, где все ленные владения соединялись с правами правосудия. В таких случаях владделец сам назначал судью, регистратора и других судебных чинов, прокуроров, нотариусов, сержантов, приставов, которые и действовали или судили от его имени в граж-

данских и уголовных судах первой инстанции. Кроме того, он же назначал лесничего или судью для проступков, касающихся лесов, и получал штрафы, налагаемые этими должностными лицами. Для преступников различного рода у него была своя тюрьма, а иногда и своя виселица. Но, кроме того, в виде вознаграждения за издержки по устройству правосудия он получал имущество человека, приговоренного к смерти или к конфискации, в пределах собственных владений. Он наследовал также после незаконнорожденного, родившегося и умершего в его владениях, после умершего без завешания и без явных законных наследников. Он присваивал себе также всякое движимое имущество, живое или мертвое, которое было найдено на его земле, но владельцы которого были неизвестны. Он брал себе треть или половину найденных кладов, а на берегу забирал в свою пользу все остатки, выброшенные морем после кораблекрушений. Наконец, что было особенно прибыльно в те времена всеобщего разорения, он становился собственником покинутых участков земли, не подвергавшихся обработке в течение десяти лет. Другие привилегии, которыми он пользовался, яснее указывают, что правительство округа некогда находилось в его руках. Так, например, в Оверни, Фландрии, Гено, Артуа, Пикардии, Эльзасе и Лотарингии ему уплачивался еще налог за охрану и покровительство. Он взимал налог на стражу и дозоры и на свою военную охрану, а также питейный сбор с тех, кто продает пиво, вино или другие напитки, в розницу и оптом. Он получал налог, уплачиваемый деньгами или зерном, с каждого очага, дома или семьи и очень распространенный в Дофинэ и Провансе, а также налог с каждого прогоняемого стада овец, пошлину с продажи и аренды земли, почти повсеместно распространенную, состоящую во взимании шестой, а иногда пятой или даже четвертой части с запродажной цены на землю или с аренды сроком более чем на девять лет. Сюда же относится и налог, равняющийся доходу одного года, получаемый с каждого имения, переходящего к наследникам по боковой линии, а иногда и к прямым наследникам. Но более редким и в то же время наиболее тяжелым из всех был налог, составляющий двойную по земельную подать или годовой сбор плодов, который упла-

чивался в случае смерти как верховного владельца, так и самого владельца участка. Все это были настоящие налоги, земельные и личные, налоги на движимое имущество, патентные сборы, налоги на право передвижения, на переход собственности из рук в руки, на наследство, установленные некогда при условии известной общественной службы, которую, однако, владелец уже перестал нести.

Другие поборы, взимаемые владельцем в свою пользу, также представляют старинные налоги, но по отношению к ним он все-таки хоть выполнял те обязанности, за исполнение которых ему было назначено это вознаграждение. Правда, король отменил множество дорожных пошлин, не менее 1200 в 1724 г., но все же их еще оставалось достаточно для владельца, который мог делать сбор с мостов, с дорог, перевозов, барок, поднимающихся или спускающихся по течению реки, но зато он должен был и заботиться о содержании этих мостов, перевозов, дорог, бичевников. Такие обложения все же приносили ему большой доход, который в некоторых случаях достигал 90 000 ливров. Подобным же образом под условием поддержания здания рынка и бесплатного доставления весов и гирь он пользовался правом делать сборы со всех съестных припасов и товаров, привозимых на ярмарку или рынок. В Ангулеме он взимал 48-ю часть проданного зерна, в Комбурге, возле Сен-Мало, столько же с каждой головы проданного скота; в других местах — столько же с запроданного количества вина, съестных припасов и рыбы. Так как в прежние времена он первый построил хлебопекарню, пресс для винограда, мельницу и баню, то он и мог обязать жителей пользоваться только этими учреждениями и разрушать все такие постройки, которые могли составить ему конкуренцию. Ясно, что все это были монополии и права, относящиеся к этим временам, когда владелец еще держал общественную власть в своих руках.

Но он не только имел в своих руках власть в те времена; ему принадлежали тогда земли и люди. Впрочем, в различных провинциях он еще оставался собственником людей во многих отношениях. В Шампани, в Сенонэ, в Ла-Марше, в Бурбоннэ, в Нивернэ, Бургони, Франшконте почти не оста-

валось земель, которые не сохраняли бы следов прежнего крепостного состояния... Там еще можно было найти немало личных крепостных или же сделавшихся таковыми из благодарности или же по воле своих родителей. Человек в этих местах оказывается рабом то в силу своего рождения, то в силу своего отношения к земле. Тем или иным способом, но еще около полутора миллионов человек сохраняли, как говорят, вокруг своей шеи остаток феодального ошейника. В этом ничего нет удивительного, потому что по ту сторону Рейна почти все крестьяне еще и теперь носят этот ошейник. Господин и владелец всего их имущества и всего их труда в прежние времена и теперь еще может потребовать от них от десяти до двенадцати дней барщины в год, кроме определенного оброка. В баронстве Шуазель, близ Шомона, в Шампани, жители должны возделывать его земли, засеивать их, убирать жатву для него и складывать ее в житницы. За каждый клочок земли, каждый дом, каждую голову скота ему уплачивался известный налог. Дети наследовали родителям только под условием совместного житья с ними. Если же они отсутствовали ко времени смерти родителей, то наследовал владелец. Вот что называлось в те времена землею, обложенной «хорошею податью»! В других местах владелец получал все наследства по боковой линии, вместо братьев или племянников, если они не жили вместе с покойником в момент его смерти, но при этом опять-таки совместное жительство возможно было только с позволения владельца. В Юрской области и в Ниверне он мог преследовать крепостных, которые убежали, и потребовать после их смерти не только имущество, покинутое ими в его владениях, но и то, которое им удалось сколотить в другом месте.

В Сен-Клод он приобретал это право над каждым, кто прожил один год и один день в доме, принадлежащем к его владениям. Что касается собственности земли, то ясно, что она принадлежала ему целиком. В округе, подчиненном ему, все общественные земли составляли его частную собственность; дороги, улицы и общественные площади входили в состав его владений. Он имел право сажать там деревья и заявлять свои права на деревья, уже растущие там. Во многих провинциях он имел право заставляя жителей

платить за разрешение пасты свои стада на полях после жатвы и на «пустопорожней земле». Реки, несудоходные, принадлежали ему, так же как и островки, и образующиеся на реке наносы, и встречающаяся там рыба. Он имел право охоты на всем пространстве, подведомственном ему, и не раз случалось, что какой-нибудь владелец низкого происхождения бывал вынужден открывать ему ворота своего парка, обнесенного стеной.

Еще одна последняя черта, которая должна окончательно обрисовать нам тогдашнего владельца земли: это был глава государства, собственник людей и земли, но он сам некогда был сельским хозяином, проживавшим на своей ферме среди остальных подчиненных ему ферм, и на этом основании он обеспечил себе некоторые хозяйственные выгоды, из которых многие сохранились и до сих пор. Таково, например, еще очень распространенное право, предоставляющее ему привилегию продавать свое вино, с изъятием всех других вин с рынка, в течение тридцати или сорока дней после сбора винограда. Таковым же было и то право, которым он пользовался в Турени, — право посылать своих лошадей, коров и быков пастись, под охраною пастухов, на лугах своих подданных. Таково же было и его право содержать огромную голубятню, откуда его голуби отправлялись тысячами пастись во всякое время и на всякой земле, причем никто не смел ни ловить, ни убивать их. Тоже в качестве сельского хозяина, он сохранял право еще и на другие поборы, собираемые со всех участков, отданных им некогда в вечную аренду. Эти поборы, существовавшие под разными наименованиями, эти взимания деньгами и натурой были так же разнообразны, как и те обстоятельства или случайные условия и местные сделки, которые их обусловили. В Бурбоннэ, напр., владелец получал четверть урожая, в Берри — двенадцать снопов со ста.

Иногда его должником или арендатором бывала целая община. Один депутат Национального собрания имел надел, дающий ему право взимать двести бочек вина с трех тысяч частных владений. В других же местах, основываясь на праве отбирать назад уступленный раньше участок, он мог оставлять за собою всякий проданный участок, с обя-

зательством вернуть помещику уплаченную им сумму, но вычитая при этом предварительно из этой суммы в свою пользу весь крепостной налог.

Заметьте при этом, что все эти повинности, лежащие на земельной собственности, представляют для владельца как бы род векселя, по которому ему производилась уплата из доходов и из капитала, а для плательщиков — род неоплатного долга, неразделяемого и не подлежащего выкупу.

Вот каковы были феодальные права! Чтобы лучше представить себе их общую картину, всегда надо иметь в виду, что граф, епископ или аббат десятого века были владельцами и собственниками своего округа. Форма, в которую сложилось тогдашнее общество, образовалась под влиянием непрестанной и близкой опасности и необходимости местной защиты, а также вследствие подчинения всех интересов одной потребности — потребности жить, и желанию сохранить землю, прикрепив к ней узами собственности и правом пользования отряд храбрецов под команду столь же храброго предводителя. Но когда опасность исчезла, то постройка стала разрушаться. За деньги владельцы позволили экономному и настойчивому крестьянину повытаскать из этой постройки немало камней. Им пришлось также поневоле допустить короля присвоить себе все общественные отделы этой постройки. Таким образом, им самим остался лишь один первоначальный остов, т. е. древнее устройство собственности, земля, скованная цепями или истощенная ради поддержания социальной формы, которая уже распалась, — словом, сохранился только старый порядок, состоящий из привилегий и повинностей, причины же и цели которых давно уже исчезли.

5.

Но из этого не следует, чтобы такой порядок был вреден или бесполезен. В самом деле, местный глава, не исполняющий уже прежних общественных обязанностей, мог все же, взамен этого, нести на себе другие, новые обязанности. Его должность была установлена для войны, когда жизнь носила воинственный характер, но он мог служить и в мир-

ное время, при введении мирного режима, и нация, претерпевшая такое превращение, очень много выигрывала от этого, так как, сохраняя своих прежних вождей, она избавлялась от ненадежной и опасной операции, состоящей в приискании новых. Нет ничего труднее, как основать правительство, т. е. я хочу сказать, стойкое правительство, такое, которое состоит в том, что повелевают немногие, а подчиняются все, что во всяком случае противно человеческой природе. Для того, чтобы один человек, иногда дряблый старик, мог из своего кабинета располагать жизнью, и имуществом двадцати или тридцати миллионов людей, из которых большинство даже не видело его в глаза, для того, чтобы он мог приказывать им отдавать десятую или пятую часть своего дохода и они бы отдавали ее, для того, чтобы он мог повелевать им идти и убивать других или самим рисковать своею жизнью и они бы исполняли это; для того, чтобы они продолжали так поступать в течение десяти — двадцати лет, несмотря на все испытания, неудачи, бедствия и нашествия, подобно французам при Людовике XIV, англичанам при Питте, пруссакам при Фридрихе II, не прибегая к возмущению и внутренним волнениям, — для этого, в самом деле, требуется чудо! Но, чтобы оставаться независимым, народ должен был ежедневно быть готовым совершать такое чудо. Однако ни такая верность, ни такое согласие не могут быть плодами рассуждающего разума, который слишком слаб и слишком шаток, чтобы оказывать подобное всеобщее и энергичное действие. Предоставленное самому себе и внезапно низведенное до степени первобытного состояния, человеческое стадо только будет волноваться и сталкиваться друг с другом, пока наконец грубая сила не возьмет верх, как во времена варварства, и, среди пыли и криков, не воспрянет внезапно военный предводитель, который большею частью бывает мясником. Что касается истории, то ведь лучше ее продолжать, чем начинать сызнова! Вот почему полезно, в особенности тогда, когда народное большинство еще малокультурно, чтобы предводители были заранее указаны, во-первых, наследственной привычкою следовать за ними, а во вторых — специальным воспитанием, которое подготовляло

бы их к власти. В таких случаях общество не имеет нужды искать их, чтобы найти. Они находятся тут налицо, в каждом округе, видимые для всех и заранее признанные всеми. Их распознают по их именам, титулам, состоянию, роду жизни и почтению, с которым все готовы относиться к их авторитету. В большинстве случаев этот авторитет бывает заслуженным. Рожденные и воспитанные для власти, они находят в предании, примерах и фамильной гордости могущественных побудителей, питающих в них общественный дух, поэтому и можно ожидать, что они поймут те обязанности, которые налагает на них их преимущественное положение. — Таково именно то обновление, которое дозволяется феодальным строем. Прежний глава может оправдывать свое преобладание теми услугами, которые он оказывает, и может сохранить популярность, оставаясь привилегированным. Некогда он был капитаном округа и постоянным жандармом, теперь же он должен сделаться благодетельным помещиком, живущим постоянно в своих владениях, и добровольно поддерживать все полезные предприятия. Он должен быть покровителем бедных, администратором и даровым судьей округа, а также безвозмездным его представителем перед лицом короля. Он будет таким же предводителем и покровителем, как прежде, но только форма будет другая, более приспособленная к новым обстоятельствам. Местный судья и представитель округа — вот его две главные обязанности, и если бросить взгляд за пределы Франции, то можно убедиться, что везде он исполняет или ту, или другую обязанность, или же обе вместе.

Глава третья

1.

Обратим внимание прежде всего на местное управление. У самых ворот Франции есть места, где феодальное подчинение, хотя и более тяжелое, чем во Франции, кажется легче, потому что его благодеяния, положенные на чашу весов, перевешивают его тягости. В Мюнстере, в 1809 г., Бенво находит владетельного епископа, монастырский го-

род и большие владельческие дворцы, но мало купцов, торгующих самыми необходимыми вещами, и лишь небольшое число городских обывателей; кругом же крестьяне, поселенцы или крепостные. Владелец берет в свою пользу часть всех произведений их труда, пищевыми продуктами или скотом, а после их смерти получает часть оставленного ими наследства. Если они уйдут от него, то их имущество достается ему. Его слуги наказываются, как мужики, и в каждом сарае имеется для этой цели деревянная кобыла, но владельцы могут налагать и более тяжкие наказания, по всей вероятности, палочные удары и проч. Однако «никогда, ни одному осужденному не приходило в голову протестовать против такого наказания или подавать жалобу!» И это потому, что если владелец по-отечески сечет их, то он «по-отечески и бережет их и всегда приходит к ним на помощь в случае несчастья, заботится о них во время болезни и дает им приют, когда они состарятся». Он оказывает поддержку их вдовам и радуется, когда у них бывает много детей. Между ним и его подвластными существует общность симпатий, и они не чувствуют ни тревоги, ни несчастья, потому что знают, что во всех своих предвиденных или непредвиденных бедствиях они могут прибегнуть к нему. В прусских государствах и по уставу Фридриха Великого рабство, еще более тяжелое, уравнивается обязательствами, лежащими на владельцах. Крестьяне не могут без разрешения владельца отдавать свои поля, закладывать свою землю или обрабатывать ее иным способом, переменять ремесло и вступать в брак. Если бы им вздумалось покинуть его владение, то господин может преследовать их повсюду и силою вернуть их. Он имеет право надзирать даже за их частною жизнью и наказывает их за пьянство или лень. В юношеском возрасте они проводят несколько лет в качестве слуг в его замке, а сделавшись земледельцами, они обязаны отбывать баршину, которая в некоторых местах доходит до трех дней в неделю. Но зато, как обычай, так и закон, чтобы он «заботился о их воспитании, помогал им в нужде, доставлял им, насколько возможно, средства к жизни». Он требует от него, следовательно, несет на себе все тяготы правительства, пользуясь в то же время и доставляемыми

им выгодами, и его подданные, хотя и сгибаются под тяжестью его руки, которая давит на них, но не пробуют от нее освободиться, так как в то же время эта рука и поддерживает их. В Англии высшие классы достигли таких же результатов, но только другими путями. Там точно так же земля платит церковную десятину, и притом строго вычисленную десятую часть дохода, значит, гораздо больше, чем во Франции. Сквайр, — дворянин — владеет частью земли гораздо большею, нежели его французский сосед, и на самом деле его власть в округе гораздо больше. Но его арендаторы, крестьяне и фермеры, уже более не его крепостные и даже не вассалы; они свободны. Если он и управляет ими, то лишь благодаря своему влиянию, и они подчиняются ему не по приказанию. Как владелец и хозяин, он пользуется почтением и приносит очевидную пользу, занимая различные общественные должности. В особенности важно то, что он постоянно живет в округе из поколения в поколение и находится в наследственных и постоянных сношениях с местным обществом, как по своим делам, так и благодаря своим развлечениям: охоте, попечительству о бедных и через своих фермеров, которых он допускает к своему столу, и через своих соседей, которых он встречает в комитетах и в приходских советах. Вот каким путем удерживаются старинные иерархии! Для этого только нужно — и этого вполне достаточно, — чтобы они изменили свой военный строй и гражданский и чтобы нашлось более современное занятие для феодального вождя.

Перевод Э. Пименовой



ФЮСТЕЛЬ де КУЛАНЖ

18 марта 1830 г. — 12 сентября 1889 г.

Жизнь

Семья Фюстеля де Куланжа происходила из провинции Бретань. Родился он в Париже. В 1853 г. закончил Высшую нормальную школу в Париже.

В 1858 г. защитил докторскую диссертацию.

С 1861 г. по 1870 г. преподает на историко-филологическом факультете Страсбургского университета.

В 1864 г. выходит в свет первый крупный исторический труд Фюстеля де Куланжа, «Гражданская община античного мира», принесший ему широкую известность в исторической науке.

В 1870 г. Фюстеля де Куланжа приглашают в Париж преподавать историю в Высшей нормальной школе. Поэтому он становится непосредственным очевидцем тягот

Франко-прусской войны и событий, связанных с Парижской коммуной.

Фюстель де Куланж, остро переживая поражение Франции в этой войне, опубликовал ряд статей, в которых резко обличал завоевательную политику Пруссии, выступал против немецкого историка Моммзена, оправдавшего отторжение Эльзаса от Франции. Но, критикуя шовинистическую позицию Моммзена, Фюстель де Куланж и сам не был до конца объективен. Односторонне противопоставляя внешнюю политику Франции внешней политике Пруссии в XVII — XIX вв., игнорируя различие между освободительными войнами Французской революции и захватническими войнами Наполеона, де Куланж рисовал Францию искони миролюбивой страной.

В 1875 г. становится членом Академии моральных и политических наук.

С 1875 по 1888 г. занимает профессорскую должность в Сорбонне, где для него была создана кафедра средневековой истории.

С 1880 по 1883 г. был назначен директором Высшей нормальной школы.

В конце его жизни, в 1888 г. начинает выходить главный исторический труд Фюстеля де Куланжа — «История общественного строя древней Франции». Последний том вышел уже после его смерти, в 1892 г.

Судьба

Современники Фюстеля де Куланжа отмечали у него одну очень тяжелую черту характера — страсть к научным спорам, в которых он нередко нетактично задевал самолюбие своих оппонентов. Однако отсутствие терпимости к чужому мнению у де Куланжа было вызвано не честолюбием или самодовольством. Для него истина стояла всегда на первом месте. Де Куланж долго сомневался, пока искал ее; только когда приходил к убеждению в своей правоте, он проникался последним всецело, и когда затрагивались устоявшиеся его взгляды, ему казалось, что оскорблена сама правда,

и им овладевала неприязнь в отношении тех, кто не хотел, как ему казалось, понять ее.

Фюстель де Куланж заблуждался часто, но всегда был искренен и никогда не стремился давить на мнение учеников своим авторитетом. Однако неумение корректно спорить часто отталкивало от него ученых-историков, особенно представителей иностранных школ, не сумевших по достоинству оценить французского историка.

До последнего дня своей жизни Фюстель де Куланж повторял себе: «Иди вперед! Ты еще не отыскал всей истины!»

Творчество

В начале своей деятельности Фюстель де Куланж увлекся древней историей. Главный труд этого периода его жизни («Гражданская община античного мира»), — об античном городе-государстве изображавшемся им как община, основанная на религиозном культе предков. Он пытался доказать, что все общественные перевороты в античном мире имели религиозное происхождение. И что движущей силой античной истории выступала религия, на которой основывалось общество.

В 70-е гг. Фюстель де Куланж обращается к истории раннего средневековья. Правда, его основной труд «История общественного строя древней Франции» был первоначально задуман автором как часть всей французской истории от франкской Галлии до Великой французской революции. Но смерть помешала Фюстелю де Куланжу осуществить свой грандиозный замысел.

И все же уже написанная им «История Франции» представляется важным вкладом в мировую историческую науку. Фюстель де Куланж одним из первых выдвинул идею о том, что античная цивилизация не погибла с приходом германских племен в IV — V вв. При этом, правда, Фюстель де Куланж сводил на нет влияние варваров на историю Европы.

По мнению Куланжа, внутри Римской империи оставалось достаточно сил, чтобы победить варваров. Слабые и



Гальские монеты



Нашествие галлов

грубые варвары не в состоянии были справиться с могущественной цивилизацией. Они стали переходить границы империи, гонимые внутренними усобицами, и оседать на территории, превращаясь в подданных империи.

Таким образом, происходило лишь расширение сферы влияния римской культуры и медленное, более мирное, чем военное проникновение, в состав населения империи новых (германских) элементов. И в этом процессе внутренней борьбы между римской цивилизацией и варварском миром, по мнению Фюстеля де Куланжа, рождается европейское средневековье и феодализм. Источником феодализма в конечном счете были лишь римские общественные институты (крупное землевладение, зависимость от него непосредственных производителей, сильная монархическая власть, частная собственность).

Одна из научных заслуг в истории Фюстеля де Куланжа состоит в том, что он обратил особое внимание на роль в истории экономических отношений. Он одним из первых обратился к специальному изучению аграрной истории раннего средневековья Франции.

Фюстель де Куланж был выдающимся знатоком документального материала, мастером тонкого и всестороннего его анализа, введшим в научный оборот много новых исторических источников. Как автор он отличался большим литературным талантом. Фюстель де Куланж оказал сильное влияние на традиции французской историографии.



АНРИ ПИРЕНН

1862 — 1935

Жизнь

Анри Пиренн, известный бельгийский историк, родился 23 декабря 1862 г. в г. Вербье в семье фабриканта. Университетский курс А. Пиренн прошел в Льеже, а в 1886 г., будучи двадцатитрехлетним молодым человеком, получил кафедру в Гентском университете, которую занимал 44 года.

Кроме Гента, Пиренн преподавал также в Париже, Дижоне, в Монпелье, Алжире. В Бельгии Пиренн был признанным главой исторической науки, стоял во главе ряда научных учреждений. Он был представителем комиссии по изданию Национального биографического словаря, председателем комитета Бельгийского исторического института в Риме, секретарем королевской исторической комиссии.

Под его председательством в Брюсселе в 1923 г. прошел V международный конгресс историков, первый после окончания мировой войны.

Судьба

Пиренн был страстным патриотом Бельгии. В своих работах он, не нарушая научной объективности, пытается опровергнуть распространенное представление о том, что бельгийской нации, как исторического единства, не существует, что Бельгия — искусственное создание дипломатии и что ее история не заходит далее 1830 г. Пиренн же возводит начало истории Бельгии ко временам Германского завоевания римской Галлии. Специфическое положение Бельгии между Францией и Германией, по Пиренну, сделало из нее "лотарингскую нацию" своеобразный "микрокосм Европы", который заставляет Бельгию возрождаться из пепла каждый раз после разгрома соседями.

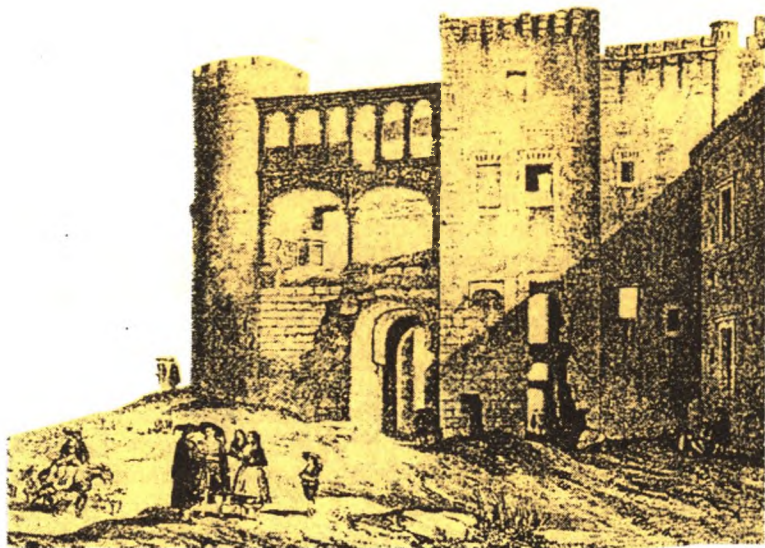
Но и роль бельгийцев в создании независимого государства Пиренн неизменно подчеркивает. "Бельгия — и в этом оригинальность и красота ее истории — является продуктом воли ее граждан, — пишет Пиренн. — У нас есть родина не потому, что ее нам дала природа, а потому, что мы так захотели".

Научные работы Пиренна принесли ему широкую известность. Он был членом Французского института, членом 13 академий, имел 16 почетных ученых степеней. Пиренн был блестящим популяризатором исторической науки, умел облекать свои работы в живую интересную форму. За свою жизнь А. Пиренн создал более 300 научных произведений.

Умер А. Пиренн в 1935 г.

Творчество

Круг научных интересов Пиренна очень широк, но особенно его интересовала социально-экономическая история Средневековья. Много внимания ученый уделил проблеме



Родовой замок герцогов Альба в Испании

возникновения и развития средневекового города и его институтов. Наиболее полно эта проблема разработана в его фундаментальном труде «Города средневековья» (1927) (в русском переводе эта работа вышла под названием «Средневековые города и возрождение торговли» в 1941 г.) Пиренн полагал, что город возник из купеческого поселения.

Но главным трудом жизни Пиренна считается «История Бельгии» в 7 томах. Эта работа представляет собой совокупность монографий, отражающих историю Бельгии со времен раннего средневековья до 1914 г.

Для творчества Пиренна характерна психологизация исторического процесса, особое внимание к такой области экономики, как внешняя торговля.



Герцог Альба

ГЕРЦОГ АЛЬБА

1.

Личная политика Филиппа II в Нидерландах установилась полностью лишь с того дня, когда король принял решение послать туда герцога Альбу. До этого он в отношении своих бельгийских провинций только следовал традициям Карла V. Правда, он ввел новые епископства, но все же он уважал политические учреждения страны и избегал всяких поводов к разрыву; и, несомненно, против воли и довольно неловко, но все же он пытался удовлетворить общественное мнение. Нерешительность его политики сопровождалась все новыми уступками и закончилась решительной неудачей. Напрасно он отозвал свои войска, напрасно он дал отставку Гранвелле и капитулировал перед дворянством. Чем больше уступчивости он проявлял, тем смелее становилась оппозиция. Вначале чисто политическая, она стремилась восстановить Бургундское государство в противовес Испании. Потом, осмелев, она дошла до того, что потребовала свободы совести; она стала поощрять кальвинистскую агитацию в стране и вызвала под конец восстание иконоборцев. Это было в равной мере оскорблением как королевского, так и божественного величия. С точки зрения католического короля, политическая автономия, которой требовали Нидерланды, лишь содействовала торжеству ереси. Он одинаково осуждал и то, и другое. Полагая, что его интересы как государя совпадают с интересами церкви, покровителем которой он считал себя, он наконец решил подвергнуть своих северных подданных примерному наказанию и навязать им, кроме того, тот политический и религиозный абсолютизм, который господствовал в Испании. Действительно, для того чтобы восстановить одним ударом в Нидерландах «необходимое послушание» и религиозное единство, достаточно было насадить в них испанский режим. Этой задаче должен был посвятить себя герцог Альба. Он явился не только для того, чтобы наказать мятежников и преследовать еретиков. Ему дана была миссия испанизировать нидерландское правительство, подчинить его во

всех отношениях мадридскому совету и превратить его в «presidio», опираясь на который Испания, перестав бояться новых восстаний, могла бы начать навязывать свое влияние и свою веру Франции, Англии и Германии и, пользуясь этим блестящим центральным положением, продолжить дело Карла V, т. е. стремиться к мировому владычеству и осуществить победу католичества.

Нидерланды, несмотря на отсутствие там государя, оставались до этого времени благодаря своим правительницам в непосредственном контакте с династией. Маргарита Австрийская, Мария Венгерская, Маргарита Пармская были «королевской крови», и благодаря их присутствию бельгийские провинции сохранили некоторую видимость старой бургундской независимости. С прибытием Альбы они потеряли ее. Действительно, вместе с Альбой управление бургундскими провинциями перешло в руки иностранца, простого орудия того, кто его послал, ответственного только перед ним и действующего только во имя его. С самыми старыми «наследственными землями» монархии стали теперь обращаться как с завоеванными странами. Альба не провел торжественного утверждения себя в должности в провинциях и не принес присяги в соблюдении их привилегий. Поэтому он будет впредь связан только тем словом, которое он, уезжая, дал своему королю.

Впрочем, этот король, действуя сообразно своему характеру, старается обмануть общественное мнение относительно своих намерений. Официально он возлагает на герцога Альбу только военные полномочия, оставив за Маргаритой Пармской титул правительницы. В частности — и явно для успокоения умов — он делает вид, что хочет поехать сам в Брюссель. Он дает понять это папе, умоляющему его подойти к своим подданным «с милосердием, а не с огнем и мечом». Он сердится, если ему кажется, что кто-нибудь сомневается в его путешествии. Он приказывает уложить свои вещи, тратит 200 тыс. дукатов на дорожные приготовления, просит Пия V вознести молитвы за его счастливый переезд и велит Маргарите Пармской выслать ему навстречу суда. Между тем он определенно решил не ехать. Он не хочет руководить уничтожением привилегий, которые он поклялся

сохранять, присутствовать при исполнении подписанных им приговоров, видеть, как будет проливаться кровь, и слышать мольбы своего народа. Только гораздо позднее, когда дело будет закончено, он появится «как добрый отец», чтобы пожаловать свое прощение. Пока же он хладнокровно и до мельчайших подробностей устанавливает, какие меры должны быть приняты, и указывает, кого следует казнить. В числе их как раз Монтиньи, недавно прибывший в Испанию; нельзя допустить, чтобы он избегнул этой участи. Поэтому Филипп посулами и разными предложениями старается удержать его около себя до того момента, когда его верный помощник даст ему знать, что настало время действовать.

Эта маленькая деталь достаточно ясно показывает, что король и герцог с общего согласия наметили план действий, в котором ничего не было оставлено на волю случая. Роли были распределены до конца. Для видимости король остается в стороне от репрессий. Он перелагает на герцога всю ответственность перед общественностью за их общее дело, и последний принимает эту ответственность не только без колебаний, но с радостью.

Дон Луи Альварес де Толедо, герцог Альба и маркиз де Сория, которому в 1567 г. исполнилось 59 лет, принадлежал к тому поколению, на глазах которого испанское владичество распространилось по всей Европе. Вся гордость его энергичной и воинственной расы проявилась в нем на поле брани, когда он сражался под знаменем Карла V против французов и протестантов. Величие его короля совпало в его глазах с величием Испании. Он воспринимал как личное оскорбление требования бельгийской знати, обращенные к правительству Филиппа II. Не признавался ли он уже в 1564 г., что чтение их писем приводило его в бешенство? Кроме того, он ненавидел жителей Нидерландов и радовался возможности заставить их искупить то презрение, которое Шьевр и «Flamencos» выказывали когда-то касильцам. Христианин старого закала, он питал отвращение к религиозной терпимости и видел в сторонниках ее простых защитников ереси. Гордый своим знатным происхождением, он презирал народ, у которого буржуазия пользовалась преобладающим влиянием. Сдержанный, надменный,



Маргарита Пармская

державшийся на расстоянии от людей, он не скрывал своего отвращения к шумному веселью, длительным попойкам, непринужденному поведению народа, характер которого он совершенно не в состоянии был понять и самые добродетели которого — откровенность, неутомимая работоспособность, сердечность и человечность — казались ему пороками. Впрочем, он был меньше всего грубым солдафоном. Его ледяная, но утонченная вежливость импонировала всем. Он мастерски владел собою, и его современники восхищались рассудительностью, блестящие доказательства которой он дал и в качестве военачальника и в качестве дипломата. Он принимал решение только после зрелого размышления, но, приняв его, он шел прямо к цели с непоколебимой твердостью воли, недоступной сомнению. Это был, как прекрасно выразился Мишле, «человек посредственных дарований, но сильный ясностью принятых решений, простотой своих планов и силой своей страсти».

Прибыв в Нидерланды с целью наказать мятежников, не заслуживавших в его глазах никакого снисхождения, и уничтожить политическую конституцию, несовместимую с величием его короля, он пошел до конца по намеченному им пути. Он никогда не испытывал не только ни малейших угрызений совести — такое слово было бы смешным в применении к подобному человеку, — но и ни малейших колебаний: Он не замечал, что он сам создавал себе препятствия на своем пути. Он знал только один способ управления: силу, или, вернее, террор. Недоступный ни пониманию возможного, ни чувству сострадания, он непоколебимо, со спокойной совестью шел вперед по развалинам. Чувство долга, а не жестокость, заставляло его подписывать смертные приговоры, и его душевное спокойствие по отношению к своим жертвам можно было бы сравнить с душевным спокойствием Робеспьера. Как у того, так и у другого искренность была столь же полной, сколь и ужасной, и тот и другой непоколебимо брали на себя ответственность за пролитую ими кровь. «Бесконечно лучше, — писал однажды герцог, — путем войны сохранить для бога и для короля государство, обедневшее и даже разоренное, чем без войны иметь его в цветущем состоянии для сатаны и его пособни-

ов-еретиков». Если бы Альба был на 20 лет моложе, то он, конечно, не думал бы так. Но религия в его понимании была религией тех испанцев старого закала, которые сформировались во время священной войны против мавров, для которых понятие «еретик» совпадало с понятием «неверный». Единственный способ пропаганды, известный этим людям, были меч или костер. Сражаясь за Христа и за короля, они были только солдатами. Они признавали только тело и презирали дух. Их деятельность была чисто военной и политической, и, сражаясь за церковь, они не становились под ее руководство. Альба в течение всей своей жизни надменно обращался с епископами и питал непреодолимое недоверие к иезуитам.

Если он решил действовать беспощадно, то он должен был быть зато уверен, что его дело не будет ни долгим, ни трудным. Разве военная сила, которую доверил ему король, не была непобедима? Он привел с собой армию, состоящую из 19 знамен терций из Неаполя под начальством Алонзо де Улоа (Alonso de Uloa), 10 знамен терций из Сицилии под начальством Юлиана Ромеро (Julian Romero), 10 знамен терций из Ломбардии под начальством Санчо де Лондоньо (Sancho de Londono), 14 знамен терций из Сардинии под начальством Гонзало де Бракамонте (Goncalo de Bracamonte), в общей сложности около 9 тыс. чел. старых испытанных войск, не знавших поражений. Его конница состояла из 1 200 итальянских и албанских солдат, в том числе из отборного отряда в 200 конных мушкетеров. Все это войско находилось под начальством его побочного сына, дона Фернандо де Толедо, великого приора Кастилии. К генеральному штабу была прикреплена группа итальянских инженеров, среди которых находился знаменитый Кьяпино Вителли (Chiapino Vitelli), один из лучших военных инженеров той эпохи. Войска были экипированы безукоризненно. При их переходе через Савойю, Франш-Конте и Лотарингию люди сбегались издалека полюбоваться их воинственным видом, блеском их оружия, прекрасным порядком в их рядах, массой карет и обозных повозок. Армию сопровождала пестрая толпа женщин, из них 800 пешком и 400 верхом, «красивых и нарядных, как принцессы». Можно было

подумать, что видишь легионы Цезаря,двигающиеся на завоевание Бельгии. Вся армия полна была воодушевления, в особенности испанские ветераны, которые заранее радовались возможности расправиться с нидерландским населением, этим сборищем «luteranos» и врагов короля.

Как только Маргарита Пармская встретила герцога, исчезли последние иллюзии, которые она могла еще иметь. Он мог сколько угодно высказывать ей «величайшее уважение» и заверять ее в том, что он отдает себя в ее распоряжение, «так же, как Берлемон и Аремберг», но она сейчас же поняла, что отныне этот «генерал-капитан» был подлинным хозяином и она больше ничего не значила. Ее тщеславие могло бы, может быть, удовлетвориться простой видимостью власти, но она не могла решиться быть соучастницей того, что она предвидела. Перед лицом этого непоколебимого человека, который хладнокровно советовал ей возложить на него всю ответственность и который брал на себя всю ту ненависть, которую он собирался пробудить, она думала лишь о том, чтобы поскорее покинуть Брюссель. Уже 29 августа она просила короля разрешить ей уехать. В октябре она получила позволение удалиться и в конце декабря выехала в Италию.

Впрочем, Альба не ждал для начала своих действий, чтобы она уступила ему свое место и свой титул. Тотчас же после своего прибытия в Нидерланды он с большим знанием дела расположил свои войска, чтобы предупредить всякую попытку к восстанию. Он разместил их в соседних с Брюсселем пунктах с таким расчетом, чтобы в случае нужды их можно было собрать в одну ночь. Впервые большие бельгийские города должны были содержать постоянные гарнизоны. В Антверпене итальянские инженеры приступили к постройке неприступной цитадели, которая должна была явиться оплотом для войск как в случае национального восстания, так и в случае иностранного нашествия. В стране тотчас же нагло воцарилась власть или, вернее, насилие испанцев. В городах солдаты грубо обращались со своими хозяевами, требовали, чтобы им отдавалось все, что имелось лучшего, и вызывали возмущение горожан как распушенностью своих нравов, так и чрезмерными проявле-



Графы Эгмонт и Филипп Горн

ниями своего южного благочестия — крестными ходами и публичными самобичеваниями. При дворе нидерландские советники и чиновники чувствовали себя жертвами подозрительности и недоброжелательства. Все окружение герцога было чисто испанским, и сам он делал вид, будто не говорит по-французски. Его надменное, холодное обращение приводило в ужас дворянство. Как только Эгмонт увидел его, он сразу стал другим человеком. Он перестал есть, и ночью слышно было, как он лихорадочно метался по своей комнате; на него нападали приступы гнева, во время которых он говорил о том, что хочет запереться в своем замке Газбек и «поднять мосты». Над всем народом нависла та мучительная тревога, которая предшествует обычно неизбежной и таинственной катастрофе.

Между тем герцог — из хитрости или по крайней мере из осторожности — не торопился начинать. Он хотел, чтобы первый его удар хорошо попал в цель, и долго обдумывал,

как это сделать. Это ему чудесно удалось. 9 сентября в Брюсселе неожиданно были арестованы графы Эгмонт и Горн, а в Антверпене — бургомистр ван Стрален. Меньше чем через две недели, 21 сентября, в Испании был издан приказ об аресте несчастного Монтиньи.

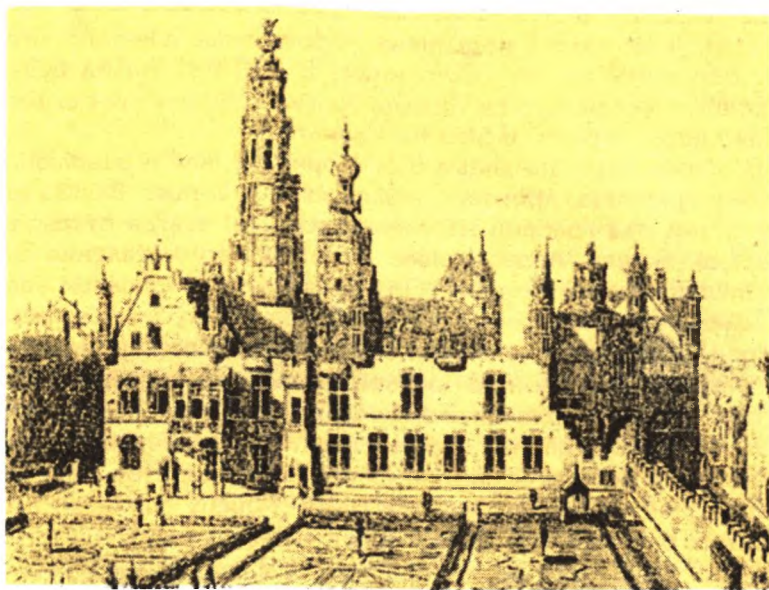
В то же время, с 9 до 13 сентября, был учрежден совет по делам о беспорядках. Совет этот, состоявший из 7 членов, подчиненных влиянию трех испанцев, — Дель Рио, Варгаса и Рода, — в сущности говоря, не был трибуналом. Его задача сводилась к тому, чтоб готовить приговоры, которые правительство издавало от своего имени. Собственно говоря, это была юрисдикция осадного положения, ни в малой мере не считавшаяся с национальными обычаями, традициями и свободами. Во время террористического режима, установленного Альбой в Нидерландах, он играл ту же роль, что и революционный трибунал в самый кровавый период Французской революции. И тот и другой жертвовали индивидуальными гарантиями и самыми элементарными формами правосудия ради поставленной цели — общественной безопасности и пользы государства. Как здесь, так и там свирепствовала та же жестокая и лихорадочная деятельность. Когда герцог был в Брюсселе, он проводил ежедневно по 7 часов в совете, неустанно подписывая пачками смертные приговоры. 4 января 1568 г. были казнены 84 чел., 20 февраля — 37, 21 февраля — 71, 20 марта — 55 и т. д. 3 марта в один и тот же час по всей стране пали жертвой 1 500 чел. Столько несчастных было казнено не только за ересь. Альба предоставил инквизиторам наказывать за грехи против веры; себе же он оставил только мятежников: бунтовщиков, иконоборцев, лиц, подписавших «компромисс», посетителей протестантских проповедей и, наконец, неосторожных, давших увлечь себя событиям 1566 г., которые теперь расплачивались своими головами за несколько дней мятежа или беспорядков. Искренние католики отлично видели, что «дело не в заботе о душах». Они тем более могли в этом убедиться, что «кровавый трибунал» регулярно приговаривал наряду со смертью также и к конфискации имущества. Таким образом, бойня, которой он руководил, превратилась в блестящую финансовую опе-

рацию, и он казнил подданных короля лишь для того, чтобы обогатить его их достоянием. В 1573 г. Альба будет похвалиться тем, что он одними только конфискациями доставил королю ренту в 500 тыс. дукатов.

В общем совет по делам о беспорядках, как и революционный трибунал, произвел надлежащее действие. Всегда занесенный над головой населения топор и всегда открытая тюрьма довели подавляющее большинство населения до последней степени страха. Под впечатлением слишком неожиданного и слишком жестокого удара, сокрушившего весь народ, он, казалось, потерял самого себя. Но если бы даже он захотел, то как он мог организовать сопротивление в городах, занятых испанскими солдатами? Поэтому все, кто мог, бежали за границу. Другие прятались по деревням, где отчаяние и нищета обращали их вскоре в бандитов и грабителей. Под названием «лесных гёзов» («*gueux des bois*») или «лесных братьев» («*frères des bois*»), «*bosquillons*», «*feuillants*», «*blitres*» банды их бродят по Нижней Фландрии и области Турнэ; они пугают население, живут за счет бедняков и, обуреваемые жадной мести, грабят дотла церкви и убивают священников, попадающихся им в руки.

Эта Вандея XVI в. так же не могла удалиться, как и покушения некоторых отважных дворян на особу правителя. В самом деле, принятые герцогом меры были слишком хорошо подготовлены, и его войска были слишком сильны для того, чтобы он мог чего-нибудь опасаться внутри страны. Но он ожидал нападения извне и, чтобы быть готовым ко всему, на вербовал в Германии тотчас же по своем прибытии в Нидерланды 11 тыс. рейтаров.

Действительно, он не мог не знать, что принц Оранский, удалившийся в Дилленбург, был единственной надеждой эмигрантов, которые с лета 1567 г. непрерывно покидали страну кто сушей, кто морем. Недавняя смерть Берга и Бредероде, арест Эгмонта, Горна и Монтиньи привели к тому, что все уважение, которым пользовалась национальная знать, было перенесено теперь на принца Оранского. Молодой граф Гогстратен последовал за ним в его изгнание; Марникс помогал ему своим писательским талантом и своим красноречием; Яков Везембек неустанно вел пере-



Дворец Вильгельма Оранского в Брюсселе

писку с его приверженцами внутри страны и за границей и организовал его финансы. Наконец, его брат, пылкий Людовик Нассауский, торопил его поскорее вдеть ногу в стремя и приказать «бить сбор».

Если принять все во внимание, то шансы открытой борьбы против герцога Альбы были более благоприятны, чем это могло показаться с первого взгляда. Внутри Нидерландов царил всеобщее возмущение. Французские гугеноты, конечно, приняли бы участие в плане действий против сподвижника Филиппа II. Помощь же Германии казалась еще более обеспеченной. Император Максимилиан II действительно не скрывал, что он не одобряет поведения герцога, и уже в феврале 1568 г. заявил об этом в Мадриде. Но принц Оранский, будучи сам лютеранином, особенно рассчитывал на помощь лютеранских князей. Он носится с планом привлечь Германию на свою сторону. Он высказывается и действует как немецкий принц. Он напоминает во всеуслышание, что Нидерланды являются частью империи и



Принц Вильгельм Оранский

имеют поэтому право требовать у нее помощи против своего угнетателя. Однако он тщательно избегает обвинений против испанского короля, своего законного государя. Его гнев направлен против тирана — чужеземца, который обращается с нидерландскими провинциями, как с завоеванной страной, топчет ногами их привилегии и подчиняет их своему произволу. Будучи протестантом, он остерегается поднимать религиозный вопрос, боясь обеспокоить католиков. Задуманная им война — это национальная война. Он обращается ко всем патриотам, он требует свободы совести, сохранения привилегий, созыва генеральных штатов, словом, выдвигает народную программу, которая в 1566 г. собрала вокруг себя весь народ без различия состояний.

Уже весной 1568 г. его план был окончательно разработан. Суммы, полученные от залога его имуществ, а также денежная помощь от его семьи и нескольких немецких князей вместе с добровольными пожертвованиями эмигрировавших кальвинистов из Англии, Фрисландии, Кёльна и Пфальца дали ему необходимые средства, чтобы создать в течение нескольких месяцев значительную армию. Его офицеры должны были одновременно в нескольких пунктах вторгнуться в Нидерланды. Сам же он предполагал вместе с главными военными силами держаться позади, чтобы действовать сообразно обстоятельствам и вмешаться в решительный момент. Он не сомневался, что соответственно обработанная его эмиссарами страна, наводненная агитационными брошюрами и листовками, тотчас же поднимется, как только появятся ее освободители, и надежда вернет ей ту энергию, которую она потеряла.

В апреле, когда Виллье с 2—3 тыс. чел. перешел границу у Маастрихта, Людвик Нассауский вместе со своим братом Адольфом вторгся в Западную Фрисландию. Виллье был разбит наголову у Далема и взят в плен. Но 23 мая Людовик Нассауский, выступив из Эмдена, столкнулся у Гейлигерле с войсками, которые вел против него граф Аремберг, разбил и принудил их к бегству после жаркого боя, в котором пали неприятельский генерал и молодой Адольф, а затем тотчас же начал осаду Гронингена.

Этот удар не мог ни поразить, ни сломить такого опытно-



Император Максимилиан II

го полководца, как герцог Альба. Он сам решил исправить неудачу своих подчиненных. Но сначала он решил прочно утвердить свою власть и устрасить мятежников ошеломляющей демонстрацией своего правосудия. 28 мая был сровнен с землей дворец Куленбург, в котором в 1566 г. собрались лица, подписавшие «компромисс»; 1 июня на рыночной площади в Брюсселе произошла первая казнь дворян; 2 июня последовали на эшафот Виллье и ван Стрален; нако-

нец, 5 июня, к величайшему ужасу населения, последовала казнь Эгмонта и Горна. Это была ужасная демонстрация силы нового режима, которой Альба ответил принцу Оранскому точно так же, как впоследствии правительство французской революции ответило объединившейся против нее в коалицию Европе казнью Людовика XVI.

Только после этого герцог, уверенный в победе, не торопясь, двинулся во главе своих войск по направлению к северу и, встретив у Емгума отступавшего Людовика Нассауского, при первом же столкновении с ним заставил его в беспорядке отступить обратно в Германию (21 июля). Тем временем граф Ре (Роеух) и виконт Гентский изгнали из графства Артуа несколько отрядов гугенотов.

Крушение этих первых попыток не смутило принца Оранского. В июне он выпустил военный манифест, призывавший под знамена солдат из валлонских полков, расформированных герцогом Альбой. В июле он обратился в одно и то же время к лютеранам и ко всем, «имеющим истинно немецкое сердце». Наконец, за несколько дней до переправы через Маас он объявил себя поборником «свободы отечества».

Армия принца Оранского — пестрый сброд из немецких наемников, французских гугенотов, фламандских и валлонских кальвинистов — насчитывала несколько более 25 тыс. чел. Так как Альба должен был оставлять гарнизоны в главных городах, то он не мог противопоставить Вильгельму такой же силы. Но он знал, что принц не сумеет выдержать длительной кампании. Денежные средства принца позволили ему выплатить своим войскам только месячное жалование. Если ему не удастся добиться молниеносного успеха, который вызвал бы восстание в его пользу, ему больше ничего не останется, как поскорее отступить. Поэтому Альба решил маневрировать таким образом, чтобы, сдерживая натиск неприятеля, избегать прямого столкновения с ним. Он понимал серьезность положения и принимал свои меры с крайней осторожностью. Его твердость перед лицом опасности настолько воодушевила льежского епископа Жерара Гросбекского, что он выступил против многочисленной партии, которая собиралась открыть ворота Льежа принцу Оранскому и предоставить ему таким образом операционную базу.

Обманувшись в своих ожиданиях занять Льеж, принц направился в Брабант. Но его военные таланты не были на такой же высоте, как его политическое искусство. Теснимый испанцами, боясь разрыва своих коммуникационных линий, принц Оранский совершенно не сумел воспользоваться своим численным превосходством. Вместо того чтобы перейти в наступление, он колебался и в своих действиях подчинялся воле своего грозного противника. Как только он узнал о поражении вспомогательного отряда гугенотов, который Жанлис вел ему из Франции, он решил, что дело проиграно, и поспешно отступил через Генегау (5 ноября). Его отступление вскоре превратилось в беспорядочное бегство, и хотя он и не вступал в бой, но он должен был как побежденный вместе с жалкими остатками своей армии спастись бегством в Пикардию. Одним словом, его вмешательство послужило лишь к вяшему усилению авторитета его противника... Несмотря на это, именно во время этой неудачной кампании впервые прозвучали строфы «Willelmuslied» — этой боевой песни будущей революции.

2.

После побед при Далеме и Емгуме и в особенности после плачевного исхода операции принца Оранского новый режим, казалось, окончательно утвердился в Нидерландах. Во время последних событий население безмолвствовало, и его апатия, казалось, обеспечивала навсегда его покорность. Власть Испании утвердилась наконец в этой стране, где она некогда капитулировала перед мятежным дворянством и несколькими небольшими отрядами бунтовщиков. Гордый своими победами, Альба приказал поставить себе одну статую триумфатора в антверпенской цитадели, а другую в Брюсселе, на том месте, где раньше находился дворец Куленбург. Настал момент сделать из нидерландских провинций «стальную цитадель», откуда австрийский дом мог бы диктовать свои законы всей Европе. В Мадриде Филипп II отвечал высокомерно на переданный ему от имени германского императора эрцгерцогом Карлом совет быть умеренным. Тем временем Альба из Брюсселя начал вмеша-

ваться в дела других государств. Он послал Мансфельда с 1 500 всадников на помощь французскому королю в его борьбе с гугенотами. В декабре 1568 г. он решил ответить на враждебные происки Елизаветы арестом всех англичан, занимавшихся торговлей в Нидерландах.

Очевидно, будущее не внушало ему никаких опасений. Его секретарь Альборнос писал, что можно было бы в случае нужды послать для управления Нидерландами коррехидора Сеговии. «Жители очень довольны, и нет в мире нации, которой было бы легче управлять, чем этой, если только знаешь, как ею руководить». Сам герцог похвалялся королю своей системой управления: спокойствие царит повсюду, «и это без всякого насилия». Между тем совет по делам о беспорядках продолжал казни и конфискации. Вопреки воле Филиппа, который уже 18 февраля 1569 г. хотел объявить всеобщую амнистию, «так как эта мера, — писал он, — принесет больше пользы, чем конфискации, и будет, кроме того, средством успокоить немцев», Альба еще долго не решался прекратить суровые меры, которые дали такие благоприятные результаты. Только 16 июля 1570 г. он решился, избрав самый строгий из четырех присланных ему из Мадрида проектов, торжественно объявить в Антверпене амнистию, дарованную его государем.

Амнистия была обещана всем, кто в течение двух месяцев явится с повинной к специально назначенным для этой цели комиссарам. Но сколько же исключений было сделано из этой амнистии! Прежде всего из нее исключалось несколько сот эмигрантов, перечисленных поименно, затем протестантские священнослужители, проводники-учителя ереси, те, кто призвал их в страну или оказывал им помощь, затем также иконоборцы, инициаторы «компромисса», вожди дворянского союза, лица собиравшие подписи под обращением к Маргарите Пармской, те, кто присоединился к мятежникам и оказывал им денежную помощь, те, кто вообще как-нибудь оскорбил верховный авторитет короля и каким-нибудь образом обнаружил сочувствие еретикам. Что же удивительного, что амнистия с таким количеством оговорок и составленная в таких общих выражениях обманула ожидания всех и была встречена с мрачной холодностью? Неу-

молимый судья, каким показал себя король, не сумел сделать жеста милосердия. Грехи прошлого остались запечатленными в его жестокой памяти. Ровно через 3 месяца после объявления амнистии он приказал тайно задушить Монтиньи в его тюремной камере в Симанкас!

Миссия герцога Альбы, как мы сказали, состояла не только в том, чтобы наказать виновных: его главной целью было ввести в Нидерландах новую систему управления и превратить старое Бургундское государство в часть Испанского государства, строго подчиненную короне. Дело было начато без отлагательства, и политические реформы под энергичным воздействием правителя проводились наряду с репрессиями.

Прежде всего уже в 1568 г. были организованы повсюду новые епископства, учреждение которых до сих пор задерживалось вследствие национальной оппозиции. Янсений в Генте, Сонний в Антверпене, Метсий в Буа-ле-Дюк заняли наконец, свои епископские кафедры. В 1570 г. епископы Мехельнской провинции могли наконец созвать свой первый синод и изменить церковный устав на основании принципов Тридентского собора. Лувенский университет также привлекает внимание герцога. 16 января 1568 г. он пишет ректору, чтобы узнать у него, «как себя там ведут и исполняет ли каждый свой долг, как ему надлежит». Чтобы предотвратить распространение ереси, 4 марта 1570 г. издается запрещение посещать иностранные университеты, в которых до сих пор было так много нидерландцев в качестве профессоров и студентов. Вместо этого теперь носятся с планом, чтобы вся умственная жизнь страны ориентировалась на Испанию. В октябре 1570 г. ставится вопрос об основании при университете в Лувене и Дуэ школ для испанцев, а в Саламанке или Алкале — фламандской школы.

Но недостаточно было восстановить правоверие и помочь духовенству в его религиозных делах. Хотя папа и прислал Альбе освященные меч и шляпу, все же Альба отнюдь не подчинялся церкви. Он не хотел предоставить ей независимость, которая освободила бы ее от контроля государства. С большим трудом епископам удалось отговорить его от мысли послать для участия в синоде 1570 г. одного

советника из Мехельнского большого совета. Он стремился к распространению монархической власти на все области жизни. Разве всемогущество короны не должно было оказаться также выгодным и для религии, поскольку испанский король — это преимущественно католический король и поскольку победа его могущества неизбежна совпадала с торжеством веры?

Чтобы распространить его власть и навязать ее Нидерландам, нужно было разрушить до основания их политическую конституцию, в которой столько традиций и столько привилегий мешало расширению неограниченной королевской власти. Задача была несомненно трудная, и герцог признавал это. «Ваше величество, — писал он королю 6 января 1658 г., — если вы обратите на это дело внимание, то вы увидите, что нужно создать совершенно новый мир, и дай бог справиться с этим, так как уничтожить обычаи, укоренившиеся у такого свободолюбивого народа, каким всегда были нидерландцы, дело нелегкое. Я буду работать над этим не покладая рук». Прекрасным средством достигнуть цели было бы просто присоединить Нидерланды к Испании и подчинить их тому же управлению или создать из них объединенное королевство, в котором уничтожены были бы автономии отдельных провинций и управление было бы сосредоточено безраздельно в руках королевской власти, подобно тому как это имело место, например, в Неаполитанском королевстве. Филипп II поручил изучить этот вопрос в Мадриде Гопперу (Hopperus) и Эрассо (Erasso). Но вопрос был шекотливый; он мог вызвать международные осложнения.

Тем временем Альба энергично взялся за дело. Он начал с того, что освободился от стеснительного контроля государственного совета. Он не созывал его больше или созывал его лишь для формы. Он перестал передавать ему — как это делали раньше правительницы — депеши, получаемые им от короля. Он явно показывал, что доверяет только испанцам: Варгасу, Дель Рио, своему духовнику Альборносу, великому приору Кастилии, своему сыну дону Фадрико, который с 1568 г. снова оказался при нем. При малейшем намеке на бургундский режим он явно впадал в бешенство.

Достаточно было быть уроженцем Нидерландов, чтобы впасть у него в милость. Старый Виглиус, столь преданный королю, казался ему изменником. Берлемон, «который считал себя чистым, как жемчужина», не знал, что с собой делать. Было очевидно, что герцог «хочет все переделать на испанский лад». Заметили, что он перестал замешать свободные места в государственном и в тайном совете, и его цель легко была разгадана. Эта цель, которую он изложил королю, заключалась в том, чтобы сразу назначить пачку новых советников, так как при системе постепенных назначений «остававшиеся портили бы новых, подобно тому как это бывает, если влить кувшин хорошего вина в бочку уксуса». В нужный момент в правительственные советы (*conseils collatéraux*) будет введен ряд испанцев и итальянцев, а наряду с ними для формы — несколько нидерландцев, но «никчемных» и «уступчивого характера», как значилось дословно в письме, — при которых «испанцы и итальянцы будут заправлять всем». Что касается нидерландских привилегий, то Альба не придавал им никакого значения, так как он не приносил присяги соблюдать их; еще меньше обращал он внимания на стоны населения. Он не сомневался, что ему достаточно было лишь строго поговорить с народом, чтобы ему повиновались. Разве эта нация «не все еще такова, как ее изобразил Юлий Цезарь?»

Из всех конституционных гарантий, которыми пользовалась страна, самой существенной, но в то же время и самой стеснительной для герцога являлось право вотирования налогов, позволявшее подданным открывать кошельки лишь взамен уступок, опасных для верховной власти. Разве не убедились в этом в 1558 г. при дарении ежегодной дополнительной субсидии на 9 лет?

Между тем срок этой субсидии как раз истек (1567 г.), и теперь необходимо было найти новые денежные средства. Для этого существовали два пути: либо надо было возобновить тягостные и унижительные переговоры с генеральными штатами, либо надо было воспользоваться представлявшимся благоприятным случаем и смело провести основное условие всякой твердой власти — постоянный налог. С помощью такого налога не только будет уничтожена главная ос-

нова народных свобод, но король, сможет, кроме того, освободиться от тягостных жертв, которые он взял на себя ради Нидерландов. Отныне они будут сами покрывать свои расходы. Но мало того, они должны будут, как это и полагается, принять участие в расходах монархии. «Ваше величество, — писал герцог, — основное заключается в том, что вы можете извлечь все, что вы хотите, из этой страны, которой до сих пор за каждый предоставленный вам флорин вы должны были делать бесконечные уступки за счет ваших королевских привилегий, и делать их таким образом, что — при том состоянии дел, которое я нашел здесь, и при том положении, в котором находилась здесь ваша верховная власть, — я, являющийся лишь простым вашим оруженосцем, ни за что не стал бы этого терпеть».

И, разумеется, Альба был искренен, говоря это. Он рассуждал как испанец, для которого Нидерланды были только придатком испанской монархии. По какому же праву должны они пользоваться исключительным положением и выгодами, которых не имеют ни Италия, ни Сицилия? Но в точке зрения, на которую он становился, скрывалась и у него как раз та же ошибка, которая погубила Вильгельма Нормандского в XII в. и Жака Шатильона в XIV. Он не видел, как сильно эти бельгийские провинции с их столь трудолюбивым средним сословием отличались от той Испании, в которой праздное дворянство жило и властвовало за счет бедствовавшего народа. Он не понимал, что если перенести во Фландрию систему кастильских «alcabalas», то это неизбежно должно было разорить ее, подорвав в самой основе промышленность — источник ее благосостояния. С поистине поразительным непониманием характера страны Альба отвечал на возражения Виглиуса и правительственных советов (*conseils collatéraux*), что новые налоги не отяготят ни духовенство, ни дворянство и что они всей своей тяжестью падут на плечи купцов и ремесленников. Перед лицом Англии, обогатившейся благодаря искусной торговой политике Елизаветы, он хотел взвалить на бельгийцев, и так уже наполовину разоренных, огромные денежные повинности, предназначенные для содержания армии, под игмом которой они находились. Кроме того, он не отдавал себе никакого

отчета в том, насколько народ был привязан к своим свободам. Он не знал, что задеть привилегии — «это все равно что оторвать мясо от костей».

Новые налоги были предложены на утверждение генеральных штатов, созванных только на один день, 21 марта 1569 г., в Брюсселе. Они состояли из одного единовременного налога в 1 % со всех движимых и недвижимых имуществ и из двух постоянных налогов; одного — в 10 % с продажи движимых имуществ и другого — в 5 % с продажи недвижимых имуществ, причем оба эти налога должны были уплачиваться продавцами. Эта система, являвшаяся простым перенесением испанских «alcabalas», получила одобрение короля. Сколько Виглиус ни указывал на то, что Нидерланды, в отличие от Испании, не являются земледельческой страной, что они могут сохранять свою промышленность, которой угрожает английская конкуренция, лишь благодаря дешевизне средств существования и сырья и что с этим всегда считались герцог Филипп Добрый и его преемники, — все было напрасно, тем более что тут опять выплывала злополучная ссылка на Бургундию. Филипп II, как и герцог Альба, считался лишь с государственным интересом. Его единственной заботой было освободиться от вмешательства генеральных штатов путем введения постоянных налогов и таким образом обеспечить короне постоянные и значительные доходы. Легко понять, что при наличии столь больших выгод интересы нидерландских провинций ничего не значили. Как было не удивляться такому поведению? Не приносилось ли таким образом будущее в жертву настоящему и не станет ли испанское правительство само жертвой своей собственной политики в тот день, когда оно разорит Фландрию? Оно не боялось срубить дерево, чтобы воспользоваться его плодами, и его финансовые мероприятия в Нидерландах были проникнуты тем же безрассудным желанием немедленной выгоды, которая должна была столь быстро истощить колоссальные запасы Нового Света. Впрочем, герцог приготовился к протестам и, чтобы сразу пресечь их, позаботился о том, чтобы терроризировать генеральные штаты. Он объявил им через старого советника Брюсселя, что «его величество решил пустить в ход против непокор-

ных... власть, которой наделил его господь, чтобы наста-
вить своих подданных на путь истины». Надо будет поэтому
«заткнуть рот всем тем, которые захотят чинить препят-
ствия... чтобы его светлость не был вынужден сделать это
сам». На следующий день герцог имел личную беседу с
представителями отдельных провинций. Он заявил им, что
король и он требуют от них в знак послушания полного сог-
ласия, но что впоследствии налоги в 10 и 5 % смогут быть
заменены менее тягостными обложениями, которые будут
установлены в согласии с ними.

Неопределенная надежда, зароненная этими словами, не-
сомненно в значительной мере объясняет окончательное
решение провинциальных штатов. За исключением утрех-
тских штатов, упорно настаивавших на отказе, все осталь-
ные штаты после долгих споров — хотя и с протестами —
решили принять новые налоги. Впрочем, почти повсюду их
согласие было вырвано угрозами. В Лилле губернатор Рас-
сенгин нарисовал ужасную картину несчастий, которые
навлечет на них их отказ: «Народ будет тогда плакать... но,
может быть, никто тогда не станет слушать его; герцог не
остановится перед тем, чтобы разграбить дотла один или
два города в назидание другим». Аналогичные средства бы-
ли применены во Фландрии и в Генегау. В некоторых мес-
тах вотирование было неправильным, как, например, в Ар-
туа, где вопреки обычаю спрашивалось в отдельности сог-
ласие каждого города, или, например, в Брабанте, где не
принят был во внимание отказ «наций» Лувена и Брюсселя.

Таким образом, герцог достиг своей цели и удовольство-
вался на время этим первым успехом. По просьбе штатов
он согласился заменить на два года (с 13 августа 1569 г. до
13 августа 1571 г.) налоги в 10 и 5 % общей суммой в 2
млн. ежегодно. Однопроцентный налог был зато взыскан и
в феврале 1571-го дал 3 300 тыс. флоринов. Воодушев-
ленные этим успехом, некоторые финансисты предложили
правителю взять на откуп новые налоги за 4 млн. флори-
нов. Но Альба уверял, что они дадут гораздо больше и за
вычетом всех расходов король легко сможет ежегодно от-
кладывать в казну 2 млн. флоринов. Несмотря на едино-
душное желание народа, требовавшего отсрочки взноса на-

логов в 10 и 5 %, он приказал 31 июля 1571 г. начать взимание его с августа. Но никто не хотел верить, что его решение было окончательным. Нарочитая медлительность финансового совета дала возможность выиграть несколько недель. Но правитель упорно стоял на своем. Он оставался непреклонным, и в сентябре надо было — волей-неволей — выполнить его приказания.

Это привело к ужасной катастрофе. Тяжкий удар, нанесенный испанской налоговой системой, расстроил чувствительный механизм нидерландской торговли и промышленности, так что вся хозяйственная жизнь замерла. Деловая жизнь страны была парализована. Из страха перед «alcabalas» купцы эмигрировали точно так же, как это сделали до того мятежники из страха перед советом по делам о беспорядках. В Антверпене экспортеры аннулируют все сделки, заключенные ими с фабричными центрами. Город пустеет; население его «тает, как снег на солнце». Дома, сдававшиеся раньше за 300 флоринов, теперь сдаются не более чем за 50, и доходы фиска с налога на рыночные места падают с 80 тыс. флоринов до 14 тыс. На каналах можно видеть вереницы судов, стоящих без движения перед шлюзами. Всеобщая безработица царит в промышленных округах Турнэ и Лилля. В Голландии свирепствует удручающая нужда среди рыбаков; и многие из них, умирая с голоду за неимением работы, уезжают в Англию. Деревни, в которых раньше нельзя было встретить ни одного нищего, теперь наводнены сотнями их. Повсюду встречаются «прилично одетые» бедняки, просящие милостыню. Торговля была парализована настолько, что когда герцог Альба захотел обновить ливреи для своих слуг, он не мог найти достаточно синего сукна в Брюсселе и Антверпене, между тем как раньше один купец мог бы доставить ему все необходимое..

Но все это имело не только удручающий вид. Гнев населения придавал этому угрожающий характер. Налог встречал немое сопротивление неимущих, которых он обрекал на голодную смерть. Не слышно было никаких криков, не происходило никаких беспорядков, но чувствовалось непоколебимое решение не уступать ни в коем случае. В Брюсселе, в Антверпене, в Мехельне розничные магазины упор-

но оставались закрытыми. Имущества, продаваемые с молотка за отказ платить 10% налог, не находили покупателей. Предпочитали лучше не пить пива, чем подчиниться ненавистному налогу. И по мере того как росла нужда, в сердцах усиливалось недоверие, а затем и ненависть к властям предержажим, которые во имя послушания испанцу мучили своих соотечественников. «Это ужасно — быть в настоящее время на службе, когда приказы его светлости так строги, а население так решительно отказывается выполнять их». Счастливы, восклицает Морильон, «все те, кого уж нет в живых: они могут не видеть, как нужда стучится в двери!» Не доверяли не только штатам, чиновникам и дворянам, но особенно подозрительно настроены были по отношению к духовенству. Народ не знал, что епископы умоляли правителя уступить. Не считались с тем, что отдельные иезуиты то там, то здесь выступали с проповедями против 10 % налога, что отдельные священники отказывали сборщикам налогов в отпущении грехов. Католицизм Альбы в глазах многих людей компрометировал всю католическую церковь, и во многих районах, а в особенности в Голландии, кальвинисты пользовались этим для своей активной тайной пропаганды.

Но герцог ни о чем не хотел слышать. Перед лицом вызванной им катастрофы он и не думал исправлять свою ошибку и «сгорал от гнева». Напрасны были благоразумные советы испанского посла в Париже дона Франсеса д'Алава, напрасны были серьезные предостережения ипрского епископа. Альба приписывал (или делал вид, что приписывал) все беды злой воле финансового совета, который он обвинял в интригах против него. К тому же приказы короля были вполне определены, и спешно нужны были новые денежные средства. Филипп II писал, что он не может больше посылать столько денег, как раньше, и что надо взимать новые налоги.

Между тем народ все еще не потерял веры в своего «законного государя». Король, думал он, несомненно, плохо осведомлен: он не сможет не внять мольбам своих подданных. Шаги, предпринятые в Мадриде, должны будут разьяснить ему положение. В 1572 г. к нему были направлены

несколько представителей из штатов Генегау, за тем из Лилля, Дуэ и Орши; их примеру последовали вслед затем также штаты Брабанта и Фландрии. Они не знали, что Альба предупредил их уже 11 марта, предложив королю встретить их приказом о необходимости платить налог, «ибо, — писал он, — такого случая больше не представится».

Они находились еще в дороге, когда в Брюсселе получилась неожиданная новость: 1 апреля 1572 г. морские гёзы захватили маленький портовый городок Бриль.

3.

То, чем была в XIV в. резня солдат Шатильона в Брюгге в борьбе между Францией и Фландрией, то же самое означал теперь смелый захват Бриля, явившийся сигналом к восстанию Нидерландов против Испании. Оба эти события разыгрались неожиданно, без всяких приготовлений, как реакция на слишком тяжелый чужеземный гнет. Далее, оба они были делом изгнанников, наконец, оба они выдвинули на сцену политических вождей, которые стали во главе доведенного до отчаяния народа. Подобно тому как заутреня в Брюгге в 1302 г. открыла ворота Фландрии для Иоанна Намюрского и Вильгельма Юлихского, точно так же захват Бриля в 1572 г. открыл Голландию для Вильгельма Оранского.

Он давно уже ждал такого случая. После поражения в 1568 г., заставившего его бежать во Францию разбитым и почти смешным, все считали, что дело его проиграно. Кредит его пошатнулся. В феврале 1569 г. он вынужден был ночью бежать из Страсбурга, чтобы скрыться от возмущения своих рейтаров, бурно требовавших уплаты жалованья. Гранвелла презрительно высказывал сожаление по поводу судьбы «бедного принца, который погиб безвозвратно из-за своего желанья последовать советам некоторых болтунов, убивших его жениться на одной из немецких княжен».

Но, несмотря на свою проницательность, Гранвелла не догадывался о неукротимой энергии, настойчивости и политическом таланте противника, которого он слишком поспешно счел выбывшим из строя. Вильгельм очень быстро опять при-



Принц Кондэ



Гаспар де Колиньи, адмирал Франции

Гравюра Июста Аммана, 1573

шел в себя и был далек от того, чтобы отчаиваться в будущем. Наоборот, он носился с новыми планами как раз в тот момент, когда его враги считали его глубоко подавленным. Во Франции он вступил в контакт с вождями протестантской партии: Колиньи, Кондэ, Жанной д'Альбре. Он восхищался их энергией и той настойчивостью при неудачах, которые, несмотря на поражение при Жарнаке и несмотря на



Жанна д'Альбре

смерть Кондэ, в конце концов привели их к Сен-Жерменскому миру и к свободе совести (8 августа 1570 г.)

Кальвинизм, разбитый в Нидерландах, снова поднял голову во Франции. Колиньи настаивал перед Карлом IX на возобновлении борьбы против испанского дома, пытался сблизить его с Англией и призывал его к завоеванию Фландрии. Людовик Нассауский, прибывший во Францию с армией, которую Вольфганг Баварский привел для Колиньи, и расположившийся в центре гугенотства, в Ла Рошели, весь свой пыл отдал на службу этой протестантской политике. Этот ревностный кальвинист был прежде всего человеком религиозных войн. Его ненависть к «папизму» и испанскому господству не умерялась никакими национальными соображениями. Чтобы побудить Карла IX к действию, он не колебался предложить ему раздел Нидерландов между Францией, Германией и Англией и заронил в нем надежду на получение римской королевской короны.

При этих обстоятельствах у принца Оранского зародился новый план, принявший с течением времени более ясные очертания. Обманувшись в своих надеждах на Германию, он решил отныне связать свое дело с делом французских протестантов. С его помощью гёзы объединятся с гугенотами, и французское влияние вступит в Нидерландах в борьбу с испанским влиянием. Правда, Вильгельм был лютеранином, но религиозные расхождения ничего не значили в глазах этого главным образом политического гения. У него тем меньше было оснований колебаться протянуть руку французским кальвинистам, что реформация в Нидерландах носила преимущественно кальвинистский характер, и религиозное единство должно было поэтому удвоить силу задуманного им союза. Снова удалившись в Дилленбург, Вильгельм наблюдал за ходом событий, переписывался с Колиньи и Людовиком Нассауским и, подготавливая в согласии с ними план решительной кампании, в то же время внимательно наблюдал и поощрял начинания морских гёзов.

Морские гёзы, набранные, как и лесные гёзы, из среды изгнанников, мятежников и подозрительных лиц и числившие, подобно им, в своих рядах также бандитов и искателей приключений, со времени прибытия герцога Альбы владели морем и тревожили своими пиратскими набегами нидерландскую торговлю. Уже в июле 1568 г. Людовик Нассауский от имени своего брата раздавал им каперские свидетельства. Но особенно серьезную опасность стали представлять гёзы со времени кризиса, вызванного новыми налогами. К ним присоединилась огромная масса умиравших с голоду моряков из Голландии и Зеландии, а также значительное число безработных валлонских рабочих. Гугеноты из Ла Рошели, а также преследуемые за свои верования лжеццы еще более увеличили численность их рядов. Их суда постоянно крейсировали в открытом море перед гаванями, у устья Зюйдерзее, у входа в узкие морские проливы, через которые должны были проходить купеческие суда. Своими захватами кораблей и паникой, которую они сеяли, им удалось в конце расстроить морские сношения. Тех из них, кого удавалось поймать, тут же вешали, но они были в свою

очередь столь же безжалостны. Если они высаживались на берег, то убивали священников небольших, зарывшихся в дюнах деревень и в насмешку вывешивали на верхушках своих мачт хоругви разгромленных ими церквей. Впрочем, у этих морских разбойников был свой определенный строй. Дворяне-кальвинисты, разоренные конфискациями или приговоренные советом по делам о беспорядках к смертной казни, озлобление и фанатизм которых дошли до последнего предела, состояли капитанами на их судах. Один бедный дворянин из Артуа, Адриен де Берг, под именем Долена в качестве адмирала командовал всеми их кораблями. Располагая очень незначительным числом судов, губернатор Голландии граф де Бусси тщетно пытался бороться с ними. Он не мог помешать им приводить постоянно то в Эмден, то в английские порты захваченные ими суда, добыча с которых должна была увеличить военные ресурсы, накопившиеся принцем Оранским.

Между тем герцог Альба не придавал большого значения этим морским разбойникам. С 1571 г. его внимание было занято главным образом Францией, ибо он был хорошо осведомлен об интригах Колиньи и Вильгельма, а также и Людовика Нассауского. Его беспокоили вооружения, совершавшиеся открыто с согласия французского двора, вопреки протестам Филиппа II и Альбы, переданным в Париже испанским послом. Что касается гёзов, то он надеялся, что достаточно будет переговоров с Елизаветой, чтобы парализовать их, лишив их помощи, которую они получали из Англии. И действительно, 1 марта 1572 г. им было приказано покинуть английские порты. Через несколько дней (25 марта) герцог узнал, что один из наиболее опасных их вождей, Вильгельм де ла Марк, родом из Льежа, сир де Люмэ, собирался напасть на остров Ворне в устье Мааса; но герцога не очень встревожило это известие.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1572 г. флотилия де Люмэ появилась у Бриля. В этом маленьком городке не было своего гарнизона, а рыбаки его были в открытом море. Гёзы высадились. Их было, пожалуй, всего лишь 600 чел.; из них 300 валлонов и гасконцев, вооруженных аркебузами, остальные были «ничего не стоивший сброд отовсюду». Им

вскоре удалось поджечь одни из ворот городка и проникнуть в него.

При этом известии соседние города один за другим подняли восстание. Нищета и ненависть довели население до крайности, и ему приходилось теперь выбирать между Альбой и Люмэ. Голод повелительно диктовал ему выбор. Кальвинисты тотчас же сбросили маски. Как и в 1566 г., они, невзирая на опасность, бесстрашно стали во главе движения и увлекли за собой растерявшееся большинство католиков.

6 апреля вспыхнуло восстание во Флиссингене, 8-го в Роттердаме, 10-го — в Схидаме и Гоуде. Масса нуждающихся из внутренних областей поспешила присоединиться к восставшим. 13 апреля Морильон, к ужасу своему, узнал, что «из Боргерхоута, предместья Антверпена, бежали сразу (по направлению к Брилю) свыше 170 чел., прибывших сюда из Турнэ и Валансьена из-за отсутствия там работы. Они ринулись туда в поисках приключений, так что есть основание так же опасаться наших собственных людей, как и врагов». Гёзы собрали теперь вокруг себя безработных и протестантов. Повсюду, где они появлялись, воцарялись религиозный фанатизм и жестокость доведенного до отчаяния плебса. История их богата примерами как героизма, так и отвратительной жестокости. Еретики мстили церкви за испанскую тиранию. Они не только запрещали совершение католического богослужения, но преследовали священников и замучивали их бесчеловечными пытками. Ужасная резня монахов в Горкуме (9 июля) свидетельствует — как и сентябрьские убийства во время французской революции, — до какой кровожадности могут дойти люди под давлением слишком долго сдерживаемой ненависти, которая наконец прорывается.

Перед лицом катастрофы, которой он не предвидел, Альба оказался совершенно безоружным. Не имея войск, граф де Бусси не мог ни взять обратно Бриля, ни удержать в покорности соседние города. Во Флиссингене населению удалось прогнать пушечной пальбой испанский отряд, при этом был убит инженер Эрнандо Пачеко (Pacheco), руководивший сооружением тамошней цитадели. Офицеры, давно

уже находившиеся в связи с тайными эмиссарами принца Оранского, придали населению военную организацию. Люмэ послал туда вспомогательные войска под начальством сира де Трелонга, отец которого был обезглавлен в Брюсселе в 1568 г. Другие подкрепления прибывали из Англии или присылались из Франции Людовиком Нассауским. С лихорадочной энергией шло укрепление крепостей, а окрестности затапливали, прорывая плотины, так что через несколько дней место становилось совершенно неприступным. Бриль был всего лишь плохо укрепленным городком, но Флиссинген, господствующий над Шельдой, являлся ключом к Антверпену. Благодаря ему гёзы приобрели в Нидерландах такой же прочный оплот, как и гугеноты в Ла Рошели, откуда никто отныне не был в состоянии их вытеснить.

Если быстрота разворачивающихся событий поразила герцога Альбу, то она не менее удивила принца Оранского. Более того, она испугала его. Он боялся, что поспешность де Люмэ может сорвать общий план наступления, разработанный им вместе с французскими протестантами. Он не скрывал своего гнева и не знал, на чем остановиться. Но его окружение заставило его действовать и быстро положило конец его колебаниям. Везембек спешно составил манифест и опубликовал его, не показав ему. Принц назывался в этом манифесте штатгальтером (stadhouder) его величества в Голландии, Зеландии, Фрисландии и Утрехте и смело призывал всех к сопротивлению.

15 апреля дон Фадрик, сын герцога Альбы, «говорил еще о событиях в Зеландии и Голландии смеясь и так, как будто это не имело никакого значения». Но в мае — после побед гёзов, после потери Флиссингена и манифеста принца Оранского — выяснилась вся серьезность положения. Герцог с яростью убеждался в том, что факты опровергали всю его прежнюю самоуверенность. Повсюду вокруг себя он видел, с каким удовлетворением население встречало плохие известия. Он вынужден был пойти на тяжкое унижение — прекратить взимание 10 % налога, и эта жертва была для него тем тяжелее, что его казна доведена была до полного истощения. Он не решался ни двинуть куда-нибудь

испанскую пехоту, которой он должен был еще часть жалованья, ни собрать ее «из страха перед каким-нибудь неповиновением». Он писал королю, что ему плохо помогали «из-за ненависти к нему», и умолял его ускорить прибытие герцога Медина Чели, которого Филипп II по его просьбе уже несколько времени назад назначил его преемником.

Однако все еще может устроиться, думал он, «если только соседние государи не вмешаются». Но они вмешались. План, намеченный принцем Оранским и его французскими союзниками, наконец приведен был в исполнение. Через два часа Альба узнал, что 23 мая отряд гугенотов под командованием Ла Ну захватил Валансьен и что 24-го Людовик Нассауский со своими войсками ворвался в Монс. Перед лицом этой новой опасности, угрожавшей Нидерландам французским нашествием, пришлось оставить север и немедленно обратиться на юг с тем, чтобы опять заняться гёзами, когда французы будут отбиты. За исключением тех гарнизонов, которые абсолютно необходимо было оставить в городах, герцог двинул теперь всю армию по направлению к Генегау. Опасность снова вернула ему энергию. Он устремился туда, где угрожала наибольшая опасность, предоставив восстанию распространяться в тылу его, в Голландии и Зеландии. 10 июня Энкгейзен перешел на сторону принца Оранского, за ним последовали Дордрехт и Горкум (25 и 26 июня), Толен, Алькмар, Гарлем и весь Ватерланд, который, за исключением Амстердама и Схонговена, был потерян для испанцев. 21 июля восстали Роттердам и Гуз, а 7-го — Зирикзее. Приморские города «похожи на четки: если упадет один шарик, то за ним чередой падают все остальные». В Зеландии только один Миддельбург, героически защищавшийся сначала Бовуаром и Вакеном, а затем Мондрагоном, остался верным королю. На востоке берега Фрисландии подвергались нападениям гёзов, а граф ван ден Берг, шурин принца Оранского, вторгся в Гельдерн.

Между тем Альба, на вербовав в Германии 14 тыс. рейтаров, 3 верхнегерманских и 3 нижнегерманских полка, не ожидая их прибытия, смело двинулся на французов. Гугеноты были изгнаны из Валансьена. 1 июля подкрепления, которые вел им Жанлис, были разбиты около Сен-Гислена

доном Фадриком, в то время как сам герцог осадил в Монсе войска Людовика Нассауского.

Но теперь двинулся и принц Оранский. Предоставив гёзам развивать свои успехи, он направился на помощь своему брату. Хотя армия его была немногочисленна, но он рассчитывал на вмешательство Колиньи и надеялся, кроме того, что города, через которые он должен будет проходить, перейдут на его сторону. И, пожалуй, они бы сделали это несколько недель назад. Но кальвинистский фанатизм гёзов возмутил католиков и сделал принца подозрительным в глазах подавляющего большинства населения. Правда, дело не доходило до того, чтобы ему оказывали сопротивление. Скорее в отношении его соблюдался нейтралитет. Некоторые города, как, например, Рурмонд, Герентальс, Дист, Мехельн, Термонд, по его требованию или под влиянием агитации его сторонников не решались отказаться пропустить его. Только Лувен и Брюссель закрыли перед ним ворота, и население нигде не поднимало восстаний. Впрочем, повсюду, где проходил принц Оранский, его солдаты, несмотря на его категорические приказы, подвергали поруганию церкви и издевались над священниками. Не решаясь по своему обыкновению ни на какой риск, он продвигался вперед слишком медленно, ожидая все время подкреплений, которые должны были прибыть к нему из Франции.

Вместо этого он неожиданно получил известие (24 августа) о Варфоломеевской ночи. В мгновение ока положение изменилось. Избиение гугенотов и смерть Колиньи разбили все надежды принца и спасли герцога Альбу. После тщетной попытки прорвать блокаду Монса (11 — 12 сентября) Вильгельм Оранский отступил, покинув город, который капитулировал 21 сентября. Но он не избрал на этот раз опять, как в 1567 г., дорогу на Дилленбург. Он удалился на территорию, занятую гёзами, окончательно решив «отныне сделать своим местопребыванием Голландию и Зеландию и найти здесь свое последнее упокоение».

Перевод Ф.А. Коган-Бернштейн



ЛЮСЬЕН ФЕВР

1878 — 1956

Жизнь

Известный французский историк Люсьен Февр родился 22 июля 1878 г. в городе Нанси в семье университетского профессора-филолога. Окончил Высшую Нормальную школу в Париже, где впервые проявил особую заинтересованность к междисциплинарным подходам в историческом исследовании. В 1911 г., будучи уже профессором Дижонского университета, Февр защитил диссертацию «Филипп II и Франш-Конте», первое свое монографическое произведение, в котором выразил взгляды на историческое исследование, основанное на изучении территории в ряде аспектов: политическом, социальном, религиозном и др.

В годы первой мировой войны Люсьен Февр служил во

французской армии. По окончании войны, с 1919 по 1933 г. он преподает в Страсбургском университете, где познакомился с будущим другом и выдающимся историком Марком Блоком. В 1929 г. Люсьен Февр и Марк Блок основали журнал «Анналы экономической и социальной истории», вокруг которого впоследствии сформировалась «новая историческая наука» или «школа "Анналов"», произведшая настоящий переворот в историческом знании.

Используя новый журнал как рупор, Февр начинает свои знаменитые «бои за историческую науку», борьбу за придание истории человеческого содержания, за освобождение ее от господства схемы и сухого изложения фактов. Борьба Люсьена Февра и Марка Блока вскоре стала приносить первые плоды. «Школа "Анналов"» привлекает все большее число сторонников, а Люсьен Февр, в 1933 г. ставший профессором Коллеж де Франс, признается главой французской исторической науки.

Февром была основана VI Секция Практической школы высших исследований (экономические и социальные науки), первым президентом которой он был начиная с 1947 г. После трагической гибели в 1944 г. Марка Блока Февр один стоял у руля журнала «Анналы», после войны получившего название «Анналы. Экономика. Цивилизации. Общества». Одновременно Февр, будучи членом Французского института (Академии моральных и политических наук), занимал посты председателя Национального комитета историков Франции, президента Комитета по истории второй мировой войны, члена комиссии по разработке проекта реформы образования во Франции, члена французской делегации в ЮНЕСКО, главного редактора журнала «Тетради всемирной истории». Люсьен Февр основал «Журнал истории второй мировой войны» и возглавил научный совет серии «Дух Сопротивления», руководил изданием «Французская энциклопедия».

Умер Люсьен Февр 27 сентября 1956 года.

Судьба

Победа «Школы "Анналов"» во французской исторической науке — во многом результат деятельности Люсьена Февра,



Люсьен Февр

темпераментная и открытая личность которого гармонично сочеталась с организаторской активностью. Однако Февр не превратился в бюрократа. Его огромный авторитет был прежде всего результатом его научных достижений. Февр был ученым широкого круга интересов и энциклопедической образованности, великолепным стилистом и острым полемистом, тактичным и корректным по отношению к научным противникам. Ведущая роль Февра во французской исторической науке —

результат его интереснейших исследований по истории XVI века: «Судьба Мартина Лютера» (1928), «Ориген и Деперье, или Загадка Кимвала мира» (1942), «Вокруг Гентамерона, любовь священная и любовь мирская» (1944), «Проблема неверия в XVI веке: "религия Рабле"» (1942).

Но деятельность Февра не исчерпывалась исследованием культуры и психологии людей XVI века. Вторую свою главную задачу он видел в утверждении новых принципов исторического познания. Всю творческую жизнь он посвятил «боям за историю», за новую историческую науку, «науку о человеке». Февр стремился возратить исторической науке ее гуманистическое содержание, заставить ее активнее влиять на общественную жизнь, давать ответы на злободневные вопросы, находить причины тех или иных явлений современности.

Он боролся за то, чтобы историками изучались в прошлом прежде всего люди, чтобы за сухим фактоописанием, поиском мелочей и созданием схем не оказывались забытыми люди прошлого с их жизнью, мировосприятием, интересами, трудностями и желаниями.

Творчество

В «боях за историю» Люсьена Февра важную роль играло стремление побороть один широко распространенный среди историков недуг, заключающийся в стремлении приписывать людям прошлого современный способ мышления. Многие исследователи вольно или невольно проецируют на людей древности, средневековья собственные чувства, идеи, предрассудки, отношение к миру.

Но как мы можем узнать о подлинных чувствах и мировоззрении людей прошлого? Еще Марк Блок говорил о том, что нельзя судить об эпохе на основании одних только заявлений ее идеологов. Действительно, если верить официальной сталинской пропаганде 1930-х годов, то можно составить совершенно неверное представление о советском обществе этого периода. И если «враги народа» не были настоящими врагами, то, возможно, и «безбожники» XVI века

не были настоящими атеистами. Как же можно выяснить правду о взглядах людей прошлого?

Люсьен Февр и Марк Блок пришли к выводу, что это сделать можно. Историк должен стараться обнаружить способы мировосприятия, стереотипы, которые были присущи людям данной эпохи и о которых эти люди могли и не догадываться, применяя их автоматически, считая их сами собой разумеющимися. Так появляется возможность «подслушать» то, о чем люди прошлого могли «проговориться» независимо от своей воли.

Изучение подобных неосознанных чувств, стереотипов, особенностей мировосприятия, общих для целого общества данной эпохи и получивших название «ментальностей», позволяет лучше понять поведение людей в обществе. В этом, по мнению Люсьена Февра, и состоит «самая захватывающая сторона нашего исторического ремесла». Человек нашего времени, историк, как бы вступает в диалог с представителями иного времени, иного общества, иной цивилизации, живущими иными интересами, целями, стремлениями. Февр и Блок отвергли понятие «суда истории», видя задачу историка не в том, чтобы судить, а в том, чтобы понимать прошлое.

Но исследовать такие явления, как ментальность, средствами одной исторической науки невозможно. Большой вклад в подобные исследования вносят психология, этнология (этнография, культурная антропология), история литературы, география и многие другие дисциплины. Все эти науки изучают факторы, влияющие на формирование ментальностей. Поэтому Февр, Блок и их последователи стремились привлекать методологию и достижения других наук для изучения истории и создания новой исторической науки — полидисциплинарной науки о человеке во времени.

Проблема полидисциплинарности науки о человеке тесно связана с проблемой целостности самой исторической науки. Февр ставил своей целью создание «тотальной истории» — истории, не разделенной на политическую, военную, экономическую и т. п., истории, изучающей какой-нибудь объект (например, такой-то город такого-то периода со всех возможных точек зрения, но — как единое целое). Изучаемый объект рассматривается через призму представ-

лений о нем современников, как отраженный в их ментальности. В этом и состоит смысл придания истории человеческого содержания.

ТОРГОВЕЦ XVI СТОЛЕТИЯ

В наши времена, говоря «торговец», разумеют человека оседлого. Это соответствует истине не только тогда, когда речь идет о мелком или среднего достатка торговце, который у себя в магазине дожидается покупателя, стоя за прилавком, и время от времени принимает торгового агента — странствующего посланца производителя. Крупный торговец, негодичант большого размаха, с международными связями, проводящий операции самого разнообразного свойства, тоже не путешествует. Лишь его распоряжения бегут по всему свету. Разве он действует не в царстве отвлеченного (а именно такова сфера денежных дел — более, чем всякая иная сфера спекуляции, есть такое старое слово, но над точным значением его ныне никто не задумывается)? Совсем иным был торговец XVI века — мелкий или крупный, — современник Возрождения и Реформации.

1.

В те времена еще не было регулярной почты. Конная почта с подставами только начинала устраиваться. Она предназначалась для государей и их переписки. Что касается частных лиц, то свои письма они отправляли со скороходами, редко — с верховыми гонцами, часто — с посыльными, которых содержали многие города ради обеспечения внешних связей. Во многих местностях сеньоры располагали правом требовать от подвластных им людей доставки писем пешим порядком за очень скудную плату. Даже когда почтовая служба была уже создана, она действовала поначалу столь неисправно, что ею отнюдь не было уничтожено обыкновение пользоваться услугами скороходов. К тому же существовало всего несколько больших почтовых дорог. Кому не посчастливилось обитать возле одной из них, тот вынужден был посылать своего гонца, иной раз весьма далеко, до ближайшей почтовой станции: потеря времени,

длительные задержки; всадник, путешествующий поспешая, но не минуя, однако, обычные остановки, затрачивал в конце столетия на дорогу от Лиона до Брюсселя через Франш-Конте, Лотарингию и Люксембург, как правило, двадцать суток. В случае крайней срочности антверпенский купец, пойдя на огромные расходы и отправив верхового гонца к своему корреспонденту в Лион, мог получить от него ответ в лучшем случае не ранее, чем по прошествии сорока дней; лишь в 1577 году по приказанию дона Хуана Австрийского между Нидерландами и Лионом было установлено постоянно действующее почтовое сообщение через Люксембург, Грe, Доль и Лон-ле-Срньe. С той поры купец, желавший ворочать крупными делами, мог либо передавать свои полномочия «доверенным лицам», ответственным за принимаемые ими решения и практически от него независимым, либо ехать самому, перемешаться телесно.

Но в этом последнем случае — как это было трудно! Пути чаще всего находились в плачевном состоянии. Дороги были грунтовые, разумеется, немощеные. Редкая удача выпадала на долю того, кому доводилось воспользоваться одной из тех римских дорог, вымощенных навечно, которые и по сие время выходят победителями в борьбе со столетиями: «дамбами Цезаря», «дорогами Брунгильды», «римскими дорогами» или «дорогами для дам»... Но на дорогах и тропах, проложенных по глинистой или болотистой почве, после каждого дождя появлялись бесчисленные рытвины и ямы; лошади проваливались в них по грудь, повозки вязли по ступицу. Приходилось все время менять дорогу, пробираться в объезд полями, без конца расширять вытопанное, изрытое пространство, сплошную топь. Ко всему не было постоянных мостов или их было очень мало; зато было множество барок, наплавных мостов, паромов и попросту бродов; настоящие мосты, деревянные или каменные, попадались редко, и за проезд по ним нужно было платить дорожную пошлину и «мостовые деньги»; мосты часто сносились паводками. И наконец — никакой безопасности для путника. Всякий одинокий всадник мог подвергнуться нападению — особенно если он вез на крупе своего коня порядочное количество звонкой монеты, или сопровождал вместе со слугой, как это было в обычае у купцов, повозку с товаром, или вел за собой небольшую вереницу мулов. Когда в 1577 году

дон Хуан повелел создать упоминавшийся выше почтовый тракт из Брюсселя в Лион, дорогу, столь засушно важную для европейской торговли, начальнику почты в Доле Жану Тевене было поручено обеспечить проезд через Франш-Конте. Тевене объехал весь намеченный участок и велел крестьянам починить дороги и мосты, по которым будут скакать гонцы, забросать вязанками хвороста и прутьев самые большие рытвины и водомоины; наконец, «свести леса»: в двух этих последних словах — целое социальное явление. Ибо путник, особенно иностранец, никаким образом не был огражден от опасностей, подстерегавших его на дорогах. Проводник, предлагавший ему указать путь в заросшей лесом или гористой местности, обычно отыскивался на постоялом дворе и бывал нередко сообщником и кумом разбойников, поджидавших в засаде где-нибудь на трудном переходе. Гостинщик, и он тоже, мог при случае без зазрения совести потребовать выкуп с проезжего, следующего без сопровождающих и не огражденного высоким покровительством власть имущих.

Сельская местность кишмя кишела беглыми солдатами, мародерами, грабителями: подстеречь купца и не только отнять все, что было при нем, но и принудить его выложить выкуп, чтобы вернуть себе свободу, — какая славная пожива! Итак, все в жизни купца было трудно, опасно, подвержено случайностям. Пускаться в путь одному — нешуточное дело. Но пуститься в путь с большими деньгами! Вспомним, что это звонкая и бречащая монета, золотые, серебряные и медные деньги самого различного происхождения, веса и из разных сплавов, — и скромный кошель купца тотчас разбухал и приобретал изрядный вес и объем. Недавно я обнаружил в одном счете 1585 г. упоминание о выплате 10 франков посыльному за доставку на двух лошадях 720 франков из некоего города во Франш-Конте в другой, отстоящий от первого километров примерно на тридцать. Такая сумма, гласит текст, была выплачена, ибо во внимание было принято то, что идут военные действия и что «одна лошадь, неся на себе всадника, не в состоянии доставить сумму в 720 франков». Мысль о том, что всадник не может, не опасаясь переломить хребет лошади, везти 720 франков (помимо веса конской сбруи и кое-каких своих пожитков), кажется нам невероятной; и все же, как это было тогда? Если перевозимая

сумма превосходила 1500 франков, необходимо было нанять тележку, запряженную лошадьми — в крайнем случае одной лошастью, чтобы везти поклажу без особых усилий. Упомянувшийся выше счет сообщает нам, что тот же посыльный



Тестон из серебра Вогезов

запросил 55 франков — а это большие деньги, — чтобы отвезти в одноконной тележке 2200 франков на расстояние приблизительно шестидесяти нынешних километров в сопровождении трех верховых: нотариуса, священника и слуги, наряженных для охраны. Это поездка на столь небольшое расстояние заняла три дня. Осторожности ради переправляемые деньги прятали иногда в бочки, которые наполняли товаром. Но это ухищрение не всегда защищало груз. Свидетельством тому — незадача, случившаяся в 1583 году с торговым приказчиком из Мирекура в Лотарингии, которого хозяин отправил в Женеву, чтобы он там получил в погашение долга 1800 франков. Получив эту сумму, приказчик уложил ее, как он сам сообщает в судебной жалобе, в бочку, наполненную каштанами, полагая, что такая кладь не привлечет при перевозке чьего-либо внимания; но он тшечно на это рассчитывал, так как в пути бочка раскрылась и драгоценное содержимое стало из нее высыпаться. Обычно монеты укладывали в баулы, дорожные кошель и сундучки, которые привязывались позади седла, на крупе лошади. Но если денег было много, приходилось для перевозки их собирать целые караваны. Каким образом испанский король Филипп II переправил в Нидерланды через Савойю и Франш-Конте 50 000 экю для выплаты жалованья войску? Пришлось ждать, чтобы по меньшей мере рота жандармов могла отправиться в путь — дабы доверить ей охрану столь громоздкого сокровища.

И все-таки купцу было необходимо пускаться в путь-дорогу! Вся торговля того времени сосредоточивалась в нескольких крупных населенных пунктах, славившихся своими ярмарками, которые проходили там неизменно в определенное время; кто хотел там что-либо продать или купить, тому нужно было туда приехать. Из этих ярмарок самыми знаме-

нитыми во Франции в XVI веке были лионские. Большая роль, которую они играли в качестве финансового рынка, где происходили расчеты между купцами, проживавшими в удаленных друг от друга местах, заставляет порой забывать об их собственно торговом значении. Там можно было найти все и всех, и не только людей отовсюду: немцев, фламандцев, испанцев, итальянцев — а именно флорентийцев, венецианцев, лукканцев и особенно генуэзцев. Достаточно раскрыть весьма любопытную книгу Никола де Николаи, его «Общее описание Лиона», а еще лучше — порыться в архивах сопредельных областей и познакомиться в них с приходно-расходными счетами, чтобы убедиться в сказанном выше.

Вот, пример, в архивах департамента Ду любопытные документы, касающиеся покупок, за которыми посылала на каждую лионскую ярмарку высокородная и могущественная принцесса Филиберта Люксембургская, мать последнего из рода Шалонов, принцев Оранских, того самого Филибера, о чьей жизни рассказывал нам Улисс Робер в своем насыщенном фактами сочинении и чья смерть последовала в Италии вскоре после разграбления Рима, каковое происходило под его руководством, поскольку он командовал императорскими войсками. Делая очередные «покупки» для принцессы, один из ее людей отправлялся в Лион во главе целого каравана. Верхом на коне, этот доверенный человек возглавлял вереницу мулов, причем каждое животное, держа его за узду, вел конюх, и эта вереница мулов медленно, неспешно подвигалась вперед, из Лон-ле-Сонье в Лион. Порой приходилось затрачивать весь день на преодоление какого-нибудь затопленного участка в одно лье в области Бресс. Нет ничего любопытнее, чем список покупок, которые надлежало сделать в городе ярмарок: пряности, конфеты, сахар, бочонок мальвазии, тюк миндаля, столько же риса и марсельских фиг; коринка; много соленой рыбы к великому посту — тунцов, трески, дельфинов и анчоусов; шафран; три стопы тонкой бумаги, шестьдесят фунтов парижского льняного полотна, шелк в мотках, шотландская пряжа, тесьма, много лент, женевская тафта, голландские льняные ткани, скатерти, шерсть, иголки, булавки, зеркала, пять испанских лайковых кож, одну кожу красного сафь-



Талер Сигизмунда Тирольского из серебра Шваца 1486

яна, ошейники для борзых псов и сук монсеньера, перчатки для соколиной охоты, мячи для лапты и т. п., и т. д. И за всем этим нужно было идти к иностранным купцам: к бакалейщикам из Оранжа и Авиньона — за плодами юга, за рыбой — к фламандцам, за прочим — к немцам или испанцам... Ничто не дает более ясного представления о том, чем была в те времена торговля со всеми ее трудностями и сложностями — занятие, ныне столь простое и доступное каждому. Текстов подобного рода насчитывают тысячами. Опасность, медлительность, помехи — таков был закон торговых сношений в старину. Отсюда два вида последствий, вполне естественных и неизбежных; одни — нравственного порядка, другие относятся к экономической выгоде.

С одной стороны, купец эпохи Возрождения не обладал, не мог обладать ни мягким, спокойным нравом, ни вкусом к домоводству, ни консервативными устоями мелкого лавочника, кругозор которого замыкается порогом его дома. Он был путешественник, странник, некое подобие Одиссея, повидавшего и ежедневно наблюдавшего нравы множества людей; он расставался с какой-то долей своих предрассудков в каждой из тех стран, где протекала его полная превратностей жизнь — жизнь, которую он, впрочем, любил главным образом за ее превратности и разнообразия, за рискованные встречи, за контрасты: сегодня роскошное пиршество, завтра нищета и опасности. Нравственный облик и умственный уровень купца очерчиваются в литературе того времени очень рано, четко и точно: с ним нас знакомит, например, уже автор «Ста новых новелл», выводя на сцену в начале но-

веллы двенадцатой добропорядочного и богатого лондонского купца, столь закаленного сердцем и смелого, что, «движимый горячим желанием повидать и изведать на собственном опыте многое из того, что ежедневно происходит в подлунном мире», он, хорошенько запасшись наличными и «великим изобилием товаров», покидает свой дом и пять лет проводит в странствиях, после чего возвращается домой, к жене, но вскоре, охваченный тоской по бродячей жизни, он снова «возмечтал о приключениях в чужедальних краях, как христианских, так и сарацинских, и пребывал там ни больше ни меньше как десять лет, прежде чем жена его снова увидела». То было возвращение на короткое время, потому что даже после двух столь долгих отлучек он «все еще не пресытился странствиями» — и снова пустился в путь.

С другой стороны, сами условия, в которых, как мы описали, протекала торговая деятельность, приводили к тому, что специализированная коммерция в ту эпоху, очевидно, была невозможна. Передвигаясь по большим дорогам, будучи вынужден по ним передвигаться, купец покупал все, что считал выгодным, и продавал все, что мог продать с прибылью: никаких других правил, никакого выбора. Если у него был вкус к торговому риску — в морской торговле имелось в наличии то, что могло доставить ему удовлетворение. Но даже благоразумный, чуждый чрезмерному тщеславию купец вовсе не ограничивался тем, что закупал, а затем распродавал какой-нибудь единственный вид товара. Он стремился осуществить как в самом малом, так и в самом большом в меру своих возможностей и размаха операцию, которую мы хорошо знаем, с которой мы нынче слишком хорошо знакомы, а именно скупить весь имеющийся товар.

«Скупка товара подчистую и монополии» — эти термины постоянно повторяются в текстах XVI века. Это неотвязный мотив — постоянные сетования покупателей, потребителей, принужденных терпеть купеческое иго, это великая выдумка, великая ловкость, великое торжество торговцев. Речь идет не только о князьях коммерции, исполнителях главных ролей, вроде лионских Пейра, пытавшихся захватить всю торговлю пряностями, или о Рокетте из Тулузы, который монополизировал в 1502 году торговлю руссильонскими и ка-



Талер графа Максимилиана Фуггера

талонскими сукнами, или о меховшике Конте, который в сговоре с неаполитанскими импортерами прибрал к рукам всю пушную торговлю Леванта. Нет, мы имеем в виду тысячи мелких и средних торговцев, у которых было больше дерзости, чем капиталов: они сновали по сельской местности, дочиста забирали зерно, вино, масло, сыр, сало для сальных свечей, воск для восковых, врываясь в деревни с обозом и нагружая их всем, что удавалось выманить у крестьян с помощью убеждения, угроз и обмана; часто они имели в своем распоряжении целый сонм подручных, мелких маклаков и зазывал, создавали искусственный дефицит товаров, подготавливая повышение цен, умело пользовались дороговизной или сосредоточивали в своих руках в целях вывоза всю крестьянскую продукцию целой области, как немцы из Нюрнберга и прочие (об этом мы рассказывали недавно), которые заgrabали всю пряжу и ткани местного производства в 1570-х годах в местностях, соседствующих с Лионом, чтобы вывозить их без остатка в торговые центры. Указы и постановления тщетно осуждали их пагубную деятельность и запрещали злокозненные и разорительные «монополии», постановления эти были не более действенными в XVI столетии, чем ныне. Соблазн наживы слишком велик, и, в конце концов, в те времена, когда общее производство было недостаточно, когда к тому же циркуляция продукта сталкивалась с многочисленными трудностями, «монополия» была почти что необходимостью; во всяком случае, это был как бы злой рок: он тягел над человеческими делами и вещами.

Итак, тип купца прежних лет начинает вырисовываться пе-

ред нами ярко и выпукло. Купец по сути своей — воин. Он по меньшей мере авантюрист, если исходить из этимологии слова. Человек, занимавшийся в XVI веке делом романтиков, которое после многих и многих лет романтических насмешек и карикатур на лавочника и бакалейщика кажется нам самым безмятежным из всех занятий буржуа, — купец времен Возрождения и Реформации, напротив, был человеком стремительных решений, исключительной физической и духовной энергии, несравненной смелости и воли. Он должен был быть таким, иначе его ремесло раздавило бы его. Кроме того, устремленный только к наживе, он должен был добиваться ее любыми средствами, без чрезмерной шепетильности; чтоб оставаться честным и почитаться таковым, ему достаточно было соблюдать по отношению к другим купцам, особенно в финансовых обязательствах, основные правила своей профессии... Наконец, в торговой деятельности он не сосредоточивался на чем-нибудь одном. Он был отнюдь не пассивный и оседлый посредник, как ныне. Он — «открыватель» товаров, он — «изобретатель» в мире торговли; он также — и прежде всего — спекулянт. Он являлся таковым, поскольку скупка товаров приносила ему прибыль, и потому еще, что занятие торговлей никогда не удовлетворяло его и он в эту эпоху дополнял его спекуляцией звонкой монетой и отдачей денег под проценты. Барышник, делец, сбывающий недоброкачественную монету, ростовщик — вот три облика, в которых обычно предстает перед нами тот, кто сегодня занимается лишь перепродажей.

2.

Чтобы понять, что такое спекуляция звонкой монетой, следует оценивать ее главным образом как следствие «скупки товара», «монополии», столь характерных для купцов той эпохи. Равным образом надо хорошо представить себе, какою была монетная система в XVI веке.

Ныне при помощи усовершенствованных машин мы с легкостью чеканим монеты, разве что едва отклоняющиеся от узаконенного типа и в точности повторяющие одна другую. Выходя из-под пресса, монеты имеют установленный зако-



Талер из серебра Каринтии

ном диаметр; отклонения от веса и подобающей пробы доведены до самого жесткого минимума. Кроме того, по обеим сторонам монеты идут бордюры и кантики, опоясывающие «франки» и «луидоры»; на ребре монеты начертаны надпись или какие-либо отличительные знаки; всякий обман, связанный с исчезновением любого из этих отличий, бросился бы в глаза даже наименее недоверчивым.

В конце XV и в начале XVI века монеты в отличие от нынешних еще отбивались молотом. Давление, достигавшееся этим нехитрым способом, было небольшим. Поэтому нужно было использовать очень ковкое золото. Как только в сплаве оказывалось на один гран больше меди, монетчики, которым не удавалось отбить слишком твердый металл, начинали жаловаться. Карл V в ордонансе от 11 сентября 1521 года объявлял, что он предписывает чеканить золотой «каролус» с содержанием 14 каратов золота из сплава, в котором было еще $7\frac{1}{2}$ каратов серебра и $2\frac{1}{2}$ карата меди; но так как монетчики не могли обрабатывать такой металл; пришлось снизить содержание меди до 2 каратов. Кроме того, удары молота были неравной силы, и, поскольку металл был к тому же очень мягким, края монет получались далеко не одинаковыми, вследствие чего, несмотря на предписания закона и старания рабочих, в форме и весе выбитых ими монет существовали заметные различия. Эти различия, как можно легко себе представить, не ускользали от опытных глаз торговцев, ювелиров, золотобитов, плавильщиков, менял, банкиров и прочих коммерсантов и деловых людей. Они сортировали монеты по весу — самые лег-

ковесные пускали в оборот; более полновесные удерживали, чтобы их обточить или обработать царской водкой. Добытое таким образом золото плавил в слитки, и оно возвращалось в монетные мастерские или продавалось за границу. Выгода была порою весьма значительной. Занятие описанным промыслом было повсеместным. Повсюду, во всех странах, сетуют на мошенничество торговцев неполноценной монетой (во Франции их называли «billoneurs», в Германии — «Kipper» и «Wipper») — всех тех молодцов, которых не пугала призрачная угроза быть сваренными заживо как фальшивомонетчики или, самое малое, подвергнуться строгому тюремному заключению; еще менее тревожили их меры, предлагавшиеся экономистами, например предложение Бодена выпускать в обращение монеты «в форме отлитых медалей, как это было принято у древних греков, римлян, евреев, персов и египтян, ибо издержки на изготовление подобных монет были бы значительно меньше, производство их — легче, а их округлость — совершенной». Тщетные проекты. Махинации с неполноценной монетой процветали на протяжении многих веков и часто приводили к тяжелым кризисам денежного обращения в те периоды, когда звонкой монеты было немного. Вот почему после каждого выпуска ее в обращение страна почти немедленно лишалась части полноценной монеты. Вот почему добродетель всегда бывала наказана, а порок неизменно вознагражден: ведь государство воздерживалось от чеканки полноценной монеты из доброкачественного сплава, поскольку такая монета тотчас же исчезала; целая армия торговшей накидывалась на такую страну; полными баулами, полными сундуками они осыпали ее ушербными, низкопробного сплава монетами и всучивали их простакам, наивным людям, легковверной деревеншине, обменивая на полноценную местную монету и извлекая из этого огромные барыши.

Надо отчетливо представить себе, что в ту эпоху каждая страна держалась собственной монетной политики. Все европейские государства со второй половины XIII века использовали для чеканки монет два металла: золото и серебро; именно в это время почти повсюду снова стали чеканить золотую монету. Но не все одинаково оценивали каждый из



Талер из серебра Аннаберга 1540 г.

этих металлов сравнительно с другим. В странах, тяготеющих к латинскому миру, это соотношение долгое время оставалось постоянным: 1 к 15, 5. В XVI веке в разные периоды оно варьировало от страны к стране и даже внутри одной страны. Дело в том, что монета была делом государя, частью его наследственного имущества, его достоянием, чуть ли не личным. Он решал, каким будет вес монеты, и устанавливал, сколько монет чеканить из меры металла, принятой за единицу марки. Ему равным образом принадлежало право определять пробу металла, который мог быть чистым (24 карата для золотых монет и 24 грана для серебряных) или в той или иной степени нечистым, то есть с тем или иным количеством примесей. Наконец, ему предоставлялось право устанавливать курс, то есть определять номинальную стоимость отчеканенной монеты.

Ныне эта последняя операция не имела бы смысла. Расчетные монеты и монеты реальные совпадают: мы считаем на франки, франк реально существует и он реально стоит франк. В XVI веке считали на ливры, но реальных монет — ливров не было. В обращении находилось множество всяческих монет, золотых и серебряных, и все они различались формой, весом, составом сплава и выбитыми на них изображениями. Пуская их в обращение, властитель назначал им стоимость в ливрах, су и денье, то есть в расчетных единицах. Но эта стоимость на монете никак не указывалась. Ее определял эдикт, решение государя. Другой эдикт, другое решение могли ее изменить. И действительно, такие изменения курса были весьма нередки. История монетного обраше-

ния во Франции в XVI века, можно сказать, соткана из случаев подобного рода. Она представляет собой непрерывную и почти регулярную последовательность «похуданий» звонкой монеты, то есть решений государя, в соответствии с которыми — возьмем такой пример — монета содержала 23 карата золота и стоила, допустим, 3 ливра, в дальнейшем содержала лишь 22 карата золота, но по-прежнему стоила 3 ливра. Сразу видно — заметим мимоходом, — что такие действия, столь частые и регулярные, были выгодны держателям металла и звонкой монеты, а именно купцам, и ущемляли интересы сеньоров или получавших подати обладателей ренты, размер которых был установлен в расчетной монете, — тут они проигрывали. Помимо прочего, эти непрерывные и произвольные вмешательства государя неизменно влекли за собой нарушения в соотношении между ценою золота и серебра. Оно варьировало от страны к стране: спекулянты на этом наживались. Золото уплывало туда, где его больше ценили, серебро — тоже. Торговцы скупали эти металлы в тех областях, где они были относительно обесценены, и вывозили их туда, где они ценились относительно высоко. Впрочем, отнюдь не золото было первым из этих металлов, именно серебро являлось, как правило, символом богатства, основным драгоценным металлом. Разве наш язык не свидетельствует об этом и поныне? О богатом человеке говорят, что у него «есть деньги» («argent» — букв. «серебро»), а не «золото». Золото было металлом купцов, крупной торговли, металлом для вывоза, банковским металлом, стало быть, металлом спекуляции. Оно было таковым в силу своих свойств: при меньшем объеме оно обладает большим могуществом и более, чем серебро, пригодно для крупных платежей и вывоза; притом его легче скрыть и припрятать, оно легче пересекает охраняемые границы...

Ну а во Франции в XV веке золото по сравнению с серебром, как правило, ценилось выше, чем в соседних государствах. Согласно Соетбееру, соотношение золота и серебра в Европе с 1501 по 1520 год в среднем было равно 1 : 10, 75; с 1521 по 1540 — 1 : 11, 25. Во Франции в 1519 году оно равнялось 1 : 11, 76, а в 1540-м — 1 : 11, 82. Иными словами, за одно и то же количество золота во



Медаль из серебра Мариенберга 1521 г.

Франции в те времена можно было купить больше серебра, чем в Италии и Испании, или иначе: за меньшее количество золота можно было приобрести во Франции столько серебра, сколько в Италии и Испании за большее. Вследствие этого — постоянный отток желтого металла в королевство лилий, при том, что в руках людей, занимавшихся этим промыслом, то есть купцов, оседала немалая прибыль. Вот почему в Италии, Испании, Португалии, Англии и Германии — повсюду в XVI веке сетуют на утечку золота во Францию, вызванную более высоким курсом этого металла там.

Это особенно существенно потому, что Франция — государство богатое и производительное — являлась великой страной-экспортером, страной, куда приезжали в мирные времена, чтобы купить все, чего не было в других местах; современники это хорошо понимали, и среди прочих — Боден. В своем «Ответе на парадоксы г-на де Малетруа касательно денежного обращения» он вывел испанца, который «неодолимой силой обстоятельств» вынужден ехать во Францию, чтобы купить зерно, полотна, сукна, краски, бумагу, книги, изделия из дерева — все, «сделанное руками». Ради этого испанец вначале отправлялся «на край света за золотом, серебром и пряностями», чтобы затем купить у нас перечисленные драгоценные товары. Равным образом англичанин, шотландец и «все обитатели Норвегии, Швеции, Дании и Балтийского побережья, располагающие бесчисленным множеством рудников, роют землю до самой ее сердцевины в поисках металлов, чтобы купить наши вина, наш шафран, наш чернослив, наши краски, а в особенности нашу соль, эту манну небесную, ниспосланную Богом по осо-

бому его к нам благоволению, при том, что добыча ее не требует большого труда».

Замечания весьма интересные, освещающие многие стороны истории, и очень важные стороны. Так, Испания порой могла победить Францию на полях сражений, выставив против нее объединенные силы огромного сообщества народов, каким была единственная в своем роде империя Карла V. Но в том, что относилось к торговле, Испания зависела от Франции; она была вынуждена покупать у нее все, чего не производила сама, и платить ей обильную дань. Испания предпочитала выплачивать эту дань золотом, и не только потому, что при крупных платежах было удобнее использовать золото, чем серебро, но и потому, что в отличие от Франции она старалась удерживать курс серебра на самом высоком по возможности уровне. Пиренейский полуостров изобилует этим металлом. Как только рудники Потоси начали разрабатывать в полную силу, серебро стало поистине испанским металлом. Это объясняет нам, почему Карл V всегда питал некоторое отвращение к повышению курса золотой монеты относительно серебряной, хотя и понимал, что только повышение может воспрепятствовать вывозу золота.

Впрочем, для Кастилии этот вывоз был менее тягостен, чем для Италии, потому что Испания извлекала из Нового Света не только серебро; оттуда поступало и золото — из Мексики и Перу; и Левассер подсчитал, что до 1545 года, то есть до открытия рудников Потоси, Испания извлекала из своих колоний примерно столько же желтого металла, сколько белого. Не менее верно, однако, что в 1537 году Карлу V пришлось уменьшить содержание золота в испанской монете — и ему тоже, подобно тому как перед тем Венеция, Генуя и Флоренция были вынуждены по сходным причинам перечеканить на экю-соли свои превосходные дукаты и флорины. Кастильское экю содержало 22 карата золота в соответствии с лучшими экю Италии и Франции. Эта мера пресекла спекуляцию, но не вывоз испанского золота, которое продолжало утекать за границу теперь уже вследствие того, что торговый обмен был, как правило, не в пользу Испании, а также из-за разорительных войн, в которые вовлекли свою страну Их Католические Величества.



Лихтгалер
1569 г.

Мы понимаем, что у живописцев XVI столетия есть на то основания, когда они хотят изобразить «торговца», как, например, Квентин Матсейс на своей предельно небольшой картине, хранящейся в Лувре, они показывают его нам за взвешиванием золотых монет, с выражением лица одновременно печальным и внимательным; таким и должно быть лицо финансиста, тогда как жена подле него в черной, кокетливо надетой шляпке рассеянно листает страницы роскошного изукрашенного молитвенника и поглядывает — не без того — долгим взглядом искоса на золотые монеты, которые ее муж тщательно взвешивает и перевешивает. Взвешивание золота — одно из сокровенных священнодействий купца эпохи Возрождения. Не только Квентин Матсейс, не только его соперник и продолжатель Маринус на любопытных картинах, авторство которых установил г-н Мели, не только Корнель де Лион, чье авторство было окончательно подтверждено тем же г-ном де Мели, на других картинах воспроизводят ту же знакомую нам сцену: на большой гравюре Йоста Аммана представлена аллегория Коммерции, и мы видим на переднем плане рядом с пюпитрами счетоводов и конторкой кассира большой стол для обмена денег и за ним двоих служащих, они старательно пересчитывают мешочки, полные монет, лежащие на чашках весов.

Весы для взвешивания золота — поистине символ коммерческой деятельности той эпохи.

3.

Итак, серебро, золото, наличность — в кассе торговца. Что он с ними делает?

Довольствуется ли он попросту тем, чтобы пустить их на расширение объема своей торговли, покупки и продажи товаров, своего специализированного дела? Нисколько: коммерческая деятельность в описанных нами условиях не может быть непрерывной и регулярной, она по необходимости должна прерываться. Всякая торговая сделка, всякая крупная закупка, всякая крупная продажа выступает в виде операции, которую нужно подготовить старательно и предусмотрительно, провести решительно, смело и твердо. Но как только с нею покончено, нужно затевать другую, которая, может быть, окажется во всем отличной от предыдущей, и товары, вероятно, будут другие — во всяком случае, условия сделки будут совсем иными. Между этими отдельными «операциями» — затишье, остановка в делах, пауза. Могут ли деньги недвижно покоиться в сундуках во время этих перерывов в коммерческой деятельности? Нет, это противоречит природе денег: нужно, чтобы они безостановочно «работали», как выражались в XVI столетии. Деньги «работали». Купец их ссужал — но кому и каким образом?

Прежде всего выделим особую группу операций: я имею в виду торговые товарищества на вере. Купец мог дать деньги займы и действительно нередко давал их займы другим купцам. У нас хватает конкретных примеров, подтверждающих это. Особенно рекомендую всем весьма интересную книгу, в которой г-н П. Массон исследовал деятельность любопытных «Коралловых компаний», возникших в Марселе в XVI веке ради добычи кораллов у побережий Алжира и Туниса; счета их компаний неожиданно и счастливо для нас сохранились в архивах Изера. Но я предпочитаю привести пример еще более типический и поучительный. XVI век оставил нам некоторое число кратких руководств по практической коммерции и счетоводству. Перелистывать их, как правило, весьма занятно. Одно из самых интересных и наиболее известных озаглавлено: «Краткое наставление, как вести счетные книги прихода и расхода». Оно написано неким



Карл V

Пьером де Савонном, уроженцем Авиньона, и выдержало много изданий; мы ознакомились с четвертым, «пересмотренным и во многих местах дополненным, с прибавлением книги шестой», которое выпустил в Лионе Жан де Турн в 1608 году. Пьер де Савонн предлагает такой пример.

Три купца составили сообщество на три года: Мартен и И. Куве — братья из Марселя, торгующие совместно; П. Годен из Лиона; А. Рено из Лиона. Этот пример целиком вымышленный, но можно с уверенностью предположить, что он не надуманный, не химерический и что автор позаботился о правдоподобии: когда ставят условия задачи, стараются не выходить за пределы возможного, особенно если речь идет о столь точном предмете, как счетоводство. Итак, три наших компаньона объединяются:

братья Куве вносят 25 000 экю наличными;

П. Годен вносит 12 000 экю, частью деньгами, частью — натурой;

А. Рено вносит 10 000 экю, частью деньгами, частью натурой.

Таким образом, образуется общество с капиталом 47 000 экю червонного золота. Кто же такие братья Куве? Это заимодавцы, попросту — богатые купцы, финансирующие торговое предприятие, за которое они не несут ответственности и которым непосредственно не руководят. Другими словами, они ссужают свои деньги другим купцам, чтобы те заставили деньги «работать». Любопытно познакомиться с результатами деятельности созданного воображением Пьера де Савонна товарищества: капитал, пушенный в оборот, составляет 47 000 золотых экю; из которых две трети — наличные деньги; товарищество должно было функционировать три года; по прекращении его существования Пьер Годен имеет в итоге 21 371 экю (а вносил он 12 000, из коих часть — товарами); А. Рено причитается 18 364 экю (внес он 10 000, из них часть — товарами); наконец, братьям Куве причитается 39 456 экю (они вносили 25 000).

Полученная в этом примере прибыль составляет в сумме 21 592 золотых экю — 21 592 золотых экю, порожденных капиталом в 47 000 экю, «работавшим» в течение трех лет; прибыль в общем довольно солидная. Это немногим более 7 000 экю дохода в год на 47 000 капитала, то есть около



Монета в 1 1/4 талера из серебра Андреасберга 1600 г.

пятнадцати с половиной процентов. Повторим еще раз: это вымышленный пример, однако ясно, что автор его отнюдь не стремился показаться нелепым.

Купец не довольствовался тем, что финансировал других купцов; он ссужал также частных лиц, и в этом случае он был заимодавцем в прямом смысле этого слова. К мелкому торговцу городка или поселка тянулись толпы сельских жителей, нуждавшихся в деньгах. Чего они просили? Немного денег, чтобы управиться с насушными, нуждами: покупкой зерна, скота или сена. У торговца они получали по большей части и желанный товар, и деньги для его приобретения. Получали, но какой ценой?

Торговец, собственно говоря, не давал займы. Запрещение Церкви — отдавать деньги в рост — имело силу более в теории, но все же эту силу сохраняло. Чаше всего упомянутую трудность обходили посредством того, что называлось установлением ренты: допустим, крестьянин нуждался в 100 франках для покупки домашнего скота; в таком случае он обязывался поставлять торговцу ежегодно определенное количество пшеницы, овса, ржи, иной раз — вина или сыра, благодаря чему получал аванс — нужные ему 100 франков. Нетрудно предположить, что количество продуктов, о которых идет речь, исчислялось торговцем всегда таким образом, что стоило меньше задолженной суммы. Разумеется, торговец шел на риск: пред-

положим, что в том году, когда был заключен контракт с крестьянином, урожай хлебов оказывался на редкость обильным; зерно обесценивалось, продажная цена его была невысокой; продав его, торговец мог выручить немного. Но поскольку он — человек обеспеченный, ничто не вынуждало его к продаже; в амбаре зерно крестьянина присовокуплялось к прочим запасам хлеба; торговец выждал год, два года, если нужно, — пока плохой урожай не повысит цену на хлеб и не появится возможность продавать его так, чтобы возместить затраты. Что же касается ссуженных крестьянину 100 франков, то очень редко случалось, чтобы торговец не удержал из них части себе в обеспечение; в действительности он выдавал крестьянину не 100 франков, а чаще всего 80 при ссуде сроком на год. В конце концов, торговец торгует все подряд. Как поступал крестьянин с деньгами, которые хотел получить взаймы? Купить скотину? Торговец же:

1. Одолжив ему некоторую сумму и удержав предварительно какую-то ее часть, он устанавливал ренту в пристойной и законной форме.

2. Связывал крестьянина неременным условием, без которого займа не могло быть, чтобы скотина была куплена лишь у него, и продавал ее вдвое дороже настоящей стоимости. Все это, конечно, изображено схематически. Но эта схема составлена на основании тысяч и тысяч документов. Наши судебные архивы, архивы провинциальных парламентов битком набиты текстами подобного содержания. Достаточно раскрыть реестр обвинительных приговоров, вынесенных в середине XVI века, чтобы отыскать в процессах против ростовщиков достаточное число дел подобного рода. Ибо время от времени бывали и судебные преследования. Жалобы бедняков — обобранных, эксплуатируемых, доведенных до нищеты — становились настолько громкими, что власти возобновляли свои обвинения против ростовщиков и затевали сколько-то судебных дел. Эти преследования были примерно столько же действенными, как и в наши дни, и я предоставляю читателю сделать вывод: препятствовали они дельцу промышлять по-прежнему или же не препятствовали.

Торговец ссужал не только крестьян. Но несомненно, что безоружный крестьян, которого было нетрудно запугать и потешиться над ним, невежественный и беззащитный — за



Трехталеровая монета 1647 г. Фридриха
(1/2 натур. вел.)

околицей своей деревни, был самым удобным должником. Однако можно было еще дать займы горожанину, испытывавшему кратковременные денежные затруднения; знатному человеку, на которого свалилась какая-нибудь из предвиденных неприятностей составляющих исключительную и неотъемлемую привилегию знати, как-то: необходимость заплатить выкуп, обновить воинское снаряжение, приобрести боевого коня, провести крупные восстановительные работы в родовом замке; наконец, дать займы городу (это было, как правило, самое надежное помешение денег; для тогдашних благоразумных отцов семейств — лучше не придумаешь) — все эти операции, при том, что приносимая ими прибыль не была столь «левой», противозаконной, как барыши, извлекаемые из ссуд деревенским жителям, — операции эти тем не менее приносили отличный доход. Обычная ставка в этой категории займов в середине XVI века никогда не опускалась ниже 8 процентов. Да и 8 процентов брали исключительно редко. 12,5, 13,33 процента, порою 16,66 процента — обычные, нормальные, вполне дозволенные ставки. Они давали возможность получать достаточно высокую прибыль, и к тому же сделки обычно бывали надежными.

Наконец, поднявшись еще ступенькой выше, купец давал займы уже не жалкой деревеншине (дела эти, отнюдь не почетные, были, без сомнения, самыми прибыльными, если только заимодавец готов был вести их тщательно и жестоко) и не должникам, в общем платежеспособным и занимающим известное положение, как горожане, знать, попавшая в трудные обстоятельства, или города, которым срочно потребовался заем, а властителям, государям, то есть госу-

дарствам. Эти последние операции были и престижными, и шепетильными, и выгодными, и вместе с тем крайне рискованными. Поначалу они приносили почести, милости, влияние при дворе, огромные прибыли, княжеский образ жизни; но кончались порой виселицей в Монфоконе.

Чтобы понять это, нужно хорошо представлять себе, что такое были государственные финансы в XVI веке. В наши времена государство, если оно нуждается в деньгах, добывает их наипростейшим способом: либо выпускает казначейские билеты, которые охотно принимают крупные финансовые учреждения и частные лица с целью использовать часть своих средств, которые они не хотят вкладывать на длительные сроки; либо выпускает государственный заем. Такой заем делим до бесконечности. Кредиторов у государства — легион. Это соотечественники и иностранцы, крупные капиталисты и обладатели ничтожных сбережений, отдельные лица и коллективы людей. Они полны доверия. Поскольку заем выпущен нацией или ее представителями, он представляется обеспеченным всеми богатствами страны, и этого в общем достаточно; займодавцы государств в обычное время не требуют от него ни залога, ни конкретных ипотечных обязательств. В XVI веке все обстояло иначе.

Прежде всего с точки зрения финансовой государства как такового не существовало. Был государь. Государь был частным лицом — таким же частным лицом, как все прочие люди; он мог быть рачительным хозяином или расточителем, верным слову или вероломным, но получить кредит он мог только как частное лицо. В 1530 году займы брала не Франция, а государь, Франциск I, внушавший больше или меньше доверия кредиторам. И когда в 1530 году Франция нуждалась в деньгах, Франциск I, который с финансовой точки зрения и был Францией, должен был искать кредиторов — точно так же, как последний из приближенных к нему дворян, желавший купить боевого коня и не имевший для этого достаточно средств в своем кошельке. Государю приходилось искать займодавца. Он вынужден был длительно препираться с ним об условиях займа. Он должен был обещать выплатить долг в кратчайший срок. Нередко его принуждали давать залогом — грамоту, передававшую право



**Трехталеровая монета 1665 г. Вильдеман
на фоне рудников Гарца (1/2 натур. вел.)**

на доходы с его владений или на некоторые виды доходов, или же брали расписку с поручительством третьего лица, принявшего на себя ответственность за долг государя. Помимо всего прочего, никаких постоянных, «придворных» кредиторов не было. Государь стучал во все двери, протягивал руку перед каждой мошной. Еще не существовало достаточно мощных финансовых учреждений, способных в одиночку удовлетворить его нужды; а если бы и были, то они отказались бы давать займы постоянно, потому что это значило бы отдавать деньги без обеспечения.

Каково в тот или иной момент было истинное финансовое положение такого-то государя? Никто этого в точности не знал, даже он сам. Получил ли он уже заем и от кого, сколько и на каких условиях? Это никому не было известно. Поэтому государь, который ничего не получил бы, если бы всегда обращался к одним и тем же кредиторам, домогался займов отовсюду: капиталы знати и духовенства, или королевских чиновников, или купцов — все годилось в дело. В Европе в XVI веке существовали два-три крупных коммерческих центра, где заключались сделки подобного рода. Во Франции это Лион — тот самый Лион, где Франциск I вел переговоры о займах чаще всего. Для имперской коалиции такой центр — Антверпен, в котором Карл V вел переговоры о займах для себя, иногда лично, иногда через своих представителей в Нидерландах. С кем же договаривались тот и другой? С купцами — французскими, немецкими, итальянскими, с кем придется. Договориться было не легко. Царствующим особам не доверяли.

Обычная процентная ставка была очень высокой. Начнем с того, что займы выдавались на очень короткий срок: на время между двумя ярмарками или самое большее — так бывало очень редко — на год. Как правило, взимали 3 процента с выданной суммы за три месяца — промежуток между двумя ярмарками; то есть 12 процентов в год. Но когда истекал срок платежа, когда начиналась ярмарка, государю, как правило, было нечем платить. Тогда «продлевали», предоставляли отсрочку до следующей ярмарки; разумеется, такая отсрочка не была безвозмездной. Помимо прочего, банкиры получали обычно дополнительный «добровольный дар» — от двух до четырех процентов годовых, — который должен был вознаградить их за убытки и за риск. Ведь чаще всего ссуду предоставляли не они сами лично. Они выступали всего лишь как посредники. Те деньги, что ссужались королям, они занимали у других купцов или просто богатых людей и несли перед теми обязательства. Эти операции бывали выгодны, если удавалось, предположим, занять под 10 процентов годовых те деньги, что затем отдавали в долг под 12 процентов, плюс от 2 до 4 процентов «добровольного дара», плюс меняющаяся от случая к случаю прибыль (которую после еще следовало реализовать) при расчете звонкой монетой, ибо кредиторы добивались, как правило, чтобы с ними расплачивались по биржевому курсу монеты, а не по официальному тарифу. Таким образом, при официальном расчете номинальные 12 процентов оборачивались в действительности 16 процентами по меньшей мере, иной раз 18, изредка 20 процентами. За шесть или семь лет первоначальный долг — если государь не смог его погасить в установленные сроки — удваивался.

Не приходится удивлять тому, что государства XVI века стали в конце концов изнемогать под гнетом этих операций. Не приходится удивляться и тому, что для императоров и королей того времени банкротство было постоянным соблазном. Заимодавцы знали об этом и принимали в расчет. Самые обеспеченные займы, обязательства, торжественно скрепленные «королевским словом», — все было надежно. В один прекрасный день властитель мог прийти к мысли, что, выплачивая проценты своим кредиторам, он впадает в вели-



Испанская восьмиреаловая монета

кий грех и нарушает церковный запрет давать и брать деньги под проценты; и, чтобы облегчить свою совесть, он мог не только отказаться платить проценты, но и удержать с кредиторов те проценты, которые он выплатил им ранее. В таком предположении нет ничего невероятного. Как известно, в 1545 году в Лионе кредиторы Франциска I потребовали от короля письменных заверений, что «дары», то есть проценты, которые он выплатил ростовщикам, одалживавшим ему деньги, должны рассматриваться как оплата обычных обязательств и что купцы могут быть спокойны на этот счет — и за прошлое, и за будущее. Кредиторов также терзала мысль о возможной смерти короля, когда он достигал преклонного возраста или если с ним приключалась какая-нибудь болезнь. Если он умрет, что будет с их займом? Возместит ли им их деньги наследник? Но не объявит ли он банкротство, полное или частичное? В 1546 году, когда Франциск I нуждался в деньгах, кредиторы давали их ему лишь при условии, что дофин вместе с королем возьмет на себя обязательство возместить отданные в долг суммы, и откровенно выражали опасение оказаться обманутыми.

Впрочем, если кто захочет узнать, с какой дерзостью кредиторы разговаривали со своими должниками или писали им — даже если должника звали Франциск I, — достаточно прочесть в качестве одного из многих примеров такого рода письмо, которое опубликовал г-н Виаль в 1912 году. 26 апреля 1522 года Франциск I занял 17 187 золотых экю у Жана Клебергера, «честного немца» из Лиона. Эта сумма должна была быть погашена в четыре срока из денег, взимаемых

за перевоз соли по воде бечевою. Наступил месяц первого платежа — долг не отдан. Клебергер, честный нюрнбергский немец, в свое время стал гражданином Берна, дабы с большим удобством вершить свои дела в Лионе: как видим, определенного рода уловки появились на свет не вчера. Клебергер не преминул обратиться за поддержкой к бернскому городскому совету, сославшись на свое бернское гражданство, и совет, уступив его настояниям, направил 6 июля 1527 года Франциску I письмо, которое следовало бы прочитать целиком, но я приведу наиболее существенный отрывок: «Мы поражены тем, что Вы так дурно выполняете свои обещания, то, что Вы отказываетесь от данных Вами ранее письменных, с печатями, обязательств, — это не может доставить Вам ни выгод, ни чести, от этого Ваше Королевское Величество, когда дело будет предано гласности, может понести превеликий ущерб не только в нашей стране, но также во владениях всех германских государей и в имперских городах Германии, что было бы для нас весьма прискорбно». Суровая отповедь, лишенная какой бы то ни было учтивой фразеологии. В классической работе Эренберга, посвященной эпохе Фуггеров, можно прочесть другое письмо, вдохновленное такими же чувствами и очень сходное по тону. Оно было отправлено Якобом Фуггером, великим аугсбургским банкиром, императору Карлу V.

Однако, как бы ни был велик риск, возможность вести дела с государями была для купцов очень заманчива. Прибыль получалась немалая. И, помимо всего прочего, часто бывало трудно отказать государю. Клебергер был иностранцем, он мог искать защиты у «Блистательных Правителей» Берна, что он и сделал. Но несчастные французы! Они не могли позволить себе вольностей в поведении. Хочешь не хочешь — ложись в давилню. Порой они там и оставались. Такова была судьба, часто трагическая, крупнейших французских купцов того времени; и чтобы ограничиться повествованием об одной лишь из таких историй, возьмем ее в качестве типической — расскажем о судьбе Самблансэ.

Жак де Бон — купец из города Тура, известный в истории под именем Самблансэ (по названию принадлежавшего ему поместья), — был сыном не менее известного Жана де



Мексиканская четырехреаловая „макуина" 1612 г.

Бона, который впервые упоминается в 1454 году как поставщик владетельного Ангулемского дома; спустя десять лет Жан де Бон — один из крупнейших negociантов королевства. Его ремеслом было торговля сукнами, но он ею не ограничивался. Мы знаем, например, что он был активным участником крупных коммерческих предприятий Людовика XI, когда-то в 1464 году велел построить четыре галеаса, а именно «Святого Мартина», «Святого Николая», «Святого Людовика» и «Святую Марию», чтобы продолжить дело Жака Кёра, направившего ранее свои четыре галеаса в Средиземное море. Жан де Бон из Лиона вступил в компанию с Жоффруа ле Сиврие из Монпелье, Ж. де Камбрэ из Лиона, Никола Арнулем из Парижа и Жаном Пла из Брюгге. Как мы видим, эти богатые купцы создавали крупные и уже вполне международные компании.

Жан де Бон был одним из тех, кто получал товары, доставленные из Леванта на галеасах, и пускал их в обращение. Кроме того, в 1470 году он поставил первые партии шелка-сырца на шелковые мануфактуры с итальянскими мастеровыми, которых Людовик XI вывел из-за Альп, чтобы поселить сначала в Лионе, а затем и в Туре. Позднее вместе со своим зятем Жаном Брисонне он по просьбе короля отправил в Лондон пряности, парчу и шелк на 25 000 экю. Эта была попытка открыть прямой доступ к английскому рынку и избавиться от посредничества Брюгге. Предприятия коммерческие и одновременно политические: вскоре к ним присоединяются и дела финансовые: Жан де Бон по воле короля принимает участие в конфискации имущества у известного в истории кардинала Балю и не менее знаме-

нитого Филиппа де Коммина. В 1473 году он на половинных началах со своим зятем Брисонне ссудил королю 30 000 ливров, чтобы выкупить Перпиньян у короля Арагона. Он — казначей дофина Карла (будущего Карла VIII). И естественно, к нему текли доходы, богатства, сыпались почести; когда король в октябре 1471 года учредил мэрию в Туре, де Бон ее возглавил; он женился на богатой невесте; у него особняк, конюшни, сады в Туре, усадьбы, виноградники, дома; в Турени — наследственное поместье, оценивавшееся примерно в 23 000 ливров. Жан де Бон — это первый набросок, эскиз, заготовка. Его сын Жак де Самблансэ — законченная картина.

Поначалу Жак, подобно своему отцу, был торговцем сукна; однако на примере человека такого размаха, как Жан де Бон, мы видели, что могло скрываться под этим званием. Жан оставил после себя троих сыновей; один из них посвятил себя Церкви, а два других — Гийом и Жак — стали суконщиками. У Жана было шесть дочерей; шесть его зятьев были суконщики или финансисты. В свою очередь Жак, занимавшийся торговлей, как и его отец, женился на Жанне Рюзе. Это был брак внутри касты, брак денежный, брак крупного капитала. Рюзе вместе с Бонами, Брисонне, Бертело — сливки богатой купеческой буржуазии Турени, и нет ничего более запутанного, чем клубок их браков, свидетельствующий о том, насколько спаянным был мир крупной коммерции и финансов.

Жак начал с торговли: он продавал разным владельческим особам сукна, шелк, шерсть, полотно. Он постоянный поставщик домов Орлеанского, Ангулемского, де ла Тремуи. В компании с Брисонне он продал с октября 1490 по январь 1492 года на 41 127 ливров сукна и полотна королю Карлу VIII. Одновременно он, подобно отцу, занимался финансовыми сделками, ссужал, авансировал различные суммы, заставлял капитал «работать».

В 1492 году наступает новый этап: он стал главным казначеем герцогини Анны Бретонской, которая незадолго перед тем, в 1491 году, сочеталась браком с королем; затем, в сентябре 1492 года, к этой должности де Бона прибавилась другая — управляющего дворцом герцогини. Жак де Бон —



Франциск I, король Франции
Гравюра Платта Монганю по картине Клуэ

интендант; он не был, как мы сказали бы теперь, высокопоставленным сановником; он был именно интендантом и, безусловно, не зря получал свое жалованье: 24 000 ливров за казначейство, 2 000 за управление дворцом. Ибо он распоряжался годовым бюджетом в 100 000 ливров, установленным для герцогини королем, не считая ежегодных дополнительных выплат по 20 000, 40 000, иной раз 50 000 ливров.

Добавим, что поступления в казну шли не наличными деньгами; то были письменные предписания на получение тех или иных сборов и выплат; другими словами, Жак де Бон должен был обеспечить, как сумеет, получение денег, теоретически ему причитавшихся. К тому же Анна была расточительна, и ее мотовство доставляло немало хлопот казначею: с января по сентябрь 1492 года расходы составили 277 750 ливров; с октября 1492 по сентябрь 1493 года — 201 199 ливров; тогда как постоянный годовой бюджет предусматривал всего 100 000 ливров. Траты на произведения искусства и предметы роскоши, на непрерывные перемещения герцогини и ее окружения: громоздкий поезд — повозки с вещами, коляски с путешественниками, носилки с придворными дамами и девицами, целая армия проводников, саперов, перевозчиков для переправ через реки, всадников эскорта, квартирьеров и т. д. Всеми этими людьми распоряжался Жак де Бон, он же поставлял денежные средства, когда их не хватало, выкупал драгоценности королевы, заложенные в Лионе во время войны с Неаполем, обеспечивал приданое фрейлинам, когда королева дарила им суммы, которыми не располагала; он же в 1495 — 1496 годах дал займы своей госпоже 20 000 ливров. Он — интендант, но не чиновник. Ещё он купец и частное лицо, которому никто не возбраняет давать по своему усмотрению деньгам «работать». Однако он уже ступил одной ногою в мир двора и политики. В его лице коммерция приобшлась к славе и тяготам государственного управления.

1496 год: новый этап. Жак де Бон стал одним из четырех генералов финансов, то есть одним из четырех верховных распорядителей, ведающих поступлением доходов от налогов, податей и пошлин на соль. Ничто не может быть оплачено из сумм, поступивших от налогов, податей и пошлин, без подписи одного из генералов. Отсюда — могущество этих

**Карл VIII**

людей, высокое положение, доверие. Они не министры, не высокие сановники, не дворяне: всего лишь простолюдины, купцы — невзирая на то что их возводят во дворянство и у них есть поместья, по названиям которых они теперь прозываются. Однако они могущественнее, чем министры и высокопоставленные сановники, которые от них зависят, потому что нет никого, кто бы в них не нуждался, кто бы без них мог без задержки получать свое жалованье и содержание,

без них — некуда податься. Сеньоры, города, владетельные фамилии — ради устройства своих денежных дел; поэты и придворные, желающие, чтобы им выплачивали пенсии, — все льстят генералам, курят им фимиам, принимают их у себя, осыпают подарками. Все это почетно; но была и выгода. Самблансэ, хотя и являлся распорядителем королевских финансов, оставался частным лицом, он спекулировал и наживался. В частности, он завел настоящий банк, куда являлись обогатившиеся королевскими щедротами и торговали там платежными распоряжениями, выданными им тем же Самблансэ. Получать деньги по этим распоряжениям нужно было у различных сборщиков налогов, частных лиц, «греньетье», по всему королевству; чтобы избежать себя от дальнейших поездок и нелегких хлопот, связанных с получением денег, обладатели королевских грамот обращались непосредственно к генералу финансов, который, удержав определенный процент, давал им денег — с тем чтобы потом собрать эти суммы с «греньетье». Кроме того, он в затруднительных ситуациях устраивал займы самому государю; он и сам ссужал королю, порою немалые суммы: например, в 1503 году при Людовике XII война шла повсюду — в Неаполе, в Перпиньяне, в Байонне, в Калабрии, в Каталонии; финансы пребывали в плачевном состоянии; королева одолжила 50 000 ливров, Жак де Бон — 23 000, его тесть Гийом Брисонне, герцог Немурский и маршал де Жье — по 20 000 каждый. Можно, однако, быть уверенным, что Самблансэ своих денег не потерял: он знал тысячу способов возместить их, притом сторицей. Он пользовался этими возможностями, и столь успешно, что в один прекрасный день становился слишком богатым... И тогда накопившаяся против него ненависть прорывается, король велит бросить его в темницу, отобрать все, что он нагреб, а затем без долгих разговоров повесить в Монфоконе как изменника.

По сути дела, Самблансэ всего лишь исправно следовал правилам игры...

Пример нашего Самблансэ типичен. Он характерен для социального процесса огромной важности. В самом низу, у основания, — мелкий торговец, занимавшийся куплей-продажей на ярмарках, ссужавший свой барыш под проценты и

помаленьку извлекавший доход, эксплуатируя тех, кто еще беднее его. Поставщик Двора, ставший интендантом какого-нибудь владетельного дома или генералом финансов королевства, вовлеченный в дела самой высокой политики и дипломатии, живший в окружении королей и королев, — на вершине. Но это — одна пирамида.

Финансовая деятельность, которая в те времена не отменялась еще от деятельности собственно коммерческой, дала торговле мощные крылья, что привело к созданию огромных состояний: семейства Понше, Брисонне, Бон, парижские и турецкие, дю Пейра в Лионе, Пенсе в Анжере, Бопальд и Вигуру в Родезе, Рокетт и Ассеза в Тулузе — все они держали себя принцами, утопающими в роскоши, принцами Возрождения; они не только копили богатства, но и тратили сумасшедшие деньги, и их имена остались в истории искусств, ибо все они в своих великолепных палатах собирали книги, мебель, ткани, драгоценности, произведения искусства поистине княжеские. Пониже их — изрядное число купцов меньшего достатка, извлекавших из своей коммерческой деятельности от 80 000 до 100 000 ливров, что давало им 5000 — 10 000 ливров ренты; стоимость графских или баронских владений, доход с крупного епископства или аббатства; эти купцы были столь же богаты, как самые богатые дворяне их провинции, — если исходить только из цифр — и более богаты, чем дворяне, ибо не исполняли обязанностей, возложенных на дворян.

Так поднялась новая аристократия. Аристократия выскочек; та, другая аристократия не признала ее, завидовала ей, ненавидела, по большей части — искала с ней союза. Аристократия капитала, аристократия драгоценных металлов, владычица золота; в мире, который все более обурежала жажда золота, в котором экономические и финансовые проблемы выходили на передний план, — она в той или иной мере становилась владычицей судеб страны.

Перевод Бобивича А.А.



МАРК БЛОК

1886 — 1944

Жизнь

Известный французский историк Марк Блок родился 6 июля 1886 г. в Лионе в семье университетского профессора Гюстава Блока. В 1904 — 1908 гг. Марк Блок обучается в парижской Высшей Нормальной школе, в 1908 — 1909 изучает историю и географию в Лейпциге и Берлине. С 1912 г. преподает в лицеях Монпелье и Амьена. В 1913 г. издает свою первую монографию «Иль-де-Франс: Страна вокруг Парижа». В годы первой мировой войны Блок служит в армии, дослужившись до чина капитана и получив несколько боевых наград.

После демобилизации из армии Блок преподает в Страсбургском университете, с 1936 г. — в Сорбонне. Одна за другой выходят научные монографии Блока, посвященные

европейскому Средневековью: «Короли и сервы — глава из истории периода Капетингов» (1920), «Короли-чудотворцы» (1924), «Характерные черты французской аграрной истории» (1931), «Феодальное общество» (1930 — 1940). Марк Блок становится одним из наиболее заметных западных медиевистов.

Помимо исследовательской и преподавательской работы, он интересовался проблемами методологии исторической науки. Его совершенно не устраивало то состояние сухой описательности, в котором пребывала современная ему историческая наука, и он стремился придать истории новый импульс развития. На этой почве Блок сошелся с другим выдающимся французским историком — Люсьеном БЛОКом. Совместными усилиями Блок и БЛОК основали в 1929 г. журнал «Анналы экономической и социальной истории», ставший рупором нового направления в исторической науке, получившего название «Школы "Анналов"».

В межвоенные годы Марк Блок занимался общественными делами. В 1936 — 1938 гг. он активно сочувствовал Народному фронту, настаивая на необходимости реформы высшего образования.

В августе 1939 г. Марк Блок опять оказывается мобилизованным в армию, вместе с ней переживает разгром 1940 г. и дюнкеркскую эвакуацию в Великобританию. Поражение Франции жестоко ранит его патриотические чувства. В 1940 г. Блок пишет книгу «Странное поражение», в которой пытается отыскать глубинные причины столь сокрушительного разгрома.

В 1941 — 1942 гг. он пишет одно из самых замечательных произведений в своей жизни — «Апология истории, или Ремесло историка», в которой в концентрированном виде излагает свои и БЛОКа взгляды на историю. Написанная прекрасным языком, эта книга в то же время отражает тяжелое состояние души автора, писавшего ее «среди ужасных страданий и тревог, личных и общественных». К сожалению, она так и осталась незавершенной.

После поражения Франции в 1940 г. Блок, демобилизованный из армии, был вынужден вскоре прекратить преподавательскую деятельность.

По происхождению он был евреем, а вишистское правительство южной Франции, куда перебрался Блок, вскоре приняло антисемитские законы. Эмигрировать в США ему не удалось, да, собственно, по словам БЛОКА, Блок и не хотел уезжать. Он продолжал писать в «Анналы», но подписываться приходилось псевдонимом «М. Фужер», поскольку использовать свое настоящее, еврейское имя стало невозможно.

Марк Блок всегда боролся за тесную связь исторической науки с современностью, и современная ему политическая жизнь очень интересовала историка-медиевиста.

Пламенный патриот, он воспринимал национальную трагедию Франции как свою собственную. Уже с 1940 г. Марк Блок сотрудничал с Сопротивлением, а с 1943 г. полностью отдается борьбе с нацистскими оккупантами. Будучи одним из руководителей лионского Сопротивления, он восхищал своих товарищей мужеством, методичностью и организованностью. В марте 1944 г. Блок был арестован гестаповцами. Он стойко выдержал все пытки, не раскрыв ни имен, ни явок. 16 июня 1944 г. Блок был расстрелян. Последние его слова были: «Да здравствует Франция!»

Судьба

Сын ученого-исследователя античности и сам типичный представитель профессорской среды, буржуазный ученый по всему своему образу жизни, Марк Блок не смог до конца вписаться в университетскую рутину. Этому прежде всего препятствовала оригинальность его научного подхода к истории. Привыкшие к традиционному описательному методу, методу «рассказывания» истории, ученые не могли тогда понять и принять метод Блока, основанный на «очеловечивании» прошлого, исследовании особенностей мировосприятия, стереотипов, психологии людей прошлого — всего того, что мы называем историей ментальностей.

Существовала и иная причина, мешавшая продвижению научной карьеры Блока, — его еврейское происхождение. Сам Блок ощущал себя французом. «Я еврей, — писал

он, — но не вижу в этом причины ни для гордыни, ни для стыда и отстаиваю свое происхождение лишь в одном случае: перед лицом антисемита».

Его молодость прошла под знаком дела Дрейфуса, французского офицера-еврея, несправедливо обвиненного антисемитами в государственной измене. Дело Дрейфуса, замешенное на клевете и подлоге, по мнению биографов Блока, наложило свой отпечаток на его научные интересы. Внимание Блока часто привлекает история подделок и фальшивок, ложные слухи и коллективные заблуждения.

Блок не раз сталкивался с антисемитизмом в университетской среде. В 30-е годы, когда он пытался вернуться из Страсбурга в Париж, Коллеж де Франс не принимал его, и лишь с трудом Блоку удалось добиться поста профессора экономической истории в Сорбонне.

Но главные невзгоды постигли Блока, конечно, в годы второй мировой войны. Вишистское правительство преследовало его. Болезнь жены и трудности с получением документов для старших из шести детей сделали невозможной его эмиграцию в Соединенные Штаты. Впрочем, как писал его друг БЛОК, «истина в том, что он не захотел эмигрировать».

Блок приступает к написанию книги «Апология истории», своего научного завещания. Для историка работа без библиотеки практически невозможна; библиотека — своеобразная лаборатория историка. Блок же писал свою «Апологию истории» в отрыве от больших библиотек. Не осталось у него и собственных книг — они были разграблены гитлеровцами. «Апология истории» — это настоящий гимн исторической науке, ее оправдание и в то же время критика ее старой, описательной формы, попытка изложить свои взгляды на будущее истории.

Несмотря на приступы меланхолии и трагизм обстановки, Блок оставался бойцом и оптимистом. Свои последние годы он отдал борьбе против оккупантов и погиб, не дожив до освобождения родины совсем немного. Незадолго до гибели он записывает в свою записную книжку цитату из Мишле: «Я верю в будущее, потому что я сам его творю».

Творчество

Марка Блока и Люсьена БЛОКа объединяла долгая борьба «за то, чтобы история была более широкой и гуманной». В посвящении «Апологии истории» Блок писал БЛОКу: «Среди идей, которые я намерен отстаивать, не одна идет прямо от Вас. О многих других я и сам, по совести, не знаю, Ваши они или мои или принадлежат нам обоим». Перед Блоком и БЛОКом стояла цель сделать историю наукой «о человеке во времени». Блок стремился к превращению истории из простого изложения фактов в занимательное исследование ментальностей людей прошлого — исследование их наиболее общих представлений, стереотипов, психологии, предпочтений и запретов.

Но представление о ментальности у Блока и БЛОКа все же было разным. БЛОК изучал в первую очередь выдающиеся личности, элиту общества. Исходя из анализа сознания творческой элиты, БЛОК судил о ментальности общества, взятого в целом. Блок же четко осознавал различия в ментальностях разных социальных групп и слоев. Его больше интересовали ментальности общественных низов, масс населения. Изучение духовной жизни Блок тесно увязывал с исследованием социальных структур. «Цивилизационному» подходу БЛОКа Блок противопоставлял социологический подход; выделению ментальности в качестве самостоятельного предмета исследования — рассмотрение ее в более широком социальном контексте.

Но все же у Блока и БЛОКа больше было общего, чем расхождений. Оба они боролись за человечность и общедоступность истории. «Отпугивающая, таинственная замкнутость, — читаем у Блока, — в которой иногда пребывают лучше из нас (историков); преобладание в нашей популярной литературной продукции унылого учебника, где навязчиво царит дух школьного обучения... странная стыдливость, мешающая нам, когда мы выходим из своих кабинетов, показать непосвященным благородные пробы наших методов, — все эти дурные привычки, порожденные скоплением противоречивых предрассудков, вредят, несомненно, благому делу. Все они сообща толкают беззащитную массу

Осужденный капитан
Дрейфус



Кавалер ордена
Почетного легиона
майор Дрейфус,
после реабилитации
в 1906 г.



читателей к фальшивым бриллиантам мнимой истории, где отсутствие серьезности, простота мишуры, политические пристрастия дополняются нескромной уверенностью...»

1. Отношение человека к природе и времени

Человек обоих феодальных периодов стоял гораздо ближе, чем мы, к природе, которая, в свою очередь, была гораздо менее упорядоченной и подчищенной. В сельском пейзаже, где невозделанные земли занимали так много места, следы человеческой деятельности были менее ощутимы. Хищные звери, ныне встречающиеся лишь в нянюшкиных сказках, медведи и особенно волки, бродили по всем пустошам и даже по возделанным полям. Охота была спортом, но также необходимым средством защиты и составляла почти столь же необходимое дополнение к столу. Сбор диких плодов и меда практиковался широко, как и на заре человечества. Инвентарь изготовлялся в основном из дерева. При слабом тогдашнем освещении ночи были более темными, холод, даже в замковых залах, — более суровым. Короче, социальная жизнь развивалась на архаическом фоне подчинения неукротимым силам, несмягченным природным контрастам. Нет прибора, чтобы измерить влияние подобного окружения на душу человека. Но как не предположить, что оно воспитывало в ней грубость?

История, более достойная этого названия, чем робкие наброски, на которые нас ныне обрекает ограниченность наших возможностей, уделила бы должное место телесным невзгодам. Очень наивно пытаться понять людей, не зная, как они себя чувствовали. Но данные текстов и, что еще важнее, недостаточная отточенность наших методов исследования безнадежно ограничивают нас. Несомненно, что весьма высокая в феодальной Европе детская смертность притупляла чувства, привыкшие к почти постоянному трауру. Что же до жизни взрослых, она, даже независимо от влияния войн, была в среднем относительно короткой, по крайней мере если судить по коронованным особам, к которым относятся единственные имеющиеся у нас сведения, пусть и не слишком точные. Роберт Благочестивый умер в

возрасте около 60 лет; Генрих I — в 52 года; Филипп I и Людовик VI — в 56 лет. В Германии четыре первых императора из Саксонской династии прожили соответственно 60 или около того, 28, 22 и 52 года. Старость, видимо, начиналась очень рано, с нашего зрелого возраста. Этим миром, который, как мы увидим, считал себя очень старым, правили молодые люди.

Среди множества преждевременных смертей немалое число было следствием великих эпидемий, которые часто обрушивались на человечество, плохо вооруженное для борьбы с ними, а в социальных низах — также следствием голода. В сочетании с повседневным насилием эти катастрофы придавали существованию как бы постоянный привкус бренности. В этом, вероятно, заключалась одна из главных причин неустойчивости чувств, столь характерной для психологии феодальной эпохи, особенно в первый ее период. Низкий уровень гигиены, наверное, также способствовал нервному состоянию. В наши дни затрачено немало труда, чтобы доказать, что сеньориальному обществу были известны бани. Но не ребячество ли забывать при этом об ужаснейших условиях жизни, а именно — о недоедании у бедняков и о переедании у богачей! Наконец, можно ли пренебречь удивительной восприимчивостью к так называемым сверхъестественным явлениям? Она заставляла людей постоянно с почти болезненным вниманием следить за всякого рода знамениями, снами и галлюцинациями. По правде сказать, эта черта особенно проявлялась в монашеской среде, где влияние самоистязаний и вытесненных эмоций присоединялось к профессиональной сосредоточенности на проблемах незримого. Никакой психоаналитик не копался в своих снах с таким азартом, как монахи X или XI в. Но и миряне также вносили свою лепту в эмоциональность цивилизации, в которой нравственный или светский кодекс еще не предписывал благовоспитанным людям сдерживать свои слезы или «обмирания». Взрывы отчаяния и ярости, безрассудные поступки, внезапные душевные переломы доставляют немалые трудности историкам, которые инстинктивно склонны реконструировать прошлое по схемам разума; а ведь все эти явления существенны для всякой истории и,

несомненно, оказали на развитие политических событий в феодальной Европе большое влияние, о котором умалчивают лишь из какой-то глупой стыдливости.

Эти люди, подверженные стольким стихийным силам, как внешним, так и внутренним, жили в мире, движение которого ускользало от их восприятия еще и потому, что они плохо умели измерять время. Дорогие и громоздкие водяные часы существовали, но в малом числе экземпляров. Песочными часами, по-видимому, пользовались не очень широко. Недостатки солнечных часов, особенно при частой облачности, были слишком явны. Поэтому прибегали к занятым ухищрениям. Король Альфред, желая упорядочить свой полукочевой образ жизни, придумал, чтобы с ним повсюду возили свечи одинаковой длины, которые он велел зажигать одну за другой. Такая забота о единообразии в делении дня была в те времена исключением. Обычно, по примеру античности, делили на двенадцать часов и день и ночь в любую пору года, так что даже самые просвещенные люди приноравливались к тому, что каждый из этих отрезков времени то удлинялся, то сокращался, в зависимости от годового обращения Солнца. Так продолжалось, видимо, до XIV в., когда изобретение часов с маятником привело к механизации инструмента.

Анекдот, приведенный в хронике области Эно, прекрасно отражает эту постоянную зыбкость времени. В Монсе должен был состояться судебный поединок. На заре явился только один участник, и когда наступило девять часов — предписанный обычаем предел для ожидания, — он потребовал, чтобы признали поражение его соперника. С точки зрения права сомнений не было. Но действительно ли наступил требуемый час? И вот судьи графства совещаются, смотрят на солнце, запрашивают духовных особ, которые благодаря богослужениям наострились точнее узнавать движение времени и у которых колокола отбивают каждый час на благо всем людям. Бесспорно, решает суд, «нона» уже минула. Каким далеким от нашей цивилизации, привыкшей жить, не сводя глаз с часов, кажется нам это общество, где судьям приходилось спорить и справляться о времени дня!

Несовершенство в измерении часов — лишь один из многих симптомов глубокого равнодушия ко времени. Кажется,

уж что проще и нужней, чем точно отмечать столь важные, хотя бы для правовых притязаний, даты рождений в королевских семьях: однако в 1284 г. пришлось провести целое изыскание, чтобы с грехом пополам определить возраст одной из богатейших наследниц Капетингского королевства, юной графини Шампанской. В X и XI вв. в бесчисленных грамотах и записях, единственный смысл которых был в сохранении памяти о событии, нет никаких хронологических данных. Но, может быть, в виде исключения есть документы с датами? Увы, нотариусу, применявшему одновременно несколько систем отсчета, часто не удавалось свести их воедино. Более того, туман окутывал не только протяженность во времени, но и вообще сферу чисел. Нелепые цифры хронистов — не только литературное преувеличение; они говорят о полном отсутствии понятия статистического правдоподобия. Хотя Вильгельм Завоеватель учредил в Англии, вероятно, не более пяти тысяч рыцарских феодалов, историки последующих веков, даже кое-какие администраторы, которым было вовсе не трудно навести справки, приписывали ему создание от 32 до 60 тыс. военных держаний. В ту эпоху, особенно в XI в., были свои математики, храбро нащупывавшие дорогу вслед за греками и арабами: архитекторы и скульпторы умели применять несложную геометрию. Но среди счетов, дошедших до нас — и так вплоть до конца средних веков, — нет ни одного, где бы не было поразительных ошибок. Неудобства латинских цифр, впрочем, остроумно устранявшиеся с помощью абака, не могут целиком объяснить эти ошибки. Суть в том, что вкус к точности с его вернейшей опорой — уважением к числу, был глубоко чужд людям того времени, даже высокопоставленным.

2. Средства выражения

С одной стороны, язык культуры, почти исключительно латинский, с другой, все разнообразие обиходных говоров — таков своеобразный дуализм, под знаком которого проходила почти вся феодальная эпоха. Он был характерен для цивилизации западной в собственном смысле слова и сильно способствовал ее отличию от соседних цивилизаций: от

кельтского и скандинавского миров, располагавших богатой поэтической и дидактической литературами на национальных языках; от греческого Востока; от культуры ислама, по крайней мере в зонах, по-настоящему арабизированных.

Надо отметить, что даже на Западе одно общество долго составляло исключение — общество англосаксонской Британии. На латыни там, конечно, писали, и превосходно. Но писали не только на латыни. Староанглийский язык был рано возведен в достоинство языка литературного и юридического. Король Альфред требовал, чтобы его изучали в школах и лишь потом самые способные переходили к латинскому. Поэты сочиняли на нем песни, которые не только пелись, но и записывались. На нем короли издавали законы, в канцеляриях составляли акты для королей и вельмож, даже монахи употребляли его в своих хрониках. То был поистине единственный для того времени пример цивилизации, сумевшей сохранить контакт со средствами выражения народной массы. Нормандское завоевание пресекло это развитие. Начиная с письма, направленного Вильгельмом жителям Лондона сразу же после битвы при Гастингсе, и до нескольких указов конца XII в. уже все королевские акты составляются на латыни. Англосаксонские хроники, за одним исключением, умолкают с середины XI в. Что же до произведений, которые можно с натяжкой назвать литературными, они появляются вновь лишь незадолго до 1200 г., причем вначале только в виде небольших назидательных трактатов.

На континенте в эпоху культурного подъема каролингского Ренессанса не совсем пренебрегали национальными языками. Правда, никому тогда не приходило в голову считать достойными письменности романские наречия, которые просто казались чудовишно испорченной латынью. Германские диалекты, напротив, привлекали внимание многих особ при дворе и среди высшего духовенства, которые считали их родным языком. Записывались и переписывались старинные песни, прежде существовавшие лишь в устной передаче, сочинялись и новые, в основном на религиозные темы; в библиотеках магнатов находились рукописи на «тевтонском» языке. Но и тут политические события — на сей раз крушение Каролингской империи и последовавшие за

ним смуты — вызвали перелом. С конца IX до конца XI в. всего несколько поэм духовного содержания и переводов — вот скудная добыча, которой вынуждены ограничиться в своих реестрах историки немецкой литературы. По сравнению с латинскими сочинениями, написанными в тех же краях и в тот же период, она — как по количеству, так и по интеллектуальной значимости — просто ничтожна.

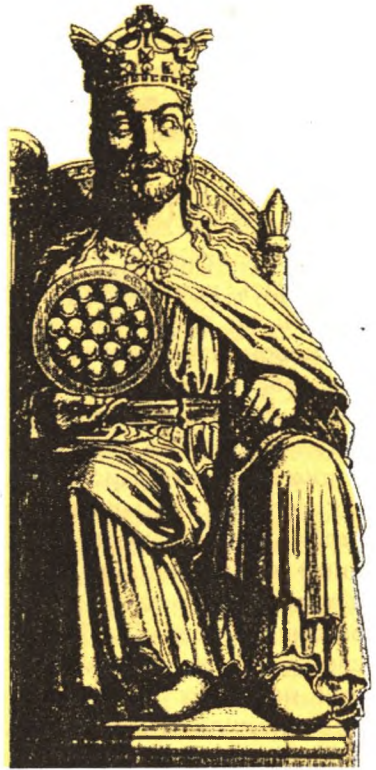
Однако не надо воображать себе латынь феодальной эпохи в виде мертвого языка со стереотипами и однообразием, с которым ассоциируется этот эпитет. Вопреки восстановленному каролингским Ренессансом вкусу к языковой правильности и пуризму возникали — в очень различном объеме, в зависимости от места и от автора — новые слова и обороты. К этому вели: необходимость выражения реалий, не известных древним, или мыслей, которые, особенно в плане религиозном, были им чужды; контаминация логического механизма традиционной грамматики с сильно отличавшимся механизмом, к которому приучало употребление народных наречий; наконец, невежество или полуграмотность. Пусть книга способствует неподвижности языка, зато живая речь — всегда фактор движения. А ведь на латыни не только писали. На ней пели — свидетель тому поэзия, по крайней мере в формах, более всего насыщенных подлинным чувством; пели, отходя от классической просодии долгих и кратких слогов и усваивая акцентированный ритм, отныне единственную воспринимаемую ухом музыку. По-латыни также говорили. Некий итальянский ученый, приглашенный ко двору Оттона I, был жестоко осмеян монахами из Санкт-Галлена за допущенный в беседе солецизм. Епископ Льежа Ноткер проповедовал мирянам на валлонском языке, а если перед ним было духовенство — на латинском. Вероятно, многие церковники, особенно среди приходских кюре, были неспособны ему подражать и даже понять его. Но для образованных священников и монахов старинное койнэ церкви сохраняло свою функцию устного языка. Как бы могли без его помощи общаться в папской курии, на великих соборах и в своих странствиях от одного аббатства к другому все эти уроженцы разных краев?

Конечно, почти во всяком обществе способы выражения

различаются, порою весьма ощутимо, в зависимости от целей говорящего или его классовой принадлежности. Но обычно различие это ограничивается нюансами в грамматической точности или качеством лексики. Здесь оно было несравнено более глубоким. В большой части Европы общедоступные наречия, относившиеся к германской группе, принадлежали к другой семье, чем язык культуры. Да и сами романские говоры настолько отделились от своего родоначальника, что перейти от них к латинскому мог лишь человек, прошедший основательную школу. Так что лингвистический раскол сводился в конечном итоге к противопоставлению двух человеческих групп. С одной стороны — огромное большинство неграмотных, замурованных каждый в своем региональном диалекте и владевших в качестве литературного багажа несколькими мирскими поэмами, которые передавались почти исключительно с голоса, и духовными песнопениями, которые сочинялись благочестивыми клириками на народном языке ради пользы простого люда и иногда записывались на пергаменте. На другом берегу горсточка просвещенных людей, которые, беспрестанно переходя с повседневного местного говора на ученый универсальный язык, были, собственно, двуязычными. Для них и писались сочинения по теологии и истории, сплошь по-латыни, они понимали литургию, понимали деловые документы. Латинский был не только языком — носителем образования, он был единственным языком, которому обучали. Короче, умение читать означало умение читать по-латыни. Но если, как исключение, в каком-нибудь юридическом документе употреблялся национальный язык, эту аномалию, где бы она ни имела место, мы без колебаний признаем симптомом невежества. Если в X в. некоторые грамоты Южной Аквитании, написанные на более или менее неправильной латыни, напичканы провансальскими словами, причина в том, что в монастырях Руэрга или Керси, расположенных вдали от крупных очагов каролингского Ренессанса, образованные монахи были редкостью. Сардиния была бедным краем, население которого, покидая побережье из-за пиратских набегов, жило почти в полной изоляции; поэтому первые документы на сардинском диалекте намного

древнее самых старых итальянских текстов Апеннинского полуострова.

Прямым следствием этой иерархии языков было, несомненно, то, что дошедшая до нас картина первого феодального периода, нарисованная им самим, крайне нечетка. Акты продаж или дарений, порабощения или освобождения, приговоры судов, королевские привилегии, формулы клятв в верности, изложения религиозных обрядов — вот самые ценные источники для историка. Пусть они не всегда искренни, зато, в отличие от повествовательных текстов, предназначенных для потомства, они в самом худшем случае пытались обмануть только современников, чья доверчивость имела по сравнению с нашей иные границы. Как уже сказано выше, до XIII в. эти документы, за редкими исключениями, обычно составлялись по-латыни. Но факты, память о которых они старались сохранить, первоначально бывали выражены совсем иначе. Когда два сеньора спорили о цене участка земли или о пунктах в договоре о вассальной зависимости, они, по-видимому, изъяснялись не на языке Цицерона. Затем уж было делом нотариуса каким угодно способом облечь их соглашения в классическую одежду. Таким образом, всякая или почти всякая латинская грамота или запись представляет собой результат транспозиции, которую нынешний историк, желающий докопаться до истины, должен проделать снова в обратном порядке.



Оттон I

Добро бы, если эта работа совершалась всегда по одним и тем же правилам! Но где там! От школьного сочинения, которое неуклюже калькирует мысленную схему на народном языке, до латинской речи, тщательно отшлифованной ученым церковником, мы встретим множество ступеней. Иногда — это, бесспорно, самый благоприятный случай — обиходное слово просто кое-как переряжено с помощью добавленного латинского окончания: так, *hommage*, слегка замаскировавшись, стало *homagium*. Иногда же, наоборот, старались употреблять только самые классические слова, вплоть до того, что, употребляя в почти кошунственной языковой игре жреца Юпитера служителю Бога Живого, именовали архиепископа *archiflamen*. Хуже всего, что в поисках параллелизмов пуристы не боялись идти по пути аналогии звуков, а не смысла: так как французское слово *comte* в именительном падеже (на старофранцузском) звучало *cuens*, его передавали словом *consul*, а *fief* превращали в *fiscus*. Разумеется, постепенно выработались общие принципы транскрипции, порою отмеченные универсалистским духом ученого языка: слово *fief*, по-немецки *Lehn*, имело в латинских грамотах Германии правильными эквивалентами слова, образованные на основе французского. Но даже при искусных переводах на нотариальную латынь всегда происходила некоторая деформация.

Итак, сам технический язык права располагал словарем слишком архаическим и расплывчатым для точной передачи действительности. Что же до лексики обиходных говоров, то ей были присущи неточности и непостоянство чисто устного и народного словаря. А в сфере социальных институтов беспорядок в словах почти неизбежно влечет за собой беспорядок в реалиях. Пожалуй, именно из-за несовершенства терминологии классификация человеческих отношений страдает великой неопределенностью. Но это наблюдение надо еще расширить. Где бы ни употребляли латынь, ее преимущество заключалось в том, что она служила средством интернационального общения интеллектуалов той эпохи. И напротив, опасным ее недостатком являлось то, что у большинства тех, кто ею пользовался, она резко отделялась от внутренней речи, и, следовательно, говорившие

на латыни всегда были вынуждены выражать свою мысль приблизительно. Если отсутствие точности мысли было, как мы видели, одной из характерных черт того времени, то как же не включить в число многих причин, объясняющих ее, постоянное столкновение двух языковых планов?

3. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ

В какой мере средневековая латынь, язык культуры, была языком аристократии? Иными словами, до какой степени группа *litterati* совпадала с группой господствующих? Что касается церкви, тут все ясно. Неважно, что дурная система назначений кое-где выдвигала на первые роли невежд. Епископские дворы, крупные монастыри, королевские капеллы, словом — все штабы церковной армии никогда не знали нужды в просвещенных людях, которые, часто будучи, впрочем, баронского или рыцарского происхождения, формировались в монастырских, особенно кафедральных школах. Но если речь идет о мирянах, проблема усложняется.

Не надо думать, будто это общество даже в самые мрачные времена сознательно противилось всякой интеллектуальной пище. Для тех, кто повелевал людьми, считалось полезным иметь доступ к сокровищнице мыслей и воспоминаний, ключ к которой давала только письменность, т. е. латынь; об этом верней всего говорит то, что многие монархи придавали большое значение образованию своих наследников. Роберт Благочестивый, «король, сведущий в Господе», учился в Реймсе у знаменитого Герберта; Вильгельм Завоеватель взял в наставники своему сыну Роберту духовное лицо. Среди сильных мира сего встречались истинные друзья книги: Оттон III, которого, правда, воспитывала мать, византийская принцесса, принесшая со своей родины навыки гораздо более утонченной цивилизации, свободно читал по-гречески и по-латыни; Вильгельм III Аквитанский собрал прекрасную библиотеку и, бывало, читал далеко за полночь. Добавьте отнюдь не исключительный случай, когда лица, вначале предназначенные для церкви, сохраняли от своего первоначального обучения некие знания и склонности, присущие церковной среде: таков, например, Балдуин

Бульонский, который, однако, был суровым воином и венчался иерусалимской короной.

Но, чтобы получить более или менее приличное образование, требовалась атмосфера знатного рода, прочно укрепившего наследственную власть. Весьма примечателен довольно закономерный контраст между основателями династий в Германии и их преемниками: Оттону II, третьему королю Саксонской династии, и Генриху III, второму в Салической династии, которые оба получили хорошее образование, противостоят их отцы: Оттон Великий, научившийся читать в 30 лет, и Конрад II, чей капеллан признает, что он «не знал грамоты». Как часто бывало, и тот и другой вступили слишком молодыми в жизнь, полную приключений и опасностей; у них не было досуга готовить себя к профессии властелина, разве что на практике или внимая устной традиции. То же самое, и в еще большей мере, наблюдалось на более низких ступенях общественной лестницы. Относительно блестящая культура нескольких королевских или баронских фамилий не должна внушать иллюзий. Равно как верность педагогическим традициям, впрочем, довольно примитивным, которую в виде исключения сохраняли рыцарские классы Италии и Испании: Сид и Химена, возможно, были не очень образованны, но они, во всяком случае, умели подписать свое имя. Можно не сомневаться, что по крайней мере севернее Альп и Пиренеев большинство мелких и средних сеньоров, в чьих руках тогда сосредоточивалась власть, представляло собой людей совершенно неграмотных в полном смысле слова, настолько неграмотных, что в монастыря, куда некоторые из них уходили на «клоне лет, считались синонимами слова *conversus*, т. е. поздно принявший постриг, и *idiota*, обозначающее монаха, не умеющего читать Священное писание.

Этим отсутствием образованности в миру объясняется роль духовных лиц как выразителей мысли государей и одновременно хранителей политических традиций. Монархам приходилось искать у этой категории своих слуг то, что прочие лица в их окружении были неспособны им предоставить. К середине VIII в. исчезли последние миряне-«референдарии» меровингских королей. И лишь в апреле 1298 г.



Вильгельм Завоеватель



Нормандские победы

Филипп Красивый вручил государственные печати рыцарю Пьеру Флотту. Между этими двумя датами прошло более пяти веков, в течение которых во главе канцелярий правивших Францией королей стояли только церковники. То же в общем происходило и в других странах.

Нельзя недооценивать тот факт, что решения сильных мира сего подчас подсказывались и всегда выражались людьми, которые при всех своих классовых или национальных пристрастиях принадлежали по воспитанию к обществу, по природе универсалистскому и основанному на духовном на-



Оттон III

чале. Нет сомнения, что они старались напоминать властителям, поглощенным суетой мелких местных конфликтов, о более широких горизонтах. С другой стороны, поскольку их обязанностью было облекать политические акты в письменную форму, им неизбежно приходилось официально эти акты оправдывать мотивами, взятыми из их собственного кодекса морали, и таким образом покрывать документы почти всей феодальной эпохи лаком мотивировок, по боль-

шей части обманчивых; это, в частности, изобличают преамбулы многочисленных освобождений за деньги, изображаемых как акты чистого великодушия, или многих королевских привилегий, которые неизменно продиктованы якобы одним лишь благочестием. Поскольку историография с ее оценочными суждениями также долго находилась в руках духовенства, условности мысли, а равно условности литературные соткали для прикрытия циничной реальности человеческих побуждений некую вуаль, разорвать которую удалось лишь на пороге нового времени крепким рукам какого-нибудь Коммина или Макиавелли.

Между тем миряне во многих отношениях выступали как деятельный элемент светского общества. Даже самые неученые из них, конечно, не были невеждами. При надобности они могли приказать перевести то, что не умели прочитать сами, а кроме того, мы вскоре увидим, насколько рассказы на народном языке их обогащали воспоминаниями и мыслями. Представьте себе, однако, положение большинства сеньоров и многих знатных баронов, администраторов, не способных лично ознакомиться с донесением или со счетом, судей, чьи приговоры записывались — если записывались — на языке, не знакомом трибуналу. Владыкам обычно приходилось восстанавливать свои прежние решения по памяти; надо ли удивляться, что они нередко были начисто лишены духа последовательности, которую нынешние историки тшатся им приписать?

Чуждые написанному слову, они порой бывали к нему равнодушны. Когда Оттон Великий в 962 г. получил императорскую корону, он учредил от своего имени привилегию, которая, вдохновляясь «пактами» каролингских императоров и, возможно, историографией, признавала за папами «до скончания веков» власть над огромной территорией; обездоливая себя, император-король отдает, мол, престолу святого Петра большую часть Италии и даже господство над некоторыми важнейшими альпийскими дорогами. Конечно, Оттон ни на минуту не допускал, что его распоряжения — кстати, очень четкие — могут быть исполнены на деле. Было бы не столь удивительно, если бы речь шла об одном из лживых договоров, которые во все време-



Филипп IV Красивый

на под давлением обстоятельств подписывались с твердым намерением не исполнять их. Но ничто, абсолютно ничто, кроме более или менее дурно понятой исторической традиции, не понуждало саксонского государя к подобной фальши. С одной стороны, пергамент и чернила, с другой, вне связи с ними, действие — таково было последнее и в этой особо резкой форме исключительное завершение гораздо более общего раскола. Единственный язык, на котором считалось достойным фиксировать — наряду со знаниями, наиболее полезными для человека и его спасения, — результаты всей социальной практики, этот язык множеству лиц, по положению своему вершивших человеческие дела, был непонятен.

4. РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ

«Народ верующих», говорят обычно, характеризую религиозную жизнь феодальной Европы. Если здесь подразумевается, что концепция мира, из которого исключено сверхъестественное, была глубоко чужда людям той эпохи, или точнее, что картина судеб человека и вселенной, которую они себе рисовали, почти полностью умещалась в рамках христианской теологии и эсхатологии западного толка, — это бесспорная истина. Неважно, что временами высказывались сомнения относительно «басен» Писания; лишенный всякой рациональной основы, этот примитивный скептицизм, который обычно не был присущ людям просвещенным, таял в минуту опасности, как снег на солнце. Позволительно даже сказать, что никогда вера не была так достойна своего названия. Ибо старания ученых придать чудесам опору в виде логического рассуждения, прекратившиеся с упадком античной христианской философии и лишь на время оживившиеся при каролингском Ренессансе, возобновились только к концу XI в. Зато было бы грубой ошибкой представлять себе кредо этих верующих единообразным.

Дело не только в том, что католицизм еще был далек от окончательной разработки своей догматики: самая строгая ортодоксия разрешала себе тогда гораздо больше вольностей, чем в дальнейшем, после схоластической теологии и

контрреформации. И не только в том, что на зыбкой границе, где христианская ересь вырождалась в противостоящую христианству религию, древнее манихейство сохраняло приверженцев, которые то ли унаследовали свою веру от групп, с первых веков средневековья упорно остававшихся верными этой преследуемой секте, то ли, напротив, после долгого перерыва, получили эту веру из Восточной Европы. Серьезнее было то, что католицизм не вполне завладел массами. Приходское духовенство, вербуемое без должного контроля и дурно образованное (чаще всего образование сводилось к случайным урокам какого-нибудь священника, тоже не сильно ученого, даваемым мальчишке, который, прислуживая при мессе, готовился принять сан), оказывалось в целом — интеллектуально и морально — не на уровне своей задачи. Проповеди, которые одни только могли по-настоящему открыть народу доступ к тайнам, заключенным в священных книгах, читались нерегулярно. В 1031 г. Собор в Лиможе был вынужден восстать против ложного мнения, что чтение проповедей надо, мол, дозволить только епископам, хотя епископы, конечно, были бы не в состоянии растолковать Евангелие всему своему диоцезу.

Католическую мессу служили более или менее правильно — а порой весьма неправильно — во всех приходах. Фрески и барельефы, эти «книги для неграмотных» на стенах или на карнизах главных церквей, поучали трогательно, но неточно. Наверное, почти все прихожане в общем кое-что знали о самых впечатляющих эпизодах в христианских изображениях прошлого, настоящего и будущего нашего мира. Но наряду с этим их религиозная жизнь питалась множеством верований и обрядов, которые были либо завешаны древнейшей магией, либо возникли в сравнительно недавнюю эпоху в лоне цивилизации, еще способной к живому мифотворчеству, и оказывали на официальную доктрину постоянное давление. В грозном небе люди по-прежнему видели сонмы призраков: это покойники, говорила толпа; это лукавые демоны, говорили ученые, склонные не столько отрицать эти видения, сколько подыскивать для них почти ортодоксальное толкование. В селах справлялись бесчисленные, связанные с жизнью природы обряды, среди

которых нам благодаря поэзии особенно близки празднества майского дерева. Короче, никогда теология не была столь чужда коллективной религии, по-настоящему прочувствованной и переживаемой.

Несмотря на бесконечные оттенки, обусловленные местной средой и традицией, можно при таком понимании религиозного сознания выделить несколько общих элементов. От нас, конечно, ускользнет немало глубоких и волнующих черт, немало страстных вопросов, наделенных вечным человеческим смыслом; но мы вынуждены ограничиться здесь упоминанием о тех направлениях мысли и чувства, влияние которых на социальное поведение было, по-видимому, особенно сильным.

В глазах людей, способных мыслить, чувственный мир предстал лишь как некая маска, за которой происходило все истинно важное; язык также служил для выражения более глубокой реальности. А поскольку призрачная пелена сама по себе не может представлять интереса, результатом такого взгляда было то, что наблюдением, как правило, пренебрегали ради толкования. В небольшом «Трактате о Вселенной», написанном в IX в. и очень долго пользовавшемся успехом, Рабан Мавр так объяснял свой замысел: «Пришло мне на ум написать сочинение... которое трактовало бы не только о природе вещей и о свойстве слов... но также об их мистическом значении». Этим в значительной мере объясняется слабый интерес науки к природе, которая и впрямь как будто не заслуживала, чтобы ею занимались. Техника при всех ее достижениях, порою немалых, оставалась чистым эмпиризмом.

Кроме того, можно ли было ожидать, что хулимая природа способна извлечь сама из себя собственное толкование? Разве не была она задумана в бесконечных деталях своего иллюзорного развертывания прежде всего как творение тайных волей? «Воля» во множестве числе, если верить людям простым и даже многим ученым. Ибо основная масса людей представляла себе, что ниже единого Бога и подчиненные его всемогуществу (обычно, впрочем, масштабы этого подчинения представляли не очень-то ясно) находятся в состоянии вечной борьбы противостоящие воли толп доб-

рых и злых существ: святых, ангелов, особенно же дьяволов. «Кто не знает, — писал священник Гельмольд, — что войны, ураганы, чума, поистине все беды, что обрушиваются на род человеческий, насылают на нас демоны?» Заметьте, войны названы рядом с бурями, т. е. явления социальные стоят в том же ряду, что и явления, которые мы теперь назвали бы природными. Отсюда умонастроение, которое нам продемонстрировала история нашествий: не отрешенность от мира в точном смысле слова, а скорее обращение к средствам воздействия, которые считались более эффективными, чем человеческое усилие. Но если какой-нибудь Роберт Благочестивый или Оттон III могли придавать паломничеству не меньшую важность, чем сражению или изданию закона, то историки, которые то возмущаются этим, то упорно ищут за богомольными путешествиями тайные политические цели, просто показывают свою неспособность снять с себя очки людей XIX или XX в. Царственных пилигримов вдохновлял не только эгоизм личного спасения. От святых заступников, к которым были обращены их молитвы, они ожидали для своих подданных и для самих себя обещаний вечной жизни, но также и земных благ. В святилище, как в бою или в суде, они исполняли, как им казалось, обязанности вождей народа.

Мир видимостей был также миром преходящим. Картина последней катастрофы, неотделимая от всякого христианского образа вселенной, вряд ли еще когда-нибудь так сильно владела умами. Над нею размышляли, старались уловить предвещающие ее симптомы. Самая всеобщая из всех всеобщих историй, хроника епископа Оттона Фрейзингенского, начинающаяся с сотворения мира, завершается картиной Страшного суда. Разумеется, с неизбежным пробелом: от 1146 г. — даты, когда автор закончил писать, — до дня великого крушения. Оттон, конечно, считал этот пробел недолгим: «Мы, поставленные у конца времен», — говорит он несколько раз. Так думали сплошь да рядом вокруг него и до него. Не будем говорить: мысль церковников. Это означало бы забыть о глубоком взаимопроникновении двух групп, клерикальной и светской. Даже среди тех, кто, в отличие от святого Норберта, не рисовал гибель мира нас-

только близкой, что нынешнее поколение, мол, еще не состарится, как она грянет, никто не сомневался в ее неминуемой близости. Во всяком дурном государе набожным душам чудились когти Антихриста, чье жестокое владычество должно предварять наступление Царства божьего.

Но когда же пробьет этот час, столь близкий? «Апокалипсис» как будто давал ответ: «доколе не окончится тысяча лет...» Надо ли было понимать: после смерти Христа? Некоторые так и полагали и, по обычному счету, приурочивали день катастрофы к 1033 г. Или же: от рождества Христа? Последнее толкование, кажется, было более принято. Во всяком случае, несомненно, что накануне тысячного года один проповедник в парижских церквях приурочил конец времен именно к этой дате. Если массами тогда и не завладел панический ужас, как изображали нам вожди романтизма, причина прежде всего в том, что люди этой эпохи, внимательно следившие за сменой сезонов и годовым ритмом богослужений, в общем не разбирались в хронологии, и еще меньше — в датах, ясно высчитанных. Мы видели, сколько было грамот без хронологических указаний. А среди прочих — какой разноречивой в системах счисления, чаще всего и не связанных с жизнью Христа: годы царствования или понтификата, всевозможные астрономические вехи, пятнадцатилетний цикл налогового кадастра, когда-то взятый из практики римской фискальной системы! Целая страна, Испания, пользуясь более широко, чем другие, точным летосчислением, почему-то приписывала ему начало, совершенно чуждое Евангелию: 38 лет до рождества Христа. И было ли исключением, что некоторые акты, а чаще хроники, вели счет с Воплощения? Надо еще принять во внимание различные начала года. Ибо церковь подвергла остракизму первое января как языческий праздник. В разных провинциях, в разных канцеляриях наступление этого тысячного года, таким образом, приходилось на шесть или семь различных сроков, которые по нашему календарю располагались от 25 марта 999 г. до 31 марта 1000 г. Более того, приуроченные к тому или иному литургическому эпизоду пасхального периода, некоторые из этих отправных точек были по природе своей подвижными (а значит, пред-

сказать их нельзя было, не имея таблиц, коими располагали лишь ученые) и чрезвычайно усиливали сумятицу в мозгах, обрекая последующие годы на весьма неравную длительность. Вот и получалось, что в одном году частенько повторялось дважды одно и то же число марта или апреля либо праздник одного святого. В самом деле, для большинства жителей Запада слово «тысяча», которое, как нас уверяют, вселяло ужас, не могло обозначать никакого строго определенного этапа в череде дней.

Но можно ли считать вовсе неверной мысль, что предвешание «дня гнева» омрачало тогда души? К концу первого тысячелетия вся Европа не затрепетала вдруг, чтобы тут же успокоиться, когда прошла роковая дата. Однако — а это, возможно, было еще хуже — волны страха набегали почти непрерывно то здесь, то там и, утихнув в одном месте, вскоре возникали в другом. Иногда толчком служило видение, или большая историческая трагедия, как в 1009 г. разрушение гроба Господня, или же попросту свирепая буря. Иной раз их порождали выкладки, сделанные для литургии, которые исходили из просвещенных кругов и распространялись в народе. «Почти во всем мире прошел слух, что конец наступит, когда Благовещение совпадет со Страстной пятницей», — писал незадолго до тысячного года Аббон из аббатства Флери. Правда, вспоминая слова святого Павла, что господь застигнет людей врасплох, «аки тать в ноши», многие богословы осуждали эти дерзкие попытки проникнуть в тайну, коей божеству угодно укрыть свои громы. Но если не знаешь, когда обрушится удар, разве ожидание менее мучительно? В окружающих беспорядках, которые мы бы теперь назвали бурлением юности, тогдашние люди усматривали дряхлость «состарившегося» человечества. Вопреки всему в людях бродила неумная жизнь. Но когда они пускались размышлять, ничто не было им более чуждо, чем предчувствие огромного будущего, открывавшегося перед молодыми силами.

Если людям казалось, что все человечество стремительно несется к своему концу, то с еще большим основанием это ощущение жизни «в пути» было свойственно каждому в отдельности. По излюбленному выражению многих религиоз-

ных сочинений, разве не был верующий в сем мире неким «пилигримом», для которого цель путешествия, естественно, куда важнее, чем превратности пути? Большинство, разумеется, не думало о своем спасении постоянно. Но уж если задумывалось, то всерьез и рисуя себе весьма конкретные картины. Эти яркие образы обычно порождались определенным состоянием: весьма неустойчивые души тогдашних людей были подвержены резким сменам настроения. Мысль о вечной награде в сочетании с любованием смертью, свойственным дряхлеющему миру, заставила уйти в монастырь не одного сеньора и даже оставила без потомства не один знатный род: шестеро сыновей сеньора де Фонтен-ле-Дижона ушли в монастырь во главе с самым выдающимся из них — Бернардом Клервоским. Так религиозное сознание способствовало, на свой лад, перемешиванию общественных слоев.

Однако у многих христиан не хватало духу обречь себя на столь суровую жизнь. С другой стороны, они — возможно, не без оснований — полагали, что не смогут заслужить царство небесное собственными добродетелями. Поэтому они возлагали надежду на молитвы благочестивых людей, на накопление аскетами заслуг перед Богом на благо всех верующих, на заступничество святых, материализованное в мощах и представляемое служащими им монахами. В этом христианском обществе самой необходимой для всего коллектива функцией представлялась функция духовных институтов. Но не будем обманываться — именно в качестве духовных. Благодетельная, культурная, хозяйственная деятельность крупных кафедральных капитулов и монастырей была, разумеется, значительной. Но в глазах современников она являлась лишь побочной. Этому способствовали понятия о земном мире как пронизанном сверхъестественным и навязчивая мысль о мире потустороннем. Благополучие короля и королевства — это в настоящем; спасение предков короля и его самого — в вечности; такова была двойная выгода, которой, по словам Людовика Толстого, он ожидает, учреждая в парижской церкви Сен-Виктор общину регулярных каноников. «Мы полагаем, — говорил также Оттон I, — что благополучие нашей империи зависит от роста богопочитания». Могучая, богатая церковь создала



Людовик VI Толстый

своеобразные юридические институты; страстно дебатировалось множество каверзных проблем, вызванных приспособлением этого «града» церковного к «граду» светскому и впоследствии нависших тяжким бременем над общей эволюцией Запада. Вспоминая об этих чертах, необходимых для верного изображения феодального мира, как не признать, что страх перед адом был одним из великих социальных фактов того времени?

Перевод Е.М. Лысенко



АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ ТОЙНБИ

14 апреля 1889 г. — 22 октября 1975 г.

Жизнь

Тойнби родился в семье среднего достатка, давший ранее Англии известного историка экономиста А. Тойнби, который приходился первому дядей.

Благодаря личным способностям Тойнби был принят в привилегированную среднюю школу — «паблик скул».

С 1902 по 1907 г.— Тойнби учился в колледже в Уинчестере. Затем в Оксфорде, где у него окончательно оформился интерес к древней истории.

Первое свое путешествие Тойнби совершил в Скандинавию в 1910 г.

В 1911 — 1912 гг. Тойнби, в качестве студента Британской археологической школы в Афинах, посетил Грецию,

Италию и Турцию. Это путешествие, как он сам считал, оставило в его истории значительный след.

В 1912 г. Тойнби женится на Розалин Мюррэй, дочери известного специалиста по античной истории Гилберта Мюррэя.

С 1912 по 1915 г. Тойнби работает тьютером в Оксфорде.

В 1913 г. публикуется первая его крупная статья «Рост Спарты».

В годы первой мировой войны Тойнби работал в Британском МИДе консультантом по проблемам Среднего Востока, готовя к публикации документы о насилии над гражданским населением со стороны Германии и ее союзников. Параллельно с этим Тойнби продолжает свои теоретические исследования («Национальность и война», «Новая Европа».)

Будучи чиновником МИДа, Тойнби принял активное участие в подготовке и проведении Версальской мирной конференции (1919).

С 1919 по 1924 г. Тойнби занимал пост профессора современной византийской и греческой истории в Лондонском университете.

В 1925 г. Тойнби ушел из университета и поступил на службу в Королевский институт международных отношений, где составлял аналитические обзоры политических событий в мире. Одновременно он перешел преподавать историю в Лондонскую школу экономических наук.

С 1934 г., помимо множества статей и книг, Тойнби публикует многотомную работу «Исследование истории», принесшую ему мировую славу.

В 1955 г. (в 66 лет) Тойнби оставляет службу и посвящает себя полностью историческим исследованиям.

Судьба

В 1911 — 1912 гг. Тойнби посетил Юго-Восточную Европу, где, столкнувшись с новым для себя миром, сделал немало важных выводов о самобытности каждой страны и культуры. В этих исследованиях Тойнби пришлось столкну-

ться с многими для себя открытиями, описанными в его автобиографии.

«К 1911 году Европа сорок лет жила в мире, и созданные человеком границы между государствами значительно поистерлись. В это время не существовало никаких формальностей при переезде через границу. Если вам захотелось за границу, вы просто покупали билет и ехали, как это делается в пределах одной страны. Впрочем, я (Тойнби) обнаружил все-таки, что Турция, посещение которой было у меня запланировано, требовала от иностранца предъявления документа, называемого паспортом. Турция была одной из трех стран в мире, где подобное требование в то время было нормой. Двумя другими были Россия и Румыния. Соответственно, зная это и намереваясь посетить Турцию, я перед отъездом из Англии пошел в мой банк в Оксфорде и сказал: «Выдайте мне, пожалуйста, паспорт». Так, как я мог бы сказать: «Выдайте мне, пожалуйста, золотую монету достоинством в пять фунтов стерлингов». Через два дня документ прибыл. Это был клочок бумаги, на котором крупными буквами было написано: «Мы, сэр Эдуард Грей, один из главных государственных министров Его Величества и т. д.» Никакой фотографии в доказательство того, что я — это действительно то лицо, на чье имя выдан паспорт.

Из-за этого экзотического документа я чуть было не попал в беду. Через семь дней после моего отплытия из Англии Италия объявила войну Турции, и вечером 16 ноября, когда мы входили в Формию, куда мы следовали из Террачина, нас остановил карабинер. «Мне кажется, вы турки», — сказал он. Он нас не арестовал, но все-таки записал название нашей гостиницы. К сожалению, в моем паспорте имелось упоминание о моем желании посетить Турцию, и это мне могли инкриминировать. В глазах того карабинера разница между тем, что я намерен посетить Турцию, и тем, что я турок, была бы слишком неуловимой. Я сообразил, что если не показывать этому карабинеру мой паспорт, то ему и в голову не придет самому спросить его. Он, скорее всего, за все годы своей службы и слыхом не слыхивал о такой вещи, как паспорт. Однако, когда он



А. Тойнби

явится в гостиницу — что он, по-видимому, собирался сделать, — нам все-таки надо будет предъявить ему какой-нибудь оправдательный документ. Когда он пришел, я вручил ему мою фотографию. На ней, под моей фамилией, значилось: «Бейллоил-колледж, Оксфорд», и слово «колледж» выручило нас. «Ах, студенты, — сказал карабинер, — тогда вы не турки», — и полностью утратил к нам интерес. Его представление о том, что слово «колледж» несовместимо со словом «турок», было в 1911 году уже, пожалуй, устаревшим, и, конечно, оно явно не соответствует действительности сегодня».

Творчество

Основной труд Тойнби — «Исследование истории» (в 12 томах), которая занимает особое место в исторической науке. Это была попытка теоретически осмыслить развитие всемирной истории человечества. «Исследование истории» по своему значению сопоставимо с такими грандиозными

трудами, как «Новая наука» Дж. Вико, «Философия истории» Гегеля, «Идеи в истории человечества» Гердера.

Под влиянием О. Шпенглера Тойнби стремится переосмыслить все общественное историческое развитие человечества в духе теории круговорота локальных цивилизаций. По его мнению, не существует единой истории человечества, а есть лишь история отдельных своеобразных и замкнутых цивилизаций. Каждая цивилизация проходит в своем развитии стадии возникновения, роста, надлома и разложения, после чего гибнет, уступая место другой. Считая социальные процессы, последовательно происходящие в этих цивилизациях, аналогичными, Тойнби пытался вывести на этом основании некоторые «эмпирические законы» общественного развития, позволяющие предвидеть главные события и в современном мире. Движущей силой развития цивилизации, как считал Тойнби, следуя А. Бергсону, является «творческое меньшинство», носитель «жизненного порыва», которое, удачно отвечая на различные исторические «вызовы», увлекает за собой «инертное большинство». Своеобразие этих «вызовов» и «ответов» определяет специфику каждой цивилизации, иерархию ее социальных ценностей и философской концепции смысла жизни. Оказавшись однажды неспособной решить очередную социально-историческую проблему, «творческая элита» превращается в господствующее меньшинство, навязывающее свою власть силой, а не авторитетом; отчужденная же масса населения становится «внутренним пролетариатом», который совместно с варварской периферией, или внешним пролетариатом, в конечном счете разрушает данную цивилизацию, если она прежде не гибнет от военного поражения либо от естественной катастрофы. Стремясь ввести в свою концепцию элементы поступательного развития, Тойнби усматривал прогресс человечества в духовном совершенствовании. Человек для Тойнби был «постоянным и регулярным элементом, в истории», связующим звеном между различными цивилизациями. Поэтому прогресс в истории или развитие цивилизации — это возрастание человеческой свободы, ослабление тисков природы, общества, государства.

ПОСТИЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Церковь как «раковая опухоль»

Приступая к анализу вселенских церквей, удобнее всего начать с исследования их отношений с социальной средой, в которой они возникают.

Мы показали, что вселенская церковь рождается в смутное время, наступающее сразу за надломом цивилизации, и раскрывается в политической деятельности универсального государства, представляющего собой попытку остановить упадок и предотвратить крах надломленной цивилизации. Предварительное исследование универсальных государств показало, что основную выгоду из них извлекает вселенская церковь.

Посему неудивительно, что, когда универсальное государство вступает в стадию своего заката, те, кто пытается спасти его, начинают с недоверием относиться к универсальной церкви, которая, существуя внутри социального тела и за счет его, не приносит ему реальной пользы. Именно поэтому церковь на первый взгляд воспринимается как социальная опухоль. Оценивая создавшуюся ситуацию, сторонники универсального государства не просто с возмущением констатируют тот факт, что церковь возрастает, а государство у малывается, они целиком и полностью убеждены, что церковь — это извлекающий выгоду паразит, подтачивающий силы общественного организма. Диагноз этот вполне привлекателен, ибо всегда проще объяснить болезнь действием сторонних сил, чем взять на себя ответственность, как интеллектуальную, так и нравственную, за состояние дел.

В период упадка Римской империи обвинения против христианской церкви, впервые письменно зафиксированные Цельсом (178 н. э.), достигли своего апогея, когда империя впала в предсмертную агонию. Этот взрыв антицерковных настроений был наиболее ярко отражен в 416 г. языческим защитником имперского Рима Рутилием Намацианом, описавшим реальную картину колонизации пустынных островов христианскими монахами.

Воинствующая церковь на Земле достигает добрых соци-

альных целей значительно меньшими усилиями, чем мирское общество, побуждения которого направлены непосредственно на сами объекты и ни на что более возвышенное. Иными словами, духовный прогресс индивидуальных душ в этой жизни фактически обеспечивает значительно больший социальный прогресс, чем какой-либо другой прогресс. Парадоксальным, но глубоко истинным и важнейшим принципом жизни является то, что для того, чтобы достигнуть какой-то определенной цели, следует стремиться не к самой этой цели, но к чему-то еще более возвышенному, находящемуся за пределами данной цели. В этом — смысл притчи Ветхого завета о выборе Соломона (3 Царств. 3, 5-15), а также смысл слов Нового завета об утраченной и обретенной жизни (Матф. 10, 39, и 16. 25; Марк 8, 35; Лука 9, 24, и 17, 33; Иоанн 12, 25).

Примеры житий св. Антония, удалившегося в египетскую пустыню, и сириянина св. Симеона Столпника, уединившегося в башне в эпоху, когда Римская империя и включенное в нее эллинистическое общество вступали в эпоху окончательного распада, подтверждают возможность высшего гармонического сочетания чувств долга перед Богом и долга перед людьми. Уходя от своих ближних, святые вступали в активные отношения со значительно большим кругом лиц, чем если бы они оставались в миру. В конечном итоге они производили на мир более сильное воздействие, чем император или командующий войсками, ибо их устремленность к святости через поиски единения с Богом представляла собой социальное действие, более притягательное для людей, чем любое секулярное социальное служение. Современники сознавали, что отшельники движутся к высшей цели во имя Человечества с полной решимостью и бескорытием; и этот акт самовыражения через самопожертвование поражал воображение современников, касался их сердец, создавая социальную связь более высокого духовного порядка. Связь эта оказалась очень нужной в период, когда стали разваливаться как экономические, так и политические структуры общества.

Забота отшельников о своих ближних, без сомнения, находила признание у современников, когда сами отшельники не отходили от избранного ими пути. Однако известны слу-



Преподобные Симеон Столпник и Даниил Столпник

чаи, когда отшельники демонстрировали свою любовь к Человеку и уничтожение перед Богом, выходя из затвора и возвращаясь в мир, чтобы принять участие в мирских делах.

Так, в 475 — 476 гг. св. Даниил Столпник по требованию эмиссаров православного патриарха в Константинополе отказался от затворничества, чтобы спасти православие от монофизитских намерений императора Василиска. Одно только известие о появлении святого в кафедральном соборе перепугало императора и заставило его покинуть столицу и удалиться в императорский дворец, который находился в семи милях от города. Св. Даниил путем психического и физического воздействия настроил священников и народ Константинополя против беспечного властителя, укрывшегося в своем пригородном убежище. Когда же охрана преградила толпе путь во дворец, святой призвал народ по-библейски отрясти дворцовый прах со своих одежд — и это было сделано с таким усердием и энтузиазмом, что большая часть охраны оставила кесаря и примкнула к Столпнику. Напрасно император слал затем письма, умоляя святого вернуться, не помогло и то, что он сам вернулся в Константинополь и снова просил Даниила посетить его уже в столичном дворце. В конце концов император вынужден был сам явиться в собор и пасть ниц у ног святого. Государственное принятие православия стало той ценой, которую он заплатил, чтобы спасти трон.

Это был единственный случай, когда св. Даниил нарушил свое уединение, которое строго соблюдалось в течение сорока двух лет (451 — 493).

Когда мы устанавливаем диагноз причин надлома эллинистической и индской цивилизаций, философы, безусловно, также должны быть оправданы. Легко доказать, что хотя они появились и раньше, чем святые, но также только после того, как цивилизация получила смертельную рану. И не они были причиной духовного вакуума. Более того, подобно миссионерам высших религий, пришедшим позже, они пытались заполнить вакуум, который уже был создан местным патриотизмом, начавшим с требований абсолютной гражданской верности, а закончившим дискредитацией всех гражданских добродетелей. Тем не менее, если нам

пришлось бы судить Философию не за ее исторические грехи против Общества, но за антисоциальные потенции, таящиеся в ее доктринах, идеалах и этносе, мы нашли бы, что она уязвима в большей степени, чем Религия. Наибольшая вина Философии заключается в том, что она стремится переделать идеал Бога в образ человека-мудреца.

Совершить духовный уход из мира значительно проще, чем нести в миру бремя божественной любви и участвовать в трудах преображения. В эллинистическом мире высшая религия появилась в тот момент, когда философия пребывала в расцвете, обладала богатой традицией и престижем и, казалось бы, могла пленять души, в которых пламя божественной любви угасало. Многие, возможно большинство, в поисках святости оказались на обочине; однако некоторые, добравшиеся до высот христианского идеала, проявили достаточную силу духа, чтобы спасти остатки христианского общества, когда Рим уже был не в состоянии спасти эллинистическую цивилизацию от губительных последствий ее же собственных самоубийственных актов.

Церковь как «куколка»

Основание для введения понятия куколки. В предыдущей главе мы предприняли попытку оспорить мнение, согласно которому церковь — это раковая опухоль, поедающая ткань живой цивилизации. Однако существует и противоположная точка зрения, по которой церковь представляется не циничным разрушителем цивилизации, а скромным и полезным ее слугой. Эта роль зачастую отводится католической христианской церкви.

Согласно этому мнению, универсальная церковь обладает достаточной внутренней силой, чтобы в период опасного междуцарствия, когда на смену гибнущему социальному телу приходит в муках другое, стать жизнетворным центром, ядром нового общества. В непрекращающемся процессе рождений и смертей цивилизаций, процессе, обладающем абсолютным значением и замкнутом на себе самом, церковь полезна и, возможно, необходима, хотя и представляет собой вторичный и предохраняющий феномен. Церковь игра-

ет роль яйца, личинки и куколки. Автор настоящего исследования должен признаться, что он исповедовал этот взгляд на природу и роль церкви в течение многих лет. Он и сейчас продолжает верить, что подобное понимание церкви — единственно верное и неоспоримое. Однако он пришел к выводу, что этот аспект роли универсальной церкви отнюдь не основной и что если бы данное учреждение не являлось частью истины относительно универсальной церкви, то оно неизбежно вводило бы в заблуждение в случае абсолютизации его. На ряде исторических примеров попробуем определить, как далеко простирается сфера действия этого частного принципа, и, установив пределы его, продолжим наше исследование.

Если проанализировать цивилизации, дожившие до наших дней, а точнее, до 1952 г., когда пишутся эти строки, мы увидим, что каждая из них имеет в своем лоне какую-то универсальную церковь. Так, западная и православно-христианская цивилизация с ветвью православного христианства в России через христианскую церковь восходят к эллинистической цивилизации; дальневосточная цивилизация и ее ветвь в Корее и Японии через махаяну связаны с древнекитайской цивилизацией; индуистская цивилизация связана через индуизм с индской, а иранская и арабская — через ислам с древнесирийской.

В реликтовых общинах церковь-куколка сохраняла цивилизацию, которая иначе была бы уничтожена; она как бы консервировала ее, даже не пытаясь в столь ограниченном пространстве зародить новую цивилизацию. Чтобы исследовать процесс, с помощью которого новая цивилизация связана со своей предшествующей через посредство церкви, нам следует сконцентрировать внимание на ныне живущих цивилизациях. Краткий обзор предшествующих цивилизаций покажет, что процесс перехода условно можно подразделить на такие периоды, как «зачатие», «беременность» и «появление на свет».

Фаза «зачатия» устанавливается в тот исторический момент, когда универсальная церковь получает возможность функционировать наряду со светскими институтами в том социальном окружении, где она возникает.

Это окружение — универсальное государство, которым разлагающаяся цивилизация на определенной стадии своего упадка готова пожертвовать, чтобы приостановить роковой процесс разложения. К тому времени универсальное государство частью сознательно, а частью бессознательно ликвидирует многие свои учреждения, казавшиеся необходимыми в период роста. Кроме того, аналогичная участь ждет местные государства, которые в период социального здоровья были важным источником творческих сил. В создавшейся ситуации изрядно уставшее население, политически объединенное в границах универсального государства, оказывается охваченным противоречивыми чувствами, которые оно не в силах примирить. Жажда мира и покоя становится доминирующим чувством, и это общее настроение дает психологическое основание для признания незаконного выскочки — имперского правительства.

Однако по мере того, как устанавливается и крепнет универсальное государство, а подданные его все более восстанавливают силы свои от истощения, утрачивая даже память о бедах смутного времени, они все осознаннее начинают ощущать дискомфорт, ибо есть психологические потребности, которые универсальное государство удовлетворить не в состоянии. Основная причина этого кроется в отрицательных последствиях ужесточения контроля над разрушительными силами. В этой ситуации нарождающаяся универсальная церковь призвана доказать, что она в состоянии открыть новые каналы для выхода духовной энергии человечества, не обращаясь за помощью к имперскому правительству, а иногда даже вопреки ему.

Открытие новых каналов христианской церковью действительно высвободило интеллектуальную и политическую энергию, которая подавлялась столь сильно, что мощь ее гасла в мертвом море архаизма. Однако этой главе предшествовала предыдущая, еще более критическая, когда произошло столкновение универсальной церкви с универсальным государством, давшее простым людям новую возможность высшего самопожертвования во славу общества в эпоху братоубийственных войн.

При установлении локального государства сверхъестествен-

ное стремление граждан отдать за него свои жизни становится социальной нормой. Однако это требование психологически оправдано лишь до тех пор, пока государство заполняет весь умственный горизонт и охватывает собой всю сумму человеческих и божественных проявлений. Претензия государства быть Вселенной, несмотря на всю ее нелепость, только тогда теряет свою властную силу, когда последнее из состояющихся местных государств разлагающегося общества распадается и заменяется единственным универсальным государством. В языческой Римской империи эпохи принципата никто, кроме горстки профессиональных солдат, не шел в армию добровольно, чтобы умереть во имя государства. И в то же самое время римское правительство было не в состоянии остановить самопожертвования христианских мучеников во имя христианской церкви. Ситуация, когда целью самопожертвования становится церковь, а не государство, встречается в истории человечества крайне редко. Однако можно предположить, что она предвосхищает отношения между политикой и религией в грядущую эпоху, еще недоступную даже умственному взору нашего современника.

Таким образом, в фазе «зачатия», при встрече универсального государства с универсальной церковью, церковь получает заряд энергии и создает новые каналы для ее применения. Следующая фаза, фаза «беременности», отличается заметным расширением сферы творческого воздействия церкви. Выходы, найденные церковью, в какой-то мере заменяют светские институты и формы деятельности, некогда творческие, но утратившие свой потенциал в смутное время. В следующей главе светские экуменические институты, которые создало универсальное государство, повторяют путь светских институтов местных государств, которые оно заменило. Начав свое существование, чтобы удовлетворить социальную потребность, и оказавшись не в состоянии выполнить свою функцию, они продолжают цепляться за власть, превращаясь в социальный кошмар. В этой точке снова вмешивается церковь. Она использует достижения и опыт переживающего упадок универсального государства для создания новых, на сей раз своих собственных экуменических институтов, привлекая для службы в них выдающих-

ся людей, которых не смогло надлежащим образом использовать государство.

Переход от фазы «зачатия» к фазе «беременности» характеризуется резким наращиванием силы витальности без какой-либо перемены в направлении развития. В обеих этих фазах поток психической энергии, который не находил себе пути в заирированных или разрушенных каналах разлагающейся цивилизации, теперь начинает распространяться по вновь образованным каналам церкви. В фазе «зачатия» церковь впитывает энергию, высвобожденную атрофией разлагающихся местных институтов предыдущей цивилизации. При переходе от «зачатия» к «вынашиванию» церковь продолжает впитывать остаточную энергию умирающего светского общества. В этой второй фазе церковь концентрирует вокруг себя все накопленное наследство и все доселе не реализованные возможности человечества. Обогатившись столь бесценным грузом, она движется по краю пропасти, разверзшейся в результате падения умершей цивилизации.

Неадекватность концепции куколки. Итак, мы пришли к выводу, что церковь фактически играла роль куколки, которая впитывала в себя энергию, излучаемую распадающейся цивилизацией. Затем, когда наступало время, церковь-куполка облучала этой энергией завязь новой цивилизации, прежде чем произвести ее на свет. Если это заключение правильно, концепция церкви как куколки вполне состоятельна. Однако напрашивается целый ряд вопросов. Во-первых, действительно ли переход от одной цивилизации к другой возможен лишь через церковь-куполку? Можно ли быть уверенным, что история церкви-куполки и история нарождающейся цивилизации столь строго взаимосвязаны и взаимозависимы? И можно ли утверждать, что случаи, когда церковь определенно способствовала процессу воспроизводства цивилизации, однозначно свидетельствуют в пользу того, что единственной целью и предназначением церкви было рождение новой цивилизации? Важность этого события для церкви становится понятной и оправданной, если мы рассматриваем его как ключ к пони-

манию исторической функции церкви. При таком подходе становится очевидным, что в истории церкви момент возрождения цивилизации может оказаться лишь незначительным эпизодом. *

Конкретный эмпирический анализ показывает, что процесс воспроизводства цивилизаций через посредство церкви-куколки является специфической чертой перехода цивилизаций второго поколения к цивилизациям третьего.

Если рассмотреть исторический путь развития четырех церквей — христианства, ислама, индуизма и махаяны, — которые служили куколками восьми различным цивилизациям, то обнаружится, что все они были продуктами деятельности внутреннего пролетариата цивилизаций второго поколения. Христианство и махаяна здесь берутся в их отношении к распадающемуся эллинистическому обществу, ислам — к распадающемуся сирийскому, а индуизм — к распадающемуся индскому обществу. Кроме того, в двух церквях — а именно в христианстве и махаяне, — где творческую искру жизни дал источник, находящийся за пределами общества, внутренним пролетариатом которого была установлена универсальная церковь, именно этот инородный источник и был цивилизацией второго поколения. Христианство вдохновлялось сирийской цивилизацией, махаяна — индской, а сирийское и индское общества, подобно эллинскому, в рамках которого выросли махаяна и христианство, были цивилизациями второго поколения.

Однако следует сказать, что церковь в роли куколки — явление вполне нормальное при переходе цивилизаций второго поколения к цивилизациям третьего поколения — никогда не обнаруживается при переходе цивилизаций первого поколения во второе. Подобные феномены не встречаются ни в шумерской, ни в минойской, ни в египетской, ни в андской, ни в майянской цивилизациях. Здесь можно также заметить попутно, что Новый Свет не родил ни одной высшей религии, какой бы период истории мы ни взяли.

Если расширить сферу анализа и бросить взгляд на конечные цели цивилизаций третьего поколения, мы обнаружим, что эта глава истории до настоящего времени не дала не только ни одного примера, но даже и намека на возмож-

ность повторения процесса воспроизводства цивилизации с помощью церкви-куколки. Иначе говоря, историк, наблюдающий свое время в узком временном интервале, должен согласиться, что нет никаких положительных указаний на то, что История собирается повториться, породив следующее поколение цивилизаций через новое поколение церквей-куколок.

Мы провели наше исследование в рамках современного знания и на доступном нам эмпирическом материале, проанализировав роль церкви-куколки в процессе перехода к восьми живым цивилизациям от четырех цивилизаций-предшественниц. Результатом данного анализа может быть следующее заключение. Механизм церкви-куколки является при воспроизводстве цивилизаций исключением, а не правилом. Хотя тот вид человеческого общества, который назван нами «цивилизацией», существует не более пяти или шести тысячелетий, общества этого типа воспроизводили себя по крайней мере уже дважды. Следовательно, историк XX в. имеет все основания полагать, что этот процесс мог бы повториться. Однако специфическая форма перехода от одного поколения цивилизаций к другому при помощи церкви-куколки имела место только единожды. Предыдущий переход осуществлялся без помощи церкви-куколки, и нет никаких оснований предполагать, что и последующие переходы воспользуются таким посредником. Церковь-куколка, очевидно, не является жизненной необходимостью цивилизации. Это наблюдение предполагает в свою очередь, что виды общества, известные по церкви-куколке, не могли возникнуть только для того, чтобы сыграть роль посредника. Если История свидетельствует, что четыре живые церкви некогда проделали эту работу, это может означать, что данный эпизод был для истории церкви случайным. Если это действительно так, то отсюда следует, что историческая роль церквей-куколок в процессе становления цивилизаций открывает историку не больше, чем надуманная характеристика их как раковых опухолей. Итак, в наших попытках познать сущность, природу, миссию и историческую перспективу вселенских церквей мы зашли в тупик. Попробуем продолжить исследование, начав с других исходных позиций.

Церковь как высший вид общества

Изменение ролей. Представим цивилизации второго поколения возникающими не для того, чтобы достичь определенных успехов, и не для того, чтобы воспроизвести свой собственный вид в третьем поколении, а для того, чтобы дать возможность родиться полностью развернутым высшим религиям. Поскольку появление высших религий явилось следствием надлома и распада цивилизаций второго поколения, мы должны рассмотреть заключительные главы истории этих цивилизаций — главы, которые, с их собственной точки зрения, представляют собой цепь падений. Согласно такому подходу, мы должны пересмотреть и процесс возникновения цивилизаций первого поколения. В отличие от своих последователей во втором поколении эти первые цивилизации не смогли выполнить своего прямого назначения — родить высшие религии. Рудиментарные высшие религии, создаваемые их внутренним пролетариатом, так и не развились в религии вселенские. Однако, несмотря на столь явную неудачу, первые цивилизации совершили свою миссию косвенно, породив цивилизации второго поколения, из надлома и распада которых в конце концов появились полностью развернувшиеся высшие религии.

Откровение через страдание. С этой точки зрения последовательные взлеты и падения цивилизаций первого и второго поколений представляют собой пример ритма, рассмотренного нами ранее. А если задуматься, почему нисходящее вращательное движение колеса Цивилизации не связано напрямую с движением колесницы Религии, ответ откроется в истине, согласно которой Религия — это духовная деятельность, а духовный прогресс подчинен «закону», который выражен в словах: «Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12, 6; Притч. 3, 12).

Христианство выросло из духовных исканий, которые были следствием надлома эллинистической цивилизации. Случилось это в самой последней главе многовековой истории, ибо у

христианства были иудейские и зороастрийские корни, а эти корни в свою очередь возникли в ранний период надлома двух других цивилизаций второго поколения — вавилонской и сирийской. Живительные воды зороастризма влились в поток иудаизма, чтобы оттуда уже впасть в реку христианства. Иудаизм, как и зороастризм, был духовным плодом страданий предыдущего смутного времени. Израиль и Иудея, где брал источник иудаизм, входили в число непрестанно воюющих местных государств сирийского мира. Преждевременное и бесповоротное разрушение существующих хозяйственных систем и уничтожение всех политических надежд на возрождение независимой государственной системы стали тем опытом, который породил религию иудаизма.

Люди, «обучавшиеся через страдания» в период агонии шумерской и египетской цивилизаций, были предшественниками пророков Израиля и Иудеи, просветленных в свою очередь страданиями вавилонского и сирийского смутного времени. Все эти страдальцы были предшественниками Христа. В такой перспективе христианство можно рассматривать как высшую точку непрерывного восходящего движения в духовном прогрессе, который не только пережил последовательные мирские катастрофы, но и был порожден их мучительным опытом. Если судить по историческим примерам, обстоятельства, способствующие духовному и секулярному прогрессу, зачастую не только различны, но и прямо противоположны. Этот «закон» — если можно говорить о «законе» взаимозависимости светской жизни и Религии — отнюдь не парадоксален. Духовный и светский идеалы — не застывшие формы. Они постоянно сражаются между собой за господство над человеческими душами. Поэтому неудивительно, что во времена успехов и процветания души людские глухи к зову Духа, и, напротив, они улавливают даже слабый шепот его, когда суетные мирские дела заканчиваются катастрофой. Сердца их смягчаются страданиями и горестями обрушившихся на них катастроф. Когда дом, который возвел Человек, рушится и он вновь оказывается под открытым небом, подвластный всем стихиям, он опять поворачивается лицом к Богу, чье вечное присутствие не отгорожено теперь тюремной стеной, воздвигнутой самим

человеком. Если это действительно так, то междоусобицы, нарушающие мирный ход истории, влияют и на религиозную жизнь, вызывая вспышки интенсивного духовного озарения и взрывы бурной духовной активности.

Единодушие и разногласия высших религий. Религия представляется цельной и единоплавленной в сравнении с многовариантной и повторяющейся историей цивилизаций. Контраст этот обнаруживается как во временном, так и в пространственном измерениях. Так, христианство и другие высшие религии XX в. имеют куда больше общих точек соприкосновения, чем современные им цивилизации.

Однако, если ислам, индуизм и махаяна разделяют христианский взгляд на Бога как на Господа человеческого, а махаяна разделяет и взгляд, согласно которому Бог — спаситель человечества, то христианство остается тем не менее единственной религией, в которой Бог раскрывается также как Отец и Сын. Эта доминирующая тенденция представляет собой главную особенность христианства по сравнению с ее сестринскими религиями. Высшие религии открыли новый взгляд на природу божественного. Бога стали носить в сердце, что явилось неизбежным следствием нового взгляда на отношения между людьми. Если Бог един, то он не может быть ни одним из многочисленных местных божеств. И Он должен быть для всех народов, существующих на земле (Деян. 17, 26). Если Бог есть Любовь, то Он не может быть «воином» (Исх. 15, 3). Ошибочна и грешна заповедь «благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои — брани» (Пс. 143). Если Господь не присутствует в каждой из тварей Его, то человеческое самопоклонение себе — идолопоклонство. Высшие религии не просто отстаивают эти истины, они приводят их в действие. Появление их в мире было богоявлением и освобождением Человека. Оно освободило Человека от вечного рабства внутри собственного Я. Подчиняясь духовной власти высших религий, Человек способен преодолеть политические барьеры местных государств и даже культурные барьеры, разделяющие разные цивилизации. Каким же образом церкви удалось наложить на верующих те же самые оковы, которые они только что сбросили?

Ответ на этот трудный вопрос, возможно, заключается в том, что способность высших религий воздействовать на души ограничена неспособностью человека обучаться иным, чем через страдание, путем. Мессианский труд любви всегда приходит на смену труду завоевателя. Совершая дьявольскую работу во имя эфемерного расширения отечества и тривиального удовлетворения мелких личных амбиций, завоеватель совершает божественную работу, сам того не желая и не ведая. Лишая покоренные местные государства политической свободы, он тем самым бессознательно приносит им свободу души, которая во дни суверенной независимости его собственной страны была сокрушена огнем и мечом духовного рабства религии коллективного поклонения. Когда завоеватель уничтожает местное государство, он расширяет масштаб социальной жизни до пределов империи. Структура социальной жизни преобразуется расщеплением примитивного социального атома и одновременным созданием новых форм в темном опыте социальной алхимии, в результате чего происходит мгновенное отделение церкви от государства, открывающее возможность обрести Господа и тем самым обрести счастье.

Когда местное государство ликвидируется силой оружия завоевателя, его граждане становятся подданными империи, которую строит завоеватель. Но они не превращаются автоматически в поклонников имперских богов. Предрассудок ли, политические ли соображения или тонкое сочетание того и другого обычно отпугивают победителя от дальнейшего сближения со своими новообретенными подданными. Вследствие этого подданные нового экуменического режима чувствуют себя свободными выбирать любую религию. И если некоторые из них добровольно отказываются от поклонения традиционным местным божествам, то это редко случается без вмешательства специального «духовного пастыря».

В тех случаях, когда — в масштабах меньше, чем мировой, причем через варварские методы завоевания, — граждане множества местных государств — отпрысков целого ряда различных цивилизаций приведены в политическое единство, религиозные процессы развиваются в таком ключе, что религия переходит из категории социального насле-

дия в предмет свободного личного выбора. На языке естественной истории эта перемена в социальном окружении дает религии возможность свершить духовную мутацию.

Почему христианство, которое решительно отвергло иудаизм, провозгласив, что Бог — это Любовь, вновь приняло концепцию «страшного Бога Яхве»? Эта частичная духовная регрессия, нанесшая христианству немалый урон, была той неизбежной платой, которую христианство должно было заплатить за победу в смертельной схватке с культом Цезаря. Религиозная война велась бескомпромиссно, потому что коллективное поклонение человечества человеку представляет собой высшую форму идолопоклонства и противопоставить ей можно лишь поклонение Истинному Богу. Соглашение между противоборствующими сторонами было невозможным, потому что поклонение Цезарю считалось благородным и благодатным делом. Великой римско-христианской войны нельзя было избежать, и, однажды начавшись, она должна была привести к столь же неизбежному финалу. В этом трагическом конфликте христианам было бессмысленно писать на своих военных знаменах «Бог есть Любовь». По мере наступления на власть Цезаря любовь становилась все более воинственной. Да и восстановление мира после победы церкви не устранило этой воинственности, наоборот, оно лишь подтвердило удивительную связь между Христом и Яхве, ибо в час победы непримиримость христианских мучеников превратилась в нетерпимость. Восторжествовала роковая практика применения физической силы как простейшего способа решения религиозных разногласий.

Ранняя глава в истории христианства была зловещим провозвестником духовных перспектив западного общества XX в., ибо поклонение Левиафану, которому ранняя христианская церковь нанесла решительное поражение, охватило в конце концов как восточное православие, так и западное христианство. В православно-христианском мире призрак Римской империи успешно процветал до VIII в. н. э.; затем, пережив катастрофу, постигшую православное христианство в X в., он вновь напомнил о себе установлением христианства в России. В западном мире за падением австразийской машины Карла Великого, в чем-то сопоставимой с дос-

тижением Льва Исаврийца, в конце концов последовало появление тоталитарного государства, сочетающего в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способностью порабощения душ, способность, которой могли позавидовать тираны всех времен и народов.

Ценность различий. Невозможно единообразное понимание единого и истинного Бога, ибо человеческая природа отмечена плодотворным многообразием, представляющим собой отличительную черту божественных трудов. Каждая человеческая душа воспринимает Его через свою призму, и, если дано ей узреть Божественный Лик, она убедится, что у Него «нет изменения и ни тени перемены» (Иаков 1, 17). Однако мы должны поверить, что божественная природа как таковая никогда не открывалась человеческому взору, его слабому духу. «Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоанн 1, 9), воспринимается каждой тварью земной в соответствии с теми способностями, которыми наделил ее Творец. Чтобы помочь человеку узреть божественный свет, существует Религия; но и она не в состоянии достигнуть этой цели, если в ней не находит правильного отражения многообразие человеческой природы. Если каждая из высших религий не отвечает глубинным нуждам человеческого опыта, действительно трудно понять, почему каждая из них сумела исторически объединить столь большие массы человечества. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов» (Иаков 1, 17); и если бы последователи живых высших религий признали общее происхождение всех этих божественных даров, они могли бы обрести животворящее освобождение, отказаться от борьбы между собой, от попыток вмешиваться в дела друг друга; с тем чтобы двигаться вместе к единой цели.

Общая судьба и предназначение человечества, если оно действительно исходило от Бога, сводится к тому, что люди должны пройти среди мира, взаимно помогая друг другу (Марк 16, 15). В момент примирения через просвещенную добрую волю «волк будет жить с ягненком, и барс будет ле-

жать вместе с козленком; и теленок; и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Исх. 11, 6).

Тогда высшие религии перестали бы играть роль камня преткновения, но стали бы закономерным дополнением к тому многообразию, которое существует в природе человеческой психологии. Это совершенно необходимо, если справедлива догадка христианства, что Бог есть Любовь. Ведь любовь стремится каждого привести к Богу (Иоанн 12, 32), а Он стремится, приблизив все человеческие души к Себе, тем самым приблизить их к великой тайне. И будут тогда объединены в едином порыве все человеческие усилия, и будет избран тот духовный путь, который приведет человечество к заветной цели. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12, 4 — 7).

Роль цивилизаций. Если бы движение религиозной колесницы было непрерывным и однонаправленным, то циклическое и возрождающееся движение взлетов и падений цивилизаций не только не вступало бы с ним в конфликт, но и оказалось подчиненным ему. Служа этой цели, цивилизации совершали революции на земле, чтобы повторять повороты «горестного колеса» смерти-рождения-смерти.

В этой перспективе цивилизации первого и второго поколений оправдывали свое существование, однако цивилизации третьего поколения оказались бледными подобиями их. Если историческая функция того вида обществ, которые именуются цивилизациями, заключалась в том, чтобы, достигнув собственной зрелости, родить высшие религии, то западная постхристианская светская цивилизации в лучшем случае представляет собой ненужное повторение дохристианской эллинской цивилизации, а в худшем — это печальный уход с пути духовного прогресса. Очевидным историческим оправданием ее существования могла бы стать возможность ее служения в будущем христианству и трем другим высшим религиям в качестве объединяющего начала, с тем чтобы способствовать сближению их высших ценностей и веры, предохраняя тем самым самое себя от новой

вспышки идолопоклонства в наиболее порочной форме поклонения человека самому себе.

Между тем в секуляризованном западном мире XX в. симптомы духовного отставания очевидны. Возрождение поклонения Левиафану стало религией, и каждый житель Запада внес в этот процесс свою лепту. Современный западный ренессанс племенной религии эллинистического мира представляет собой чистое идолопоклонство.

В соответствии с гипотезой, согласно которой высшие религии рождаются и умирают, чтобы служить взлетам и падениям цивилизаций, мы должны ожидать, что цивилизации третьего поколения, подобно своим предшественницам, будут использовать существующие высшие религии в качестве куколки для создания новой цивилизации.

Кандидаты для выполнения этой работы фактически находятся в форме рудиментов вторичных высших религий, созданных внутренним пролетариатом живых незападных цивилизаций, втянутых не так давно в процесс всемирной экспансии западной цивилизации. Однако нет достаточных оснований полагать, что история повторит эту старую роль. Если справедливо утверждение, что Религия — истинная цель Человека и что цивилизации управляют духовным прогрессом человечества, цивилизация, безусловно, может вновь пережить надлом, но совсем не обязательно, что неизбежным следствием этого станет замещение одной высшей религии другой. Контраргументом против подобного суждения является предположение, что, если бы западная цивилизация надломилась, включив в себя все прочие цивилизации, высшие религии не только не исчезли бы, но, напротив, обрели бы новую жизнь и стимул к развитию как результат нового опыта секулярной катастрофы. Духовное прозрение, обретенное через страдание, могло бы привести их к признанию друг друга и созданию внутреннего единства при сохранении многообразия. Что касается остатков вторичных высших религий, существующих на экуменическом ландшафте нашего века, то они были бы отброшены назад в русло общей религиозной жизни, где они могли бы свершить свой творческий вклад в поток этой единой духовной реки, если бы не устремились в сторону, в пусты-

ню и не затерялись там в песках. Однако нет оснований ожидать, что вторичные высшие религии заменят существующие религии — христианство, ислам, буддизм, и индуизм, — поскольку именно эти четыре религии сами вытеснили язычество примитивного человечества.

Деятели церкви, одни — предавшие заветы церкви, другие — свято следовавшие им, далеко отступили от канонических идеалов Писания. Христианская церковь, например, открыла себя для обвинений в том, что она присвоила священство и фарисейство иудеев, политеизм и идолопоклонство греков, ростовщичество римлян. Можно, пожалуй, сказать, что в результате получилось нечто прямо противоположное тому первоначальному облику церкви, которая рассматривала Бога как «дух истины» (Иоанн 4, 24), где социальный раскол между классами и государствами уравновешивался единением сердец в царстве Любви («где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11). Махаяна и индуизм, как это представляется автору настоящих строк, уязвимы для критики в не меньшей степени. А об исламе можно с большим сожалением сказать, что уже сам его Основатель предал собственные идеалы, став правителем агрессивного государства.

Каким же образом душа, стремящаяся к Богу, может отделить сущность Религии от ее конкретно-исторических проявлений? Несомненно, вердикт вынесет Время, ибо сроки пребывания человеческого рода на Земле (если техническое овладение физической природой не столь катастрофично, чтобы привести человека к самоуничтожению) невообразимо долги, и грядущие эпохи наверняка очистят живительные струи от всего наносного, как очищаются воды Нила на пути от озера Тана до Средиземного моря. Время покажет. Но в жизни Духа ничто не происходит автоматически и безлично, и, если бы столь желанное очищение действительно в конце концов свершилось, оно стало бы достижением индивидуальных душ. В любой момент ее земного скитальчества душе может быть брошен вызов со стороны Бога, «потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их» (Матф. 7., 14).

ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК РЕГРЕСС

Мы попытались посмотреть на Историю, отказавшись от общепринятой нынче на Западе привычки анализировать исторический процесс на материале истории цивилизаций. Мы обратились к истории церквей, и эта переориентация привела нас к мысли о том, что цивилизации второго поколения со всеми их надломами и последующими распадами, создавшие предпосылки для возникновения живых высших религий, — это не поражения, но победы — в той мере, в какой они помогли родиться вселенским церквам. По этой аналогии цивилизации третьего поколения представляют собой регрессивное явление относительно высших религий, поднявшихся из руин цивилизаций предыдущего поколения; ибо мирское падение мертвых цивилизаций должно судить по высотам их духовных достижений, а мирское падение ныне живых цивилизаций должно судить с точки зрения тех условий, которые они сумели создать для жизни Души. А с этой точки зрения их вряд ли можно будет оценить достаточно высоко.

Если для проверки справедливости данного тезиса мы сравним современную западную цивилизацию со средневековым западным христианским миром, то нам, несомненно, бросится в глаза существенное изменение значений употребляемых слов и стоящих за ними действий. Обратив внимание на такие изменения в особом случае перехода от средневековой западнохристианской экономики к секулярной западной цивилизации, проследим затем, насколько это возможно, судьбу тех же самых слов и действий, чтобы иметь представление о степенях перехода от языческого эллинизма к христианству и от последнего — к современности.

В секуляризованном западном мире слово «клирик», первоначально определявшее лицо, принадлежащее к особой группе верующих, целиком посвятивших себя церковной службе, превратилось в «клерк». В современной Англии клерк — это мелкий государственный служащий, а в Америке — продавец магазина.

Христианская Евхаристия (*Communio Sanctorum*) — акт, в котором единство между всеми членами общины достигается через посредство коллективного и индивидуального

общения с Христом, предполагает и символизирует равенство прав. Однако в Чехии XIV в. борьба за справедливость и равенство коснулась и этой стороны. Начался раздор между миром и клиром, причем страсти разгорелись именно из-за причастия, которое миряне хотели сделать исключительно своим достоянием, отобрав его у клириков, утверждавших, что чаша является символом их привилегий в отношениях с Богом. В Голландии и Англии в начале Нового времени западной истории и в западном мире в целом после Французской революции борьба за справедливость, которая уже давно вышла к тому времени за пределы церковной ограды, развернулась теперь на политической арене, где буржуазия активно отстаивала свое право на политическую власть. В XX столетии промышленный рабочий класс западного общества, приобретший теперь в буквальном смысле мировое значение, требовал равенства в распределении экономических богатств, львиная доля которых в результате революций XVIII и XIX вв. принадлежала среднему классу. В XX столетии классовая война, первоначально преследовавшая экономические цели и направленная против буржуазии, получила название борьбы за «коммунизм», иными словами, это была борьба за «коммуну», объединяющую общину, справедливо распределяющую земные блага. Так Евхаристия обернулась коммунизмом.

Перемена ценностей, сопряженная с переменой смысла слов, была следствием извращения клира, равно как и мира, в условиях средневекового западного христианства. Тщетные домогательства власти привели к тому, что богослужение превратилось в эзотерическое заклинание на литургическом языке, который давно уже перестал быть родным живым языком существующих общин.

Колокольный звон, который христианин привык воспринимать как зов церкви, собирающий общину для молитвы, в Северной Америке стал ассоциироваться в XX в. просто с началом трудового дня. Ударами колокола предупреждали людей о приближающемся локомотиве, предохраняя от опасности их жизни, но никак не души. На звон колокольчика торопилась в отеле прислуга.

Греческое слово (πνευματιχοξ) («пневматический»), кото-

рое использовалось христианством для обозначения явления духовного, в настоящее время используется для обозначения физических явлений, связанных с давлением воздуха.

Пришедшее из латыни «обращение» (*conversio*) также было перенесено из религиозной сферы в сферу практического употребления. Это древнее слово долго еще «отдавало колокольным звоном» в современных западных умах, но в последнее время оно уже ничего общего не имеет с обращением душ, причем для промышленника оно означает одно, для финансиста — другое, а для полицейского — третье.

В ранних частях настоящего исследования мы вкратце коснулись братоубийственной войны, которая велась бескомпромиссно и безжалостно, разрушая средневековую западную социальную систему. Победа эта в конце концов была пирровой, ибо побежденным оказался победитель, а поверженный в схватке доказал, что он обладает головой Гидры.

Деспотизм североитальянских городов-государств, которые являли собой копии недоразвитого экуменического цезаропапизма Фридриха, в свою очередь воспроизводился в национальном масштабе всего итализированного западного мира. Внимательное изучение фундаментальных политических и экономических институтов современного западного общества показывает, что все они выросли из папской организации средневековой христианской экономики, подобно тому как алтари и колоннады опирались на древние камни афинского Акрополя. Все это убедительнейшим образом свидетельствует, что западная цивилизация имеет христианское происхождение и вполне заслуживает названия христианской.

Если в определенном смысле секулярная цивилизация современного западного мира представляет собой эманацию духа империи Фридриха II Гогенштауфена, то что же являлось источником той демонической силы, благодаря которой неудачливый строитель империи, потерпевший поражение при жизни, одержал столь выдающуюся посмертную победу? Загадка будет разгадана, если мы вспомним о причине, побудившей императора Фридриха II увлечься архимбициозными династическими целями, в чем он намного превзошел Фридриха I. Целью династии Гогенштауфенов было возрождение духа Римской империи в западном хрис-

тианстве, подобно тому как она была возрождена в православном христианстве гением Льва Исаврийца.

Чудовищное рождение современной западной секулярной цивилизации из утробы средневекового западного христианского мира стало возможным благодаря ошибкам и грехам средневековой западной церкви, практически воплотившись через Ренессанс эллинского института «абсолютного» государства, в котором религия стала одним из ведомств политики. В западном христианстве Ренессанс эллинистического политического абсолютизма был достигнут не без посторонней помощи. Собственно, западная попытка Карла Великого возродить Римскую империю потерпела неудачу, тогда как смелая попытка Фридриха II Гогенштауфена повторить инициативу Карла Великого явилась посмертной победой.

Когда цивилизация третьего поколения пробивает себе путь сквозь толщу церковной системы, является ли Ренессанс родственной цивилизации второго поколения именно тем обязательным и неизбежным средством, с помощью которого осуществляется это несчастное предприятие?

Для целей нашего настоящего исследования достаточно сказать, что цивилизация третьего поколения, в чьей истории успешно возрождается предшественница второго поколения, достигнув расцвета, без колебаний сбрасывает все те церковные помехи, которые вместе с церковью были рождены ее предшественницей.

Возрождение мертвой цивилизации порождает «регресс» живой высшей религии, и чем дальше заходит этот процесс, тем интенсивнее происходит скольжение назад. Однако можно предположить, что даже если это инверсивное изменение представляет собой «закон» истории, то в нем проще увидеть катастрофу, чем позитивный процесс. Наше суждение действительно может показаться парадоксальным для дальневосточного конфуцианца или для западного рационалистически настроенного инженера, которые в глубине души верят, что «человек делает сам себя» и что в осознанном поведении человека по отношению ко всему человечеству возвышение и падение высших религий представляют собой досадную интерлюдия.



**Фридрих II - император Священной Римской Империи
и король Сицилии**

ВЫЗОВ ВОИНСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЕ

Причины регресса. В предыдущей главе мы наблюдали, как секулярная цивилизация, которая вырывается из церковной системы, в дальнейшем пробивает себе путь с помощью элементов предыдущей цивилизации, которую она вновь вызывает к жизни. Мы уже наблюдали на примерах, как новая цивилизация пользуется своими возможностями; теперь нам остается посмотреть, откуда эти возможности берутся. Очевидно, это «начало зол», как сказал бы Фукидид, следует искать не в изобилии ресурсов поднимающейся цивилизации, а в каком-то слабом месте или неверном шаге церкви, за счет которой совершается подъем.

Главный ошибочный момент в деятельности церкви содержится уже в тех целях, которые она ставит перед собой. Церковь воинственна, ибо она хочет завоевать Этот Мир.

Однако церковь должна сделать это не уничтожением жизни на Земле, но с помощью ее преображения. Все доступные ей средства церковь использует для секулярных и духовных дел, а также для того, чтобы организовать на Земле в качестве института, поскольку это единственный метод налаживания мирских человеческих отношений в любом масштабе за пределами узкой сферы прямого личного общения. Прочный институциональный покров, которым церковь находит необходимым прикрыть свою эфемерную наготу, чтобы произвести божественную работу в непокорном окружении, несовместим с духовной природой церкви и напоминает роговой панцирь, под которым находится живое тело. Поэтому не удивляет катастрофа, которая охватила земное пристанище Союза святых, неспособного выполнить на этой Земле свой духовный труд, справиться с секулярными проблемами в попытках разрешить их институциональными средствами.

Наиболее ярким примером может служить трагедия папы Григория VII Гильдебранда. Гильдебранд был сбит с пути очевидным смешением причин и следствий. Он не был бы истинным и верным слугой Господа, если бы не посвятил себя, используя всю свою власть, борьбе с падением нравов и коррупцией, захлестнувшими западнохристианские церковные круги. Но он не мог бы реформировать священство без предварительной реорганизации церкви, а реорганизовать церковь он не смог бы, не отстаивая приоритета ее власти, и, конечно же, он не смог бы выполнить этой работы, не попытавшись проложить соответствующей демаркационной линии между церковью и государством. Гильдебранд предпринял ряд шагов, причем каждый последующий шаг казался необходимым и логически вытекающим из предыдущего. От стремления к духовному воскрешению христианских душ он постепенно сместился к раздуванию конфликта со Священной Римской империей, которая увлекла церковь прямо на арену военной борьбы. Результат был в равной мере катастрофичным для обоих главных институтов средневекового западного христианства — и для папства, и для империи, — не говоря уже о самом христианстве.



Григорий VII

Эта трагедия весьма знаменательна, хотя она и не имеет в истории явных параллелей. Тем не менее она может служить примером духовной деградации церкви, которая оказалась втянутой в решение секулярных вопросов, не по доброй воле попав в центр мирских событий.

Существует, однако, еще одна широкая дорога, которая также ведет к неизбежному духовному параличу. Дорога эта более известна, внешне более привлекательна, но и бо-

лее коварна. Церковь рискует впасть в духовный регресс, как только она поддается соблазну установить божественную волю на Земле, ибо воля Господа частью выражена и в праведных социальных целях секуляризованных обществ. Правда, мирские идеалы могут быть случайно достигнуты и в религиозном обществе, причем значительно более успешно, чем они могли бы быть достигнуты в мирском обществе, которое формулирует свои цели прямо и следует только им, не отвлекаясь на что-либо иное. Успех в этом случае является следствием одного из законов жизни, действие которого уже неоднократно демонстрировалось нами на конкретном историческом материале. Однако нелишне будет еще раз напомнить, что закон этот сводится к принципу, согласно которому наилучший путь достижения цели — это стремление не к самой этой цели, а к чему-то более возвышенному, находящемуся за ее пределами. История церкви дает два классических примера действия этого закона. Это подвижничество св. Бенедикта и папы Григория Великого.

Эти святые вели монашеский образ жизни. Кроме того, Григорий поставил перед собой еще одну духовную цель, столь же возвышенную, как и первая. Он стремился дать свет «сидящим во тьме», обращая язычников в лоно христианской церкви. Однако, не преследуя никаких мирских целей, эти два подвижника смогли тем не менее свершить такие экономические преобразования, которые оказались совершенно недоступными тогдашним государственным деятелям. Так, папа Григорий спас от голодной смерти городской пролетариат Рима, тогда как константинопольское правительство угасающей Римской империи было совершенно бессильно и не могло выполнить свой долг перед разоренным городом.

История учит нас, что материальные блага, добытые святыми, которые вовсе и не замечали их, не ценили и не стремились к ним, отнюдь не то же самое, что мирские блага для обычных священников, которые только к ним и стремятся, забывая при этом долг веры и духовного подвижничества.

Причина регресса высших религий и суетного повторения секулярных цивилизаций кроется, как мы выяснили,

вовсе не в необходимости самосохранения и не в какой-либо внешней силе, но в «первородном грехе», который есть не что иное, как внутренняя земная человеческая природа.

Предчувствие духовного возрождения. Если регресс высших религий — следствие первородного греха, можно ли заключить, что, поскольку первородный грех воспроизводится в Этом Мире с каждым появившимся на свет младенцем, значит, регресс неизбежен? И если он действительно неизбежен, означает ли это, что вызов воинственности на Земле столь безнадежно силен, что ни одной церкви не суждено успешно противостоять ему? А это заключение не приводит ли в свою очередь к мысли, что церковь не играет сколько-нибудь значительной исторической роли, если не считать роли куколки в бесконечном и бесполезном круговороте секулярных цивилизаций? Прежде чем согласиться с утверждением, что божественный свет обречен погибнуть в мраке непонимания, следует внимательно присмотреться к череде духовных высших озарений, которые время от времени являются в мир эпифаниями высших религий. Возможно, главы былой духовной жизни дадут основания для надежд на духовное возрождение и спасение от регресса, которому подвержена Воинствующая Церковь.

Исторический путь отмечен вехами духовных взлетов и падений, и особое место на этом пути занимают имена Авраама, Моисея, Пророков и Христа. Ими отмечены те точки человеческой истории, где взгляд историка обнаруживает надломы цивилизаций. Эмпирические наблюдения приводят нас к выводу, что высшие точки религиозного опыта совпадают с низшими точками истории секулярного общества. Это также можно считать одним из «законов» жизни человека. Если вывод наш справедлив, то следует ожидать, что история дает свидетельства и обратного действия закона, то есть что высшие точки секулярной истории совпадают с низшими точками истории религиозной, а значит, религиозный взлет, сопровождающий мирской упадок, является не просто духовным достижением, но и духовным возрождением.

Выше мы уже видели, что суровые естественные условия могут быть факторами, способствующими мирскому развитию. По аналогии можно предположить, что духовно тяжкие условия также могут способствовать успехам в области религиозных исканий. Духовно неблагоприятное окружение можно определить словами Платона как «город свиней», в котором искания души подменяются заботой о материальном благополучии. Однако не все потеряно в подобной ситуации. Наиболее чувствительные, ищущие души начинают протестовать, сопротивляясь благам Этого Мира. Даже на относительно низком уровне варварской добродетели может проявиться сила духа героя, как это случилось с Одиссеем. На уровне же высших религий поражение священника — сигнал для пророка.

Мы уже упоминали классический случай ранних христианских мучеников, которые жертвовали всем, чтобы сохранить в чистоте и безупречности свои нравственные позиции. Их духовная непримиримость вызывала негодование язычников, которые верили, что на дворе не быстротечное бабье лето, а июнь; однако они смутно сознавали, что фантастическое, с их точки зрения, поведение христианских мучеников озаряется неведомым им самим внутренним светом. Этот же внутренний свет побуждал св. Франциска Ассизского с тревогой и отвращением бунтовать против пустоты роскошной жизни отчего дома. Отец св. Франциска был прототипом преуспевающего бизнесмена, завоевавшего позже западный мир.

Стремительный рост материального прогресса, который был начат умбрийскими суконщиками в XII в. и продолжался беспрепятственно вплоть до XX столетия, предстал вдруг перед мрачной перспективой, провидчески описанной некогда св. Григорием. «Сегодня смерть и горе повсюду, опустошение кругом и слезы. Однако голос плоти ослепляет дух. Мы бежим за мирскими благами, а сам мир ускользает от нас; мы хватаемся за него, а он разрушается на наших глазах, и, поскольку мы не в силах остановить это разрушение, мы тонем вместе с ним. Когда-то мир привлекал нас своей красотой, сейчас же он полон таких противоречий, что сам направляет нас прямо в руки Господа».

Св. Григорий остро сознавал, что душа, отчужденная от Бога мирским процветанием, может примириться с Богом, потрясенная зрелищем того, что рай земной обращается в прах и пепел. Свет дня, затухая, уступает место тьме ночи, но ночь проходит, и сияние облаков на востоке предвещает новый день. Так и опыт Рима VI в. н. э. был знамением и провозвестником событий XX в.

Сразу по окончании второй мировой войны демонические силы зла стали угрожать западному миру новой гигантской катастрофой. Над миром нависла угроза самоуничтожения в ходе третьей мировой войны.

Мир, секуляризованный в процессе вестернизации, оказался перед непростым выбором. С одной стороны, его влекла прочная инерция распространения неоязычества; в этом случае пламя религии могло вспыхнуть с новой силой, как это случилось на развалинах эллинского мира. Другая возможность заключалась в творческом раскаянии и отказе от неоязычества через обличение тех чудовишных сил и импульсов, которые были эвоцированы теми реакционными тенденциями истории, что были связаны с поклонением этим силам. В случае принятия первой катастрофической возможности человек освобождается от духовной ответственности через физическую аннигиляцию. Если же он изберет альтернативный и не столь драматический путь, он вновь столкнется с теми мучительными вопросами, которые и составляют соль духовной жизни.

Какой же путь изберет неоязыческая душа? Имеет ли она возможность сойти с проторенной дороги, которая ведет к гибели, и встать на трудную тропу, ведущую к жизни? (Матф. 7, 13-14; Лука 13, 24). Или она предпочтет оказаться в тупике? Откликнется ли она на голос, взывающий: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло», на пророческий голос: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоанн 3, 3)? Или она поверит Мефистофелю, который утверждает, что человек не может вернуться в материнское лоно и родиться еще раз? Конечно, детеныш кенгуру, вползая в сумку матери, не достигает тем самым Царствия Божия.

Так куда же зовет человека тихий голос, звучащий в его

душе, — в порочный круг или к жизни вечной? На этот роковой вопрос человечество должно ответить, если оно хочет выжить.

Возможность духовного роста. Является ли возвращение к религии признаком духовного движения вперед? Или это всего лишь безнадежная и глупая попытка уклониться от суровой жизни? Ответ на этот вопрос частично зависит от нашей оценки возможностей духовного роста в Этой Жизни. Мы отбросили идею, согласно которой исторически живые церкви могут в конце концов достичь единства через различие, превратившись в единую земную воинствующую церковь. Предположим, однако, что это когда-то произойдет. Означает ли это, что тогда на земле установится Царство Божие? Для мира XX в., охваченного вестернизацией, вопрос вполне насущный, ибо в той или иной мере идея земного рая является стержнем и целью большинства светских идеологий нашего времени. Если бы такое действительно случилось, то Мефистофель имел бы все поводы для сарказма, а человечество — все возможности для полного исчезновения. Однако ответ на поставленный выше вопрос, безусловно, отрицательный, и он не может быть положительным по целому ряду причин.

Наиболее явная причина проистекает из природы Общества и природы Человека. Как мы установили в начале нашего исследования, общество — это не что иное, как общая основа полей действия отдельных индивидуумов, а человеческая личность обладает внутренней способностью творить как зло, так и добро. А это в свою очередь означает, что в любом земном обществе, пока земная природа человека не претерпела соответствующих нравственных изменений, и зло, и добро непрерывно воспроизводятся в каждом новом рождении и будут существовать, покуда жив человек. Вызов, испытание, борьба, драмы духовной жизни — это индивидуальный внутренний опыт каждой отдельной души в отличие от безличного накопления и передачи от одного поколения к другому точного знания и технологий. А значит, замещение многоликих цивилизаций и разно-

образных высших религий единой воинствующей церковью не освободило бы человека от первородного греха. Нравственные пределы возможности совершенства не только в этом, изначально заложенном ограничении, но и в политических рамках, которые еще более стесняют человека.

Поскольку институты закрепляют отношения между людьми, выходящие за узкие рамки непосредственного межличностного общения, где любовь делает регулирование излишним, то они никогда не создаются на добровольной основе чистых человеческих согласий. Но если это верно, то институт должен искать себе основу в обычае, подкрепляя себя силой. Фактически институты — это совершенные отражения нравственного несовершенства человеческой природы; и эти социальные продукты первородного греха всегда будут управляться секулярной рукой.

Общество, в котором мирская власть должна подчиняться власти церковной, представляет собой более высокое и более счастливое социальное образование, чем «цезаропапистский» режим, где нет различия между церковью и секулярной общиной. Мирская власть не должна упразднить церковь. Если же, напротив, церковь попытается упразднить мирскую власть, то она неминуемо потерпит поражение, ибо «кесарево» не исчезнет, но перейдет в арсенал церкви. В этом случае тюрьма тоталитаризма, казалось бы разбитая церковью, вновь будет восстановлена через неверный шаг церкви, попытавшейся установить свою собственную насильственную власть. Ранее мы касались вскользь трагического опыта Гильдебранда, который вывел церковь на арену политики. Последствия были катастрофичны как для западного христианства, так и для самой церкви, и именно потому, что церковь затеяла спор относительно демаркационной линии между церковными и секулярными владениями.

Историческая трагедия, постигшая традиционную западноевропейскую церковь, была платой за борьбу с кесарем земными средствами. Это типичная судьба церкви, борющейся с насилием же. Таким образом, если даже воинствующая церковь победит весь мир и создаст свое собственное обрамление земного общественного устройства, она не станет совершенством, которого люди ждут от Цар-



Христос отделяет овов от козлищ

Мозаика. Равенна

ствия Небесного. Церковь окажется перед лицом греха и несчастья. В мире, где опыт приходит через страдание, она не способна преодолеть земные беды чисто земными средствами. Разумеется, некоторые древние институциональные установления для нее в любом случае необходимы, но дух кесаря приведет ее к неизбежному упадку, что и пережила христианская церковь, взвалив на себя непосильную ношу земного греха.

Человеческий пастырь будет спасать свою заблудшую овцу, прибегая к силе и власти. Причем несмышленому животному в акте спасения отводится самая пассивная роль. Однако паства Божия сбивается с пути не невинным заблуждением, но мятежным актом восставшей воли, которую

сила может подавить, но не преодолеть. Бунт человека против Бога можно уничтожить лишь обращением сердца мятежника. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лука 15, 7). Божии владения в этом мире утверждаются божественным Царем. Поэтому труд Христа должен найти своих последователей среди представителей воинствующей церкви, которая в Этом Мире, но не от Мира Сего.

Гражданин Этого Мира, который упорно отказывается от своего служения Господу или который так и не осознал, что является подданным Града Божия, может вполне преуспевать в жизни, теша себя иллюзией, что он живет в лучшем из миров. Однако тот, кто причастен к высшей вере, не может не страдать, ощущая, что, трудясь во имя Бога в период духовной смуты, он окружен стихией, которая чужда его душе, что он подобен ныряльщику, который на дне моря проводит работы по спасению затонувшего корабля.

В эпоху цивилизаций прогресс, как правило, отождествляется человеком с поступательным совершенствованием какого-либо земного учреждения, будь то племя, город-государство, империя, церковь, определенная система знаний, художественная школа или правовой институт. Если бы подобное понимание смысла прогресса распространилось на странников — жителей Града Божия, они действительно стали бы самыми жалкими среди людей, ибо им, как никому другому, известно, что в земной жизни ни души, отягощенные первородным грехом, ни институты не могут двигать прогресс к совершенству. На материале нашего исследования мы убедились, что идолизация институтов — непростительная интеллектуальная и духовная ошибка, которая приводит к социальной катастрофе, а плата за эту ошибку тем выше, чем благородней институт, взявший на себя роль наместника единого истинного Бога. Помогает ли он человеку найти свой путь к Создателю или нет — вот пробный камень оценки любого института, который становится самоцелью, вместо того чтобы быть средством поиска истинно человеческого пути.

Но если институты — это средства, а не цели, в чем же



Воскресение или Сошествие Христа во Ад. Грозный Христос ломает символы Ада и держит за руку Адама.

Мозаика в Нартексе. Храм Св. Луки. Греция.

заключается значение и цель социального наследия, далеко выходящего за временные и пространственные границы всякой отдельной человеческой жизни на Земле? Каждый добрый человек чувствует, что, согласно Божией воле, он должен употребить свою жизнь во благо других людей, причем не только близких ему людей, но и тех, кто отделен от него Временем и Пространством. Единственным средством служения этим неизвестным братьям является институт, который переживает каждого отдельного человека. И люди не только чувствуют, что их земной долг совместим с преданностью Граду Божию, они чувствуют, что будут предателями Града, если откажутся от попытки установить лучший закон земной жизни в несовершенном мире, куда пришли они странниками, а за ними придут другие.

В этом мире вся духовная реальность, а значит, и все духовные ценности сосредоточены в людях. Поэтому социальное наследство, которое отчуждает души от Бога и ведет их к катастрофе через идолопоклонство самим себе, лишь в той мере законно и обладает подлинной ценностью, в какой оно посвящено добродетельной службе на благо краткой земной жизни человека. Если признать именно это критерием прогресса, то наследники высших религий уравниваются в правах с язычниками, не являющимися поклонниками Левиафана. Однако, когда добрый язычник будет трудиться над совершенствованием материальных условий и благ для себя и других, гражданин Града Господня будет обогащать социальное наследие духовными ценностями.

Слуги Господа понимают, что, заботясь о духовном прогрессе, они тем самым создают условия для прогресса материального. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф. 6, 33).

Но если люди Земли не должны ожидать, что сбудутся все обетования высших религий, каков же смысл их появления? Главный их смысл состоит в том, что каждая из них обращается непосредственно к человеческой душе, побуждая ее стремиться к подобию Божию. Языческая душа в не меньшей степени, чем мусульманская, христианская, буддийская или индуистская, ищет и находит высшее спасение в сфере своего вероисповедания. Однако душа, озаренная

светом высшей религии, в большей мере и более остро ощущает существование иного мира, иной реальности, сознавая бренность своей быстротекущей земной жизни. Сознвая это, душа, озаренная высшей религией, может достигнуть большего в благоустройстве земной жизни, чем душа языческая.

Озарение душ светом высших религий определяет духовный прогресс земной жизни человека. Мирные завоевания высших религий значат в истории человечества значительно больше, чем все, что знала история до их появления. Духовный прогресс определяется фразой из христианской молитвы: «Да будет воля Твоя». Спасение тех, кто максимально использовал свои духовные возможности для устройства лучшей жизни на Земле, станет той благодатью, которую Господь ниспошлет христианам, молящим его: «Да приидет царствие Твое».

Молясь, они просят не о тысячелетнем царстве всеблаженнейшего земного рая, не о социальном благополучии, не о материальном достатке, не о справедливости земного устройства, не о сытости и довольстве, но о духовном непокое, который единственно является внутренним стимулом новшеств, достижений и вообще всякого исторического прогресса.

Перевод И.Е. Кисилевой и М.Ф. Носовой

Список литературы

1. Алпатов М.А. Политические идеи Французской буржуазной историографии XIX века. М.–Л. 1949.
2. Блок М. Апология истории. М. 1986.
3. Болинброк. Письма об изучении и пользе истории. М. 1978.
4. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М. 1996.
5. Буэскул В. И. Современная Германия и немецкая историческая наука конца XIX столетия. Пг. 1915.
6. Ванштейн О. Л. Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография. М.–Л. 1981.
7. Виноградов Л. Фюстель де Куланж. «Русская мысль» № 1. 1890.
8. Вольтер. Философские повести. М. 1985.
9. Вольтер. Философия истории. СПб. 1868.
10. Вольтер. Эстетика. М. 1974.
11. Гаврилов В.А. Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск. 1966.
12. Гервинус. Некролог Ф. Шлоссерра. СПб. 1862.
13. Гиббон. История упадка и крушения Римской империи. М. 1995.
14. Гуревич А. Я. Добротное ремесло. М. 1991.
15. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М. 1986.
16. Западноевропейская средневековая историография. М.–Л. 1964.
17. Историография Нового времени стран Европы и Америки. М У. 1967.
18. Историческая энциклопедия. М. 1961.
19. Иллюстрированная история новейшей французской литературы. М 1902.
20. Карсавин Л.П. Жозеф де Местр. В. Ф. № 3. 1989.
21. Карлейль Т. Герои и героическое в истории. СПб. 1891.
22. Карлейль Т. Французская революция. М. 1991.
23. Косминский Е.А. Историография средних веков. М. 1963.
24. Корелин М. Ренан. СПб. 1899.
25. Кулаковский Ю. А. Памяти Моммзена. К. 1904.
26. Ламартин А. История жирондистов. СПб. 1902.
27. Ли Г. История инквизиции. СПб. 1911.
28. Ли Г. История инквизиции. М. 1994.
29. Мабли. Избранные произведения. М. 1937.
30. Мабли. Об изучении истории. СПб. 1812.
31. Маколей. Английская революция 1649 г. М. 1906.
32. Машкин Н.А. История Древнего Рима. ОГИЗ. 1948.

33. Местр Ж. Петербургские письма. СПб. 1995.
34. Минье. История французской революции. СПб. 1906.
35. Мишле. История XIX века. СПб. 1883.
36. Моммзен. История Рима. СПб. 1993.
37. Мучин В. М. В поисках утраченного смысла истории. Томск. 1986.
38. Новый энциклопедический словарь Брокгауза. Пг. 1914.
39. Пиррен А. Нидерландская революция. М. 1937.
40. Ранке. Об эпохе новой истории. М. 1898.
41. Ренан. Апостолы. СПб. 1911.
42. Ренан. Жизнь Иисуса. М. 1990.
43. Рензов Б. Г. Французская романтическая историография. Л. 1956.
44. Степанов М. Жозеф де Местр в России. М. 1937.
45. Татаринова К. Н. Маколей как историк. «Исторический журнал» № 5. 1995.
46. Тойнби А. Постижение истории. М. 1996.
47. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. СПб. 1995.
48. Токвиль. Старый порядок и революция. СПб. 1905.
49. Тьер. История французской революции. СПб. 1873.
50. Тьерри А. Рассказы из времен меровингов, СПб. 1892.
51. Тьерри А. Несторий и Евтохий. Еписархи X века. К. 1880.
52. Тэн И. Происхождение современной Франции. СПб. 1906.
53. Тэн И. Тит Ливий. М. 1900.
54. Тэн И. Философия искусства. М. 1996.
55. Ф. де Ла-Барт. Литературное движение на Западе. М. 1914.
56. Февр Л. Бои за историю. М. 1991.
57. Чернышевский Н. Г. Нынешние английские виги. с/с т. 7. М. 1950.
58. Шепкин Е. Автобиография Ранке. «Русская мысль». 1893.
59. Шлоссер Ф. К. История XVIII столетия. СПб. 1868.
60. Юм. Сочинения. Т. 1–2. М. 1965.

СОДЕРЖАНИЕ

БОЛИНГБРОК ГЕНРИ СЕНТ-ДЖОН	7
ВОЛЬТЕР (МАРИ ФРАНСУА АРУЭ).....	46
ГАБРИЭЛЬ БОННОде МАБЛИ.....	76
ЮМ ДАВИД.....	95
ГИББОН ЭДУАРД.....	119
ЖОЗЕФ де МЕСТР.....	148
КОББЕТ УИЛЬЯМ.....	180
ФРИДРИХ КРИСТОФ ШЛОССЕР.....	185
ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ ГИЗО.....	214
АЛЬФОНС ЛАМАРТИН.....	219
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ.....	267
ЛЕОПОЛЬД фон РАНКЕ.....	287
ОГЮСТЕН ТЬЕРРИ.....	339
ФРАНСУА ОГЮСТ МИНЬЕ.....	359
АДОЛЬФ ТЬЕР.....	392
ЖЮЛЬ МИШЛЕ.....	438
ТОМАС БАБИНГТОН МАКОЛЕЙ.....	454
АЛЕКСИС де ТОКВИЛЬ.....	490
ТЕОДОР МОММЗЕН.....	527

ЯКОБ КРИСТОФОР БУРКХАРДТ	568
ГЕНРИ ТОМАС БОКЛЬ	585
ЖОЗЕФ ЭРНЕСТ РЕНАН	589
ГЕНРИ ЧАРЛЬЗ ЛИ	621
ИППОЛИТ ТЭН	671
ФЮСТЕЛЬ де КУЛАНЖ	711
АНРИ ПИРЕНН	716
ЛЮСЬЕН ФЕВР	755
МАРК БЛОК	794
АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ ТОЙНБИ	824

Авторы проекта Е.Б.Черняк, Б.А.Тормасов

ИСТОРИКИ И ИСТОРИЯ

Том 2

Оформление С. Морозов

Научные консультанты Ф. Мамай, М. Степанов

Технический редактор М. Столярова

Корректор И. Гордеева

Компьютерная верстка А. Сливко-Кольчик

Издательская лицензия 070512 от 09.06.97

Подписано в печать 10.10.97. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.

Печать офсет. Усл. п. л. 49,05. Тираж 5000. Заказ 2331

Издательство «Остожье», 107005, Москва, Бауманская ул., д. 50/12

При участии ГП ИПФ «Ставрополье»

Государственное предприятие издательско-полиграфическая фирма
«Ставрополье»

355012, Ставрополь, ул. Спартак, 8

OCR - Давид Титиевский, июнь 2017 г., Хайфа